

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Королевство алых башен . . . . .	7
Тетушка-мельница . . . . .	13
Горшочек нежности . . . . .	25
Звездный гвоздик . . . . .	28
Елка, которая не зажигалась . . . . .	34
Надежды в долг . . . . .	45
Письмо Деду-Морозу . . . . .	56
Печка принцессы . . . . .	61
Королевский пирог . . . . .	64
Золотой шар . . . . .	77
Лесная почта . . . . .	79
Ларец Пандоры . . . . .	83
Ледяной менуэт . . . . .	118
Железные тюльпаны . . . . .	128
Ахой! . . . . .	141
Герцог и китаянка . . . . .	155
О сырых и убогих . . . . .	161
О добром слове . . . . .	166
Глаза короля . . . . .	171
Горбун на ходулях . . . . .	178
Корабли . . . . .	181
Колдунья . . . . .	190
Снежное кружево . . . . .	200
Гамаюн . . . . .	215
Письмо Оле . . . . .	224
Пряничное сердце . . . . .	234
Копилка времени . . . . .	246
Мурлычья мельничка . . . . .	257
Тихая ночь . . . . .	262
Мечта в июне . . . . .	280
Глиняные шляпы . . . . .	284
Несколько точек . . . . .	286
Звездопад . . . . .	307
Белые верблюды . . . . .	312
Лоскутница . . . . .	316
Карнавальная сказка . . . . .	321
Крендель, искавший счастье . . . . .	327
Корочка всегда найдется . . . . .	331
Мистер Эль Смит . . . . .	337

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие читатели! — и это, поверьте, не общепринятое обращение только. Мне хотелось бы поблагодарить Вас, каждого в отдельности, знакомых и незнакомых, за ту поддержку, которую Вы оказывали мне до сих пор, морально и материально. Не знаю, чего больше, да это и не важно. Важно только то, что без этой поддержки я вряд ли могла бы писать, — и уж конечно, не смогла бы издавать своих книг. От отклика на свое творчество зависит каждый писатель, понятно, но больше всего и в особенности — эмигрантский, у которого, лишённого родной страны, возможностей издаваться почти нет, а читателей, да еще покупающих книги — очень немного.

Поэтому вполне понятен вопрос, заданный мне недавно одним парижским литератором: «Каким образом вам удастся издавать свои книги?» Я ответила: «Только благодаря поддержке читателей».

И действительно: коммерческими издательствами за рубежом книги выпускаются большей частью только в том случае, если они — политическая сенсация. Меценаты же — то-есть люди, жертвующие свои деньги на заведомо неприбыльное, и вряд ли могущее окупить себя предприятие, — очень редки, и мне таких встречать не приходилось. Должна однако сказать, что косвенную материальную поддержку мне все таки оказали двое: покойный Юрий Павлович Канаков, издатель калифорнийского журнала «Согласие», приславший авансом 250 долларов на издание «Кораблей» (книга обошлась в две тысячи и разошлась), и здравствующий, надеюсь, еще долгие годы, Игорь Петрович Белей, владелец типографии в Мюнхене, где печатались все мои книги. Несмотря на то, что он — энергичный делец, создавший порядочное предприятие, для чего требуется коммерческий расчет, он неизменно оказывал именно при этом расчете большое снисхождение, за что приношу глубокую благодарность, тем более, что о собственном «заработке» с книг автору говорить, конечно, вообще не приходится.

Но писать «в стол» тоже невозможно. Поэтому вот эта еще, по всей вероятности, последняя книга, чтобы подвести итог: Почти тридцать лет тому назад (1947) я издала сборник рождественских рассказов-сказок, печатавшихся еще в Риге в моем журнале — «Королевство алых башен». Это было первой попыткой и с большим сомнением: нужны ли комунибудь теперь еще «сказки»? Но книга разошлась без остатка, ее постоянно спрашивают и теперь. А так как я написала с тех пор еще порядочно «сказок», рассказов определенного жанра, то и хотелось собрать их напоследок в один том, вместе с «Королевством».

Потому что — как мне пришлось убедиться — сказки тоже очень нужны для жизни, и в наше время может быть, в особенности. Каждому. И мне, и Вам. Если же они дадут Вам что-нибудь — минуту тишины, отдыха, улыбку, мысль — помогут жить, как помогали мне — то значит, не напрасно написаны.

Мюнхен, 1975

Ирина Сабурова

## КОРОЛЕВСТВО АЛЫХ БАШЕН

В королевстве Алых Башен жили рыцари и маги, и на самой древней башне — старый, мудрый Звездочет: он скрипел пером гусиным по пергаментной бумаге и записывал, что было, и что будет каждый год. За стеной из алой яшмы поднимался гордый замок, по углам — четыре башни: Север, Запад, Юг, Восток. Башни были из рубинов, кимофанов и гранатов, алмандиновые окна, в каждой башне — огонек...

Сам король жил в старом замке и не правил королевством: да и этою странною управлять — излишний труд. Ею правил маг-волшебник, Звездочет на древней башне, и ему помощник верный был веселый старый Шут. А Принцесса в третьей башне из нежнейших алых шерлов пряла пряжу из тончайших серебристых облаков; и была она прекрасна, как Принцесса в старых сказках, только в сказках, для которых не найдется даже слов...

В этом странном королевстве никогда не гасло солнце, никогда не меркли звезды, никогда не лилась кровь: там жила в последней башне золотая чудо-птица, птица с крыльями, как пламя, с странным именем — Любовь...

Птица в башне пела песни: и они неслись далеко, очаровывая души, покоряя все сердца; в королевстве Алых Башен никогда не лились слезы, в королевстве Алых Башен было счастье без конца.



Ах, какое это было чудесное королевство!

Я, впрочем, совсем другого мнения о нем: извольте радоваться! — тащить огромную тяжелую картонку, в которую запакована какая-то удивительная елочная игрушка, выписанная генералом для своей племянницы из Парижа! И вместо того, чтобы ехать в отпуск, прямо домой, заезжать еще в чужую усадьбу, специально для того, чтобы передать ей этот подарок!

Эта огромная картонная тютя теперь торжественно красовалась на столе в гостиной. Я сперва, конечно, не обратил на нее никакого внимания и только с тоской поглядывал на часы в столовой, пока генерал угощал меня удивительным коньяком.

Наконец, генерал, крякнув, разгладил усы и заметил:

— Так, так, корнет. Получили первое боевое крещение, да-с. Три недели в лазарете? Владимир с мечами и с бантом?.. Поздравляю, поздравляю. Навылет? Это пустяки. У меня вот в Турецкую кампанию... ну, да об этом я вам какнибудь расскажу при случае, а пока вот маленькая просьба. Вы теперь на побывку домой? Не терпится, небось? Как же, святки, сам знаю. Так вот, по дороге, вам ведь недалеко — заверните в усадьбу моей сестры. Я уже писал им, чтобы лошадей выслали... Там, кстати, и Сочельник проведете и внучатную мою племянницу, Эльфочку, обрадуете. Свезите ей от старого дяди. Думаю, что угодил. Она у нас такая... воздушная, потому и Эльфочкой зовем, а настоящее то имя Людмила...

Генерал поднялся и, тяжело опираясь на палку, захромал в гостиную, где стояло картонное чудище.

Благодарю покорно! Если я успею еще захватить поезд, то все равно

с этим «заездом по дороге» никак не попаду к Сочельнику домой. Правда, наше имение не очень далеко, но все-таки; а мама так просила меня встретить с ней Сочельник! Шутка ли сказать — целый год войны, как не видались . . .

Но не исполнить этой «просьбы» было невозможно, и я, проклиная и генерала, и ни в чем неповинную «Эльфочку», уселся вечером в вагон с огромной коробкой.

А вышло так, что я до сих пор иногда вспоминаю этот Сочельник, может быть, потому еще, что это было последнее, настоящее Рождество.

Вороньи рысаки, ждавшие меня на маленькой белой станции, удобные теплые сани, с коврами и подушками. Несколько верст по гладкой, заснеженной дороге. Аллея оголенных кленов, целая свора огромных, злобных догов, и старый, уютный дом, с колоннами, как и полагается, весь в кустах сирени, должно быть, теперь совсем закутанной снегом.

Маленькая, глухая усадьба, и дом теплый, уютный, с переходами, неожиданными каморками, ступеньками, весь еще полный озабоченной предпраздничной суетней. Пахло елкой, мятными пряниками, сдобными булками, и еще чем-то неуловимым, чем пахнут засохшие лепестки роз в старых комодах.

В доме было только две женщины: седая, представительная старуха и ее внучка — Эльфочка. Действительно, воздушная, как сказал генерал. Совсем еще подросток, тоненькая, хрупкая, с детскими плечиками, первый раз, наверно, надевшая праздничное шелковое «взрослое» платье, все в кружевах и воланах. На вид ей было не больше четырнадцати лет, но она старалась держаться, как взрослая.

Я приехал как раз во время — только что собирались зажигать елку. Конечно, о том, чтобы ехать сейчас обратно, не могло быть и речи, да и все равно пришлось бы до следующего утра ждать на станции. А в этом доме даже совершенно чужого человека сразу охватывала такая атмосфера уюта и тепла, что я сразу почувствовал себя как дома, и с увлечением стал помогать Эльфочке вешать на елку последние стекляшки и пряники.

Огромную белую картонку поставили под елку.

— Вы не знаете, что в ней такое? — спросила Эльфочка, лукаво прищуриваясь.

— Королевство, принцесса!

В дверях появилась бабушка.

— Ну, а теперь, дети, уходите, я сама зажгу елку, и потом вас позову, — заявила она.

Я не успел даже обидеться на это «дети». Позвольте, мне двадцать лет, я уже ранен и . . . Но Эльфочка схватила меня за руку и потащила куда-то по лестнице вниз, в столовую. На столе, украшенном маленькой елочкой, стояла кутья и узвар, а при виде осетрины я невольно вспомнил, что ужасно голоден, но Эльфочка указала мне какой-то пирог, стоявший посередине стола, и таинственно прошептала:

— Это «королевский пирог» — вы знаете, что это такое?

Нет, я не знал.

— Старинный французский обычай, — пояснила она. У нас была одна француженка в роду, так вот с тех пор и осталось . . . В Сочельник печется пирог, и в него запекается золотой, а потом пирог разре-

зается на столько кусков, сколько людей в доме, и еще один оставляется для случайного гостя, или для нищего. У кого окажется золотой, тот объявляется королем, выбирает себе королеву. Они надевают короны, садятся рядом за стол, и все должны исполнять в этот вечер все их желания... В прошлом году королем оказался кучер Иван, — тот самый, который вез вас со станции... Мы его еле-еле усадили за стол, и я была выбрана королевой... и ужасно радовалась, но я была тогда маленькая...

— А сколько вам теперь лет, Эльфочка?

Она презрительно посмотрела на меня и пожала плечиками:

— Дамам не задают таких вопросов, корнет.

\*

Под елкой оказалось много подарков: какие-то салфеточки, вышитые Эльфочкой для бабушки, а для Эльфочки — книги, золотые чашки, жемчужная нитка на шею...

— Теперь, конечно, ты еще не можешь ее носить, — заметила бабушка. — Но когда я повезу тебя ко двору...

Не забыли даже меня, случайного гостя: в красивый портсигар из слоновой кости с художественной резьбой была всунута записочка с моим именем, и я, окончательно растроганный, поцеловал бабушке руку, а Эльфочка захлопала в ладоши.

— Ну, а теперь дядин подарок!

Белая картонная тютя была вытащена на середину гостиной, и мы принялись ее разворачивать. Картон, бумага, еще бумага...

Ах, какое это было чудесное королевство!

Действительно, я никогда больше не видал таких художественных картонажей: старинный замок, строго выдержанный в готическом стиле, с четырьмя башнями по углам. В каждую башню вставлялся фонарик, и тогда окна из красноватой слюды бросали алые отблески на белую вату, покрывавшую стены и золоченые крыши. Получалось впечатление, будто-бы в башнях действительно живые фигурки: старый звездочет, в мантии, усыпанной звездами, — шут в колпаке с погремушками, прекрасная принцесса с прялкой и чудесная золотая птица. Все фигуры были сделаны из воска и раскрашены, а птица настоящая, вызолоченная, с крыльями, усыпанными мелкими драгоценными камнями. Она могла служить потом замечательным пресспапье.

Отдельно же, на самом дне картонки, лежала французская книга, отпечатанная на желтой, плотной, как пергамент, бумаге, с позолоченными заставками и заглавными буквами — маленький шедевр печатного искусства — «Королевство Алых Башен».

Я заглянул через плечо Эльфочки, совсем забывшей о том, что она взрослая, и усевшейся тут же на ковре, среди обрывков бумаги, раскрыв на коленях книжку:

«В королевство Алых Башен Принц пришел однажды юный, стройный, смелый и отважный, в раззолоченных шелках; кудри — нити золотые, а глаза — как в небе звезды; меч отточен в его ножнах, и улыбка на устах.

Подойдя к старинной башне, он поднялся на ступени:

— Расскажи мне, что ты знаешь, тайну звездную открой!

Звездочет взглянул на принца, посмотрел на что-то в звездах, и в молчании суровом покачал лишь головой. Что же принцу было

делать? Ко второй пошел он башне, где, сидя верхом на троне, заливался смехом Шут:

— Ваша светлость, в нашем царстве только песни и веселье, — вы пойдите к третьей башне, не задерживайтесь тут.

А принцесса в третьей башне, как мечта, была прекрасна... И, увидевши друг друга, оба поняли без слов... Потому, что в этом царстве все любили без сомнений, все мечтали, не тоскуя, и пленялись без оков...

— Почему же эта птица заперта в четвертой башне — из карбункулов, рубинов, темно-красных янтарей? Почему никто не знает и не видит этой птицы, и никто ей не раскроет в алых яхонтах дверей?

И, конечно, все случилось, предначертанное в звездах. Принц открыл у башни двери, двери, алые как кровь; и, как пламя ввысь метнулось, улетела в небо птица, золотая чудо-птица с странным именем — Любовь...

В королевстве Алых Башен горько плакали все люди: Шут, Принцесса, даже старый, очень мудрый Звездочет; и тогда Принц поднял руку и поклялся, что добудет и обратно чудо-птицу в королевство принесет.

За столом, в моем куске «королевского пирога» оказался золотой, и Эльфочка торжественно надела мне на голову корону, уверяя, что она мне очень идет, а я выбрал, конечно, ее королевой, хотя сперва, чтоб подразнить, предложил корону бабушке.

Уезжал рано утром, когда все в доме спали, чтобы не опоздать на поезд. Около крыльца стояли вороны в клубках белого пара — было раннее зимнее утро, когда, как на дешевых картинках, розовое небо и голубой снег. В передней, надевая шинель, услышал скрип и обернулся: с лестницы спускалась Эльфочка, запахивая на ходу шелковый, подбитый лебяжьим пухом халатик.

— Прощайте, — смущенно прошептала она, — я... я хотела вас попросить — возьмите — на память — вот эту ладонку... знаете, на войне...

Она протянула мне старинную медную иконку Божьей Матери, и в глазах ее снова забегали лукавые огоньки:

— Вчера вы должны были исполнить любое мое желание, но я прошу вас сегодня, корнет.

Я взял ладонку, щелкнул шпорами, приложился к тоненькой, детской ручке, а потом, не удержавшись, рванул ее к себе и крепко поцеловал в губы.

Эльфочка ахнула, вырвалась и бросилась опрометью вверх по лестнице, оставив на пуговице моего обшлага маленький комочек зацепившегося белого пуха.

Я выскочил на крыльцо.

— Пошел!

•

«В королевстве Алых Башен стало сумрачно и глухо: развалился старый замок — первым умер в нем Король... и остались только башни, что, как прежде, возвышались, над страной, теперь узнавшей, что такое страх и боль... Шут умолк и не смеялся; Звездочет еще стал строже; только в сердце у Принцессы слабо теплилась Мечта. А в четвертой, алой башне, где жила когда-то птица, птица, с именем чудесным, поселилась — Пустота...»

И однажды... был Сочельник... звезды вспыхивали в небе, все кругом покрыл, как ватой, белый искрящийся снег... В двери старой гусклой башни, где жила теперь Принцесса, постучался робко путник, попросился на ночлег. За столом уселись рядом: Шут, Принцесса, бедный путник, и совсем уже ослепший, старый, мудрый Звездочет.

— Я, — сказал он, — твердо верю: никогда не лгали звезды, и когда настанут сроки, в эту башню Принц придет...

— Я пришел, — ответил путник, — только — где же королевство? Не развалины же эти — башни алых янтарей? Где-ж прекрасная Принцесса? — Нет, конечно, не для этой я искал по свету птицу, всех чудесней и нежней... Я не видел королевства ни чудеснее, ни краше королевства Алых Башен, обойдя кругом весь свет... Правда, я прошел напрасно, не найдя волшебной птицы, но и здесь нет Алых Башен, и Принцессы тоже нет...

А Принцесса, бросив прялку, посмотрела на пришельца:

— Нет, — она сказала твердо, — ты совсем не тот... не тот... Принц был юный, светлокудрый, и глаза его, как звезды; у тебя-ж седые брови и усталый, горький рот...

В королевстве Алых Башен — больше нету королевства: не узнавшие друга друга не имеют права жить; и потерянную радость, и потерянное счастье, суждено, как алый камень, в сердце горестно хранить...»



Ах, Боже мой, Сочельник! Странный день в году, когда невольно вспоминаешь прошлое, — хорошее прошлое, конечно, настоящую жизнь. И не только это: Рождество — это детский праздник, или вернее, праздник, когда и взрослые чувствуют себя детьми.

Мама, дом, детство, блестящие елки... я обычно, хожу в этот вечер под чужими окнами, заглядывая в них и стараясь представить себе, что там, у елки, такие же счастливые люди, каким и я был когда-то... Или забиваюсь в свой угол, зажигаю на столе свечку и наливаю стакан. Один.

Приглашали знакомые. Не пошел. Заработал к Рождеству немного денег и решил закатиться с компанией в ресторан. Там играет старый цыганский примас — скрипач Янко — старик совсем, а хорошо помнит офицеров моего полка. Да и в Добровольческой я с ним встречался... По крайней мере, хоть старое веселье помнит, а то разве теперь умеют веселиться, ухаживать, по-настоящему любить?..

Ну, о любви то я и сам не вспоминаю, смешно... Чересчур много «любимых женщин», всех этих Адочек, Верочек... Надоели.



Пили до утра. Серпантин, воздушные шары, еще что-то... Играл Янко, танцевала акробатические танцы какая-то балерина, тонкая, гибкая, как змея.

Я ее видел впервые: недавно приехала. Но нашлись знакомые, пригласили к столу, а потом, под утро уже, поехали к ней пить кофе. Собственно говоря, собирался я один, потому что не все ли равно — она ли, другая?... Но за мной увязалось еще несколько.

Странное впечатление, когда выходишь на улицу, на рассвете зимнего дня. Улицы кажутся такими тихими, подметенными снегом, праздничными. Сразу чувствуется почему-то, что по ним будут ходить в

этот день спокойно и радостно, потому что праздник... В английских книжках есть такие картинки «Merry Christmas» — Веселое Рождество.



У Людмилы Лэн — так значилось в афише — две меблированных комнаты, но может быть потому, что мы, войдя, сразу бросили пальто и шубы, куда попало, они стали как-то особенно неуютными. На столе стояла маленькая елка, с приготовленными свечами.

Людмила сварила на электрическом кофейнике кофе, поставила ликер и, подойдя к столику, стала зажигать на елке свечи. Она, кажется, была трезвее всех.

— Теперь уж скоро утро, — сказал я. — Зачем вы зажигаете?

Она улыбнулась.

— А я для себя... Пейте, пожалуйста. Раз Рождество, значит, должна быть елка... — Она взяла какой-то красный фонарик, лежавший под елкой, осторожно разгладила его, выпрямила, зажгла.

Я подошел и обнял ее за плечи.

— Ну, дорогая... — хотел сказать, — пойдете за стол, — и не кончил.

В руках у Людмилы Лэн была мятая, кое-где порванная, золотая башенка с алыми окнами из слюды.

— Это что у вас такое?

Она поставила башенку на подоконник.

— Старая игрушка... С детства еще. Мне подарили однажды на елку целый картонный замок... Королевство Алых Башен... И, как ни странно, каким-то чудом все-таки удалось сохранить одну башенку... Я с ней никогда не расстаюсь. В Сочельник зажигаю и ставлю на окно, — может быть, кому-нибудь и посветит этот огонек.

За столом кто-то рассмеялся и плоско сострил, Людмила на минутку прижалась лбом к стенке. Я видел сбоку ее лицо — темные круги под глазами, накрашенные губы, выбившийся пепельный локон... Синие глаза смотрели устало и спокойно. Они больше не удивлялись и не ждали ничего.

Да, теперь я узнал ее — тоненькую Эльфочку — из старой усадьбы, — старый дом, елка, Королевство Алых Башен и я, двадцатилетний гусарский корнет...

И таким же вот, рождественским утром, первый — и последний наш поцелуй в темной передней.

Я прикоснулся к рукаву, как будто ожидая найти на нем еще тот комочек лебяжьего пуха, зацепившийся за пуговицу шинели — у Эльфочки был лебяжий халатик, легкий, как снежинка... Сказать ей? Зачем? Разве она узнает во мне того корнета? Да и я не узнал бы ее, если не эта башенка... Я прошел в другую комнату, разыскал свою шляпу, пальто и вышел на улицу. Было холодно и зябко.

В большом доме с темными окнами, на четвертом этаже, у самого подоконника виднелся слабый, алый огонек...

Как кончалась эта сказка?

«В королевстве Алых Башен...» так ведь нет же королевства...

Разве принц пришел обратно? «...растворилась в башне дверь...»

К чорту башню! Нет, не помню... Как сбережь нам в жизни сказку, если даже в этой сказке — горечь жизненных потерь? 1934 г. Рига.



## ТЕТУШКА-МЕЛЬНИЦА

«Свежий ветер с севера-северо-запада» . . .

Это радио.

«Клип-клап! Клип-клап!» — несется в ответ из кухни. А это — мельница ухватила «ветер» открывшейся двери и вертит, щелкает крыльями. Забавная она, всегда напоминает о себе. Хорошо, что я ее тогда не выбросила . . .

Тогда мы только что переехали в дом, и он не был готов, не везде еще были полы, не хватало дверей, окон. Решила устроиться пока кое-как, на походных кроватях и ящиках. Но брат возмутился. Откуда он раздобыл денег — не знаю, но отправился на склад старой мебели и вернулся с полным грузовиком: пружинные матрацы, обшарпанный, но зато круглый стол, громадное дедовское кресло и невообразимый пестрый кухонный буфет, бывший невозможной дешевкой и в свои лучшие времена. Очевидно, его потом красили не раз, и каждый раз плохо, и притом другой краской. Верхние шкапки были заклеены мерзкой бумагой «под стекло», а сбоку привинчен какой то ящик, вроде фаянсового, с синим голландским рисунком, и ручкой: кофейная мельница.

Я неблагодарна. Я взорвалась.

— Эту гадость зачем было брать?

— Буфет то? — изумился брат.

— У меня есть прекрасный кухонный буфет! Единственная приличная мебель в доме! Куда же это чудище?

— А моя комната? Набила шкаф всякими своими тряпками!

— Но не его же туда . . .

— Вот именно.

Брата не переспорить. И в конце концов, он привез мне чудесное кресло . . . а потом я выброшу это мещанство на чердак, конечно, сожгу, разобью в щепки!

— Главное, есть куда класть пока. И я выкрашу . . . мечтательно произнес брат. Значение его угрозы я поняла только на следующий день, вернувшись с работы: даже на входной двери рыжело коричневое пятно. Пятна были на полу, дверях и моем прекрасном буфете тоже! Пятна вели веселой дорожкой в комнату брата, где рыже-коричневым стало все: пол, столик, стулья, и, конечно, новое приобретение. Коричневым был и сам брат, и все мои, бережно хранимые, кисти!

— Все в тон! — ликовал он. Весь день трудился!

Я пыталась заплакать.

Мельница висела сбоку на буфете, и мне было совсем не до нее. Так она и пылилась до торжественного дня, когда мерзкое сооружение было действительно вытащено на чердак, где я приспособила его под склад веревок, цветочных луковиц и всякого нужного хлама. Тогда только и обратила внимание на нее, рассмотрела как следует, и стало жалко выбрасывать. Пусть висит на кухне. Винты заржавели, но я почистила, смазала, и просидела два вечера подряд, приделывая ей новую крышу и прекрасные крылья из фанеры. Они немного мешали

вертеть ручку, но зато сами вертелись от малейшего дуновения, и щелкали: «клип-клап», как будто бормотали что-то. Очаровательная мельница!

— Пусть и в кухне будет сознательная старомодная нотка, — объяснила я знакомым. С какой стати покупать дорогую электрическую машинку, когда так не трудно повертеть горсть зерен на ручной мельнице? Не люблю серийных вещей, вроде этих модных столов, вывернутых так, что поставить на них ничего нельзя, а встретить можно в любой квартире, куда ни приди. Все на конвейере, и все без души. А у нее безусловно есть свое выражение.

Так она и начала крутиться: приветливо, хозяйственно, уютно. Я давно простила брату.

«Ветер норд-норд-вест . . .»

Здесь всегда западный ветер. Одну стену дома пришлось обложить плитами, чтобы меньше дуло. Сад еще молодой, да и не хотелось сажать хвойной изгороди, наряднее цветущие кусты. Но кругом поля и луга, недалекий лес не защита. Это даже не предместье, а просто деревенский дом, карманная усадьба. Не слышно ни трамваев, ни автомобилей, зато свистит ветер, стучают в окно ветки. Сад сейчас в темноте, по нему бегут тени от фонаря у калитки, и фонарь тоже старый, из тех, что когда то зажигал ламповщик с лесенкой, а от того, что в нем сейчас электрическая лампочка, стиль не нарушен.

Можно было бы затопить камин для настроения в этот холодный ноябрьский вечер, но я одна дома, мне лень, хотя и зябко. Наверно все таки ветер забрался под крышу . . . проще включить электрическую печку, хоть и не живой огонь, но тепло, и хорошо покурить, лежа на диване и размышляя: что же начать? Работы много, выбор труден: дошить начатое платье, взяться за новую книгу, навести порядок в письменном столе? . . .

«Клип-клап, клип-клап» . . .

Неужели забыла закрыть двери в кухню? Не люблю открытых дверей по вечерам. А встать лень.

Да и не нужно. Слышу, как дверь захлопывается, потом что-то шуршит в коридоре, будто задевает за стенки — и на пороге моей комнаты появляется мельница.

Да, вот так просто: вошла и стоит. Не та, что прикручена на кухне, а большая, почти до потолка. Стоит и колыхается, потому что на ней надет, как прозрачный халат, деревянный остов настоящей мельницы из серых досок, с коричневым кирпичным низом и перильчиками вокруг, а наверху крылья, и они стгибаются слегка, чтобы не задеть потолок и вазы на полке. Под халатом же ясно видно, что она большая, толстая, в ярко коричневой юбке, подвязанной белым передником, в белой с синим, будто вышитой крестиком, вязаной кофте, и настоящим голландском чепце. Волосы гладко прилизаны, глаза живые и круглые, а щеки немного висят, но очень решительный двойной подбородок.

Она отодвинула дверь в моей раздвижной стене, проплыла к письменному столу, и уселась в дедовское кресло. Еле влезла в него, но прозрачный деревянный остов попрежнему колышется слегка, то пропадает в тени, то снова виден, и очень трудно отличить руки от крыльев, — как во сне, когда реальное . . .

— Оставь, пожалуйста, измерения — ворчливо произносит она, усаживаясь поплотнее. — Реальное-нереальное, ирреализм, сюрреализм! Не все ли тебе равно, в каком плане существует то, что существует? Умнее от определений не станешь. Принимай все, так как есть, и только. Можешь называть меня тетушкой.

Мне всегда хотелось иметь какуюнибудь, хоть самую завалиющую тетушку, и не в детстве, а гораздо позднее, но вот не было такой. Я не знаю поэтому, как с ними обращаться: в смятении закуриваю новую сигарету, сразу же соображаю, что это может показаться невежливым, машу рукой, чтобы отогнать дым, который, как назло, тянется к окну, к креслу, спохватываюсь снова, что от машущей руки могут завертеться прозрачные крылья — и прижигаю отдернутой сигаретой любимую вышитую подушку.

— Перестань мельтешиться, — строго одергивает она. — Можно подумать, что ты привыкла разговаривать только с людьми! А кто заключал договор с крысой Хруп-Хруп? Впрочем, хоть я совсем презираю мышей, но не уважаю и крыс, потому что они тоже едят зерно и неопрятны. Но можно подумать, что ты никогда не роднилась с кленом, не просила расти поскорее свою персидскую сирень вот тут за окном, у тебя никогда не было домового в кожаном табурете, и друзей в лесу и вообще! Теперь поговоришь с мельницей, давно пора.

Все это так, но у меня все еще не находится подходящих выражений.

— Я... я очень рада, дорогая тетушка, что вы чувствуете себя хорошо в моем доме... выдавливаю я наконец робкое приветствие.

— В твоём доме! — фыркает она пренебрежительно. — Ты что ж, меня за кофейную считаешь?

Опять села в лужу! Нет, ей Богу, с крысой Хруп-Хруп было куда легче столковаться. Я просто сказала ей: «Пожалуйста, я буду класть тебе каждый вечер корки, косточки и разное, а ты позаботься о доме, и выстави этих паршивых мышей, которые и днем прыгают по полкам и изгадили мне всю крупу! Вообще я ничего не имею против мышей, они тоже почтенные хвостатые, но надо же честь знать и иметь манеры!» Только всего разговору и было. Хруп-Хруп ежевечерне являлась за своим ужином, не смущаясь ничьим присутствием, шествовала медленно и важно, а через три дня не было ни одной мыши, и они пропали навсегда. Потом я с ней здоровалась при встрече и благодарила, и только. Милая Хруп-Хруп в том, старом, давно потерянном доме...

— Но кофе — прекрасные зерна — возражаю я наудачу.

— Да, для домашней помолки. Кухонная мельничка, не спорю, уютная вещь, если она настоящая, а не с электрическим хвостом, и от чашки кофе я сама не откажусь, но мы говорим серьезно. С твоей стороны очень мило, что ты починила ее, ты почтительна к старшим и чувствуешь вещь — иначе бы я и не подумала придти к тебе. Но я — Мельница вообще, понятие, символ, ветряная, старшая в роде. Я не отрицаю, что у моей кузины, с водяным колесом, тоже есть известная прелесть: она живет уединенно, вокруг нее всегда деревья, журчит вода. Однако, в омутах водится подчас всякая нечисть, а вода вечно одинакова и журчит одно и то же. Колесо с крыльями не сравнишь! Не говоря уже о том, что вокруг нас, ветряных, всегда широко раздви-

нут горизонт, часто близко море, и всегда ветер. С севера и с юга, с востока и запада, со всех концов света, из всех стран, и каждый рассказывает новое. Кузина Водяная постигла лесную премудрость, не спорю, но мы, Ветряные, знаем все в мире! Да, пожалуй, и всех — чего ж бы не знать ветру?

Больше всего мне понравилась мысль о кофе. Кофейник стоял рядом под грелкой, и я быстро налила чашку и поставила рядом с ней на край письменного стола, стараясь не задеть крыльев. Она снисходительно кивнула головой, и стала пить, как пила бы любая почтенная тетушка, пришедшая в воскресенье в гости. Кофе, очевидно, оказалось по вкусу, она смягчилась слегка.

— Впрочем, — заметила она, ставя чашку обратно, — вода ли, ветер ли помогает мельнице, суть от этого не меняется. Мы мелем зерно. Люди его выращивают, собирают, сушат. Они должны жить возле своих полей, возделывать и любить землю, строить кладовые для полных ларей и мешков. Это и есть настоящая жизнь. Зерен много, людей тоже, каждый живет своей жизнью, и все похоже по существу, а мы перемалываем их в пыль, и мелем от века и до века, всегда и все...

— «А завтра мельницы все будут продолжать — молоть...» вспоминаю я цитату из Ибсена, так поразившую меня в молодости. — Но ведь сказано, что не единым хлебом жив человек, дорогая тетушка! — заканчиваю я невольной дерзостью и сама пугаюсь.

— Фррр! — она так рассердилась, что крылья завертелись сразу быстро-быстро, как от порыва ветра. — И ты туда же! Просто удивительно, до чего у вас всех вывернуты мозги. Стоит сказать простую вещь, как ее сейчас же переворачивают вверх ногами. Давай-ка продолжим: а без хлеба прожить может? То-то и оно. Делаете только вид, что можете питаться теориями и таблетками, и что эта гадость чрезвычайно вкусна, к тому же. Мы мелем жизненное зерно в муку, из нее делают хлеб, теплый, с блестящей вкусной корочкой, хлеб, дающий здоровье и жизнь. Положим, бывает мука и потоньше: для медового пряника или сахарного кренделя, но праздники тоже очень нужны человеку. А из самой белой, самой тонкой муки печется святой хлеб, причастие в церкви... Мало только попадается пригодных для этого зерен. Так и люди: перемалываются по-разному. Но теперь довольно: я не привыкла много говорить, я люблю слушать. Ты ведь не в первый раз меня видишь: вот и расскажи о своих встречах с мельницами — за всю жизнь. Припомни.

Ее тон не терпел возражений, а кроме того я действительно отношусь с почтением к старшим. Правда, я сама давно уже взрослая, но перед столетними ветрами в ее крыльях становлюсь маленькой.

— Первый раз я увидела мельницу, когда мне показала ее из окна вагона бабушка, по дороге к ней в усадьбу. Мне очень понравился ее силуэт, и когда я потом нашла картинку в своем первом Дон Кихоте, то узнала сразу...

— Сраженье с ветряными мельницами! Каждый толкует на свой лад. А тебе не было жаль, что этот свихнувшийся рыцарь лез на мельницу со своим копьём и пытался мечом рубить крылья? Те самые крылья, без которых она не может молоть зерно и дать хлеб?

— Но ведь он принял их за злых великанов, машущих руками...

— Вот именно. Не разобрав, в чем дело, кинулся драться с тем, что

примерецилось. Небось, когда свалился на землю, так самому стыдно стало. Злых великанов сколько угодно, с ними бы и дрался, а то сколько раз уж так: переломают у почтенных мельниц крылья, и притом с самыми благородными намерениями, а на настоящий бой сил и не хватает. Вот и делают так революции, вот и выходит, что не убавили зла, а прибавили: помольщики то без муки остались. Ну, дальше!

— Потом, это было время первой мировой войны, я получила в подарок «Серебряные коньки», и на каждой странице в книге были голландские пейзажи. Мама собирала в ту зиму коллекцию кофейных чашечек — белых с синим, как дельфтский фарфор, и вышивала новую скатерть. Я помню, что очень удивилась: скатерть была из тонкого белого полотна, и по ней шли каймой мельницы, рыбацьи шхуны, голландцы в широких штанах и деревянных сабо, и голландки в чепчиках, а на углах были вышиты медальоны с красивыми головками, тоже в чепчиках, только кружевных.

— Что ж тут удивительного?

— Меня поразили именно эти медальоны. Вышивалось все синим и голубым, и так странно было видеть профиль девушки, обведенный синей ниткой. Как же так: лицо — и вдруг синее? Но красиво.

— Тоже не удивительно. Теперь нарисуют синюю закорючку, и говорят, что это потусторонний сон, или драка трех обезьян, какими их видит художник, и притом только он один, и притом только это еще безобразие вообще. Голубые голландки все таки лучше, в них есть стиль: в стране пестрые цветочные поля и яркие платья, но даже ветер голубой от моря. Кстати, можешь налить мне еще чашечку кофе, и я объясню тебе цвета.

Я снова вскочила, чтобы подать ей, и она стала пить маленькими глотками, отдувая полные, свисающие щеки.

— Тебе никогда не приходило в голову, почему редкий человек не любит какогонибудь оттенка синего? Чаще всего — голубой. Именно человек, как живое существо, которому присущ только один единственный цвет — красный, потому что красного в остальной природе в общем нет в чистом виде. Да, да, не возражай, что маки и тюльпаны, и ягоды, — это мелочь. А вот небо синее, и это основной цвет, воды и воздуха, солнце — желтое, и вместе они дают зеленый растениям. От желтого, в сущности, и коричневый цвет земли, которая тоже основа. Красного же цвета только...

— Кровь, — догадалась я.

— Об том и говорю. Скрытый цвет жизни, которую видишь только, когда она прольется. Может быть поэтому всякое красное пятнышко в траве кажется таким радостным? Впрочем, ненависть тоже в крови, красными бывают и флаги, что часто совсем уж не радостно, и боль — символ Красного Креста — тоже кровь. По крови человек — только животное, но поскольку у него есть душа, он стремится к высшему — отсюда и любовь к голубому. Бессознательная тоска по небу, давшему ему эту душу. Заметь, что звери не различают цветов, и если хочешь узнать человека, посмотри, какое у него чувство красок. Советую тебе думать больше всего о синем — беспредельный, высокий цвет, цвет разлуки, и его надо держать чистым. Ну, дальше!

— Потом, когда я начала самостоятельную жизнь — это было рано, родители пропали без вести в гражданскую — я тоже вышивала таких

голландцев, шхун и мельницы на салфеточках в подарок учительнице. Я была самой бедной девочкой в классе, жила у знакомых, давала уроки с тринадцати лет, и всегда ходила в одной и той же суконной юбке, которую ненавидела. Учительница обласкала меня за сочинение, и ставила для школьного вечера мою сказку. Я пришла к ней на дом прочесть другую, и стыдилась признаться себе самой в «обожании». Но у нее были длинные, ниже колен, золотистые косы, и дома она вынимала из них шпильки, у нее болела голова. Мужа ее я боялась: у него была длинная черная борода, и он казался мне ужасно старым и строгим, я очень жалела ее. Так хотелось сделать ей красивый подарок, и я долго возилась с этой дюжиной салфеточек, исколола себе иголкой пальцы, так что даже выучилась шить с наперстком... Когда держала потом экзамен в институт, писала сочинение на тему «Письма моей мельницы» Додэ... Еще, много лет спустя, часто ездила в деревню, где жила на водяной мельнице у запруды...

— Экзамен, значит, выдержала. У человека часто ограничено пространство, как и он сам. Что ж из того, что он переносит в него большой мир только в символах? Лучше вышивать голландскую мельницу, чем ничего не знать о ней! Важно стремление и образ. Ну, а потом?

— Я видела одну знаменитую — поспешила я ее задобрить — (видимо, она не слишком любила свою водяную кузину, а о ней я как раз могла рассказать многое)... — в Потсдаме. Уже во вторую мировую войну. О ней есть рассказы во всех Хрестоматиях. Мельница заслоняла вид из окон королевского дворца, и король, это был Фридрих Великий...

— Мельница ему, видите ли, помешала!

— Он все устраивал во французском вкусе в своем Сан-Суси... и сперва конечно, предложил мельнику продать ему землю со всеми постройками, потом, когда тот отказался, стал предлагать больше только за снос, а в конце концов решил отобрать силой, но тогда мельник подал на короля в суд — и выиграл дело. Закон оказался сильнее.

— Трогательный образец человеческой свободы и права! В особенности трогательным он должен был казаться именно во время этой последней войны, неправда ли? Люди обычно восхищаются тем, чего у них нет.

— К сожалению, мельница была уже в мое время переделана в ресторан, очень красивый, только крылья не вертелись больше. Может быть деревья в парке так разрослись за двести лет, что заслоняли ей ветер...

— Ерунда! просто сами испортили, это на вас больше похоже. Я слышала о «Мулен Руж» тоже. Ведь додуматься надо до такого выверта: красная мельница! Что же тут может получиться хорошего!

— Но ведь жизнь идет дальше и меняется, людей стало очень много, у тебя не хватило бы ветра, чтобы намолоть муки и всех накормить. В приморских странах, впрочем, осталось еще довольно много мельниц, но при теперешних экономических условиях они не достаточно рентабельны...

— Во-первых, ты сама не веришь тому, что говоришь, во-вторых, думаешь иначе, а в третьих об экономике брось. Она бурого цвета, а я унылости не люблю. Неприлично также забывать, с кем ты разговариваешь. Я простое, понятное существо, а не теория с какиминибудь

«измами!» Дважды два — четыре, клип-клап! Я живу под небом, и никогда не забываю о нем, потому хотя бы, что мне нужен ветер, чтобы дать хлеб. Это вы решили доказать, что дважды два — все, что угодно, а не только пять. Ну и доказали: все пошло вразброд. Давно пора бы вспомнить старую, добрую, честную таблицу умножения и восстановить четверку. Впрочем, тебя лично я не упрекаю. Ты все таки приделала старой мельничке крылья и шляпу, и радуешься. И хлеб ты тоже часто печешь сама — это в стиле усадебного дома, так и должно быть, когда живешь среди полей. Люди должны сами печь хлеб — только тогда они поймут жизнь. Ну, вот ты поняла — и перемололась. А в награду я расскажу тебе историю твоей кофейной мельнички.

Хотя тетушка и заявила в самом начале, что больше любит слушать ветер, чем говорить самой... но каждому когданибудь надоест молчать, а я охотно смиряюсь пред непререкаемой властью. Это — прошлое, от него не уйдешь, и уходить не надо.

— Итак, она была с самого начала просто фаянсовым ящиком с синим рисунком. Только тебе пришло в голову приделать ей крылья! Она стоила дешево, мещанский товар, и какая то тетка купила ее в подарок для свадьбы в семье фабричного мастера. Дочка выходила замуж за учителя. Она была маленькая, кругленькая, белое платье резало ей подмышками, она поминутно краснела и была счастлива. Жених был молод и застенчив, а жили они в маленьком городе, и три года копили на обзаведение. Чтобы купить этот самый буфет, например, который так возмутил тебя, невеста пошла ухаживать за капризной больной. Потом буфет занял в ее кухне почетное место, тем более, что там же и ели, и жили вообще. Когда подросли дети, и их нельзя было больше держать в спальне, пришлось, скрепя сердце, перегородить парадную комнату и отдать половину детям. Вначале в этой парадной было очень немного прямой, жесткой мебели; перегороденная, она стала гораздо уютнее. Словом, жизнь шла своим чередом. Тогда, видишь ли, люди могли жениться, состариться и умереть — все в одном и том же доме, даже в городе. Жизнь была бедной, но незыблемой, понятной, но несправедливой, а главное нестрашной. Детей было много, четыре сына, а жалованья мало. Впрочем, это и сейчас не изменилось: для тех, кто нас учит, у нас находится меньше всего денег, да и любви тоже: учителей изводят, а родителей считают выжившими из ума. Некоторым потом становится жаль, но это приходит обычно с сединой, а тогда уже поздно... Так вот, неудивительно, что фаянсовая мельничка была в почете: кофейные зерна мололись в ней редко, это было праздничной церемонией. Ты сама знаешь, как становится светло в комнате, если на столе постелена праздничная скатерть, поставлены цветы, свежее печенье с такими вкусными крошками, и пузатый кофейник — все в аромате горьковатого, жженого кофе. Дело же не в том, чтобы поесть повкусней, хотя и это не плохо: дело в большой любви, без которой не может быть настоящего праздника. Вот если ее нет, тогда это натянутость, пустота и скука, шелуха от потерявшегося зерна.

— Но у маленькой жены учителя было много любви. Да, она была мещанкой. Она вышила незабудками домашние туфли мужу в первые же годы брака, вышивала и потом; она считала, что праздник должен непременно отличаться от будней; повесила канарейку в клетке на кухне, и в парадной комнате чувствовала себя гостьей; у нее была не

одна, а несколько копилочек, куда она откладывала в каждую понемногу на разное, и меньше всего на собственную большую мечту: серое шелковое платье. — Увы, оно очень долго было мечтой, и каждый год перешивалось или освежалось неизбежное черное: мальчикам, решил отец, надо было дать настоящее образование... ну, как еще описать жизнь, в которой один день так похож на другой, но у каждого свои заботы, и перемены глубоки, но незаметны? Молодая женщина сама выучилась кроить и шить штанишки и рубашки, а если не могла часто крутить ручку кофейной мельницы, то достаточно крутила ручку швейной машинки. Длинных брюк она не научилась шить, но зато кроила штанишки для других детей и вырученные деньги откладывала в копилку на костюм очередному сыну... Молодой учитель редко позволял себе выпить с друзьями, а игрушки нередко делал детям сам; со временем он пополнил и поседел, стал инспектором — но сыновьям надо было давать на университет. — Даже мука, как я уже говорила, бывает разная: простая и побелей, а иногда и горчит... Сперва дети были просто краснощежими мальчишками, дрались и попадали в лужи; уроки они делали на кухне, потому что там было теплее, летом ездили в деревню к дедушке, отцу учителя, а зимой в городе играли иногда на улице в снежки. Так, как теперешние дети, они не знали улицы, у них было слишком много дела дома: кроме уроков — почистить картошку, наколоть дров, принести угля, помочь матери натереть пол. Старший много читал в свободное время, второй любил мастерить всякие поделки из дерева, третий возился с белыми мышами — да, когда полагалось ложиться спать, казалось, что ни на что не хватало времени. Теперь его не хватает тоже: кроме улицы, есть радио, телевизор, кино, — зато можно обойтись без дома...

— Случались и болезни: иногда звали доктора, а большей частью обходились компрессами, иодом и липовым чаем. Родители никогда не говорили о нервах: ни себе, ни детям. Да, после кори у младшего сына одна нога стала короче, росла меньше, и он остался хромым. Да, старший сын чуть не умер от воспаления легких. Но это было несчастье, а несчастья неизбежны в жизни, и помочь им таблетками вряд ли можно. Впрочем, калечатся и умирают и теперь, со всеми таблетками.

— Слишком долго было бы рассказывать, как эти мальчишки относились к жизни. Сперва они принимали все от родителей и от нее как должное, потом стали кое что понимать, каждый по своему. Проще рассказать, как они относились к кофейной мельничке. Старший заинтересовался ею еще совсем маленьким, пытался потихоньку выкрутить все винты и исследовать; его отшлепали и запретили подставлять стул, чтобы достать до ручки. Через некоторое время он презрительно заявил, что это «совершенно простая машина», позднее знал уже такие слова, как «примитивная техника», а это, в его глазах, не было достойно даже презрения современного человека.

— Он хорошо учился, в гимназии и университете, кончил подряд физико-математический и инженерный факультет. К родителям относился снисходительно, и если забывал о них, то по недостатку времени. Потом поступил на авиационный завод, продолжал научную работу, стал признанным специалистом, и если не умер, то и сейчас делает еще ракеты или бомбы, чтобы разрушить хотя бы твой дом, где живет на кухне мельница его матери... Пожалуй, лучше было бы



молоть по таблице умножения, а? Или ты считаешь, что твоя тетушка слишком консервативна для настоящего прогресса? Я, видишь ли, считаю, что двигаться можно и вперед в разные стороны . . .

— Ну вот, теперь второй, золотая серединка. Он учился прилежно, но средне, мельницу находил в порядке вещей, нисколько не задумывался о ней, но часто молот кофе для матери: из первых заработанных денег купил ей ко дню рождения фунт самого лучшего сорта. В университет не пошел, потому что решил поступить сразу на государственную службу; пенсия обеспечена. Потом женился на вполне подходящей невесте; любил дома столярничать, завел целую мастерскую, экономя на покупке мебели; ничем никогда не выделялся, но все его любили за спокойствие, порядочность и мягкость; два раза в месяц аккуратно посещал мать, всегда принося ей мелкие подарки. Он очень уважал своих родителей, и всю жизнь твердо знал таблицу умножения: не больше, но и не меньше, и никогда не сбивался. Его призвали в армию на второй год войны и убили на третий. Клип-клап!

— Третий сын и мельница любили друг друга. Он привык с детства подолгу простаивать перед ней, изучая рисунок: знал его наизусть, но за ним ему мерещились голландские плотины, каналы, машущие крыльями мельницы, стучающие сабо и паруса кораблей. Ему всегда казалось, что он должен стать моряком, хотя больше всего он любил лес в деревне, а море знал по книгам. Книг он читал очень много, а еще больше мечтал и писал стихи.

— Стихи были гимназическими произведениями, не больше. Но раздумывать о дальнейшей судьбе ему было нечего: как только кончил гимназию, то отправился в армию, а потом на войну. Удалось кончить сперва военное училище; он выбрал морское. Но паруса не шелестели больше над морем; он попал на подводную лодку, увидел море с изнанки и разлюбил его окончательно. Его ранили два раза, он очень беспокоился за мать, сидящую под налетами, посылал ей посылки из своего пайка и любящие письма. Под конец войны попал в плен и там принял твердое решение начать жизнь сызнова и по настоящему: стать пастором или лесником. Вернувшись домой, в разбомбленный город, он нашел мать на прежней квартире, скученной от жильцов; мать перебралась на кухню. Погоны лейтенанта были давно уже сняты: он работал повсюду, где мог достать работу, и учился — лесоводству. Человеческие души не решился выращивать — а таким именно представлялось ему священство. Деревья же растут все, даже калеки, к небу. Недавно он стал лесничим, и живет теперь с матерью, давно овдовевшей, в лесу, в домике вроде твоего. Может быть, женится вскоре, хотя у него резкие складки на лице, плотно сжатые губы и грустные глаза. Он попрежнему много читает, и когда ходит по лесу, то ему кажется, что мог бы писать стихи. С деревьями он разговаривает так же, как ты, хотя больше знает о них ученых слов. Но латинские названия не заслонили ему сути, душа не запуталась в них и не потерялась. Он счастлив. Может быть, ему будет трудно найти жену из-за этого: среди брачных объявлений в газетах всегда трогательно и беспомощно выглядят объявления именно лесников, в которых подчеркивается, что ищут девушку, любящую тишину и способную перенести лесную глушь. Ну, кто этим соблазнится в современном неоновом, фильмовом, бензинном, трещащем городе? Кто откажется от высоких

каблуков и современного комфорта в городских коробках? Кто заменит коктейли и танцы сбором грибов и ягод? Пока он нежно ухаживает за своей старушкой, обставил дом простой и красивой мебелью — и вот почему старый кухонный буфет остался с прочим хламом на городской квартире, и новые жильцы продали его старьевщику. Впрочем, только из-за хлопот по переезду он забыл о старой мельничке, а ему хотелось сохранить уют прошлого, скромную будничность и сердечный праздник. Такого простого ящика он не нашел больше, но купил матери очаровательную старинную мельницу, а на поляне перед домом построил, представь себе, модель настоящей, в рост человека, и подумай только, мелет на ней простую муку и кукурузу для кур!

Тетушка рассмеялась, удовлетворенно и тихо, и на ней заколыхался прозрачный халат деревянного остова, вышитая синими крестиками белая вязаная кофта, и бледные мучнистые щеки.

— Но их было четверо? — спросила я.

Она сразу поджала губы.

— Четвертый остался хромым после болезни, но хромал и по характеру... Теперь, конечно, стали бы рассуждать о разных комплексах. Они были, разумеется, всегда, но им старались придавать меньше значения, и это помогало пожалуй больше всего. Разные несчастья выпадают на долю каждого, и каждый настоящий человек должен уметь справиться с ними и преодолеть: тогда они служат на пользу иногда... Нет, он не любил мельницу; терпеть не мог ни ее, ни праздничного, связанного с ней; по воскресеньям, казалось ему, когда приготавливалось кофе, все нарочно старались быть хорошими. А он считал всех плохими, выискивал недостатки: мать мелочна, потому что бережно отсчитывает зерна кофе; глупа, потому что радуется неизвестно чему. А жена советника, например, пьет его каждый день, и ни во что не считает, разжиревшая свинья.

— Учился он хуже всех, и не потому, что не мог, а ему нравилось больше всего изводить учителей. Впрочем, некоторым он ябедничал о шалостях товарищей, и когда видел, что ему прощается за это собственная лень, то придумывал еще больше колючих, грубых мыслей. Он очень быстро пришел к сознанию, что весь мир виноват перед ним за все: за то, что он хромает, и за то, что часто донашивает куртки старших братьев. Больше же всего виноваты те люди, которые живут лучше, чем его родители. Если бы он родился раньше, то стал бы без сомнения революционером, и вместо того, чтобы помочь своей матери, стремился бы облегчить жизнь рабочих, скажем, убивая фабрикантов. Эта помощь выражается обычно в трескучих героических словах и таких же поступках, когда человек больше всего нравится самому себе; героизм преступен, а помощь глупа, потому что о действительных нуждах не имеется никакого понятия. К тому же идеалы быстро захлебываются стремлением сперва все разрушить, а потом все делается само собой. Я уже говорила, что это в лучшем случае сражение с ветряными мельницами, только хуже, чем у Дон Кихота; у сброшенных на землю не остается сил для борьбы с настоящими великанами, которые сразу же вырастают на месте разрушенных мельниц. В результате не остается ни Дон Кихотов, ни мельниц, а хозяйничают только великаны...

— Этот четвертый не успел родиться во-время, чтобы стать хоть таким жалким Дон Кихотом. Он сразу перешагнул через него и решил стать великаном, тем более, что мельницы были уже сломаны. Великаны презирают пигмеев, неправда ли? Поэтому он перешагнул и через последнюю школьную скамью, приняв участие в беспорядках, а заодно и через старого учителя, который любил его отца, но не любил новых учений. Учителя арестовали, и он пропал без вести. Отец выгнал его из дому, и он быстро специализировался на загоне всех, кого презирал — а таких было большинство, — в те самые лагеря, где пропадали без вести. Он был недоучкой, и поэтому с апломбом судил обо всем — начиная от медицины и кончая звездным небом, и делал указания любому ученому — не по существу, конечно, а по восторжествовавшему учению, не имевшему ничего общего ни с наукой, ни с ветряными мельницами, ни, тем более, с дон кихотством. Остались одни великаны... говорю я, а ты можешь, если хочешь, определять их разным: тоталитаризмом, садизмом, расизмом, конформизмом, идиотизмом... как хочешь. Я поклонница таблицы умножения, а не измов. В результате он кончил веревкой на шее, но мог бы кончить и иначе, потому что совершенно неизвестно, кто кого победил, и побеждает дальше, и куда девался смысл. Клип-клап, клип-клап, клип-клап!

Она равномерно завертела крыльями, ловко щелкая ими, как спицами бесконечного вязанья; ровный, успокаивающий стук, как биение пульса, тиканье часов, шум моря; это ход времени, неизбежный и отмечающий все лишнее, сводящий все сложности к нескольким простым истинам так просто и ясно, что мне невольно хотелось сказать самой: «клип-клап», только я не умела этого сделать.

— Ну вот, мы и намололи с тобой достаточно, — лениво протянула наконец она, и заколыхавшись в кресле, тяжело поднялась. — И мельниц, и зерен, и людей — много. Надеюсь, у тебя нет вопросов. Бесплодно изобретенная логика служит доказательством только ее отсутствия, но люди каждый раз изумляются, что все происходит независимо от нее. Согласись, что это и есть самый нелогичный образ мыслей? «Почему вышло так, а не иначе»? Потому что не иначе, а так, только и всего. Кстати, относительно рентабельности мельниц... есть скандинавская сказка о том, что на затонувшем судне все еще лежит волшебная мельничка, которая мелет соль, потому и вода в море соленая... Вот, наша рентабельность в этой соли и заключается, а без нее и хлеба не пекут: не стоит, невкусный будет. А мука может пригодиться по разному: кто знает?

Я не успела даже заметить, выплыла ли она в дверь, или в окно, кивнув мне крылом на прощанье; при всей ее неповоротливости это случилось слишком быстро. Только чашка, из которой тетушка пила кофе, осталась стоять на столе так, как она поставила ее.



Над моим домом часто носятся ветры, и шумят в саду. Когда открываются двери на кухню, у кофейной мельнички на стене начинают быстро вертеться крылья: клип-клап. Хорошо, если бы мы всегда знали столько, сколько знают вещи! Или и это бы не помогло?

Во всяком случае, она у меня в большом почете. Но она скромна и не изрекает истин, как ее большая тетушка; она молчит и позволяет мне самой рассказывать ей иногда разное. Люди больше любят говорить сами, да и редко кто решится выбраться с шумных городских площадей в усадебную глушь. Почему же не поговорить тогда с ветром, или с непослушной черемухой? Можно многое вспоминать с зажженной свечой, усювестить беспардонного крота, улыбнуться подсолнуху или сказать кофейной мельнице, что сегодня мы устроим праздник. Рассказы немногосложны, ответы — тем более. Люди, может быть, назовут это одиночеством. Но тетушка Мельница, я думаю, сказала бы совершенно категорическим тоном:

— Умнее от определений не станешь. Принимай все, как есть, и только. Таблицу умножения подзубри, и перемелешься. А уж там видно будет: из чего хлеб, а из чего пряник!

Может быть, во многом с ней и нельзя согласиться, но она права. Клип-клап!

1958.

## ГОРШОЧЕК НЕЖНОСТИ

Снег падал крупными хлопьями с низко нависшего, светлосерого туманного неба. Высокие колокольни старинных церквей совершенно терялись в этом тумане, в мягком, ласковом круженье падающего снега. Он шел только потому, что был рождественский Сочельник и нужно было убрать к празднику старый город, белой ватой лечь на крыши, четко вырезать решетки и создать всем праздничное, рождественское настроение. На мостовую снег ложился совершенно напрасно — тонкие пушистые снежинки моментально выметали метлами дворники. Но в этих бесчисленных следах, разбегающихся по всем улицам, следах от торопливых, озабоченных шагов людей, спешивших с покупками и подарками домой, в толкотне, брошенных на ходу фраз, мимолетных улыбках — было что-то, от чего сжималось сердце у одинокого человека, которому некуда было торопиться и некому было принести подарок, зажечь мигающие свечи на елке.

Человек не выходил на улицу. Он жил в маленьком закоулке кривой старой улочки, совершенно случайно уцелевшей среди нового шумного города с зеркальными витринами больших магазинов. Несколько ступенек невысокого каменного дома вели к деревянной лестнице, и если подняться по ней наверх, войти в его комнату и выглянуть в чердачное окно мансарды, то виден кусочек веселого, праздничного города. И видно, что торопятся люди с пакетами в руках. Сколько радости, сколько интересного и вкусного, наверно, в этих пакетах! Но человеку, сидящему у окна, видно тоже, что на ступеньках его крыльца лежит совсем белый, чистый снег. На нем нет никаких следов — никто не заходил сегодня в маленький старый домик. И не зайдет.

Но если есть Рождество — то, значит, должна быть сказка. И если ее нет, то ее надо выдумать. Потому что иначе нельзя. Может быть, он найдет в этой большой старой книге что-нибудь ласковое и грустное, как падающий снег? Может быть, к нему придет кто-нибудь под вечер зажечь елку — и тогда у него будет, что рассказать ему.

— Горшочек нежности, — так называется эта сказка, — а начинается она так: «У большой печи изразцы коричневые и синие. А изображена на них веселая история о том, как один озорник был подмастерьем у скрипичных дел мастера. Над печью коптится окорок и рождественская колбаса, а на решетке пекутся яблоки и орехи. Вкусные, вкусные яблоки и орехи! Зеленые стекла расписного окна запорошил снег, улегся на подоконник, как большой белый кот. А у окна сидит девушка с прялкой. Р-р-р, р-р-р—посмотрите, как быстро бежит чуть заметная, тонкая нитка из под ее искусных пальцев. Вы не найдете лучшей пряжи в целом городе. Даже жена золотых дел мастера всегда покупает у нее полотно и кружева. Все знают белокурую девушку, дочь мастера — башмачника. И сын самого богатого торговца знает ее тоже. Он часто вслед за ней идет в церковь. А когда старик-скрипач начинает пиликать на своей скрипке, никто лучше ее не умеет кружиться в танце — с разгоревшимися щеками и летящей юбкой. Нет, бесспорно — она самая лучшая девушка во всем городе, но и он не

дурак. Стоит только посмотреть на его расшитую куртку или на дом его отца. А склады товара?

Правда, товарищи не особенно любят его, и маленькая нищенка на углу всегда прижимается к стенке, когда он проходит мимо, боясь получить пинок ногой, но разве вы найдете другого такого молодца?

Утром, в рождественский Сочельник, он пришел к ней. Когда же она согласится, наконец, стать его женой? Разве он не обещал ей купить серебряные украшения к праздничному чепчику и красные башмачки, которых нет даже у жены золотых дел мастера? Разве ей придется так работать в его богатом доме? Или она найдет в их городе лучшего жениха? Ведь он же любит ее, и они будут вместе счастливы.

Но все давно уже знали, что с девушкой не все в порядке. Давно еще, когда она была маленькой, в их доме жил старый чудака. Откуда он взялся — никто не знает. Сидел все время в своей каморке, нюхал табак и писал гусиным пером в большой толстой книге... Согласитесь, что это далеко не почтенное занятие. Иногда он рассказывал всякие удивительные истории — но только в начале — потом уже в городе не находилось людей, готовых его слушать. Только она постоянно сидела у него. И когда он умер, то все начали замечать, что она говорит иногда самые нелепые вещи, о которых порядочные девушки не имеют никакого понятия. Девушка должна хорошо прясть или вышивать золотом и краснеть вовремя, а больше от нее ничего не требуется. Но, может быть, она любит когонибудь?

— Нет, я никого не люблю, — ответила она. — И я охотно выйду за тебя замуж, если ты принесешь мне одну вещь в следующий Сочельник.

Но почему же не теперь? Разве у него не хватит денег купить, что угодно, на это Рождество?

— Это не всегда легко найти, — произнесла девушка и, сняв с полки маленький глиняный горшочек, протянула его молодому торговцу. — Вот, принеси мне такой маленький горшочек нежности, милый.

Нежность? Что это такое? Он никогда не слышал об этом. Но, конечно, ее можно купить. И он поклялся, что на третий день Рождества принесет ей не горшочек, а целую бочку нежности. И действительно, придя домой, выкатил большую бочку на двор и заявил, что покупает нежность у всякого, кто ее принесет, и за любую цену. Но никто не являлся.

Прошли праздники, а бочка стояла пустой.

— Что ж, если нет у нас в городе, то можно поискать в другом месте, — решил он, — а он был упрям, очень упрям, и поэтому взвалил бочку на сани, положил мешок с деньгами, и, надев самую красивую куртку с медными пуговицами, запряг лошадь и пустился в путь.

Мы не будем рассказывать, в каких городах и странах ему пришлось побывать. Только очень скоро ему пришлось продать и сани, и лошадь, и большую бочку, и расшитую куртку. А мешок с деньгами он сперва взвалил себе на плечи, а потом просто положил деньги в кошелек. И тот скоро опустел тоже, конечно, а в руках у него остался только простой маленький глиняный горшочек, который дала ему девушка, и он был пуст.

Он не вернулся ни в следующий Сочельник, ни в другой. И, может

быть, до сих пор сидит белая девушка у запорошенного снегом окна и прядет на прялке: Р-р-р, р-р-р.

А если вы встретите человека с голодными глазами и жестким сердцем, — человека с маленьким пустым горшочком в руках, — вспомните, что он очень устал, что он шел долго — долго — и подарите ему немножко нежности!»

Человек захлопнул большую старую книгу. Зимний вечер начинается рано. Еще спешили по улицам запоздавшие прохожие, а в домах, везде — в больших и маленьких окнах зажигались елки. И у всех мигали свечи — радостными, праздничными огоньками. Но на ступеньках внизу попрежнему лежал чистый нетронутый снег.

Нет — сюда никто не придет зажигать елку. И некому рассказывать сказки.

Стало совсем тихо. Снег падал теперь сплошной завесой, и в белом тумане задрожал низкий торжественный колокольный звон.

Маленький гномик в красном колпачке, точь в точь такой, как их рисуют на картинках, вынырнул из-под проезжавшего автомобиля и юркнул в маленькую улочку. Пробегая мимо старого дома, он взглянул наверх и улыбнулся.

И человек у окна улыбнулся тоже.

1926 г. Рига.

## ЗВЕЗДНЫЙ ГВОЗДИК

Их было четверо на дороге: два мотоциклиста, один постарше, другой совсем молодой, но оба очень похожие друг на друга — современные рыцари. Оба в шлемах и очках, вместо забрала, оба в коже, как в латах, оба на прекрасных мотоциклетах. Третьей была женщина в пестром платье и краснощекий мальчуган, которого она везла на багажнике своего велосипеда.

Сейчас, впрочем, она не везла. У велосипеда соскочила цепь на самом повороте дороги, и она тщетно пыталась ее натянуть.

Старший мотоциклист, пронесившийся мимо, замедлил ход, оглянувшись, повернул, и подъехав ближе, затормозил. Юноша пробурчал что-то, но уже было поздно: тот остановил машину и соскочил с седла. Юноша останавливался только ради хорошеньких девушек со стройными ногами, однако, пришлось подчиниться, и он с недовольным видом принялся за починку дурацкого велосипеда, на котором женщины не умеют ездить, а туда же берутся возить еще детей. Он даже не снял шлема и очков в знак протеста.

Старший мотоциклист сделал и то, и другое, удобно уселся на траве рядом с женщиной, поглядел по голове ее мальчугана, предложил ей сигарету, закурил сам и улыбнулся.

— Красивая полянка в лесу! Мы пока отдохнем, а мальчик ваш пусть побегает по траве...

— Да, но уже поздно... солнце заходит.

— Ничего, мой друг вам быстро исправит все, он умеет, а вдвоем нам там нечего делать.

— Спасибо за помощь! Одна я бы не справилась, а мне еще три километра ехать, если бы пешком пришлось идти — просто ужас...

— Три километра пешком по такой дороге человеку со здоровыми ногами, да еще в такой хороший летний вечер — совсем не страшно...

Женщина взглянула на мотоциклиста внимательней и только сейчас заметила, что одна его нога была неестественно прямо откинута вбок. Она кивнула на нее головой:

— На войне?

— Угу — ответил он, затягиваясь дымом.

Женщина хотела еще что-то спросить, но тут вот это и произошло: из-за кустов на лесную полянку у перекрестка дороги вышел ангел.

Может быть, он и не вышел совсем, а прямо спустился с прозрачного вечеряющего неба, на котором, если присмотреться попристальнее, уже зажигались звезды? Но так как этого никто не заметил, то можно только сказать, что он вышел из-за куста цветущей бузины и подошел к сидевшим на траве людям.

Ангел был маленький, ростом с десятилетнего ребенка, и одет, как полагается: босой, в белом полотняном платье до пят, с ореолом над головкой и простыми белыми крылышками за спиной. Особенно красивым его нельзя было назвать: у него было тихое, грустное личико, и в глазах стоял недоуменный вопрос.

Сказать, что сидевшие четверо людей удивились при его появле-



нии — было бы слишком мало. Прежде всего они, конечно, не поверили своим глазам, и поэтому посмотрели друг на друга, потом на ангела, потом снова обменялись взглядами. Молодой человек, кончавший как раз возиться с велосипедом, даже снял с головы шлем и вытер лоб.

— Это что еще за маскарад? — спросила женщина, убедившись окончательно, что на полянке действительно появилось пятое существо. — Карнавала летом не бывает!

— Мама, посмотри, какой ангел, так ты мне тоже шила крылышки на елку в школе! — закричал мальчуган.

— Ах, так... решила женщина, успокоившись было, но вдруг заметила, что босые ножки ангела совсем не касались травы, которая негнулась под ними, а только скользили поверх ее в воздухе. Она так и осталась сидеть с открытым ртом, хотя обычно у нее бывали манеры получше.

— И как будто я не пил сегодня ничего, кроме коки-колы, — проворчал молодой человек.

Ангел посмотрел по очереди на каждого из них, видимо не зная, с кого начать, и обратился к тому человеку, который не сказал еще ни слова, а только удивленно, но ласково смотрел на него и молчал: — к старшему мотоциклисту.

— Скажите пожалуйста, — робко сказал он, — не видали ли вы гденибудь здесь на дороге гвоздика?

— Гво-зди-ка! медленно повторил тот, стараясь не показать своего полного недоумения.

Эта вежливость с его стороны сразу расположила к нему ангела, и он уселся рядом с ним, подобрав босые ножки под платице. Платице лежало поверх травы, ибо ангел был слишком легок, чтобы усесться прямо на землю, и колыхалось над ней тихонько, как будто его слегка раздувал ветер.

— Гвоздик, — печально повторил ангел. — Вот такой... он показал длину, расставив два пальца. — Из моей звездочки. Мы должны прибывать их каждый вечер на небо. Каждый свою. Моя запылилась вчера немного. Я стал ее чистить, потому что на небе не должно быть пыли, вы понимаете? Я очень старался ее вычистить!

Он взмахнул обеими руками, и у него задрожал голос и дрогнули крылышки.

— И вот, когда я натирал ее кусочком зари, и она уже совсем заблестела...

Его голос упал до шопота.

— Один из гвоздиков выпал и свалился на землю. Это очень плохо. Может отогнуться лучик. И вообще... он остановился, подыскивая слова на непривычном языке. — И вообще... мне сказали, что если нет одного, то может выпасть второй, и еще, и тогда звездочка упадет совсем. Я попросил другого... ангела поддержать ее пока, а сам отправился искать. Может быть, вы могли бы помочь мне... если видели гденибудь.

Он сконфуженно замолчал.

— Вот это — история! — усмеянулся молодой человек. —

— Ты хорошо выучил свою роль, — кивнула головой женщина. — Сколько тебе лет? В каком ты классе? Где ты живешь? А школа далеко отсюда?

Она упорно цеплялась за представление о школьном спектакле, хоть ясно видела, что он сидит, поджавши ножки, на воздухе, как на мягкой подушке. Ее сын подтолкнул ее.

— Мама, — зашептал он, — дай ему денег. Пусть он купит себе в лавке новый гвоздик.

Мама сердито отмахнулась.

— Разве ты не видишь, что все это... только так? Гвоздик ему дадут в школе.

Мальчуган рассмеялся.

— Я знаю! — торжественно воскликнул он. — В нашей школе учительница сказала: звезды большие, больше, чем наша земля, и горят! Они больше даже солнца в нашей... он остановился и выговорил отдельно и старательно: — в нашей сол-нечной систе-ме.

— Ну, вот видишь, молодой человек, — повернулся к ангелу юноша, закуривая сигарету, — устами младенцев глаголет истина. Теперь даже такие сопливые карапузы знают, что звезды — газообразные раскаленные тела в миллионы раз больше нашей земли, и свет их доходит до нас только через миллиарды земных лет, и так далее, а ты говоришь — гвоздик. Очень хорошо, конечно, что ты умеешь рассказывать сказки, но астрономию надо знать тоже. Подожди, выучись. Ты в каком классе?

— У нас нет классов на небе, — прошептал растерявшийся ангел. — Нас учат просто так...

— Вот и видать, что плохо! На сказках еще сидите! Теперь другие сказки нужны: ракета на луну, например, или снаряд на Марс, или просто сателлит в межпланетном пространстве, или про бой реактивных самолетов хотя бы...

— Но я ничего этого не видал на небе, — твердо возразил ангел. — У нас тихо. Звездочки очень хорошо светят, если почистить, как следует, и они крепко держатся, если есть все гвоздики...

— А что, вы не знаете, — шопотом спросила женщина, наклоняясь к старшему мотоциклисту, — нет ли здесь поблизости нервной клиники для детей? Может быть его надо было доставить туда или домой? Ты где живешь, мальчик? — спросила она уже громче, наигранно-ласковым голосом.

— Там, — указал он вверх.

— А как же ты вернешься туда? — спросила она, усмехаясь.

— Вот так, — ответил ангел, и затрепетал крыльшками. Он поднялся, как бабочка, стрелой взвился до вершины старой березы, росшей у дороги, — и медленно спустился вниз, где снова уселся на прежнее место, поджав ножки. По его лицу можно было судить, что он несколько обиделся за навязчивость тона.

— Вот что, — сказал молодой человек решительно, — я еще не хочу сходить с ума из-за всякой чепухи. Если нас на перекрестках дорог будут останавливать всякие ангелы, то для чего же нужно было долбить астрономию и физику, и радиотехнику, и теорию Эйнштейна, и...

— Даже Эйнштейн верил в Бога, во всяком случае, признавал высший разум — сказал старший мотоциклист.

Но юноша не сдавался.

— Знаю, знаю. И ты хочешь уверить меня в том, что Планк, скажем, тоже признавался, что чем дальше, тем больше убеждался в необозримости и божественном величии мироздания, но кванты для своей теории он разглядел, а таких вот... он кивнул на ангела, хотел сказать «недорослей», но поперхнулся, и закончил: — таких вот... существ не заметил!?

— Позвольте, — вмешалась женщина. — Я получила, — не скрою — марксистское воспитание. Правда, мои родители были ликвидированы в свое время в Советском Союзе, но... во всяком случае, допускаю теперь, что религия имеет некоторое воспитательное значение для масс, находящихся на низком уровне. Мой сын, вот этот самый мальчуган, попросил меня однажды свести его в церковь, потому что он слышал от других детей, что там зажигают свечки, и это очень интересно. Какнибудь я его и поведу, может быть, хотя сама не люблю подобных спектаклей. Но допустим, что даже взрослый человек может в глубине своей души, для собственного успокоения, верить в высшее существо. Это свойственно человеческой природе, и в сущности политическая диктатура тоже основана на подобном идолопоклонстве. Однако, вряд ли можно серьезно задумываться над существованием... ангелов, прибывающих звездочки гвоздиками к небу! Сказки хороши может быть, а жизнь ведь существует помимо того!

— Совершенно верно, — сказал вдруг ангел. Я вас очень внимательно слушал и прекрасно понял. Я не смею рассуждать с вами о Боге, потому что на человеческом языке... простите, это было бы неудобно. У вас нет настоящих слов... но вы очень правильно сказали о жизни. У вас есть своя. И у нас тоже. Мне очень жаль, но...

— А чего ж ты тогда спустился на землю? — спросил молодой человек.

— Я говорил уже. Я потерял гвоздик. Мне очень трудно было отправиться искать его. Вы совсем не знаете, как тяжело на земле...

— Что ж тебе здесь не нравится?

— О, мне очень нравится земля! Она могла бы быть такой же красивой, как небо! Только — у вас очень тяжелый воздух. В нем дым и... мертвые вещи. Вот здесь в лесу, еще можно дышать, дальше — это страшная отравка, хоть вы ее и не замечаете. Потом шум: вы громко говорите, и у вас все время, гремят звонки, ящики, машины, как молоточки бьют по ушам, по голове, вы становитесь усталыми, и глохнете... А самое страшное — это мысли. Если бы вы могли видеть, как эти мысли черным облаком окутывают людей, и скрывают от них весь Божий мир! О, это ужасно! Мне так жаль вас!

Ангел закрыл лицо руками и опустил крылышки.

— Я... не всегда ездил на мотоцикле, — начал молчавший до того старший мотоциклист. Это только теперь... из-за ног. Чтобы выбраться из города. А раньше... конечно, мы ходили каждое воскресенье с матерью в церковь. Километра четыре от нашего дома, лесом и через поля. Колокол звонит — слышно издали. У нас были лошади, все, как полагается, но мать часто говорила: пойдём пешком, тогда больше увидим! И правда: четыре километра только, час ходьбы, и вот тоже, что здесь вокруг: поля, леса... А сколько я во всем этом научился видеть! Белку, птицу всякую, травы, цветы... мать показывала. А потом я сам вырос, сам рассказывал другим, и видел...

много видел. И вот это — научило меня думать. Я не такой уж ученый, как мой молодой друг. Знаешь немного, конечно, всякие политические, научные там новости. Но думаю я по настоящему только, когда приеду в лес — и остановлюсь. Говорят — прогресс, техника, комфорт, гигиена. Не знаю. У нас в ручье просто брали воду и пили. Чистая, как слеза. А теперь я только кипяченую, с чаем, пью, иначе хоть выплюни — химический раствор вонючий какой то. Я помню — бабушка моя еще говорила: «будет у вас нищета в шелку ходить». Я тогда не понимал. Теперь понял. Раньше шелковое платье только богатые носили, правда. Теперь может надеть каждый. Только стал ли он лучше, счастливее от этого? Ну хорошо, вот я сяду сейчас за руль, у меня своя машина, хоть я и бедный человек. Дам газ, выжму сто километров по этой дороге — а что я на ней увижу? И где я буду через час — если не случится катастрофы, которой каждую секунду бояться надо? Пусть хоть в другом городе, другой стране. Так ведь и там тоже все самое красивое — леса и поля, которых я и там не рассмотрю при такой скорости...

— Что же, человек не должен ни к чему стремиться? Ничего не открывать, не узнавать?

Мотоциклист поднял голову и прямо посмотрел на юношу.

— Видишь ли — ты меня тоже не поймешь сейчас, как я тогда своей бабушки не понял. Может быть, потом увидишь. Человеку свойственно стремиться к высшему — и это хорошо. Плохо то, что стремится он — в бездну. В междупланетное пространство полетят такие же люди, какими они были в пещерное время, только что выучились вилками есть, да кнопки нажимать. Но ведь это — внешнее. А внутри, в душе, — они те же. И что они увидят там? Пустоту. Страшную пустоту — как и в них самих. Вот, если бы они своей душе заглохнуть не дали, если бы смотрели глазами, а не телескопами, слушали бы ушами, а не радиоаппаратами, — так наверное и думали бы иначе, и мысли не были бы такими черными, как их вот такой видит...

Он сунул руку в карман, чтобы вынуть спички, но ощутил вдруг в нем что то теплое и удивленно вскинул брови. На его разжатой ладони лежал теплый, чуть светящийся серебряный гвоздик.

— Мой гвоздик! — воскликнул ангел, хлопая в ладоши.

Он кинулся на шею недоумевающему мотоциклисту, поцеловал его в обе щеки, взял у него с ладони гвоздик, и вежливо поклонившись всем остальным, поднялся на воздух.

— Прощайте! Спасибо!

Они молча следили, как серебристо-белая фигурка, трепеща крыльшками, поднималась все выше и выше в потемневшем уже небе. Вот уж и совсем не стало ее видно. Только как будто маленькая звездочка в небе зажглась. Она померцала сперва, вспыхивая и потухая, как будто лучи ее были спутаны, потом вздрогнула раз, другой... и заблестела радостно и смело.

— Прибил, все таки... тихо произнес молодой человек.

Мотоциклист немного отвернулся и вытер ладонью глаза.



Я ручаюсь за достоверность этой истории, происшедшей совсем недавно, ибо мне рассказывал ее молодой мотоциклист, а молодость,

как известно, беспощадно строга — иногда даже к себе, не говоря уже о других. Мне хотелось сперва снабдить ее всякими комментариями, но времени слишком мало, чтобы тратить его на пустяки.

Вместе этого, лучше быть внимательней к тому, что делается вокруг. Может же случиться, что у какой нибудь звезды снова выпадет гвоздик? Мне бы очень хотелось найти его самой — и отдать тому, кто будет его искать. И вот над этим действительно стоит подумать.

1956.

## ЕЛКА, КОТОРАЯ НЕ ЗАЖИГАЛАСЬ

«Эту сказку помнят звезды, знают северные скальды и поют ее в Сочельник, чуть касаясь тонких струн... Это сказка про принцессу, про прекрасную Мафальду, и о том, как дал ей счастье белый рыцарь и колдун... Радость счастья — это время, когда нет воспоминаний. Только раз в году, в Сочельник, когда тает в сердце снег, вспоминают звезды сказку человеческих страданий, — только раз в году о чуде вспоминает человек...



С неба падают, как звезды, хлопья белые пушинок — непрерывно, неустанно, то взметаясь, то снова вниз... И на темных старых башнях это кружево снежинок устилает крыши, шпицы и ложится на карниз. В этом белом снежном замке жил король-колдун когда-то. Он — великий чернокнижник, маг-волшебник, чародей. В коридорах темных замка — серебром мерцают латы — это рыцари посменно сторожат покой дверей.

В эту ночь молчали струны, и не пели песен скальды — в угловой тяжелой башне, родилась принцесса — дочь.

В коридорах темных шопот:

— Белый снег — лицо Мафальды...

— Королева умирает в предрождественскую ночь...

И король, колдун угрюмый, шагом медленным и ровным обойдя притихший замок, на придворных не смотря, в спальню мертвой королевы приказал позвать придворным позолотчика сейчас же, кузнеца-золотаря.

— Я хочу, — сказал волшебник, — чтоб из золота сковали мне кольцо с тяжелым камнем — самым редким на земле. Я хочу, чтоб в этом камне синий пламень был печали, и пурпурный отблеск счастья в том же самом хрустале. В этот камень вплавить сердце, — чтобы был он настоящий — вплавить сердце королевы!

В камне сердце — в сердце — гарь...

И в притихшем старом замке, среди рыцарей дрожащих, до утра ковали перстень маг-колдун и золотарь. До утра пушистым вихрем звезды белые слетали и окутывали дымкой твердь земли и неба твердь... Тайну странную снежинки схоронили и узнали — то, что в камне было счастье, — были в камне жизнь и смерть...

Старый замок не менялся — жизнь текла своей чредою: проходили весны, зимы, проходил за годом год, и, как это было в звездах предначертано судьбою, проезжавший белый рыцарь постучался у ворот. Сам король жил в темной башне, в залах замка пели скальды, каждый день был новый праздник, звонкий смех, веселый пир: нету девушки прелестней и прекраснее Мафальды! Много рыцарей съезжалось для принцессы на турнир...

В замке песни и веселье: в замке дан сегодня будет в ночь, в Сочельник, для принцессы настоящий первый бал. Для того, чтоб рыцарь белый, тот, кого Мафальда любит, в этот вечер первый с нею в этом зале танцевал.



Посредине стоит огромная до потолка елка. Из открытой двери столовой на нее падает свет, и от этого она кажется какой-то особенной на фоне темно-синих окон террасы. От дедушкиных тяжелых шагов вздрагивают квадратики паркета, а на елке позванивают в ответ колокольчики, покрытые серебряной пылью. А чего-чего только не навешано! Тома деловито осматривает еще раз все это великолепие. Больше всего ей нравится вот та плюшевая обезьянка с лиловым шариком в руках, и этот серебристо-алый огромный шар, и картонный ангел в ватной часовенке, и еще большое пряничное сердце и... и, наверно, внизу, на зеленом мху, закрывающем крест, остались еще умильные боровички из медовых пряников и красные мухоморы с сахарными нашлепками. Тома молниеносно ныряет вниз и, зажав в кулаке боровичек, снова подставляет плечо под тяжелую дедушкину руку.

В библиотеке дед открывает ящик письменного стола и достает оттуда коробочку. В ней лежат разные памятки — даже Горик достаивает ее любопытным взглядом — печатки, брелки, цепочки, ладонки, сломанные топазовые запонки, пуговицы из агата... и два тяжелых золотых перстня с каким то большим камнем, которые дедушка кладет на ладонь и задумчиво подбрасывает их на руке, от чего камни сыплют алые искры.

— Я хочу сделать тебе подарок, Тома... может быть, на следующее Рождество... ты будешь уже без меня зажигать елку. Носи его, пока на цепочке... Это тот самый камень, про который говорится в сказке.

— Это александриты — они сине-зеленые днем и красные ночью и добываются на Урале, — говорит Горик.

— Да. В нашей семье они переходят от отца к сыну и, говорят, что приносят счастье... Сыновей у меня больше нет, я последний в роде. Осталась только ты, «княжна Тома». А второй перстень тебе, Георгий. Но вы оба должны обещать, что никогда — слышите, никогда не будете снимать этого кольца.

— А почему ты сам не носишь, дедушка?

— Потому, что... потому, что я уже знаю, что такое счастье, Тома...

И старик смотрит поверх их голов в синее окно в переплет чернотелых сучьев, ласково и грустно улыбаясь чему-то, что видят только его усталые потухающие глаза...

Час спустя в той же библиотеке, но уже без дедушки, разыгрался маленький скандал. Щеголеватый кадет, выведенный из себя «бестактными» вопросами девчонки, забыл, наконец, про свою взрослость и высунул ей язык.

— Ты не граф, а гrrрубиян — вспыхнула Тома, едва сдерживая свое возмущение.

— А ты совсем не княжна Тома, а просто... просто кудлатая матрешка!

Тома, сосредоточенно пыхтя, забралась на стоящую рядом лесенку и, очутившись таким образом, на одном уровне с лицом кадета, размахнулась и изо всей силы ударила его ладошкой по щеке.

— Что ты сделала, Тома?! — ахнула мама, появившись на пороге.

— Дала ему по моррррде, — свирепо вращая глазами, заявила басом «кудлатая матрешка».





«Что же дальше было в сказке? Чем же прервано веселье? Почему затих блестящий королевский бальный зал? Почему в старинном замке в тот рождественский Сочельник не зажглась огнями елка и никто не танцевал? Белый рыцарь, принц веселый, не дождался поцелуя — подняла к нему принцесса побледневшее лицо:

— Я зажгу на елке свечи, если тот, кого люблю я, на своей руке покажет мне такое же кольцо!

С той поры по белу свету бродят рыцари Мафальды, собираясь на сочельник в старый замок каждый год... Эту сказку помнят звезды, знают северные скальды, но никто из них не знает, кто же перстень принесет...»



Ах, княжна Тома, бедная княжна Тома!

Тоненькая худенькая фигурка плотно кутается в потертый зимний костюмчик с воротничком из бывшего енота. На бледном, слегка усталом насмешливом лице большие черные глаза. Тома быстро идет по улицам старого города, так же, как и все остальные фигуры людей, спешащих на работу — хотя, нет, не совсем так. Те не видят того, что подмечают черные, широко открытые, как будто бы удивленные глаза — ни мягкой сепии деревьев бульвара, на которые так картинно улегся полоской ваты снег, ни матовых переливов перламутрового неба, ни тысячи других, таких красивых, таких чудесных вещей!

В этом старом городе, на берегу моря, часто гуляет ветер и, проносясь по широким бульварам, замирает в узких переулочках, у подножия высоких каменных кирок. Старый немец, хозяин Томы, поднимает на лоб очки в золотой оправе, перевязанные тесемочкой, и вздыхая говорит.

— Северо-западный ветер. На море опять шторм. Помоги Господи тем, кто в море сейчас думает о земле.

Тома уверена, что если бы он не был немцем, то обязательно перекрестился. Но он не крестится. Он только еще ласковее смотрит на нее и, ласково глядя по руке, замечает:

— Ну, принцессин Тамара. Нужно помнить о людях, но нельзя забывать, что наши куклы тоже живые.

Тома проходит под старинными сводами ворот, в толще которых построен целый дом, пробирается, придерживая рукой шляпу мимо портала церкви, мимо ратуши, со стрельчатыми готическими арками, мимо маленьких смешных домиков-лавчонок, как сказочные грибы. Снег плотно закутал их крыши и, кажется, что в светящемся окошечке должна появиться сейчас голова седобородого гнома.

Как хорошо, что ей не надо работать в какомнибудь шикарном модном магазине в другой части города. В старом доме маленькая полутемная витрина. Она почти не отделяется от стены — но эту вывеску знает весь город, и все приходят сюда покупать маскарадные маски, резные статуэтки из дерева, и самые странные, красивые и фантастические куклы, какие могут только создать кропотливое усердие старика хозяина и ловкие пальчики Томы. Все покупатели с уважением относятся к Томе — может быть еще и потому, что хозяин никогда не

величает ее иначе, чем «принцессин», и как бы в подтверждение этого, на руке у Тома блестит тяжелый старинный перстень. Дедушкин перстень с александритом — единственная Томина драгоценность.

— Я никогда не снимаю его, потому что это семейная реликвия — объясняет Тома молодому рыжеватому голландцу, что-то очень часто ставшему заходить покупать куклы. — Он должен принести мне счастье.

— О да, конечно, принцессин, конечно, — соглашается тот, не отрывая от нее глаз. — Этот камень — о! это совсем особенный камень.

— Мингер ван дер Фост, кажется, очень интересуется куклами? — с лукавой улыбкой спрашивает ее старичок, хозяин. — Барон Зольц говорил мне, что он очень приличный молодой человек. Он приехал сюда по делам своей фирмы, и в Голландии у него крупное состояние... Да, да, в жизни часто происходят разные вещи... такая молодая и хорошая девушка, как вы, из хорошей семьи — кто знает?..

— А я и знать ничего не хочу про вашего «ван дер Хвоста»! — мрачно бубнит Тома, нанизывая на тоненькую иголочку бисерное ожерелье. — Пусть он мне сперва тюльпаны на льду вырастит, тогда я буду с ним разговаривать!

— Ах, принцессин, принцессин, какая вы смешная девушка!

Тома молчит. Тома думает о том, что сейчас вот, как раз в это время, мимо окна должен пройти высокий стройный господин с темными глазами. Он проходил уже несколько дней подряд, и каждый раз останавливался, чтобы посмотреть на разложенные в окне куклы. Может быть, он даже и не видит склонившейся над работой Тома. Но она зато разглядела его, как следует. Где она видела это лицо? Насмешливое, задорное, с острым, капризным и упрямым подбородком, с пренебрежительной улыбкой жесткого рта...

И только когда он вошел и приподнял шляпу, с чарующей улыбкой обратившись к ней и попросив на ломаном немецком языке показать ему куклу, Тома едва удержалась от восхищенного крика, и от того, чтобы не броситься к нему на шею, к вящему удивлению старого немца и сидевшего, как всегда, у прилавка, мингера «ван дер Хвоста». Горик! Ну, конечно, Георгий, какой-то ее троюродный кузен, щеголеватый кадет, которому дедушка подарил второе кольцо! С того Рождества она не видела его больше. Смутно припомнились бесчисленные истории, ходившие про его легендарную храбрость и скандальные любовные авантюры — позже, когда она подросла, мама иногда забывала о ее присутствии... Боже мой, Горик!

Но Тома не бросилась ему на шею. Она осталась стоять за прилавком, и доставая куклу, безотчетно повинаясь какому-то странному чувству, быстро сняла с руки александритовый перстень.

— Вот эту, сударь?

— Вы говорите по-русски?

— Ну, конечно. Ведь, я русская.

— Я так и думал.

— Почему?

— Вы слишком непохожи на других.

— Жаль. Стоящий вне толпы резче чувствует ветер. Но ведь и вы такой же.

Он быстро взглянул на нее. Тома не опустила глаз. Узнает или нет? Нет, не узнал, но улыбнулся, — так улыбаются мужчины, бросающие женщин после первого поцелуя. Он не узнал, и каждый раз, когда приходил в магазин посидеть, поболтать с хозяином на смешном языке, который считал немецким, и выбрать какую-нибудь безделушку, Тома, сразу же снимала с руки кольцо.

— Какое у вас красивое кольцо, граф . . . александрит?

— Да, я никогда не расстаюсь с этим перстнем. Редкий по красоте камень. Любая женщина отдастся за него.

— Любая? А если у нее самой найдется такое же кольцо?

— О, это совершенно исключается. Я получил его мальчишкой от своего дальнего родственника. Семейная драгоценность, два уника. Дубликат был подарен им своей внучке, и очень жаль, потому что девочка, наверно, давно уже потеряла его . . .

— А на обратной стороне выгравирован ваш девиз, вероятно?

— О, да.

— Можно спросить, какой именно?

Совсем попрежнему мальчишеская, самоуверенная улыбка раздвигает тонкие губы.

— «Лови момент!»

— И вам не совестно?

— Нисколько. Разве это не правильно?

«Лови момент» . . . Может быть, и она такой же «момент»? У Тома на языке всегда готов острый ответ, и это ему, очевидно нравится. Он охотно рассказывает о себе и однажды совсем просто предложил ей зайти к нему посмотреть одну старинную рукопись . . . Тома чуть-чуть удивленно приподняла брови, но согласилась.

Ах, какой это был чудесный вечер! У него нашлось много чудесных, красивых, редких вещей, и он вел себя, как настоящий джентльмен. С тех пор Тома была у него еще несколько раз. Теперь это казалось совершенно естественным, но не хотелось приглашать его к себе, в маленькую, бедную комнату.

— Граф, что вы делаете на Рождество?

— Сочельник проведу дома, один, а потом начну кутить. А что?

— Нет, просто, так . . . хотелось посидеть вместе с вами у елки.

— Так вот и велилпно. Встретим Сочельник у меня, хорошо?

Он целует ей руку и заглядывает в глаза . . . — Значит, в сочельник . . .



— Принцессин Тамара, что вы будете делать на праздник?

— Буду сидеть дома, читать, пойду в театр . . .

— Вы разрешили бы . . . зайти к вам?

— О, мингер ван дер Фост . . . я живу так скромно, что, право . . .

— Я должен поговорить с вами, принцессин . . . Очень серьезно поговорить. Сделайте мне этот подарок!

Томе немножко жаль «ван дер Хвоста». У него такой смущенный умоляющий вид. Значит, на Рождество она получит предложение. Бедняга! Он будет огорчен. Но что же делать, если у нее и поет и рвется душа — к другому?

Горик — эгоист, самовлюблен, самонадеян, скользит по поверхности, не задевая глубин, и больше всего ценит свое собственное удобство... Он даже не ухаживает, а просто берет то, что ему плывет в руки. А плывет ему много... и она тоже... Она? Тома возмущается, но только на минуту. Все равно... Неужели он не узнает ее, не увидит, не почувствует, не ответит — настоящим?

— Я влюблена, — улыбается Тома вышитым куклам.

— Я влюблена, — шепчет она, идя по улице и целуя снежинки, таящие на губах. Я влюблена, старый город, слышишь? Я люблю его люблю, люблю!



— Принцессин Тамара, нам надо делать праздничную витрину.

Тома готова расцеловать своего старичка Миллера. Какой в этом году чудесный, красивый город! И белый праздничный снег, и легкий мороз, и предпраздничная суета, — все это вбирается в душу так остро и ярко, что на глазах выступают слезы. Ведь, и у нее будет праздник. У него — с ним.

Из темного пыльного шкафа, стоящего в самом углу мастерской, вытаскиваются огромные картонки. Тома, стоя на коленях в окне, убирает его ватой и ветками. Посредине водружается маленькая елка с хрустальными сосульками, а кругом — стильные куклы в дорогих шелковых костюмах.

— Это мои лучшие куклы, принцессин. Я получил их в наследство еще от своего отца, а тот от деда. Они вынимаются из шкафа только раз в году — на Рождество. Эти куклы делал когда-то большой мастер.

Тома расставляет в витрине рыцарей, придворных дам, пажей и у самой елки — красавицу принцессу с золотой короной на голове. Она сделана из алебастра, раскрашена и кажется совсем живой.

— Но эти свечки на елке слишком маленькие, герр Миллер. Их нельзя будет зажечь.

— Нет, принцессин. Они и не должны зажигаться. Вы, наверно, никогда не слышали сказки про принцессу Мафальду? Принцесса до тех пор не зажигает елки, пока рыцарь не принесет ей волшебного перстня.

Мафальда? Эту сказку рассказывал дедушка... В старой усадьбе, в огромной библиотеке с синими провалами окон... Почему на Рождество вместе со свечками зажигаются воспоминания? Ах нет, не надо об этом думать... Разве можно вспоминать, когда ждешь счастье?

На Томе надето платье из бледно палевого шелка, с вышивкой из темной бронзы и старого золота. Сколько усилий и трудов пришлось потратить, чтобы выглядеть нарядной в этот вечер! Кутаясь в короткий жакет она идет быстро, потому что без калош мерзнут ноги в тоненьких туфельках. Только бы не расплескать, только бы не разлить эту радость, наполняющую душу!

В Сочельник, вечером улицы кажутся темными. Во всех домах уже зажигаются елки. Георгий, Георгий... Сегодня она не снимает перстня. Пусть он увидит его. Пусть узнает. Может быть... Но что может быть, она не решается договорить даже самой себе.



На елке самодельные картонажи, серебряный дождь и белые свечки.

— Какая вы нарядная сегодня, Тамара. Вам удивительно идут длинные платья. И вообще, вы сегодня какая-то другая. Я еще не могу найти, в чем именно это заключается.

— Вышьем за то, в чем это заключается, граф!

Тома волнуется. Когда же он скажет ей то, чего она ждет, — ласковые, сильные слова, от которых загорится сердце?

Горик долго смотрит на нее. Глаза становятся тяжелыми, влажными. Наклоняется. Целует. Долго, очень долго. Тома лежит у него на коленях с запрокинутой головой. Неужели же так, без слова... Он целует настойчивее. Оторвавшись от его губ, видит скользкую, чуть пренебрежительную улыбку...

— Я... я хочу вам напомнить, граф, ваши же слова — «я ценю женщин, как папиросу»... и отбрасываете окурок? Но я ценю себя больше.

Он чуть-чуть отодвигается. Немного раздосадован.

— Это зависит от вас... я терпеть не могу принуждений...

И только, о Боже! Значит, все было напрасно. Значит... Она протягивает руку, чтобы взять со стола папиросу. Георгий с наблюдающей улыбкой предупредительно зажигает спичку. Тома опускает руку, и на безымянном пальце пурпуром загорается александрит.

— Что это у вас? Кольцо? Я не замечал раньше. Удивительно...

Он внимательно вглядывается в перстень, переводит взгляд на свои руки, снова смотрит на нее.

— Скажите — откуда... откуда у вас этот александрит?

— От маленькой девочки, которую кадет Горик звал «кудрлатой матрешкой».

— Княжна Тамара... Княжна Тома... Неужели это ты... Почему же вы мне ничего не говорили до сих пор? Я никогда не думал...

— Зато я думала, Горик... нет, нет, теперь мне пора домой. Я найду еще как-нибудь... потом.

— Я вас не отпущу. Оставайтесь и рассказывайте... ведь, мы не виделись — лет двадцать по крайней мере. Не каждый же день можно встретить родственников! Вы наверно забыли уже, что мы кузены?

Он лукаво улыбается и прибавляет:

— И потом мы еще не зажгли елки...

— Елка, которая не зажигалась... — беззвучно повторяет Тома. Она небрежно, не глядя в зеркало, надевает шляпу и жакет, и протягивает руку.

— Прощайте... Георгий. Мне надо идти.

— Как хотите... — недовольно говорит он и провожает ее только до дверей.



Тома медленно, — ей некуда торопиться, — идет по темным улочкам старого города. Кое-где в домах видны еще отгорающие елки, слышна музыка. Ночные сторожа топают в подъездах. На улицах — ни души. Идет мелкий, легко поддуваемый ветром снег. Тома идет осторожно и медленно. Она очень устала. Не хочется думать. Значит, это все.

Счастье создается из пустяков — счастье разбивается пустяками . . . что же, собственно случилось? Ничего особенного.

Но она знает — знает слишком ясно, чтобы можно было обмануть себя — ничего не могло быть уже потому, что ничего и не было. Легкая маленькая интрижка, пустяковый роман. Без единого ласкового слова, просто, небрежно улыбнуться, взять, и улыбнуться снова . . . и это вся ее тоска, по любви, по большому, безумному счастью!

Тома, сжав губы останавливается перед витриной с куклами, и, вынув из сумочки ключ, открывает дверь. В витрине, около наряженной елки, принцесса Мафальда ждет, когда принц принесет ей кольцо с волшебным камнем — с камнем, который нельзя подделать, так же, как нельзя подделать сердца и нельзя выдумать счастья, если оно не пришло!



«Тают белые снежинки, опускаются на землю, обволакивают замок в легкий призрачный покров . . . В старом замке тихо, тихо . . . в коридорах стража дремлет, и покой их не нарушен дерзким гулом голосов. В коридорах темных замка бродит бледная принцесса, с замороженной улыбкой смотрит в даль, в глухой тоске . . . Может быть, из древней чащи настороженного леса на коне к ней мчится рыцарь, рыцарь с перстнем на руке? И нарушив приказанье, легкой птицей по ступеням, поднялась в покои башни — к чародею — королю:

— О, отец, тебя прошу я, умоляю на коленях — дай мне счастье — ты волшебник — дай того, кого люблю!

Но колдун лишь улыбнулся, покачавши головою:

— Нет, Мафальда . . . все, что знаю, все, что здесь я берегу, я могу отдать за сердце настоящее, живое, по нельзя придумать сердца — счастья дать я не могу! В этом камне бьется сердце, этот камень — настоящий . . . Ты сама избрала жребий, и запомни навсегда: если твой любимый рыцарь не отдаст всего за счастье, то твоя, Мафальда, елка не зажжется никогда.

Руки белые принцессы — крылья падающей птицы . . .

Чу?! ведь это рог призывный пред воротами звенит? И из белой чащи леса выезжает белый рыцарь, в коридорах замка будит эхо звонкий стук копыт. Подъезжает . . . входит в замок . . . Тает снег на белых латах.

— Прикажи, принцесса, чтобы, как уже случилось встарь, был бы позван в старый замок приходивший раз когда-то к королю в Сочельник ночью старый мастер золотарь.

В коридорах замка снова звонкий гул и звоны песен:

— Белый рыцарь у порога!

— Белый рыцарь в зале ждет!

— Он нашел волшебный камень!

— Он нашел волшебный перстень!

— Тот, кого принцесса любит . . .

— Тот, кто счастье принесет . . .

У застывшей елки в зале собрались пажи и слуги, все придворные и дамы и столпились у дверей:

— Как бледна, — дрожит принцесса . . .

— Что-то будет? Что-то будет?

Сам король спустился с башни . . . сам великий чародей!

На коленях пред принцессой, белый рыцарь снял забрало:

— Много лет я шел, принцесса, обойдя кругом весь свет, — только тот чудесный перстень, про который ты сказала, не нашел я, потому что на земле такого нет. Я прошел леса и горы, через стужу и туманы, чтоб тебе, принцесса, радость — счастье в замок принести. Южный ветер гнал мой парус по морям и океанам — но волшебный этот камень я не мог нигде найти. В этом камне жизнь и счастье, в этом камне мрак и холод — искра пламенная сердца — боль и горечь — сердца гарь . . . Пусть же снова повторится то, что было, — пусть свой молот поднимает в старой башне тот же самый золотарь! Чтобы дать тебе, принцесса, сердце в камне настоящем, чтоб зажглись огни у елки — загорелось пламя свеч — все тебе отдам, Мафальда, за твое, принцесса, счастье, куй, колдун, кольцо второе, — вот король, тебе мой меч!

На ресницах у Мафальды две слезинки задрожали . . . Замер старый замок в страхе от безумных, страстных слов . . .

Вдруг, — о чудо, — свечи елки загорелись, заблестали от звезды, упавшей с неба мириадам огоньков . . .»



На праздниках, встречаясь с знакомыми, Георгий рассказывал им удивительную историю — как он нашел свою кузину и узнал ее по такому же кольцу, какое сам носит на руке . . . И только, когда прошли святки, стало немножко неловко . . . Почему она не приходила до сих пор? Впрочем, ведь и его не было дома . . . Милая, славная девушка . . . В ней есть что-то настоящее — может быть то, что ему до сих пор не приходило в голову искать? Впрочем, теперь он слишком устал для поисков — к чему? «Докуренная папироса?» Ну, нет, он еще не докурил ее и, вспомнив это сравнение, он невольно улыбнулся.

— Где же Тамара?

Старичок немец торопливо пожал ему руку, сдвинул на лоб очки, и обрадовавшись, что может наконец излить душу, стал рассказывать, смешно пересыпая русские слова немецкими.

— О, нет, принцессин Тамара не служит больше в его магазине. Он очень, очень рад за нее. Она теперь будет тем, кем и должна быть настоящая русская принцессин — богатой, счастливой женщиной. Принцессин Тамара вышла замуж за молодого голландца, который бывал у них в магазине. Она так и сказала, ему, старому Миллеру:

— Теперь, герр Миллер, я сделаю три вещи: во первых, выкрашусь в рыжий цвет, потому что мой жених тоже рыжий, и еще потому, что это самая большая глупость, какую я могу сделать. Во вторых, я выхожу замуж за вашего мингера ван дер Хвоста и уеду с ним в Голландию. А в третьих, я сделаю вам подарок — вернее не вам, а той принцессе, которая не зажигает под Рождество елки в вашей витрине.

Старик любовно погладил шелковую юбку улыбавшейся куклы. На тонкой руке, в виде запястья синевато-зеленым омутом тускло мерцало старинное кольцо . . .

— Принцессин Тамара — такая смешная девушка! Вы знаете, она пришла сюда ночью, в Сочельник и зажгла в витрине елку . . . Подумайте! Елку принцессы Мафальды! Она пришла вчера проститься и

сняла с руки кольцо, такое дорогое кольцо! Мне показалось даже, что она плакала, но когда принцессин волнуется, она говорит таким смешным басом, как большой мужик:

— Этого ван деррр Хвост не получит. Нет!

— А вам, сударь, она просила передать только вот эту записку. Георгий взял в руки листок.



Так проходит мимо счастье . . .

Вот и все.

Как это просто!

Никому не нужно сказок . . . в сказке — сердце, в сердце — грусть. Я сегодня стану рыжей и уеду с ван дер Хвостом в льду выращивать тюльпаны . . .

И, конечно, не вернусь . . .

Может быть, так было лучше: я не знаю, мой любимый, но с последней лаской сердца посылаю свой привет — снегу белому и елке — той, которой не зажгли вы — потому что это сказка — потому что сказки нет.

1935 г. Рига.



Было бы не правильно сказать, что я провела этот вечер одна, потому что Тюрлюрлю и Гыг могли бы тогда справедливо обидеться: а они на что? Не стоит также указывать точно, что это был за вечер: Сочельник, Новый год или еще другой. Все зимние вечера достаточно долги, чтобы рассказать сказку. Рассказывать же иначе было бы неправильно тоже, потому что каждый представляет себе сказку именно такой, какой он хочет ее видеть, и никому не мешает, что каждый видит — по-своему.

Мои Тюрлюрлю и Гыг принадлежат к шишиному народу, который каждый год вылезает из коробок и живет на елке и книжных полках. Оба — из простых сосновых шишек, в громадных туфлях. У Гыга — свесившийся на сторону колпачок, скошенные глаза и недовольно-ворчливый рот. У Тюрлюрлю — блаженная улыбка на толстом личике, и забавная шляпка из скорлупки каштана. Рот у нее полуоткрыт, потому что она напевает песенку, но это не мешает ей держать в обеих руках по тонкой свечке и даже, кажется, подтанцовывать в своих тяжелых сабо.

Можно было бы начать с того, как они появились у меня впервые в тот мой тяжелый год, и какие велись с ними разговоры — но все порядочные истории имеют свои собственные начало и конец.

Разумеется, я отнюдь не утверждаю, что это — сказка. Хотя бы уже потому, что Тюрлюрлю никогда не была принцессой. Отца ее и Гыга звали Большой Старый Господин. Мать Тюрлюрлю умерла давно, а Большой Старый Господин был почтенным купцом в старом городе на берегу северного моря. По некоторым улицам проходили каналы, и над ними нависали краны высоких складов и узкие острые крыши с маленькими окошечками под горбылем черепиц. В городскую гавань приходили корабли со всех концов света, в портовых лавчонках пахло веревками и корицей, по мостовой громыхали тяжело груженные телеги, а в кабачках стучали пивные кружки и колыхались в табачном дыму подвешенные под потолком расписные бриги — родные братья тех, что стояли в гавани.

Шум и веселый гомон гавани не долетали до дома Старого Большого Господина. Дом делился на две неравных части: одна выходила к каналу, и к ней приставали громадные баржи, груженные товарами. Фасад украшал главную площадь города, на которой стояли высокие фонари в кружевных воротниках решеток, и огни отражались в цветных стеклах окон — узких, и тоже переплетенных решетками.

На две части разделялась и рабочая комната Большого Господина. В одной — стояли на полках счета, а под ними — сундуки с золотыми монетами. В другой — до самого потолка выстроились шкафы с тяжелыми переплетами книг.

Большой Господин был одним из самых богатых, и самый уважаемый купец в городе. Даже в молодости его называли уже «Большой Господин», а с годами прибавили слово «Старый», в отличие от Гыга. Того, хоть он и был его сыном, никто не называл «господином», хотя

это и следовало для порядка. Но город слишком привык к гавани, и был своеволен, как море: называл кого и как хотел, и никто не мог заставить его переменить свое мнение.

Среди купцов далеко не все пользовались таким почетом; как и везде, в городе было довольно много мелких торгашей, которые не могли подняться выше своего уровня: но зато другие, вроде Старого Господина, были подлинными строителями города еще с незапамятных времен. Это они открывали новые страны, посылая корабли в неизвестную даль; это им привозили оттуда всевозможные вещи, которые растекались по всей стране, а в город свозились и сходились со всех концов страны другие вещи и люди, и он рос и богател вместе с нею. Это они заказывали художникам картины, архитекторам — прекрасные церкви и дома, печатали книги и сходились вечерами в ратуше, чтобы слушать певцов и музыкантов; эти они . . .

Но можно рассказывать еще много о том, что и сколько они делали, строя город, как их отцы и деды. Главное было в том, что Старый Господин пользовался среди них таким почетом не потому, что его дом был красивее других, не потому, что его склады и корабли были больше, а потому, что ни у кого не было таких ясных и мудрых мыслей.

Большое счастье иметь такого человека в городе, в стране — не говоря уже о доме!

Так думали все, но покачивали головой, и иногда вздыхали, ибо Тюрлюрлю и Гыга они знали тоже.

Гыга никто не называл иначе, ибо он ходил всегда скособочившись, смотрел исподлобья, недовольно растягивая рот и хмуро ухмыляясь: «гыг»! Это было тем более странно, что молодой наследник в таком богатом доме и у такого мудрого отца был сам красивым парнем, и чего же ему не хватало в жизни? Учись и работай как хочешь!

Однако, не хватало именно этого: когда отец посадил его за книги, он сперва плакал от скуки, а потом, одолев буквы, быстро проглатывал начало, заглядывал под конец — и уже редко перелистывал середину. Когда его посадили за счеты — он залил цифры чернилами, и так запутал, что никто не мог потом разобрать, в чем дело. Когда отец отправил его на корабле в заморские страны, он сперва был в восторге, пробовал нарисовать даже свою собственную карту — но потом оказалось, что на палубе ветрено, на мачтах мешают паруса, в каюте тесно, а во время бури он заболел.

Ничего не получалось у него и на складе: угрюмый вид отбивал охоту у всех покупателей. Когда же отец послал его вместо себя в городской совет — Гыг нагрубил старейшему советнику и заявил, что все споры с соседними городами надо прекратить при помощи пушек, из которых он покажет, как палить.

Хотя Гыг был еще молод для женитьбы — но можно было подумать о будущем. Однако, увидев на улице красивую девушку — он подходил к ней и начинал жаловаться, что его никто не понимает, и обещал ей дорогие подарки. Девушки в городе были не только красивы, но и знали себе цену: они не соблазнялись подарками и не любили жалоб, и мечтали о совсем других женихах.

Единственные успехи Гыга, и то не всегда, были у случайных собутельников в портовых кабачках, где он любил рассказывать, какой красивый дом у его отца, какие умные книги читает его отец, какие

корабли посланы его отцом, и какие дела и геройства совершит и сам он, Гыг, — ну, скажем завтра или когда-нибудь, когда все поймут, чего он хочет. Некоторые матросы покачивали головами и всерьез предлагали:

— Пойдем лучше с нами в море! Покрепишь паруса в бурю — иначе заговоришь!

Это, конечно, не нравилось Гыгу, как и все остальное. Он не давал себе никакого труда овладеть жизнью — а без этого ничего не дается, даже наследникам Большого Господина.



У Тюрлюрлю тоже было сперва другое имя.

— Тю! — говорил ей Старый Господин, протягивая палец с блестящим перстнем. Ей очень нравилось кольцо, она хваталась за него и, захлебываясь от радости, лепетала:

— Тю-лю... лю...

С годами она выучилась говорить правильно, но любила по-прежнему все, и вместе с этой радостью сохранилось и прозвище. Однако, радостная любовь не пользуется почетом, — люди слишком заняты собственными драмами, чтобы обращать внимание на счастье. И чего в самом деле радовалась эта придурковатая девчонка с восторженной улыбкой, горбившаяся от больной спины? Хоть бы она пожаловалась — так ведь нет, носится повсюду, распевает свою любимую песенку:

«Роза, роза  
Только краткий миг цветет,  
Счастье, счастье,  
Улыбнется и пройдет!»

Ну и ясно, что пройдет, чему же тут радоваться!

Мелкие торгаши не могли думать иначе, но городские советники часто гладили Тюрлюрлю по голове, а приказчики на складе всегда улыбались, когда она, взгромоздясь на ящик или бочку, нюхала и рассматривала вещи и требовала рассказать о них все: откуда, что, и почему. Что же касается моряков в порту, то с ними у Тюрлюрлю была бурная любовь: корабли она знала наизусть, начиная с Летучего Голландца, и несмотря на больную спину, с упоением лазила по мачтам — не всегда же болеть!

Самая большая любовь была у нее с отцом, и они говорили о многом. В особенности о кораблях. Они были повсюду в городе: в гавани, в книгах, на гербе в ратуше, и на золотых монетах, называвшихся корабельниками, на которых была выбита надпись:

Корабли отправляют за счастьем  
Раньше — теперь — всегда.  
А золотом настоящим  
Расплачиваются года.

Монетки переходили из рук в руки, и на мелкие буквы надписи редко кто обращал внимание. Но Тюрлюрлю задумалась.

— Видишь ли, объяснил ей отец, — мы ценим золото, потому что оно проходит через все испытания, и остается таким же звонким и чистым. Душа у человека тоже должна быть золотой.

— А если у них оказалось мало настоящего?

— Тогда — горе им! Их сжигает огонь и разъедает ржа.

— Но как же это может быть в таком чудесном мире?

— Никогда не забывай о том, что он прекрасен, Тюрлюрлю. Никто не знает что еще может случиться. Бывает, что корабли тонут, города разрушаются, — не дай Бог увидеть тебе такое горе!

— Но ведь нам нечего бояться, отец! У тебя не один сундук, набитый корабельниками!

— Иногда приходит и такое горе, что у тебя может остаться только горсть корабельников, которую ты успеешь сунуть в карман. Но и тогда не дорожи ими. Мы, настоящие купцы, всегда брали их горстями и разбрасывали кругом, отправляя все новые и новые корабли. Они видели и солнце, и много бурь, на них у людей закалялись и душа, и сердце. Все, что человек имеет, может исчезнуть — настоящее останется, а только это и надо иметь!

Большой Старый Господин многое видел в жизни, и знал, что несмотря на больную спину, Тюрлюрлю будет очень прямо идти по своей дороге. Недовольное лицо сына он видел тоже. Но что делать? Солнце светит всем людям, — может быть и те, что не умеют ни взять, ни дать, тоже научатся со временем...

Так шли годы, и каждый человек в этом городе делал свое дело, а потому и капитаны, и канатчики пользовались одинаковым почетом. Весною над морем призывно распахивалось небо; в осенние бури норд-ост гнал серые волны на берег, и люди крестились, говоря: помоги, Господи, тем, кто в море думает сейчас о земле!

Зимой высокие колокольни протыкали шпилями тучи, и шел такой снег, что даже гавань затихала и убиралась чистойшей белизной, а в домах зажигали теплые свечи. Жизнь менялась спокойно и мудро, каждый день приносил свое, и надо было уметь сносить и заботы, и радость.

Но уходившие на коряблях знали, что если они вернутся, то в саду будут попрежнему цвести розы, а в сумерки седой ламповщик зажжет фонарь на углу...

Я знаю, что вам кажется это невероятным. У нас не осталось роз, которые нас встретят. Мы не можем больше представить себе, как внуки вырастают в доме деда, и этот дом есть всегда, как солнце и небо. Для нас с вами это уже — сказка. Поэтому я и рассказываю ее.



Никто не считал Большого Господина слишком старым, чтобы ему нельзя было отправиться с кораблями. Никто не думал, что его корабль может погибнуть в буре, хотя это случалось не раз. Порядок, прочно установленный в доме и городе, не мог быть нарушен с уходом одного человека. Но когда он ушел — все сразу осиротели, и в их душах зародилась тревога. Да, — потом все отчетливо вспоминали эту тревогу — как первый порыв ветра, принесшего бурю.

В ту осень была страшная буря. Корабли выбрасывало на берег, дома рушились, а враги, напавшие на город, убивали, грабили и жгли, даже тех, кто не хотел защищаться.

Каким образом это произошло — не стоит рассказывать. Говорят, что история повторяется, а так случалось уже не раз — ну вот, она

и повторилась. И Тюрлюрлю с Гыгом пришлось бежать из отцовского дома так же, как и многим другим: в глухую ненастную ночь, при свете пожара, спотыкаясь о камни, захватив с собою на весь долгий путь — только горсть золотых корабельников. Для каких угодно размышлений путь был достаточно длинным — пока наконец, они смогли поселиться в далекой глухой стране, где не было врагов. Но ни кораблей, ни моря там не было тоже.



Что значит потерять родной город — знают только те, кто на чужбине, и это одно из самых бесполезных знаний в жизни, ибо даже разорванные пути связываются только узлом, а отрезанные куски всегда остаются ломтями.

Ах, какая это была далекая страна! Конечно, и здесь были цветы, но вместо моря поднимались горы. С них срывался такой ветер, что жители придавливали крыши к домам тяжелыми камнями, чтобы они не слетели! Эти жители очень мало знали о старом городе и море, ничего не хотели знать о врагах, и вообще, совершенно не интересовались тем, что было раньше у чужих.

Тюрлюрлю поняла это сразу и замолчала, но Гыг продолжал обижаться на жизнь, хотя теперь у него было пожалуй больше оснований. Как бы то ни было, им приходилось начинать жить по другому, и они совсем не знали, как приняться за это.

Сперва они зарыли свои корабельники под старой елью на перекрестке дорог, потому что Гыг все еще ужасно боялся грабителей. Потом стали искать себе работу: Тюрлюрлю отправилась копать картошку, а Гыг нанялся к одному купцу. Но он быстро надоел своему хозяину рассказами о богатстве отца, а у Тюрлюрлю так разболелась спина, что она совсем не могла разогнуться и посмотреть на небо.

— Возьмем корабельники и начнем торговать по настоящему, в конце концов, мы из купеческой семьи! — сказал Гыг. — Стоит показать немного золота, и все дадут в долг.

Тюрлюрлю тихонько вздохнула, но деятельно принялась помогать: убрала лавку лентами и цветами, и встала за прилавком, распевая свою старую песенку:

Роза, роза — только краткий миг цветет!

Счастье, счастье — улыбнется и пройдет!

Гыгу удалось набрать в долг много товару, и торговля сперва пошла хорошо. Потом ему надоело. Стоять в лавке было скучно, а на углу, в корчме, весело стучали кружками, и всегда находились люди, охотно слушавшие его рассказы. Он не знал только, что потом они смеялись вволю над глупым хвастуном, у которого отец считал золото сундуками, а у самого нет даже пестрого жилета на праздник!

Несколько монеток Тюрлюрлю оставила на всякий случай себе, зашив в подол юбки, и храбро продолжала сражаться: с ворчливыми покупателями, которым было трудно угодить; с купцами, не хотевшими больше давать в долг; с приятелями Гыга, пытавшимися брать на мелок, и с самим Гыгом, который или ругал все на свете, или, захватив деньги, шел в корчму.

У нее было достаточно времени для раздумий, и она часто вспоминала, что когда они копали под елью на холмике, то под первым пластом старой хвои оказалась такая нежно розовая глина, что она невольно залюбовалась. Вот об этой глине она думала теперь, стоя за прилавком.

— Милый Гыг, — сказала она, решившись, наконец, когда Гыг сидел по обыкновению, уронив голову на руки, — я думаю, что мы все-таки делаем не свое дело, и Большой Старый Господин будет недоволен, увидев нас в этой лавке!

Почему-то теперь они всегда называли отца так, и, поскольку вестей о его смерти получено не было, Тюрлюрлю привыкла думать, что в один прекрасный день он появится на пороге — или построит родной город еще лучше, чем он был раньше. Надо было уметь ответить ему в любую минуту, не стыдясь.

— Самый большой торговый дом в городе был бы для нас более подходящим, но нас туда и на порог не пустят — фыркнул Гыг.

— Я не о том. Ты забыл, что об одних деньгах у нас думали только мелкие торгаша. Наши деды не только торговали: они посылали корабли, и на них люди учились мастерству и петь песни тоже.

— А ты собираешься строить здесь корабли, которые по горам будут ходить, что ли?

— Нет, я буду лепить в память о них ковшики из глины. Построю себе домик под елью, открытый для всех. Всем, кто проходит мимо, буду продавать ковшики и пирожки.

— Смешно. А если тебя ограбят вместо того?

— Отнимут глину и тесто?

— А если у проходящих не будет денег?

— Тогда я дам и так. А может быть...

Тюрлюрлю задумалась, не решаясь сказать, о чем мечтала: может быть, пройдет какой-нибудь путник, которому она расскажет о настоящих кораблях и даст ему золотую монету на счастье, не только ковшик, и потом он вернется, и... мало ли что может потом случиться! Во всяком случае — она твердо знала это, — Большой Старый Господин, найдя ее под елью, не станет смеяться, о нет. Он поймет, что она делает свое, маленькое дело — как может.

— Прежде всего, — твердо сказала она, — люди выучились печь хлеб, а гончарник — младший брат пекаря, и у обоих — тепло и мечта в их ремесле.

— Ну, как хочешь, — вздохнул Гыг. Сестра, признаться, надоела ему своими вечными напоминаниями о Большом Старом Господине, которого все равно больше не было, и каких-то там законах, которых он и в отцовском доме не любил вспоминать.

— Отправляйся под свою ель и устраивайся, как знаешь, я буду жить по-своему. У меня широкие планы, а женский ум короток!

Последний аргумент всегда казался ему самым неопровержимым, но Тюрлюрлю и не возражала. Завязав в узелок старую юбку, она отправилась в путь.

С ее уходом лавка Гыга совсем захирела, да он и не слишком заботился о ней. Его занимали планы. Он рассказывал о них в корчме, просиживая там дни и ночи. Но проходило время, а из планов ничего не выходило, потому что у него никогда не хватало терпения довести

до конца начатое дело. Кроме того, как только он начинал что-нибудь — а начинают всегда снизу — то быстро приходил к мысли, что ему, наследнику Большого Господина, неуместно заниматься такой дрянью. С горя он снова забирался в корчму и пил, проклиная все на свете, и вспоминая прежнюю жизнь в отцовском доме, который теперь вырастал в его рассказах в целый дворец с золочеными потолками и мраморными лестницами, хотя этого вовсе не было никогда.

Но даже рассказывая о действительных сокровищах, которые были у Старого Господина, Гыг всегда забывал при этом то, о чем и раньше не хотел думать: а именно, что все и в доме, и в городе, было построено на упорном и вдумчивом труде людей, которые стремились к мечте и вместе с нею становились мастерами — и своего дела, и жизни.

Нет, Гыг только отмахивался от таких мыслей: в родном городе, утверждал он, он был бы теперь сам большим господином безо всякого труда.

Гыг был красив, и на него и здесь часто заглядывались девушки, но любовь всегда кончалась, как в любимой песенке Тюрлюрлю: «Роза, роза — только краткий миг цветет»... Счастье проходило очень быстро, и Гыг считал виноватыми только этих глупых и злых девушек. На самом же деле он был для одних слишком беден, потому что они действительно мечтали о бархате и каретах, а для других — слишком швырялся деньгами, и для тех и других — слишком много говорил о самом себе, когда им хотелось, чтобы он подумал о них тоже.

Так шли годы беспутной жизни, и Гыг еще презрительнее скашивал рот, поддергивал плечами, и даже не строил уже больше планов, раз и навсегда сурово осудив жизнь, не дававшуюся ему в руки. Он шатался повсюду, уверяя, что любит одинокие прогулки, хотя не мог выносить одиночества больше, чем на один день, и деньги, заработанные в одном месте, спускал в другом. Дома у него не было, потому что он ни о ком не хотел заботиться. Может быть, он даже так привык быть недовольным жизнью, что если бы добрая фея исполнила вдруг все его желания, то он стал бы вконец несчастным человеком.



Говорят, что сказки сказываются скоро, а дело делается долго: но эта сказка была бы слишком долгой, если бы рассказать все злоключения бедной Тюрлюрлю с ее ковшиками, елью и ничем необоримой любовью к миру.

Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь строить дом на перекрестке и выслушивать столько насмешек и умных советов, противоречащих друг другу? А если и приходилось, то может быть вам помогал кто-нибудь, а не только фыркал, как старый еж под корнями ели? А если и помогал, то может быть, на вашем поле росло что-нибудь другое, кроме картошки?

Нежно розовая глина оказалась очень тяжелой, когда ее пришлось месить. Но она наверно была волшебной — у Тюрлюрлю перестала болеть спина, и совсем выпрямилась даже! Из глины была построена сперва большая печка: наверху обжигались ковшики, середине пеклись пирожки, а внизу поселился еж, чтобы не фыркать, а греться. Вокруг печки строился дом. Под крышу его сразу забралась сова, хло-

пая крыльями, а под порогом улегся барсук, часто лаявший, как собака, на прохожих, чтобы его боялись.

Делать ковшики тоже оказалось труднее, чем думала Тюрлюрлю. Много раз приходилось вначале сваливать в кучу налепленных уродцев и снова перемешивать все, пока не стали, наконец, получаться они ладными, красивыми и пригодными для всего, на что может пригодиться ковшик.

Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь строить дом на перекрестке, в который стучатся все, кто хочет укрыться от непогоды и передохнуть в пути. Особенно, если известно, что и тем, у кого нет денег, здесь даются пирожки и ковшик на дорогу, а иногда и золотой корабельник...

Если же приходилось, то вы знаете, значит, что проходящие мимо долго не задерживаются, ибо им надо идти дальше своей дорогой.

Один путник задержался дольше. Он играл на лютне, пел песни и рассказывал, что он королевич, и скоро вернется в золотой карете и увезет Тюрлюрлю в свой дворец. У него были золотые кудри и голубые глаза, и, конечно, они полюбили друг друга. Кроме того, стать королевой — совсем не то, что копать картошку! И какая же девушка не повернется перед зеркалом, наряжаясь в бархат и шелк — хотя бы в мечтах?

Конечно, это пустые мечтанья, как говорят умные люди — но, может быть вам тоже приходилось когда-нибудь быть молодым?

Когда королевич ушел, Тюрлюрлю дала ему на дорогу золотой корабельник, горько заплакала, и сразу же стала ждать, когда он вернется.

— Он приедет за мной в золотой карете, и я надену шелковое платье и поеду во дворец — гордо заявила она в ответ на вопросы.

— Лучше бы он поставил тебе забор, чтобы козы не ели твоей капусты! — говорили ей, и Тюрлюрлю искренно возмущалась. С каких пор королевичи брались за пилу и топор? Впервых, она как-нибудь смастерит забор сама, во-вторых, всей капусты козы не сожрут, на пирожки останется, а им тоже надо что-нибудь есть!

Плакать нельзя было долго: из-за слез потухла печка, а в дверь стучали путники, просившие пирожки и ковшики. Еж тоже недовольно топал по холодному полу и фыркал снова, козы просовывали морду прямо в окошко, вот какой получился беспорядок! Пришлось вытирать глаза и приниматься за дело, а потом долго штопать разорвавшуюся юбку — королевич не любил, когда она бралась при нем за иголку.

Бедная глупая Тюрлюрлю очень долго ждала королевича, и почему он не вернулся, не знает никто. Может быть, нашел себе настоящую принцессу, или не нашел своей страны, в дороге может многое случиться — и в пути забывают быстро.

Второй золотой корабельник Тюрлюрлю отдала путнику, тоже задержавшемуся в доме. У него были серые глаза, и он мечтал о море. Вот, он выстроит настоящий корабль, не то, что ее глиняные ковшики!

Долгими осенними вечерами они мечтали, как будут строить корабль, прислушиваясь к ветру за окном, от которого качалась крыша. Золотой корабельник, сказал моряк, принесет ему счастье: даже если он попадет на счастливые острова в теплом море, то и тогда не отдаст его красавице под пальмой!



Когда выпал первый снег, он ушел к морю. Тюрлюрлю долго махала ему вслед платочком, и ей казалось, что ветер развеивает ее юбку совсем как в гавани. Плакать было некогда, потому что никогда не известно, когда человек вернется с моря — все должно быть готово к встрече. А тем, кто остается на берегу — нельзя даже на минуту думать, что с моря — возвращаются не всегда.

— Твой моряк провел бы тебе лучше воду из ручья — чтобы не приходилось таскать ведра! — говорили ей.

— Ах, нет. Моряку не пристало возиться с канавой. Я сама выкопаю себе озерко.

Она выкапывала озеро целый год, радостно ожидая. Потом, вместе с водою, закапали слезы, ибо она поняла все-таки, что с моря возвращаются не всегда, да и до моря доходят не все, и кто не умеет взять в руки лопату, вряд ли сумеет построить корабль. Но самым простым вещам в жизни труднее всего научиться.

Третий золотой корабельник Тюрлюрлю отдала девушке, которая хотела научиться шить в городе, и у нее не было денег. Четвертый . . . пятый . . . золотых монеток у нее хватило для многих, проходивших с мечтой. Одних она любила, других жалела, с третьими просто мечтала вместе, но надеялась — за всех: они станут большими, умными, красивыми мастерами, не то, что она . . . и ей казалось, что у нее не горсть золотых, взятых из дому, а целый сундук, как у Большого Старого Господина. Впрочем, иногда и горсти может хватить на всю жизнь.

А жизнь проходила своим чередом, и Тюрлюрлю каждую весну радовалась пушистой вербе, и осенью — золотым листьям. Она не перестала любить мир и радоваться всему, как и раньше. Ждать она уже больше никого не ждала — но может быть Большой Старый Господин покажется все-таки на опушке леса когда-нибудь?

Да, около одинокой старой ели вырос теперь целый лес из тех шишек, которые сажала Тюрлюрлю каждый раз, когда ей становилось грустно. Может быть, кто-нибудь и вернулся — но прошел мимо, не узнав перекрестка?

Меньше всего можно было ожидать, что узнает Гыг. А именно он появился однажды — и в каком виде! Тюрлюрлю только руками всплеснула. Он и раньше не любил держаться прямо, а теперь совсем перекосялся, губы отвисли, живот выпятился, и вместо красивого Гыга перед ней стоял брющащий бродяга, которому никто больше не давал в долг.

Но она все-таки обрадовалась ему и металась у печки, размахивая юбкой. Надо было спечь самые лучшие пирожки!

— Гыг, — сказал он, садясь за стол, — ты, я вижу, умно распорядилась своим золотом. Выстроила красивый дом, купила лес, озеро . . . только почему на тебе старая юбка?

Тюрлюрлю собрала на стол и уселась против него, подпершись рукой.

— Я ничего не покупала.

— В долг взяла? А корабельники целы? — оживился Гыг.

— Нет, остался только последний — зашит в подол вот этой юбки. Я бежала в ней из дому, и очень люблю ее, это еще подарок отца. Люблю даже заплатки на ней. Вот здесь я заштопала, когда ушел королевич, а эту заплатку сделала, когда ушел моряк . . .

— Но ведь ты могла получить за корабельники много денег!

— У тебя они были тоже.

— Ну да, но я растратил их, а потом брал в долг, пока верили...

— А я считаю, что лучше было давать и ж в долг.

— Золото?! Проходимцам?

— Не золото, а надежды, — мягко улыбнулась Тюрлюрлю, и Гыг поперхнулся — перед этими сияющими глазами он не мог сказать того, что подумал.

— Ну и что же — вернул тебе кто-нибудь — золотой корабельник? — спросил он, помолчав.

— Если бы я надеялась только на золото, — сказала Тюрлюрлю, — то наверно была бы теперь жалкой нищенкой. Но я ждала, что все они станут большими мастерами — и работала, чтобы мне не пришлось стыдиться, когда они вернутся.

В это время в дверь постучали, и вошел юноша с такими же голубыми глазами, какие были у королевича, хотя он был только бедным певцом. Он бережно положил на лавку завернутую в плащ лютню, и тряхнув кудрями, низко поклонился сперва Тюрлюрлю, а потом вошедшему вслед за ним старику.

— Вот это тот дом, Великий Старый Господин, — сказал он, — о котором ты слышал наши песни. О нем рассказывали люди, получавшие здесь глиняные ковшики, вместо корабликов, и золотые корабельники — в долг. Кто из них заплатил сторицей за надежду? Не знаю. Кто построил настоящие корабли? Не знаю. Но что многие рассказывали и пели песни об этом, и уходили с этой песней в море — это я знаю, Великий Господин, и что им давали здесь на дорогу настоящее золото, это я знаю тоже! Поэтому я и пришел сюда — не для того, чтобы просить, а чтобы спеть за других хорошую песню!

И он запел ее, и в струнах зазвенело море, затрепетали паруса, взметнулся ветер. И бура была в этой песне, и солнце, и счастье, и слезы. Целая жизнь была в этой песне, суровая и прекрасная, чудесная и трудная жизнь, от которой светлеют человеческие глаза.

— Отец, — тихо сказала Тюрлюрлю. — Ты вернулся, а наш город погиб, и дом разрушен...

— Но ты построила другой, я вижу, и в нем широкая печка.

— Отец, нам пришлось поселиться здесь, а здесь нет моря...

— Но ты помнила о нем и рассказала другим.

— Но у тебя были богатые корабли, отец, — сказал Гыг, — а Тюрлюрлю только и смогла, что лепить эти глиняные ковшики, и вместо того, чтобы накопить сундук хоть медных денег, раздала последнее золото проходимцам!

— А что ты дал кому-нибудь? — строго спросил Старый Господин.

— У меня у самого ничего не было.

— Неправда. Тебе было дано не меньше. Но ты ничего не давал другим ради их самих, или ради их мечты хотя бы. Ты только разбрасывал, если тебе это нравилось. А теперь у тебя пустые руки, и в них некому и нечего положить.

Тюрлюрлю всхлипнула и отвернулась. Отец был прав, конечно — но певец пел такую красивую песню, что она не могла удержаться. Наклонившись, она распоролла подол юбки и вынула последнюю оставшуюся монетку.

— Гыг, — сказала она робко, протягивая ему корабельник, — возьми вот и прочти, как следует прочти, что на нем написано!

Гыг потупился, вертя в руках золотой. Буковки надписи были очень мелкими, но он прочел, запинаясь:

Корабли посылают за счастьем

Раньше — теперь — всегда.

А золотом настоящим

Расплачиваются года.

И обнявшись, все трое заплакали.



Вот это — настоящая история Тюрлюрлю и Гыга, потому что мои, из шишек — только чтобы не забывать о них, но если вы хотите считать это сказкой — тем лучше. В сказке каждый видит именно то, что ему надо — и никому не мешает, что каждый видит по своему.

1955 г. Мюнхен

## ПИСЬМО ДЕДУ-МОРОЗУ

«Вы слишком разумны, чтоб сказкам поверить. Для вас это только — ненужные бредни. И если пришла бы к вам добрая фея — ее не пустили бы дальше передней! Но сказки стучатся в упрямое сердце — но сказки не блекнут — хоть вы их забыли... И если увидите Деда Мороза, то он вам напомнит, кого вы любили...»

В сочельник приходят к нам Деды-Морозы. У каждого в жизни есть сказки в сочельник. Но нужно, чтоб двери для них отворили, чтобы пах и смолою и свежестью ельник. Хотите ли, нет ли — они неизбежны. Их надо увидеть, узнать, обернуться — и той же улыбкой, печальной и нежной, им, мимо идущим — во след улыбнуться. А если у вас не найдется улыбки — и вы никого, никогда не любили — то лучше бы вам и совсем не родиться, и лучше, чтоб вас поскорее забыли!»



На раскатах улиц, как будто облитых лаком, заносятся санки и рассыпаются бубенчики. Дворники скребут желтыми как жалва, лопатами тротуары, и на черном асфальте рассыпаются недобранные, прилипшие огоньки снега. За окном высокий и мягкий, пушистый, как кот, карниз. Рождество — вот, вот...

Значит все, как полагается, как должно быть. Кто-то промчится в санках, обнимая одной рукой, заглядывая в нежащий воротник. Кто-то поддержит за локоть на сбитом снегу. Кто-то целует с губ крохотные звездочки. Пройдут люди с пакетами, большими и праздничными. Разбегутся мальчишки по ярмарке, засовывая в рот хрупкие вафли. Через передние, разбрасывая налипший снег с холодом, свежестью, смолой, протащутся раскидистые елки с коричневыми шишками. В толстых английских журналах раскинутся ветки омелы и заулыбаются Деды Морозы. Страницы английских журналов пахнут веселым Рождеством. А на кухне пахнет мятными пряниками, в спальне распечатывается новый флакон одеколона, и в шкафу топорщится белое платье, и...

Так должно быть. Конечно, не у всех. У тех, у кого устоялась жизнь.

Фитиль-Митиль не сомневается нисколько. Он важно стоит на подоконнике, уперев одну лапу в бок. У него длинный плоский живот из серого плюша, тощие ноги, узкий хвост закорючкой, нос огурцом, как у Петрушки, и колпак со звездочкой, из под которого высовываются острые длинные уши. Фитиль-Митиль — смешной и важный. Черные бисеринки глаз и рот до ушей у него, набольшого в шишином народце. Народец марширует за ним на елку — весь, разумеется, из шишек, с хвостами и косматыми бородами, с шапками на ушах, а ноги в разные стороны — в пляс. Тут и коты, и балеринки, и Деды Морозы в атласных кафтанах. А шествовать они будут под веселый и таинственный шишечный марш. Его выдумал самый наибольший — Фитиль-Митиль, но только он поет его не всем, надо очень внимательно слушать: «У медведики шишнадцать медвежат, все шишнадцать кверху лапками лежат!»



Дед Мороз — это тот, ласковый и умный, который все знает, все видит, и ничего не говорит. Галинке купили его в первый раз из глины, или из папье маше — давно это было, теперь не разглядеть. Но помнит: коричневый, с белой меловой опушкой, совсем живыми темными глазами и елочкой в руке. Если прижаться к нему щекой — холодный и шершавый. Он занимал почетное место на столике перед куклами. Стоял долго, пока не разбился. Галинка горько плакала и осколочки Деда-Мороза — пустого внутри были спрятаны в потаенный уголок — детской ли, сердца ли? Они заворочались там, когда... но сперва надо провести длинный и большой зигзаг от белой детской в голубых колокольчиках, от кукольного диванчика, и многого другого, через то, о чем говорят теперь скороговоркой: война, революция, и...

И в мутный город, в туманный слякотный Сочельник, в дымную ростепель. Рождество без снега и без всего. На Галинке пальто из старой шинели, сквозь чулки просвечивают фиолетовые ножки, хлюпающие в луже растаявшего снега. Галинка ездила и знакомой даме — но та не продала еще мамино кольцо. У нее разостланы ковры и пахнет вкусным. Она позвала Галинку на кухню и дала ей три желтые, теплые еще лепешки печенья. Они ссыпались с помасленного листа в аккуратную витую корзиночку.

Галинка съела только одну лепешку, а две другие зажала в руке. Так, кутая их в дырявую перчатку, села в трамвай, с визгом остановившийся на залитых водой рельсах.

Воротник намокшей шинели резал и натирал подбородок. Галинка вспомнила, что еще ничего не ела сегодня и осторожно, чтобы никто не видел, откусила из перчатки тающий кусочек. Ей больше всего хотелось согреться и поплакать. Трамвай снова заскрипел, останавливаясь, и в вагон вошел Дед-Мороз. Он спокойно уселся в том же ряду: высокий, в желтом овчинном полушубке с полоской черного меха... Белая ватная борода, а над нею смеются молодые веселые глаза. В руках большая тяжелая корзинка с нарядными пакетами, убранная хвоей. Сидевшие в трамвае подтолкнули друг друга, заулыбались, зашептались. А Галинка повернулась к нему боком и даже забыла про лепешку. Только смотрела, доверчиво и нежно. Так улыбаются в четырнадцать лет бедные маленькие девочки, всегда готовые поверить в сказку. Он ехал не к ней, и она не получит ни одного из этих аккуратных пакетиков. Но он есть, он живет, он приходит. Кто-то подумал о ком-то, кто-то вез большую и ласковую радость.

Дома мама купила все-таки тонкую прозрачную елочку и испекла из серой муки толстые колбаски, посыпав их корицей и сахаром. Галинка ела их, осторожно хрустя зубами и была действительно очень довольна: из-за елки, в туманном углу, на нее смотрели веселые глаза Деда-Мороза. Теперь она твердо знала, что он есть.



Серебряный язычок будильника бьется непрерывным, назойливым звоном, над самым ухом. Она засунула его за подушку, к стенке. Галинка быстро поднимается, даже не ежась от холода, нащупывает в темноте пружинку, тушит звон. Наступившая сразу тишина кажется в темноте особенно гулкой.

Вчера был Сочельник — тяжелый, скучный и тягучий. Профессор говорил бесцветно и долго о том, как ей надо работать над своими картинами, и неодобрительно поглядывал на стены, где обваливающаяся штукатурка мансарды плохо прикрывалась наколотыми этюдами. Остальные похмыкивали в ответ и усердно пили.

Галинка сидела за столом, резала ветчину, грызла подгоревшие пряники и посматривала на никому ненужную елку, на которой посредине качался от ветра — ужасно дует в двери — большой пряник с сахарным Дедом-Морозом. Дед-Мороз, в голубом кафтане и розовых валенках, подплясывал на ветке, подмигивал Галинке: он знает!

Он знает, что сейчас вот, в шесть часов утра, Галинка должна быстро вскочить, одеться в темноте — только у зеркала зажечь спичку. Потом наденет новую шубку, запахнет потеплей, осторожно приоткроет дверь.

Все тихо. И на улице — праздничная утренняя тишина. Не видно ни телег с молоком, ни дворников с громыхающими совками. Улицы выметенные, в неровных сверкающих заплывах сухого, притоптанного песком льда. Сухая колющая пыль снега кружится под ветром совсем низко: поземка. На холоде потрескивают большие молочные фонари. Притоптывают одиночные шоферы. Может быть, взять такси? Нет, успеет... Галинка смотрит на светящиеся оранжевыми переливами уличные часы и бежит дальше. В груди вот тоже — холодный, сухой, и сразу вдруг вздымающийся и падающий ветер. Галинка идет встречать своего Деда-Мороза. Он прислал телеграмму, он приедет сегодня, с утренним поездом, из дальних теплых краев... «Если вы приедете на Рождество, у меня будет праздник — писала она ему — «и я готовлю вам большой подарок». Да, подарок... Галинка прячет улыбку в воротник шубки. Что он скажет? Эта картина имела такой успех — и она писала ее для него.

Фонари вытянулись перед вокзалом в белую аллею. Носильщики, скрипучие автомобили, неизвестные старушки, дамы в меховом манто... неужели она опоздала? Свисток.

Галинка бежит на перрон, на ходу протягивая билет. Волна теплого пара вливается на дебаркадер, черный сверкающий паровоз урча громыхает высокими колесами, лязгает, дымным, шумным теплом обдает Галинку. Ей хочется погладить этого большого умного зверя — за радость, которую он приносит. Мимо — широкие стекла вагонов экспресса. На ступеньках стоят уже с чемоданами. Кто-то молодо машет коричневой шляпой, и прелестная блондинка в меховой опушке воротника улыбается, как английская лэди... Но неужели — никого? Не может быть. Галинка мчится по перрону. Под быстрыми шагами звенят замерзшие плиты, вокзальные, вагонные огни сливаются рябью, мелькают, переплетаются, и в окне... Да, в окне Дед-Мороз. Приехал! И... все такой же. И темные смеющиеся глаза, и мягкий обволакивающий голос, уверенные руки. Он не ожидал, что она его встретит. Целует, рассказывает сбивчиво, обо всем сразу.

Приехал! Приехал! Одно только слово, а как звенит!

Они едут в автомобиле, будят заспанного швейцара. Темно еще, всюду горят огни. Не ночь и не день, кругом расплывается все, непонятно, необычно, Галинка не знает, о чем говорить — столько месяцев не виделись, и все время думала, говорила ему — в даль улиц, в мох-

натый сон, что любит, любит . . . Но ведь он не слышал, не знает. И . . . подарок.

— Я посмотрю его потом, при свете как следует — говорит он, закрывая дверь в комнату, где на стене висит большая картина: ее Дед-Мороз с этими вот пристальными, непреклонными глазами.

Галинка выходит снова на улицу, когда на бледном небе яркое солнце, снег прорезан синими тенями и по нему идут веселые праздничные люди. Сегодня Рождество. Она идет, подбрасывая кончиком ботинка обмерзлую ледяшку, и улыбается всем, как улыбаются люди, когда они светятся изнутри и молятся этому свету.

•

— Вы слышали, что ваш портрет фигурировал на выставке в таком смешном сказочном виде? — спрашивают его по телефону.

— Видел, — отвечает он, скашивая уголок глаза на стену, с которой снят Галинкин подарок.

— Ах, до того еще, как она была выставлена? И ничего не имели против? Признаться, удивляюсь . . . Правда, это сказка . . . и о ней говорили . . . талантливо — не отрицаю, но слишком смело . . .

Трубка повешена, а картина снята со стены. Как ей могло притти в голову изображать его, да еще в таком виде? Нет, этого он не ожидал.

\*

Галинкина радость начинает тускнеть. Уже который день, а ни звонка, ни . . . неужели он не понял, что она хотела этим сказать? Картину хвалили, и профессора, и другие, ее хотели купить. А он — не понял. И . . . рассердился?

— Вы сердитесь? — спрашивает она в упор, после долгих колебаний беря трубку.

— Ммм . . . сержусь? Это слишком слабое выражение.

Трубка повешена. Над черным лакированным ящичком холодно и нагло поблескивает никель. Отбойный звон долго еще дрожит в ушах. Вот как. Значит, все кончено. О, он отлично знает, что ей не надо устраивать сцен. Дед-Мороз прошел мимо, как и праздничная радость и много, много еще . . .

Галинка снимает с елки сахарный пряник. Он уже обился. По лицу краснощекого Деда-Мороза ломаная ниточка трещины в сахаре. Вот это, пожалуй, и все. Для того, чтобы жить, человеку надо очень много вещей: всего не перечислишь. А убивают маленьким кусочком железа. Иногда и этого не нужно: несколько слов.

\*

Фитиль Митиль знает это. Может быть, потому он смеется, шагая на елку под веселый и таинственный шишечный марш. Фитиль Митиль бодро трясет длинными ушами и довольно оглядывается вокруг. В сущности, тут совсем неплохо. Вот в этом углу будет стоять елка, разложатся по диванам поблескивающие шелками подушки, на кухне пахнет печеньем. За синеватыми узорами стекол сыпучие сугробы, и засыпанная дорожка к нарядному домику ждет быстрых и радостных шагов.

Галинка ждала очень долго. Рождество бывает только раз в году, и если Дед-Мороз не пришел, то его нужно ждать. Она не светила больше. И не молилась тоже. Она не звонила по телефону. Она послала только короткую поздравительную телеграмму. Три слова и подпись. Все.

Она шла с пакетами в руках — подарки. Повесила на елку серебряные звезды. Надела новое душистое платье. Но, когда все уселись перед елкой, прошла в спальню, вынула из полированного ящика столика большое и длинное письмо . . . Провела рукой по конверту, прикоснулась губами к острому краю, запечатала сургучом.

Меховая накидка закрывает только плечи. Трен платья шуршит по снегу. На углу — синий почтовый ящик с красными буквами. Галинка подходит к нему, медленно просовывает в щель большой плотный конверт, на котором написано только два слова: «Деду-Морозу». Он, конечно, его не получит. Ему она и не может писать. Но Дед-Мороз, настоящий, посылающий сказки, стучащий в Сочельник в двери, улыбающийся ждущим глазам, светящийся изнутри — он узнает об этом письме. Он будет знать, как знает о всех просьбах, о том, как ждут кукол и барабанов, теплого угла и куска хлеба, свечек на елке, надежды жить, радости и ласки. Как ждут сказок, которые приходят и . . .

. . . «Ты больше не будешь — стучать у порога — и я не услышу приглушенный голос, и я не увижу веселой улыбки — хоть сердце мое пополам расколосось.

В Сочельник приходят к нам Деды-Морозы . . . таинственны сказки в мерцающем детстве! Но ты, ведь, наверно ни разу не слышал о каменном принце в его королевстве? Дворец сторожили драконы и грифы, на башнях сидели ученые маги. Им не было равных: легенды и мифы у них оживали на толстой бумаге. В дворце — не картины, а сказок страницы! Над крышей дворцовой — Жар птица трепещет! Но все эти сказки, драконы и птицы — для принца — давно надоевшие вещи . . .

Ты больше не будешь смеяться со мною, ты мне не зажжешь разноцветные свечи, ты мне не расскажешь — хоть строчкой одною — про теплые страны и ласковый ветер . . . Ты даже не вспомнишь, что в эти чертоги — (о каменном принце рассказ не окончен) — пришла по далекой и трудной дороге принцесса, желавшая видеть воочью — принцесса, которая сказку просила . . . (Жар птицы на крыше, дракон у ступеней!) И каменный принц среди этого мира был сам небывалым его завершением.

Но принц был слегка раздосадован встречей. (Вот невидаль, сказки для этого принца!) И молвил, презрительно вздернувши плечи:

— Мне важен, принцесса, не сказки, а принцип. Принцесс в мой дворец приходило так много . . .

(Пожалуй, чем дальше, тем сказка печальней!)

— . . . а то, что вы просите — это убого. Не будьте, пожалуйста, сентиментальной!

Когда вы вы дойдете до этой страницы — вы, Деды-Морозы, драконы и грифы, вы будете знать, что и Синие птицы, и сказки в сочельник — ушедшие мифы. Ушли потому, что не светятся людям, кто больше не молится в святочный вечер . . . Ушли потому, что ты больше — не будешь, и ты не вернешься зажечь эти свечи».

1936 г. Рига.



## ПЕЧКА ПРИНЦЕССЫ

Когда злобный волшебник завладел королевством и на следующее утро бедная принцесса должна была покинуть свой дворец, то она ничего не могла взять с собой.

Она протянула руку к шелковому платью, брошенному на стул под балдахинном кровати, но жесткие пальцы оруженосцев волшебника смяли кружева и протянули ей простую темную юбку судомойки и бедный коричневый плащ. Она взяла маленькое серебряное зеркало со своего туалета, но его выдернули у нее из рук и оно упало и разбилось. Она прижала к груди любимую книгу, но книгу бросили на пол и растоптали. Она прошла по голубому ковру, и он так мягко прижался к ее каблучкам, как будто не хотел расставаться с ними, но не могла же она тащить за собой, вместо шлейфа, громадный ковер! Она погладила высокую колонну в зале — и колонны жалобно зазвенели, как хрустальные свечи. Они пошли бы за ней, конечно, но надо же было поддерживать потолок. Любимая собака кинулась за ней вслед, но ее посадили на цепь. И даже, когда принцесса нагнулась, чтобы сорвать цветок в саду и засушить его на груди, как память, — всадник растоптал его копытами своего коня.

Нет, ничего, ни одной своей, любимой и дорогой вещи не могла взять с собой бедная принцесса, и так прошла она через все залы, башни и сады дворца, и все, что было в них и в жизни, — уходило из ее рук, как вода, и то, что они оказались такими пустыми, ее руки, казалось ей очень странным.

Но она шла дальше, и ей осталось пройти еще несколько шагов только — последние ворота сторожевой башни. В глубокой толще стен была полутемная ниша — там слуги и часовые грелись раньше холодными вечерами и играли у печки в кости. Теперь они разбежались, ниша была пуста, на каменных плитах еще валялся опрокинутый кубок, а в углу стояла старая железная печка, забитая золой.

Принцесса оглянулась. Черные прислужники дошли с ней только до ворот, а потом повернули обратно. Поэтому они не заметили, как принцесса пошла по дороге, очень нежно и неумело прижимая к груди обеими руками старую железную печку.

\*

Воспитанием принцессы занимались главным образом придворный философ и придворный менестрель. Философия и поэзия оказались совершенно необходимыми для босоногих странствий по всему свету с железной печуркой под рваным плащом. Принцесса, конечно, не ставалась с нею. Она ее чистила, терла песком, мыла в ручьях. Печка продолжала оставаться неудобной, тяжелой, оттягивала ей руки, давила спину, рвала острыми краями и без того ненадежный плащ. Но кроме нее у принцессы не было ничего, — а нужно же иметь в этом большом и чужом мире хоть что-нибудь свое — хотя бы печку! На ней можно сварить чай из листьев, и спечь картошку, можно смотреть на угли и рассказывать сказки, а главное — греться.

Но — и в этом «но» заключается главное — принцесса никогда не могла согреться по настоящему у своей печки. Чем только она ни пробовала ее топить! Сухие листья и травы, шишки, кора, — даже цветы и кусочек янтаря, найденный как-то на морском берегу — все клалось в закопченную топку. Иногда огонь вспыхивал сразу, с веселым треском, подпрыгивал и плясал с тенями; иногда сердито ворчал, шипел и фыркал дымом, как чужой кот. Мох расцветал крохотными цветами гномов, травы превращались в раскаленное кружево, дрова и щепки горели дружно и деловито, подбадривая чайник. Но как бы ни пылал огонь в печке, согреться около нее принцесса не могла никак.

Другим это удавалось. Бродячие музыканты, подмастерья, странники и менестрели, рыцари, купцы, а иногда и разбойники — много всякого бродячего и проезжего люду сворачивали с дороги на огонек где-нибудь на опушке. Старая печка и рваная фигурка рядом с ней были знакомы уже многим. Маленькие в ссадинах и царапинах руки осторожно совали в огонь разную мелочь, а глаза упорно смотрели на огонь и тоже казалось, что они — с царапкой.

Принцесса охотно приглашала садиться и угощала чаем из трав. Иногда она рассказывала разные истории о дворце, о том, что читала раньше в книгах и видела теперь. Она умела видеть много интересного, и ее любили слушать, хотя верили не всегда. Иногда она молчала, и многие, смотря в ее упорные и далекие глаза, рассказывали вдруг сами, взволнованно и трепетно то, о чем они обычно привыкли молчать. Или пели ей красивые песни — даже разбойники.

Никто не сомневался в том, что она принцесса, хотя на ее плаще, кроме дырок, были одни заплаты. Некоторые предлагали ей даже пойти и поселиться с ними; бородатые крестьяне обещали ей каморку над хлевом, музыканты — ярмарочную гостиницу, разбойники — пещеры, а один рыцарь собирался даже устроить ее судомойкой в королевском замке. Но принцесса отказалась от всего, потому, что твердо решила ходить по дорогам и топить свою печку до тех пор, пока не сможет как следует согреться. Должен же быть когда-нибудь такой огонь, который греет тоже!

\*

В этот вечер земля стала совсем твердой от холода, и ветер гнал и вихрил сухой звенящий снег, кидаясь им зло и безрассудно.

Принцессе было очень холодно. Ей казалось даже, что в эту осень она стала мерзнуть больше, чем раньше. Скорчившись у своей печки на опушке леса, она с трудом совала негнуцимися пальцами в огонь щепки, шишки — все, что собрала к вечеру. Стенки печки давно уже прогорели насквозь и светились неровным огненным решетом.

Когда промерзшая дорога зазвенела под конским топотом, принцесса обернулась, заслоняясь рукой. По дороге ехал всадник, и ветер колотил ему снегом лицо, порошил глаза и раздувал его плащ, так что казалось, что он держит на руках большую и тяжелую ношу.

— Теперь уже не добратья до жилья, темно, — сказал всадник и остановил коня. — Можно погреться у твоей печки, бедная принцесса? Это ты ведь ходишь по дорогам и рассказываешь людям сказки?

Принцесса хотела ему ответить, но огонь слепил ей глаза, за снежным ветром вставала ночь, и она только кивнула в ответ на веселую улыбку и отодвинулась слегка.

Всадник соскочил с коня, привязал его к дереву, подобрал по дороге несколько веток и уселся у огня, широко распустив свой плащ.

— Я сам посмотрю за печкой, — сказал он, — можешь спать спокойно, а сказку я расскажу сам тоже.

Принцесса очень устала в этот вечер и благодарно улеглась на охапку сухой травы рядом, завернувшись в свои лохмотья. Дверца печки была открыта и она смотрела на веселый огонь и слушала веселый голос. Ах, какая это была чудесная сказка! Может быть в тех самых больших и красивых книгах, стоявших в дворцовой библиотеке, так давно-давно, которых она не успела прочесть, были такие сказки — и то только может быть. Принцессе казалось, что сильная рука мягко обняла ее за плечо, и она идет вместе с веселым всадником в чудесную страну и видит всю сказку на самом деле, и ей становится тепло, совсем тепло, по настоящему, впервые в жизни . . .

Да это была чудесная сказка. Всадник рассказывал ее долго-долго, у него совсем уже падали веки, а на губах все еще вспыхивала улыбка, и слова вспыхивали и грели тоже.

\*

Утром встало холодное порозовевшее солнце. Мерзлая земля дороги под легкой порошей блестела, как тяжелый шелк. Ржавые листья осеннего леса застыли под комьями первого снега и не шептались больше. На опушке, у старой потухшей печки лежала скорчившаяся, совсем прижавшаяся к земле фигурка. Снег рассыпался по ее плащу, придурил волосы и сухие снежинки легли на лицо. Снег не таял на губах замерзшей принцессы, но губы улыбались навстречу радостному счастью.

Веселый всадник все еще спал сидя, плотно завернувшись в свой толстый меховой плащ. Плащ был подбит мехом, и из него, в коричневом пушистом гнездышке под плечом улыбалось личико прижавшейся к всаднику светловолосой девушки, ехавшей вместе с ним. Девушка спала очень крепко. Она заснула, как только они уселись перед огнем и совсем не слышала сказки . . .

1954.

## КОРОЛЕВСКИЙ ПИРОГ

«Тяжелой книге, — много, много лет — она звучит такую нежной скрипкой — ее писал на севере поэт с печальной и ласковой улыбкой... По сказке рассыпаются улыбки — и надо воедино их собрать — ведь, говорят, звучат нежнее скрипки, что разобьют и склеют вновь опять.

Мы усядемся под елку слушать разные рассказы. Выпьем капельку рубина — подогретое вино... Звезды в пыли серебристой — точно белые топазы, точно те, что заглянули в темно-синее окно... Мы сидим под пестрой елкой — Расскажи, веселый гномик, раз просунул в щелку двери ярко красный колпачок, — Расскажи про королевство, где — мечта для очень многих — пекся раз в году, в Сочельник, замечательный пирог.

— Это был весьма похвальный и стариннейший обычай: у богатых среди начинки запекался золотой, был серебряный у бедных — ну, а нищие, обычно, клали в толстую лепешку черный боб один простой. И когда на темном небе свет вечерний зажигался, собирались все у елки — сколько в доме есть людей, — и пирог сей королевский хитроумно разрезался на количество большое одинаковых частей. Золотой в него, понятно, запекался в строгой тайне — неизвестно, кому будет самый лакомый кусок. Но один всегда отложен — если кто зайдет случайно, чтоб участие в этом пире принимать он тоже мог.

... Расскажи, веселый гномик, что же дальше было в сказке? Может быть, мы тоже этот золотой в куске найдем?

— Кто нашел, тот, кто бы ни был, по закону и указке объявлялся в этот вечер настоящим королем. Надевал он бархат мантий, золоченую корону, объявлял свои желанья — исполнять должны их все — и в Сочельник в королевстве — даже в самом бедном доме, были радость и веселье, и счастливый звонкий смех.»



Ах, эти заснеженные рождественские королевства, по которым перекликаются серебряные колокольчики, — из года в год, — звенят в первых тающих снежинках, россыпью зовут в снежный туман, в колдовство сверкающих белых улиц.

Так, перед Сочельником, бродишь, заглядываясь на все эти замечательные заманчивые вещи — пестрые переплеты сказок в строгих книжных витринах, яркие бумажки конфет, толстые коричневые пряники в ватном снеге кондитерских. На нарядные, веселые окна, на праздничных, оживленных людей. Вот так сорваться, побежать с ними вместе, взять в охапку пакеты с заткнутыми в них веточками ельника, хлопать мягко поддающимся дверьми магазинов, выбирать, покупать, нести домой...

А так как у меня нет своего дома, куда я принес бы эти пакеты, то я брожу по городу и смотрю на чужие окна. Сентиментальность? Может быть. Я позволяю ее себе очень редко.

Знаете, на углу, у старого католического собора — тяжелая готика, очень ранняя, прямые линии, плавные арки в красной кладке кирпи-

чей... Напротив него — маленький домик в три этажа, узкий, как конфетная коробка. Кто-то сделал в нем широкие модные окна, и, чтобы сохранить стиль, — зеленые ставни. А наверху и стиля сохранять нечего — крыша отступает горбылем, сейчас она совсем насупилась от снега — и под самой крышей — светится окно.

Сейчас оно не светится. Сейчас еще не потемнело мягкое серое небо. Метет мягко и ласково белая метелица. Пляшут, как будто на волнах качаются, нежащие хлопья... Вверх и вниз... вверх вниз.

Я сегодня рано закрыл контору и отпустил служащих. Они торопятся домой. Каждого кто-нибудь ждет... Меня никто не ждет. Жена вспомнит вряд ли: уже год, как мы разошлись, а Надин? Надин устроила мне вчера сцену — терпеть не могу сцен. Я не пойду к ней. Я стою вот здесь, около старого конфетного дома в самой старинной части города, куда даже не доносятся звонки трамваев, и смотрю на смешные маленькие ступеньки, покрытые нетронутым снегом. Кто здесь живет? Кто поднимается по ним — наверх, под самую крышу? — Может быть, в этой смешной маленькой мансарде живет седой старичок, похожий на гнома. Или...

На меня кто-то смотрит. Еще бы! Торчу тут перед домом полчаса... Оборачиваюсь. Нет, это совсем не старик, и никак не гномик. Это девушка, которую я знаю. Мягкая серая шубка из какого-то старенького меха. Большие, прозрачные глаза и такая же прозрачная улыбка. Она у нее чуть лукава и пленительно дрожит в уголочках розового, не накрашенного рта. Девушка эта приходит — не особенно часто — в мое постоянное кафе. Я люблю смотреть, как она ест — видно, что поджаренные, хрустящие булочки для нее — не частое удовольствие. А читает она французские газеты, что уже совсем приятно. Воспитана. И всегда одна. Я смотрел на нее несколько раз, и она краснела. Хорошо, когда девушка может краснеть! Последний раз я даже приподнялся и поклонился слегка, — она испугалась и чуть наклонила голову. Но я не сказал ни слова — эта недоговоренность маленькой случайной встречи делает ее гораздо интересней, а мне так надоела Надин с ее мужем, и Зока со своей цыганщиной, и... да разве их пересчитаешь? Когда я рассказал об этой встрече Ежику, — Ежик самая умная из моих очередных «любимых», и в награду за это зовется в мужском роде — она только пожала плечами:

— Тигр, когда он сыт, спокойно смотрит на лань и пошевеливает хвостом... а ты здорово пресыщен.

Я не то, чтобы пресыщен, но устал, и это верно. Но чтобы спокойно смотреть на «лань»?! Сейчас я, правда, смотрю спокойно, ведь это естественно.

Девушка удивлена. Напугана. Поворачивается. Сейчас уйдет... Как... она идет к этим нетронутым ступенькам? Живет здесь... или? И вдруг оборачивается — набралась храбрости:

— Простите, — голос рассыпается, как бубенчики, — но если... вы ждете кого-нибудь... из этого дома... то здесь никого нет.

То, что она сразу заговорила по-русски — ведь мы не сказали до сих пор ни слова! — это понятно. Но то, что она говорит вообще — это уже очень много.

— А кто здесь живет? — Я так пристально смотрю на нее, что она не может не ответить.

— Один старый немецкий профессор. — Он уехал на праздники... И... я.

— В мансарде наверху?

— Откуда вы знаете?

— Мне приходилось иногда угадывать и государственные тайны.

— Вот как? А что же вы теперь хотите угадать?

Девушка совсем осмелела. Стоит в дверях и улыбается прозрачно, как снежинка, как белая метелица. Я делаю только один шаг, чтобы очутиться рядом с ней. Продолжаю смотреть в упор (Ежик называет это «позой боа-констриктора») — и говорю раздельно и отчетливо, скандируя слова, в такт этому падающему снегу. Да и только ли этот снег падает, простой, игольчатый, или настоящая сказка ходит вокруг, метет землю серыми сумерками?

— Я хочу угадать очень много... я хочу задать вам несколько странных вопросов, и вы мне ответите на них — совсем чужому вам человеку — может быть потому именно, что я — чужой. Ведь сегодня Сочельник. В Англии в этот день вешают над дверьми ветку омелы — каждый, встречающий под ней девушку, может ее поцеловать. Но я не хочу целовать вас. Я не спрашиваю даже вашего имени. Я только хочу знать — будет ли сегодня вот в этой мансарде, за голубоватым окном, елка? И будет ли на ней...

Я хотел сказать — счастье, праздник, но вместо этого вдруг сорвалось слово, которого совсем не хотел произносить, — так, маленькое воспоминание детства, забытое уже, и милое вдвойне...

— Будет ли на этой елке — королевский пирог?

Она так широко раскрыла глаза, что слетающая снежинка запуталась в ресницах. И сразу просияла в доверчивой и трогательной улыбке.

— Королевский пирог?.. Конечно. Разве без него может быть елка? А вы — помните тоже? Это французский обычай, он был не у всех в семье. Но только...

— Только?

— Я оставлю, понятно, кусочек для случайного гостя — но это будет громадный кусок: мне придется есть мой пирог одной.

Я был побежден. Вот то, чего мне хотелось давно — совсем необычайный Сочельник. Я взял ее руку, снял пушистую вязаную варежку, поцеловал маленькую сухую ладонь и произнес торжественным колокольным тоном:

— Я буду сегодня вашим гостем и... съем королевский пирог!

Я повернулся, прежде чем она успела что-либо возразить. Во первых, неизвестно, стала ли бы она возражать, а потом нужно всегда оставлять за собой последнее слово. Единственная женщина, с которой я отступаю от общего правила — это Ежик. Но Ежик во первых умна — и никогда не скажет последнего слова, а во вторых, у нее совсем особенное амплуа: она занимается тем, что классифицирует и определяет мои отношения к другим женщинам. У меня самого для этого мало времени — и слишком много женщин, а она умеет выражаться литературно.

Надин может встречать Сочельник одна — это ей будет хорошим уроком. Ладе я сказал, что никак не могу быть. Сонни-бой предупреждена, что еду к тетке. Итак, все в порядке. У меня оставалось не-

много времени — до вечера, но магазины закрывались еще не скоро, и по дороге я тщательно обдумал все.

У Ежика уже были гости, и горела елка. Она вышла в переднюю.

— Ты во фраке? И в своих бобрах? Но ведь у меня только свои... Нет, ты что-то затеваешь. Почему не снимаешь шубы?

Ежик была очень мила, и, как нарочно, — нет, мне положительно везет сегодня — в новом лиловом платье.

— Послушай, дорогой и очаровательный Ежик. Я не буду раздеваться. Я ужасно спешу. Но, прежде всего, разреши тебя поздравить с Рождеством Христовым, и... Давай-ка сюда твою лапку.

К счастью, у Надин с Ежиком почти одинаковые руки — и кольцо с аметистом пришлось как раз впору. Ежика я балую очень редко, а Надин — поделом.

— Кольцо? — Мне — с аметистом — мои любимые... Мне? Ну, знаешь, я тронута до слез... Но, люта моя тигра, куда же это ты? Посиди у елки...

— Ежик, я слишком ценю тебя, чтобы соврать, будто я должен навестить мать. Во-первых, мама умерла пятнадцать лет тому назад, как тебе доподлинно известно, во-вторых, для этого не надевают фрака, а в-третьих, я завтра непременно зайду, и за чашкой крепкого чая расскажу тебе от начала до конца замечательный эпизод. Ты можешь представить меня в роли сказочного короля?

На Ежика действует откровенность. Для Надин мне надо было бы придумывать длинную историю, а Сонни-бой сказать просто: отвяжитесь. Все женщины одинаковы — к ним надо только по-разному подходить...

Ежик качнула гладкой черной головкой и стряхнула с моего воротника застрявшую снежинку:

— Бедная сказка!

\*

«И однажды — был Сочельник. Звезды вспыхивали в искрах — зимний вечер в королевстве — синий вечер, белый снег... По заснеженной дороге и сыпучей, и пушистой, направлялся в город путник — и второй с ним человек. Был один высокий, стройный, в алом шелковом камзоле, а другой в отрепьях серых, что скрывают стыд и боль. Первый — счастлив и удачлив, нищета — второго доля... Был один — презренный нищий, а другой — его король.

Но — кто знает цель и сроки, то, что было и что будет? И кому известны срывы человеческих путей? Почему король веселый постучался к нищим людям, — в самой маленькой из хижин постучался у дверей? В доме холодно. На елке — два огарка, а не свечки. Удивление вызывает гостя шелковый, камзол. Но — кто-б ни был гость случайный в этот синий, снежный вечер, будет встречен он улыбкой, для чего бы ни пришел!

— Сядь, красивый чужестранец, — перед елкой всем есть место — будет гость благословенен, перешедший наш порог. И, как нам велит обычай, не в обиду вашей чести — мы с тобой разделим вместе королевский наш пирог.

Увидав «пирог» — лепешку — гость едва не рассмеялся. Но сейчас же спохватился и наморщил грустно лоб. И в его куске лепешки, как

нарочно, оказался, запеченный среди теста «королевский» черный боб. Бедным людям в этот вечер гость принес с собою счастье. Мы не знаем, где теряем, мы не знаем, где найдем... Так король у бедной елки — ведь король был настоящим! — был объявлен среди нищих на Сочельник — королем. Он был рад веселой шутке — полетели золотые! Был устроен настоящий и веселый очень бал.

Все желанья исполнялись! Платья, яства дорогие... И король с одной бродяжкой очень мило танцевал. С той поры прошли уж годы... но всегда, в холодный вечер, грезят нищие в Сочельник, забывая свою боль, — что однажды в бедном доме, как звезда, горели свечи — и однажды настоящим был их святочный король!»



По дороге я остановил зазевавшегося мальчишку. Наверно, шел поздравлять какую-нибудь тетку. Краснощекий, курносый и в новых шерстяных чулках.

— Вставай на запятки — прокачу!

Степенный молодой человек сперва опешил, потом махнул через сугроб и уцепился сзади за мою шубу.

Это было предусмотрено тоже — один я не мог бы снести наверх всех пакетов. Длинный синий армяк извозчика волочился забавным шлейфом по ступеням узкой лестницы на самый верх конфетного дома. За ним карабкался мальчишка, и затем я с букетом ландышей в белой бумаге.

На площадке одна только дверь. В тусклом свете лампочки черная обивка двери в продранных местах отсвечивала холодным железом. А если... меня не ждут? А вдруг она не одна и какой-нибудь больше-рукий и с унылым носом тоже сидит и бубнит у елки?

Но дверь не заперта. Я не звонил. Я просто вошел. Мальчишке я сунул в карман пряники, а извозчику дал на чай, чтобы отвез его к его тетке. Пусть и у них будет неожиданный праздник. Я великодушен до конца.

А она... нет, я не ошибся... Я даже не думал, что это будет так красиво.

Одна стена — самая прямая — была покрыта вылинявшим текинским ковром. Под скатом висело большое овальное зеркало. В нем отражалась тахта, трогательный комодик, — на гнутых ножках, маленький секретер. Белая широкая волна занавески закрывала низкое и длинное окно, а на столе стояла прелестная елочка в серебряных нитях, со всей этой пестрой ерундой, и посередине — девушка с прозрачными глазами, в белом платье, как ласковый и светлый стеклянный лучик, над которым даже страшно заплакать, — он может сломаться от слез.

Но я выдержал стиль до конца.

— Забрел случайно на огонек в этот дом, — сказал я. — Сегодня Сочельник... Разрешите мне погреться у вашей елки и съесть кусочек королевского пирога?

Круглый золотистый пирог — торт ее собственного изготовления — с какой-то невообразимой начинкой и лепными украшениями — стоял на столе, накрытом вышитой скатертью. Тут же были еще разные скромные вещи: бутылка дешевого ягодного вина и один тяжелый старинный бокал. Один!



— Я вас не ждала, — сказала она, — Я... никогда не думала...

О нет, она меня ждала, но не смела надеяться. Я слишком хорошо знаю блеск женских глаз. Теперь оставалось еще одно, последнее. Я уверенно подошел к столу, взмахнул приготовленным ножом и сам отрезал кусок этого необычайного произведения кулинарии. Ведь важно только, чтобы человеком овладело вдохновение — тогда счастье само идет в руки. Я едва успел переложить кусок на тарелку — и уже выскользнул из-под пальцев черный, солдатский твердый боб. Но я не дал ему стукнуться о фарфор. Незаметные движения пальцев. На тарелке зазвенел настоящий «королевский» золотой. Она даже вскрикнула удивленно — я видел по глазам, что сейчас она готова поверить всему. — В сущности, тут не было ничего удивительного: это был старинный полуимпериал, который я недавно напел, роясь в дедушкином столе, а заменить одну вещь другой, когда они обе у меня в руке — это не трюк.

— Теперь вы видите — что я настоящий король?

— Вижу...

— Я только забыл надеть камзол и явился во фраке...

А потом, как и полагается в сказках, все появилось, как по волшебству — по одному моему мановению руки. Впрочем, пришлось не колдовать руками, а здорово повозиться над всеми этими пакетами. Ландыши зимою отличаются умилительной свежестью, и вместе с елочной смолой — красивый аккорд.

Я поставил на стол корзинку с веселыми мандаринами и лиловым виноградом, мой любимый вермут, — немножко дамское вино, закуски, конфеты, пряники... А для нее — тоненькая золотая цепочка, на которой висела жемчужная слезинка. Мне давно нравился у ювелира этот кулон, но я не знал, кому подарить его — для этого надо быть такой вот белой девушкой, как моя Метелочка.

Метелочкой я назвал ее потом, когда мы уселись уже на полу, на ковре и обложились подушками. Тянулись за пряниками к столу, а вино поставили рядом с собой.

— Как вас зовут, неизвестный король? — спросила она, и в глазах ее потонула счастливая улыбка.

— Король всегда остается королем — зачем придумывать ему имя? А вот вас я назову своей Метелицей — нет, Метелочкой.

— Но когда же мы откроем с вами бал?

Она рассказала мне все, что мне захотелось узнать. Метелочку закружила общая наша — пурга. Выкинула вот сюда, в этот город. Тут жила дальняя бабушка или тетка. В пурге погибли — или потерялись — все. Дальней бабушки тоже не стало. Метелочка перетасила из серой холодной квартиры в эту мансарду комодик, большое зеркало и потертый ковер. А шубку она сшила из старой ротонды, тепло и уютно. Метелочка танцует — танцевала всегда. Когда-то, в украинской усадьбе, Метелочку называли бабочкой. А теперь она старательно выделяет фуэтэ. Это совсем не трудно, и в новом балете ей обещали небольшую роль... Правда, она получает смешное маленькое жалованье, но... Есть такие маленькие хрупкие девушки с прозрачными глазами, которые пробивают себе дорогу в жизнь. Они умеют сурово хмурить бровки и выскользывают из слишком поспешных рук. Но они изголодались по сказке. И я дал ей — эту сказку. Я, лютая Ежикина

«тигра» тоже, в сущности, сентиментальный человек. Правда, не со всеми. Не с Надин — о, нет. Но тут на тоненькой шейке качалась моя жемчужинка — и я поцеловал даже только ее.

— Вот, Метелочка, слушайте, что говорит сказочный король: не смейте, — слышите — никогда не смейте — растаять. Оставайтесь всегда такой же — белой Метелицей-Метелочкой. Слышите?

Метелочка тоже пила вермут. У нее, наверно, чуть шумит в голове. Она прижалась к моему плечу, и в глазах покачиваются огоньки свеч...

— Вы придете ко мне еще, святочный король?

— Нет, Метелочка.

Это я говорю не ей, а — самому себе — и вот этим белым свечкам. Но она слишком счастлива, чтобы почувствовать боль.

— Почему? Потому, что я не приготовила вам сегодня короны? Но ведь будет же еще когда-нибудь Рождество... Я тоже стану королевой — нет, я буду, я останусь белой Метелицей — принцессой. Я пришлю за вами вороных коней в голубой сетке, с бубенцами в ушах — и вы придете в мой дворец... и сделаете меня своей королевой.

— Я приеду, Метелочка. Но только во дворец. Слышите?

Мне кажется, что она не слышала. Она заснула на моем плече и улыбалась так, как улыбаются только сказкам. Я уложил ее на диван, прикрыл шубкой и тихонько вышел. Спустился по лестнице, оглянулся. В голубоватом окне поблескивали огоньки неслышно догорающих свечек. Занималось рождественское утро.



— И я больше не приду к ней, — сказал я вечером того же дня Ежику — ты понимаешь почему?

Она внимательно наклонила головку, и на губах ее появилась такая же улыбка, как у Метелочки — хрупкая замороженность мечты.

— Потому что ты хочешь сохранить сказку? Понимаю. Но — в сказках бывают разные вещи. Иногда нищий становится королем, а иногда — король — нищим.

Она почему-то вздохнула и прибавила:

— Ах, если бы ты всегда был таким человеком!



«Расскажи, веселый гномик, мы дадим тебе орехов — не простых, а золоченых с нашей елки соберем! Расскажи еще что было в королевстве в этот вечер, когда путник у порога оказался королем.

— Мой рассказ не будет долг — может быть, немного странен — не судите раньше срока, не дослушавши конца... С королем пришедший нищий заблудился среди тумана, среди метели очутился пред воротами дворца. Постучался. Их открыли. На пороге нищий замер. Елка залита огнями, хрусталем блестит паркет... Вьются пары на паркете: принцы, рыцари и дамы, и красивее принцессы никого на свете нет.

— Вот пришел к нам гость нежданный, — вдруг воскликнула принцесса — для которого отложен был последний мной кусок. На — возьми — в нем много сладких и восточных специй пряных, — повара спекли в Сочельник замечательный пирог.

Нищий взял его. Голодный, под лохмотьями дрожащий, он стоял в смущении сильном пред наряженной толпой. И, едва лишь разломивши, он увидел настоящий, вдруг сверкнувший среди начинки — королевский золотой. Счастье даже в сказке — редко. Счастье мы повсюду ищем — где узнаем — потеряем, где не знаем — там найдем... И случилось, что в Сочельник — проходящий мимо нищий был принцессою объявлен в этот вечер — королем.

— Посмотри, — принцесса молвит, — как горят огни на елке. Почему ты так печален, и не скажешь ничего?

— Мне лицо до крови секли эти хвойные иголки, когда шел однажды ночью я в лесу под Рождество.

— Посмотри, твоя корона вся алмазами сверкает, а жемчужины застыли, как весенний талый снег...

— Да, в снегу алмазном этом нас немало замерзает, не один уже бродяжка загубил в снегу свой век.

— Неужели ты не слышишь, как поют волшебю скрипки, неужели ты ни разу на балу не танцевал?

— Иногда случалось слышать — вой волков голодных дикий — только даже с горя в жизни я ни разу не плясал.

— Но ведь ты — король сегодня! У тебя есть королевство... Пей вино — не съел ты даже королевский свой пирог...

— Не горят у нищих елки, я не слышал сказок в детстве, я всегда ходил голодный... в рот не лезет мне кусок!

... Так померк веселый праздник — и над ним-ли, иль над нищим, из прекрасных глаз принцессы тихо капнула слеза... Кто не знает, что такое — красота, для сказок — лишней...

И безжизненны и серы были нищего глаза.»



Не буду преувеличивать. Я очень редко вспоминал о Метелочке. Некоторая сентиментальность, свойственная мне иногда, к счастью, проходит бесследно, иначе я давно бы разорился. Мимо конфетного дома я не ходил больше. На балет не пошел нарочно. Не нужно переносить сказок в жизнь — они хороши только, как случайные вдохновенные вспышки, а для жизни есть и дела, и Надин, и многое другое. Приятным удовлетворением остался мой «королевский» жест — столь же великодушный, сколь и ненужный, может быть. Но что касается остального, то я собираю время от времени ненужные уже влюбленные письма, и, так же, как старые контракты, бросаю их в корзинку. Ежик называет ее «кладбищем погибших надежд».

Ежик сохранилась удивительно долго. Больше всего был поражен этим я сам. Странно, до чего может дойти умная женщина. Она походила на фонтан, в котором я сверкал, как солнце, а она была водой, отражающей мои лучи, но когда я хотел заглянуть поближе, — то видел себя не прекрасным Нарциссом, а какой-то исковерканной рожей — от ломающихся струй. В сущности, в один из острых приступов одиночества я мог бы жениться на ней. Она нисколько не мешала бы моим привычкам и взглядам. Но, к счастью, у нее был муж, а кроме того, я редко чувствую одиночество, потому что слишком привык к нему. Поэтому я не женился ни на Ежике, ни на Надин, ни на Зоке,

Коке и... имя же им легион. Постепенно этот легион растаял до ничтожного взвода. Может быть, рано еще говорить о старости, но — есть уже и складки, и морщинки, и Ежик часто говорит мне: «промой глаза». Нужно беречь свои силы — доктора запретили мне и пить, и курить, и скоро совсем уморят с голоду. Легион растаял еще и потому, это я больше не могу швыряться деньгами — в сущности говоря, все мои дела держатся только на том, что у меня была прекрасная репутация. Бобры выносились, но выглядят еще солидно, и когда-нибудь я получу наследство от запоздалой тетки... Я часто раздражаюсь, ворчу и бываю несправедлив.

Ежик позвонила по телефону:

— Что ты скажешь об этом объявлении?

— Каком?

— В газете.

— Принципиально не читаю вранья... Пора бы знать.

— Иногда не мешает... посмотри — на последней странице...

Мне нечего было делать, и Ежик никогда не говорит зря. Я придумывал уже язвительные слова, которые скажу ей, терпеливо просматривая жирные строки о том, что рождественские подарки надо покупать только в целофановой обертке, и нет на свете ничего прочнее калош... и вдруг. Положим, не вдруг. Я стал читать его также равнодушно, как и все остальное, и только прочтя, остановился и начал снова...

«Святочный король, обещавший приехать к Метелочке во дворец! Лошади будут ждать в Сочельник, у конфетного дома».

Я долго ходил из угла в угол, пока не вспомнил — все. Сперва — что-то очень ласковое и милое. Потом — чувство досады — зачем? Сколько лет — восемь, десять — больше? Тогда ей было лет восемнадцать — пожалуй. Так помнить, после стольких лет... Терпеть не могу сентиментальных женщин.

Позвонил.

— Что ты думаешь?

— Относительно чего?

Ежик притворяется непонимающей, и это меня злит.

— Да вот относительно этого дурацкого объявления...

Вижу сквозь телефонную трубку, вижу, как она пожимает плечами!

— Оно идет уже две недели... Послезавтра—Сочельник... вечер сказок...

— Очень они мне нужны!

— Насколько я помню, короли всегда держали свое королевское слово... но это, понятно, к тебе не относится.

Я бросил трубку. Обычная ее манера. Сперва загонит в тупик, а потом — делает экивок. А, ведь, самой до смерти хочется узнать, чем кончится эта сказка.

Разумеется, я не поеду. Разумеется! Смешно даже говорить... О чем я с ней буду разговаривать? Наверно, вышла замуж, дети и лысый муж. Стягивается корсетом и... и за эту госпожу Метелицу я отдам свою чудесную Метелочку? Один раз сделал глупость, так уж в другой...



— Знаешь, гномик, эта сказка не годилась бы под елку — почему ты нам в Сочельник вдруг о нищих рассказал?

— Для того, чтобы каждый помнил — будь он в рубище или в шелке, что в Сочельник правят сказки самый праздничный свой бал. Для того, чтоб каждый помнил, что в чудесном нашем мире надо раз в году, хотя бы, и о сердце вспоминать! Потому что — сказки будут... Потому что — сказки — были... И всегда их назначенье — это сердце согреть!»



Я старался думать о самых безразличных вещах. Но уже серые сумерки за окном подхватили и унесли. Как хорошо, что они так похожи, неизменны, как ласка. И снежные хлопья, снежный туман — даже легкая, колдовская, весело пляшущая метелица. И, конечно, заливаются бубенчики, радужная россышь на витринах, пакеты в руках и на бульварах заснеженные елки. Еще вчера я этого не видел.

А конфетный дом — такой же, как был. Даже зеленые ставни, не закрывавшиеся никогда. И тот же нетронутый снег на ступенях.

Перед домом — большие просторные сани. Пара вороных под голубой сеткой. Бубенчики. Серебряный набор. И настоящий кучер с красным кушаком. Картинка, вырезанная из старой книжки. Кучер обернулся, приподнял шапку, лихо отстегнул медвежью полость.

— Пожалуйте, ваше сиятельство.

— А ты откуда знаешь, что это я?

Ухмыльнулся.

— Барыня сказала: подойдет к дому, в сумерки, красивый, высокий из себя... остановится. Его и привези.

Я думаю, что это комплимент. Перед тем, как пойти, я долго рассматривал себя в зеркало. Уселся в сани, ноги приятно погрузились в теплый мех. Осторожно, чтобы не смять, засунул под него и букетик ландышей в белой папиросной бумаге — как тогда. Сам на себя злился, а купил. Приятно выговорить давно забытое «трогай».

Вороные оказались совсем неплохими рысаками. На городских улицах натягивали вожжи, и как-то необычайно быстро разостлалось гладкое шоссе, откатывалось назад в широком махе. Похоже на оттепель — безветренно и тихо. Закрыв глаза, я старался не думать, — просто так, помечтать... не о том, что будет, а о дальней, навсегда потерянной дороге, по которой тоже мчались гнедые, — пара гнедых...

— Далеко еще?

— Не... сюда...

Свернули в боковую лесную дорогу. Еще... и вдруг — громадная аллея, ворота... белый дом с колоннами, с отлогими ступенями овального подъезда, в черных переплетах сучьев над белым переплетом застекленной террасы, в мягком падающем снеге... снег даже как-то особенно ложится на него, как будто только порхает ласково, боясь спугнуть это очарование давно забытой картинке... или это белая метелица кружит меня, и колдует в снегу?

Дернулись бубенцы, залились и смолкли. Но сон продолжался дальше. В этом сне я поднялся по ступеням, сбросил в передней шубу, — потрепанные свои бобры, поднялся на несколько ступенек выше;

деревянные перила, панели, оленьи рога... штучный паркет, мягко отсвечивающая мебель, мягкий, теплый свет и запах цветов и веселой хвои. И Метелочка — как не узнать!

Она была в белом платье — такая же, с большими прозрачными грустными и сияющими глазами, и побледневшей, но ненакрашенной улыбкой. А на серебряном кружеве, закрывавшем шею, качалась тоненькая золотая цепочка с подвешенной жемчужинкой — той самой. И больше в доме никого не было. Только горела громадная елка в гостиной, наряженная пестро, и звенели на ней серебряные колокольчики и ослепительно голубые и алые шары.

На столе стоял золотистый пышный торт.

— Случайному гостю, — сказала Метелочка, подавая мне золоченый нож.

Я съел свой кусок до конца, до последней крошки. Ел медленно, пригубливая из бокала. Надо было найти какие-то нужные слова. Но в моем куске не было ничего — ни боба, ни золотого, ни даже серебряной монетки.

— Он все-таки у меня, — сказала Метелочка, и подняла со своей тарелки зазвеневший, сверкающий кружочек, — ваш золотой. Я думала, что... это повторится. Но я его вам верну. Ведь, раз я королева, то могу избрать себе короля. Почему у вас так сдвинулись брови?

Я не задавал вопросов. Она рассказывала сама, путанно, сбивчивыми штрихами — о том, что будет завтра, когда приедут все гости — Сочельник она хотела провести одна, или... со случайным гостем... и о том, что было давно — о, так ужасно давно, в белую метельную ночь, в сверкающее рождественское утро, когда она плакала от счастья, потому что поверила в сказку, и... Я думаю, что она часто плакала потом.

Да, женщины мелочны и сентиментальны. Каждый Сочельник — сколько их было — Метелочка надевала жемчужную капельку — хотя у нее был уже хороший жемчуг — и вынимала из шкатулки золотой полуимперил — тот, дедушкин, — вот этот. Говорят, что таланту простительна сентиментальность. Может быть. А он у нее был. Иначе она не поехала бы за границу, не стала бы выступать уже солисткой, и не стали бы называть ее «второй Павловой». Правда, я не читаю газет. Я не хожу в театр. В балет — просто боялся ходить — с тех пор. Но, конечно, я слышал про Метелочку — может быть, даже видел ее портрет — под грифом не узнать, а я ведь не спросил ее имени.

— Мне кажется, что счастье всегда шло со мною рядом. — говорит Метелочка, и ей очень хочется поверить, что это именно так.

— Успех, карьера, деньги... Я даже чуть-чуть не вышла замуж... не хотела только бросать сцены. Я не могу не танцевать — разве тогда я оставалась бы Метелочкой? И вдруг — гастролировала в Австралии — телеграмма. От нотариуса. Оказывается, какой-то совсем неизвестный дядя, оставил мне вот этот дом. Он очень хороший, я сразу полюбила его. У меня были деньги, но эти вечные отели... Захотелось провести Рождество по-настоящему — ах, эти спрятанные в самом уголке души старые наши усадьбы, — мы никуда не уйдем от них, и слава Богу... Я дам здесь два спектакля... а потом... не знаю... Вы прочли мое объявление в газете? Я так боялась... Ведь вас могло и не быть... здесь...

Она тревожно смотрит на меня и в прозрачных глазах дрожит и переливается ждущая, для нее самой неожиданно ждущая улыбка.

Я много говорил в этот вечер. Я ходил по большой гостиной, по мягкому персидскому ковру, и шагов не было слышно. В кресле съехала тоненькая фигурка, и какие то лебединые, поющие на изломах руки белели сиротливо и нежно, как брошенные крылья. Я говорил много, но не знаю — про себя или вслух. Может быть, просто думал. Мне хотелось кричать. Я не был королем в этот вечер, потому что я не король, и не знаю, был ли им когда-нибудь. Я сделал только один королевский жест — ведь, больше мне ничего не оставалось — я не тронул в этот вечер Метелочку, как и в тот. Как я мог? Зачем?

Конечно, жизнь не заключается только в детской влюбленности, в каком-то там чувстве, в сказке, наконец, оставившей след, белую ниточку в душе. Было прошлое и у нее, а у меня... легион. Я забыл — она помнила дольше. Она вспомнила, — приехал и я... И на нашей белой ниточке, протянувшейся снова, завязался новый, горький узелок. Мы оба же взрослые люди! Мы знаем и видели жизнь — достаточно, о, слишком хорошо. Мы ценим сказки — может быть, потому, что они не сбываются никогда. А если дать им сбыться, дать ниточке окрепнуть, дать белой метелице закружить, заколдовать, заплести порхающий узор?..

Что я могу дать Метелочке — бывший король? Вот эту свою, смертельную усталость. Ворчливое одиночество. И... скуку?

— Тебе пора переключаться, — сказала как-то недавно Ежик. — Пока тебе еще не надо паркающих туфель, — но не забывай, что скоро придется их надеть...

Я возмутился.

— Что же это: старость? И скажи мне, наконец, правду: ты меня любила когда-нибудь?

— Нет, ты всегда будешь молодым. А вот душа у тебя начинает шаркать. Относительно же любви... Ты, конечно, не знаешь, что тоже был моим королем... мужчины этого никогда не понимают. Но даже современная женщина может обладать смертной добродетелью: оставаться верной. Даже тому королю, который отдал напрокат свою корону, прокутил казну, расшвырял уголья и потерял не только престол, но и дорогу в свое королевство... Может быть, именно потому, что нельзя изменять королю, когда он стал нищим...

Я так рассердился, что два месяца не разговаривал с Ежиком. А, может быть, она и права. Даже, наверное, права. Ужасающе права. Ежик до ужаса умная женщина и, между прочим, хороший архитектор. Она умеет строить не только воздушные замки...

Я могу простить себе многое — но не забуду этой дрожащей, побледневшей улыбки на губах Метелочки к концу моего монолога.

— Так, — сказала она, когда я кончил, чуть слышным, падающим вздохом, как вспорхнувшая и уроненная снежинка. Удивительная способность женщины: коротким словом замыкать жизнь. — Значит, вы, мой святочный король, больше не верите сказкам... больше не можете жить ими... как нищий, который не мог поверить тому, что избран королем. Но вы для меня всегда останетесь им... Все равно, будет ли закончена сказка, или... или просто растает в снежном тумане, как эта вот белая метелица.

Вот и все, что могла мне ответить Метелочка. Стойкая, светлая Метелочка, бывшая гораздо богаче меня — потому что она умела не терять, не разбрасывать, а спрятать, сохранить и пронести через всю жизнь озаренную мечту.

Я не мог рассказать ей сам в этот вечер никакой сказки. Но я читал ей их — из большой старинной книги, лежавшей на столе у елки.

«Я не знаю лучше сказок — Христиана Андерсена... Мы усядемся под елку: грызть орехи и болтать. И вино в бокалах тонких, в кружевном разбрызге пены, будет так же, как и сказки, и кружить, и колдовать...»

Я простился с Метелочкой у перил деревянной лестницы, которая вела на верх. Прощался, зная, что она меня не увидит больше. Я уеду рано утром — потихоньку, и на этот раз — совсем. В это рождественское утро, как и тогда, Метелочка тоже, быть может, прольет несколько прозрачных слезинок. И сохранит их нежную, ласковую боль. Я не мог поцеловать ее. Я только прикоснулся губами к моей жемчужинке, затерявшейся в кружеве платья, и смотрел вслед прошелестевшей по ступенькам тонкой фигурке знаменитой балерины.

Если Метелочка когда-нибудь перелистает эту книгу до конца, — собрание сказок Андерсена, — то на последней, белой уже странице она прочтет то, что я написал ей на прощанье в тот вечер, когда остался один в померкшей гостиной, у давно догоревшей елки с белой метелицей за синим окном:

... Но, может быть, и в сказке не найдем того, что в жизни пламенно мы ищем... Король в отрепьях будет королем, бедняк и во дворце остался нищим...

Тяжелой книге много, много лет... она звучит такой усталой скрипкой...

И если ничего на свете нет — есть сказка с примиряющей улыбкой!

1936 г. Рига.



## ЗОЛОТОЙ ШАР

Сперва о весне. У нее, как у осени, очень много дела: разбить лед на реках, убрать снег, раскрыть почки на деревьях, вымыть чисто-хонько небо, продуть все ветром, вызолотить солнцем... и это только начало, а впереди еще сколько работы!

Весна разная: одна в лесу, другая на полях, третья в городе. Уже февраль идет голубым, небо в весенней дымке, и веселая капель сосулек с крыш, но зато и последние морозы, гололедица. А март — синий. Страшны мартовские бури на море, но зато ветер выдует всю пыль с улиц, в самые глухие уголки заберется, выметет, взвихрит, — и забьется от него смятенное сердце в синих мартовских сумерках, в весенней синеве.

А солнце и ветер на улицах, уже торопящихся высохнуть, уже звенящих веселым апрелем, колокольным звоном, фиалками на углах у торговок, веселыми шарманками на дворах, пучками воздушных шаров, бьющихся по ветру!

Старая бесхитростная шарманка, облупленная, скрипящая, с визгом и скрежетом крутившая веселые и грустные, давно известные и надоевшие мотивы... Теперь, если отворить окно весной — изо всех, тоже отворяющихся окон, звенят голоса и музыка радио-ящичков. Конечно, можно послушать что-нибудь хорошее, но можно и выключить — у себя. У соседей это сделать труднее, и поэтому часто приходится затворять окно.

А шарманщик заходил ненадолго: иногда вокруг него собирались дети, чтобы белая мышь, пестрый попугай или сморщенная обезьянка вытащили билетик с глупым «счастьем»; или он просто, проиграв немного, собирал медяки в бумажках, летевшие из окон, и уходил, ковыляя под тяжестью ящичка. Но эта шарманочная музыка звенела весной, врывавшейся в мутные еще вчера окна, ставшие сегодня такими чистыми, сверкающими, как небо. А теперь мы не слышим весны на дворах — и вот почему жаль старой шарманки...

И еще — шары. На маскарадах, на распродажах магазинов эти теплые комнатные шары совсем не то. Нет, вот целая связка их на улице — красные, синие, зеленые, желтые, бьются друг о дружку, чуть потрескивают шелковыми, надутыми до отказа боками, и пахнут горьковатой резиной — тоже весенний запах, вместе с тающим снегом, ветром и солнцем. Если привязать этот шар к пуговице пальто на ниточке — он бьется около лица, внезапно застилает глаза синим или красным светом, толкается в губы, отлетает в сторону... а если держать в руке, осторожно, чтобы не несло его так — может сорваться и улететь, не донесешь до дома. Хотя дома в сущности не так интересно: можно только привязать его к ручке окна, чтобы бился на ветру, или пустить под потолок... Но его непременно хлопнут дверью, или рамой окна, и он лопнет, или, оставшись на ночь, завянет сам маленьким грустным мешочком, и как ни дуй в него, ничего больше, кроме какой-то культипки, не получается...

Нет, воздушные шары — это только на улицах, — мартовских, весенних улицах в городе, и чтобы на каком-нибудь дворе играла шарманка, и ей подбулькивал в такт весенний ручеек, смывающий бумажки с мостовой в репетку!

Вот на улице это и было. Я шла с одной девочкой, и, конечно, ей захотелось купить воздушный шар. Но не простой, а непременно золотой! У продавца было много, чудесная связка, еще не начатая. Синие, красные, зеленые...

— Нет, — сказала девочка, пересмотрев их все, — желтые есть, а золотого нету... пойдём, поищем золотой!

Мы шли по бульвару, воздушные шары продавались во многих местах, я согласилась.

— Я не думаю, однако, чтобы мы нашли такой, как ты хочешь, — сказала я. — Все шары одинаковые, и золотого цвета я как будто бы никогда не видала. Но ведь желтый тот же золотой?

— Ах нет, это совсем не то, — настаивала девочка. — Не может быть, чтобы все были одинаковы.

Я поняла, что это не упрямство. Девочке просто хотелось иметь свою мечту, а ведь мечты иногда сбываются в жизни. Поэтому мы переходили от одного продавца к другому и искали золотой воздушный шар. Но его не было.

— Возьмем вот этот, — сказала я наконец, протягивая продавцу деньги. — Он светлее, чем другие, совсем золотистый.

Я завязала веревочку петелькой вокруг ее пальца и шар весело забился, потрескивая и подскакивая, но она внимательно осмотрела его и грустно покачала головой.

— Спасибо, но... ты же сама видишь... разве он золотой?

И тогда мне пришла в голову яркая мысль. Я сдернула петельку с пальца — и шар взвился в воздух.

— Ах! — воскликнула девочка.

Шар поднимался, слегка крутясь, все выше и выше. Теперь, под солнечными лучами, он сверкал чистым золотом и сиял, как солнце. Все выше и выше поднимался он, — еще выше — и наконец исчез в потухающем вечернем небе, как золотая искорка, и растворился в нем.

— Вот теперь ты видишь сама, что у тебя был золотой шар, — сказала я. — Запомни это.

— Был... золотой... — повторила девочка со счастливой улыбкой.

Мы обе прислушались. На соседнем дворе играла запоздавшая шарманка, и ясно слышались слова спотыкающейся песенки:

Так счастье у нас — проходит мимо,

И не видим мы его — не дорожим.

А то, что уже — не достижимо,

Становится — золотым...

Потом остаются улыбки

Над ошибками и над судьбой.

Но пусть хоть наша — ошибка

Становится — золотой!

Вот так и бывает.

## ЛЕСНАЯ ПОЧТА

Звали его «Рыжий дурак», и он не был замечателен ничем.

Рыжий Дурак служил на почте. Маленький низкий дом стоял у вокзала, на самой окраине предместья большого города. В окно, особенно, если светило солнце, совершенно ясно была видна через поля темная полоса леса. Он часами сидел у окна, разбирая письма. Их приходило немного, и поэтому оставалось время, чтобы подумать. Обычно почтари в таких маленьких почтамтах знают не только всех, кто пишет и получает письма, но и их содержание, и обсуждают это с другими. Но его недаром считали дураком. Когда у него покупали марки, он только слегка приподнимался, протягивая их, ободряюще улыбался и говорил, принимая деньги:

— Пишите, пишите, вы наверно получите хороший ответ!

Если же ктонибудь приходил за письмом, то он с сияющими глазами бережно перекидывал сложенную пачку, выхватывал нужный конверт, и легко беря его на ладонь, как птицу, говорил:

— Пожалуйста, пожалуйста, вы наверно получили хорошее письмо!

Он говорил это всем: широкобедрой темноглазой служанке из пивной, седому офицеру, ходившему с потертым костылем, краснолицему мяснику с закрученными усиками, и бледной девушке с накрашенными губами, которая все время кашляла и молчала.

Письма, считал он, должны приносить радость: сколько хороших слов можно написать друг другу, и как должен радоваться каждый, что его не забыли, помнят и любят, и вот кусочек сердца ему в этом письме!

Сам он никогда не получал писем.

Когда наступало время закрывать почту, он незаметно вздыхал и старался придумать еще чтонибудь, чтобы остаться подольше: еще раз разглаживал оставшиеся письма, рассматривая некоторые марки, и думая о том пути, который им пришлось или придется проделать. Как замечательно переплетаются нити человеческих жизней, и как жаль расставаться с ними! Но идти все таки надо . . .

Он громыхал замком и уходил, сутулясь в своем старомодном сюртуке, ставшим уже зеленоватым от многих лет. Шляпы он не носил вовсе, а волосы его, довольно длинные и всегда слегка растрепанные, давно перестали в сущности быть рыжими и только казались такими от очень голубых и восторженных глаз; не то молится человек, не то заплачет сейчас, и от чего — неизвестно. Девченки, поэтому, часто хихикали ему вслед.

Зимой Рыжий Дурак часто сидел вечерами у своей печки. На столе лежал большой черно-белый кот и строго следил, чтобы хозяин не взял лишнего кусочка колбасы, потому что картошки кот не ел.

По праздникам Рыжий Дурак уходил через поля в лес. Пригородный, прорезанный дорогами, тропинками, полями, но все таки лес: всегда живой и очень большой друг — в особенности, если нет других. Лесу Рыжий Дурак радовался не меньше, чем письмам.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о его жизни.



Сегодня в лесу был большой день. Рыжий Дурак сразу почувствовал это, как только свернул со сжатого поля на лесную дорогу. В октябре такие по летнему теплые, но уже по осеннему прозрачные дни бывают часто. И небо такой сияющей голубизны тоже часто звенит над полями. Трава и деревья, согретые солнцем, тоже пахли остро и знакомо, как всегда. Но Рыжий Дурак прошел несколько шагов и остановился. Кто-то прошуршал за деревьями сбоку. Еще раз. Еще. Это шаги и шопот, а не зайцы в кустах!

Он широко раскрыл глаза, вбирая в себя все вокруг, и когда вдруг увидел и понял, то у него перехватило дыхание. Почта в лесу! Лес посылал письма — всем, всем, всем!

И важный золотистый дуб, и нарядный звездчатый клен, и багряный бук, и веселая березка... Боярышник в своей изящной резьбе, королевский алый бересклет, задумчивый ясень — и вяз — все, все, все!

Ветер в мягких туфлях легко и тихо ходил по лесу, подхватывая письма. Желтые, розовые, красные, в тысячах оттенков, и тысячи слов вспыхивали на них, и ведь все они были предназначены кому-то!

Изогнувшись, подпрыгивая, стараясь быть таким же легким, как ветер, Рыжий Дурак бросился подбирать письма.

— И мне письмо! И мне! — шептал он и ловил листья, задыхаясь от радости, что весь лес посылает их, каждое дерево, и все получают их теперь, все!

«Мне так холодно без тебя, — писала березка. — Помнишь, как ты обнимал мои колени?»

«Песни отчаяния — лучшие песни» — цитировал клен Альфреда де Мюссэ.

«От дома твоего, над которым такая же, как я, шумела когда-то, посылаю тебе привет» — старательно выводила липа.

Тем, кто проходил когда-нибудь по лесу, и смотря на деревья, вспоминал, радовался, плакал, — а кто не делал этого? — лес посылал сегодня письма.

Рыжий Дурак не мог унести всех. Их было слишком много. Но он знал, что ветер — надежный почтальон. Он собрал только громадную охапку самых нарядных, красивых листьев и хотел уже уходить, как вдруг заметил елку. В лесу были, конечно, и сосны, и ели, но сегодня он не обратил на них внимания, а вот эта стояла на краю полянки, одна, и как-то беспомощно протянула ему ветку. Среди нарядных осенних деревьев ели особенно грустны, но не это поразило его, а другое: она ведь не может послать письма, как же ей ответят? От этой мысли у него даже забилося сердце, но он пересилил себя, и улыбнулся ей привычной ободряющей улыбкой, погладив мягкие иголки:

— Ты наверно получишь очень хорошее письмо! — сказал он обычную фразу и не оглядываясь, вышел из леса.



Этот день был воскресным, и на улицах, в парках, на бульварах в городе много людей видело сутулого человека с восторженными голубыми глазами и охапкой листьев на руках. Одной рукой он прижи-

мал их к груди, но очень неловко, они падали и шуршали. Он приглядывался ко всем прохожим и останавливал их, робко улыбаясь и показывая на облетающие деревья:

— Сегодня в лесу большой день, — говорил он всем. — Сегодня лесная почта. Все деревья посылают письма, и вы получите тоже. Попросите письмо. Видите? Вот это вам. Возьмите! А вот еще... нет, упало мимо. Оно адресовано другому. Но вы получите тоже. Подумайте, от кого, о чем вы хотели бы получить. Ведь есть же у вас человек, который вас любит, здесь или гденибудь, сейчас или... это все равно. Сегодня все получают весть о самом дорогом и близком. Только ответьте на письма. Только не забудьте ответить!

Некоторые смеялись. Другие не понимали, и пытались отмахнуться от него или подать ему что-нибудь, как нищему. Один суровый господин в дорогом пальто выругал его даже. Но поэты и влюбленные, которые тоже смотрят другими глазами — понимали и улыбались и поднимали руки, чтобы подхватить падающие листья.

Те же из поэтов, которые были и влюбленными — а кто из них не бывает? — разнесли весть о лесной почте по всему городу, и у многих блестели глаза и улыбались губы навстречу осенним листьям, — а это как раз то, для чего и существуют поэты.

Когда в стекла бился дождь, и их заволакивал туман, Рыжий Дурак переставал разглаживать свои конверты, и напряженно думал: будет ли отвечено на лесную почту? И вспоминал о елке, не пославшей письма.

Перед Рождеством выпал снег, и он видел из окна, как по белой улице проносили в каждый дом елки и принимались их украшать. Той между ними не было — он узнал бы ее.

Когда наступил Сочельник, он не мог больше выдержать. Он сунул в карман заранее приготовленный пакетик, и погладил кота. Кот вышел за ним на крыльцо, понюхал туман, и, тряхнув лапой остался.

Рыжий Дурак пошел один. На поле лежал глубокий снег, над ним стоял белый туман, и только полянками выплывало вдруг сверху темно-синее небо, запорошенное луной, как снегом. В лесу было очень тихо. Иногда только вздрагивала ветка и стряхивала белую пыль. Елка стояла попрежнему, беспомощно протянув ветку.

— Подожди, сейчас я расскажу тебе все, — громко сказал Рыжий Дурак, и развернул свой пакетик. Медленно, рассчитывая каждый эффект, он прикрепил подсвечники и зажег свечи. Елка вспыхнула огнями и замерла от счастья, совершенно замороженная своей красотой. Из-за деревьев на полянку высунулись любопытные мордочки, и кто-то шумно вздохнул в глубине леса. На белой поляне, в легких клубах тумана, пронизанного луной, горела живыми огнями свеч совершенно сказочная елка.

— Я принес тебе ответ, — сказал Рыжий Дурак торжественным тоном, и опустился на колени. — От самого красивого дерева в городе. Все люди и деревья в парке считают его настоящим принцем. У него серебристо-атласный ствол и парчевые розовые листья. У него острые, как шпага, шипы и ягоды, как кровь. Весною, когда он будет цвести, он вспомнит о тебе тоже, потому что любит тебя, и прислал тебе ответ, хотя ты и не можешь писать писем.

Он бережно вынул из кармана большой конверт, а из него ветку засушенных розоватых листьев с кистью сохшихся, но все еще красных ягод, и положил ее перед елкой.

Потом поднялся с колен, и медленно пошел обратно, часто останавливаясь и оглядываясь назад. Огоньки свеч расплывались в тумане — а может быть, слезы мешали ему видеть? Он удерживал их, и только отойдя уже далеко в поле, в совсем густом тумане, где лес не мог больше слышать, упал на снег и заплакал так горько, как редко плачут даже совсем одинокие люди.



Через несколько дней Рыжего Дурака увезли в больницу. У него было воспаление легких и он умер так же тихо и незаметно, как и жил. Все считали, что он в бреду, но он ни на минуту не терял сознания. Он только умолял о чем то восторженными глазами и шептал упорно и страстно:

— Ответьте на письма! Пожалуйста, не забудьте ответить!

1952. Мюнхен

## ЛАРЕЦ ПАНДОРЫ

Я должна рассказать вам подробно, как все это началось, и не потому только, что была в числе тех первых тысяч людей на Веселом Поле, но и раньше, на площади перед отелом, и даже еще раньше, когда это только возвещалось. Тогда мало кто обратил внимание, но мы видели, и потом были совершенно уверены, что именно с этого и началось все.

Итак, началось в саду, и сперва надо рассказать, почему я так люблю сад. Мне очень долго пришлось жить в мебелированной комнате, и когда наконец я смогла скопить денег на квартиру, то представляете, как была рада! Я даже не поехала в отпуск, чтобы купить шкаф и занавески, о которых так долго мечтала. Квартира была в новом доме: лифт, холодильник, и громадное окно в комнате, притом на запад, так что по утрам очень хорош свет для красок. Я работаю для текстильной фабрики: рисунки для материй, плакатов, эскизы декораций для витрин магазинов. В бюро фабрики приходится бывать не чаще, чем раз в неделю, рисую я дома, и первые дни на новой квартире это было просто наслаждение. Я расставила мольберты, разложила краски на столе, бумагу, и... и счастье продолжалось недолго.

В доме напротив — десятка три радио. Внизу кричат дети. Справа строят новый дом — и сверлит, как у дантиста, электрическая пила или бурав, не знаю что, но это ужасно. По улице проходит каждые десять минут трамвай и каждую секунду несколько машин. Наискось какой то завод, и от него идет гул, как от моря. И в самое свежее утро деревья и газоны сразу сереют от пыли, от бензиновых колонок соседнего гаража с плакатами, от которых ноют глаза...

Вот и я заныла тоже. Если бы зимой еще... но что значит лето в городской квартире — вы, наверно, знаете тоже. Может быть, у вас иначе, но не так уж много людей живет в предместьях больших городов, где и садики, и целое хозяйство даже, или хоть палисадник с большими клумбами. Вот как у моей «старосветской помещицы». Мы все, ее друзья, привыкли называть ее так, а имя не важно. Важно то, что ее крошечная усадьба находилась в двух километрах от самой дальней окраины города, где уж действительно только поля, а чуть подалее лес, и дорога для пешеходов, а не для машин: ухаб на ухабе. Пока она собиралась строить себе это жилье, над ней подсмеивались или ужасались даже, а когда выстроила — все потянулись туда. Оказалось даже, что и ходить не разучились, не у всех машины есть. И я к ней зачастила.

Даже странно, что всем нам так понравились самые простые вещи — не потому ли, что мы были лишены их в нашей городской жизни, или, если пофилософствовать, то по другим причинам? Ведь вот: скромный дом, несколько комнат, терраса. Моя квартира немногим меньше, а совсем не то впечатление. Что это: чувство независимости, защищенности, своего гнезда? Воздух от листьев, травы, такой, что понимаешь вдруг, как дышешь все время, и хочется дышать, будто чистой водой полоскать все внутри. На обед собираем овощи, коренья,

ягоды с огорода. Вкус у них тоже другой, чем в целофановой обертке. Правда, сверху она блестит, а внутри стерилизованно, но зато и невкусно. Когда же те же ягоды и овощи рвешь еще нагретые солнцем, теплые, обсыпанные цветочной пылью, а не асфальтовой, шершавые, пахнущие — хорошо!

И, конечно, цветы. От крокусов до последних мелких хризантем с терпким и горьковатым запахом — в саду и в доме. Зимой рябина и ветки с шишками в вазах, или просто бурьян с камышом — какая же и в них тонкость работы, мельчайший рисунок кружева, переплет сучьев! А в кухонном буфете во всю стену — на разных полках варенья, соленья, печенья, и опять таки: особая прелесть в том, что свое, а не покупное.

Так вот, вкратце, что нас туда тянуло: тишина. Покой. Уют. Цветы. Тепло. И, с чего следовало бы начать: любовь. В этом доме все делалось с любовью, и щедро давалось всем. Щедрость изумляла: «старосветская помещица», немолодая уже женщина, так же работала в городе, как и мы. И ей, как и нам всем, всегда «не хватало времени». Но почему то у нее его оказывалось вдвое больше, чем у нас, и это делал дом, приносивший ей еще больше работы! А время находилось и для нас тоже.

Я говорю «мы», потому что так проще. «Мы» — наша небольшая группа ее постоянных гостей. Люди разные, и между собой не все дружили даже, но в ее доме заключалось перемирие, потому что мы образовали целый кружок, носивший длинное и совершенно несуразное название: «Под кустом белой индюшки».

Индюшка существовала в самом деле, и жила в конце сада, отгороженная сеткой, в сарайчике, еле выглядывавшем из под громадного куста шиповника. Про индюка мы дружно, из почтения, решили, что это целый павлин, и держались от него подальше, а индюшка была нашей любимицей. Мы приносили ей сухие булочки и орехи, и она долго клевала их синеватым клювом и с благодарной негой полузакрывала глаза.

Наш кружок занимался устройством праздников — в этом доме праздновались и такие необычные для города, как Ивана Купала — Солнцеповорота, и День Жатвы. А кроме того, мытьем посуды во время наших посещений и разгромом всех политических, литературных и философских вопросов. Всегда почему то казалось, что в этом доме можно выговориться до конца, не оглядываясь на то, как бы чего не вышло и ктонибудь может обидеться. Может быть, эта свобода тоже давалась любовью.

Я очень упрощаю впечатление нарочно, но ведь именно этой простоты нам и не хватало в жизни! Именно того, что составляло основу мировоззрения нашей «старосветской помещицы»: каждый человек должен иметь свое место в саду под солнцем — и благодарить Бога. Да, представьте себе, она совершенно не стеснялась заявлять это в пылу разговора о Сартре, Набокове и Дюренматте!

Конечно, теперь я смотрю ретроспективно, и мы стали понимать многое и больше, после всего, что случилось, но мне сперва хотелось наметить основные линии: вот несколько людей, мужчин и женщин, пожилых, молодых и старых. Уровень разный: средний и немного выше (это я делаю реверанс в сторону друзей). У каждого своя жизнь,



но общая точка соприкосновения всех — загородный дом скромной, но своеобразной женщины, умевшей быть вполне современной и вместе с тем упорно и принципиально сохранявшей самый старомодный провинциализм. Тогда это называли так — презрительно или снисходительно, в зависимости от опустошенности цивилизацией.

Как видите — ничего особенного, но достаточно, чтобы проспорить целый вечер на самые жгучие темы жизни вообще, а нашей в особенности. Достаточно, чтобы стоило подумать о них и дольше. А вот в саду этого дома все и началось.

В тот конец недели у нас была большая работа: собирать ягоды для варенья. Собирали, пока вдруг не набежали тучи и брызнул дождь. Ветра почти не было, только весело зашумели листья. Мы шумели тоже, уже на террасе, чистили ягоды, ели, и дружно нападали на самую молоденькую из нас, студентку, изучавшую историю искусств, увлекавшуюся Пикассо и абстракционизмом, но ошарашившую нас вопросом: «А что такое икра»? Ей Богу, она не знала, что это такое! Что выйдет из этой молодежи?!

Дождь прошумел и прошел быстро. Небо отдохнуло, солнце залило все снова, но оно уже склонялось под вечер, разглаживало сиреневые обрывки облаков, пронизывая их, как лепестки, нежнейшим розовым заревом. За забором, через громадный луг, соседнего белого домика почти не было видно, так слепило глаза, только стекла окон горели тем нестерпимым алым светом, который невозможно нарисовать.

Я вышла на ступеньки террасы и чуть не вскрикнула: что это такое? Может быть, дождь смыл пыль — но ведь не было ее столько! После дождя обычно все свежее и ярче, — но тоже не то. В объективе фотографического аппарата упрощенность красок до резкости, как в цветном фильме — но ведь мои то глаза не переменились! А вот елка, левкой, даже бледные листья рыжих лилий вдруг углубились таким странным зеленым цветом, засветились как будто изнутри, и свет этот ширился, заполнял весь сад... перехватывало дух просто!

— Идите все, смотрите, какой замечательный свет! — закричала я, не оборачиваясь.

Доктор даже очки снял и протер, прежде чем глубококомысленно изречь:

— Гм... освещение действительно странное.

— Это радуга своего рода — безапелляционно изрек молодой техник, споткнувшийся на Сартре. Переварить его он не мог, но снисходительно относился к взглядам забавных оптимистов. Мы его терпеть не могли, потому что он наводил на всех тошнотворную скуку.

Но остальные молчали, и это уже было кое что. Над моими «красочными фантазиями» о воображаемых красках часто подсмеивались, а сейчас вот сами увидели. Мне же казалось, что если раскинуть руки — то и полетишь в упоении, и неизвестно, куда: ввысь или вглубь... вот в это сосредоточенное, необычайное сияние зелени.

— Очевидно, преломление мельчайших капелек испарений и осадков в закатных или радужных лучах — продолжал гнусавить техник.

Свет потух так внезапно, как обрывается звук. Сад не сиял больше, просто посвежев после дождя. У серебряной ели снова резко обозначились молодые, нежно хризолитовые отростки, подрастающий куст хризантем снова запылится, листья роз потемнели, переливаясь в кра-

сноватые тона — все стало на свое место. И цветник, и деревья были вымыты, поблескивали на закате радужными каплями; и небо, и вечер, как всегда летом. Все кончилось — если это было чем то. У меня что-то дрожало внутри.

— А ведь это был нездешний свет — вдруг тихо сказала хозяйка, и по ее тону я поняла, что она увидела больше, чем мы.

— Потусторонний мир в обертке из небесного целофана — съязвил доктор. — Удивительно, что по нашему человеческому рецепту: глаз выколоть, по нервам ударить. Мало того, что шумом, но и красками по голове! Попугайные кофты, плакаты... Вера, это камешек в ваш огород, конечно!

— Если бы вы знали, сколько мне приходится спорить на фабрике из-за того, что я не употребляю резких холодных оттенков! Приходится убеждать, что половина людей по крайней мере страдает дальтонизмом, или мы все немного психопаты, и нас с детства надо учить как то иначе... но это уже по вашей части, доктор — отозвалась я.

— Не садитесь только ради Бога на своего конька опять, то бишь на палитру. Остановитесь на хорошем слове. Действительно, надо учить...

На террасе стоял мало подходящий по существу, потрепанный кожаный диван, но летом он был приятно прохладен и располагал к обстоятельным разговорам. Доктор уселся, потянув рядом с собой меня и «старосветскую помещицу», и вздохнул.

— Но кто учится? И чему? Очевидно, чему то не главному в жизни, потому что главное начинаешь понимать, когда поседеет уже голова, и то только чуть-чуть, краешком. Вот тогда и убеждаешься, что половину своей жизни делал не то, что надо, а другую половину — не так, как надо. Но все, что я вам скажу сейчас о вашем механизированном урбанизме, городском уродстве и калечении организма, сердца и души по вашему, конечно, воркотня старика. Начни я в двадцать то же самое — тогда, быть может, и убедил бы когонибудь...

— Кто же вам мешал? — вылез экзистенциалист.

— Да и меня этому тогда не учили. Тогда, видите ли, я был полон прогрессом. Машина освобождает от рабства труда, наука ведет к немислимым вершинам, и так далее. Теперь она привела к таким вершинам, что надо спешно придумывать новую науку: как выжить. Теперь я сразу вижу корень болезни: нет, это не язва желудка виновата, это молодому человеку понадобилось жениться сразу после трехдневного знакомства, и притом с квартирой, обстановкой, автомобилем. Некогда, видите ли присмотреться, и ждать, пока все устроится, а то жена сбежит. Нет, это не расшатанное сердце — это фабрика стучит по сердцу грохотом станков, телефонами, барабаном рекламы. Нет, это не только печень разыгралась — это аперитивы, сода-виски, потому что иначе человек не может, видите ли, ни работать, ни отдыхать, и плюс непременно новая машина: кто же из соседей ездит на калоше трехлетней давности? Нет, это не ревматизм у молодой женщины, а дети ее, которые растут без присмотра и действуют на нервы ей, учителям, а потом либо судьям, либо врачам, еще в лучшем случае... И все ждут, понятно, что я пропишу им чудодейственные капли, пилюли, а главное, таблетки. Как же! Современная медицина! Один шприц — и все готово! Только больницы переполнены... Но все со-

гласны заплатить по счету за здоровье из аптеки, и снова будут гро-  
моздить в своей жизни сотни километров в час на консервные банки:  
вот зеленый горошек, химически вычищен, подкрашен и безвкусен,  
а вот поездка в Италию. Все в гигиенически пестрой обертке, отмерено,  
высчитано, и с доставкой по телефону. Не продается только время.  
Ну, а о душе нам, врачам, и говорить не полагается. Это консервная  
банка серой магии двадцатого века — психоанализа. Психиатрию и  
ту к биохимии сводят — хотя безусловно, в этом кое что есть. Один  
только Аксель Мунте, врач, и какой еще врач, не побоялся заявить,  
что самые глубокие и важные радости в нашей жизни не стоят нам  
ничего, а все остальное — большей частью лишнее. И что же в резуль-  
тате? Ну хорошо, прославился своей книгой, поговорили — и забыли.  
Да вот наша милая «старосветская помещица». Мягко выражаясь, ее  
все считают оригиналкой, а в наш век интеллектуального конфор-  
мизма, это тяжкое обвинение. В чем же ее чудачество заключается?  
Только в том, что у нее нашлось достаточно мужества, чтобы сохранить  
здравый смысл. И мы еще занимаем у нее в долг без отдачи то кусочек  
тишины, то бодрости, я уже не говорю о букетах. Да и на цветы мы  
приучаемся здесь смотреть по настоящему, как... ну, это изречение  
Магомета — помогите мне с текстом!

— Если у тебя есть два хлеба — продай один и купи гиацинт —  
подказала я.

— Вот именно. Это чернь может требовать хлеба и зрелищ, а чело-  
веку, не единице массы, нужен хлеб и цветы. Но мы изуродованы не-  
правильным воспитанием, искаженными понятиями о мире и жизни...

— Про вас нельзя даже сказать, доктор, что «менс сана ин кор-  
поре сана» — ваш конек, потому что это относится к профессии, но не  
все же могут сажать картошку! — взорвался техник.

— Только коммунитсы и очень молодые люди могут пытаться  
стричь всех под одну гребенку, молодой человек. Но каждый может  
на собственном пути отбрасывать лишнее. Не загромождайте жизни.  
В мыслях, в чувствах, в действиях — пусть будет на первом месте  
самое главное — и лучше, если ничего другого. А главное очень просто,  
и это самое трудное. Вот, если бы мы учились этой простоте, а не вер-  
телись в мусорном калейдоскопе до полной опустошенности и тошно-  
творной скуки, да еще бешеным темпом, которого все равно не выдер-  
живают нервы...

— Позвольте, доктор. Если бы я не употребил пятнадцать лет на  
среднее и высшее образование, не говоря уже о том, что мыслящему  
человеку надо прочесть для общих познаний, то я не смог бы ни рабо-  
тать, ни быть тем, кто я есть...

— А чем вы отличаетесь, мой юный философ, от пещерного чело-  
века? Давайте, проверим. Как обстоит у вас дело с завистью, напри-  
мер, ревностью, злорадством, клеветой, ненавистью, жадностью, эго-  
измом? Прислушайтесь — к своей совести — ответ не обязателен.

— Значит, по вашему добродетели можно научиться?

— Если бы мы учились хотя бы скромности, терпимости и терпе-  
нию с младенческих лет, то многие блага пришли бы сами собой. Вы  
умеете обращаться с массой сложных предметов. Но и высшая интел-  
лигенция не спасает, увы, от косматых страстей и самой примитивной  
необузданности.

— И всех семи смертных грехов — подхватили мы хором. — Доктор, прекратите проповедь. Левкои после дождя пахнут так, что голова кружится, а мы...

— Амулет, что ли, надо носить такой, — задумчиво сказала «старосветская помещица» — чтобы он хоть на ощупь напоминал нам о том прекрасном мире, на который мы закрываем глаза.

Улыбочка на лице поклонника Сартра чуть-чуть не заставила меня высунуть ему язык, но доктор закончил разговор тем, что слегка поклонился хозяйке, развел руками и сказал:

— И еще о том, что простые истины не становятся от времени старомодными.

Потом мы ужинали, как всегда в этом доме, при свечах. В окна влетали, шурша о занавески, ночные бабочки, мигали звезды, ветер шептался над садом с побледневшей березой, застывшей на темносинем небе театральной декорацией. У фонарного столба горели костром красные флоксы и оранжевые ноготки.

Фонарь делал свое дело: выхватывал блики, отбрасывал тени, колебался в живом и молчащем мире. Вечер среди полей — это не величие тишины, а умиротворенность, и фонарь не маяк, но и он показывает свой отрезок пути — сколько может.

\*

Так прошел конец недели, а в понедельник я отправилась в город. Нужно было отнести приготовленные эскизы и рисунки на фабрику. Там меня ждал сюрприз. Заведующий, довольно еще молодой, но уже толстый, задыхающийся от пива и менеджерской болезни самодовольный человек, предложил немедленно отправиться с ним в «Тоскану», чтобы позавтракать с представителем французской фирмы и посмотреть его образцы. Постоянный припев заведующего: «Мы должны расширять свои горизонты» — на этот раз был действительно к месту. Завтрак в «Тоскане», одном из лучших отелей города — всегда, конечно удовольствие. Немного мешала жара, но ничего не поделаешь...

Теперь все знают, что произошло в нашем городе, и он стал еще более известен. Я могу сказать о нем, что он большой, красивый, удачно сочетающий старину с современностью, и поэтому, к счастью, геометрией не отличается. Центральная площадь — неровный овал, и в его извилинах, как в бухтах, ампирное здание суда с голубым куполом и статуями на крыше, против стеклянных клеточек небоскреба на другой стороне площади; старинный фонтан на островке скрещения десятка трамвайных линий, против громадного торгового дома, и памятник давно забытому королю, именем которого названа площадь, о чем никто из бесчисленных прохожих и не подозревает, над крышами беспрерывных верениц автомобилей. На площади множество перекрестков со светофорами, полицейские в белых плащах регулируют движение; грохот такой, что собственного слова не слышно, и у здания суда серые от пыли и старости кусты сирени. На этой площади всегда особенно яркое солнце над размягченным асфальтом и плотным на ощупь, облаком бензинной вони. Что, впрочем, не мешает неразумным матерям в соседнем сквере отравлять этим перегаром младенцев в нарядных колясочках.

Как раз у этого сквера на площадь врезается мысом старомодное здание самого крупного в стране банка с чугунными решетками изумительной работы, а вдоль него отходит пролет широкой улицы с раскинувшейся на целый квартал «Тосканой». В этом отеле обычно останавливаются знаменитости, короли и футболисты — за счет правительства или рекламных агентств. Дирекции часто приходится отказывать желающим заплатить за комнаты с настоящими гобеленами на стенах, стильной мебелью и говорящим на восьми языках, вышколенным по балетному персоналом. Перед «Тосканой» на другой стороне улицы всегда ряд самых шикарных автомобилей, с хвостатыми надкрыльями и суженными злыми фарами глаз. Однако, в этот день между ними был широкий пробел, и когда мы запарковали нашу скромную машину, оставалось еще достаточно места для пяти.

Француз блестел со всех сторон: и как специалист, и как собеседник. Завтрак был изумительным. Из-за жары я решила ограничиться только одним бокалом вина, зато выпила две чашки такого кофе, который подается только в «Тоскане». После завтрака, простившись с французом, мы прошли через холл и вышли на подъезд. Я посмотрела на часы, висевшие над порогом. Стрелки нашли одна на другую и вздрогнув, стали прямо. Двенадцать.

В окнах холля были матовые стекла, и на ступенях подъезда я сперва сощурилась от яркого света. После приглушенных голосов в отеле площадь рядом сразу обрушилась гулом и грохотом, как будто над головой что-то треснуло, раскололось и замолотило. Но в эту какофонию внезапно ворвалось, как выстрел, мгновение тишины, сменившееся совсем уж необычным ревом. Мы собирались как раз перейти через улицу к нашей машине, как вдруг заведующий схватил меня за руку:

— Подождите, что-то случилось! А-аах!

Я обернулась вместе с ним и увидев, ахнула тоже. Любой окаменел бы на моем месте!

Справа, где улица вливалась в площадь, мимо здания суда, через все перекрестки, во внезапно открывшемся пролете среди налезавших на тротуары машин и вскакивающих на их крыши людей, под дикий рев, свистки полицейских и уже взмывающиеся в отдалении полицейские сирены — на нас полз огромный дракон.

Совершенно излишне спрашивать, приходилось ли вам когданибудь видеть дракона. Теперь, конечно, другое дело. Но тогда... а сомнений быть не могло. Он полз невозмутимо, не обращая ни на кого внимания, слегка постукивая когтями по асфальту. Морду он вытянул, но не разевал пасти, а из ноздрей, через ритмические промежутки, вырывались легкие и нестрашные вспьшки — то огонь, то струйки белого дыма. Зеленая, довольно потрепанная чешуя поблескивала слабо на солнце. Крылья он держал сложенными под углом к спине, и опираясь на них, как на ручки кресла, сидел высокий, одетый в черное человек в цилиндре. Когда дракон подполз ближе, то стало видно, что за крыльями, на спине, стоял еще большой черный сундук, который он придерживал, обвивая кончиком хвоста.

Увидев человека, я сразу успокоилась, и мне стало просто забавно. Очаровательный трюк! Когда в нашем городе устраивается карнавал, то в процессии бывают самые невероятные экипажи. Правда, сейчас

не время для маскарадов, и даже не сезон в цирке... Впрочем, и в цирке тоже не бывает драконов, но ведь он окажется в конце концов замаскированным слоном, что ли, или просто грузовиком... Сундук, во всяком случае, указывает на полезное назначение, а человек повидимому, умеет управлять этим способом передвижения. Кончится протоколом в полиции, потому что фурор слишком уж необычайный, но интересно то как!

Дракон не спеша шествовал по улице и остановился прямо против «Тосканы», запарковавшись между черным Мерседесом и нашим Фольксвагеном. Правила уличного движения были ему явно знакомы. Он растянулся во всю длину метров десять на мостовую и полузакрыв морщинистыми веками глаза, величиной каждый с автомобильную шину. Ноздри он прижал, хотя через них продолжали выходить огонь и дым, как у паровоза с разведенными парами. «До чего же он естественен» — подумала я, и от этого «естественно» самой стало смешно. Но, в сущности, настоящий дракон тоже должен быть из кожи и чешуи!

Шутка ли однако, или рекламный трюк, но дело явно зашло слишком далеко. За драконом, на улицу, ведущую к «Тоскане», буквально выширала вся площадь. Нечто подобное я видела только во время войны, когда еще не вся многотысячная толпа успела войти в бункер, а уже неслись и свистели бомбы.

Но тогда все молчали, как будто боялись, что голоса услышат на самолете, да и говорить было нечего, и толпа была серой, сжимающейся от страха. Теперь же люди неслись, перескакивая друг через друга, выхватывая на ходу фотокамеры, если это были туристы. Белые рукава полицейских бессильно взматывались над головами, остановившиеся трамваи неистово звонили, из примыкавших к площади улиц, где мгновенно образовались пробки, доносились вопли автомобильных гудков, — словом, на громадной, забитой народом площади творилось что-то невообразимое.

Позже рассказывали, что никто не мог уловить того момента, когда он появился. Просто вот так — выполз из-за угла и отправился ковылять по площади. Дорогу ему дали сразу, конечно, и некоторые испугались даже, но потом решили, как и я, что это рекламный трюк.

В подъезде «Тосканы» я со своим заведующим оказалась, как в ложе театра: дракон расположился прямо против нас. Слева уже неслись полицейские машины и наиболее сообразительные прохожие. За спиной слышно было, как бегали лакеи — это в вышколенной «Тоскане» — то! — и кто-то отчаянно ругался, потому что оказались занятыми сразу все телефоны. Конечно, нашлись уже люди, звонящие в редакции — а может быть, и на станцию телевидения тоже.

Меня теперь больше всего занимал всадник на драконе. Впрочем, на наездника он походил меньше всего: пожилой человек с тонкими и резкими чертами лица, одет подчеркнуто элегантно и старомодно: крахмальный воротник рубашки с отложными уголками и цилиндр среди бела дня. Гофманский персонаж. Средневековый рыцарь, или даже марсианин в шлеме с антенной был бы гораздо уместнее, хотя, разве на Марсе есть драконы?

Прорвавшиеся беглым шагом полицейские выстроились справа и слева, сдерживая цепью напиравшую толпу. Несколько штатских, повидимому, комиссары, и полицейские офицеры в форме, расстегивая

кобуру или угрожающие опустив руку в карман — зачем же, это не чикагский гангстер явился? — рванули дверь за нашей спиной. Очевидно, они вошли в отель с черного хода, через толпу было неммыслимо прорваться — и направились к дракону.

— Стоп! — крикнул кто-то из них, и совершенно напрасно, потому что дракон лежал совершенно спокойно и без того, уткнув морду в лапы, и даже не сморгнул на окрик.

Гофманский персонаж снял цилиндр и церемонно поклонился со своего сиденья.

— Приветствую вас всех, — произнес он, выговаривая слова совершенно правильно и отчетливо, но так, как говорят на чужом языке.

Полицейский комиссар даже вздохнул от облегчения, услышав свой язык, и сразу же дал себе волю:

— Что это за безобразия?? Кто вы такой?? Как вы могли позволить себе явиться сюда в таком виде??

— Мне кажется — незнакомец оглянул себя, — я одет достаточно прилично для появления на улице.

— Я говорю не о вас! Я говорю об этом чудовище, или что ваш поезд должен собой изображать! Откуда вы его взяли? Кто вам позволил устраивать такие рекламные трюки? Это строго запрещается...

— Простите, — вежливо, но очень определенно перебил его тот. — Каким образом я приобрел дракона, — никого не касается, поскольку вы не можете обвинять меня в его краже. Я являюсь его законным владельцем, и вообще никогда не слышал о законах, запрещающих приобретение дракона в собственность. Что же касается передвижения, то я предпочитаю ездить именно на драконах: это и приятно, и безопасно. Столкновений в воздухе с ним быть не может, а на земле он охраняет меня от кого угодно.

— Вы с ума сошли? — вскипел комиссар. — Уж не хотите ли вы уверить меня, что ваш дракон — живой, а не чучело на машине?

При этих словах дракон чуть приподнял одно веко, за которым сверкнул насмешливый глаз, и приподнял уголок губы над пастью — ну точь в точь, как усмехнулся. Комиссар опешил. Гофманский персонаж тоже улыбнулся, но совершенно откровенно.

— С искусственным драконом мне еще не приходилось иметь дела. Конечно, он настоящий. Вам ничего не стоит убедиться в этом. Ручаюсь, что он вас не тронет.

В ответ на этот публичный вызов при всех полицейских, комиссар ринулся вперед головой почти в брюхо дракону. Все смотрели как он обстукивает его, трогает кончики крыльев. Мне было видно, однако, что он старался держаться подальше от громадных распластанных лап и пасти. Изумление во время этого осмотра на лице комиссара выразилось так явно, что у всех стоявших кругом людей, не исключая полицейских и меня, тоже пораскрывались рты.

— Будь я проклят!! — вскричал комиссар, делая предусмотрительно два шага назад. — Черт возьми, да ведь это действительно дракон, живой и настоящий!

Притихшая было толпа взвыла и сделала попытку податься назад, но тщетно. Люди стояли сплошной стеной.

— За каким чертом вы явились сюда? — орал комиссар вне себя. И действительно: только драконов еще полиции не хватало!

Должна сказать, что это было первой мыслью, пришедшей мне в голову, в которую всегда в самый неподходящий момент приходят глупые мысли. Но живой дракон на улицах большого европейского города — это больше, чем разрешается любой конституцией.

— Я приземлился на этой площади, потому что опасался столкновений с автомобилями на улице, а кроме того в этом отеле у меня заказан номер — хладнокровно ответил незнакомец.

Комиссар с недоумением взглянул на побледневшего управляющего «Тосканы», тоже выскочившего за ним на улицу, но тот только развел руками.

— У нас действительно имеется заказ на апартамент в первом этаже. Заказ сделан по телефону и оплачен чеком, по которому мы уже получили в банке деньги, но, разумеется, при подобных обстоятельствах...

Незнакомец поднял брови.

— Я не вижу никаких обстоятельств, препятствующих моему пребыванию в отеле — сказал он, и перекинув одну ногу, мягко соскользнул с драконьей спины. Теперь, когда он стоял перед полицейским комиссаром, было видно, что он очень высок, худощав, и слегка сгорблен, как обычно чересчур высокие люди. В руках у него, кроме старинной трости с набалдашником, ничего не было.

— Пошлите боев, чтобы они взяли мой багаж — обратился он к управляющему.

Тот даже подпрыгнул от возмущения.

— Никто из персонала моего отеля не прикоснется к этому чудовищу! Вы должны были предупредить дирекцию, что явитесь на таком... на таком экипаже! У нас не зверинец! Наш гараж, сударь, вместит сколько угодно Ролс-Ройсов, но он не рассчитан на допотопных чудищ! Кроме того, мы не привыкли, чтобы наши гости имели с самого начала дело с полицией! Вы вызываете общественный скандал! Вы препятствуете уличному движению! Мы разоримся, если примем вас! Вы будете арестованы и заплатите колоссальный штраф за эту выходку!

Тон и поведение незнакомца были прямой противоположностью взбешенному управляющему.

— Как управляющему отелем вам следовало бы, прежде всего, поучиться вежливости, — возразил он, и в его улыбке проскользнуло что-то, отчего у управляющего сразу выступил на лбу пот. — Впрочем, я не надолго собираюсь злоупотреблять вашим гостеприимством, хотя и настаиваю на своем праве. Должен однако сказать, господин комиссар, что я сознаю свою ошибку — обернулся он к комиссару. — Мне следовало заранее подумать о том, что мое появление может вызвать некоторое скопление любопытных. Люди не привыкли еще к драконам, как это ни жаль, но смогут наверстать это упущение, как я надеюсь, в ближайшем будущем. Пока же я предлагаю вам, во-первых...

Он вынул из кармана чековую книжку, быстро написал на ней что-то и протянул листок комиссару.

— Во-первых, в виде штрафа и за беспокойство полиции разрешите пожертвовать на Красный Крест эту сумму, а что касается дальнейших препятствий уличному движению, то это уладить еще проще...

Он повернулся к дракону и коснулся тростью его хвоста. Тот медленно развернулся и поставил хвостом на мостовую тяжелый сундук.



Незнакомец вторично притронулся к нему тростью, на этот раз к голове. И на глазах у всех дракон сразу съежился, сложился гармошкой, опал, как воздушный шар, который проткнули булавкой, и бесшумно, с непостижимой быстротой превратился в крохотную игрушку сантиметров в двадцать длиной. Незнакомец нагнулся, поднял его с мостовой, и небрежно сунув в карман, махнул тростью давно уже глазевшей на него отельной прислуге:

— Отнесите сундук в мой номер. Предупреждаю, он довольно тяжел.

Затем он слегка поклонился всем и добавил, улыбаясь:

— Завтра вечером, дорогие люди, состоится мое первое и последнее, единственное представление — так, кажется, принято это говорить? Я — волшебник, как видите, и выступлю на самом большом городском поле, на котором обычно происходят народные гуляния. Весь доход идет в пользу домов для престарелых. Некоторый образчик моих возможностей вы, смею думать, могли уже видеть. Я не прибегаю ни к какой рекламе и не принимаю никаких представителей прессы, радио или телевидения. Что касается властей, то я всегда к их услугам, но до представления не собираюсь выходить из своей комнаты.

Он кивнул на прощанье совсем растерявшемуся комиссару, обалдело уставившемуся на чек, который он так и держал в руках, и не спеша проследовал в распахнутые двери отеля. Мне с заведующим давно уже пришлось отойти на шаг в сторону, мы стояли, прижавшись к колонне подъезда, и видели и слышали все великолепно.

Не прошло и нескольких секунд, как из отеля вышло четверо носильщиков в передниках, и с опаской подошли к одиноко стоявшему среди мостовой сундуку. Кроме ручек по бокам, стенки его были украшены резьбой, очень замысловатой, но мне удалось разглядеть, что это были целые хороводы каких то безобразных фигур. Для носильщиков понятным были только ручки. Они взялись за них, с некоторым усилием подняли сундук и внесли в подъезд. Управляющий сразу вбежал за ними вслед, плотно притворив двери — как будто он сможет чем-нибудь защитить теперь свой отель от той толпы репортеров, полицейских и любопытных, которая сию же минуту должна туда ринуться!

\*

Только, когда дверь за носильщиками закрылась, я закрыла рот и почувствовала, как у меня пересохло в горле. «А в таком случае — рюмку Дюжардена» — сказала я вслух известный лозунг коньячной фирмы, и взглянула на заведующего. Он стоял с таким обалделым видом, выпучив глаза, что ничего другого мне не могло придти в голову. В рекламах этой фирмы тоже фигурировали говорящие собаки, летающие люди и самые немыслимые ситуации. Да заведующий сейчас и сам напоминал больше всего этих рекламных идиотов.

Он молча посмотрел на меня, кивнул, и, схватив меня за руку, кинулся в подъезд «Тосканы», обратно в холл, а оттуда в ресторан, бросая на ходу хриплым голосом:

— Два коньяка, да поскорее!

Коньяк был вообще, насколько я заметила, в большом спросе в этот момент среди растерянных, взволнованных, недоумевающих, горячо

спорящих людей, столпившихся в холле и ресторане. Нам удалось сесть за единственный оставшийся свободным столик. В следующий момент в холл ворвался молодой человек с чубом на голове и такого решительного вида, что хотя я и не была до того знакома с газетчиками, но сразу поняла, что это — репортер. Не обращая ни на кого внимания, он в два скачка взлетел по лестнице в первый этаж.

— Уф! — произнес заведующий самым красноречивым тоном.

— Уф! — откликнулась я, и залпом, чего никогда не делаю, да еще среди бела дня, да еще в жару, — выпила рюмку коньяка. И почему я собственно предложила этот коньяк?! Ведь голова кружилась немного от виденного и без того, а настроение у меня было пока что самое развеселое. Дракон, живой, и складывающийся в игрушку! Вот это номер!

— Слушайте, что же это такое? — растерянно сказал мой заведующий, вытирая платком лоб.

Платок у него оказался с зеленоватой каемкой, и это вдруг навело меня на мысль, от которой сразу стало как то прохладно в груди.

— Я видела вчера странный зеленый свет в одном саду — сказала я больше про себя, и глаза заведующего вылезли из орбит.

— Послушайте, вы . . .

— Нет-нет, подождите, я сама должна еще сообразить . . . мы все, бывшие там, видели. Помните «Зеленый луч» у Жюль Верна? Вот что-то вроде. Совершенно невероятное . . .

Судя по виду заведующего, он не слышал ни о «Зеленом луче», ни вообще о Жюль Верне. Да и мне самой была еще неясна связь, если она была вообще: дракон, конечно, зеленый, но кожа у него была морщинистая и совсем не светящаяся. Глаза разве . . . А как блеснули глаза у этого гофманского персонажа в цилиндре, когда он взглянул на управляющего отелем! Пожалуй, прикоснись он к нему своей тростью, и тот тоже стал бы крохотным человечком, гуляющим, если его завести ключиком — есть и такая реклама — кажется, той же коньячной фирмы . . .

Вне всякой логики мне вдруг стало жутко.

Может быть, я решилась бы даже на вторую рюмку коньяка, но лихой репортер уже медленно спускался обратно по лестнице, отыскивая кого то глазами, а за его плечом ему что-то быстро подсказывал лакей, кивая — да, в нашу сторону! Первым моим движением было сорваться с места и удрать, но репортер был уже рядом.

— Вы стояли в подъезде и видели все вблизи? Я от «Вечернего экспресса». Пожалуйста, по порядку. Итак, в котором часу вы увидели дракона?

Мой заведующий сразу попытался откупиться коньяком и сигаретами: эта скандальная история может, в конце концов, повредить его деловой репутации . . . Словом, он воззвал ко мне оградить честь фирмы, и именно мне пришлось выдержать атаку. С честью, как я сперва надеялась. Только на следующий день, взяв номер газеты, я схватилась за голову. Что сделало бойкое перо из моего безхитростного рассказа!

В промежутках между вопросами, репортер возбужденно говорил сам, сообщая другие подробности и свои собственные соображения. Один вагон трамвая сошел на площади с рельс, потому что вагоновожатый испугался чудовища, но никто не пострадал. Несколько авто-

мобилей было смято напором толпы и другими машинами, но за это заплатят страховые общества. Чек, переданный полицейскому комиссару, уже предъявлен в банке напротив «Тосканы», — и по нему выплачено сто тысяч!! Сто тысяч на Красный Крест! Вызовы полицейских, пожарной команды, тоже подъехавшей на всякий случай, подъемных кранов и вообще вся эта кутерьма — обошлись в долю процента этой суммы! Конечно, раз незнакомец оказался невиданным фокусником просто, то за неразрешенную рекламу и нарушение общественной тишины и спокойствия с него полагается штраф... но сто тысяч! И весь доход от представления на Веселом Поле идет в пользу городских домов для престарелых; старикам, вероятно, придется завести каждому по сиделке за такие деньги! Администрация Веселого Поля сообщила, что заказ на представление был получен ранее, тоже оплачен, и все готово: скамьи расставлены, сцена сколачивается, устанавливается целый ряд мощных юпитеров для освещения, и сегодня вечером билеты поступают повсюду в продажу. Можно ожидать, что после сегодняшнего бесплатного представления перед «Тосканой» к завтрашнему утру не останется ни одного! Всю ночь люди будут стоять в очереди. Полиции, в виду такого наплыва посетителей придется регулировать движение усиленными нарядами... Впрочем, полицейский комиссар — герой дня!

— И вы, кстати сказать, будете тоже — поклонился он мне с подчеркнутой галантностью. — Даже если половину вы придумали сами, то все таки ваш рассказ замечателен! И я не останусь в долгу. Я сразу же заказал для нашей редакции и для себя полсотни билетов, и десяток для вас и ваших друзей вы получите совершенно бесплатно сегодня же вечером. Если вам удалось увидеть всю историю с самого начала, то было бы просто ужасно, если вы не будете знать конца! Постарайтесь однако на этот раз не поддаваться массовому гипнозу, и тогда мы с вами состряпаем такую статью, что хватит на второй экстренный выпуск газеты! За первый сегодня отвечаю я!

И он удалился, размахивая блокнотом, как мечом.

— Я никогда не думал, что могу поддаться гипнозу, да еще массовому, — беспомощно развел руками мой заведующий, и для верности потрогал бутылку коньяку, прежде чем налить себе еще одну рюмку. — А дело, значит, в нем...

Я воздержалась от комментариев. Массовый гипноз был конечно единственно возможным объяснением. Но ведь дракон то был живой, огнедышащий! И полицейские комиссары — не наивные люди. А тяжелый сундук, который чудище держало, обвив хвостом, как куклу? И потом тот же сундук с трудом несли четыре носильщика, когда фокусник уже вошел в отель. Что же он, свой массовый гипноз оставил на улице, как облако, чтобы морочить людей и дальше?

Но я рассмотрела ясно его глаза, когда он проходил мимо: серые, красивые, очень усталые и печальные глаза пожилого, много видевшего и думавшего человека. Такие глаза могут быть у философа, художника, врача, актера, писателя... но у фокусника? Как его имя? Почему о нем никто не знает? Неужели — это первое его выступление? А если так, то каким образом банк выплачивает по его чекам громадные суммы, и он, повидимому совершенно не стесняясь в средствах, может заказывать апартаменты в «Тоскане», жертвовать на Красный

Крест и отдавать на благотворительные цели всю выручку с представления? Какие же фокусники работают бесплатно — и зачем?

Вопросы эти задавала себе не одна я в тот день, потому что весь город только и говорил, что о драконе. Моментально разнеслись самые невероятные слухи, вплоть до атомной бомбы на его хвосте и летающей тарелке под брюхом; в редакциях обрывались телефоны, по радио давались успокоительные разъяснения ироническим тоном, из которых было ясно одно — а именно, что никто ничего не понимает; город кипел, волновался, спорил, смеялся, и после того, как все попытки взять приступом номер, занятый господином в цилиндре, были отбиты, а мой разговор с репортером был сразу замечен, я, представьте себе, действительно стала маленькой героиней дня, во всяком случае в «Тоскане».

Заведующий был давно уже пьян. Он стучал кулаками по столу и клялся, что не позволит себя обманывать никому, и на это дурацкое представление завтра вечером не пойдет. Но меня давно уже вытащили в другой угол, на диван под лампой. Меня снимали со всех сторон. Меня допрашивал даже еще один полицейский комиссар. Очевидцев было множество, и многие сами старались попасть в центр внимания, но в подъезде отеля, перед которым разыгралась вся сцена, стояли действительно только мы вдвоем, и если я выглядела, по всей вероятности, не слишком умно, то у заведующего был уже такой обалделый вид, что даже репортерам не удавалось от него ничего добиться.

Я несколько раз пыталась позвонить своим друзьям, чтобы рассказать им о случившемся, но меня перехватывали на ходу. От дальнейшего коньяка я решительно отказалась, но меня заставили выпить немислимое количество чашек кофе, а под вечер остаться ужинать в той же «Тоскане», в большом зале, с большой помпой, с оглашениями последних газетных сообщений из нескольких экстренных выпусков. Рядом со мной посадили какого то ученого палеонтолога, интересовавшегося всеми подробностями относительно дракона — и добившего меня окончательно.

Автомобиль, на котором за мной заехал, наконец, тот первый репортер — явившийся действительно с билетами, и сиявший, как счастье, — был набит коробками конфет, букетами и даже корзинами цветов. Было даже несколько бутылок шампанского — от дирекции отеля на дорогу, очевидно. И за что мне их дарили? У меня кружилась уже голова и без них.

Не помню, как я очутилась в постели. Должна сказать, что быть на один день знаменитостью порядком утомительно, хотя и интересно. Вы даже себе представить не можете, какие глупые вопросы в состоянии задавать чрезвычайно почтенные и умные люди!

\*

Еще на следующее утро я чувствовала себя примадонной после блестящей премьеры. Цветы, которые я вчера вечером благоразумно успела сунуть в ванну, пахли так, что вся квартира казалась окрашенной в нежнейший розовый цвет. Коробки конфет не поместились в кресле, куда я их свалила, и лежали грудой на полу. Не успела я проснуться, как сразу зазвонил телефон. Звонил все тот же репортер.

Он просил называть его просто Джекки — так зовут и его собаку, и он ничего не имеет против, если их путают. Конечно, он успел уже побывать в «Тоскане», протелефонировал в редакцию, и считает своим долгом осведомить меня обо всем. Очевидно, он заразился от своего Джекки собачьей привязанностью.

Итак, мой гофманский персонаж — между прочим, он подхватил это выражение, как брошенную кость! — одним словом, этот невероятный фокусник продолжает оставаться таинственным незнакомцем. Как только он заперся вчера в своем номере, то позвонил кельнеру и приказал принести бутылку самого старого вина и букет роз. Кельнер посоветовался с управляющим — и вино в замшелой бутылке было подано — из того драгоценного запаса в погребе, который хранился только для особых случаев. Розы тоже были изумительными, конечно. Когда кельнер принес их, фокусник спросил, есть ли у него дети, какое у них образование — теперь, и какое он хотел бы им дать, — и выписал для этой цели ему чек на такую сумму, что у кельнера подкосились ноги. Ожидавшие его за дверью репортеры буквально подхватили его под руки, но он мог сказать им только, что господин снял трубку с телефона и заявил, что до следующего утра он никого не принимает, и ему ничего больше не нужно.

— Один из молодых начинающих репортеров — рассказывал Джекки, — решил заслужить себе рыцарские шпоры, и под вечер, когда стемнело, пытался заглянуть в окно номера, вскарабкавшись по карнизам и балконам к окну. У самого окна он сорвался, будто его толкнуло что-то, — но в то же время он ясно почувствовал, что его обхватила громадная, жесткая лапа и медленно опустила на землю. — Джекки уверял, конечно, что не только невидимую лапу, но и весь тур по фасаду отеля следовало бы отнести за счет необузданного воображения, по поводу чего он прочел строгую лекцию начинающему коллеге: журналист должен прежде всего говорить правду, и только правду, как свидетель на суде, а кроме того он может врать, конечно, но знать меру.

Оказывается, еще вчера вечером, когда мы ужинали в «Тоскане», состоялось экстренное заседание городского совета. Выручка от продажи билетов должна была превзойти все ожидания, и такие филантропы встречаются не часто. Утром в «Тоскану» была отправлена делегация.

Утром же фокусник снова позвонил кельнеру и попросил принести ему стакан свежего молока. Кельнер не спал всю ночь от радости, и принес молоко, решился заметить:

— Господин, мы с женой и детьми всю ночь строили планы. Мои дети получают среднее образование, но сын хочет быть садовником, а дочка, которая уже кончает гимназию, хотела бы выйти замуж за одного парня, сына сельского хозяина... он не мог купить себе пока земли, но благодаря вам, теперь у них будет собственный хутор, а у сына маленькое садоводство!

Фокусник, как рассказывал кельнер, улыбнулся, и сказал, что выращивать хлеб и цветы — это лучшее, что может делать человек. Услышав это, кельнер осмелел настолько, что решился даже спросить, какая диета будет угодна дракону.

— Он ест только изредка, но его следует покормить сегодня, — согласился фокусник. — Принесите, пожалуйста, боченок меду.

Очевидно, кельнер «Тосканы» тоже обладал способностью рассказывать. (Я слегка покраснела, когда Джекки сказал это, потому что успела уже заглянуть в одну-две газеты, и оказалось, что мое описание «зеленого света» — не утерпела вчера все таки! — преподносилось почти, как ясновидение). Но теперь Джекки просто смаковал — еще бы! — описание того, как переставший удивляться управляющий отелем собственноручно позвонил на склад — столько меда не нашлось в «Тоскане». Боченок привезли, доставили в номер — и кельнеру было позволено присутствовать при том, как крохотный игрушечный дракон (он замурлыкал даже, уверял кельнер), усевшись на край боченка, (а в нем был ровно центнер меду!) — вылизал его в течение нескольких минут до дна . . .

Пустой боченок был поставлен в холле отеля для обозрения посетителями. В том, что в нем только что был мед, сомнений не было, — светлые доски еще немного липли и были сладковаты (многие пробовали пальцем и на вкус). Но как мог дракон — уместившийся в кармане гофманского персонажа — вылизать его с такой невероятной быстротой, и при том нисколько не увеличившись в размере? Очевидно, он ел за счет своего настоящего, а не портативного роста. Что же это: тоже гипноз — или тоже фокус?

В голосе Джекки слышались какие то странные нотки. Он даже откашлялся, перед тем, как начать снова:

— Скажите, Вера . . . можно мне называть вас так? Вы не видали еще, как его . . . зеленого света? Или другого, может быть? Или вообще чегонибудь? Знаете, я жалею, что не забрал вас сегодня утром в отель. Может быть, вам удалось бы больше увидеть, чем этому кельнеру. А делегацию от городского совета незнакомец принял только в составе трех человек, хотя их набралось сорок. Так вот, усадил их очень любезно, а сам с королевским видом нюхал розу, вынув ее из букета. Прочел им целую лекцию о богадельнях. Сказал, что глубоко жалеет тех стариков, для которых, в виду несчастного стечения обстоятельств, или жестокосердия собственных детей, не нашлось под старость собственного крова. Ей-Богу, так и сказал «жестокосердие», как в Библии! Конечно, он передает эту сумму безо всяких условий, но если бы ему позволили дать благожелательный совет — он купил бы в окрестности города небольшое имение и объединил в нем дом для стариков и приют для детей. В таком случае дети имели бы бабушек и дедушек, а старики чувствовали себя в новой семье . . . Вера, почему мне не пришло в голову поставить микрофон в его номере?

— И сесть в тюрьму, в лучшем случае . . .

— Пустяки. Отделался бы штрафом. Но теперь все упущено и мне остается только записывать рассказы других и снимать закрытую дверь и пустой боченок. Сегодня вечером мы увидим все, мое место рядом с вами на представлении, слышите? Оставьте его для меня, я явлюсь в последнюю минуту. Посоветуйте, что мне делать: ждать его у выхода из отеля — или его приезд на Веселом Поле? Я уверен, что он выйдет и сядет не на автомобиль, а на своего дракона — представляете? Телевидение уже устанавливает камеры. Но что эффектнее — вылет или приземление? И с какой быстротой летит это смазанное

медом чудище? Может быть, у вас есть под рукой энциклопедия, чтобы прочесть на быстроту все, что мы знаем о драконах? Может быть... право, я уже перестаю удивляться — вам приходилось иметь с ними дело?

— Если исключить квартирных хозяек... нет, но я могу дать вам совет: отвезти бочонок в химическую лабораторию при университете, в ветеринарное отделение, скажем... пусть они установят по остаткам слюны, какое животное лизало эти доски своим языком...

— Вера, вы гениальны! Сию же минуту! Этого материала хватит на целую статью. Но у меня вторая гениальная мысль. Вера, вы можете меня спасти, и на этот раз не за коробку конфет! Серьезно, я предлагаю вам половину гонорара. Я буду дежурить у «Тосканы», а вы станете на пост у Веселого Поля и запишете мне все подробности прибытия вашего гофманского персонажа, на драконе или без! Как только он отправится отсюда, я помчусь за ним на машине, и таким образом докажу, что и репортеры могут потягаться с фокусниками и быть одновременно в двух местах. На разрешенную скорость я, конечно, внимания обращать не буду, но если я задержусь, потому что все улицы около Веселого Поля будут забиты машинами, то вы расскажете мне начало...

— Джекки — сказала я глубоко прочувствованным тоном, — вы меня разочаровываете...

Он опешил.

— Тем, что предлагаю только половину гонорара? Вы правы. Вы стоите больше.

— Нет. Тем, что вы собираетесь ехать на автомобиле через весь город, который будет на ногах и колесах устремляться к Веселому Полю. Вы можете заплатить штраф, вы можете, Бог с вами, проскочить через красный свет, — но вы все равно приедете за добрый час после начала спектакля... Неужели вы не понимаете, что есть только одно средство, чтобы стать героем редакции и всего города.

— Нет — признался Джекки, и я сквозь трубку почувствовала, как с его лба катится пот. — Откровенно говоря, в такую перепалку я еще за всю свою газетную карьеру не попадал.

— Вертолет, — возвестила я торжественным тоном, и в ответ послышалось такое «ах», как будто он выронил из рук фарфоровую чашку.

— Вера, — произнес он дрожащим голосом через минуту — вы женщина неограниченных возможностей. Если я останусь жив после этой истории, придется предложить вам руку и сердце. Кстати, вы еще замужем, или уже развелись?

Я решила использовать все выгоды положения.

— В настоящую минуту я предпочитаю вместо брачного — предложение совместной поездки на вертолете...

— О-кей! Представление назначено ровно в восемь. В шесть я буду у вас. Остальное потом!



Работать в тот день я конечно не собиралась, но надо было убрать комнату, расставить цветы по вазам, сварить кофе и подумать об обеде. Эта несложная работа заняла у меня почти половину дня, потому что не успевала я положить телефонную трубку, как уже раз-

давался новый звонок. Изобретателям следовало бы придумать такой телефон, который женщины могли бы носить на поясе, как в средневековье носили сумочку с ключами. Прочтя газеты, обо мне вспомнили и такие знакомые, с которыми я не видалась по три года — что значит слава! Но драгоценных билетов я не могла для них достать. У меня было всего десять — для членов кружка «Под кустом белой индюшки» только. Отчаявшись поговорить со всеми лично, я позвонила доктору, и попросила собрать всех у меня к пяти часам дня. Отсюда они могут отправиться прямо на представление, ехать придется долго, а меня заберет Джекки — предположительно.

Опасаясь, что продавщицы в магазине тоже прочли газету и узнают меня по портретам — хотя, смотря на эти снимки я поняла, почему все королевы красоты вызывают такие горестные размышления о человеческом несовершенстве, — я решила выдержать домашнюю осаду до конца. Салат выйдет у меня хуже, чем я ела вчера в «Тоскане», но не каждый же день роскошествовать, тем более, что все можно заесть конфетами, и ими же накормить друзей.

В три часа дня в телефонной трубке прозвучало только одно слово, длинное, но раздавшееся, как выстрел:

— Немлекопитающее!

— То есть, что «не»? — не поняла я сразу, хотя по отчаянию интонации это мог быть только Джекки.

— Немлекопитающее, сказали в лаборатории. Животное. То есть существо. Которое не кормит детей, значит.

— Мо-ло-ком, поскольку не рождает их живыми — сказала я поучительно, сосредоточенно размышляя. — Это значит, Джекки, что животные этого вида не рожают своих детей живыми, и, следовательно...

— Вы думаете, что он — дракониха? То есть драконша? Или среднего рода?

— Настолько я не разглядела его, и вообще... трудно отличить. Но дело не в этом. Поймите, Джекки: змеи и вообще крокодилы вылупляются из яиц.

— Но он летает!

— Птицы тоже высидывают яйца...

— Кроме кукушек. Я читал!

— Перестаньте дурить, Джекки. Я видела дракона, а не кукушку. Если он крылатый, то есть помесь змеи с птицей, то это его дело, но и змеи, и птицы вылупливаются из яиц, следовательно, он не млекопитающее, а наоборот.

— Ах, Вера! Я сам сегодня наоборот. Они поставили девочку с букетом роз против отеля, чтобы он видел из окна, и согнали стариков из богадельни на серенаду... Я, кажется, сам выпью сегодня молока, потому что ни коньяк, ни кофе на меня больше не действуют... Если вы обмолвитесь хоть комунибудь словом о вертолете... пока я не сказал об этом даже редактору, потому что и его могут подкупить конкуренты, или он сам выдаст тайну ради рекламы. Если вы никогда не видели сумасшедшего дома, то загляните к нам... когда я первый раз попал под воздушный налет, было уютнее... Итак, я умер. Пока. Да, совсем забыл: а после этой истории нам нельзя будет отдохнуть гденибудь в Италии или в вашем саду с зеленым светом?



Современным молодым людям, на мой взгляд, следовало бы выдерживать больше. Но я давно уже заметила, что старое поколение их сплошь и рядом затыкает за пояс. Старушки в восемьдесят лет спокойно отправляются на прогулки за несколько километров, люди в пятьдесят лет начинают жизнь снова и спокойно улыбаются в тех случаях, когда молодым уже дают шприцы...

Я сняла телефонную трубку, сунула ее под подушку, накрыла стол для кофе, и взяв под бок коробку конфет, что непростительно для стройной линии, конечно, улеглась на тахту с криминальным романом. Читать их меня тоже научило старшее поколение, конечно, притом оба в один голос: «старосветская помещица» и доктор. Разумеется, только английские. В американских слишком много гангстеров и стрельбы, при полном отсутствии элегантности и традиций. Жизнь героев сводится к сексу, тряпкам и полной пустоте — два измерения, словом; ни в чем неповинные люди с налету объявляются комиссаром преступниками, и им очень трудно доказать свою невиновность. Зато в английских — просто прелесть: инспектора Скотленд Ярда не только умны, но и вежливы; у них прекрасные манеры, сухой юмор, знание психологии и большая любовь к делу. Ктонибудь из персонажей непременно окажется потом лордом, и если не все принадлежат к обществу, то во всяком случае, к порядочным людям, и даже подонки равняются по джентельменам. «Ад» считается весьма сильным выражением, а «будь я проклят» в присутствии женщины не произнесет (а если произнесет, то содрогнется) даже убийца. Внешне люди ведут себя очень сдержанно, но то один, то другой персонаж оказывается вдруг коллекционером черепах, знатоком индийских ядов или полинезийских танцев... Кроме того после нескольких войн, революций и переселений целых стран и народов в Европе трогают до глубины души и эти либо заключенные необитаемые дома за каменной стеной парка, либо такие, о которых снисходительно говорится, что это был просто деревенский дом средней руки — всего какихнибудь восемь-девять спален...! На одном газоне перед таким скромным домиком уместилась бы вся усадьба моей старосветской помещицы, вместе с белой индюшкой! Убийство в английском романе не обязательно, а если происходит, то на первых двух страницах, вызывает один вопль у побочного персонажа, затем труп деловито убирается, и убитый обычно никому не дорог, кроме всевозможных наследников. Но как бы искусно ни прятался убийца, его найдут всегда, не щадя средств на разъезды и раздумья. А сколько убийц я знала в своей жизни, которые и не прятались вовсе, а их никому не пришло в голову осудить и наказать!

Вот почему, стоит мне раскрыть книгу и погрузиться в туман лондонских улиц, как я перестаю думать о собственных проблемах. Обыкновенная, но интересная жизнь чужих людей, с подземными течениями, над которыми мне не приходится ломать голову, — их объясняет автор, и все на своем месте. Человеческие слабости вызывают улыбку у хмурого констебля, любовь не вызывает никакого отвращения, а в результате забот Скотленд Ярда голова отдыхает от собственных мыслей. Чистая неблагодарность, что содержание забывается так легко — оно, вдобавок, изложено очень правильным, литературным языком, чего нельзя сказать о многих современных литературных произведениях.

«За железной дверью» я прочла наполовину еще на прошлой неделе, а теперь с блаженством закончила, и во время. Едва успела вскипятить воду для кофе, как явилась первая пара: доктор и старосветская помещица. Мне кажется, что его частые выезды к больным за город всегда идут по одному пути... Доктор сразу указал пальцем на цветную обложку книги.

— Вижу, что вы работаете в нужном направлении. Во первых, отдохнули за романом от своей суеты, — воображаю, как вас замучили телефонными звонками! — а во-вторых, постарались освежить в памяти методы Скотленд Ярда. Мы это тоже пытаемся делать весь день. Давайте сюда конфеты — сладкое помогает умственной работе. Да нет, пожалуйста, вот ту коробку. Эту оставьте для официальных приемов — тогда все съедят. Ваши впечатления расскажете потом — сейчас будете только путать их с измышлениями репортеров. Я сегодня вместо обеда проштудировал все газеты и знаю теперь о вас больше, чем когданибудь вам снилось. Итак, господа, мы должны остановиться на одном из предположений, или на всех по очереди. В данном случае мы имеем дело либо с массовым психозом, либо с повальным сумасшествием, либо с невероятно ловкой мистификацией, то есть фокусничеством высшего разряда. Возможно, что и с международной шайкой гангстеров или политических террористов. Не удивлюсь, если во время сегодняшнего представления, к которому будут привлечены все полицейские силы, в городе взорвут здание парламента, или просто ограбят государственный банк дочиста, и выручку, обещанную бедным старикам, тоже заберут в придачу, но это будут хоть честно заработанные деньги.

— Одной ловкостью рук тут всего не объяснишь.

— Плюс гипноз. Человек со способностями может заставить и тысячу человек видеть то, что он хочет, чтобы они видели, а больше вблизи не могло собраться. Видели ползущего дракона сотни две человек, не больше. Пустяки для действительно сильного гипнотизера.

— Но анализ облизанных досок в пустом боченке? Впрочем, вы этого еще не знаете. Моя идея, мысль опытной криминалистки!

Я рассказала, в чем было дело.

— Неплохо, — одобрил доктор. — Но, между нами говоря, анализы иногда бывают разные... а если катализатором служит воображение химика, которому происхождение боченка было известно, то... и, кроме того, я анализа не видел, а вы слышали от репортера! Одного этого уже достаточно. Кельнера же следовало бы подвергнуть перекрестному допросу. Он должен неплохо зарабатывать в «Тоскане», но если получил сразу куш для приданого и дочери, и сыну, то ему и белые слоны могут привидеться, не то, что игрушечный дракон, не лопнувший от боченка меда. Даже без гипноза. Какие у фокусника глаза, между прочим? Вы ведь видели его совсем вблизи?

— И притом он произвел самое симпатичное впечатление, доктор. Может быть, я тоже не нормальный человек, не претендую, но в повальном сумасшествии ей Богу не повинна. А гипнотизера всегда представляла себе иначе. Он — пожилой человек, худощавый, высокий, изысканно вежливый, по старомодному элегантно одет. Волосы с проседью, глаза серые, но не тяжелые, не пристальные даже, а скорее всего усталые и даже грустные. Кажется, что такой человек дол-

жен был много видеть, много думать, и по отношению ко всем он скромн, тих и печально снисходителен. Я могу представить себе его директором какого нибудь исторического музея, привыкшим к масштабам тысячелетий и тщете всего земного, или врачом-психиатром, понимающим, что мы идем к гибели с нашим сумасшедшим веком; может быть, старомодным писателем или музыкантом — но никак уж не главой террористической банды. И, в конце концов, если бы это было так, к чему такие маневры для отвода глаз? Если он может заставить несколько сотен людей увидеть то, что он хочет, — то что стоило бы ему заставить их не видеть, как служащие банка сами отпирают ему сейфы? А что касается взрыва парламента... революцию могут устроить только коммунисты, а у них средства гораздо проще — и вернее, пожалуй. Нет, кроме перечисленных вами возможностей, должны быть еще и неизвестные...

— Нашей школьной мудрости, мой друг Горацио! — вздохнула помещица. Доктор быстро обернулся к ней.

— А именно?

— Из всего того, что рассказывала Вера, и что я читала в газетах — тихо сказала она, — меня интересовали только два момента: вот это зеленое зарево, — назовем его так? — небывалое, но виденное нами всеми, и — еще то, что Вера призналась, что ей стало страшно. Это был действительно страх?

— Не совсем. Если на большой высоте посмотришь вниз, тоже вот становится холодно и жутко, но ведь это не настоящий страх? Иногда музыка производит такое впечатление, что волосы на голове шевелятся, иногда сочетание красок, иногда молитва. Физически это ощущение холода, и все тело пронизывается им, как огнем, какой то особой дрожью, но это не такой страх, как во время воздушных налетов, или перед убийцей... не страх от отвращения, отталкивания, ужаса, а...

— А от соприкосновения с чем то, что выше нашего понимания.

— Дорогая, если вы ожидаете чего нибудь сверхестественного от сегодняшнего вечера, то можете подпасть под влияние даже ярмарочного фокусника! Нет, я желаю сохранить ясную голову. Я знаю, что между небом и землей есть побольше, чем наши человеческие измышления, но в чудеса я верю только тогда, когда не могу их объяснить, и даже не пытаюсь. Здесь я должен убедиться досконально, и ждать теперь уже недолго. Я надеюсь на телевизионные камеры больше всего. Все крыши наверно заняты фотоаппаратами, а объектив загнипнотизировать нельзя, это уж дудки! Хотя, впрочем, деревенские ведьмы никогда не выходят на снимках, вместо них получается темное пятно, вы знаете это?

Доктор был явно заинтересован, как и мы все. Его монолога никто не прерывал. Коробки конфет тоже как не бывало. Я говорю, старшее поколение, может за себя постоять!

Но доктор — невозможный человек, все таки. Он собственноручно налил чашку кофе Джекки, когда тот появился немного раньше срока, бледный под загаром, и с видом человека, только что выкарабкавшегося из под лавины. Он в изнеможении опустился на кресло, но доктор сразу облил его и меня холодной водой:

— Если я не ошибаюсь, молодой человек, — заметил он — вы имели неосторожность достать вертолет? Незаконным путем к тому же, потому что в нашей стране в частной собственности они еще не имеются... Надеюсь, что он не ждет здесь вас у подъезда, хотя это было бы очень эффектно.

— Это гениальная мысль вашей... родственницы, доктор? — слабым голосом отозвался Джекки.

— Среди моих родственников, слава Богу, фантазеров нет, иначе я усыпил бы их на первом же приеме — возмутился доктор. — Мне вас жаль, молодой человек! Но постарайтесь освободиться от гипноза хотя бы этой молодой особы, и ответьте мне только на один вопрос: с чего вы вообще взяли, что фокусник отправится на представление именно на драконе, и притом по воздуху? Кто вам сказал это вообще? И не роняйте чашку с кофе из рук, притом на светлые брюки!

— Ах! — воскликнули все присутствующие хором из греческой трагедии.

— Но... пытался возразить Джекки, — он же... прибыл в «Тоскану».

— По мостовой, во-первых. И дракон полз, а не летел, как засвидетельствовали все видевшие. Крылья он благоразумно держал в сложенном виде. Не говоря уже о том, что любой автомобиль, загримированный под дракона, может пройти тихим ходом по любой площади, под драконьей кожей мог легко быть воздушный баллон, управляемый фокусником, из которого он потом выпустил воздух... Вы видели другое, конечно. Собственно не вы, а другие, заметьте. Видели превращение чудовища в игрушку. На глазах, так сказать. Но в этот момент фокусник был рядом с очевидцами, а что он гипнотизер, в том нет сомнения. Я взываю к вашему здравому смыслу: от такого, хотя бы и эффектного появления, до действительного полета по воздуху, над крышами, в пространстве, где кроме вас на вашей несчастной вертушке, не будет никаких людей, чтобы их дурачить — это еще очень далеко... Меня не удивляет, конечно, что Вера верит в сказки. Дай Бог, чтобы она сохранила свою веру подольше, это очень полезно для души, сердца и кровообращения. Но в данном случае эта вера обойдется вашему карману очень дорого. На всякого мудреца довольно простоты! Оказывается, и на репортера тоже. Мне вас жаль, сэр!

— Но как же... прошептал сраженный Джекки.

Сражаться с доктором мне было не впервые, но сейчас он нас действительно убил. Лицо Джекки начало понемногу краснеть, и надо было непременно придумать какойнибудь выход, чтобы он не стал всеобщим посмешищем.

— Ваша логика, доктор, изумительна! — начала я самым холодным английским тоном. — Но, как и всякая логическая теория, она не выдерживает соприкосновения с действительностью. Кто вам сказал, прежде всего, что мы собираемся с Джекки лететь рядом с драконом? И, следовательно, что он полетит сам, на что мы рассчитываем? Пока это предположение существует только в вашем воображении. Но вы представляете себе, что будет твориться перед «Тосканой», из которой фокусник, как-никак, должен выйти и каким то образом отправиться на Веселое Поле? Джекки не единственный в городе репортер и фотограф — их будут сотни одних профессионалов. Кроме того, Веселое

Поле может вместить только полмиллиона зрителей, а жителей в городе в три раза больше, и сегодня утром уже наехали сотни тысяч любопытных из других городов. Это значит, что все улицы к Веселому полю будут забиты толпой. Я желала бы, чтобы это удалось Джекки, но рассчитывать на то, что именно ему удастся уцепиться за кончик драконьего хвоста или фалду фрака гофманского персонажа — было бы слишком оптимистично. Следовательно, он потеряет из виду по крайней мере половину того, что будет происходить. Доехать на машине с фокусником из «Тосканы» до Веселого поля тоже будет невозможно. А на вертолете мы можем все снимать сверху и видеть все от начала до конца, на чем бы фокусник ни поехал, и если это не будет первоклассным репортажем, то я готова съесть щетку!

Я презрительно дернула плечом в заключение, а глаза Джекки сразу заблестели, он улыбнулся, закивал головой, и хор снова дружно пропел: «Ох»! — но уже другим тоном. Доктор только головой покрутил.

— Вывернулись. Сдаюсь.

Так как я за минуту еще до того не знала сама, что сказать в свое оправдание, — а первой моей мыслью было, что я действительно втянула невинного молодого репортера в ужасный скандал — то я чувствовал себя сейчас как человек, который видит во сне, что он летит в бездну, — и, вскрикнув, обнаруживает, что он лежит на своей кровати.

— А кроме того, — добавила я с самым проникновенным и таинственным видом, обращаясь уже главным образом к Джекки, посмотревшему на часы — не забывайте еще одного немаловажного обстоятельства. Вы знаете, как меня зовут?

— Вера, — недоуменно ответил он.

— А что это значит? По латыни «веритас» значит «истина», а по русски — вера.

— Словом, ты везешь Цезаря и его счастье! — процитировал доктор по латыни, подмигивая мне самым бесстыдным образом, но я сомневаюсь, чтобы латинские познания Джекки были бы достаточны...

\*

— Вторую камеру получите вы — говорил Джекки по дороге на аэродром уже деловым, командным тоном. — Помните, что главное, — это быстрая реакция и точность. До вертолета не додумался никто, даже телевидение. Но вы изумительны. Вначале, представьте себе, я действительно думал, что мы будем снимать дракона налету. Вы, конечно, только постарались увлечь меня этим, иначе я не встал бы на хвост, чтобы достать вертолет. А теперь мы и без всякого дракона получим такую ленту, которую и за границу продать не стыдно будет. Пожалуй, покупка загородного дома с садом нам обеспечена. Или вы предпочитаете кругосветное путешествие?

— Пока что — вертолет.

Я никогда до этого не летала еще, хотя часто мечтала о планере. Стеклянная кабинка казалась мне почему то волчком, хотя она то ведь не кружится. На аэродроме было все по будничному, пахло ветром и маслом, люди в комбинезонах двигались, как в фильмах. Ничего не-

обычайного я не заметила, и уселась рядом с Джекки в кресло. Немного пришлось повозиться с незнакомыми мне камерами, пока мы установили их, и я старательно прощелкнула несколько раз, чтобы не ошибиться. Была твердая уверенность, что, начиная со вчерашнего дня, я попала в серию каких то необычайных приключений, и, не имея к ним никакого отношения, принимаю, тем не менее, в них деятельное участие, а потому справлюсь с чем угодно, а не только с фильмами.

От аэродрома к центру города мы летели довольно низко, над площадью чуть не задели антенны на небоскребе против здания суда — так казалось, по крайней мере. Площадь и улицы были полны людьми, как и следовало ожидать, и между ними вилась узкая ленточка прохода к «Тоскане», охраняемая полицейскими. На подъезд отеля дулами орудий были направлены камеры репортеров. Я позволила себе толкнуть в бок Джекки и кивнуть на них, снисходительно улыбнувшись.

— Моего коллегу из «Вестника» хватит удар, когда он увидит меня здесь — прошептал мне на ухо Джекки, и, без всякой запятой, добавил: — Вера, вы замечательны.

Было половина восьмого уже, но еще совсем светло. Сверху было ясно видно, как вечерним облаком оседала городская пыль, и вот именно это прозрачное облако внизу и создавало чувство оторванности от земли, чувство совсем иной жизни в чистом, прозрачном небе.

— Хорошо бы спуститься так низко, чтобы можно было заглянуть в окна, — предложила я, не заботясь о технике полета.

Но этого делать не пришлось. Мы ясно видели, как распахнулись обе половинки дверей «Тосканы», и на ступенях, сопровождаемый управляющим, кельнером, лифт-боями и еще какими то людьми, появился человек в цилиндре. Вчерашняя сцена повторилась точь в точь, только в обратном порядке. Четверо носильщиков вынесли на мостовую громадный сундук. Сверху он в особенности напоминал старинный ларь.

— Снимаем! — скомандовал Джекки, и я вдруг вспомнила, о чем уже давно порывалась спросить:

— Джекки, а каким именем были подписаны его чеки?

— Что-то вроде «Мельвин» или «Мерлин» — пробурчал он.

Я чуть было не сорвала ленты с камеры, но во время отмахнулась от внезапной дикой мысли.

И напрасно. Человек в цилиндре подошел к краю панели и, вынув из кармана что то, незаметное сверху, положил это на мостовую. Киноаппараты жужжали, вероятно, а «это» — крохотный игрушечный дракон — выросло на наших глазах так же, как сжималось вчера. Через несколько минут перед подъездом «Тосканы» лежало десятиметровое чудище, и дышало то огнем, то дымом.

Приведя себя таким образом в порядок, вышколенный дракон сам отодвинул кончиком хвоста шархнувшихся в сторону носильщиков, обвил им сундук и поставил его себе на спину. Опершись о его бок, гофманский персонаж быстро приподнялся, уселся между его крыльями, и, сняв цилиндр, раскланялся с толпой. В ту же минуту дракон медленно расправил крылья, поставивши их сперва торчком, и хлопнул ими по воздуху. Вот он уже на высоте окон первого этажа, — вот делает поворот, чтобы обогнуть здание, — расправляет крылья пошире — и спокойно перелетает через антенну стеклянного небоскреба.

Рев толпы был слышен даже сквозь шум пропеллера над нашей кабиной. В первую секунду я почувствовала, что мы падаем, и обернувшись, увидела расширенные, остановившиеся от ужаса глаза пилота, но он бессознательно, наверно, выравнял во время машину и так же обалдело и машинально устремился вслед за драконом.

Теперь мы летели почти рядом. Зеленое чудище слегка наклонило голову вниз, к толпе, и разинуло на прощанье пасть, ослабившись с самым наглым видом. Человек в цилиндре сидел неподвижно, смотря прямо перед собой, и опираясь спиной на мягкие складки кожаных крыльев.

«Мерлин» — отстукивал, казалось, мой киносъемочный аппарат. «Мерлин» . . .

Вторая половина двадцатого столетия! Я звоню по телефону, еду на автомобиле, поднимаюсь на вертолете — и лечу рядом с драконом и волшебником Мерлином! А доктор говорит о гипнозе . . .

Дракон был так близко от нас, что хотелось его погладить. Он летел довольно медленно, повидимому, не утруждая себя, слегка шевелил крыльями, опираясь о воздух, как будто плыл по большой реке. Внизу расстилались крыши, мелькали первые вечерние огни реклам, а заходящее солнце в прозрачном небе розовело на морщинистой коже древнего зверя.

Конечно, так лететь гораздо приятнее и прохладнее, чем на нашей вертушке . . . И, конечно, теперь мне полагалось подумать, что я сошла с ума, или сплю, и попробовать ущипнуть себя. Но и снов таких невероятных не бывает, и сумасшествие совсем, наверно, не так приятно, как вот, очутиться прямо рядом со сказкой, с тем, что мы привыкли считать выдумкой, а ведь это просто другой мир, только отделенный невидимой стенкой. В какую то приоткрывшуюся оттуда щель блеснул зеленый луч, — да, вот именно, с этого и началось, с того самого зеленого света, который я видела в саду — вот в эту щель они оба и выскользнули оттуда. Зачем?

Соображать было некогда. Я могла только смотреть и смотреть, только чувствовать и видеть, а не мыслить установленными понятиями. Хорошо еще, что из чувства благодарности к Джекки, устроившему эту поездку, я не забывала крутить ручку кинокамеры. Может быть, он сам не в состоянии был этого делать — я не обращала на него никакого внимания.

Но чудесный полет кончился. Дракон медленно описал полукруг, постепенно снижаясь над Веселым Полем, и, заметив маленькую площадку, оставленную при входе, осторожно опустился на нее, втягивая шею, лапы, и поджимая хвост, чтобы не задеть за чьинибудь головы. Опустившись, он пополз, отдуваясь, к сцене, устроенной в громадной раковине.

По всем краям Веселого Поля уже горели сотни фонарей. Вслед за драконом спустились на площадку и мы, и, выскочив из кабинки, бросились за ним. Люди кругом окаменели, слышалось только сиплое дыхание дракона. Добравшись до сцены, он поставил на нее хвостом сундук, и Мерлин шагнул с его спины прямо на подмости, а дракон растянулся во всю длину на земле вдоль сцены, сложив крылья заборчиком.

Раковина была затянута внутри чем то огненно-красным, и под прожекторами пылала костром. На огненном фоне, еще более подчеркнутым зеленым барьером дракона, отчетливо выделялись длинный ларь и высокая черная фигура Мерлина. Наши шаги казались гулкими — такая стояла тишина. Мы добежали до первых рядов — откуда то высунулась рука доктора — и уселись рядом с ним, в самом центре. Сказать чтонибудь было уже некогда. Мерлин шагнул к рампе, поднял трость — и представление началось.



— Милые люди! — произнес Мерлин в такой тишине, что в микрофонах было слышно дыхание сотен тысяч людей. — Вы наверно ожидаете от меня какихнибудь невообразимых фокусов. Понятно, конечно, после того, как я порастил ваше воображение своим необычным появлением. Сознаюсь, что я рассчитывал на такой эффект. Ведь если бы я просто подошел к вам, и взяв за руку, сказал: «Послушайте...» то вы либо вообще не стали меня слушать, потому что вам некогда, либо отмахнулись от того, что считаете чушью. Недавно в ваш город приезжала футбольная команда, взявшая где то первое место. Был устроен «большой вокзал», ее встречали делегации, оркестр и сотни тысяч народа, остановивших все движение. А незадолго до этого город посетил для нескольких лекций знаменитый и один из крупнейших современных философов, Ортега и Гассет. Его приезд прошел почти незамеченным. Его встретило несколько человек. Так вот, меня выслушали бы только разве одни философы и поэты... но сколько среди вас найдется живых, мыслящих и творящих людей? Теперь же вы собрались здесь из любопытства, и пожертвованные вами ради этого деньги пойдут на этот раз на доброе дело. Я же действительно покажу вам кое что, хотя это и не будет фокусом при помощи ловкости рук или обычных средств иллюзиониста. Вы просто увидите на несколько минут тот мир, который действительно существует рядом с вами, но о котором вы не хотите ничего знать. О нем вам говорили многие, и хотя говорили по разному, но всегда об одном и том же. Вот и сейчас я только повторяю то, о чем гласит один из ваших мифов. Этот черный сундук, который вы видите на сцене — ларец Пандоры. Сама Пандора — явление настолько заурядное, что я выберу ее среди вас. Итак, для начала прошу подняться на сцену молодую девушку. Предупреждаю: мне нужна самая обыкновенная рядовая девушка: не урод и не красавица, живущая на скромные средства, с образованием не выше среднего, и без всяких талантов... одним словом, ничего выдающегося над средним уровнем...

— Вера, подымайте руку! — зловеще прошептал доктор.

— ...и предупреждаю, что пытаться обмануть меня бесполезно. Я умею не только угадывать мысли, но и видеть их... Однако, желающих оказывается более чем достаточно — стремление к сенсации может вызвать даже скромность. Но мы можем облегчить выбор, предоставив его, как всегда, судьбе. Имя «Пандора» теперь не употребительно, но кого из этих девушек зовут хотя бы «Дорой»?

Я оглянулась. Руки, поднимавшиеся со всех сторон, внезапно упали. По рядам пробежал шопот.



— Меня зовут Дорой — сказала вдруг сидевшая неподалеку девушка, неохотно поднимаясь.

— Прекрасно, дитя мое! Я так и думал, что найдется ктонибудь с этим именем. Пожалуйста, поднимитесь ко мне. Можете пройти сбоку, чтобы не шагать через дракона, хотя ручаюсь, что он вас не тронет.

Не нужно было уметь читать мыслей, чтобы сразу определить, что уровень этой Доры был заметно ниже среднего — по крайней мере, что касается вкуса. Я всегда обращаю внимание на расцветку материй на платьях, хотя бы уже по своей профессии, а на ней было такое пронзительно пестрое платье, что выдержать эту какофонию красок могли только весьма примитивные нервы. Впрочем, выглядела она тоже стандартно: среднего роста, миловидная неопределенная блондинка, фигурка с легкими недостатками и большие руки и ноги, которые она не знала сейчас, куда девать, модная прическа, которая ее сильно безобразила, и общеобязательное модное же выражение лица: вульгарная чувственность и неумелая меланхолия. Сейчас она старательно и смущенно улыбалась во все стороны: публике, волшебнику и дракону даже. Откровенно говоря, я ей даже чуть позавидовала: почему это глупеньким всегда больше удается в жизни!

— Итак, Дора, — сказал он своим мелодичным, ободряющим голосом — давайте познакомимся сперва. Меня зовут Мерлин, и я действительно тот самый Мерлин, о котором...

Он поймал ее взгляд и улыбнулся.

— ... о котором, вы, наверно, никогда не слышали?

— Нет, — призналась она, глядя прямо на него.

— Я так и думал. Но это и лучше: могу оставаться для вас таинственным незнакомцем. Но я стар, и могу задать вам нескромный, как считается, вопрос: сколько вам лет?

— Двадцать два, — потупилась она.

— Вы работаете или учитесь?

— Секретаршей в...

— Неважно, где. Вы уроженка этого города? А кто построил его и когда?

На ее личике выразилось явное изумление.

— Жаль, что вы никогда не интересовались прошлым... из него вырастает настоящее. А вообще над чемнибудь задумывались в жизни?

Если бы она не была так возмущена, то наверно расплакалась бы от обиды.

— Через месяц я выхожу замуж, а раз у меня будет муж, то мне нечего самой думать!

Это было уже целым мировоззрением, и оно многим понравилось. Большинство мужчин улыбалось не без одобрения.

— Хорошо — сказал Мерлин, и что-то в его голосе заставило всех умолкнуть. — Ваш облик для присутствующих пожалуй ясен. Теперь я предлагаю вам сыграть роль одной молодой и красивой девушки, о которой был создан целый миф. Ее звали Пандорой, и вы ничего не слышали о ней, но так и лучше. То, что вам нужно знать, я расскажу сам. Пандора получила однажды подарок — скажем, пришла домой и увидела, что ее ждет посылка — вот такой же ларь, который стоит

сейчас на сцене. Между прочим, он — точная копия прежнего — а может быть, и тот же самый. В свое время Пандора поступила с ним определенным образом. Теперь вы взяли на себя ее роль, и я предлагаю вам ее ларь. Можете делать с ним, что хотите. По всей вероятности, вы повторите то же, что сделала она, но я вам ничего не подсказываю, и надеюсь, что никто из знающих из публики не подскажет тоже. Вы поняли?

— А я могу его взять с собой? — она покосилась на громадный ларь.

— Потом — пожалуйста, если захотите. Но сейчас вы пришли на сцену, как к себе домой. Представьте, что вы открываете дверь в свою комнату — и вдруг видите этот ларь. Вы живете в мебелированной комнате, да? Значит, хозяйка квартиры объяснила вам, что вы только что получили посылку. Что вы сделаете прежде всего?

— Посмотрю, от кого, — сказала она деловым тоном.

— Посмотрите.

Девушка подошла к ларю и тщательно осмотрела его со всех сторон. Никакой надписи или квитанции на нем конечно не было, но она присмотрелась к резьбе на его боковых стенках, и вдруг отскочила:

— Тут вырезаны фигуры, и они двигаются, как живые!

— Вот как?! — Мерлин подошел к самой рампе и скрестил на груди руки. — Пандора, получив свой ларец, тоже заметила это — произнес он хроникерским тоном.

— Да, они двигаются, как на пружинках. Пружинки наверное внутри ящика, — глубокомысленно сказала Дора.

Мерлин молчал. Наступила пауза. Девушка рассматривала ларь, пожимая плечами, и явно не зная, что же ей делать. Потом попыталась зачем то сдвинуть его с места, — но он был слишком тяжел. Подумав, села на него.

Возня со «средним уровнем и ниже» никогда не бывает удачной. Конечно, получи эта дурочка ларь действительно, как посылку, то она прежде всего посмотрела бы, что в нем такое. Теперь, когда на нее смотрели тысячи глаз, она напрягала все усилия, чтобы сделать чтонибудь особенное — как обычно бывает под прожектором славы.

— А я могу его открыть? — спросила она наконец.

— Пандора — торжественно ответил Мерлин, — вы можете сделать с этим ларем все, что угодно. Если он вам не нравится — его можно сжечь. Можно зарыть в землю. Правда, если вы его спрячете, то не узнаете, что внутри, а лари, как известно, предназначаются для хранения чего либо . . .

— И то, что в нем находится, я могу взять себе?

— Он поднесен вам со всем содержимым.

— И на самом деле, а не только для представления? Как же поступила эта Пандора?

— Если вы уже решили, что сделать, то я могу вам сказать.

— Да. Я решила.

— Ей захотелось узнать, что находится внутри, и . . .

— И она открыла ларец! — воскликнула Дора, захлопав в ладоши, и подбежав к ларю, не без труда откинула крышку.

— Милые люди! — повторил Мерлин свое странное обращение, не двигаясь с места. — Как видите, прошли тысячелетия, но у вас ничего не изменилось. Пандора была красивой молодой девушкой, и наверно

больше всего заботилась о том, какими складками уложить свой хитон, и каким узлом завязать волосы. Она несомненно прекрасно разбиралась в косметических средствах и чувствах молодых людей, а больше ее ничего особенно не интересовало. Думать она предоставляла скучным философам, сражаться храбрым воинам, а жарить гусей, или делать что либо другое в повседневной жизни — своим или чужим рабам. Теперь вместо них существуют автоматы, но невежество от этого не уменьшилось. Любопытство и безответственность, конечно, остались...

Эти слова были еще произнесены в тишине. Но современная Пандора и все мы, не отрываясь, смотрели сейчас не на Мерлина, а на открытый ларь. Из него медленно поднималась серая, все сгущающаяся тень. Теперь ясно было видно перекошенное лицо с блестящими глазами, темные крылья за спиной, протянутые, скрюченные руки. Но еще и другие руки тянулись рядом, поднималась вторая тень, третья, еще и еще...

— Если бы Пандора дала себе труд задуматься над резьбой, украшающей стенки ларя, то она увидела бы, что это — живые изображения всех человеческих страстей, горя и страданий. Она могла бы спросить умных людей, если не поняла бы сама. Но она не привыкла думать. Они двигались и делали ей знаки, чтобы выпустить их на свободу. Она открыла ларь и выпустила их — потому что ее одолевало любопытство, а сознавать ответственность за собственные поступки она не привыкла. Грех, казалось бы, не слишком большой и очень распространенный. Но вот из ларца, как видите, выходят фигуры — воплощения Невежества, Лени, Зависти, Ревности, Злости, Лицемерия, Праздности, Клеветы, Предательства, Измены, Жадности, Глупости, Страха — всего того, чем люди отравляют и портят жизнь себе и другим...

— Поразительный гипноз — прошептал доктор — ведь действительно видишь их!

Мы все их видели. Иссера — черные фигуры с бледными лицами и блестящими зелеными, желтыми или налитыми кровью глазами, с ухмылками, от которых к горлу подступала тошнота, протягивали к нам руки и колыхались в воздухе, наполняя всю сцену, как дым от костра. Их становилось все больше и больше, им уже не хватало места на сцене, и под смятенный вздох толпы они двинулись вперед, на зрителей, заглядывая им в глаза, приликая к ним...

Черные фигуры металась над Веселым Полем. Из рядов послышались крики. Кто-то еще пробовал смеяться, но уже раздался первый истерический вопль.

— Почему вы испугались? — Насмешливо спросил Мерлин. — Разве это для вас новость? Вы видите сейчас только то, чем постоянно грешите сами, с чем сталкиваетесь в жизни и не боретесь, о нет, а только придумываете себе оправдания, что мол, вы такой же человек, как все, и все делают так же... Так чего ж бояться? По крайней мере половина вашей жизни уходит на то, чтобы питать вашими нервами, кровью и мыслями вот этих чудовищных уродов. Вот они и вырастают до подобных размеров — и вы сами выращиваете их! Вы сами! Вспомните любой случай из вашей жизни, когда вы могли бы обойтись без них, могли бы поступить и сказать иначе, лучше, благороднее, — если

бы захотели — если бы подумали . . . И сколько таких случаев в вашей жизни было и будет?

— Если он не прекратит этого, сейчас, сию минуту, начнется бедлам, — шептал мне на ухо доктор. — Не понимаю, чего смотрит полиция. Вы слышите уже крики? Это начало повальной истерии.

Мне самой было трудно удержаться, чтобы не кричать. Толстая, вся какая то губчатая Леня походила на отвратительного спрута, обволакивающего и высасывающего все живое; оскаленные зубы красноглазой Ненависти выглядели довольно примитивно или натуралистически, а ля Гойя или Дюрер, но одно дело снисходительно перелистывать гравюры, — а другое — видеть эту остекляневшую кровожадность перед собой.

После полета рядом с драконом я не могла упорно цепляться за представление о массовом гипнозе, как все еще делал доктор. Я видела темных духов, выскользнувших из той щели, которую приоткрыл в другой мир волшебник Мерлин — тот самый . . .

Тени металась над Веселым Полем, подхлестываемые дикими вскриками людей. Поле шумело, люди старались укрыться, слышались рыдания, шум нарастал уже грозой, некоторые бросились к сцене, но остановились перед лежавшим драконом.

— Довольно! Довольно! — неслось со всех сторон.

Мерлин шагнул к середине сцены у рампы и поднял руки.

— Хорошо, — медленно произнес он. — Если вы не хотите их больше видеть — пусть будет по вашему. Неизменный человеческий принцип: то, чего вы не хотите видеть, для вас не существует. За тысячелетия вашей истории, повторяю, человеческая сущность не изменилась, а если и изменилась, то к худшему, потому что понятие о добре и зле потеряно большинством людей среднего уровня . . . Вот как раз об этом я и хотел вам напомнить . . .

Теневые чудовища разом исчезли, как будто над полем смахнули паутину. Огненно-красная сцена, посреди которой попрежнему чернел ларь, сразу опустела и выросла, придвинувшись пустотой к зрителям. Девушка стояла, ухватившись за крышку, бледная и трясущаяся от страха.

— Как же вам напомнить о Добре, однако? — усмехнулся Мерлин. — История показала, что это совершенно бесполезно. Если уж Сыну Божьему не удалось этого сделать, то куда ж мне? Вот, если воззвать к самым изменчивым вашим чувствам, если бы крикнуть: «Бедные, убивайте богатых! Молодые, убивайте старых! Здоровые, убивайте больных!» Уничтожайте всех, кто вам мешают, кому вы завидуете, кто выше вас — по любому признаку ради собственных целей — о, тогда сразу создастся целое движение в стране, или в целом мире, тогда вы растопчете всех моралистов в вашей среде — как это тоже показала история . . . Нет, слова и призывы бесполезны. Из вежливости следовало бы прибавить: «к сожалению», и я привык соблюдать вежливость . . . но мне вас действительно жаль! И поэтому я позволю себе вмешаться; я решил оставить вам постоянное напоминание о только что виденном вами ларце Пандоры, и так, что это будет зависеть только от вас самих, от вашей доброй воли. Итак, объявляю: я делаю вам всем, присутствующим здесь, и неприсутствующим, небольшой подарок. Каждому из вас — хочет ли он этого, или не хочет. Как вы

будете пользоваться им — это ваше личное дело, и придется ли вам пользоваться им вообще — в вашей власти, я не посягаю на вашу свободу выбора. Но зато не в вашей власти ни уничтожить его, ни избавиться от него вашими обычными средствами уничтожения. Может быть, некоторым мой подарок будет неприятен — но это зависит только от вас. Некоторые среди вас обрадуются. И даже больше: те из вас, которые обретут наконец утраченное понятие о добре и зле, обнаружат вскоре, что могут передать мой дар и другим, умножить его... Больше я объяснять не буду, но надеюсь, что это пойдет вам на пользу. И именно потому вспомним еще раз миф о Пандоре и ее ларце... Когда Пандора, вот так же, как сейчас эта девушка, стояла в углу своей комнаты, дрожа от страха, она увидела, что со дна ларя поднялись еще три последних фигуры. Они были совсем другими, и звали их: Вера, Надежда и Любовь.

И в самом деле: из открытого ларя выпорхнули, как ласточки, три небольших фигурки. По сравнению с чудовищными тенями они казались слабыми и жалкими. Но огненное зарево, заливавшее сцену, стало постепенно бледнеть от этих простых белых фигурок; сперва оно перешло из огненного в золотое, потом стало расширяться таким могучим сиянием, таким ослепительным блеском, на который было просто больно смотреть. И ларь, и фигура Мерлина — все потонуло в этом блеске, разгоревшемся до того, что самые мощные юпитеры по краям Веселого Поля только чуть чуть мигали, как во мгле.

— Прощайте! — донесся голос Мерлина. — Не забывайте!

Перед сценой взметнулось ослепительное облако — и все разом потухло.

Люди протирали себе глаза, стараясь сморгнуть с них наступившую мглу, которую до сих пор считали светом. Коптилки постепенно снова превращались в яркие лампы. Сцена была пустой и серой, и на краю ее жалкий комочек — девушка Дора судорожно закрывала лицо руками.

Приходилось ли вам когда либо физически чувствовать пустоту? Теперь об эту пустоту, как о скалу, ударяли волны гула, взмывавшиеся то в одном, то в другом краю площади. Кто-то по привычке зааплодировал, и хлопанье в ладоши звучало страшно нелепо. О том, что представление кончилось, подумали прежде всего те, кто зависел от трамваев и автобусов. Раздались голоса, шарканье ног, общий гул. Многие шутили, большинство пожимало плечами, и все были явно разочарованы.

— Уф! — произнес доктор, вставая. — Совершенно ясно, что из того, что происходило, половина присутствующих поняла только половину.

— Да и ту неправильно, может быть, — добавила старосветская помещица.

— Не касаясь ничего другого, но если только считать, что во всем этом действе была философская подкладка, то признаться, это довольно мещанская философия, — протянул в нос поклонник Сартра.

— Статья кончается жирным вопросительным знаком! — воскликнул Джекки, изображая его пальцем в воздухе.

— Ш-шши, — раздалось вдруг шипенье.

— Ай! — воскликнул вдруг поклонник Сартра — что это?

Из бокового кармана его пиджака выглянул маленький зеленый дракон, с шипеньем разевавший игрушечную пасть.

— Насчет мещанской философии, значит, полегче на поворотах, молодой человек, — усмехнулся доктор, — а то еще этот змей съест вас, чего доброго. Мерлин, очевидно, умчался в свои края на большом драконе, или на чем то другом, а его экипаж здесь остался... не в нем ли залог того, чтобы мы не забывали об этом вечере, и именно в этом его подарок?

Я думаю, что не только у нашего философа, но у всех нас был обалдевший вид, и мы ничего не нашли ответить. После таких впечатлений было трудно что нибудь сказать. Мне было ясно только одно: всякое увлечение репортерскими достижениями Джекки у меня поухло. Так бывает в грозу: вздрагиваешь от молний, кричишь вместе с громом, несешься с ветром, раздираешь обрушивающуюся дождевую завесу — но вот кончилось, и тянет лечь, заснуть, — молчать. Или после воздушного налета — когда на сорванную крышу обрушивается тишина пустоты, и сразу подкашиваются ноги от усталости. Или восторженный подъем, пережитый в театре от исключительного спектакля вырывает из повседневной жизни, — и вот идешь по улице, и молчишь, потому что нельзя поверить, что можно вернуться после такого в ту же комнату и сесть за стол, пить чай, как всегда...

Я не могла ни слушать, ни говорить. Джекки сам взял у меня из рук камеру — у него крепкие нервы. Кто-то отвез меня домой. Помню только очень глубокое, синее небо в большом, распахнутом настеж окне, и кольшащийся запах роз. Это было последним в памяти того дня.



Вот и все о начале. По настоящему, следовало бы рассказывать девушке Доре, или Пандоре, как ее теперь все называли. Но она была так потрясена сперва всем происшедшим, потом посыпавшимися на нее обвинениями — представьте, что ее стали обвинять! — что все попытки интервью с ней ограничивались только ее мычанием. Когда Джекки ринулся к ней на следующий день, решив конечно, что действующее лицо пустяки, важно, что может из него сделать блестящий репортер, — то у него ничего не вышло. Да и как могло выйти, когда по его блокноту, а потом по бумаге в редакционной машинке пополз маленький зеленый дракон, разевавший пасть и шипевший — Джекки пытался даже с возмущением передать мне это шипенье по телефону!

— Я не могу писать, он мне мешает, Вера! — взывал он. — Редактор требует отчета, и я могу дать сногшибательный экстренный выпуск, со всеми фиоритурами и прочим, а тут еще этот гипноз действует! И наводит жуть! Как мне от него избавиться? Вы должны знать средство!

— Знаю, Джекки.

— Так скажите же! Гипноз массовый! Драконы ползают по всей редакции и машинистки вскакивают на столы от них, как от мышей!

— Перестаньте врать, Джекки!

— Честное слово!

— Вы не поняли. Перестаньте врать в ваших статьях. Напишите действительно правду, все, как было — разнообразия ради, и драконы должны тогда исчезнуть, уверяю вас.

- Вы думаете?
- Попробуйте.
- Но тогда получится скучно!
- Зато правильно.

Джекки промышчал что-то невразумительное, но попробовал писать действительно без «фиоритур», и дракон исчез с его машинки так же бесследно, как и появился.

Но дело было ведь не только в Джекки... Уже к концу третьего дня после этого вечера стало ясно, что все рассуждения врачей о мас-совом гипнозе и повальной истерии — беспомощны. Миллионы людей видели по телевидению, как известный ученый, всегда объяснявший все, что угодно, зашнуровался перед микрофоном, из которого на него зашипел дракон. Камера дрогнула, но все ясно видели выражение морды ослабевшего зверя, говорившее без слов: «Не ври, пожалуйста». Лекция была прервана.

Истерические крики действительно слышались на всех лестницах, площадках и подъездах домов, везде, где сходились кумушки и сплетники. Но когда они пытались рассказать, что эта противная зеленая ящерица пыталась их укусить, то шипенье слышалось снова, и они быстро поправлялись, что это мол им только показалось.

Нет, драконы не кусали никого, — а если, то только в переносном смысле слова. Шипенье было и оставалось их единственным и в сущности, совершенно безобидным оружием. Почти безобидным — потому что никто не мог совладать с необъяснимым и парализующим ужасом, когда это шипенье раздавалось. Даже теперь, когда нам пора уже привыкнуть — даже теперь нам становится, согласитесь, совсем не по себе, если это неуловимое хвостатое создание появляется вдруг и шипит, снова напоминая нам о том, что мы опять говорим глупости, грубим, клеветаем, злорадствуем, что мы ненавидим, ревнуем, жадничаем, ленимся, обманываем, или что мы преступно равнодушны или злы — словом, если мы грешим. А ведь теперь мы действительно стараемся не делать этого — и делаем все меньше и меньше!

Но тогда, в самом начале возбуждение и расстройство умов в городе и целой стране достигло к концу первой же недели невероятных размеров. Вы почитали бы газеты того времени, послушали бы, что говорилось по радио и телевидению! Посмотрели бы, как начинали трястись губы у любого, отпустившего по адресу дракона циничное замечание, — и увидевшего в следующее мгновение перед собой его негодующие глаза!

Все драконы были одним и тем же «подарком» Мерлина людям: ростом чуть побольше крота, они появлялись внезапно и молча, не стесняясь ни местом, ни временем. Они только смотрели на виновного, прямо уставив на него глаза, шипели, разевая пасть, и, если их сразу не слушались, хлопали крыльями, обычно аккуратно сложенными на спинке. В других случаях — когда человек заслуживал похвалы за свои слова и поступки — что случалось гораздо реже, признаться — они вдруг ласково улыбались. И этот язык понимали все, — от ученого до неграмотного человека, понимали сразу, в чем они виноваты — и знали, что тут ошибки быть не может! Человек мог обманывать себя сам, его могли оправдывать совершенно искренно все другие — но дракон строго смотрел на виновного — и тот то уж знал, в чем дело!

Первый же автомобилист, давший газ на опасном повороте, — увидел дракона на арматурной доске в страшном гневе, бившего хвостом по рулю — и катастрофы по вине автомобилистов почти прекратились. Судья, собиравшийся вынести приговор без достаточных улик — смутился, увидев ползающего по его столу дракона — и пересмотрел дело. Опытные взломщики, наметившие очередной сейф, — бежали от вылезшего из сейфа дракона. Человек, занесший нож в драке, даже не успел опустить его — на его руке очутился дракон, разевавший пасть. Все праздные разговоры, брань, клевета, доносы — должны были умолкнуть, потому что каждое слово говоривших, казалось, превращалось в дракона, и белый дымок из его ноздрей становился черным, дурно пахнущим дымом; у наркоманов падал из рук шприц или порошок, — и вместе с тем пропадало и само желание.

В кабаках, игорных домах и притонах тысячи юрких драконов производили невероятные опустошения! Через месяц все подозрительные заведения должны были закрыться — зато церкви и библиотеки оказались переполненными. Драконы расплодились по всей стране в таком количестве, что парламент был созван на совершенно исключительное заседание, на котором пришлось изменить не только внутреннюю, но и внешнюю политику, а заодно и вспомнить про конституцию. Самый главный оратор на этом заседании опять таки, только молча разевал пасть.

Вам известно, конечно, что тогда во всем мире поднялись разговоры о сооружении кордона вдоль наших границ, чтобы мы очутились таким образом в карантине. Это было бы наверно и сделано, если бы не оказалось, что для дара волшебника Мерлина — не существует никаких границ, и «драконья эпидемия», как успел выразиться один государственный деятель (в следующее же мгновение появление дракона заставило его умолкнуть) — распространялась и ширилась совершенно независимо от человеческих законов.

Впрочем, зачем мне об этом говорить: вы живете давно уже в мире, который стал совсем другим, чем тот, который я видела раньше. Представьте только, что в то время нам казалось невозможным этого достигнуть! А теперь нам трудно поверить, что мы могли думать так...

Впрочем, не все. Лучше всего подвел итоги, по моему, милый старый доктор на одном из заседаний нашего клуба «Под кустом белой индюшки». Этот клуб тоже прославился и многие старались к нему примкнуть. Доктор стоял теперь, как он и мечтал, во главе целого движения; но в виду того, что домик старосветской помещицы не мог вместить всех желающих, на заседания основателей клуба приглашался только Джекки: в конце концов, мы, вернее я, были обязаны ему многим, и я твердо решила сделать из этого репортера порядочного человека.

Должна признаться, однако, что сразу после представления на Веселом Поле наше заседание было бурным, и драконы так и прыгали по столу, опрокидывая не только наши сомнения и подозрения, но даже и вазочки с моим любимым вареньем из рябины! Только потом мы успокоились и образумились.

И я была вознаграждена. Когда, несколько месяцев спустя, мы, с одной стороны, научились уже многому, а с другой — события развернулись уже не в местном, а в мировом масштабе, — мы собрались в самом радостном и приподнятом настроении. Где то заседал в тот



день мировой парламент, и доктор тоже решил выступить с краткой, но вразумительной речью.

— Как оказалось, — сказал он, оглядывая нас всех по очереди, — отрешиться от всяких наносных вещей и вернуться к первоисточнику вечных истин было не только возможно, но и очень просто. Стоило только начать — и в кратчайший срок мы убедились в том, что жизнь, освобожденная от грязи и шелухи становится лучше, приятнее и осмысленнее. Оказалось, например, что мы умеем покупать хорошие товары без всякой назойливой рекламы, переживаем интересные приключения в жизни без гангстеров любого рода, лучше умеем прислушаться ко всему, когда нам не мешает шум, можем вникнуть в книгу или проповедь без скуки и даже — кто бы мог подумать об этом раньше! — находим и время, и энергию, и нервы, чтобы стараться овладеть своими страстями, сдерживать и бороться с ними! Оказалось, что наука может облегчать, а не усложнять нашу жизнь, большинство вопросов решается между людьми и народами посредством здравого смысла и добрых чувств, и большинство людей самых разных уровней действительно предпочитает простую, естественную, и я сказал бы, чистую жизнь, если их не упрекают за это в мещанстве и не навязывают им в качестве образца обезьян. Оказалось, словом, что люди могут действительно стать людьми...

Он указал пальцем на середину стола и торжественно закончил:

— ...если добрые духи внушат им, что они этого действительно хотят!

Я же говорю, что была вознаграждена за все свои волнения сторидей. Посередине стола уютно уселся зеленый драконишко, осторожно на этот раз обвивший хвостом вазочку с вареньем. Он слушал, посматривал на нас с явным удовольствием, блаженно улыбался, и время от времени вытягивал крохотным коготком, стараясь не замазать лапу, ягоды рябины из варенья.

1966. Мюнхен

## ЛЕДЯНОЙ МЕНУЭТ

Для того, чтобы этот рассказ был хоть сколько-нибудь вероятным, надо начать с обстановки: маленькое местечко неподалеку от Мюнхена, Рождество 1948 года. Три дня бушевала метель, потом улеглась сугробами, и сейчас кругом вполне рождественская картинка. Выползающий на полотно железнодорожной насыпи поезд деловито фыркает почти на самой крыше, как кот. На крыше — потому, что мой барачек стоит на стыке двух путей. Надо же где-нибудь жить «дипи на привате»! Я подперла валившуюся крышу, заштопала стенки всякой дрянью, оклеила барак изнутри картоном, раскопала вокруг огород и клумбы и назвала это своим помещьем.

«Клумб теперь не видно, но зато на крыше сосульки в полтора метра длиной, из леса притащила большую елку, утка откормлена, пряники спечены и пельмени накручены, а ликер настоялся», — писала я в Мюнхен брату с племянником, с просьбой передать приглашение скромной помещицы «всем, всем, всем», и привезти мне на праздники всегда ожидаемую радость: незванного, нежданного, и потому особенно приятного гостя.

Просьба вполне безнадежна: ко мне редко заглядывают гости. «Иных уж нет, а те — далече», — и даже те, кто могли бы, — слишком заняты. Но до последнего поезда есть еще кусочек надежды на восхитительное «вдруг», как и раньше, как и всегда.

И так же, как раньше, я очень довольна, что все удалось сделать, и во время: стол накрыт, елка наряжена. Сказки выглядывают из всех углов, как и полагается, только чаще, чем раньше, шепчут: «помнишь»?

«Снег с каждым годом тише и нежней,  
Как будто наш. И никогда не таял...»

— бормочу я собственное стихотворение, и вытаскиваю серого Генерала из его домика. Домик устанавливается под елкой, среди ватных сугробов. Он сделан из двух больших коробок, с расписной черепичной крышей, трубой и ставнями. Сейчас я задрапировываю его снегом, а красное слюдяное окошечко будет мерцать зажженной внутри свечой... Видишь, Генерал, это заключительный штрих картины, как тебе нравится?

Генерал благосклонно машет хвостом. Утка, находит он, вкуснее свечки. Но надо же и безхвостым доставить какое-нибудь удовольствие! Он может пока изображать подушку на кровати, изображающей диван. Все «как будто бы».

За дверью голоса и топот на крылечке.

— Ну, тетя Лира!!! — врывается Василек. На этот раз я тебе привез настоящего гостя! Не даром, конечно, — потому что за это я получу пряничное сердце с елки, все, целиком! Покажи, кстати, как оно у тебя вышло... ничего, кажется съедобным, но могло быть больше... Если бы ты знала, о чем мы спорили всю дорогу!

— Дай же тете Лире поздороваться сперва, — перебивает его Маврик, вытирая сразу запотевшие очки. Он подслеповато моргает мо-

крыми ресницами, и волосы под снятой шляпой тоже кажутся запорошенными снегом, только этот снег не тает, увы.

«Ах, — сказала она, бледная, — неужели это вы?!» — декламирует Василек, становясь в позу. — Ты можешь гордиться племянником, умеющим выражаться так литературно, и втайне завидовать!

Надеюсь, что я не побледнела. Но я смотрю на третьего гостя, единственного, который позаботился закрыть дверь, и теперь спокойно стоит, слегка усмехаясь.

— Не узнаете? Помните, как приглашали меня когда-то провести у вас Сочельник? Принимаете запоздавшего гостя?

— Лучше поздно, чем никогда, — торжествует Василек, и это хорошо, что он болтает что-то, — так легче улыбнуться и протянуть руку в прошлое. Вот этому самому Дальгрёну, с пепельным четким пробормом, и такими же серыми, как тающий лед, глазами, нашему балтийскому художнику из шведской семьи, великолепному иллюстратору, давшему мне столько тем для сказок своими картинами, блестящему Дальгрёну, известному всему городу под данным мной ему прозвищем «Прекрасный принц».

Василек, слава Богу, этого не знает, но Маврик еле заметно усмежается и поглядывает на Дальгрёна, в которого я всегда была немного влюблена.

Мы часто встречались, но только издали: в театре, а редакциях, на выставках. Он всегда был очень элегантен, и эта северная грусть в глазах, несчастливый брак, как говорили... Когда он выставил свою картину «Ледяной менуэт», я написала к ней сказку, и напечатала ее вместе с репродукцией в рождественском номере моего журнала. Дальгрён сразу позвонил по телефону, ему понравились стихи. Я пригласила его в Сочельник, на королевский пирог, но боялась показаться назойливой — приглашение вышло вскользь. Я ждала его весь вечер. Он прислал корзину ландышей — и не пришел.

Ландыши стояли долго, позванивали колокольчиками, и этот звон и сейчас еще пробивается сквозь все эти годы войны и скитаний... ах, Дальгрён, Дальгрён!

Крохотный букетик — две фарфоровых веточки в стакане — ставится и сейчас посреди стола.

— Я не мог достать больше, — разводит он руками.

— Ландыши в бараке! За какие деньги и сигареты вы смогли достать цветы? А знаете ли вы, что это для меня значит? Впрочем, и хорошо, что не знаете...

— Но ты не догадываешься, тетя Лира: всю дорогу в вагоне мы говорили о твоих сказках. Я считаю, что твое «Королевство» было хорошо в мирной обстановке, но сейчас в него поверить трудно. Принцессы и рыцари не могут быть дипи! И как бы ты ни старалась со своим «как будто бы», но... Василек критически оглядывает барак.

— А вы возражали? Вы читали «Королевство»?

— Да, и «Даму Треф» — тоже. Я вас давно уже разыскиваю. Надо рассказать вам одну историю. Конечно, много людей, познакомившись с писателем, сразу заявляют ему, что их жизнь — роман, и с одной стороны это действительно так, а с другой — можно описать жизнь любой курицы тоже так, что выйдет замечательная книга. Важна ведь не настоящая жизнь, а то, что из нее сделано. Но вот этот молодой

человек сомневается, и я берусь его переубедить. Поэтому я хочу рассказать, а потом . . . пусть он попробует что-нибудь возразить!

Василек не думает пока возражать, а я заинтересована. Мы уже поужинали. Елка догорает во второй раз, но толстая обыкновенная свеча, воткнутая сбоку, будет гореть еще долго. Справа окно потонуло в синем снегу, слева несколько горячих бликов из печки. Создан «свет», как говорят в театре.

— Так вот, Василек, — тогда я был помоложе вас, лет шестнадцати. В семнадцатом году, спасшись из кадетского корпуса в Москве, я явился домой, в Прибалтику. Под Венденом у нас было тогда большое имение. Я был сирота, жил у бабушки. Весь день она, — как я понял уже позднее, — очень умно вела хозяйство, а по вечерам играла на рояле. Перед отходом же ко сну, повторялась всегда одна и та же церемония: старик Василий придвигал к ее креслу столик, раскидывал доску, обитую сукном, ставил два тяжелых подсвечника со свечами и вынимал колоду карт. Теперь пасьянсы не в моде, их мало кто знает, у людей нет времени, все куда-то торопятся, едва умереть успевают, а жить и совсем уж некогда. Бабушка не торопилась: у нее хватало времени и для пасьянсов.

Я приехал в декабре, и хотел сразу же отправиться на Юг, к Деникину, но бабушка просила меня провести с ней святки. Да как-то и потонуло сразу все за далекой лесной опушкой; жизнь остановилась, и за сугробы не проникало никаких вестей. В Сочельник, конечно, елка, все, как полагается. Совершенно ясно помню каждую мелочь. Бабушка приказала подать шампанское, а потом играла мне «Ледяную сонату» Грига — помните, этот менуэт? Сами же писали сказку . . . но об этом потом. Тогда же я заметил, что бабушка, садясь под конец за неизбежный пасьянс, вынула колоду из особой шкатулочки.

— Эти карты, — сказала она, — я вынимаю только раз в году. Для пасьянса «Усталое сердце». Вот видишь, посередине кладется дама треф. Говорят, я была на нее похожа . . .

— Помните эти слова? Вы не слышали моей бабушки — но это фраза из вашего рассказа. Вы написали его в сорок пятом, а я слышал в восемнадцатом . . . странное совпадение, неправда ли? Карты были нарисованы на атласе, хорошим художником, и очевидно, что этот подарок имел для бабушки особое значение. Во всяком случае, когда я, проводив ее в спальню, вернулся — мне захотелось посмотреть их поближе. Ключ всегда торчал в шифоньерке; шкатулку я нашел сразу. Подумал еще, что может быть, бабушка будет недовольна, но в это время старинные английские часы ударили полночь, я вздрогнул, нажал пружину, шкатулочка открылась, и карты высыпались.

Они сыпались на столик со стола на пол, и когда я кинулся их поднимать, они стали шуршать и расти . . . теперь шуршал уже шелк, звенели шпаги, — они шептались, эти карты, смеялись, расшаркивались с церемонными поклонами, заполнили всю гостиную, в канделябрах зажглись свечи, с хор загремела музыка — конечно, тот самый менуэт Грига, — и они начали танцевать. Я так и остался стоять у столика, с одной ужасной мыслью: а как же теперь соберу их обратно в коробку?

Но передо мной очутилась дама Треф — принцесса, конечно: она была слишком молода для королевы. Может быть, она действительно

походила на мою бабушку, которая была красавицей в молодости, — но я никогда не видел такого прелестного лица, таких сиреневых глаз, такой улыбки и переливов удивительного платья. Она церемонно присела, и мне не оставалось ничего другого, как ответить поклоном, и взяв протянутую ручку, вспомнить, как в корпусе нас учили танцевать менуэт.

Остальное можете себе представить: я танцевал с ней всю ночь, а когда занялся рассвет, то целовал, сидя в оконной нише, ее пальчики и умолял о свидании.

— На вашу долю выпало сегодня редкое счастье, дорогой шевалье, — сказала она. — Вы не знаете еще, как важно в жизни не упустить важной мелочи. Ведь мы могли встретиться только в эту ночь, только при первом ударе полуночи — и только потому, что вы раскрыли тайну — не случайно, конечно. Мы, карты, лучше, чем кто либо, знаем, что случайностей не бывает. Все зависит от вас: ровно через год вы должны вернуться. Помните, — я буду вас ждать.

— Я вернусь. Клянусь!

— Не клянитесь, — улыбнулась она ласково и печально. — И вам не переспорить судьбы. Но вы можете пойти разными путями, выбор свободен. Помните, что через год я буду вас ждать, а я — ваше счастье!

Она отступила, бледнея, становясь совсем прозрачной.

— Я вернусь! — повторил я. И проснулся.

Конечно, это не трудно объяснить. Я был очень впечатлительным, романтически настроенным юношей. Прелестную поэму Алексея Толстого «Портрет» знал наизусть. — Такой же случай. Остальные слагаемые: взбудораженность революцией, влияние бабушки и два бокала непривычного шампанского, плюс юношеское томление любви... В шестнадцать лет бывают и не такие еще сны, — правда, Василек?

— Вы вернулись? — строго спросил Василек, и по его потемневшим глазам я увидела, что современная молодежь мечтает отнюдь не меньше...

Дальгрэн покачал головой.

— Я вернулся через пять лет. Был в Белой армии на Юге, в то время, когда мне следовало освободить свою Прибалтику в девятнадцатом году. Но так вышло. Сперва Юг, потом Сибирь. Во Владивостоке капитан шведского парохода помог мне добраться до Гамбурга, откуда приехал домой. Теперь уже в молодую Латвийскую республику. После земельной реформы у помещиков остались только центры имений и небольшой кусок земли. Но дома я не нашел — сгорел до тла. Во флигеле в саду жил еще старик Василий. Он рассказал мне, что в девятнадцатом здесь проходил отряд красной гвардии... Бабушка закололась кинжалом.

Тот же Василий повел меня в остатки погреба и принялся разворачивать киркой стену. В стене был замурован бабушкин ларец. Документы, кой-какие драгоценности, и... атласные карты. Те самые.

— Барыня знали, что больше не увидят вас, но знали, что вы вернетесь, — торжественно заявил Василий. — Через год после вашего отъезда, в последний Сочельник барыня раскладывали пасьянс, и когда кончили, то всплеснули руками, и одна карта взметнулась и попала на огонь свечи. Я не успел подскочить, как она уже сгорела. А все остальные целехоньки...

— Дама трэф? — спросил я.

— Да, крестовая дама.

— Совпадение, правда? А что было бы, если бы я вернулся вовремя?

Дальгрэн закурил и помолчал.

— Ну вот дальше. Кончил академию, стал работать. Могу сказать: создал свой собственный жанр и очень счастлив этим. В сущности, большинство моих удачных вещей были так или иначе навеяны воспоминанием о принцессе Треф, — об этом удивительном, ярком, на всю жизнь запомнившемся сне. Я увидел в нем такие переливы красок, такие оттенки, какие могут быть только в сказках — а я ведь рисовал именно их. Помните, как все критики отмечали мои особые тона? Но я был, собственно, непричем... — И, конечно, «Ледяной менуэт» — это моя лучшая работа. Почему то я никогда не рисовал своего сна, каким он был на самом деле — суеверие. Но вы знаете картину, а Василек не успел ее увидеть — расскажите ему!

В тот Сочельник, у другой моей елки, мне не удалось прочесть ему эту сказку самой, как хотелось, а теперь... ну, что же...

«Где то очень далеко», — откликаюсь я, и ландыши звенят, звенят издалека, его ландыши, — «Где то очень далеко, в старом замке высоко, — где в готических окнах паутина колонн, где мохнатые ели дремлют в снежной метели — у старинных курантов удивительный звон.

«В этом замке далеко жил король одиноко, и никто среди льдов не нашел туда след. Только ветер со вьюгой, своей верной подругой, напевал в старых башнях ледяной менуэт...

«С потухающим взором брел король в коридорах, зябко кутая плечи в шитый шелком халат. Очень холодно в зале, где топить перестали, и поленья в камине давно не горят! На серебряном троне, с жемчугами в короне, натянув на колени голубой горностаи, вспоминает он детство, и свое королевство, но не то, что замерзло, — а солнечный край...

«Было много иль малость — ничего не осталось. Только в стынущем замке одинокий король... В башнях топают мыши, сердце бьется все тише, из угла вышолзает тоже мерзнувший тролль... Только ветер бушует, только вьюга тоскует на просторе замерзших и забытых полей... Королю не проснуться — корабли не вернуться, корабли потонули в глубинах морей...

«Полночь с жутью всегдашней бьют куранты на башне, разливается в зале голубой полусвет. В этом призрачном свете, на застывшем паркете, начинается в замке ледяной менуэт...

«Как отточены шпаги! Сколько в взорах отваги! Как изящно жеманен их придворный поклон! Как расшиты колеты, в пенных перьях береты, кружевные манжеты, парики и камзол! Дам шуршат реверансы, как парчевые стансы, и вопрос, как улыбка, и ответ — мадригал. Но прозрачны их лица, без теней — вереница, и уж очень недолог этот призрачный бал!

Ах, король, просыпайтесь! Ах, король, поднимайтесь! Только строна спуститесь на один только шаг! Дайте руку принцессе, всех на свете прелестней, — это будет заклятья предначертанный знак! Под тяжелые своды не уйдут хороводы этих призраков бледных и застывших теней,

— старый замок проснется, юность снова вернется, и со счастьем вернутся корабли из морей...

«Но в тяжелой короне на серебряном троне дремлет старый, глухой, одинокий король... королю не проснуться, — корабли не вернутся — головою качает задумчивый тролль. Музыканты стихают, и свеча догорает, паутинные тени задымили паркет... только ветер со вьюгой, своей вечной подругой, напевает с тоскою ледяной менуэт...»

\*

Свеча догорает, и что-то звенит в окне — может быть, ветер с Балтики донесся сюда?

— Дальше! — требует Василек. — А что же было потом?

— Потом... ваша тетушка недаром называла меня «Счастливым принцем». Только в одном не было счастья, и при том, в самом главном: в любви.

— Потому что вы искали принцессу Треф, — убежденно заявляет Василек.

— Да, и не нашел. Я женился, но очень неудачно, и в конце концов разошлись. Потом — тоже ничего хорошего не было...

— А может быть... — это не я говорю, а ландыши оттаяли из прошлого, и звенят, как слеза, — может быть, вы сами не замечали?

— Наверное. Но ведь в этом то и несчастье! Ну, а теперь вот вы, сказочница, скажите, видели ли вы когда-нибудь такую принцессу Треф — наяву?

— Представьте себе, что видела, — говорю я убежденно.

— Ну?! Ин-те-рес-но... — тянет Василек.

— И ты знаешь ее тоже, хотя не понимал тогда, конечно, — а о Маврике я уже не говорю. Маврик ухаживал за ней — помнишь?

— Таюнь! — говорят оба в один голос, и Маврик мечтательно улыбается.

— Я училась с ней еще в гимназии. В день нашего выпуска она надела вышитое ею самой платье и — ожерелье из аметистов. Мы просто ахнули. Она была сирота, самая бедная девочка в классе — и вдруг превращенье из Золушки в принцессу! Это ожерелье, рассказывала она, она получила в подарок от двоюродной бабушки, когда была еще маленькой девочкой, и хранила его всю жизнь.

Дальгрэн сделал нетерпеливое, как мне показалось движение, и я сразу сжала воспоминания в комок.

— Мы часто встречались потом. Бедная маленькая принцесса — она была постоянно Золушкой! Выучилась делать цветы, устроила маленькую мастерскую. Я не люблю искусственных цветов, но всегда любила рассматривать их — в особенности фиалки выходили у нее как... как поэма. Муж ее был очень болен, и когда пришли большевики, застрелился. Да, Дальгрэн, это была настоящая принцесса, хотя у нее не было ни дворцов, ни пажей. Она наряжала других на балы, на которых почти не бывала сама, но пронесла через всю жизнь любовь к мечте. Я видела ее, между прочим год тому назад, уже здесь, в Германии: все та же.

— Я приехал недавно в один лагерь в Эсслингене, — как то нарочито небрежно начинает Дальгрэн, — к одному знакомому. Он пока-

зал мне восхитительное рукоделие одной рижанки. Я заинтересовался, он повел к ней. На столе в ее комнате вижу вашу книжку «Дама Треф», и — неоконченный пасьянс. Я просидел у нее весь вечер. Я показал ей «Усталое сердце», с дамой треф посередине, на которую она действительно похожа. Мы вспоминали — так много, что даже установили: год спустя после моего отъезда из Балтики после революции, к моей бабушке приезжала ее дальняя племянница с дочкой — семилетней девочкой, которую звали сокращенно от Таисии — Таюнь... Бабушка подарила ей аметистовое ожерелье, чтобы, когда она вырастет большой...

Дальгрэн оборвал и закурил.

— Я сам достал аметисты для моей принцессы — сказал он торжественно. — Продал картину. Мы оба не молоды уже, но может быть, именно поэтому... Мы уже обвенчались и вскоре уезжаем в Швецию, где у меня родственники. И, как никак, но мой «Ледяной менюэт» висит в стокгольмском музее... Таюнь немного простудилась, но она приедет сюда на-днях, хочет проститься с вами, а меня заставила приехать раньше, чтобы — рассказать вам вашу сказку снова. Теперь Василек, вы поверите, что они действительно бывают?

Свеча догорела и в комнате стало совсем тихо.



Есть еще и послесловие: финал. Мне он особенно дорог, как утверждение: сказки могут быть у каждого, и они так же нужны, как цветы. Есть, конечно, люди, для которых не существует ни того, ни другого. Их можно пожалеть, как и всех бедных людей. Но зато я знаю, что есть и другие — те, кому и цветы и сказки помогают жить, и чем тяжелее их жизнь — тем больше.

... не поэтому ли неизвестный мне офицер РОА страшной осенью сорок третьего года разыскал меня среди развалин в Берлине — непостижимым образом, потому что улиц в этой части города не было — чтобы попросить — сказку? Для их фронтового журнала: они нашли где то мою книгу, перепечатали все, что в ней было — но нет ли еще?

... не поэтому ли человек, кончивший два факультета и дошедший до сорока килограммов веса в лагере, — выучил там же наизусть случайно попавшее ему в руки «Королевство алых башен»?

... не поэтому ли, как мне рассказывали, одна девушка в лагере смастерила сама алые башенки на Рождество — и наверно, этот огонек посветил кому то: она вышла замуж, была очень счастлива и вскоре уехала за океан...

Многие писали и говорили мне о читателях. Не знаю, что они читают сейчас, но если эти строчки — поверьте, что я говорю не о себе, а о них. С благодарностью — за человеческое тепло, которое нашлось у них — и для себя, и для меня, и конечно же, для многих других — и всем помогало жить. Как же иначе сказать мне всем тем, кого я не знаю, и никогда не увижу — спасибо!

... и именно поэтому в моем бараке появилась однажды седая дама с тонким лицом, в потертой меховой шапочке и такой же затертой до проплешин пубке — по тем временам весьма приличный наряд.

— Вы меня не знаете — сказала она. — Я преподавала раньше в Минской консерватории, и ваша читательница. Пришла познакомиться.



Живу недалеко, в Пюртенском лагере. Читала все ваше, и вот «Менуэт» меня особенно тронул, я тоже люблю Грига... хотелось бы получить ваш автограф. И не могли бы вы принять участие — чтонибудь прочесть на нашем вечере? Мы устраиваем встречу на Новый год и просим...

Из чего была сшита ее объемистая самодельная сумка — не установил бы ни один эксперт по текстилю, но вынутую из нее бледную тетрадочку с сильно замызганным лиловым шрифтом я узнала сразу. За неимением ничего другого, кроме старенькой пишущей машинки, я просидела несколько дней, переписывая с девятью копиями только что написанный «Ледяной менуэт». Страниц десять довольно скверной бумаги были прошиты затем шнурком, и на картонной обложке шла размашистая надпись штемпельной краской. «Издание» книжечки было закончено тиражом экземпляров в тридцать. Поскольку в те времена удивляться ничему не приходилось — тетрадочки разошлись по бешеной цене в десять марок. Цены исчислялись, исходя из твердой валюты: пачки сигарет. Она стоила сто марок. А курить очень хотелось...

Вот на такой тетрадочке я и вывела автограф: профессору Эльзе Робертовне Зубкович, от благодарного автора.

А потом, в трескуче-морозный день я взгромоздилась на сооружение, называвшееся почему то мотоциклетом. Лаврентьич, именовавший себя с таким же основанием «капитаном», жил неподалеку от меня, и пытался заводить его уже с самого утра, чтобы ехать со мной в лагерь на встречу Нового года. Пол-дня по нашему пустырю ползли клубы вонючего дыма, и грохот напоминал нечто среднее между артиллерийским обстрелом и пулеметными очередями. Наконец, разноколесная и пегая машина, хрипя и завывая, доползла до моего крыльца, Лаврентьич лихо осадил ее, затормозив сапогом, и одобряюще крикнул:

— Садитесь! Я веревочкой подвязал, тогда пошло!

Меня это не удивило. Я сама справлялась с электрической печкой собственной конструкции, включив ее в железнодорожный ток высокого напряжения, при помощи той же «веревочки», велосипедных спиц и ножниц, поскольку она перегорала не меньше десяти раз в день с ослепительными молниями. Меня удивил муж, неожиданно обнявший меня и махнувший рукой:

— Ну, прощай уж, коли так...

С воем, скрежетом, уханьем и взрывами небольших бомб мы ринулись по пустырю, потом стремглав с горы вниз, на гору вверх — и по дороге над порядочным обрывом, на которой без особого труда могли, пожалуй, разъехаться два велосипедиста. Из-за обледенелого края с одной стороны торчали верхушки громадных елей, росших глубоко внизу. С другой стороны на дорогу выходили под совсем неожиданными, но крутыми углами каменные стены дворов и домов старинных жителей. Иногда в них зияли ворота и можно было загадывать — что получится, если оттуда выедет ктонибудь? А если универсальная «веревочка» все таки порвется, и мы загремим, — удастся ли ухватиться за еловую ветку по дороге в обрыв?

Но история учит: катастрофы случаются только в мирное время. В катастрофические времена они — настолько обыденное явление, что все остальное, хотя и мало вероятное, сходит с рук, как ни в чем ни

бывало. И поэтому неудивительно, что когда мы подъехали к воротам Пюртенского лагеря, «капитан», только чуть зацепившись за столб, перекинул ногу через седло и встал в победоносную позу:

— Никогда не думал, что живыми доедем. А веревочка выдержала все таки!

— Я тоже не ожидала — призналась я, с трудом шевеля губами после ветра на двадцатиградусном морозе. — Но вы действительно молодец!

Похвала была искренней, и мы были оба очень довольны. Нас уже встречали. Лаврентьича — приятели, со свежим самогонным душком, меня — улыбающееся начальство во главе, конечно, с милой профессоршей.

Помню лагерный уют комнаты с покрывалами на кроватях, занавесочками, салфетками. Что-то, привезенное еще из дому, что-то, подобранное по возможности — из посылок, из раздающегося барахла — подшитое, подштопанное, подглаженное — подделанное под жизнь в этом убежище на пути. Сколько было таких комнат, сколько терпенья, упорной работы вкладывалось в этот жалкий уют, неистребимую домовитость — и какое большое дело делала каждая из этих женщин для своих близких и для чужих вот именно этим подобием дома из коробок и тряпок, из самодельных печурок и домашней стряпни, когда каждое ведро воды надо было и принести и вынести! А ведь малозаметные, не бросающиеся в глаза подвиги — самое трудное, и на них уходят не минуты, а годы. Почему за них не дают медалей?

Но мне не дали сидеть долго. Эльза Робертовна уже надевала свою милую облезлую шапочку.

— Пойдемте, пойдемте. Нас там тоже будут ждать потом, хотят познакомиться с вами. А я вам пока сыграю . . .

И это знакомое: барачный «зал». Скамейки, табуретки, стулья расставлены уже вместе со столами для новогодней встречи, повешены даже какие то гирлянды из цветной бумаги на стропилах крыши — потолка нет, конечно. Холод собачий. На помосте в одном конце зала — старенькое пианино с такими же клавишами, как на моей пишущей машинке — в разные стороны, и с таким же — подходящим — звуком.

Но вопросы о настройке и в голову не приходили во время этого самого замечательного концерта в моей жизни. Я сидела на стуле рядом с пианино, курила, вставала, ходила по сцене, чтобы безуспешно согреться как нибудь, засовывала руки поглубже в карманы, и время от времени взывала только: «Вы простудитесь!» А Эльза Робертовна не отрывалась от клавиатуры:

— Что вы еще любите? Может быть, смогу на память . . . вот эту сонату?

Григ, Чайковский, Моцарт, Лист, и снова Григ, мой любимый, снова и снова «Ледяной менуэт» . . .

Все это без нот, на память, в шубе, с сизо--красными, одеревеневшими от холода пальцами. И с сияющими глазами.

— А вот это любите? А вот это помните? Послушайте . . .

И так час, и так два, и наверно, было бы три, если бы какие то возмущенные дамы не вытащили нас наконец в соседнюю с залом комнату, где все таки горела печурка, кто-то играл на гитаре, кто то пел, и почти все читали стихи.

А потом была встреча Нового года. В зале стало тепло от печек, массы народа. После моего выступления меня усадили за парадный стол, и я уже готовилась поскучать с начальством, когда — опять таки в порядке вещей того сумасшедшего времени, через толпу танцующих пробрался улыбающийся блондин с седыми висками и особенно пристальными, отчаянно веселыми голубыми глазами. Когда он представился — я ахнула, но он уже увлек меня за другой стол. А там мы проговорили до утра на захватывающую тему: о геральдике, толедском Альказаре, генерале Маскарда и Франко, учредившем особый орден для русских добровольцев, который получило всего тринадцать человек (он показал мне его потом). Да, так замечательно встречать Новый год мне редко приходилось!



Но и это еще не все, хотя уже окончательно заключительный аккорд:

Несколько лет спустя я получила от незнакомого читателя — музыканта А. Карповича — письмо, и рукописные ноты к нескольким моим сказкам, среди них — «Ледяной менуэт». Ноты были сразу же посланы в Нью Йорк Эльзе Робертовне, моей дорогой «тетушке», потому что она давно уже зачислила меня в свои племянницы, когда я ей пожаловалась, что вот, всю жизнь мечтала о тетке, а ее то и не было!

Ноты были ей нужны: она сама положила много моих стихов на музыку, и дочь ее певица Е. Марковская разучивала все романсы для моего вечера, организованного читателями в Нью Йорке.

... Это был уже настоящий зал, и «тетушка», в шелковом платье сидела за блестящим роялем и аккомпанировала. Только так же лучились глаза — попрежнему.

А вот это и главное. Как же не рассказать историю «Ледяного менуэта» всем — и вот вам тоже?

1948.

## ЖЕЛЕЗНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ

Город Амстердам — очень старый город. Тюльпанов, которые не пахнут, тюльпанов, которые ничего не помнят.

Они стоят застывшими строгими лампадами, оберегая забытое, то, чем живут еще старые закоулки города философов, мистиков и драгоценных камней. Говорят, что в этих улочках до сих пор попадаются иногда в тумане безликие фигуры, шмыгают странные тени, загорается свет в окнах наглухо заколоченных домов и амбаров, а сами улицы разбегаются вдруг совершенно иной, чем днем, сетью переулков, приводят в тупики, из которых нельзя уйти. Может быть, в них можно найти забытое, — то, чего нет. Потому что Амстердам — очень старый, очень странный город.

Эта улочка так и называется «Под тремя тюльпанами». Старая улочка. Камни мостовой помнят еще, как по ним проезжали рыцари в латах, в ван-Дейковских плащах. Над высокой дверью старого дома — полустертый каменный герб, окна наглухо заколочены, а рядом несколько полуразвалившихся домишек, пустые амбары, и конец тупика: повыщербленная невысокая каменная стена, на ней торчат кустики мха. Стена широкая, — наверху две кареты разъехаться могут, и придавлена черепичными крышами с боков.

Внизу, среди нависших камней — оконце с зелеными ставнями, дверь. Входить надо согнувшись. Это антикварная лавочка, в ней торгует разным хламом старик, в темноте не разберешь ничего.

Над дверью вывеска — три железных тюльпана. Погнулись, поржавели, ветер перегнул лепестки, острыми краями их бьет по камням. Так, по вывеске называется и лавка, и улочка, и все это такое же с незапамятных времен, обрывком сохранилось в тупике.

И антиквар всегда такой же: низенький, седенький, гладко бритый, в зеленом суконном сюртучке с черепаховыми пуговицами, вокруг шеи твердо обмотан шелковый платок. Лицо востроносое, с кулачок, только глаза он прячет, в землю смотрит, а если поднимет — то кажутся они вдруг большими и странными. Будто вобрали в себя нездешнюю, притягивающую и страшную пустоту, в которой все видно — и то, чего не было даже.

А сбоку посмотреть — чудак старичок, из ума выжил, умереть забыл.



Ингрид распахнула окно, повесила сушиться на веревке только что выстиранную кофточку. Теперь все в порядке, все готово. Посидела на подоконнике, следя, как за крышами, у стены амбара чирикнула какая-то птица.

Около окна колченогий столик, покрытый вязаной салфеткой в кружочках, а на нем глянцевитый, продолговатый футляр. Протянула руку, открыла его, взяла скрипку.

Ингрид тоненькая, черноволосая, глаза большие, в мечте. А скрипка в ее руках так поет, что кажется не смычок касается струн, а сердце дрожит в воздухе, звенит.

Еще очень рано — все спят. Ингрид любит играть по утрам: тогда и солнце, и небо, и старый заколоченный дом, в котором она выросла, а теперь приходит туда только на ступени крыльца, и вся улочка — все это только для нее одной.

О доме она сейчас не думает. Старые гулкие залы лучше всего вспоминать вечером, когда в окно просачивается холодной струйкой туман. И о Свене тоже не думает, хотя он приедет сегодня — молодой, веселый моряк, загорелый и шумный. До сих пор трудно привыкнуть к нему, как к мужу — больше старший брат, товарищ детства, сорванец.

И уж совсем не об Энрико — художнике, который приходит к ним, раскладывает на стене мольберт, рисует вывеску, лавочку, камни. Энрико — тоже веселый, всегда шутит, кормит конфетами ее и белокурую красавицу Карин, что живет напротив и каждый вечер сплетничает с матерью, торгующей на базаре рыбой.

Ингрид не думает ни о ком. Скрипка просто поет, потому что ей хочется петь, и не хочется верить, что перед глазами всегда будет только вот эта улочка, кусочек неба над крышами.

Кто-то прошел по стене — зашуршали камни. Гладкие плиты всегда звенят, если кто-нибудь спрыгивает со стены. Может быть Свен, или Энрико? Нет, чужой. В мягкой серой шляпе, сером костюме. Такие сюда редко заходят. Шляпа немного сдвинута назад, на бледном лице видны тонкие брови, мягкие серые глаза, ласковая улыбка. Увидел Ингрид в окне, остановился, снял шляпу.

— Это вы . . . играли только что?

— Да, я.

— Я так и знал. Пожалуйста, сойдите вниз, мне надо с вами поговорить.

Ингрид быстро скинула передник.

— Вам нужно кого-нибудь? Может быть, вы ищете Свена? Или Карин?

— Мне? Нет . . . я не знаю имен, да так и лучше. Их можно придумать самому. Я ищу . . . я ходил всю ночь по старому городу, потому что знал, что приду вот к этой стене и найду здесь человека, который расскажет мне . . . ну хотя бы вот об этом старом доме. Почему он заколочен?

Он подводит ее к ступенькам высокого крыльца, и они садятся рядом. Ингрид немного удивленно разглаживает на коленях платье. Как можно вот так, вдруг, усаживаться на крыльце с незнакомым человеком и рассказывать ему о старом доме?!

Но он чуть наклоняет голову, приоткрываясь внимательно слушать, смотрит на нее мягкими, обволакивающими глазами и она не может противиться ни ласковой улыбке, ни странной уверенности этого человека.

Здесь жил раньше старик барон, тяжелый и строгий, и важный французский лакей, и она — маленькая воспитанница, воевавшая с мышами в полутемной библиотеке. Тогда она редко выходила из дома — барон не любил улицы. Только иногда, к старику-антиквару, подарившему ей скрипку и научившему играть. Но ей не было скучно, о нет. В этом доме в каждой вещи было столько историй, и она рассказывала их босоногому мальчишке — Свену, забиравшемуся на кухню.

Потом — да, потом барон умер. И лакей тоже. Наследников не было. Дом заколотили, в заглохших комнатах остались пыль и мыши. А сама Инге очутилась на улице, и если бы не Свен, который...

— И маленькая принцесса стала Золушкой — совсем не как в сказке, а наоборот? Но это ничего, принцесса. В жизни бывают сказки. Надо только прислушаться к голосам вокруг, к блескам. Разве уже не сказка, что вот мы сидим перед заколоченной дверью — странствующий рыцарь со щитом улыбки — и уличная принцесса с такой чудесной, поющей скрипкой? Принесите мне вашу скрипку, я хочу сыграть вам легенду...

Ингрид молча поднимается. Она боится возразить, и ей начинает действительно казаться, что и каменные плиты стали радужными, позолоченными солнцем, и вся улица — вырезанной из какой-то книжки картинкой, потому что не может быть, чтобы в настоящей жизни говорились такие простые, ласковые слова, от которых теплеет сердце. От них — и от этой грустной улыбки светлых глаз...

«В старой замковой капелле, где курились фимиамы, в бледном сумраке вечернем, в синеватой мгле лампад — гимны таяли и пели, и прощался рыцарь с дамой. Рыцарь с перьями на шлеме, не вернувшийся назад...

В этой призрачной капелле умирало чье-то счастье, растворилось в синем дыме, уходило в даль и в грусть... На руках ее звенели венецианские запястья, и, склоняясь перед нею, рыцарь клялся:— Я вернусь.

А потом, в дыму кадилльном, перед мраморным Распятьем, разметавши шлейф по плитам...

Так за годом шли года. Никогда еще молитвой не вымаливалось счастье!

И ушедший этот рыцарь не вернулся никогда.

В этом странном, бледном мире, в мире песен и обманов, где тоска идет за счастьем неотступно по следам — где легенды явью были, ярким пламенем тюльпанов — город, сказкою звучащий — странный город Амстердам.

В старой плесени гранита — соль далеких океанов, присылавших песни ветра и топивших корабли. И, замкнутый в этих плитах, неживой огонь тюльпанов — тех, которые не пахнут и запомнить не могли. Через море — есть дороги: все, что было — будет свято; в золотистой сказок пыли вспоминается легко... Но в лампадах этих строгих нет прошедшему возврата — и тюльпаны все забыли и не помнят ничего...»



Это начинается совсем тихо, потом звенит, ширится, растет, рассыпается победными звонами — и тогда кажется, что вот тут оно, это счастье, уже в руках — но нет, обрывается, нет его больше, и опять тихо, мечтой звенит уходящая песня.

— Я приду к вам еще — говорит он. — Я приду за вами, уличная принцесса, и вы тогда снова будете жить в своем старом доме и сыграете мне эту песню.

Он кладет ей на колени скрипку, низко кланяется, целует руки и уходит, не оборачиваясь.

Ингрид следит, как он скрывается за поворотом. Она слишком захвачена легендой, чтобы сразу придти в себя. Разве не вспыхивают под его ногами огни тюльпанов? Ах нет, это просто камни... Но почему так дрожат у нее колени, когда она поднимается на свою мансарду? Почему во внезапно опустевшем сердце вдруг порвалось что-то и зазвенело таким ликующим счастьем, такой страдальческой ноткой. «Никогда еще молитвой не вымаливалось счастье»...

А она даже не знает его имени.



Фру Серенсен, подоткнувшись огромными круглыми корзинами и потуже стянув платок, отправилась, как всегда, на рынок, на ходу шевеля губами, будто подсчитывая что-то. Белый накрахмаленный чепец по старинке стоит колом на реденьких, гладко прилизанных волосах, и от этого широкое лицо кажется еще краснее. Фру Серенсен любит поговорить с соседями, но многозначительно поджимает губы, когда разговор заходит о книжечке сберегательной кассы. О, она знает чего хочет. Она сможет когда-нибудь, через несколько лет, купить себе небольшой домик под городом и зажить там настоящей хозяйкой. Тогда уже не придется кутаться от ветра на иззябшей пристани, не придется возвращаться домой с потрескавшимися от слизкой чешуи руками.

День идет дальше, как всегда. Карин раскрывает низкое окно, ставит на подоконник поднос с горячим кофейником, чашки и булочки.

Ингрид любит Карин. Такая она ладная, ловкая, ничего не боится. Все на месте, все во время сделано, и фру Серенсен и в голову не придет, что вечерами, когда она возвращается домой и ложится под высоко взбитую перину, в соседней комнатке Карин надевает шелковое платье, тщательно спрятанное в дальний угол шкафа, и долго красит лицо у маленького зеркала, перед тем, как выскользнуть из дому.

Возвращается она только под утро, усталая, с мутными глазами и тяжелой тенью на лице. Ингрид часто ждет ее. Боится, чтобы не узнала мать, да и Свен. Свен просто избил бы ее. Но и он, как все, видит только дневную девушку с такими чистыми голубыми глазами и веселыми ямочками на щеках.

Ингрид старается понять рассказы Карин. Ночью та бывает в каком-то чужом мире. Оттуда приносит эти волнующие запахи духов, ликеров, шелковые платочки, ленточки серпантина, зацепившиеся за платье, эмалевые пудреницы и смятые бумажки в сумочке. Она рассказывает сбивчиво, полусмущенно, полусмеясь, облизываясь, как кошка, и мечтает, что когда-нибудь встретит человека, который увезет ее отсюда... куда? Не все ли равно. Только в ту настоящую жизнь, в которой день обращается в ночь.

Надо бояться, знает Ингрид, запретного, греховного, такого бесстыдного, крадущегося и липкого... но запретный мир волнует. Это совсем другая жизнь, и Свен наверно знает ее тоже. Он заходит с кораблем и в чужие города и страны. Правда, он привозит оттуда мелкие подарки, но не говорит о встретившихся радостях и вихрях.

— Ингрид, иди пить кофе, а то остынет.

Ингрид садится на скамеечку под окном. Она не может рассказать, что сегодня еще, на рассвете, приходил сюда кто-то, назвавший ее уличной принцессой. Или, может быть, это приснилось только? Нет, осталось, звенит в струнах, надо только вспомнить легенду...

— Карин, миа кара, мадонна миа! — раздается со стены. Энрико! Яркий галстук бантом, концы разлетаются во все стороны, шляпа летит наземь, этюдный ящик хлопается об стену, и Энрико изящным сальто легко спрыгивает со стены.

Старик антиквар выходит на порог своей лавочки.

— Берегитесь, синьор Энрико. Кто-нибудь сломает здесь себе шею.

— Мингеру почтительнейший привет! Карин, Инге! Целую мысленно каждую из вас! К сожалению, скоро здесь будет Свен, поэтому не решаюсь поцеловать вас на самом деле... о, строгая патриархальность милой старины!

Энрико лукаво улыбается. Он кое-что тоже слышал, а может быть, и видел, да-да...

— Инге, сегодня вы особенно прекрасны. Задумавшийся ангел Боттичелли. Но я вас расшевелю. Я вас обрадую такой новостью, таким сногшибательным известием, что если после этого вы не забудете Свена и не кинетесь мне на шею, даже при почтенном мингере и Карин, то я отказываюсь понимать женскую душу.

— Что, что, Энрико?

— Нет, кара миа, нет, белокурая Карин, это не для вас. Это только для Ингрид и никого больше. Вам зато я принес обещанное: самую лучшую масляную краску для губ, не стирающуюся от поцелуев.

— Бессовестный!

— Без совести, но не без сердца, которым вы, о жестокая, не обладаете, ибо хладнокровно отвергаете мои страдания.

— А вот рассержусь и не дам вам кофе.

— Энрико, в чем дело? Бросьте дурачиться. Вы действительно собираетесь рассказать что-то интересное?

— Да, о боги! Но не могу же я говорить одновременно с вами обоими. А насчет кофе — это уж слишком. Впрочем, если я умру от голода...

— Карин, дай ему кофе, а то он ничего не расскажет, — Ингрид подвигает сахарницу.

Энрико нет места на маленькой скамеечке. Он садится рядом, на тумбу, держа в руках чашку и ожесточенно жестикулируя ложкой.

— Сегодня, действительно, замечательный день. Мирная идиллия улочки Под Тремя Тюльпанами, улочки, на которой молодые люди пьют кофе, сидя прямо на мостовой, будет потрясена взрывом сверкающей бомбы, от которой содрогнутся старые камни. Но я буду краток: сегодня вечером сюда приедет мингер Стон. Сам мингер Стон! Неужели вы ничего не слышали о нем, милые девушки? Ах, ах! Мингер Стон, директор королевского театра, мингер Стон, лучший амстердамский критик, мингер Стон, от которого зависит любая артистическая карьера... вы все еще не понимаете? Он видел мою картину — ту самую, на которой вот эта улочка, и лавочка, и стена... Он, между прочим, хочет купить у вас что-нибудь, мингер, вы ведь своего рода знаменитость. Самая старая антикварная лавочка в Амстердаме! Но я рассказывал ему о вас, Инге. О том, что здесь в глухом тупичке,



погибает талант. И когда он придет, вы возьмете скрипку и будете играть, а потом... о, стоит ему только услышать вашу игру, Инге! Карьера! Сцена, реклама, блеск, бешеные гонорары! И я, бедный художник, через несколько лет буду говорить: «Эта знаменитая скрипачка никогда не давала мне третьего куска сахара».

— Энрико! Как вам не стыдно. Но разве это может быть? Мингер Стон наверно, только пошутил. Конечно, он не придет сюда...

— Приехать он не сможет, это верно. Где тут повернуться автомобилю? Но мы остановимся за углом, и я сам возьму его под руку и приведу. Только приготовьте ему удобное кресло, мингер. Сегодня в вашей лавочке будет решаться судьба Ингрид.

— Разве она уже не решена, синьор Энрико?



Энрико, наговорил еще всякого вздору Карин, исчез, так и не написав ничего, но обещав вернуться вечером, вместе с мингером Стоном.

Карин гремит кастрюльками, она сама хочет приготовить обед к приезду Свена. У Ингрид весь день проходит в мечте. Но она не ждет больше Свена — так, как вчера. Может быть, ему даже не понравится, что Энрико...

Ингрид идет к дедушке, к старому антиквару. Садится на скамеечку у его ног, как всегда, водит пальцем по черепаховой пуговице старого сюртука. С ним можно говорить о том, чего не понимает никто. Дедушка поймет все. Она привыкла называть его так, привыкла к этим глубоким, видящим все, глазам.

И сейчас, прижавшись щекой к скользкому обшлаго рукава, Ингрид рассказывает внезапно проснувшуюся, вспыхнувшую мечту — то, во что не верилось раньше. Неужели она действительно будет когда-нибудь стоять на сцене, перед пугающей темнотой зала, слитая со своим смычком?

А потом аплодисменты, цветы... жирные заголовки в газетах, контракты... Она уедет в Италию, увидит ее солнечный мрамор в нестерпимо синем небе, увидит далекий волнующий мир. И когда она, счастливая и гордой вернется сюда, в старый дом, который станет совсем ее... как сказал этот незнакомец с серыми глазами? «Никогда еще молитвой не вымаливали счастье...» Но его можно взять — песней!

Старый антикар медленно поворачивает под лупой застывшую камю, вглядывается в чуть заметную трещинку.

— Не нужно мечтать о счастье, Инге. Ты всегда узнаешь слишком рано о том, что оно прошло. И тогда, быть может, самое лучшее — не помнить.

Он говорит, как всегда, приглушенно, медленно, скандируя слова. Да и как выразить человеческими словами тайную мудрость постигнутого, прозрение человека, отошедшего от жизни, чтобы дать жить осколкам казненных душ, собранных вот здесь, в паутиной пыли?



Мингер Стон, слегка задыхаясь в тугом крахмальном воротничке, грузно переступает через порог, наклоня голову, чтобы не задеть за косяк двери, и опускается в приготовленное кресло.

От его первого взгляда Ингрид теряется и робеет. Энрико очень серьезен и почтительно говорит вполголоса. Мингер протягивает антиквару два толстых пальца и снисходительно кивает головой в ее сторону. Девочка не дурна. Южный тип. Очевидно, какая-то романтическая история. У молодого художника хороший вкус...

— Я много слышал о вас, мингер Тролль — вы не обидитесь, конечно, на это прозвище? Говорят, у вас здесь бывают удивительные вещи, и вы продаете их на вес золота...

— Есть вещи дороже золота, мингер.

— С вашей лавочкой связывается множество легенд... кажется, именно в этом тупике заблудился странствующий рыцарь Амстердама?

— Он часто приходит ко мне, мингер.

— Вот как? И вы можете даже знать это заранее? Интересно... когда же вы ожидаете следующее посещение вашего призрачного клиента?

— Когда человек, протянувший руку за счастьем, разобьет себе голову о мои тюльпаны.

— Ах, ваша вывеска... железные тюльпаны. Да и вообще вся обстановка... декорация к Гофману. Не удивляюсь, если покупатели сидят здесь часами, слушая ваши сказки.

— За сказки платят слишком дорого, мингер. Да и я продаю их не каждому.

— А только заблудившимся рыцарям? Ха-ха. Знаете, здесь у вас можно поверить всему, даже, что вы — тот самый легендарный амстердамский антиквар, собиравший... как это говорится? Казненные души. Я обязательно возьму что-нибудь у вас на память. Но быть может, эта молодая фрекен — ваша племянница, или внучка, вероятно? — сыграет нам что-нибудь. Синьор Энрико так просил меня, что...

— Берите скрипку, Ингрид — командует Энрико, нетерпеливо подергивая головой. Мингер Стоп подавляет своим величием. А вдруг ничего не выйдет, и он напрасно взбудоражил бедную девочку?

Но Ингрид не боится больше. Уверенность в себе, широкий взмах руки. Здесь она у себя, здесь все ее — и вот это кресло с львиными когтями-лапами, изогнутый стебель муранской вазы, ковры, парча, книги, часы, запутанная бахрома, медные застежки, перламутровая переливчатая зыбь. На полу раскачивается китайский болванчик, кивает головой, считает минуты... и в самом дальнем углу — рыцарь в миланских латах, острыми краями железных перчаток держит восковые тюльпаны, а на шлеме — мохнатые от пыли перья свиваются вниз, на потемневшую насечку. Здесь собрано много вещей — обрывочков памяти, душ, сердец, смертей — и они научили ее играть.

Ингрид начинает труднейший концерт, и мингер Стоп удивленно прикрывает морщинистыми веками птичьи глаза. Да ведь это не девочка, а мастер, настоящий талант.

Но Ингрид еле успевает закончить вещь. Вдруг перебивается ритм, звуки рассыпаются, нагоняют друг друга, мучительно звенит смычок, ищущий, вспоминающий, прорезывающий забытое воспоминание. Странствующий рыцарь Амстердама! Вот, кто приходил к ней сегодня на рассвете! Золотом пронизанные серые глаза, мягкая улыбка, песенка о трех тюльпанах...

«В старых пыльных закоулках — говорит одно преданье — жил когда-то очень странный антиквар — горбатый тролль. Там шаги ночные гулки, камни стынут в ожиданьи, — и товар его обманный: радость сердца, радость — боль.

В многоликом Амстердаме, в старом городе тюльпанов, где толпятся ночью тени, и не знаешь — явь или сны, рыцарь, грезивший о даме, заблудился среди туманов, проезжавший ночью рыцарь очутился у стены. У окна с зеленой ставней бросил повод, снял забрало. В стеклах теплится огарок — звонче плиты в такт шагам.

— Мингер Тролль, цветок продай мне, я давно брожу усталый, я ищу везде подарок для прекраснейшей из дам.

В темных сводах меркнут лица... Кто молился здесь — веками? Обступила синевою, притаилась жуть и глушь.

— Разве ты не слышал, рыцарь, кто торгует здесь цветами — променя, седого тролля, продавца казненных душ? Все, кто жил одной мечтою, кто отдал ее — за славу, за надежду ли, за счастье, или просто за тоску — кто с казненною душою здесь искал себе отраву — в каждом венчике дрожащем эту душу берегу. И, беря чужую душу, обреченную когда-то, дорогую платишь цену за несбыточные сны: в них тоска желанья тушит, к жизни нет тебе возврата, заколдованный и пленный, ты забудешь, как они...

В этом старом Амстердаме — говорили раньше люди — бродит ночью белый рыцарь, не вернувшийся назад. Он забыл дорогу к даме, он забыл, что есть и будет, то, чему не повториться — то, о чем они молчат. К старой лавочке тюльпанной больше нет ему дороги: только раз откроют стены нескончаемый тупик. Тают призраком туманы, ранят камни его ноги — не вернется рыцарь пленный, заблудившийся на миг.

В старой замковой капелле — бесполезные моленья. Уносимые мечтою, уходящие года... почему они звенели, не неся с собой забвенья, и казненною душою отравили навсегда? Почему в таком чудесном и прекрасном Божьем мире в каждом шорохе — страданье, в каждом трепете — печаль?

В старых, тесных закоулках бродит рыцарь — призрак были. Самых горьких слез не надо: лучше — светлая печаль.

Только в венчиках тюльпанов не умрет легенда эта. В старой замковой капелле, в синих сводах тает грусть... Ведь для сердца нет обманов, для надежды нет запрета, и, прощаясь, рыцарь белый обещал ей:

— Я вернусь...»



Когда за поворотом улицы раскатился и замер мотор автомобиля, и в лавочке за зелеными ставнями осталось только двое — старик и Энрико, привычно раскачиваясь на ходу, размашисто и немного пьяно вошел Свен. Зюдвестка сдвинулась на затылок, но в глазах было недоумение и недовольство.

— Где Ингрид? — стросил он. — Добрый вечер, мингер. Я немного задержался в порту, выпили по стаканчику, но Карин сказала мне...

Никто не ответил. Антиквар медленно постукивал по столу разрезным ножом с драконовой завитушкой. Энрико слишком внимательно разглядывал потемневшую картину. Неужели мингер Стон повез Ингрид сейчас ночью, действительно в театр? Правда, это на него похоже, но...

Китайский болванчик на согнутых коленях, как большой ребенок, раскачивался на полу, цокал круглой головой о выемку шеи, щурил узкие понимающие глаза, считал минуты уходящих жизней.

Рука Свена тяжело опустилась на стол.

— Мингер, где Инге? Если Карин сказала правду, то...

Инге, которую он подобрал на улице! Поехала ночью — куда? С кем? Как они смели отпустить ее? Долго ли улестить девченку? Хорошо, пусть только она вернется...

— Ингрид не вернется, Свен.

Антиквар знал это лучше, чем она сама. Свен в бешенстве схватил со стола тяжелый подсвечник и пустил его в качающегося болванчика — дзинь!

А потом плакал, уронив голову на стол, и бессильно ероша спутанные, взмокшие волосы. Китайский болванчик валялся на полу. И около него — серебряный канделябр, вогнувшийся у края.

— Бедный болванчик, — сказал старик. — Он глупый, он считал минуты... А вот этим самым подсвечником, Свен, был убит когда-то отец Инге. Сын старика барона. Он привез сюда молодую итальянку. Но барон, конечно, был против брака. Ссора... удар. Дело замяли, итальянка умерла — а девочку барон взял к себе. Ты не знал этого раньше — и она тоже. Сегодня Инге ушла, потому что улочка Трех Тюльпанов дала ей все, что могла, — а что Инге даст взамен, это ты еще увидишь. Я знаю потому, что знаю многое — и хотел бы ничего не знать.



Почему они проехали мимо театра, дальше, по ярко освещенным улицам? Очутились — в номере гостиницы? Как это вообще случилось? Мингер Стон говорил так много о ее будущем, о таланте, о славе... Такие красивые, будоражащие слова. Они кружат голову сильнее, чем вино, и самое простое и странное кажется не тем, чем оно должно быть.

Ингрид пила вино и смеялась.

— Мы празднуем твой первый успех — сказал мингер Стон.

Потом, в красивой и дорогой кровати — как давно она не лежала на таких тонких простынях! — мингер Стон, все также отдуваясь и оттопыривая щеки, уселся рядом, медленно откинул прохладное одеяло.

Вот и все.

Все, потому что он утром сказал ей, что теперь она должна вернуться домой. Пожалуйста, никаких слез и истерик. Он их достаточно видит и театре. Она должна понять, что он не может дать ей сразу дебют. Что скажут другие артисты, что скажут критики? Делать карьеру своей любовнице? Это повредит его доброму имени, а у него жена, взрослые дети. Конечно, он постарается устроить ей место в оркестре, они будут встречаться... талант? Одного таланта еще мало...

Он очень рад, что она благоразумна и не плачет.

Нет, Ингрид не плакала. О, конечно, она понимает, конечно...

Она не вернулась домой. Антиквар сказал правду.



Разве прошел только один день, — не больше? Ингрид все еще ходила по улицам, иногда присаживаясь на скамейки сквера. На больших улицах ее парадное платье казалось бедным и измятым. Как странно, что вдруг в родном городе, во всех этих каменных коробках нет никого и ничего. Может быть, только пристань, холодная, спокойная глубь...

Нет, она не хотела думать об этом, еще нельзя умирать. Но домой она не вернется — никогда. Кружевные салфеточки на столике — обветренные руки Свена, накрахмаленный чепец фру Серенсен — все эти ниточки порвались сразу так, что даже нельзя было найти концов, распутать, связать с этим голодным уличным днем, с мутной пестротой улиц.

Только футляр со скрипкой, с такой знакомой царапинкой на углу. Вот скрипка, и три железных тюльпана над дедушкиной лавочкой — кто же должен разбиться о них? Старый дом — и ласковая улыбка таких золотых глаз... Если он сейчас подойдет к ней, раздвинет толпу — сказка будет продолжаться дальше, вернется рыцарь...



— Разве твоя жизнь не была сказкой, Инге? Помнишь, как в тот ужасный день ты бродила по улицам и пришла в сад ресторана?

— Да, Энрико, и надо же было тебе сидеть там, и убедить хозяина позволить мне сыграть и сперва — о, как мне было это нужно! — дать поесть...

— А мингер ван дер Род? Я видел его недавно, он каждый раз спрашивает: «Как поживает моя уличная принцесса?» Старик страшно горд, что он, старый театральный волк, сразу заметил тебя и повез в турнэ...

— Мое первое турнэ! Господи, какой я была неловкой! Помнишь, как я повернулась к публике спиной прежде, чем начали аплодировать?

— А помнишь, как ты чуть не расплакалась, когда я стал рассказывать журналистам такие невероятные вещи о твоём прошлом, что у них захлебывались перья?

— А профессор Доничелло в Милане... чудесный старик! Он так же заботливо учил меня всем тонкостям, как в свое время дедушка...

— Ты еще не забыла мингера Тролля?

— Сказки не забываются. Они уходят только.

— Ты сама ушла, Инге. Сперва из дому, потом...

— От мингера Стона.

— А потом от меня. Сперва, знаешь, мне было очень больно, но я так по-товарищески любил тебя, что больше радовался твоим лавровым венкам, чем ревновал к любовным сплетням. Впрочем, ты могла бы похвастаться и большим количеством романов.

— У меня был только один роман, Энрико — и я — даже не знаю его имени.

— Ах, да, уличный рыцарь... об этом и газеты пишут. Прочти, пожалуйста: «...будем надеяться, что в нашем городе, являющемся, как известно, родиной знаменитой скрипачки, посетителям концерта вышадет на долю редкое наслаждение услышать, между прочим, лучшее из ее произведений 'Под тремя тюльпанами'. Как известно, эта композиция никогда не включается в программу концерта заранее, и многие нотные издательства предлагали скрипачке бешенные гонорары за право издания; однако, она упорно отказывалась до сих пор от самых соблазнительных предложений, так как, по ее словам, исполняет эту вещь 'только для одного человека, имени которого она не знает'... читателям нашей газеты памятно, наверно, отзывы о ее последнем выступлении в Париже, когда артистка, едва окончив исполнявшийся ею концерт, вдруг подошла к самой рампе и в ответ на удивленные взгляды публики, заиграла 'Под тремя тюльпанами' — произведение, вызвавшее оvação, еще неслыханную в стенах этого строгого театра»...

— Замолчи, Энрико. Если я это делаю, то потому, что не очень забочусь о газетах.

— Да, когда имя пишется в них такими крупными буквами, то это можно себе позволить... между прочим, ты, собственно, зря остановилась в этом отеле. Старый дом куплен по твоему поручению, и я распорядился насчет уборки, цветов и прочего. Ты можешь сию минуту отправиться и войти в него полной хозяйкой. Даже ужин заказан.

— Сколько лет я не видела улочку Трех Тюльпанов?

— Стоит ли считать года, Инге?

— А у дедушки в лавочке был китайский болванчик, который считал минуты... Может быть, есть минуты, которые стоят годы?

— Кроме мингера Тролля ты ни с кем не встречалась отсюда?

— Нет. И он появлялся всегда неожиданно, в самых разных городах, представь себе. Никогда не приходил ко мне прямо. Но вдруг я получала цветы — тюльпаны, и с ними записку с адресом и часом. Иногда просто так: «У фонарного столба, на площади...» А иногда и записки не было, но я уже знала: сегодня встречу его в каком-нибудь старом закоулке. Я думаю, что он просто физически не мог бы сесть в автомобиль, скажем. Но как же он ездил поездом? И никогда не менялся. Всегда в том же сюртуке, те же пуговицы, с ложку величиной, и те же глаза... ты помнишь, какие у него странные глаза?

— С сумасшедшинкой.

— Может быть. И вот под такими фонарями, в закоулках, я рассказывала ему все. Надо же кому-нибудь говорить правду, не умалчивать, не улыбаться.

— Значит, ты знаешь, что Свен женился на Карин, и они счастливы, когда живут порознь — когда Свен уходит в море, а у нее друзья? Они приняли приглашение и придут сегодня вечером в старый дом. Ты ведь хочешь отпраздновать свое возвращение, насколько я тебя понял?

— Грустный праздник, Энрико.

— Почему?

— Потому что я о нем слишком много мечтала — раньше. Потому что я — тоже из тех «казненных душ» легендарного мингера Тролля — скажи, тебе никогда не приходило в голову, что и нашего «дедушку»

зовут так же? — тех душ, которые он продает за тюльпаны — а тюльпанам никогда не вспомнить, в чем счастье. Да и нужно ли нам — покупать его за такую дорогую цену? Заплаченное страдание настолько огромно, что его нельзя ни отбросить, ни вычеркнуть — даже за счастье . . .

\*

Ингрид долго ходила по комнатам старого дома, распахивая окна. Много, пронесенное осколочком памяти через всю жизнь, не казалось уже таким. Но было в этом доме дорогое, греющее всегда детство, потому что прошлое не обезличивается жизнью. Ходила в сумерках и по улице, притрагиваясь к нагретым солнцем камням, гладила шершавые выбоинки — сколько прибавилось еще новых?

Не думала ни о чем. Просто вот так, смотреть — и не видеть, потому что совершенно открыта сейчас душа, распахнута — и пуста.

А вечером, когда легло над улочкой синее небо, и за ярко освещенным свечами столом сидели фру Серенсен в нафталинном тугом платье, Карин в умопомрачительном туалете — подарок Ингрид, Свен, обдергивавший манжеты и немного смущавшийся — и очень торжественный, спокойный антиквар — с такими же широко раскрытыми глазами стояла Ингрид у распахнутого окна и смотрела, как от разноцветных стекол в тяжелой раме падали вниз радужные отблески на старые камни.

Вот за них — только за эти отблески — казнена душа. Выжжена, опустошена. Чтобы пела скрипка. Чтобы плакали — другие. Те, кто не знает ни о солнечном утре, ни о заблудившемся рыцаре и уличной принцессе. И другие будут плакать, — хотя они и не знают о мингере Стоне — первом беспощадном рывке от мечты вниз, о тоске и потерях, борьбе и радостях — о целой жизни. Жизнь не кончена еще, о нет. Говорят, что начинается только. Но — чего же ждать? Того, подарившего легенду? А если бы он прошел сейчас мимо — она узнала бы его? Может быть, так и надо, чтобы несбыточное оставалось мечтой? Разве она не счастлива — именно этим?

Ингрид берет скрипку.

Звуки рассыпаются по камням, вбирают в себя их дрему, и поет старая Амати, поет улочка Трех Тюльпанов.

«В старой замковой капелле, где курились фимиамы, в бледном сумраке вечернем, в синеватой мгле лампад, гимны таяли и пели и прощался рыцарь с дамой, рыцарь с перьями на шлеме, не вернувшийся назад . . .»

По стене над антикварной лавочкой прошел кто-то. Остановился. Ингрид видит темную фигуру и опускает смычок.

— Откуда вы знаете . . . эту легенду? — спрашивает человек на стене. Голос звучит неуверенно, надломленно, напряженно. Ингрид не видит его лица — но у него должны быть усталые глаза и горький рот.

— Мне подарил ее человек, назвавший меня уличной принцессой — в ее ответе подлинная гордость. И — вызов.

— Значит . . . это вы? Моя уличная принцесса! Как я искал вас повсюду — Ингрид, Инге!

Он протягивает к ней руки, и Ингрид делается вдруг страшно. Она не видит, угадывает его следующее движение.

— Берегитесь! — кричит она, и бросается к двери.

— Ингрид!

Темная фигура отделяется от стены и подается вперед. Старая вывеска над лавкой антиквара отрывается вместе с нею, и вместе падает на камни.

Тихо.

\*

Серебряный канделябр антиквара казался гораздо уместнее карманного фонарика Свена. Человек лежал на мостовой, и у самого виска, у потухших глаз глубоко врезались тяжелые острые края сорвавшихся железных тюльпанов.

— Мингер Троль всегда говорил, что кто-нибудь сломает здесь себе шею — бормотал Свен, уводя обратно в дом выбежавшую Карин.

На улице остались только антиквар и Ингрид. Она опустилась рядом на камни, провела пальцами по лицу, закрывая глаза. Лицо казалось далеким и бледным, как будто никогда не было живым, как будто эти губы не позвали ее перед смертью. Антиквар молчал. Он знал слишком много, — чтобы говорить.

— Как же так, дедушка? — прошептала Ингрид. — Мимо? . . . проходит мимо и . . .

— И уходит, Инге. И ты . . . идешь вслед.

1936 Рига



«Туманятся снежной пылью и вихрем метутся дни... Господь, чтоб Тебя не забыли, мы в ночь зажигаем огни, а тех, кого мы любили, помилуй и сохрани!

Мы все не знаем, что будет, чему обрекли себя: мы все — убогие люди, и нам дорога земля. Но дома мы не забудем, на палубу став ко-рабля.

Когда же рождественский вечер мерцает тысячью звезд — то сердце тоскует по встрече, и сердцу теплей от слез; а нами зажженные свечи не может задуть норд-ост. И если в туманной пыли укрытая даль молчит, то можно-ль, чтобы мы забыли, раз сердце тоской звенит?

Сочельник — это сказанья, печальные звоны саг... А в сердце — воспоминанье, и это великий маг. Любовь же — всегда страданье, и это должно быть так.

Норд-ост под окном стучится, на стеклах туман разлит, и ночь, как замерзшая птица, в глубоком снегу лежит... В Сочельник нам должен сниться маяк золотой Ингрид.»

\*

Твое письмо лежит у меня на столе, Тамань. Длинный конверт, пестрые чужие марки, толстая дорогая бумага. В нашей лавочке, между старыми керосиновыми бочками и деревянной карамелью, совсем дру-гая бумага... И твоя жизнь кажется здесь такой же чужой и непо-нятной.

У нас Рождество, Тамань, и у вас оно тоже. Как хорошо, что хоть что-нибудь вместе... У тебя елка большая, наверно, до потолка. В сущности, моя тоже могла быть большой: вырубить на опушке, какая понравится, пушистую, раскидистую, с шишками, привезти на саноч-ках... Но Викинг сказал, что она займет слишком много места — мы срубили маленькую и поставили на столике. Даже нет ни одной игру-шки — просто конфеты и свечки, и две плетеные корзиночки из бу-маги — принесли ученицы. Теперь война, и нельзя тратить деньги на глупости.

Письмо пишу за столом, рядом с елкой. В комнате стоит еще старый диван, два жестких плетеных кресла, и этажерка со скучными кни-гами. Это наша парадная комната — «зала», действительно, лучшая во всей деревне, в особенности после того, как я содрала все вязаные салфеточки. Они были повсюду, даже на плевательнице, их вязала моя свекровь. У нее жесткое рыбье лицо, узловатые руки и тяжелый голос. Не человек, а старый скрипучий сундук, засунутый в сборчатую юбку и шерстяной платок. И слова такие же жесткие и нудные, как эти добротные вещи, в старых сундуках. Они вынимаются редко и никому еще не доставляли радости.

Она всегда неодобрительно поджимает губы при виде моих попы-ток изменить здесь что-нибудь. Но я ничего не изменила, Тамань. На керосиновой лампе абажур с дурацкими цветочками, на моей постели высокие перины, а когда окончательно истреплется чудесное шелко-

вое одеяло с китайской вышивкой — помнишь, как оно тебе всегда нравилось? — то я, наверно, только вздохну и заменю его толстой шерстяной дерюгой или этим ужасным ситцевым лоскутьем, которое она копит в сундуке. Но салфеточки я ненавижу! И ее тоже.

Ты себе представляешь мой дом, Тамань? Впрочем, он не мой. Дом был у папы. Ты помнишь его уже стариком — да и я тоже, он меня всегда называл своим Вениамином. Как только он продавал картину, начинался кутеж: мы отправлялись в кондитерскую пить шоколад, а потом накупали массу всяких вещей, по моему мнению, необходимых в хозяйстве. Что сказали бы в этом доме, если бы я пришла сияющей и довольной, с ворохом пакетов, и в них: удивительные платки драпировок и оранжевые лакированные табуреты с лампочками под сиденьем — для совсем еще невиданного нижнего света?

Иногда мне даже стыдно рассказывать — не ей, конечно, а Викингу. Для них это жизнь миллионеров, да и ее то они не могут себе представить, а папа был только хорошим художником. Вот как сейчас его вижу: длинные седые волосы, тонкие руки. Он многое знал и научил меня разбираться в школах живописи, оттенках красок, в истории стилей и многом другом, что годится сейчас только для антикварного магазина, И он научил меня, что если хозяину не заплачено за квартиру, а золотой портсигар отправлен в ломбард, то это совсем не страшно. Будет продана следующая картина, и...

«Помни — говорил он всегда — деньги ничего не стоят. Гораздо важнее, сможешь ли ты отличить свет вечерней зари от утренней. Гораздо важнее, как ты чувствуешь солнце; деньги же созданы только для того, чтобы их тратить. А это тоже надо уметь, Иолик.»

Папа называл меня Иоликом — не любил Юлии. Наверно, мечтал иметь сына, такого же красивого и талантливого, как он... Как я любила рисовать в его мастерской с холодным северным окном, с запахом скипидара и холстов!

«Может быть, из тебя что-нибудь и выйдет. Краски ты чувствуешь, это верно, настроения много. Ну, поучись...»

Бедный папа! Он и тогда уже знал то, что я знаю только сейчас: у меня нет настоящего таланта. Я могу рисовать — картинки.

И вот эту тоже пришлю тебе когда-нибудь: то, что вижу из окна своей комнаты: деревенская улица, сугробы голубого снега, желтая вывеска лавочки, синий дым из труб над белыми крышами, скупые оранжевые огоньки в окнах, низкое серое небо. Это рождественская картинка, Тамань, такие рисуют на открытках и пряниках, а я вот живу в такой картинке, и иногда мне кажется, что все это не настоящее, и все мы здесь — и я, маленькие смешные фигурки на старой табакерке с колокольчиками. Проехали синие крашеные санки. Наверно, пастор — важный гость.

Есть еще и другие развлечения, Тамань. Поездка километров за тридцать в местечко. Муж ездит каждый месяц получать жалованье, сделать закупки. И еще — дюны, низкое небо, растрепанные сосны, гулкое зеленое море, ломаный лед. Лодки, сети, ветер. Так было здесь и пятьдесят и сто пятьдесят лет назад. Меняются мелочи. Раньше девушка мечтала о швейной машине, теперь предпочитает велосипед. Раньше щеголеватый рыбак заводил граммофон и топтался под вальсы в сапожищах, от которых несет рыбой и салом, теперь включает радио

и с тем же тупым лицом слушает будапештские скрипки. А все остальное — бури и скудные поля без красок, поджатые губы, каменные глаза, прямые, простые души — все это так, как было — всегда, давно... Неправда, что есть большие города, блестящие улицы, автомобили и магазины, музей и театры. Неправда, что где-то идет война. И пароход, на котором ты плыла в каюте под тысячным номером, и аэроплан с кожаными креслами, на котором ты улетала, Тамань — все это неправда, этого нет, это туман и жесткая, как шерсть, пена.

У окна стоит плетеное кресло. Окно стало голубым от сумерек, а сбоку — оранжево-желтый свет лампы. Выгнутые прутья в голубых и оранжевых переливах кажутся кружевными и хрустальными. Но это только кажется так. Вот и моя жизнь, такая же — кажущаяся картинка.

Сколько строчек в твоём письме начинается словом: «помнишь»? И какое это острое, болезненное слово, Тамань! Но ты делаешь мне больно еще и другим — тем, что не знаешь, и говоришь о том, что уже поздно. Поздно! Мне бы хотелось выкрикнуть это слово. Но в этом доме не плачут, а кричат здесь только на лодках. Ахо-о-ой... Ахой, Тамань!

\*

«Есть берег в туманной дали, закован броней из скал. Когда к нему подплывали, держали цепко штурвал — и чайки потом кричали отходную, как хорал. В разрезах шхер и фьордов, на самом виду земли, рвал ветер их парус гордый, и камень рвал корабли. Из тех, кто плыли — немного пристать к берегам могли. Но там, где кончались скалы — вода, как фиалок цвет. Там сосны стеной стояли по сотне и больше лет, а замок был цвета стали — был замок в гранит одет.

И там плененной мечтою жила принцесса Ингрид. Звалась она Золотою — как золото, смех звенит, и шелк золотой — косою, как шлейф, за спиной разлит. Под небом Севера дальним глаза, как фиалок цвет. И пели седые скальды, что глаз лиловее — нет. А можно ли быть печальной принцессе в семнадцать лет? Когда под легкой ногою не мнется ковер из трав, а сердце горит мечтою, пронзительней всех отрав; когда приходит весною сын викингов, принц Олаф.

Кто может с принцем сравниться? Кто песни поет звончей? И есть ли на Севере рыцарь, кто был бы его смелей? Корабль у него — как птица, лишь чайкам тягаться с ней! Олаф чернокудр и молод, и тянет Олафа в даль... Печален Севера холод, и в сердце Ингрид — печаль... Весенний хрусталь расколот, весеннего льда — не жаль.

— Ингрид, нам надо проститься, мне душно в родной стране. Корабль мой летит, как птица, и меч не изменит мне. А если ты будешь молиться — вернусь я к новой весне!»

\*

Помнишь, Тамань? Перед Рождеством ты прибежала ко мне в новой шубке. У нее был пушистый воротник, а на вуальке таяли снежинки. Ты сама была такой новой, таинственной, и вся переливалась и блестела, как эта снежинка. Такой можно было быть только в нашу шалую и веселую юность, когда новая шубка была громадным событием.

Белокурый медведь, с которым ты кокетничала напропалую, твоя «собачка», умильно держал тебя под локоть. Вы потащили меня печь пряники.

Домик стоял в садоводстве, у самых оранжерей. Помнишь, как ты хотела вырастить в оранжерее ковыль? Скажи, почему такое простое и убогое казалось таким хорошим и уютным? В комнате один угол занимала плита, в другом спала Нина, в третьем были иконы, а четвертый принадлежал тебе. Ты бухалась на ковер, на вышитые подушки — каждую вышивала по году, потому лентяйка — и обхватив колени руками, под моей картиной — оранжевой юртой на фоне выжженной степи и желтого неба — раскачивалась и пела монгольские песни.

«Ши намэ . . . серчон хылэ . . . зор . . . ген» . . .

Так и видишь перед собой: темно-синее небо, какого у нас не бывает никогда, торжественные звезды, оранжевый костер, темная, как небо, степь. Медные лица, прижатые ноздри, пестрые важные халаты, пляшущие тени за спинами в раскачку. И этот, будто вздыхающий, протяжный, печальный и мудрый напев: «Ши намэ» . . .

Только в наше сумасшедшее время могли уродиться такие «киргизки», как ты, Тамань. Шаталась с отцовским полком по степи, вышивала бисером в юртах, выкрасила волосы женой, в шестнадцать лет вышла замуж и через два месяца стала вдовой. Не встретить ты Бориса Павловича тогда — осталась бы в степи, пока не убили бы . . . но я любила твое сумасбродство, и даже полное незнание всего, что не касалось лошадей, юрт, наганов и . . . рыцарских доблестей. Помнишь, как я однажды уверила тебя, что «кватроченто» — итальянское блюдо с рисом, а «нумизматика» — неприличная болезнь, и как хохотал Борис Павлович, пока мне в голову летели все подушки? А ты звала меня старой девой, и всячески старалась, чтобы я «закрутила с кем —нибудь».

Пока что только мы крутили пряники. По вдохновенному рецепту старой тетки рубили, месили и морозили тесто. «Медведь» раскатывал его на всех столах. Пол был засыпан мукой, плита грозила расплавиться, пряники горели; но это ужасное тесто не уменьшалось. И еле стоя на ногах от усталости, замурзанные и растрепанные мы втроем, под сочувственный басок Бориса Павловича распевали только что написанную мной песенку: «Пряничное сердце принеси мне в подарок» . . . Я подрабатывала иногда текстами для нотных издательств. Немножко сентиментальности, немного смысла и мало поэзии, но ты, по простоте души, искренно считала их гениальными. Правда, над этим «Пряничным сердцем» я сама плакала от радости. Потому что ждала, ждала, что мне принесет его — смеющийся, ласковый, с мальчишескими глазами. А ты не знала, чьи это глаза, и изводилась.

\*

В Сочельник мальчишка у газетного киоска насвистывал «Пряничное сердце». Песенка стала модной. В Сочельник я получила коробку в шуршащей бумаге с елочками. Пряничное сердце. Конечно, я сразу угадала, от кого. И если на свете есть волшебные вещи, то оно было одной из них.

— Вы сегодня светитесь изнутри — сказал Борис Павлович.

Как же можно не светиться, если Сочельник распахивает блестящие двери, если Александр понял, что эта песенка написана ему?

Помнишь, Тамань, как я собиралась на вечер? Романисты в таких случаях пишут: «роковой бал»... Светские люди — а бывают и такие, и Александр — секретарь посольства — и распорядитель на балу — не мог, конечно, знать, какой адский винигрет вызовет его приглашение. Сперва я решила отказаться. Ты умоляла меня пойти — не совсем бескорыстно, потому что тебе хотелось узнать, чем это кончится; все платья оказались негодными, и мы едва не переругались на смерть. В нарикмажерской мне прижгли шею шипцами, каблук у старых серебряных туфель сломался, и Борис Павлович забивал его «субтильным», по его мнению, гвоздем; ты ободрала себе рот булавами на примерке, перчатки оказались вдвое дороже, — но в кружевной мечте, присланной тебе американской тетушкой, я казалась красавицей даже себе — бесталанность часто требовательнее других, Тамань.

Это был самый сверкающий и пленительный бал в моей жизни, потому что... я на нем не была. Александр встретил меня у подъезда. Он решил, что распорядительство отнимет у него слишком много времени — почему бы нам не провести этот вечер вдвоем?

При жизни папы в нашем доме бывали такие люди: они делали то, что им нравилось, и это нравилось другим.

\*

Я обещала тебе рассказать все, Тамань, но это так трудно, даже сейчас. В прошлом веке романы начинались как: «Наш герой родился...» и на ста следующих страницах история детства и отрочества. О своем герое я знала гораздо меньше: Александр Басманов, знает языки, служит в посольстве, и я его люблю. Умен? Пожалуй. Циничен? Наверное.

Маленький кусочек биографии, рассказанной им самим:

— По России шатался везде, особенно в гражданскую... два раза был женат; в Нарве и в Туркестане. В Нарве потом, и как оказалось, для того, чтобы доказать ангельской сестрице, что не стоило спасать от тифа подобного субъекта. А в Туркестане — впрочем, это может быть были другие степи — чорт меня знает, почему. Лошадь понравилась, а она не хотела меняться. На пари. Сказал, что будет моей. Лошадь. Ну, и девченка на придачу. Дочь командира, шаталась с полком. Рыжий мячик в бриджах. Выиграл пари и к счастью, овдовел тут же.

— Ее убили?

— Нет, не знаю, что с нею стало — но зато меня расстреляли. Вот здесь, на затылке — посмотрите — шрамы до сих пор остались. Да, в то время и в девятнадцать лет бывают чудеса...

Мне казалось чудом не только это.

— Хотите знать еще чтонибудь из моей жизни?

— Да. Сказку.

— Когда у нувориша попросили автограф, то он с сожалением развел руками. Все есть: и вилла, и автомобиль, и яхта даже, а вот автографа нет... Вы слишком старомодны для современности. А жаль.

— Современности?

— Нет, но вот ведь, кажется, все было; где только ни бывал, чего ни видал, а сказки не разглядел... Не было. Есть у Вертинского такая песенка: «Мне так хочется маленькой сказки, детской сказки про сон золотой»... А вы ведь тоже песенки пишете?

— Но вы дали мне сказку...

— Всерьез?

— Всерьез и надолго.

— Ну, если у меня и это нашлось, то просите хоть полцарства. Другую половину я конечно должен оставить для себя. Качаете головой? Что ж... когданибудь пригодится: полцарства на полу не валяется, а эта половина за вами, когда бы вы ни потребовали...

Мы говорили до утра, и не только говорили.

\*

Помнишь, Тамань, я пришла к тебе после «бала»? Уткнулась в подушки и колени.

— Ты его очень любишь, Юлька?

— Не знаю. Кажется, раскрыла руки и обняла солнце. А солнце пахнет, как жасминный куст в летний день. И горячо, и страшно, и звенит и слепит, голова кружится.

Ты сказала уверенно: «любишь» и мечтательно вздохнула. — Вот, так я Сандро любила. Сказка это, Юлька. Только раз сказки бывают. Такие, как он, не каждый день встречаются. Вот Борис Палыч настоящий муж: спокойный, хозяйственный. И такую дуру, как я, уважает. Это ничего, что у меня «собачки», как ты говоришь, на каждом углу привязаны. Люблю крутить, верно, Но все это не то, Юлька. Глупая я была, совсем девченка, а на всю жизнь остался: Сандро мой. Знаешь, я ему иногда потихоньку, как святому, молюсь. Меня тогда ранило только, когда красные налетели, а его убили, мне потом сказали...

Помню, на окне белый снег лежал, галка на ведро прыгнула... помню, как спросила:

— Тамань, а как звали Сандро?

— Александр Басманов, подхорунжий...

«Чорт меня знает, почему... Кобылу выменять хотел... Рыжий мячик... Пари»... Галка долбила клювом рыжее от ржавчины ведро.

\*

«Туманные тают дали. Волна за волной бежит. На скалах чайки кричали, и с чайкой вместе — Ингрид. Вернется ли он? Едва ли... а сердце болит, болит... Вода весной зеленее, и неба цвет зеленей. Придет ли Олаф за нею, вернется ли рыцарь к ней? А сердце бьется сильнее, и пламеннее, и нежней.

Проходят весны и зимы, проходит за годом год. Олафа звонкое имя в душе она бережет, обычай зимой старинный принцесса свято блюдет. Когда по снегам глубоким приходит ночь Рождества, и звезды в небе далеком сияют для торжества, — мы вспомним о всех далеких — они нас вспомнят едва... У тех, кто дома остался — какой бы ни был их дом, — за тех, кто с ними расстался — свеча пылает огнем. А кто уйдя, не прощался — помолимся и о нем!

Обычай блюдется свято: в Сочельник свечу зажечь: за сына, отца и брата у елки будет гореть. А тем, кому нет возврата — то в сердце не умереть!»

\*

«Одно из шестнадцати» — говорили в Одессе. Не из шестнадцати, а из ста фантастических планов, мучивших меня и днем и ночью. Сказать, что Александр Басманов — таинственный незнакомец, который . . . «Промененная лошадь, рыжая девченка» . . . Разбить твою иконку, Тамань? Зачем? Чтобы показать тебе, что вообще не стоит молиться? Ничего не сказать, а просто познакомиться? Что же тогда? Сама разобьешь свою иконку — или полюбишь снова? А Борис Палыч, а Нина, а налаженная, идущая жизнь? Ради чего? Ради человека — который, о, это я знаю наверное — тебя никогда не полюбит? Ты и в степи для него не была хороша, шалая девченка с наганом за поясом, для мальчишки, подхваченного тем же сумасшедшим вихрем. Теперь это слегка усталый, слегка циничный и давно уже взрослый человек. Для него нужно быть элегантною дамой или, по крайней мере, знать, что такое кватроченто. А то, что сердце твое, Тамань, билось гордым, сумасшедшим ветром, подлинной человеческой кровью, и глаза раскрывались навстречу солнцу — этого он никогда не видел. А если не «зачем», а «потому»? Потому, что я люблю его, и хочу, чтобы . . .

Через три дня я была на том же перепутьи. Не пошла на свидание, не ответила на письмо. Через неделю вечером у меня его величество Случай: я мерзла на диване, засунув ноги под кота, ты сидела рядом. Вошел Александр. Ты не расслышала его фамилии, и . . . вы не узнали друг друга.

Больно это, Тамань.

◆

— Вы себе представляете, как сложатся наши отношения в дальнейшем?

О да, это я представляла себе. Плакала, но представляла!

— Очень просто: вы человек свободный, я тоже. Никаких ограничений наших свобод, никаких обязательств — ваш идеал. Вы нравитесь мне, я вам. Значит . . . надеюсь, что это достаточно «современно».

Странно, у него глаза стали серьезными и как будто ушедшими в себя, как тогда, когда я говорила о сказке.

— А как это кончится?

— Я вам тоже напомним песенку Вертинского: «Все окончилось так нормально» . . .

— Я этого не сказал.

— А я не буду дожидаться.

\*

Помнишь, Тамань, иногда я приходила к тебе и буркала: — Можно повить для собственного удовольствия?

Конечно, если не было Бориса Павловича и Нины. Я ложилась на ковер и подвывала в подушки, а ты сочувственно громыхала в кухоньке кастрюлями. В моей комнате были слишком тонкие стенки — Господи, иногда человеку и покричать то негде! Потом ты подойдешь, сядешь на корточки рядом, погладишь. Не выпытывала ничего, знала — не хочу говорить, ругала меня только «сфинксом».

— Тяжело, Юлька? А ты послушай лучше: «Ши намэ . . .»

Да, любила очень. Вот, кажется, из раскрытой груди в другую вся кровь переливается: больно, жжет и вытягивается кровотокающая эта нить. А я разорву . . . У него не может быть любви, у него никогда не было сказки, «Пряничное сердце принеси мне в подарок» . . . Пряничное сердце можно купить в магазине, и оно стоит дешевле, чем коробка конфет!

Для него у меня будут только «случайные встречи.» Я не хочу дожидаться конца. Буду мучиться, и он этого не увидит . . . Если бы только не этот иногда странный, чуть вопросительный взгляд . . .

Вот, в нескольких строчках — несколько лет. Встречи стали реже, я — спокойней.

— Знаешь, Александр, я смотрю на тебя иногда, как на фотографию давно умершего друга в пожелтевшем альбоме. Перелистываешь, остановишься вдруг, и улыбнешься ласково над знакомым, до боли любимым лицом: что могло бы быть, если бы . . . Маленькое словечко: «бы» . . .

— Я хотел тебе сказать то же самое, Юлик. Если бы . . .

Мы стали совсем друзьями.

\*

А потом? А потом вторично в нашей жизни, почти такие же сумасшедшие, дрожащие, беспорядочные, панические, острые дни. Почти — потому что первые длились дольше. Почти — потому что от первых сохранился, протянулся через всю жизнь до этих, вторых, навис над ними туманом наш, хотя и притупившийся опыт. Почти — потому что раньше мы знали, что если удастся сохранить жизнь, то у нас она впереди. Что-то сможем сделать, создадим . . . А теперь мы знаем: разрушится немного, что еще осталось, а впереди еще меньше. И нас не удивишь.

Но страх, страх . . . бегство. Как и раньше когда-то: кто только мог. Куда только мог. Любой ценой.

Ты прибежала ко мне.

— Юлька, что делать? Надо доехать хотя бы до границы. Пока идут поезда. Там какнибудь переберемся. Ведь ты знаешь, Борис Палыч. Стоит им только войти сюда, и они убьют. Его, меня, всех.

Я знала: Борису Павловичу нельзя оставаться.

В такие дни люди становятся акробатами. Печати, документы, визы, деньги — все берется, неизвестно откуда и летит, неизвестно куда.

\*

Мне нужно поговорить с тобой, Александр.

— Я только что звонил тебе, Иолик.

— Уезжаешь?

— Конечно. На-днях. Именно поэтому. Положение очень серьезно, надежд никаких. Город продержится недолго. Ты должна ехать, Иолик.

— В качестве посланницы?

— Нет, в качестве моей жены. Не забудь, что я давно разведен после второго брака. Я секретарь посольства, а этого достаточно, чтобы провезти не только тебя, но и твоего кота в придачу. Обвенчаться



недолго. Разумеется, я не хочу ничем стеснять твоей свободы. Ведь мы так, кажется, условились. Брак фиктивный — или такой, как ты захочешь.

Раньше он иногда говорил мне: «в сущности, я бы мог жениться на тебе»... И я отвечала: «в сущности, я была бы для тебя очень удобной женой»... Сейчас мне хотелось просто броситься ему на шею и плакать. Кажется, он заметил это.

— Ты поражена, Иолик? Не ожидала от меня такого...

— Рыцарства? Признаться, нет.

— Жаль, значит, ты многого не замечала.

— Может быть и ты не был достаточно проникновенен? Но теперь пожалуй поздно, Александр. Я пришла к тебе с такой же просьбой, но наоборот. Мне нужно спасти человека. Женщину с мужем и ребенком. Если они останутся здесь, их убьют. Других путей у меня нет. Только ты можешь помочь мне. И ты должен это сделать, потому что я в первый раз за все время прошу тебя оказать мне услугу. Помнишь, ты дал мне право потребовать полцарства? На том балу, на котором мы не были, за ту сказку, которую ты мне действительно дал?

— За сознание, что я дал человеку больше, чем у меня было... тогда.

— И еще, Александр: она носит твое имя, и это значительно упрощает все дело. Ведь не можешь же ты жениться и увезти и мужа твоей жены? По счастливой случайности произошла путаница, и в то время никто не обращал внимания... у нее пропущена девичья фамилия и в паспорте только две: теперешняя и первого мужа.

— Как ее зовут?

— Звали: Тамара Николаевна Басманова — пока не вышла замуж вторично. Это «рыжая девченка, пари на кобылу». Впрочем, она уже далеко не девчонка, у нее нечего менять, она давно перестала красить волосы женой, и ручаюсь, не наделает тебе хлопот. Ей надо только добраться до Америки, там — родные.

Я редко видела более ошеломленного дипломата.

— Тамань? Здесь? Замужем, с ребенком? Но причем тут ты?

— Я не институтка, чтобы обожать подруг, но дом Тамань — мой единственный родной дом, и сама она, моя киргизочка — единственный родной человек. Больше у меня никого нет. А то, что она до сих пор не читала Шекспира, и способна спутать Лукрецию с луком — для меня даже трогательно. Она научила меня многому поважней, чем история стилей: ценить рыцарство, Александр.

— Но может быть, найдется какойнибудь другой выход... Почему ты раньше ничего не говорила?

— Других путей нет. Поверь, я обратилась к тебе последнему, хотя ты можешь больше всех. Я... мне было это очень тяжело. А не говорила потому, что, во-первых, ты довольно пренебрежительно отзывался о ней в самом начале, рассказывая кое-что из своей жизни. Ты был очень рад своему «вдовству». А во-вторых, вы встретились однажды у меня и не узнали друг друга. Разве ты хотел бы знать раньше? Кажется, и сейчас то не очень рад этому.

— Признаться откровенно, да. Когда люди сходятся на несколько недель, буквально в седле и расходятся потом на всю жизнь... Через столько лет, понятно — ничего общего. Ребенок, надеюсь, не мой?

— К счастью, не твой.

— Все-таки это очень сложно... У нее есть, по крайней мере, деньги? Не для документов, конечно... на проезд.

— Будут.

— А она знает о твоей просьбе?

— Она знает только, что у нее тоже никого нет, кроме меня.

— Но в конце концов, Иолик... Я хочу увезти тебя. Все это делает тебе честь, конечно... Я даже рад, потому что ты оказалась именно такую, как я думал... Значит, только сбивалась иногда на другой тон. Но, ведь, это ты, ты! Называй меня эгоистом, если не понимаешь. Через неделю здесь будет ад на земле и на небе. Я могу взять только одного человека и должен увезти тебя. Мы найдем какой-нибудь другой выход твоей подруге. Я не могу считать ее своей женой, никогда не считал. Мальчишеская выходка. Если она взрослый человек, то должна думать точно так же. А я должен думать о тебе. Пойми же, что нас связывают не несколько недель, а несколько лет. Иногда мне кажется, что я тебя совершенно не понимаю. Ну, хорошо, свободная любовь... Но, ведь, ты была девушкой. И за все это время у тебя не было никого другого. Ничего серьезного во всяком случае. Правда, у нас не было и обязательств, но разве это не обязывает само по себе? Разве ты... повторяю еще раз: я хочу увезти тебя и увезу, как бы ты ни смотрела потом на наш брак. Это уж твое дело, если только...

— Если только?

Неужели на свете бывают действительно волшебные вещи? Неужели у этого человека нашлось для меня не только пряничное сердце, галантный пустяк? Нет, не пустяк, а сказка, настоящая сказка? Неужели он любит, он, никого не любивший? Мелочный, эгоист, циник, усталый, все переживший человек все-таки может любить и любил все время? Этот странный взгляд по временам — серьезный, ушедший вглубь — Александр!

— Если ты только не любишь другого.

То, о чем я мечтала столько лет... Сколько лет пытки, выжигания в себе имени, которое поет? Александр! И сейчас, после стольких безрадостных лет, — хотя нет, не безрадостных, потому что даже так любить — хорошо... Из ада, который здесь будет, который уже здесь, в панике обезумевшего города, — в чужую, но и в далекую, залитую солнцем страну — с ним. А, может быть, я жгла слишком долго? Может быть, тоска не дает крыльев? Может быть, это только вспышка? Нет, правда. А если правда, то...

— Ты не можешь любить никого другого, иначе я не был бы я. А что касается Тамань...

Тамань! Маленькая пичужка, бьющаяся сейчас над своим гнездом. Тамань, маленький родной огонек. Тамань, верившая в меня так, как верила когда-то в Сандро. Даже больше. Названная сестра. Значит — давить — давить и мять? Разбивать иконки? Растаптывать, потому что вдруг поверилось в счастье? Или быть недостаточно сильной, чтобы снести и то и другое?

На малахитовой чернильнице лежала узкая, как будто ученическая ручка. Я взяла ее, переложила куда-то и, кажется, сломала кончик пера. На пальце осталось маленькое чернильное пятно и задрожала красная капелька. Тамань сейчас схватила бы йод и была бы уверена,

что заражение крови мне обеспечено. Это у нее уживалось с любимым наганом.

— Да, Александр, я люблю другого и поэтому остаюсь.

\*

«За днем проходили годы: зима сменяла весну... Олаф, молодой и гордый, на Юге выбрал жену. Но вспомнил родные фиорды, свою родную страну. Корабль его снова птицей в обратный несется путь, домой торопится рыцарь, и ветер вздымает грудь... А Ингрид? Ну что-ж... смирится... Забудется... Как-нибудь!

Ахой! В рождественский вечер на берег бы кинуть мост! Ахой! Хоть зажгли бы свечи! На небе не видно звезд.

Ахой! Им ответил ветер. Сорвался, завыл норд-ост.

Раз в год приходит Сочельник, а ждать его — долгий срок.

В старинном замке, у ели, зажгла Ингрид огонек — пусть светит среди метели для тех, кому путь далек!

Трещат в камине поленья. Забыл ли Олаф о ней? Вдруг слышит внизу волнение — кричат у самых дверей:

— О, Боже, какая буря! Кругом не видно ни зги! У берега гибнут люди — им, Господи, помоги! Что будет теперь? Что будет? Костры скорее, костры!

Но ветер несется низко и тушит огонь костров... Корабль у камней слишком близко — не видно во тьме берегов... И буря с воем и свистом несет клочки парусов. Но сердце принцессы знает — Олаф подает ей знак. Олаф во тьме погибает, и надо рассеять мрак. Свечу Ингрид заслоняет — свеча ей будет маяк. Все выше и выше по скалам карабкается огонек...

— Как мал он — внизу сказали — у свечки недолог срок... Заметят его едва-ли... Поможет им только Бог!

Но Бог чудеса свершает нередко — в сердцах людей... Огонь на скале пылает все ярче и все сильнее... Маяк им путь освещает среди бури и среди камней! Огонь пылает в утесах, а с моря песня звенит! Горят золотые косы, горит принцесса Ингрид. На берег кинуты тросы — а факел живой горит!

В фиордах чайки кричали: корабль не пошел ко дну! На берег брошены тали, выносит рыцарь жену... А на скале разметали оставшуюся золу.»

\*

Дни? Тогда не было дней. Ночей тоже. Время ринулось стремглав и остановилось.

Твое недоуменное лицо, Тамань, вопросы без ответов... Потом, когда-нибудь потом... Посольство, документы, визы, чемоданы, кавардак на полу. Моя оранжевая степь, под которой на корточках внизу у стены ты раскачивалась со своим «Ши намэ» — сорвалась и повисла под косым углом. Второпях, Тамань, ты ее забыла. В такие дни, говорят, ценятся настоящие люди и... настоящие металлы. Золото, во всяком случае, в цене. Я продала папин золотой портсигар — подарок какой-то высочайшей особы за удачный портрет. Больше у меня не было. Но теперь нет ни папы, ни особы, ни портрета. А мне он не нужен.

Тебе я сказала, что посольство провозит даром. Ты могла поверить тогда, чему угодно. Деньги принесла Александру от тебя. Чужие лица, чужие советы, просьбы, обещания, слезы... Лицо Александра тоже стало чужим. Отделенным от него самого, как на портрете. Ты тащила меня с собой, уговаривала о чем-то хлопотать, подделать какие-то документы. Все это как-то цеплялось одно за другое, как снежные хлопья в метель. Я уверила тебя, что непременно уеду и, действительно, собралась. Нашлись знакомые, помогли.

Вы улетали на аэроплане до ближайшей гавани. Потом океан. Помню только туман, морозящую сетку дождя, дрогнувшую улыбку Александра. Кажется, он хотел что-то сказать, может быть — самое важное. А ты нахохлилась под дождем. Смущенно топал Борис Палыч, вздрагивающим цыпленком сжалась Нина. Пичужки мои!

Как все это расплывчато, скомкано, бесформенно. Последние дни, последние минуты... Навсегда ведь, навсегда — и вот — ничего не помню... И опять туман, мокрая палуба дрянного пароходишки. К этой палубе пробиралась через лязг буферов, автомобили и просто канавы. Стальные шлемы, штыки, как будто подземный гул. Совсем уже близко... Море, холодное и чужое. Туман. Может быть, ты сейчас тоже плывешь по такому же. Почему мы не могли быть вместе? Почему Александр... А другие? Тысячи других умирают сейчас, мучутся... Больно... Прощай, Тамань. Хотя все равно не услышишь. Но в этот туман, по крайней мере, можно кричать по хрипоты:

— А-ле-ксандр...

\*

«Но Север хранит преданье, застывшие звоны саг, и в море знают преданье о том, как горел маяк. В любви же — всегда страданье, и это должно быть так.

С тех пор в Сочельник матросам, плывущим к стране родной, внезапно блистал в утесах огонь — маяк золотой. Горят золотые косы, и видит путь рулевой. Пусть буря волну вздымает, и небо темно без звезд, и пусть паруса срывает жестоким бичем норд-ост — тем ярче во тьме сияет горящее пламя кос!»

•

Прощай, Тамань. Теперь я рассказала тебе все — чего ты не знала. Прости, если это жестоко — себя я не щадила тоже. Если я отошлю тебе это письмо, оно будет, наверно, последним настоящим письмом. Останутся открытки на Пасху и Рождество. Прожили мы вместе очень много, вспоминать не к чему, а увидеться нам не придется больше. Забыть только не сможем.

Я знаю, ты живешь сейчас в большом белом доме на ферме. Помнишь, как мы собирались строить вместе мой белый дом с колоннами? Колонн у тебя, правда, нет, но зато много ванн. Твоя тетка, по нашим понятиям, состоятельная женщина. Я очень рада за тебя, Тамань. В какой-нибудь из комнат этого дома ты разостлала свой коврик, нашила много подушек и поешь «Ши намэ»... А в окне белый снег и комната от этого кажется высокой и белой, а ты себе — чужой и далекой. Все: и тому, что было, и тому, что есть.

Борис Палыч с довольным видом копошится на ферме. Куда как сподручней чужого садоводства, а дело привычное! А Ниночка через несколько лет вырастет американской герл с глазами тургеневской девушки. Будет лихо править автомобилем и флиртовать с Джонами.

Я никогда не приеду к тебе, Тамань. Как все это случилось? Ты не понимаешь, а ведь это так просто. Жила в чужом городе. Подрисовывала на жизнь. Ничего не хотелось. Викинг был там же, на курсах. Случайно встретились. Викингом назвала за простую целеустремленность. Викинги, Тамань, были простые и сильные люди. Они садились в утлые лодчонки и карабкались с волны на волну до каких угодно берегов. Эти люди знают, что такое туманы и пена. И больше им ничего не надо. Они умеют побороть море. А мы знаем только, что оно топит корабли и что вода проходит между пальцев и от нее ничего не остается — как и жизнь.

Мой викинг — школьный учитель в бедном прибрежном поселке. Тут рыбачил его дед и прадед. И теперь я тоже живу здесь. У Викинга — холодные, как талый снег, глаза и твердые руки. Он мне непонятен и чужд. Я ему тоже. Почему он меня любит? Наверно, потому, что здесь даже цветы без запаха. И приятно сознание мужского превосходства. Я не возражаю. Я люблю лежать за его спиной у печки, комочком, чтобы было тепло и чувствовать себя маленькой, никому ненужной, кроме этого сильного большого человека. И когда он меня целует, я знаю, что это действительно так. А когда брожу одна по этому унылому дому, где каждая вещь раздирает меня возмущением, я знаю, что я здесь такая же чужая, как ты у себя. Только по-иному. Днем — холодный туман. Вечером — дремотное тепло. И ни в какие Америки мне больше не ехать, Тамань. Не потому, что нужны визы и деньги, а потому, ни своей, ни чужих жизней я больше ломать не буду. И ни к чему, и устала. Если бы ты читала когда-нибудь Шекспира... «... вы боги, а мы и для людей — душой убоги». Нужно иметь мужество сознаваться, Тамань. Я признаюсь, что у меня ничего не вышло. Не было таланта — только казалось так. Из жизни я тоже делала картинки. Не сумела ни дать, ни взять. Холодно, Тамань. Кажется, вот уже совсем закуталась в ватный туман. Ничего не вижу и видеть не хочу, не слышу и не кричу, а вот... от твоего письма захотелось кричать.

«... Я часто вижусь с Александром. Мы стали хорошими друзьями и говорим о тебе. Как он тебя любил! Почему...?»

Сперва, конечно, мелочь: «Пряничное сердце принеси мне в подарок»... значит, это ты прислала мне тогда пряничное сердце. Ты хотела обрадовать, увлечь, дать сказку... и дала. Странно, смешно и немножко больно. Но, пожалуй, я все-таки была права: если в мире бывают волшебные вещи, то это пряничное сердце было тем более одной из них. И значит, я тоже оказалась права, но только в последнюю минуту. Александр меня действительно любил, так любил...

Поздно, Тамань.

Говорят, что в жизни каждого человека бывает четверть часа счастья. Надо только знать — когда. Большей частью об этом знают только боги. Потом они смеются. Об этом тоже писалось в книгах.

Спасибо за все, хорошая моя.

Есть старинный скандинавский обычай: в Сочельник перед елкой зажигать отдельные свечи. За тех, кто не с нами. Я зажгла сейчас елку и поставила на стол две свечи: тебе и Александру. Сделай то же в следующее Рождество, Тамань. И... скажи Александру. Рождество, ведь, у нас будет одним и тем же — ночь и снег.

Прощай, Тамань. Прощай...

\*

«Сурово пенится море, бросает и бьет корабли... Не сладко размыкать горе по далям чужой земли... Ушедших печальна доля, и тех, кто дома — одни. Мы все не помним о Боге и не зажигаем свеч; мы все — душою убоги, и ноша тяжка для плеч, в конце же какой дороги придется усталым лечь? Нам всем суждено проститься, но многим возврата нет, корабль — легкокрылая птица, его не заметен след. Пусть сказок шуршат страницы, горит в них нетленный свет.

Рождественский белый вечер, печальные звоны саг... Тоскует сердце по встрече, а сердце — великий маг... И мы зажигаем свечи — и верим — разгонят мрак. И тем, кто изведаль дали... И тем, кому нет пути... И тем, кто уйдя в печали, не мог дорогу найти. Тем даже, кто так устали, что вряд ли смогли дойти. И нам, отдавшим немного — а много ль осталось дней? Пошли, Господь, из чертога свечу от Твоих огней! И пусть хоть в этом сказанье, в осколке звенящих саг любовь нам светит страданьем, а это великий маг. Ушедшим — воспоминаньем засветит во тьме маяк.

Норд-ост под окном стучится, на стеклах туман разлит, и ночь, как замерзшая птица, в глубоком снегу лежит... В Сочельник нам должен сниться маяк Золотой Ингрид!»

1939 г. Рига.

Растворившиеся на горизонте облака делали небо мутным и молочно голубым, солнечная пыль застилала даль, в душном море устало покачивались рыбацьи паруса, и таким же ленивым облаком стлался парходный дымок. На песке, в набегавших зеленых волнах терпкой, горячей воды, в бледно оранжевых ракушках копошились смуглые ребятишки, а еще подальше, у плетеных кресел, распускались оборчатые зонтики над белым кружевом дамских платьев. И надо всем этим, над ступенями пологих лестниц, спускавшихся к морю, грохотал, цокал, захлебывался самый веселый, шумный, неожиданный, белый приморский город — Одесса.

Лиу Лин жила на одесских улицах, видела их раскаленными и пыльными, в навесах над столиками кафе, и вечерними, когда молча и упорно отклонялась в сторону от приценивающихся взглядов чужих и бесстыдных людей. Лиу Лин знала много чужих лиц — смуглых и бледных, с черными горошинками глаз, с белокурыми и черными усами, с лихо сдвинутой на затылок фуражкой или шляпой.

Она знала, что к толстому человеку с красным лицом, задыхавшемуся в чесунчевом костюме, сидевшему по утрам всегда у Фанкони, приходили по вечерам с Пересыпи загорелые люди с серьгой в ухе. И он же заплатил много серебряных рублей за маленькую бедную Лизу, худенькую девушку, жившую неподалеку от прачешной матери Лиу Лин. Потом Лиза ездила в лакированном экипаже, и на ней были те самые тонкие кружева в оборках, которые было так трудно гладить, и она громко смеялась, но глаза остались те же — запуганные и забитые.

Лиу Лин долго помнила Лизу — однажды та остановила коляску и капризно велела сидевшему с ней рядом человеку — но это был уже другой, с черной бородой и кольцом на пальце:

— Возьмите у нее мимозы.

Впрочем, так бывало часто. За крохотный букетик Лиу Лин получала иногда гораздо больше, чем за два дня горячих утюгов и крахмала в низенькой комнатухе прачешной.

Иногда в усталых, как сморщенные, запылившиеся черносливы, глазах матери мелькал любовный отблеск: мать ее матери, жившая в Пекине, считалась самой искусной ткачихой, и она, вместе с другими избранными, удостоилась высокой чести ткать кусок особой материи, предназначавшейся только для принцесс императорского дома. Материя эта называется «лиу-лин», и в небесно-морском, единственного цвета шелке вытканы треугольники журавлей, прорезающие небо, увлекающие за собой неутолимую тоску глаз.

Те, кто ткут ее — часто слепнут, но никто не смеет слишком долго любоваться драгоценным шелком, ибо он должен радовать глаз только сына Неба. В их роду долго еще говорили об этой чести, и слепая старуха пользовалась большим уважением. А когда родилась внучка, мать позволила себе неслыханную смелость, и назвала ее именем, в котором сочеталось самое редкое и дорогое: Лиу Лин, струящаяся драгоценность, Лиу Лин, устремленная в даль.

Но Лиу Лин думала иногда, что ей лучше было бы носить имя цветущей яблони, или мимозы, потому что они сильно обеднели после смерти отца, и ей приходилось теперь продавать на улицах цветы. Это не очень почетное занятие.

В смуглости личика маленькой китайки была чистая хрупкость, как в пожелтевшей слоновой кости, затаенная мудрость в узком древнем разрезе глаз, и тоненькая, качающаяся фигурка ускользала от намеков, от тянущихся рук.

Прокатиться в экипаже? Получить шелковое кимоно? Или выпить бокал такого красивого вина? Или — может быть, золотое колечко? Или много серебряных рублей?

Лиу Лин улыбается всегда одной и той же, непонимающей, вежливой улыбкой. Так улыбаются статуэтки за стеклянными витринами: они очень красивы, о да, на них можно смотреть, но их нельзя трогать.

Так, в шумных одесских улицах, в грохоте дел, авантюр и поцелуев, скользила, впитывая и пропуская сквозь себя, как сквозь стекло, все шумы, улыбки и запахи — маленькая улыбающаяся статуэтка, уличная цветочница, китайночка Лиу Лин.

\*

У него было все: двадцать с лишним лет, титулованные родственники, отчетливый звон шпор, английская рыжая кобыла, хрустящие бумажки, веселые золотые, и строгие черные строчки серьезных газет и толстых журналов, подписанные коротко и ярко: «Герцог».

Он лихо осаживал лошадь перед командиром полка, вдохновенно кутил со знаменитыми артистами, денег не считал и даже не тратил их, а просто отбрасывал, так же, как бросал в редакциях блестящий каскад игры холодного, тонкого ума, уверенной дерзости искрометного таланта. И, конечно, восхищал и увлекал женщин.

Герцог Великолепный.

В кафе, в ресторане, в парке — мелькала высокая, чуть сутулая, несмотря на мундир, фигура, крупные черты лица, откинутае со лба вьющиеся волосы, холодные голубые глаза за стеклами модного, небрежно съезжающего пенсне. Всегда с артистами, редакторами, писателями и красивыми женщинами.

И у подъездов, на улицах, у ступеней террас за ним следили узкие черные глаза на застывшем личике, и робко протягивалась рука с ветками глициний и мимоз, без слова.

Герцог никогда не видел ее.

Она знала, что он — писатель. От случайных знакомых, от подхваченных на лету взглядов, улыбок, намеков, кивков головы.

— Это Герцог — разве вы не знаете? Он проиграл вчера тысячу рублей в клубе Мамонту Дальскому...

— Это Герцог — граф Комаровский говорил мне вчера...

— Это Герцог! Знаете его последний роман?

Вот так, оставаясь в тени, можно узнать много. Знать, например, что в таком то часу он приезжает в редакцию большой газеты, а потом идет завтракать. Завтрак нередко переходит в обед, потом в ужин... И, наконец, под утро, на рассвете, он возьмет у нее охапку вздрагивающих, покрытых росой цветов, чтобы отвезти их высокой красивой даме, которой долго целует руку.



Но он не заметит, как шелестят цветы, не увидит слишком внимательных глаз и дрожащей улыбки, переставшей теперь быть только вежливой. Робкой, пробуждающейся улыбки маленькой цветочницы. Он не заметит Лиу Лин.

Как печально, как больно и радостно любить высокого человека с холодными голубыми глазами за стеклами режущего пенснэ!

У Лиу Лин пятнадцатая весна. В это время девушки ее страны становятся трепетными и мягкими под мужскими взглядами, а поэты слагают именно о них тонкие, как акварельные штрихи на ломкой бумаге, строфы о луне. Но Лиу Лин живет далеко от Китая, и в Одессе выучилась не только говорить, но и читать по русски. Она училась многому и на улицах, особенно теперь, когда можно было найти в дорогих журналах отточенные черные строчки с такой близкой, звучной подписью: Герцог. И вряд ли были напечатаны такие строчки, которых не знала бы Лиу Лин. Все, все до одной, такие же далекие и непонятные, как он.

\*

Парк заткан утренним золотом. Сегодня много рыбацких лодок и нарядных яхт выйдет в море. Но Лиу Лин только краешком глаза косится на зеленые волны, пробегая дальше. Вчера вечером Герцог поехал кутить. Если она встретит его сегодня утром, то, может быть...

Чудесные магнолии еще покрыты росой. От их запаха больно сжимается в груди ноющий, сладостный комок. Над ступеньками террасы кусочек неба сквозит сквозь листья. Неужели оно не подарит ей и сегодня его улыбки, неужели во всей ее жизни будет такая же тоска, как в данном ей имени, в призывном кличе улетающих журавлей?

Веселый темноглазый офицер, такой свежий, что, кажется, и не кутил всю ночь, смеясь кому то в ответ, выскочил на ступени террасы.

— А, маленькая Лиу Лин! Нет, я не хочу сегодня цветов. Мне надо в полк, а там, знаешь, не полагается букетов. Но я хочу, чтобы ты приколола один цветок к своим волосам. На вот, лови!

Лиу Лин низко кланяется, прижимая цветы к груди. Этот часто встречает ее, знает даже, как ее зовут. Он подарил ей сейчас целый золотой — просто так, за тот цветок, который она оставит себе.

Лиу Лин долго смотрит ему вслед, тихонько шевеля губами. Пусть бог счастья озарит своей улыбкой его молодую дорогу!

Лиу Лин оборачивается и видит на ступенях террасы другую фигуру.

Герцог устал от долгого кутежа. Встретились со знаменитым певцом, с того и началось... в конце концов он остался один. Остальные разъехались, или спят. Он щурится на солнце. Однако, уже поздно. В клубе проигрался до тла! Не надо было садиться с этим шулером. Счет из ресторана пусть пришлют в редакцию. Пустое — просто взять аванс...

Он твердо стоит на ногах. Оглядывается. Маленькая китаяночка на ступенях протягивает магнолии.

— Что? Нет, милая, сегодня для меня не растут цветы... Нет денег — понимаешь? Ужнул все... но... где это сказано, что у меня нет денег? Издатели существуют для того, чтобы у них брать авансы, запомни это. Надо разбудить извозчика и сказать ему, что у меня нет денег. Пусть гниет в подъезде. Меня зовут Герцог — этого достаточно.

Лиу Лин бросает на лиловый песок дорожки свои магнолии. Бежит к извозчику, подталкивает кулачками широкую, нахохлившую спину.

— Мой адрес, — громко говорит Герцог.

Лиу Лин быстро вынимает из за пазухи теплый еще золотой, сует его извозчику в руку, только чтобы донести как следует, уже на ходу застоявшегося коня бросает в пролетку пахуче ласкающие магнолии.

— Вот . . . вот вам.

— А? Спасибо. Вы очень любезны, герцогиня. Я, конечно расплачусь с вами . . .

Пролетка раскачивается на мягких шинах, уходит в солнечную уличную пыль. Лиу Лин поднимает к лицу пустые руки. В них больше нет ни цветов, ни золотого, ни весеннего сердца, брошенного в извозничью пролетку человеку, который не увидел, не знал, не улыбнулся.

Бедная маленькая Лиу Лин! Весеннее сердце нельзя бросать на улицах.

\*

Встречи ценны, если их помнят, забывающиеся проходят без следа. Все же запомнившееся продолжает жить — трогательной ласковой улыбкой, памятью тоскующих глаз, следящих и за полетом журавлей за парусом в уходящем небе, за пушинками одуванчика, растворяющимися в солнечной пыли — и за трепетом падающего лепестка — ах, за многим, очень многим в жизни следят внимательные, грустные глаза. И в этой потаенной и знающей грусти их — счастье боли, недоступной холодному сердцу.

\*

Война, революция — исход.

В серовато-зеленых стенах коридора редакции большой газеты, где толпятся сотрудники, проскакивают мальчики с велосипедами или стаканами чаю — из дверей кабинета с матовой дверью и строгой белой надписью «без доклада не входить» — выходит сутулый полный человек. У него покатые тяжелые плечи, откинута назад серая от седины голова, сползающее на кончик носа кривое пенсне с жесткими стеклами.

Когда он проходит, сотрудники переглядываются. Кто пустил вчера злую фразу о том, что солнце, сверкавшее раньше в искрометном фонтане ослепительных каскадов, закатилось, и осталась только вода, отражающая прежний блеск? Но никто не решается произнести этого вслух. Герцог уничтожающ и ироничен, он бьет и часто, и на смерть.

— Послушайте, батенька, — останавливает его издатель, вернувшийся недавно из заграничной поездки, — что же это про вас рассказывают, а? Говорят, что женщины платят за вас извозчику?

Герцог удивленно пригибает голову совсем к плечу, но ловит улыбку и успокаивается.

— Я привык к тому, чтобы мои шоферы гнили в подъездах, на мои деньги многие из них стали владельцами собственных такси и вы, по обязанности издателя, выдали мне на это не мало авансов, о чем еще лучше знает ваш кассир. Если после этого кто либо еще осмеливается утверждать, что он платил за меня извозчику, то эта клевета не оскорбит меня. Она беспомощна.

Он одобрительно заканчивает «гм» и направляется к выходу. —  
— Пойдите, пойдете завтракать, и я вам расскажу удивительней-  
шую историю...

\*

Копенгаген. Большой серый отель. За матовыми стеклами зала в круглых кожаных креслах сидят двое. Разговор ведется по русски. Издатель газеты приехал в Копенгаген и встретился с живущим в Дании сотрудником.

Гости приходят, уходят. Около столика элегантно одетая дама пере-  
листывает журналы. Крутящаяся дверь, молодой человек с девушкой,  
лакированные чемоданы, телефоны, бои, лакеи, портье...

Люди, говорящие по русски, встают и идут завтракать. На полиро-  
ванном столе остается номер газеты. Через несколько минут сотруд-  
ник возвращается. Он забыл привезенный ему экземпляр, а там надо  
было еще посмотреть кое что... Но газета в руках элегантной дамы.  
Она замечает его не сразу, потом поднимает голову.

Желтовато смуглое лицо, узкий разрез приподнятых глаз, прятая  
экзотика в парижской модели.

— Простите, — это ваш журнал, да? Я слышала, как вы гово-  
рили... О, конечно, вы не могли предположить, что я понимаю по  
русски. Но мне так хотелось спросить: вы — сотрудник этого журнала  
— газеты? Вы знаете — Герцога? Здесь его статья. Он живет — там,  
в этом городе?

Подходит заинтересованный издатель. У этой, молодой еще, кра-  
сивой китаянки такой очаровательный, щебечущий акцент, как птичье  
цоканье, такая пленительная улыбка, золотящая воспоминание.

— О, я давно уже хотела спросить вас, как только услышала, но  
боялась. Я знала Герцога — в Одессе. Я жена китайского консула.  
Тогда, в Одессе, я была простой цветочницей, продавала на улицах ми-  
мозы и глицинии. Часто встречала его — в ночных ресторанах, на  
рассвете. Он всегда брал у меня цветы — для других женщин. Од-  
нажды у него не хватило денег, и я заплатила извозчику, чтобы он  
довез его... Больше мы с ним не встречались... И он никогда — по-  
нимаю ли вы — ни разу не видел меня! Но я его помню. Скажите, он все  
такой же... и так же... пьет?

Жена китайского консула качает подстриженной головкой, в угол-  
ках покрашенных губ дрожит робкая улыбка маленькой Лиу Лин.  
О, с тех пор прошло много ужасных лет. Для русских, для Одессы,  
для Герцога! Лиу Лин много училась. Лиу Лин уехала в Китай и вы-  
шла замуж за вежливого китайца в роговых очках, очень ученого  
и почтенного молодого человека. У Лиу Лин двое степенных малень-  
ких китайчат с такими же восковыми улыбками.

Лиу Лин стала настоящей дамой. Она часто бывает в Париже, о да,  
она ездила в Лондон, когда ее муж был там секретарем посольства.  
Но сейчас, с этими чужими людьми, говорящими на забытом почти  
уже языке, бывшим когда то таким же родным, как свой, Лиу Лин  
видит себя тоже такой, как раньше — робкой, тоненькой фигуркой,  
скользящей по улицам Одессы.

— Скажите, он все такой же? Он так же... пьет?

Лиу Лин произносит это с прежним благоговейным ужасом. Герцог не может иначе, хотя, хотя это так ужасно!

— Может быть, он нуждается в чемнибудь? Ведь русским теперь так тяжело . . . Скажите . . . о, я так хотела бы помочь ему . . .

\*

В этот день сотрудник газеты долго катается на автомобиле китайского консула. Они едут за город, и он рассказывает все, что знает, видел и слышал о «Герцоге Великолепном». Да, он был на войне, ранен, женат, эмигрировал, пишет и пьет попрежнему.

Что, если бы Лиу Лин встретила сейчас с пепельно-седым, грузным человеком, так давно уставшим от жизни, что не может загореться даже воспоминанием? Но она не встретится с ним, нет. Он так и не увидит ее — никогда.

И ему ли — или маленькой цветочнице улыбается дама, выходящая из автомобиля перед зданием консульства? Ему ли или вот этим догорающим штрихам тающей акварели облаков в закатном небе, в бледной северной дали, в жизни этой, большой и страшной, прекрасной и жестокой, — в жизни, отнимающей — и дающей мечту?

Вечером того же дня сотрудник газеты отправил в редакцию длинное письмо. Герцог прочел о маленькой сценке в зале отеля, о забытой газете, поездке в автомобиле, жене китайского дипломата, одесской цветочнице, и извозчике, получившем золотой. Герцог был очень тронут. В течение трех суток он объезжал подряд все рестораны, и в каждом из них рассказывал друзьям об удивительной встрече — той, кем была раньше маленькая китайка — с тем, кем он был раньше сам.

Он собирался даже написать ей — ответить на воспоминание. Но, может быть, побоялся смахнуть пленительную дымку? С мимозами надо обращаться очень осторожно — нельзя осыпать их золотистой пылью. Или — просто забыл?

Но Лиу Лин сохранила в уголочке памяти, в осколочке сердца золотистую пыль веселых и бесшабашных, пьянящих и беспощадных одесских улиц, потому что ни весна, ни молодость, ни надежда не забываются никогда — они только уходят.

Герцог так и не собрался написать ей.

Бедная Лиу Лин!

1936.

Мы привыкли рассчитывать заранее, как будет. А вдруг говорим какие-то слова, сворачиваем в сторону, берем в руки вещь, опаздываем на поезд — словом, делаем что-то, о чем не думали за минуту до того, и именно это слово, движение, жест — даже переворачивает иногда всю нашу следующую жизнь.

«Случайность»?

Называть можно как угодно, угадать заранее невозможно, а решение наше — не причем.

Мне давно хотелось купить себе под елку пряничный домик с Бабой-Ягой и — пещеру с яслями, вертеп, с резными деревянными фигурками волхвов, пастухов, и Вифлеемской звездой наверху. Это — католический обычай, но он мне нравится, и сейчас я живу в стране, где в лесных и горных деревушках с незапамятных времен работают замечательные резчики.

Но хорошая работа стоит дорого, и до этого Рождества купить не удавалось. Теперь сделала сама себе подарок, и пряничный домик захватила тоже — забавный такой, поставила с другой стороны под елкой. Обряжала ее и радовалась. Тех, кто не любит игрушек, можно только пожалеть: у них холодное сердце.

В Сочельник возвращаюсь с работы домой уже к обеду, и считаю, конечно, что мне все известно заранее: вот приеду, еще последние хлопоты, потом можно будет отдохнуть у елки, дожждаться колокольного звона, — в церковь не пойду, далеко слишком, — и зажечь свечи.

... Да, Сочельник должен быть тихим. Правда раньше, когда собиралось столько своих, хорош был и веселый шум... но это было. Тогда можно было и мечтать о какой-нибудь радости подарком под елку, и долго не резали королевский пирог в ожидании еще одного, случайного, незванного, радостного гостя. Иногда и такие случались.

... А потом будет так тихо, что слышно, как капает воск со свечек, и звенят ландыши, и как всегда на святки, я возьму книгу, которую читаю каждый год в эти дни, и снова перечту бессмертную «Рождественскую Песнь» Диккенса — лучшего ничего нет о Рождестве.

Дорога домой длинная, за город, мысли спокойные, тихие, как туман вокруг. Город давно позади, кругом поля, лес уже близко, но его не различишь, даже березу у дороги не видно, пока не встанет вдруг, будто пугает, покачнувшимся столбом. Туман снизу белый от широких снежных полей, и такой густой, что кажется в нем надо кричать, чтобы услышали — хотя кому же придет в голову звать в тумане — ушедших?

Такая умиротворенная усталость от этой тишины, что когда ни о чем особенно не думаешь, то все кругом или пропадает совсем, или каждая мелочь отмечается с совсем ненужной тщательностью: на решетке забора, например, справа внизу, застрял ком грязи, и теперь оброс снегом, как мхом. Снега немного, из-под него торчат белесовато-глинистые камни. Щепка какая-то с зазубринами лежит, как деревянный гребень: такими раньше расчесывали лен...

Почему я наклонилась вдруг, подняла эту щепку — и бросила ее через плечо, открывая калитку? Просто так, не думая. А ведь с этого и началось, как на раздвоенной дороге, когда не успеешь заметить, как уже идешь в другую сторону.

Как то слишком быстро все оказалось готово, все летело из-под рук. Не успела оглянуться, как потемнели окна — неужели я не заметила, что задернула шторы? Но нет, они висели складками сбоку, а подойдя к окну, я увидела вдруг, что вокруг дома стоит густой, темной стеной самый настоящий бор: громадные, вековые ели, корявые березы, дубы, сосны, — от них темно! Бор, какой может быть только на севере, и то в глуши, а не на окраине европейского города, и ведь не было его раньше!

Подбежала к другому окну — стоит лес, и тихо. К третьему не пошла. Штор не задернула тоже. Села на диван, прямо против елки, и приготовилась ждать, рассуждая логически: если я не видела леса раньше, — значит, мне туда и не надо ходить, а смотреть из окна. Снег то какой! Искрится, переливается, блестит... Вспомнила про щепку с зубцами у калитки, деревянный гребешок. Бросила ведь его, как полагается, через левое плечо, — вот, как полагается, и лес вырос. Хорошо еще, что ленты не было — а то разлилась бы речка, дом подмыла, — куда тогда деваться?

Однако, после первого радостного испуга стало неинтересно. Бежать мне, за лесом хорониться, слава Богу, пока еще не от кого, набегалась уже. Ну вот, вырос он, а дальше что? Не дрова же рубить, в самом деле, да в таком снегу и шишек не подберешь, — опять же, лучше не выходить — неизвестно, что и к чему: пусть растет, если ему хочется.

Долго ждать не пришлось — дверь открылась, да так кажется и осталась открытой, потому что они все входили и входили, и шли, медленно и молча, и все как то поместились в комнате, полукругом, хотя один все таки вскарабкался на диван, в другом углу, и быстро сунул в карман орехи со столика — тролль, конечно, старый знакомый.

Удивительного в этом ничего не было. Если мы покажем какомунибудь готтентоту телевизор, то иначе, как большим колдовством он его считать никак не сможет. Однако самая хитроумная, пусть даже космическая наша техника все таки в трех измерениях только, и перед четвертым мы такие же готтентоты. Если и случаются прорывы, так неожиданные, как выстрел, такая же молниеносная вспышка. До сих пор я гномов видела мельком, домового — больше, а с лешим аюкалась только. Может быть, теперь они решили придти в гости?

В таком обществе мне еще не приходилось бывать, на картинках даже не видела, потому что собралось их так много, и совсем незнакомые даже. Впереди Баба-Яга с клюкой, красные глаза слезятся, один подбит, и рот досадливо и жалостливо, по-старчески шевелится, как шамкает что-то. Гномы, домовые, тролли уселись на полу, и с ними мухомор на тонких белых ножках, лысая шишка с деревянной бородой, а леший залез, как куст, в угол, качает на ветках кого то, или кажется только так... Если бы они не шевелились, то походили бы на резные фигуры, а будь поновой костюмы, то как в театре за кулисами:ходишь и видишь вдруг, что идет король навстречу, в короне и мантии, а рядом с ним фея или еще кто-нибудь.

Но здесь не короли, и костюмы, признаться, порядком поношенные, совсем не атласный театральный коленкор и вообще ничего ослепительного и поражающего: каждый в своем обычном платье, а они ведь все из леса, в шелках не походишь, особенно по бурелому.

— Не походишь и не полетаешь больше, и не для кого, — закончила вслух мои мысли Баба-Яга, и толкнула вперед метлу; метла выдвинулась поближе к дивану, и Баба-Яга уселась на ней боком, по дамски, поблескивая на меня красным круглым глазом из под косматой брови. Второго глаза я не могла видеть — наверно, его действительно подбили ей, для того она и уселась так.

— Житья нам больше не стало!.. — воскликнули все хором.

— Понимаю. В наш атомный век... — я постаралась выразить как можно больше сочувствия в голосе. Я их давно уже жалею, но пока это были теоретические рассуждения, а сейчас могу сказать прямо.

— Лет с тысячу, а может и больше тому назад, — начала снова Баба-Яга, и я поняла, что они выбрали ее спикером, — заночевала я как то на одном молодом дубке. Потом эти леса стали литовскими называть. И лет тысячу подряд и окрестные, и проезжие уважали этот дуб, приносили мне под него еду, вешали венки и разноцветные ленточки. И хоть сотни лет колокола звонили, но меня не забывали, нет. А вот теперь — представь себе! — отгородили этот дуб решеткой, и повесили в честь кого-то другого красный флаг! Это, знаешь ли, почище того, как пытаться красивых девушек за то, что они колдуньи, когда они и метлы никогда не нюхали, не то, чтобы летать. А теперь во славу этого самого красавицы в штанах, звезда сзади и спереди, в вонючей коробке меня перегоняют!

Я снова, на этот раз молча, выразила сочувствие.

— Конечно, про то тебе лучше знать, — грозно сказала она, хлопая морщинистой рукой по метле, так что та стучалась другим концом об пол, — но я и знать не хочу, у меня и так не хватает слов! Ну, допускаю, что я в свое время полетала порядочно таки по белу свету, попугала людей, а больше всего ребят, чтобы слушались старших. Скажи мне только пожалуйста, многих ли я действительно к себе перетаскала? Чаше приходилось только пугать, поверь мне! И на меня управа находилась, да еще какая, а на этих, заумников ваших, на серый люд — где управа?

— Найдется и на них, — примирительно сказала я.

— Не могу я, матушка, ее дожидаться! Стара больно, пора бы и отдохнуть!

— Негде! — поддержали хором гномы и тролли. — У нас все скалы подрыли, из гор все золото повытащили...

— Леса повырубили, сажают елки-палки рядками, на бороздах, — загудел леший, — консервные банки под кустами валяются, валежник начисто подбирают...

— Ни одного дома не осталось, где бы люди сотнями лет жили. Мечутся с места на место и других гоняют. Мы домашние, мы не можем бросить так, без призора, а в новые не залезешь — стенки тонки... Жаловались серенькие домовые, а за ними закрихтели, заныли все остальные — мухоморные, бородатые...

— Это еще что, — угрюмо поддержала их Баба-Яга. — В конце концов умеем же мы волшебить, нашли бы себе укромный угол. В

другом дело. Для кого стараться? Никто в нас не верит, вот что. Никого не испугаешь, если и в добро не верят, и зла не боятся. Проткнули небо насквозь, и свет потеряли. Ну, а если неба по ихнему нет, так мы как же? Повыбросили все сказки, а вместо них роботов поставили, пустые коробки с пружинами вместо сердца.

Ах, я знала еще больше, я могла бы пожаловаться не меньше! Но меня осенила гениальная мысль.

— Скажите: а если, как временное пристанище, хотя бы... в гости, скажем — ко мне? Я могу вам весь чердак отдать...

Баба-Яга заклекотала, как ворона, и я не сразу поняла даже, что это она смеется так.

— Ах, ты!.. Нет, мы в общежитие не годимся, тесниться не привыкли. Да и ты долго с нами не проживешь — другие заметят, тебя в сумасшедший дом упрячут. Нет, дело в другом.

— Дело в большем... — зашептали гномы, уселись совсем прямо, и притихли сразу, а Баба-Яга отшвырнула метлу и встала, разогнув спину и пристукнув деревянной ногой. Теперь она даже и про фонарь под глазом забыла — наверно, зазевалась, и соскользнула со своего плана в наше измерение — вот и стукнул ее какой-нибудь мерзкий джет.

— Все мы, нечисть лесная, — начала она торжественным, хриплым голосом, — собрались и держали совет, и решили: нет нам больше житья на этой земле! Уходить пора, избавиться от людей...

И это уже случилось, я сразу вспомнила Киплинга: его Пук тоже рассказывал, как из доброй, старой Англии уходили древние боги, когда им стало невмоготу, уплыли в туман на лодках.

— Было у нас здесь свое место, и каждому положено, что делать. Наверху — небо, на земле — люди, а мы, лесные, между людьми и землей.

— Мы им помогали тоже! — горячо вступились гномы, а тролли опустили глаза, потому что они не так уж щедры были на помощь, как те.

— И это бывало, — Бабе-Яге не так легко было видно похвалиться добром, — случалось, случалось. Правда, больше подшучивали, пугали, в этом легче признаться. Но ведь мы на то и были, мы свое место знаем. Теперь уходить надо, а податься некуда. И вот...

Прямо стоять ей видимо было трудно — она согнулась, тяжело оперлась на клюку, круглые красные глаза смотрели на меня в упор, и с таким странным выражением, что мне стало неловко. Что она пыталась сказать мне, чтобы я поняла, и подбирала с таким трудом слова?

— Может быть, вам попросить кого-нибудь? У вас есть ведь заступники тоже. Взять хотя бы Диккенса — вот у меня на полке, — Уайльда, а главные на севере — Лагерлеф, Андерсен. Есть и на востоке... А Александр Грин чего стоит... и я только самых любимых назвала, а еще сколько...

— Знаем мы их, всегда дружили, только где их сейчас найдешь? А дело серьезное, нельзя откладывать, совсем большое дело...

Я все еще не могла понять.

— Сегодня, сейчас зазвонят колокола, и люди будут праздновать Рождество, — тихо сказала Баба-Яга, и видно было, как ей трудно выговаривать непривычные слова. — Елки зажигают, и вот... у тебя



стоит Вифлеемская пещера, и над ней звезда горит. Ангелы... прилетают и поют, что родился Избавитель от всех зол... им хорошо петь, ангелам! — рассердилась она внезапно, и застучала клюкой. — У них беленькие крылышки, и голос звонкий и сладкий! А куда ж мне то, нам спеть, у нас белоснежных крыльев нету, у нас чертополох и шишки, мы нечисть, мы и имени Того, Кто на небе, из Вифлеема, произнести не смеем все!

Она закашлялась, а у меня сжалось горло. Сколько раз приходилось слышать именно все, от тех, кто по образу и подобию, а грызли другому горло куда хуже, чем эта вот ведьма, знающая свои грехи и не смеющая поднять глаз...

— Надо нам, — прохрипела она наконец, — тоже зажечь елку. Свечи чтобы, перед пещерой с яслями. Помолиться нам надо бы, а сами не смеем, вот и надо, чтобы живой человек, который может произнести Имя, попросил за нас избавить нас от людей! Не смеем мы сами, страшно нам! А не сказать — как же услышать можно? Нет у нас больше власти ни над людьми, ни на земле, волшебные слова знаем, а такие выговорить недостойны!

Такого я не ожидала, и мысли заметались врасплох. В богословии я не очень сильна, но о ереси Оригена слыхала — осудили его за проповедь конечного милосердия, прощения зла... Может быть, им разрешат хоть на паперти встать, раз уж в церковь войти нельзя? И как я могу просить за них, и можно ли просить такое человеку?

— Не думай, не думай, — зашептали гномы, подталкивая меня к елке, и быстро взбираясь по веткам. — Некогда нам выбирать — вот и пришли сюда. Не за себя просишь, за других, убогих... мы тебе тоже помогали, вспомни!

Далеко ударил первый колокол, и шепот оборвался, стало тихо-тихо. Мне было просто страшно. Но под елкой, над вертепом горела крохотная свечка в звезде, освещая Младенца и склонившихся над Ним, и приникших волхвов, и пастухов, и стада... бессловесных тоже.

«И на земле мир, и в человецех благоволение», — сказала я громко, и решившись, опустилась на колени, — помилуй же, Господи, и этих убогих, лесную нечисть, и дай им избавление от нас, недостойных детей Твоих, и пошли всем нам мир!

Я говорила и плакала, а они все стояли на коленях и плакали тоже.

На елке загорелись свечи, как звезды, и колокол пел рождественскую песнь, а звезды сыпались золотым дождем, и каждому из них упало по одной на руки. Они прижимали их к груди, поднимали высоко над головой, и все еще плача, потянулись медленной вереницей в темноту, в открытую дверь, звездной цепочкой по лесу, все дальше и дальше... и знали, куда им идти теперь. А из темноты этой шепотом, неумело и робко, повторяли хором все те же слова:

«И на земле мир... и на земле мир...»

Молились, в благодарность, как умели, за покидаемую землю. Может быть, и за меня тоже.

1959. Мюнхен

## О ДОБРОМ СЛОВЕ

Под громадными часами на башне стоит фигура, и снизу кажется совсем маленькой. Статуя поставлена в честь одного из основателей города, ставшего потом святым. Но об этом забыли. Много сотен лет эту фигуру называли просто «Колбасный человечек», а если так обращаются со святыми, то нам уж и подавно можно поговорить о простых вещах.

Автомобили делают по площади неровный круг, объезжая выступы и углы старинных домов; низ каменный, а верхние этажи слегка выдаются вперед, и уложены в клетки и перекрест темных, почти черных бархатных балок. Очень красивые дома, и вечером, когда фонари уже зажглись, а сумерки еще прозрачные, как легкий дым, они особенно картинны.

На крышах, в темнеющем небе поднимается гора и видны стены крепости над верхушками елей и буков. Если обернуться в другую сторону, то можно разглядеть еще и другую гору, зубчатую от леса, с торчащей наверху башней замка. Но чтобы различить третью, нужны орлиные глаза. Нет, третьей горы не увидеть с площади, но известно, что она есть, и что эта гора — последнее убежище гномов, которым больше совсем некуда деваться.

Площадь называется «Базарной», и время от времени на ней действительно торгуют: осенью, например, «Луковый базар», на котором главное — пироги с луком, и их все едят, как пряники на Рождество.

Но базары все-таки бывают редко, а вот два-три маленьких деревянных ларька стоят на площади круглый год, и с утра до ночи в них пылает на жаровне яркий огонь, на решетке жарятся колбаски и горький, терпкий дым стелется по всей площади. Колбаски продают на улицах и во многих других городах, но только здесь их поджаривают на еловых шишках. Они подгорают черными пятнами и пахнут дымом, костром, лесом — таких вкусных колбасок нет нигде больше! Говорят, что горожан научили этому гномы; очень возможно, рецепт действительно волшебный — хотя бы уже потому, что еще до сих пор не решились заменить шишки электричеством...

Каждый, кто попробовал, посоветует всем приехать в Кобург — хотя бы просто для того, чтобы пройти на базарную площадь и отведать подгоревших колбасок. Все остальное: дворец, фонтаны, крепость, башни и красивые дома — можно увидеть на картинах и в истории искусств; колбасок нельзя увидеть, потому что лесной огонь и горьковатый дым — это кусочек живого тепла, то настоящее, что можно почувствовать только...

Только сидя вот так, на опрокинутой тележке в стороне от ларька, из которого вырывается пляшущий огонь, дым и веселый шишечный треск. Потому что все вышесказанное — это размышления человека, забредшего на Базарную площадь в сумерки теплого осеннего вечера. Осень только подняла руку, чтобы постучаться у порога — и остановилась. Может быть, поэтому человек на площади тоже насторожился, прислушался к чему-то внутри себя — и задумался над этим.

Но думая, он внимательно присматривался к площади, и даже заглянул под колеса тележки: почему-то ему казалось, что в такой сумеречный вечер сюда непременно забежит гном. А человек решил непременно встретиться с ними — ему надо было серьезно поговорить.

В этом желании не было ничего удивительного. Одни мечтают о телевизоре, другие — вот именно, о другом. И человек этот был самый обыкновенный — как вы и я, и многие. Разница только в том, что на телевизор можно скопить денег, если сильно захотеть, а вот встретиться с гномами — труднее. Они давно уже в обиде на людей, во-первых, а во-вторых — своевольный народ.

В этот вечер их не было.

Но, если человек чего-нибудь хочет, то он и добивается этого всеми мерами, неправда ли? Поэтому, не дождавшись никого на площади, он прошел в ворота под старой башней, и дальше по дороге — к гномовой горе. Там уж, во всяком случае, их можно встретить.

Идти было долго — целую ночь. Гномовая гора показалась на самом рассвете: она высокая и длинная, как стол, и говорят, что зубчатые стены старого замка на верхушке строят какие-то рожи прохожим. Но человек не видел никаких рож среди леса, а о том, чего не было, не стоит и рассказывать. Зато он видел другую гору — напротив, и на ней громадный желтый собор Четырнадцати Святых. Он слышал уже, что в этом соборе всегда опаловое, пронизанное солнцем небо в окнах, и что сам он — чудо искусства, возникшее среди полей.

Однако, когда отправляешься куда-нибудь в гости, то следует подумать о том, что было бы приятно хозяевам. Собор построен совсем недавно — всего каких-нибудь триста лет — и, может быть, гномы не слишком обрадовались, что среди холмистых полей стали появляться вереницы паломников, шедших на поклонение голубым и розовым святым?

Внизу, на дороге, стояли вдоль канавы очень старые ветлы: низкие, широкие, как бочка, корявые, с растрепанными волосами, в которых путался утренний туман, и громадными бородавками. Вот они действительно строили страшные рожи, подмигивая, насупливали лохматые брови, растягивали толстые губы до ушей.

На гномовую гору нет в сущности дороги. Автомобили, пытающиеся свернуть с привычного асфальта на проселочные ухабы, очень быстро и совершенно неизбежно попадают в канаву. Их долго вытаскивать потом, и у них пропадает охота ехать дальше — о чем и заботились гномы, спихивая их с дороги. Но тропинками, если не бояться старых ветел, а просто повернуться к ним спиной, — в конце концов, они не виноваты, что так некрасивы и стары, да и в уродстве их есть своеобразная прелесть — так вот, если по тропинке, которая поднимается потом очень круто, обрывается, камни, поросшие мхом, перегораживают путь, а корни на обрывах висят, как паутина, и в изморози от тумана, прилипшего к ним бисеринками, — если вот по этой тропинке...

Нельзя рассказать до конца о всех дорогах, и всего, что на них. Да и не стоит. Все равно, если бы вы — или я — пошли на гномовую гору, то у нас была бы другая дорога, потому что у каждого — своя. Кроме того, гномы, быть может, нарочно кружили человека, и даже подсмеивались над ним — он ведь действительно не знал, куда ему

идти. Единственное, что он знал твердо — это то, за чем пришел — но пока он еще не говорил об этом.

Заговорил только тогда, когда устал до смерти. Был давно уже пасмурный, теплый осенний день, и солнце, не показываясь, а только золотя просветы между облаками, делало этот день не мрачным и не ярким, — а совсем без теней, и от этого даже лес был затихшим и светлым.

Между грудками камней падала длинными каплями вода, и человек не стал думать, ручей ли это или просто остатки дождя, а, подставив руки, напился — и вода была очень вкусной. Потом, набив трубку табаком, закурил и лег у камня. Он очень устал, у него ныли ноги, и он подумал, что, может быть, пришел сюда вообще зря. Гномы могли и сами показаться ему в любом другом месте, если бы захотели, а на вежливость с его стороны — такой долгий путь — могут и не обратить внимания.

— Ошибаешься, — сказал один из камней, и, прыгнув, уселся рядом, расправляя ноги из под бледно-зеленого мха. — Мы гораздо внимательнее, чем кажется. Говори, зачем пришел.

Человек вздрогнул и застыл. Все-таки такая встреча... Он понимал, разумеется, что было бы неприлично теперь вскочить, пожать руку и вообще вести себя слишком дерзко. Но он так обрадовался, что ему стало вдруг даже жарко от сильно забившегося сердца. Осторожно, не смотря сразу в лицо, а только взволнованно потупив взгляд на красные башмачки, высывавшиеся из моха, он почтительно снял шляпу и положил ее около себя.

— Я пришел сюда за очень редкой и дорогой вещью, о которой хочу просить, — смущенно сказал он.

— Неудивительно! — рассмеялся гном. — У нас всегда просят что-нибудь дорогое и редкое. За пустяками не приходят. И кто просит? Люди. Те самые люди, которые и себе жить мешают, и нам не дают. Мешают летать птицам! Мешают плавать рыбам! Вырубили лес! Прокладывают вонючие дороги! Стреляют из страшных пушек! Взрывают целый мир! Где, скажи пожалуйста, тишина и солнце? А ведь они так же нужны людям, как и нам! Сами решили творить чудеса — вот и натворили, вот и задыхаются от этих самодельных чудес! А еще к нам приходят за счастьем!

— Что же тебе понадобилось? За чем пришел? — устало спросил гном, отряхивая с коленки пушинку.

— За добрым словом, — медленно ответил человек, и, осмелев, поднял голову, и прямо взглянул на маленькую серенькую фигурку, сидевшую перед ним на камне. — Да, я пришел просить у вас, гномов, доброго слова...

Стало так тихо, что березовый лист, падавший с ветки, остановился в воздухе, медленно повернулся — и не упал, а поплыл дальше, размахивая загнутым краем, как парусом. Гном нагнул вперед голову. Он перестал болтать ногами, поднял колени, уткнул в них локти, и, положив подбородок на ладони, внимательно, серьезно и даже тревожно как-то посмотрел на человека.

— Сколько лет живу здесь, — тебе не сосчитать, конечно, — сказал он, припоминая. — Много людей приходило сюда за эти годы, и все искали и просили редких и дорогих вещей. Кому надо было волшебное

зелю, кому — гору золота, кому — блестящие камни. Редкие это вещи на земле, а люди бедны. Но, чтобы они обеднели и духом настолько, что даже доброго слова не находится у них, и за ним ты поднялся сюда — этого я еще никогда не слышал, а я живу долго, очень долго!

— Я отчаялся найти его у людей, — сказал человек и умолк.

Лес шуршал, и в тишине изредка капали длинные капли воды среди камней. Человек ждал, склонив голову.

— Нет! — воскликнул старый гном и соскочил с камня, ударив красным башмачком о землю. — Нет, не может этого быть! Не смеет быть такой правды! Вон, на соседней горе четырнадцать святых, говорят, увидели люди, и выстроили им целое чудо из голубых и розовых колонн, и приходят молиться им, и...

— Это было раньше — перебил его человек. — Теперь строят другие чудеса. Если бы ты почитал газеты...

Гном заткнул руками длинные, высокие уши, торчащие по обеим сторонам колпачка с таким выражением ужаса, что человек невольно рассмеялся, и испугался сразу, что его смех может показаться невежливым. Но гном не обиделся. Он подошел к нему и торжественно протянул руку.

— Хорошо, — сказал он. — Мы подарим тебе доброе слово. Но сперва я должен убедиться сам, что его так трудно слышать. Лет триста я не выходил из леса. Пойду теперь, и послушаю, что говорят люди. Не может быть, чтобы настолько обнищали они — и признаться, хоть мне не за что любить их, а все-таки жаль неразумных. Как только услышу — дам тебе знать. Дождись меня пока!

— Где? — спросил человек, невольно подумав, что ждать ему наверно придется долго. Гном порылся в кармане и вынул оттуда монету.

— Вот, — сказал он деловито, — это неразменная монета. Иди на базарную площадь в Кобурге и покупай на нее колбаски, поджаренные на еловых шишках, — вкуснее их все равно ничего не найдешь. А чтобы не скучно было ждать, — послушай, о чем трещит огонь, — тоже лучше твоего радио!

Он махнул колпачком и покатился вниз с горы. Человек постоял, прислушавшись, как вслед ему трещали сучья и сыпался песок. Лес затягивался уже сумерками и устраивался на ночь, как всегда. Медленно улыбаясь чему-то, он спустился с горы, и очутившись в поле, еще раз снял шляпу и вежливо поклонился лесу — и всем, кто в нем.

\*

Обратно в город он шел уже не ночь, а целых два дня. Останавливался, прислушивался к разговорам, заходил к друзьям, — и улыбался печально, качая головой. А что, если гном сидит невидимкой на стуле рядом, или выглядывает из-за угла, и слушает тоже?

Люди были разными и говорили много, — может быть, слишком много. О разном и говорили, — а о чем, рассказывать не стоит, потому что и вы, и я не раз слушали такие разговоры, — и сами принимали в них участие, неправда ли? Вспомните: о политике, о соседях, прошлом и настоящем, о ценах и погоде — все равно, но: вспомните, пожалуйста, слышали ли вы, чтобы кто-нибудь сказал о чем-нибудь — доброе слово? Возмущались, сердились, ругали, критиковали, осуж-

дали, хвастались, грозили, жаловались — да. А вот доброго слова — не комплимента, не любовной клятвы, — а простого, человеческого, — не знаю, как вам, а мне... почти не приходилось слышать. Если же вы сомневаетесь в этом, то пожалуйста: попробуйте следующий раз, когда будете говорить с кем-нибудь, попросить его сказать доброе слово — я думаю, что ваш собеседник удивится.

Придя в город, человек уселся на Базарной площади у ларька, посмотрел на весело трещавший огонь, вдохнул горьковатый дым от шишек, и купил на свою неразменную монетку колбаску, — горячую, пахнущую дымом и лесом. Неразменная монета, как известно, возвращается обратно в карман, и поэтому он мог есть сколько угодно.

Совершенно не исключено, что он и до сих пор сидит на площади, став постоянным клиентом во всех трех ларьках. Голодный человек может съесть очень много колбасок, к тому же таких вкусных, а если у него есть неразменная монета — то и еще больше. Возможно, что он съест в конце концов их все, и больше ничего не останется на вашу долю, если бы вам тоже захотелось попробовать. А это было бы действительно слишком жаль!

Подумайте об этом! Вспомните, когда вы будете говорить с кем-нибудь, что, может быть, рядом с вами стоит незаметно маленький печальный гном, и внимательно слушает: не скажет ли кто-нибудь из людей доброго слова. Простого, человеческого...

Не заставляйте его так долго ждать — хотя бы ради того, чтобы и на вашу долю остались еще колбаски, поджаренные на еловых шишках с дымом!

1955 г. Мюнхен

## ГЛАЗА КОРОЛЯ

«Господи, из самой темной щели будет виден свет Твоей звезды... Господи, в туманы и метели все равно пойдут Твои волхвы... и когда неслышными шагами медленно приходит Рождество, елки разноцветными огнями будут славословить торжество. И в смятенных, одиноких душах вспыхнет вновь неизгладимый свет: мы должны в Сочельник сказку слушать, даже если... если сказки нет! Но в Сочельник, в синий снежный вечер, сказки будут — им нельзя не быть: ведь для них мы зажигаем свечи, и без них мы не могли бы жить. В самых горьких, в самых серых буднях множество рассыпано чудес: и они понятны станут людям, если свет в их душах не исчез. Потому что — как метель ни злится, как сердце ни застилает мгла — где то, в уголке, сохранится крохотный обрывочек тепла. И в Сочельник, ласковый и хвойный, как бы трудно ни было нам жить — самое мы вспомним дорогое, будем мы молиться и любить: тех, кто соберется в этот вечер, — тех, кого не будет среди нас; и когда зажгутся эти свечи — вспомни, Боже, и помилуй нас! Дай нам сказку в этот вечер, Боже, звездный свет Свой в души зарони: нас и тех, кто нам себя дороже, Господи, спаси и сохрани!»

\*

... Буквы выцвели, и трудно читать эту рукопись на машинке, на плохой бумаге, ставшей серой из голубой. Но у многих вещей бывает своя история.

Мы задыхались тогда, в декабре 1940 года в Риге, но еще не были задушены большевиками совсем. Массовые депортации начались только в июне следующего года — тогда шли только аресты... Город шептался, придавленный страхом, и так трудно было освоиться с мыслью, что прежняя — и хорошая, и плохая, но свободная жизнь, вот без этого страха, с огнями, с улыбками — кончилась, нет ее больше и — не будет: Может кончиться сегодня ночью...

Но еще не сдавались — совсем. Правительство «отменило» Рождество, а рабочие заявили просто, что в «Зиемас светки» (зимний праздник) на работу не выйдут: «всех не арестуют». Отвоевали Рождество — ценой многих арестов после нового года...

«... тех, кто соберется в этот вечер; тех, кого не будет среди нас...»

Я писала эту сказку по традиции, для читателей уже закрытого журнала, чьи адреса случайно сохранились дома. Это было очень слабой попыткой создать рождественское настроение: копии на машинке, с нарисованной чернилами свечкой в заголовке, разосланные кому то наугад: может быть, их уже нет? Может быть, им это и ненужно? А может быть, — просто не успею, и сегодня ночью придут за мной?

... Несколько лет спустя, в одном из лагерей дигпи в Германии нашла одну такую копию: вывез кто-то. У меня не сохранилось ни одной, и мне отдали ее.

Вот поэтому и переписываю рукопись — история которой еще не закончена:

«В этом странном королевстве жили рыцари и маги, шут, принцесса, принц прекрасный, и премудрый Звездочет; в этом странном королевстве из картона и бумаги все рядились в шелк и бархат каждый вечер, всякий год. В этом бедном королевстве солнца вовсе не видали: иногда светили звезды (сквозь чердачное окно), но зато в нем каждый вечер сотни сказок оживали, и рассказывалось людям про минувшее давно. Звездочет читал по звездам; смело рыцари сражались, и, сидя верхом на троне, заливался смехом шут; а прекрасный принц с принцессой тосковали и влюблялись, со слезами и улыбкой — как и в жизни, так и тут.

В королевстве было много позолоты, стройных башен из картона и бумаги, теплых ватных облаков; и, конечно, не найти бы ни чудеснее, ни краше восковой его принцессы и изысканных шелков!

Королевством этим правил маг один с улыбкой мудрой: изо всех живущих только он один лишь вправду знал, как нужны нам в жизни сказки, и как в сердце бьется чудо, когда вдруг затихнет, сказкой очарован, темный зал.

Так из года в год случалось каждый день — нет: каждый вечер, когда в темном пыльном зале разом тухли все огни...

А когда на люстрах снова зажигались ярко свечи, то за сценой, в пыльном хламе, оставались все одни. В королевстве этом бедном разом рушились все башни, в ящик падал шут усталый, зацепившийся за край; забывал о клятве рыцарь, и в тоске своей всегдашней зябко куталась принцесса в побледневший горноста́й. А в окне светились звезды и мерцали дальним светом в полумраке королевства с его скованной мечтой. И читал по синим звездам Звездочет при свете этом, на веревочке качаясь, и качая головой...

Только раз в году, в Сочельник — белый снег и синий вечер... только раз в году, в Сочельник, когда тает в сердце снег — в королевстве бедных кукол зажигались ярко свечи, хотя их тогда не видел ни единый человек...»

В Сочельник прошлого года в ящике лежало праздничное письмо — в сиреневом конверте: большое, теплое письмо, написанное старательными, хотя и неуклюжими стихами — благодарность за сказки. Изредка я получала такие письма, и каждый раз это была большая радость: вот, взяла кусочек сердца и послала его на ветер, и это найдено, принято, и за него благодарят улыбкой. Значит, не напрасно и я улыбалась в даль, в снег, в туман.

В доме уже убиралась елка, пахло пряниками, цветами, всюду лежали пакеты: письмо я тоже положила под елку — это мне подарок. А может быть незнакомый автор решится еще на один шаг и придет сегодня вечером на «королевский пирог», будет тем случайным, незванным и радостным гостем, которого я всегда жду? Бывало же так иногда... но на этот раз гостя не было. Жаль.

На святках ко мне зашел один хулиганистый, но в сущности не такой уж плохой мальчишка.

— Мама у вас?



Нет, ее не было, но я могла себе представить, что она теперь делает: в маленькой квартирке убраны стелки и припасы, ножницы и картон. Швейная машина стоит в углу, прикрытая поредевшей вышивкой. На столе — много бутылок, а за столом — разные люди, как сваленные в ящик фигурки. Пьют, читают надрывными голосами стихи, поют и играют на гитаре.

Я знала, что маленький хулиган будет неодобрительно поглядывать на мать — маленькую женщину с льняными, как у куколки, волосами. Она будет трогательно нарядна в не раз перешитом шелковом платье, и тоже будет петь, читать стихи, а потом целоваться или плакать. Мне было и жаль ее и немного противно.

\*

Насмешливый и умный английский философ Чарльз Деф говорит, что совершенно неважно, во что верит человек: в правду, фикцию или ложь, лишь бы верил, что это действительно правда. Впрочем, и до него об этом говорили многие... Я не могу просить верить всему тому, что я говорю, но мне хочется сказать только, что я видела много сказок, и то, — что рассказываю, — только малая доля из них.

\*

В эти холодные и ясные дни Рождества прошлого года, когда на площадях горели еще рождественские елки, я поехала в тихий провинциальный городок. Подрагивающий вагон, оранжевые огоньки на снегу, маленькие домики в сутробных полях — и снова вокзал, снова елка, извозчики с косматыми лошаденками в сосульках на хвостах и гривах — и пятьдесят сантимов в любой конец города — раздолье, да еще с колокольчиками!

Хорошо приехать куданибудь с подарками, с разноцветными кусочками мечты в сердце. Так хорошо, что плакать хочется, — хотелось почему то.

Вы помните, какой холодной была зима, тридцать девятого года? Уже началась война. Замерзли все сады, замерзло море... да, тогда можно было пройти в Швецию пешком.

Удивительно тепло было в этой квартирке, — впрочем, хозяин ее сам топил школу — и все время бегал вниз, к котлам, чтобы подбросить оставшийся уголь и мохнатые кряжи дров. Я пошла с ним тоже.

— А у меня для тебя сюрприз приготовлен, — сказал вдруг он и раскрыл сбоку незаметную дверку в длинный узкий чуланчик с проходившей по нему у стены широкой трубой. На трубе, прижавшись к стенке, свесив длинные ноги, вытянув вдоль тела руки с костяными пальцами, сидело штук двадцать кукол — большие марионетки с колечками на руках и спине, а внизу валялись спутанные обрывки веревок, блоки, еще какие то кольца и лежало громадное чудовище.

Хозяин давно уже пересмотрел топки и ушел наверх, а я все еще сидела в чуланчике, осторожно прикрыв дверь, и смотрела на кукол. Чудовище было сделано из старого корсета, вымазанного коричневой краской. У него были паучьи лапы, а глаза из жестяных круглых коробок.

Парень — простак в длинных узких туфлях с загнутыми носками; принцесса в вишневом шелковом платье и коронкой на голове, один край которой оторвался и спускался сзади на косу; рыцарь в загнутом шлеме из серого картона; старик с седой бородой, в колпаке и мантии, усыпанной звездами; восточный король в зеленых штанах и тюрбане и король просто, усеянный золотыми бусами и блестками и с удивительными глазами. Они не смотрели безжизненно, как у остальных, а блестели, переливались, вспыхивали золотистыми искорками. Да, тут были все мои короли и принцессы, рыцари и звездочеты. Я написала про них много сказок.

«В этот мой благословенный вечер собрались ко мне мои друзья: все, которых я очеловечил — вызвав в жизнь из небытия...

Я сказала это совсем тихонько, но чей то голос повторил слова эхом. Откуда эхо в низком чуланчике под лестницей?

— Это не мои стихи, а Гумилева, — извинилась я.

— Мы знаем стихи Гумилева, — ответил голос.

— Значит, вы знаете больше остальных, — я расхрабрилась, хотя немного странно разговаривать с невидимкой.

— А помните, как дальше? — сказала вдруг принцесса: — «... заливались вышитые птицы, а дракон плясал уже без сил. Даже Будда начал шевелиться, и понюхать розу попросил...» у вас нет роз?

Чтобы я отдала сейчас, чтоб поднести ей розы! И ничего с собой нет, ничего... А мой сын еще говорит, что я умею волшебить! Но...

На полу у моих ног что то блестело. Я быстро подняла: маленький, тяжелый комочек. Он холодно лег в ладонь, и я не успела его сразу спрятать.

— Это не роза — грустно покачала головой принцесса. — Это пуля, выпущенная из револьвера. Она сплюсцилась. Возьмите ее на память. Может быть — она сохранит от другой.

— И даже наверно — важно сказал Звездочет, и осторожно спустившись с трубы, подошел ко мне. Остальные марионетки зашевелились тоже. Они уселись вокруг меня, странно позванивая колечками. Глаза из бусинок и медных гвоздиков, вышитые и нарисованные, смотрели на меня печально и в упор.

— Вы сказали однажды, что «в Сочельник правят сказки самый праздничный свой бал», — продолжал Звездочет. У каждого человека есть право на этот вечер, но принадлежит ему одному. И вот мы, как ваши персонажи, вылезаем из ящичков, спускаемся с подмостков, и пытаемся жить.

— И должна вам сказать, что из этого ничего не выходит. — Принцесса заплела кончик косы и отбросила ее за спину. — Среди настоящих людей я остаюсь той же марионеточной шелковой принцессой с красивыми, но слабыми руками, в которых ничего не могу удержать.

— А я — картонным рыцарем на ватных ногах. Я не могу совершить даже самого маленького подвига.

— А я — королем, у которого нет королевства.

— А я — звездочетом, ничего не видящим в жизни. Я умею читать по звездам и старым книгам, но не умею поджарить картошки и вечно попадаю в лужи.

— А я не умею смеяться с людьми. Им скучно, а мне хочется плакать.

— А я... а я...

Они жаловались все, с укоризной смотря на меня, и были правы. Сказки — как елочные игрушки: очень красивы, и блестят, но бесполезны. Правда, они приносят много радости, но — разве этого достаточно для жизни?

— «Все мы — плохие актеры в театре Господа Бога». Это тоже сказал ваш Гумилев. И люди почему то воображают себя марионетками, и думают, что их кто то дергает за веревочки, а они сами ничего не могут сделать. Пожалуй, и нам следовало бы примириться со своей участью. Но, видите ли, мы этого не хотим. В одной из ваших сказок был бунт снежинок. А в нашем королевстве тоже бунт — картонных кукол. Но вы не бойтесь нас, конечно. Мы знаем все ваши сказки. Некоторые даже ставились у нас на сцене. О, для этого они прекрасно подходят...

Они говорили все разом, наперебой, этот ужасный круг грустных фигурок, как обезьянки, умирающие от чахотки. Мне было стыдно и больно. Я чувствовала себя глубоко виноватой, и надо было оправдаться.

— Простите. Но ведь сказки давали другим улыбку. Разве это совсем ничего не значит?

— Этого мало. Покажите людям, что сказки везде. Покажите им, как прекрасна жизнь, не смотря ни на что, и безо всяких розовых очков. Конечно, мы умеем волшебить, и сделали такие глаза — нашему королю, чтобы...

— Я отдал ему всю свою силу — сказал твердо рыцарь. — Теперь я навсегда останусь ватным.

— А я отдал мудрость, и больше ничего не прочту по звездам.

— А я отдала свое сердце.

Это, конечно, сказала принцесса, и по тому, как она взглянула на короля, я поняла, что это действительно так.

— Ваш король должен быть очень счастлив — начала я немного неуверенно.

— О нет. Этого мало. Он тоже марионетка. Только глаза живые — видите? У нас у всех бусинки, даже у принцессы, хотя ей полагались бы звезды — а у него — из настоящего камня, с золотыми искорками. Их много, и они не могут исчезнуть. Это сердолик.

— Что же я могу сделать для вашего короля?

Я с грустью подумала, что если бы он пришел ко мне в Сочельник, и получил кусок королевского пирога, то, может быть...

— Возьмите его глаза — сказали куклы хором. — Мы умрем сегодня. Не надо плакать. Мы знаем, что вы хотели бы сделать. Вы хотите взять нас всех, и рассадить у себя на диване. Но нас много, мы большие и неудобные. В вашей комнате будет пыль и беспорядок, ваш сын будет приставать, чтобы вы нас починили и устроили ему театр. А потом мы будем валяться где нибудь в сарае. Это жизнь, и ничего не поделаешь. Но мы не хотим быть больше марионетками. Только глаза короля — не должны исчезнуть. Возьмите их.

— Я знаю, что тебе больно, но так и надо! — угрожающе захрипело вдруг чудовище, поднимаясь на лапах. Я больше всего боюсь пауков — а оно ползло на меня, шевеля раскоряками и смотрело вы-

пученными жестяными глазищами. В них шевелилось много скверных мыслей — и я узнала много своих.

— Ну?!

Я только успела поднести руку к лицу короля — как они скатились, и лежали уже на ладони — два золотисто-коричневых камня.

— Спасибо — прошептали куклы, и этот шопот смешался с пылью, осевшей на их лица. Они съежились, втянули плечи, уронили руки.

— Уходите, — прошептал рыцарь. — Скажите людям, что надо сражаться не с ветряными мельницами, а с буднями.

— Скажите им, что звезды прекрасны. Если смотреть на них, то становишься совсем маленьким, и забываешь о многом ненужном.

— Скажите, что каждый должен создавать себе королевство. Стройные башни строятся из крохотных кирпичиков, а с них видно далеко — сказал ослепленный король.

— Скажите им, что если очень тяжело, то надо комунибудь улыбнуться, и от этого станет легче — и самому, и другим.

— Скажите им, чтобы они любили — прошептала принцесса. — И уходите, теперь, уходите. «Поверь, что конец всегда однозвучен, никому не понятен, и торжественно прост...»

Щелкнул выключатель, и в чуланчике стало темно. Слышался только легкий шорох. В темноте, уже невидимые, эти старые облезлые куклы с ватными руками и стойким сердцем приготавливались умирать — совсем просто, и с такой же верой, с какой они играли на своей сказочной сцене. Шопот тихо прослаивался в темноте, будто слегка колебался, кружась в воздухе — легко, чуть слышно, и все тише — пока не замолк совсем.

\*

— Мама под лестницей в чулане куклы большие настоящие марионетки с веревочками и блоки тоже есть мы их возьмем себе они из старого театра и никому не нужны а ты мне поможешь и дашь простыни и зашьешь где вываливаются и я запишаю их в мешок и сдадим в багаж потому что в вагон не пустят.

Мой сын сказал это единым духом, опасаясь возражений и так же непоследовательно — как говорят иногда и взрослые. Это было на следующий день, в морозное, яркое утро, когда мы все поздравили друг друга с новым годом, и загадывали, что мы хотим, чтобы с нами было — помните, сколько у нас было тогда желаний?

— Я так и думал, что захочешь устроить из маминого дома сарай — пробасил хозяин. — Но, если хочешь, то бери, только с одним условием: самому тащить на вокзал.

Он нагнулся ко мне и прошептал:

— Не бойся, я тебя спас. Бросил их вчера в топку.

Он знал лень моего сына. Но я вспомнила тихий шопот в чулане. Они действительно умерли.

◆

Когда я вернулась домой и перечла письмо в сиреневом конверте — мне хотелось немного оправдаться в собственных глазах, — то заметила в нем знакомую ошибку. Эту ошибку я видела однажды — ее сделала худенькая женщина с льняными волосами, ломавшая себе руки над стельками и певшая за столом с грязной посудой.

Мне сказали потом, что она умерла под новый год, в больнице. А

молодой хулиган пришел с ввалившимися глазами, и смущенно улыбнулся, заметив на моем столе письмо.

— Вы знаете, от кого оно прислано?

Да, теперь я знала.

\*

«В этом пыльном королевстве жили рыцари и маги, этим странным королевством правил очень мудрый маг: и ему известно было, что не только на бумаге, но и в жизни нашей сказки озаряют пыль и мрак. И ему известно было, что из самой темной бездны человек восходит к звездам, презирая страх и боль; что мечтанья и молитвы поднимают к далям звездным, и что станет человеком даже кукольный король. Так он правил королевством в тишине, с улыбкой мудрой: но ему известно было и начало, и конец. Если встанут против хлама, против пыли даже куклы, — что же будет, если сказка станет явью всех сердец?!

В этом странном королевстве жили рыцари и маги, и на самой старой башне очень мудрый Звездочет: он скрипел пером гусиным по пергаментной бумаге, и записывал, что было и что будет каждый год. В королевстве этих сказок никогда не гасло солнце, никогда не меркли звезды, никогда не лилась кровь: там жила в высокой башне золотая чудо-птица, птица, с крыльями, как пламя, а по имени — Любовь.»

\*

Перед самым концом — совсем краткое! — еще послесловие, чтобы кончить историю: когда я писала эту сказку, и посылала ее, в моей сумочке лежала завернутая в бумажку сплюснутая пулька: авось, отведет другую. А два узких кабошона, продетые в золотую цепочку, я носила на руке, как браслет, на счастье. Глаза короля.

Я их отдала потом — человеку, спасшему меня от НКВД — не как плату: он знал их историю. Может быть, они тоже принесли ему счастье — не знаю.

Мне — принесли. Я научилась видеть многое.

\*

«Рождество — это тихий вечер, тихий праздник в сердцах людей. Зажигайте на елке свечи, пусть побольше будет огней! Пусть засветит во мгле туманной золотой огневой маяк: в жизни нашей многое странно, только сердце — великий маг. Только сердцем мы все измерим, и поймем, что всего нужней: только сердцем мы можем верить, только сердцем — любить людей.

Когда ночь, как замерзшая птица, на глубоком снегу лежит; когда в окна норд-ост стучится, — пусть на елке свеча горит. И для тех, кто вокруг собрался, — чтобы дом стал для них теплей; и для тех, кто уйдя, расстался, — чтобы путь стал для них видней; и для тех, кому в ярком свете, в свежей хвое — волна чудес; и для тех кто уже не дети, и давно не верит в принцесс.

Всем нам, Боже, усталым людям, дай свечу от Твоих огней: этот вечер сказочным будет, чтобы сказки стали слышней; чтоб повсюду в сердцах тревожных рассыпали они огни...

Дай нам в сказку поверить, Боже, и помилуй, и сохрани!»

1940. Рига

## ГОРБУН НА ХОДУЛЯХ

Ай, как холодно под зимним дождем!

Вот почему так плачут деревья, когда дождь смывает с них снежные шубы! В горах, говорят, никогда не бывает дождя зимой, а здесь, в городе, — лужи до самых ступенек крылец, и в них тонут мыши. Только водосточная труба, хитроумно выгнутая жестяным драконом, радуется и хрипит, разевая пасть и обдавая широкой струей ноги.

А они такие маленькие у горбуна, и давно промокли насквозь, хотя носки туфельек загнуты, как полагается, кверху. Шляпа у него черная, с высокой тульей, как свечка, и широкие поля зонтом, это очень удобно в дождь. Одет он в заплатанную куртку и короткие штаны с подвязками, чулки полосатые, и на колене дырка, потому что он споткнулся о камень. Он вообще падает довольно часто, и его немудрено толкнуть: вместе со всей шляпой Горбун только по колени любому человеку. Горб у него на спине, острый и очень тяжелый, поэтому он всегда немного покачивается на ходу.

На улицах к нему привыкли давно, и нельзя сказать, чтобы в этом городе ему уж очень плохо жилось. Добрый старый учитель в школе читал однажды детям из толстой книги, как у бедной женщины умерла ее маленькая горбатая дочка, и после смерти у девочки выросли крылья, и она стала настоящим ангелом. Очень хорошая история, и после этого мальчишки перестали дразнить горбуна. Многие женщины, покачивая чепчиками, говорили даже, что у него очень уж большие, и такие синие, как небо, глаза на сморщенном личике, и что это наверно не зря ему дано. Встретив Горбуна, они нередко совали ему пирожок или чулки, из которых выросли их дети. А почтенные отцы города в бархатных штанах и беретах, снисходительно улыбаясь, покупали у него картинки, чтобы повесить их около изразцовой печки. Картинки Горбун не рисовал, а делал мозаикой из камешков, которые собирал по всем дорогам; из стекляшек, прутиков даже, всякого мусора, но делал их хорошо: башни, замки, а иногда — цветы.

— Почему ты никогда не нарисуешь горы? — спрашивали у него. — Наш город тем и славится, что они видны отовсюду. — Как же я их увижу? — смущенно улыбался он в ответ. — Я не могу взобраться на колокольню, у нее слишком высокие ступени!

Быть таким маленьким, что нельзя даже увидеть горы, а только слышать, какими они бывают — это, поверьте, очень тяжело и больно. Иногда Горбун подходил к городской стене и пытался, приподнявшись на цыпочки, запрокинуть голову так, чтобы увидеть хоть кусочек. Но шляпа упиралась в горб, и сам он валился на спину, а потом, забравшись куда нибудь в угол, горько плакал.

Это было еще осенью, — а сейчас — ай, как холодно под зимним дождем! Хорошо сидеть в теплом доме под крышей и слушать дождь, но на улице...! Однако, Горбун храбро бежал дальше, шарахаясь от водосточных труб. Ему надо было сегодня обязательно попасть в один старый дом, где его ждали мыши. Мыши вообще были его большими друзьями. Они притаскивали ему читать прекрасные книги с картин-

ками, или рассказывали о тех, которые они уже сгрызли, очень интересно.

Сегодня же они обещали ему совсем особенный подарок: туфельки, которые потеряла принцесса. У принцессы, конечно, были очень маленькие ножки, и поэтому они ему подойдут, а кроме того, почему знать: может быть, они и волшебные тоже?

Туфельки, из блестящего алого шелка, оказались впору. Горбун не мог наглядеться на них, а мыши так залюбовались, что даже не сгрызли корочки сыра, которую они подобрали по дороге. Потом, усевшись в кружок, они долго обсуждали, что делать.

— Тебе надо вырастить себе ходули! — сказала наконец старая, мудрая крыса Хруп-Хруп, тоже жившая в этом доме. — На ходулях ты можешь стать выше даже любого человека, и увидеть горы. Да, это непременно надо сделать!

— Но — как же? — робко спросил Горбун, слегка побаивавшийся крысы.

Хруп-Хруп снисходительно пошевелила хвостом.

— Мое дело, мой милый, — поучительно сказала она — дать умный совет. Как его выполнить — меня не касается. С этим каждый должен справиться сам, неправда ли?

Она строго оглянула собрание, но мыши не возражали. Хруп-Хруп немного смягчилась.

— Но — многозначительно прибавила она, подняв левый ус — я назову тебе три вещи, которыми на свете делается все: любовь, тоска и голод. Выбери из них то, что тебе ближе всего, и это даст тебе силу.

Весь следующий день Горбун просидел под лестницей и думал: что же ему выбрать? Он ел так мало, что почти никогда не испытывал голода. Близких любимых у него не было никого, а свои картинки, мышей и вот эти новые шелковые туфельки он любил, конечно, но ведь это были только кусочки любви. Тоска! Да, вот это было действительно настоящее слово! От тоски у него горели глаза и больно жгло в груди, как слезы. Теперь он будет думать только о своей тоске, и она поможет ему вырастить ходули!



Самое интересное, что к весне они у него действительно выросли. Хорошие, крепкие, высокие ходули. Вот это был праздник, когда он впервые поднялся на них на площади, и стал выше самого высокого человека в городе! Боже мой, сколько он увидел! Окна домов, картины на стенах, деревья, лица людей — и, прежде всего, горы. Сперва он не поверил даже, думая, что это тучи. Но они так и лежали грудой, совсем близко, и наверх бежали темные ели, а верхушки сияли снегом, как хрустальные замки, и серебряные принцессы играли на них с покрывалами из туманов!

Ходить на ходулях с непривычки было неудобно, но он быстро приспособился. Немного надоедали мальчишки, которые теперь толпами бегали за ним и кричали:

— Горбун на ходулях! Горбун на ходулях!

Женщины всплескивали руками, а почтенные отцы города качали париками и обсуждали, не следует ли запретить ему это, порядка ради.

Но синие глаза Горбуна сияли таким восторгом, что у них не хватило духу, и они снисходительно махнули рукой. Кроме того, Горбун, увидев теперь столько прекрасного и нового, так надоел всем своими рассказами о самых обычных и никому неинтересных вещах, что на него перестали обращать внимание. Ну, кому интересно слушать, например, что в расщелине городской стены вырос куст шиповника, а закат зажигает осенние листья? Вырвать шиповник с корнем, только и всего, а закат... мало ли что там делается наверху, кому какое дело до этого?

Горбун бегал по городу, топоча ходулями, и смотрел на горы. Теперь он знал, какими они бывают на рассвете, днем и вечером. Ночью он тоже любовался ими при луне, и потом удирали от ночного сторожа, гнавшегося за ним с колотушкой.

Правда, все это было только издали. Теперь Горбун стал таким высоким, что не мог пройти в городские ворота, а для того, чтобы перешагнуть через стену, ходули все же были слишком короткими. Может быть, они еще подрастут немного? Ему так хотелось выйти за город, и пойти далеко, далеко, по лугам и дорогам — в горы. Если они так прекрасны издали, то как же должны быть красивы вблизи?

Но ходули не росли больше. А голубые и аметистовые горы сверкали и манили к себе.

— Что ж — решил Горбун. — Если тоска помогла мне вырастить ходули, то она даст мне и крылья!

Эта удивительная мысль пленила его окончательно. Он совсем перестал теперь приходить в гости к мышам, а крысу Хруп-Хруп, умеющую только давать умные советы, больше не было о чем спрашивать.

Все лето, день за днем, Горбун думал о крыльях. Иногда он щупал свой горб — может быть, они лежали уже там, сложенные и измятые, как лепестки в бутончике мака, но зато, когда развернутся... Или вот эта жгучая тоска, влившаяся в грудь, как стрела, пронизает его насквозь и взовьется за спиной парой могучих крыльев! Вот, они держат его в воздухе, и он свободен, поднимается все выше и выше, до самой колокольни, и летит. Горы сами бросаются ему навстречу, и он никогда не вернется больше в город, в узкие, старые улицы. Нет, он будет жить в хрустальном замке и играть с принцессами!

Когда в город пришла осень, и журавли, пролетая, бросили свой призывный клич, Горбун не мог выдержать больше.

— Сегодня тоска даст мне крылья! — закричал он, и бросился на площадь, где было больше места.

Из окон высунулись любопытные лица. Мальчишки, запрокинув головы, окружили его, разглядывая горб. Все, проходившие по площади, остановились в ожидании.

— Смотрите! Смотрите! — кричал Горбун, захлебываясь от восторга. Тоска так жгла, так разрывала ему грудь, что он не мог просто дышать. Горы сияли совсем ослепительным светом, и он совершенно ясно видел серебряных принцесс, махавших ему туманами. Еще одно мгновение, и...

Сердце взвилось у него в груди, он выдернул ноги из ходулей вместе с туфельками... и упал, разбившись на смерть, конечно.

Тоска может дать очень много, но она не дает крыльев.



## КОРАБЛИ

«В тумане снежном не видны зори: фонарь дрожит, как цветок на стебле: о всех кораблях, уходящих в море, надо вспомнить в Сочельник на этой земле. Метет по улицам снежный ветер — взметает звездами вьюжный снег. Когда в Сочельник приходит вечер — на небе звезды горят для всех.

В сочельник сказка, как счастье, снится. От свеч зажженных в душе светло... Не сам туман ли, туманный рыцарь, пришел к принцессе, закрыв лицо? Быть может, рыцарь, быть может — призрак. Такой туманный — не разглядеть. Но в кресло рядом кто-то садится, кто-то хочет в Сочельник сердце согреть.

Так перед елкой на креслах двое: туманный бархат струится с плеч. Не счесть в зеленой и терпкой хвое воспоминаньем горящих свеч. Ведь надо только забыть усталость, забыть, что к стеклам туман приник... Звенит и манит стеклянный парус, плывет на елке стеклянный бриг. Мерцают звезды в зеленой хвое, кораблик елочный из стекла. Такой же хрупкий, как эти двое, такой же зыбкий, как эта мгла. Но в ночь в Сочельник об уходящих пусть сердце вспомнит хотя б на миг... На ветках елки, как сон, дрожащих, плывет в тумане стеклянный бриг. Звенит и манит прозрачный парус, звенит мечтою — струной канат. Нам надо только забыть, что осталось, когда корабли не пришли назад...

Так перед елкой на креслах двое: туманный рыцарь — иль просто тень. Сегодня вечер в зеленой хвое, сегодня можно забыть про день. Звенит на елке стеклянный парус о всех мечтателях всех морей, — молитвой тех, кто одни остались — в тумане снежном без кораблей.»

\*

«Счастье только сказкой снится, чтоб в Сочельник знали люди, что бывает в свете чудо, всех прекрасней и светлей...

Так пришел к принцессе рыцарь:

— Что же дальше в сказке будет, что же будет в этой сказке уходящих кораблей?»

\*

Я идеалист, поэтому я циник. Может быть, это слишком смелый парадокс. Но я привык мыслить и действовать парадоксально. Это моя специальность. Я хотел встретить в своей жизни девушку с простыми косами и непременно голубыми глазами. Пусть они будут похожи даже на глаза красавиц с конфетных коробок, на голубые, как небо, глаза, о которых все поэты писали несколько столетий подряд. Эта девушка должна быть нетронутой, чистой страницей, без прошлого, но с душой, умом и сердцем. Это было бы существо, из которого я создал бы свой идеал. Я бы ее воспитал, образовал, она жадно ловила бы мои слова. И я знал бы, что она чиста, в прошлом, в настоящем и в будущем, и нашел бы в ней свой отдых от жизни, уверенное, спокойное счастье...

И, черт возьми, я хотел бы посмотреть, какой мужчина откажется в глубине души от такого идеала!

Я ничуть не скрываю своего идеализма.

Я говорил об этом всем: моей жене, породистой истеричке, чуть было не задушившей меня галстуком в припадке ревности, но потом рассчитавшей, что пожилой иностранец куда надежнее и, главное, сможет откупаться от таких припадков. Взбалмошной рыженькой Лилит, не без успеха заменявшей пикантностью бесцветность — и души, и тела... Декадентской Александрине, прожившей со своим первым мужем две недели и после шести лет развода и шести же любовников искавшей второго и семейного уюта с ребенком. Зое, женщине с невинными глазами, посаженными слишком близко, как у неандертальских женщин, хотя она была красавицей и звездой на моем небосклоне... Она увлекалась мистикой и пила водку стаканами, объясняя и то, и другое турецкой кровью и природной артистичностью. Русой Магде, высокой и полной, как фламандская корова. Она очень тупо и добросовестно переживала любовь по определенным дням. Черноокой Катерине с лицом Пиковой дамы в молодости, подходившей осторожно и вкрадчиво, и во что бы то ни стало решившей, чтобы я на ней женился... А в промежутках между этими и другими женщинами я находил какую-нибудь милую, маленькую девушку с чистыми голубыми глазами. Но... одной больше всего хотелось пойти в кино, а другая, найдя во мне идеалиста, немедленно рассказывала о том, чего совсем не должна была подозревать ее мама...

Я ничуть не сомневаюсь, что все они считали меня донжуаном, беспринципным человеком, и даже отъявленным подлецом. Но я циник. Меня это радует. Я идеалист. Поэтому мне иногда становится грустно.

А грустнее всего раз в году — в Сочельник. Обычно я начинаю его красивым жестом: покупаю свою собственную елку и старательно увешиваю ее всякой дрянью, которая продается в магазинах. Затем зажигаю свечи по строго определенному числу — по именам всех тех женщин, которые я могу вспомнить. Когда в комнате становится совершенно светло, я сажусь около елки и торжественно выпиваю бокал вина в честь той, единственной, которой у меня не было. А затем отправляюсь, куда попало, или ложусь спать.

Именно в Сочельник механик с знакомого парохода принес мне английские сигареты, лавенду, к которой я питаю неискоренимую слабость, и Чука. С тех пор Чук остался у меня, и это мой единственный друг. Он выслушивает все мои тирады и ко всем относится с завидным спокойствием. Он внимателен и тактичен, и никогда не надоедает. Он не обижается, если о нем забыли. Он ест и пьет только изредка с примерным воздержанием. Он хранит все тайны, как могила, и размышляет о них долго, чуть приподняв усталое веко. Он скромен и тих и никогда не возвышает голоса. А если я прихожу в ярость от того, что еще одна женщина изменила моему идеалу и у нее оказалось пестрое прошлое, мутное настоящее и такое же будущее — то я могу даже колотить им об стенку, и он доставляет мне это облегчение. Чук — философ. Чук — черепаха. Он старше меня, наверно, вдвое и проживет, по крайней мере, еще столько же. И я очень рад этому. Приятно в этом мятущемся мире иметь спокойную уверенность хотя бы в маленькой черепахе.

Но в то же Рождество, когда появился Чук, случилось и еще одно забавное происшествие. Я пошел в театр, что бывает весьма редко — но он был особенным. Маленькая студия, любители, большие претензии и никаких средств. Для того, чтобы иметь театр, надо большие деньги. Впрочем, любовь к нему обходится еще дороже.

Они что-то делали, гораздо больше говорили, искренне наслаждались и их, конечно, никто не брал всерьез. Шла пьеса с оригинальным названием, ее написала женщина. В конце концов, в наше время, когда все женщины мечтают стать фильмовыми «дивами», или, по крайней мере, походить на них, любопытно посмотреть на другую разновидность. Я спросил Чука, стоит ли пойти. Чук покивал головой. Это было решено.

\*

Да, эта пьеса называлась «Корабли Старого Города». О, Боже!

В маленьком театрике, на окраине города, на грязных серых декорациях шла почему-то вдруг оранжевая полоса, изображавшая цветной парус. Из-за сцены невпопад играла музыка. Кто-то, очевидно, помощник режиссера, нещадно и методично колотил стулом, изображая грохот рушащегося здания... А на сцене в это время металась средневековая шут, Дофин в голубом шелковом камзоле маркиза восемнадцатого столетия, френчских туфель с чужой ноги и каком-то кокошнике на голове... Печальную же девушку Старого Города, Тоску, изображала красивая молодая женщина, в сильно декольтированном платье... И, что самое главное: ни один из актеров, кроме Черного и Шута, принимавших все слишком трагически, не только не верил тому, что говорил, но просто не понимал этого.

Я бы предпочел не слушать, а прочесть. Меня заинтересовала мысль.

Автор, появившийся на вызовы — очевидно, знакомых, — заинтересовал тоже. Я уважаю мужество людей, не только встречающих смерть, но способных еще раскланиваться при этом.

Она держалась внешне очень спокойно: слишком спокойно, сказал бы психолог. Бледное маленькое личико, застывшие глаза и вежливая — вот это меня восхитило больше всего — очень корректная улыбка.

Автор этого невероятного кавардака на сцене несомненно обладал характером. Я уважаю мужество, и подошел к ней с чисто литературной точки зрения. Я пригласил всех актеров к себе, чтобы дать им возможность перекусить, основательно выпить, а главное — отдохнуть, и когда на меня, как на щедрого хозяина перестали обращать внимание, — сел в угол с этой храброй женщиной. Мне кажется, она согласилась поехать только потому, что ей было действительно все равно: у нее был взгляд человека, сделанного из стекла, и судорожно старающегося держаться прямо — если он оступится, то непременно разобьется.

— Я не литературный критик, но зато критик жизни. Это немного больше, хотя и не пользуется таким почетом. То, что вы написали совершенно невозможную пьесу, понятно, и, во всяком случае, легче, чем написать другую. То, что вы решились ее поставить — да еще в таком театре — тоже понятно: в другом бы ее у вас не приняли, а без человеческих дерзаний было бы скучно жить. Все это меня не инте-

ресует вообще, а вас теперь тоже. Но я хочу узнать совершенно другое: вы, действительно, отправили в море корабли? Вы, действительно, видели — вот так, как вижу вас — печальную девушку Старого Города, белую, чистую, звенящую Тоску? Вы слышали ее голос?

Против всякого ожидания, бледная стеклянная женщина совершенно твердо посмотрела на меня и ответила, как на исповеди перед смертью: — Да.

В этот вечер я, может быть, выпил слишком много. Я ей не поверил, конечно, да она и не ждала этого. Но у меня мелькнула блестящая мысль: хоть раз в жизни стать тем, кем мне хочется: грозным, карающим судьей, Провидением, ликом человеческой совести. Я не знал ее жизни. Может быть, она работает на фабрике, может быть, штопает дома чулки. Дело не в этом. Дело в том, что в этой маленькой человеческой душе, действительно, живет тоска. Настоящая, та, которая, как вера, двигает горами. Откровенно говоря, я никогда не видел ни такой тоски, ни такой веры, ни таких гор, которые были бы ими сдвинуты. Но в этой есть что-то. Есть. И вот мы с ней заключим условие.

— А когда корабли вернутся?

— Не знаю... И не знаю, вернутся ли...

— Но вы будете ждать? Долго?

— Пока живу...

Восхитительная смелость — если только это правда. Но, может же раз в жизни человек, такой человек, как я, добиться правды.

— Вот что, принцесса. Принцессой я вас буду называть потому, что после всех ваших сказок обыкновенные имена кажутся бесцветными. В сущности, вы больше всего походите не на принцессу, а на моего Чука... Не знаете Чука? Это мой единственный друг... Вы такая же серенькая, скромная, некрасивая..., и у вас такие же умные глаза... Мне кажется даже, что вы прячетесь в свои сказки, как Чук в свой панцырь... И так, принцесса Чук, я заключаю с вами условие: обычное знакомство с вами, как с женщиной, меня удовлетворить не может. Откровенно говоря, я боюсь, что тогда разочаруюсь еще скорее... но я буду следить за вашей жизнью издали... И вы давайте о себе знать... о себе и о ваших кораблях. Если дождетесь их — скажите. Но я этому не верю. Когда же вам надоест ждать и вы засунете эту сказку в самый пыльный ящик или совсем даже забудете о ней — вот тогда... о, тогда я появлюсь перед вами, как некий архангел с разящим мечом моего разочарованного высокомерия, как этот ваш Черный... Но Черный разрушил то, что было создано — я же буду упиваться тем, что оказался прав: корабли посылают в море только слабые мечтатели, не могущие ничего создать, тоска не дает крыльев, и весь этот сентиментальный бред быстро выветривается жизнью, и от него не остается ничего — слышите — ничего!

— Я принимаю ваше условие, — сказала она совсем просто и даже протянула мне руку, — но совсем не потому, что вы наговорили мне столько обидных слов.

— А почему же, принцесса Чук?

— Потому что вы — такой великолепный психолог и такой разящий архангел, больше всего хотите поверить — и больше всего боитесь, что вас заставят это сделать.

Нет, честное слово, у нее был характер. Впрочем, у моего Чука тоже. Я согласился. Я провел интересный вечер и твердо решил наблюдать издали за ее жизнью.

\*

Людам, старательно рассчитывающим, что если сейчас они возьмут в рассрочку кресло, то через несколько месяцев смогут купить диван, взрывы моей фантазии совершенно непонятны. Я и не претендую на это.

Я знаю, что наше время не для доморощенных Уайльдов. Но я обладаю завидной способностью жить так, как мне хочется, и живу поэтому совсем не плохо. Некоторые называют меня авантюристом, но по моему, я просто спортсмен, только в лучшем значении этого слова. Я даже уважаю человеческие законы — настолько, конечно, чтобы не попасть на скамью подсудимых, потому что это и скучно, и некрасиво. Иногда я говорю правду — и мне, конечно, не верят, хотя немногие, хорошо знающие меня считают, что я — великолепный человек. Это потому, что им со мной легко: я их стараюсь не видеть. «Я вежлив с жизнью современной, но между нами есть преграда: все, что смещит ее, надменную — моя единая отрада» . . .

Мне очень жаль, что это сказал Гумилев, а не я.

Наблюдать за жизнью принцессы Чук было очень просто: несколько общих знакомых, встречаемых изредка, передавали мне все сплетни и настоящие события. В ее жизни было ужасающе мало событий. Я думаю, что иногда мне приходилось в течение нескольких дней, даже, может быть, часов, переживать больше. Но это чисто внешне, конечно. Во многих священных книгах говорится, что в душе человека может быть и рай, и ад, и даже микроскоп учит нас тому же . . .

Принцесса Чук вела обычную жизнь женщин, с самого детства выбитых из колеи: она пыталась что-то петь и рисовать, вышивала бисером и шелком, писала школьные пьески, вышла замуж за бедного, благородного и хорошего человека: он любил ее, она любила его, оба по разным причинам, но так же неудачно — словом, искания, стремления, желание создать себе какой-то дом, уют, сделать жизнь красивой, и, конечно, разбитое корыто, уходящие годы, разочарования, серость . . . и так далее, и так далее, — право же, все это слишком знакомо и повторяется на каждом шагу.

Так, по крайней мере, выглядело все это издали, а вблизи, я думаю, было бы не лучше.

Изредка мы встречались. Она была попрежнему одета очень скромно, если эти тряпочки называть платьями, но в движениях было больше равномерности. Тоже вроде моего Чука: маленький танк, ползущий на полусогнутых ногах задумчиво и упорно.

Только в глазах не было испуга, хотя они продолжали оставаться прежними: тревожными и горячими, зовущими куда-то. Иногда мне хотелось подойти поближе, окунуться в них: ну что же в том, что она такая же, как все? Может быть, в ней есть все-таки свой, особенный и мне почему-то близкий, отзвук. Может быть, я мог бы помочь ей, чем-нибудь подбодрить . . .

Но я не подходил. Я взял на себя роль наблюдателя, а для этого нужна твердость. Я должен был сразить эту женщину так же, как сразил других. И тогда я смогу успокоиться. Давно пора.

Очевидно, она помнила о нашем условии. Может быть, тоже — издали — наблюдала за мной. Во всяком случае, она знала мой адрес. Это я узнал по тому, что получил однажды — не письмо, а объемистую рукопись. И больше ни строчки. В характере ей, действительно, нельзя было отказать. Только поперек первого чистого листка было написано от руки: *J'y pense.*\*)

\*

Я прочел эту пьесу несколько раз. Может быть, она была слишком по-старомодному вышита драгоценными камнями, но разве не может такой современный циник, как я, позволить себе эту роскошь? Тем более, что у меня нет никаких литературных вкусов. Я считаю ее большим художественным произведением. Она несколько проиграла бы в моих глазах, если бы я знал, что принцесса Чук знакома с ересью Оригена. Но я был уверен, что она не подозревает о ней. Принцесса Чук, наверное, не думала, что нашла во мне такого пламенного читателя. А знать об этом она не могла никак. Я положил рукопись в чемодан и увез его с собой за границу, где у меня были спешные дела. Да, да, вот именно так, а не, как полагалось бы в приличных старомодных романах и современных фильмах: восхититься, воспылать, помчаться к ней, сказать, что она — талант, драматург, поэт, художник и прочее. Вскружить ей голову и потом разочаровать ее и разочароваться в ней, в жизни, во всем.

Пламенные восторги прекрасны только, если они совершенно отвлеченны и не идут дальше души. Нужно быть гурманом. Если человек — идеалист, то он должен очень осторожно подходить к жизни.

За границей я встретил знакомого директора театра и дал ему копию рукописи, когда он пожаловался на отсутствие подлинных пьес:

— Вот вам великое художественное произведение молодого таланта, погибающего бесславно в глуши. Он пробавляется школьными пьесками, а оно никогда не увидит света. Я в этом так же уверен, как и вы.

Когда я вернулся обратно, то узнал, что принцесса Чук служит теперь в стеклянном магазине. Раз даже прошел мимо витрины. Кажется, даже видел ее руки, передвигавшие какую-то голубоватую вещь. Тем лучше. Это ей идет: непризнанные поэты хрупки и ломки, они умеют обращаться со стеклом.

Но Чук, мой настоящий Чук, которому я поверял все, может быть, только потому, что он не слишком интересовался этим — Чук что-то очень долго качал головой, и я понял, что он знает гораздо больше меня.

◆

«Счастье только сказкой снится, чтобы в мире знали люди, что бывает в душах чудо, всех прекрасней и светлей . . .

И сказал туманный рыцарь:

— Знаю. Было так и будет. Знаю я, что дальше будет — то, что счастье в этой сказке уходящих кораблей.

---

\*) Я об этом помню.

Перед Рождеством у нас на площади устраивается ярмарка. Балаганы, ларьки, игрушки, картинки. Качаются Деды-Морозы на подвесочках, за голубым прилавком пекут хрустящие трубочки — вафли, такие вкусные, когда под ногами хрустит снег, и зимний туман колыхает шары фонарей.

Мальчишкой я всегда бегал на ярмарку. Пошел и сейчас.

Откровенно говоря, предпраздничная суетня всегда немного выбивает меня из колеи. Надо опять зажигать свою елку, вспоминать, иногда даже и вспоминать надоедает, хотя я твердо соблюдаю традицию. А самое главное — вместо стройного хода мыслей какой-то сентиментальный кавардак.

Наверно, только поэтому я вошел в ярмарочное отделение стеклянного магазина: лампы, блюда, вазочки, фигурки для модных полок. Я не собирался покупать их. Я вошел потому, что увидел принцессу Чук. Она стояла за прилавком, в форменном черном платье с кружевным воротничком и серебряной монограммой на груди. Перед нею была прозрачная витрина и в ней... бывают же такие совпадения в жизни! Не в ней, где торчали разные фламинго, а над ней, на невидной сразу проволоке — качались, плыли в сверкающем свете стеклянные хрустящие корабли. Я снял один из них, поставил на ладонь. Он отблескивал серебром, перламутрово розовым, голубым, сиреневым. Звенели прозрачные паруса... уходящих кораблей!

Сколько времени прошло с тех пор, как я первый раз посмотрел в глаза этой женщины и спросил, долго ли она будет ждать?

— И вы еще ждете, принцесса? Вы еще не забыли корабли?

Мы были одни в магазине. Чуть позванивали подвески на какой-то люстре.

— Кораблей не забывают, рыцарь, — ответила она и улыбнулась. Улыбнулись не только губы — глаза тоже, и мне показалось вдруг, что стеклянная ниточка врезалась в грудь — так остро и больно, что закружилась голова. Я только теперь понял, что у принцессы Чук — моей принцессы — были глаза Тоски...

Она знала. Верила. Ждала. И для нее не было смерти — ни иллюзий, ни надежд. Может быть, даже смерти вообще.

Я стоял, боясь раздавить в сжавшихся пальцах игрушку.

— Вот видите, — показала она на нее и улыбнулась снова. — Этот стеклянный бриг я повешу на свою елку. Когда все уйдут, и я останусь совсем одна, буду сидеть перед ней, смотреть, как стелется дым от свеч, как плывет, качаясь в тумане, звенящий прозрачный корабль. Далеко, в синий туман за окном, в дали, в моря. Станный вы человек! Мне кажется, что я вижу вас последний раз и поэтому хочется сказать вам самое важное... а, может быть, и потому, что скоро — Сочельник. На вашей елке не будет стеклянного брига... Помните, я сказала, что вы боитесь поверить? Так вот, прошло ведь, не несколько дней — а несколько лет. Вы знаете мою жизнь. Работа, служба, дом... были любимые и нелюбимые, было что-то достигнуто, много потеряно. Потерь не считают. От них или гибнут, или светлеют. Но помните, туманный рыцарь: если сейчас, или через несколько лет я умру, и Кто-то, имеющий власть, спросит меня:

«Что ты сделала в своей жизни?» То я отвечаю Ему, не задумываясь: «Господи, я больше всего любила одного человека, который об этом не знал, и послала в море свои корабли».

Я молча поклонился. Поцеловал ей руку. Ушел, унося с собой — маленький стеклянный кораблик в картонной коробке.

\*

А на следующий день я получил письмо. От своего заграничного приятеля. В письме было вложено два плотных листка блестящей бумаги — два контракта. Пьесу моей принцессы покупало крупное английское издательство, и ее ставил большой театр. И гонорар был большим, — даже для меня, а для маленькой продавщицы в стеклянном магазине — потрясающим.

Я долго сидел перед этими листками. В них — перевернутая жизнь. Новая, светлая, радостная — жизнь человека, который может теперь говорить — и его услышат. А когда принцесса Чук говорила раньше?

Я вспомнил испуганные глаза, судорожно улыбающиеся губы, стеклянную фигурку на сцене маленького театра. И те же тоскующие глаза, тот же свет в знающей, молитвенной улыбке — теперь. Так улыбается тот, кто верит. А я не поверил ей. До вчерашнего дня. Я был слишком большим идеалистом. Я не подумал о том, что идеалов нельзя найти на земле, но можно найти в них веру.

Если бы мой Чук был циником, то я думаю, что он наверно бы смеялся, качая своей плоской головой. Первый и последний раз в моей жизни я был потрясен. И я улыбался, потому что мне очень больно — а я давно не испытывал такой боли, от которой хочется улыбаться и плакать.

Я пошел в ювелирный магазин, где меня сочли за сумасшедшего, потому что я осведомился, можно ли прикрепить на панцирь живой черепахи серебряную пластинку. Но это оказалось возможным. Может быть, Чуку и было немножко больно, но он промолчал.

В Сочельник на елке у меня горела только одна свеча — перед стеклянным бригом.

В Сочельник я отправил ей большую коробку. Внизу лежало письмо моего друга и два контракта. На них — ландыши — самые нежные цветы на Рождество. А в ландышах зарылся мой мудрый Чук, мой единственный друг, которого я любил больше, чем следовало, потому что мне следовало любить — ее.

И на панцире Чука шла серебряная пластинка с надписью: *J'у стоис*<sup>\*)</sup>).

•

«За тех, кого угасают зори, кто смерти не в силах в себе превозмочь, за все корабли, уходящие в море, помилуй нас, Господи, в эту ночь! И тем, кто пытается бездны измерить, и всем тоскующим этой земли — дай, Господи, силы и счастье верить — людским молитвам, Господь, внемли! За тех, у кого наступает вечер, для тех, кому запылал рас-

---

\*) Я в это верю.



свет — затепли на небе и в сердце свечи, пролей им в душу небесный свет!

Пусть были грешны душой и телом — за все корабли в тумане морей — внемли молитвам Пречистой Девы, дающей радость от всех скорбей.

И всех, уставших идти по дороге, идущих мимо пустых могил — и даже тех, кто забыл о Боге — помилуй, Господи Вышних Сил!»

1938 г. Рига

## КОЛДУНЬЯ

Почему еще нет снега? Уже половина декабря. И легкий мороз, особенно по утрам, и небо серое, в медленных тучах, высоком тумане. Он спускается ниже, но на крышах, деревьях, обочинах дороги — только густой, тяжелый иней. Песок, сцепленный холодом, сухой и острый, звенит под ногой, как стекло. Но снега нет.

Трамвай проходит по затуманенным, как в сумерках, улицам. Справа, слева блестят витрины. Вот в широкой, как двор, зажгли электрическую елку, ненужную насупившимся автомобилям. Марципанные гномы в кондитерской тащут шишки в станиолевой обертке. Все блестит и вспыхивает: таинственные синие шары, свечи, плакатные апельсины, раздутые бока орехов, пестрые пряники, нежнейшие банты, парча и шелк... все блестит, и все в звездах. Даже в свесившиеся, как у статистов, руки пиджаков и цветных пуловеров всунуты, как громадные изразцы, куски серебристого картона с темно синими силуэтами угольчатых снежинок и крылатых ангелов. Блестят ленточки на пакетах, блестят, кивая отсветами, двери магазинов, и есть, конечно, кое где и глаза, которые блестят тоже. Все таки почти все только делают вид, что предрождественское, праздничное, их совсем не трогает: одна реклама и ни к чему. Неправда. Когонибудь все таки трогает. Вот одна полуседая женщина в платочке еле уселась в трамвае со своими пакетами; и вынув из сумки картинку в блестящей обертке, рассматривает ее. Пусть у нее сжаты губы, и старое пальто — приходится считать гроши. Подарок тоже грошовый, и совсем ненужный, шерстяные чулки были бы практичнее, — но вот полюбовалась же, хоть в трамвае — чужие не видят чужих, она здесь сама с собой...

Трамвай огибает заиндевевшие деревья скверика. Сбоку высокие копыя палисадных решеток перед отступившими домами в тончайших занавесках окон. Эта площадь за когда то дворцовым парком сплошь в полукружиях, загибах, выступах рококо и барокко. Крыши домов выгнуты, как края замысловатых чепчиков. Фигуры из блеклого песчаника по углам и у дверей с начищенной медью и решетками, прикипшими к толстому стеклу: за ними всегда полутемно, под высокими потолками старомодных квартир шепчет тишина.

Город большой, раскинувшийся за сотни лет, из крепостных стен вышедший на базары, втянувшийся в парки, дворцы-музеи, баллюстрады мостов, бывшие предместья с особняками, колоннами, каналами с плачущими ивами. Вперемешку с ними разбитные торговые улицы для мелкого люда, широкие пролеты дорогих магазинов и унылые рабочие кварталы. А теперь вот захлестнутый городом островок бывшей деревни: фонтан с неизвестным рыцарем на площади, замысловатая, как средневековый ключ, вывеска винного погреба, и десяток другой домов: — сплошной «фахверк». Наверно, архитекторы знают для него другое название, но энциклопедии у меня в трамвае нет, просто отмечаю, что не знаю этого слова иначе, зато люблю, как есть: широкие или узкие дома, выступами этажей один над другим, в прямых и косых, перекрещивающихся деревянных балках, в рамки

которых уложены кирпичи, штукатуренные или в пятнах от времени. Решетки и на балкончиках до самой крыши горбылем, или в чешуйках уступчатых башенок с нахлобученными средневековыми шляпами. На всех балкончиках и окнах — зеленые полоски ящиков для цветов. Летом краснорозоволиловееет герань, горит огнем. Гденибудь в Коломне «на окнах канареечка и герань» было действительно мещанством, но вот так, подборами, это расцветивающая улицы нарядность — далеко от Коломны. Даже если клетка за геранью виднеется, так чистый Шпицвег: уютная бидермайеровская сантиментальность и скромное достоинство. Да, прежде деревня, где жили наверно кучера королевских конюшен — вот за тем домом действительно конюшня, еще и подкова на воротах, а теперь в ней широкое окно магазина. Если все это отлакировать — получится игрушка, а при луне можно аплодировать декорации. Но решетчатые домики — настоящие, и в них живут — почти те же люди. Ну, скажем, радио вместо флейты и прялки...

Вот что раньше за деревней было — не разберешь. Пустыри, заваленные щебнем, ржавым железом. Может быть, при королях вывозили отбросы города. Или налетами во время войны разбили рабочие кварталы с запахом свалки, с руганью на пыльных дворах, бельем и кошками. Не жаль, что разбили, а жаль, что вместо них торчат на пустыре громадные жилые блоки: разлинеенные коробки несуразного цвета, с голыми квадратиками окон. Массовый штамп, многоэтажные стойла для восставших и размножившихся масс, обезличенная бездарность. Промежутки до следующей деревни тоже будут застроены теми же коробками, и широкий пояс семейных садилов на окраине обречен и исчезнет со своими раскидистыми яблонями, обвитыми розами воротцами, грядками, крохотными летними домиками. Некоторые даже с трубой. В них не разрешается жить, но кое кто все таки живет — пока. Но и жизнь то ведь тоже — до каких то пор. И в ней бывают иногда такие дни, когда хочется думать не о ней, своей жизни, а просто впитывать в себя то, что скользит за окном — город, поле, улицы, чужие лица. Почему? Может быть потому, что мне очень хотелось бы маленькой радости. Не знаю, какой, не знаю что. Просто подарок под елку. Но сделать его некому, и, что хуже всего — я даже не могу себе представить, что мне действительно доставило бы радость — от которой блеснут глаза. Может быть, если бы сказка нашлась...?

Против садов — громадное поле, на котором будет аэродром — пока изредка летают планеры. Далеко маячит газовая башня другого предместья, ориентир и днем и ночью — видна отовсюду. Это хорошо, потому что трамвай уходит еще дальше, а мне надо отсюда идти к этой башне — добрых полчаса пешком, и как хочешь: по дороге мимо садилов, или просто через поле. Лучше мимо, по твердому песку под рыжей, поседевшей травой. Над заборами свешиваются ветки, мохнатые от инея, а снизу жметя бурьян, расцветший изумительными кружевными звездами. Здесь туман совсем спустился, плотно лежит на крышах зеленых и коричневых дощатых домиков. У одного, медно-красного цвета, побольше других, есть веранда даже. Калитка распахнута, и какая то фигура заглядывает на дорогу, чуть свесившись — забор ей по пояс.

Не нужно, чтобы кто нибудь видел, как я рассматриваю вызвездивший бурьян. Еще засмеется, порвет эту серенькую дымку декабрь-

ского дня с разноцветными блестками, оставшимися на улицах, и с серебряными здесь, на мягкой сепии сучьев и дороги, на которой

И вот деревья графикою строгой  
Подъяли сучья на краю дорог,  
Чтоб легкий снег посеребрил дорогу,  
И Рождество шагнуло на порог . . .

— Вы ищете чтонибудь?

Остановилась, наткнувшись на неожиданный оклик, как на гвоздь, и ответила, не думая:

— Да . . . ненаходимое.

По русски это слово звучит поэтично или глубокомысленно. По немецки можно сказать вскользь, пожимая плечами: не находится мол, потерялось. Сказала, чтобы отвязаться от любопытства, ненужной помощи, и только подняв глаза — не увидела, а поняла как то, что выдала себя, и она понимает, о чем говорю: о том, поблескивавшем за окнами трамвая, ускользящем в тумане . . .

— В самом деле? — вопрос с легким, чуть язвительным смешком в голосе. — Но ведь на свете очень мало вещей, которые можно действительно потерять — кроме тех, конечно, которых и искать то не стоит.

— Как сказать . . .

Сказать у меня собственно, ничего не нашлось. Ответ необычен. Я очень близорука, правда, а очки ношу только во время работы, и день пасмурный, но не настолько, чтобы в два часа потемнело до неузнаваемости, и туман не настолько густ, чтобы . . . и вообще это просто стоит, чуть перегнувшись за забор, высокая старая женщина, может быть в пестром платке, и на голове у нее платок, раздувшийся от ветра, как . . . да, как старинный чепец с высокой накрахмаленной тульей и крыльями-парусами, опущенными книзу и загибающимися назад. Такие носят еще теперь католические монахини, и у них тоже может быть резкое лицо с длинным свешивающимся носом. Но не может быть пестрого платка, накинутого на плечи так, что видны узкие рукава из коричневатого-лиловой материи с буфами в прорезях желтоватого атласа, и плиссированная рубашка, стянутая у шеи! А кроме того, в туман нет ветра, и ничего не может ни топорщиться, ни раздуться. Нечего обвинять ветер в том, что у меня подслеповатые глаза, и я вижу в какой то старухе самую настоящую колдунью с картинки детской странички. Люблю средневековые декорации сказок, вот одна и застряла в памяти, спроектировалась в туман на кого то. А зачем непременно доглядываться до дырки? Хочется увидеть колдунью — ну, и пусть кажется. Все таки интереснее . . .

— Лучше уж скажите сразу: что потеряли? — настаивает она, по-прежнему с усмешкой в голосе. Это меня злит, обидно даже. На самом то деле не колдунья же стоит за забором, а просто любопытная старуха, а я уж и обрадовалась, и сочиняю.

Делаю еще шаг, теперь до калитки остался только один, смотрю на нее в упор — на таком то расстоянии я лучше кого другого вижу! — и говорю нарочно правду, чтобы ошеломить:

— Сказку я потеряла, понимаете? Вот и ищу.

Нет, она совсем не думает раствориться в тумане, съезживаться в любопытную старушку. Высокая тулья чепца по-прежнему стоит накрахмаленной башней, и атласные разрезы средневековых рукавов

совсем не узоры платка. Она только кивает и чепцом, и носом, и беретса за калитку.

— Входите, может быть я помогу вам . . . найти.

На неожиданные предложения в жизни правильнее всего отвечать, не раздумывая. Ошибки будут все равно, но по крайней мере обнаружатся скорее. Поэтому прежде, чем я успела подумать, калитка захлопнулась, за ухо задела ветка, и комочек инея свалился холодной каплей на шею, а я уже шла вслед за колдуньей, постукивавшей палкой по дорожке, подметая ее узорчатой, сборчатой юбкой до самой земли.

То, что я приняла за веранду, было просто застекленной пристройкой к комнате, из которой и состоял домик. Остальные стены и низкий потолок были обиты фанерой: светлая, лакированная коробочка, рабочий несесер: повсюду выступы, шкафы углами. Посредине совсем неожиданная широкая печь с лежанкой из старинных изразцов, у окна — громадный стол, заваленный ворохами цветного шелка, парчи, золотой бумаги. С угла ворох был отодвинут подносом с громадными пряниками. У стола стояло кресло с высокой спинкой и локотниками, и над ним прыгала белка в клетке. Больше мебели не было.

— Садись — сказала колдунья, и поскольку я уже почти не сомневалась в ней больше, то и не удивилась этому прямому «ты». — Конечно, у тебя нет времени, и конечно, оно найдется. Как, впрочем, и сказка.

Она подтолкнула меня к лежанке, сняла с меня шубу, и подойдя к одному из выступов, раздвинула дверцы. За ними был высокий шкаф, в котором заблестели какие то колпаки, парчевые шлейфы, заколыхались туманными рукавами привидения или пугала. Рядом с ними поместилась и моя шуба. Потом хозяйка отодвинула печную заслонку.

— Вот кофе, совсем горячее, и к нему пряник.

Чашка была под стать пузатому, очень похожему на серебряный, кофейнику: на подставке, с вычурными золотыми разводами. Она налила себе и мне, и взяв пряник, величиной с тарелку, отломил два куска — второй был протянут белке. Потом уселась в кресло, высокая и прямая, как его спинка, быстро набила маленькую трубочку, закурила, и покачала высоким чепцом.

— Меня зовут Кунигунда Виссенскунд — сказала она почти торжественно, поднимая палец. — И не даром! А своего имени можешь и не говорить. Я назову тебя . . . (она замедлила последнее слово, и на этой паузе я заметила, что она цепко охватила меня взглядом, подбросила, как на ладони, прикинула, оценила, и отодвинула, не отпуская совсем, а только держа на расстоянии) — . . . да, вот просто так: «Одна» — Эйне — из многих. Неправда ли? Тех, кто теряет, много. Важно, почему и что? Для чего тебе вообще понадобились сказки?

Она говорила хриловато и отрывисто, ставя точки, отщелкивающие, как метроном. Теперь у нее были такие же глаза, как у белки. Та открыла дверцу клетки и с любопытством уставилась на меня, чуть подрагивая кисточками ушей. Очевидно, вопросов здесь задавать не полагалось, а ответы требовались по существу и без запинки.

— Я сочиняю разное, больше всего — сказки. Найдешь такую и обрадуешься. Многие говорили, что они тоже помогают им жить. А

теперь потерялись как то. Никак не могу найти, и вот... не знаю, что делать.

— Это мне нравится, — буркнула она. — Вот что, значит, иметь зоркий глаз. Ты сочиняешь сказки, а я их делаю. Родство душ! Но дальше! Почему они потерялись? Молчи, Эйне! Это я сама должна увидеть. Ты говоришь иначе, чем здесь — чужая, значит. Потери за спиной... и волосы уже запылились от дорог — много их было. На Золушку ты не похожа — и вряд ли пошла бы на бал, если я дам тебе золотое платье. Есть и плюс: видишь, чего не замечают многие. Такое не придумывается, а дается. Итак, в чем же дело? Дай мне какой-нибудь пример!

Потом уже, когда я передумывала разговор, именно эти слова и стали примером, которому хотелось аплодировать не без зависти: вот формула, в упор на образ, одна суть без лишнего, и схвачена на лету. Но передумывала я потом. Сейчас она долбила меня отрывистыми словами, как клювом, в такт качающемуся чепцу и носу, и перед этими насмешливыми, пристальными глазами я становилась все меньше и меньше... если, в конце концов, она обратит меня в белку, то ничего удивительного!

— Дорогая госпожа колдунья Кунигунда! — (длинное и неуместное обращение, но хочется выразить все свое почтение) — я, например, не только не могу найти новой, но даже вспомнить конец одной чужой сказки!

— Расскажи, что помнишь.

Она снова набивает трубку и медленно кутается в туман, поблескивая глазами.

— Кажется, французская сказка, чувствовалось по картинкам, но я забыла автора. А картинки меня еще тогда возмутили. Уж очень они были аляповаты и манерны. Девочка, как ярмарочная кукла, на небе облака, как клетки. Небо было над лугом, девочка жила в доме рядом, а на лугу уселся перед мольбертом художник в клетчатых штанах, и она подошла посмотреть. Он нарисовал сперва, что было: луг и небо, потом ляпнул кистью облака — и вдруг они поплыли на солнце, пририсовал барашка — и тот действительно появился и зажевал траву... и цветы, которые стали вытягиваться... Словом, даже эта краснощекая кукла в черных кудряшках заметила, что все, что рисовал художник — сразу появлялось на самом деле. Конечно, ей захотелось научиться такому волшебству, она стала просить, и он взял ее в свою школу... Я сразу загорелась этим, тоже любила всегда рисовать, и понимала, как она была огорчена тем, что он дал ей сперва карандаш только, и заставил рисовать совсем скучные вещи: кубики, камни, горшочки — неинтересное и неживое. Живое, сказал он, она может рисовать только, когда выучится как следует. А когда это будет, и будет ли вообще — неизвестно... Так и получались у нее только деревяшки, часто просто от злости кривые и косые. Она училась и росла, стала молодой красивой девушкой, и все время мечтала нарисовать себе настоящего принца, все время придумывала, каким он будет красивым, умным, добрым, — лучше всех на свете! И вот, когда однажды художник ушел, она уселась за его мольберт, взяла его кисти и краски, и принялась рисовать, забыв обо всем — и о времени тоже, конечно. А когда услышала шаги вернувшегося художника, то заторо-

пила, чтобы скорей кончить свою картину, но он вошел и закричал страшным голосом, и она так испугалась, что вскочила и выронила кисти и краски, и принц уже появился перед нею, живой. Но когда она взглянула на него, то тоже закричала, и закрыла глаза руками. У принца были действительно золотистые кудри, и глаза, как небо, но они косили, одно плечо было выше другого, руки висели, как плети, ноги вышли коротышками, — и вместо блестящего красавца перед ней стоял жалкий уродец. — Как же она плакала, убивалась, на коленях умоляла художника помочь ей, дорисовать, исправить, спасти принца и дать ей счастье! Но никакие рыдания не могли помочь, потому что рисунок был кончен, принц ожил, и... и вот тут у меня обрывается память. Чем же это кончилось? Не помню. Спрашивала у других — никто не читал. А кажется, что не просто хочется знать, а как будто этот конец даст ответ на вопросы, которые...

Я замаялась, но Кунигунда молча курила трубку.

— Которые мучают! — поставила я пояснительную точку. Она усмехнулась.

— Нетрудно понять, почему, если ты хороводишься с этой сказкой столько лет. Тоже ведь пыталась рисовать жизнь. Для себя подрисовывала — кому коронку, кому глубину или романтику — все, чего у них не было. Для других рисовала — тоже сказки. Из того и другого часто получались — уродцы.

— Да, так и было.

Она отмахнула рукой дым.

— Что было — этого мало. Когда подводишь итоги, важно, что остается. Скажем, жизнь не удалась, а больше в ней и удаваться то нечему. Глупцы обвиняют во всем только других, умные — себя, а мудрые — никого вообще. Примириться с судьбой — тоже счастье, и его не потеряешь — слишком много маленьких радостей, которые напомнят о нем. А без радости сказки не бывает. Но почему ты с этой хороводишься, на себя примеряешь? В чем ее суть? В том, что хотелось прекрасного, а вышло уродство? Ничего подобного. Тогда ты бы и сама легко придумала конец: либо волшебник простил свою неумелую ученицу, исправил ее художество, — либо выгнал ее скитаться с этим уродцем на шею всю жизнь. И не имела бы эта сказка, скажу тебе, тогда никакого настоящего смысла. Но суть в другом. В дерзости и самомнении. Заметь, что сам живописец дальше облаков и барашка на лугу не пошел, а ей живого человека захотелось, и это после многих лет ученья, которое повидимому впрок не пошло, раз даже рук и ног толком нарисовать не сумела. Хорошо, у нее это от безголовья просто, но ведь бывает, что недоучка весь мир перекраивает по своему, и много тогда находится безруких и безногих, которые кровавыми слезами плачут... А ты что же? Насколько у тебя мастерства хватает — судить не могу. Но от твоих подрисованных коронок комунибудь только лестно могло быть, а если мучиться приходилось, то только тебе самой, и даже на пользу. Но эти сказки проходят, а вот на бумаге — остаются, и если другим, говоришь, от них легче становится — это совсем не плохо! Ну, а если опять таки про конец, который тебя так мучает, то давай прежде всего установим, какие бывают сказки...

— Хорошие и плохие — тоже буркнула я невольно, и нос Кунигунды качнулся от смешка.

— Но конец может быть счастливым или печальным, независимо от этого. Разница в том, что одни уводят от жизни, а другие — входят в нее. В первых случаются самые невероятные вещи, и меньше, чем на короне со всем остальным в придачу в них никто помириться не желает. А вот был один такой неплохой сказочник, который в простом гороховом стручке нашел целых пять сказок, и думаю, что его горошинки многим глаза на их собственную жизнь раскрыли. Ты тоже видишь только то, что есть на самом деле, чуточку иначе только. Поэтому если тебе хоть самую малую горошинку удастся найти — тоже пригодится комунибудь. У богатых и жемчуга бывают, но бедных больше, а им тоже чтонибудь надо, чтобы порадоваться! Ну вот и хватит.

Она поднялась, громадный чепец колыхнулся, и я поняла, что меня отпускают. Надо еще радоваться, что в белку не обратили, хоть стоило бы? Я почтительно попятилась, и только у самой двери спохватилась и все так же невольно опустилась до полу в реверансе, которому еще когда то бабушка учила...

— Благодарю вас, госпожа Колдунья.

•

Туман стал еще гуще, может быть, от сумерек. Не было видно даже красных огней на верхушке газовой башни. Половину дороги прошла наугад, по замерзшему полю. Хорошо еще, что знакомые колеи и кочки угадывались под инеем — а то и заблудиться недолго, пойдешь кружить... Из-за этой боязни сбиться не раздумывала над странным ощущением от встречи — как если припоминаешь иногда давно знакомое и вдруг забытое слово: вертится на языке, вот сейчас — и не можешь сказать.

Последнее, что я помню — тусклые, но очень большие фонари, и неудержимо скользящий под них лед.

\*

Следующим был звук моих собственных, машинально повторяемых, слов:

— Сперва была колдунья, Кунигунда Виссенскунд, а потом... — Сперва был автомобиль, а потом вы — так же не думая, поправил доктор. — И все могло кончиться гораздо хуже. Перелом ноги у вас просто великолепен, а сотрясение мозга совсем легкое. Сперва полежите со льдом, потом в гипсе. Любой лыжник был бы счастлив так отделаться. И никто не виноват. При таком тумане следовало бы запретить ездить вообще. Шофер ехал очень медленно, но машину занесло на повороте так, что она стала поперек, а вы этого не могли предвидеть тоже.

— Но сперва была колдунья — повторила я, уже жалобно настаивая на истине, потому что даже трудно передать, что делалось с моей головой!

— Смерть ей температуру — бросил уходя доктор.

\*

Через пять суток голова перестала раскалываться, можно было перестать стонать от того, что дрогнули ресницы, и мучительный комок подкатывающей тошноты в горле совсем ослаб. Только тогда я по настоящему почувствовала боль в ноге, но перелом был действительно легкий, и я могла лежать уже дома. Можно было слушать радио и



перечитать все отложенные в долгий ящик книги, рукодельничать. Меня жалели и навещали. Конечно, многие дела пришлось забросить, но зимой не так досадно болеть, а к весне я смогу ходить даже без палки... нет, легко поболеть кроме первых дней — это просто отдых, и есть время подумать обо всем — что тоже откладывается иногда.

Я и передумала обо всем, начиная с психоанализа. От того, что хлопнулась затылком об лед, а может быть, и о камень, произошел один из тех трюков, которые проделывает с нами подсознание. Однажды мне делали операцию под местным наркозом, и спустя несколько дней положили в палату больную после долгого наркоза. Лет через десять мне делали вторую операцию, уже под наркозом, и вот, приходя в себя, я чувствовала, как та, другая женщина, приходит в себя — в то время, как ко мне самой возвращалось сознание. Я ее не знала, никогда потом не видела, но ее пробуждение отпечаталось где-то в подсознании и выплыло в тот момент, когда я сама очутилась в таком же положении.

Теперь тоже произошел перескок, хотя и иначе. Я задумалась, когда шла, вспоминала виденную сказочную картинку, и в просыпающемся сознании после падения «встреча с колдуньей» стала осуществлением подсознательно желаемого. Может быть, какая-нибудь старуха, живущая в этом домике, действительно спросила меня, что я ищу, могла пригласить к себе согреться, наконец. Но выйти из трамвая, чтобы зайти на часок к средневековой колдунье — это уже слишком, и завираться никакому подсознанию не следует. Впрочем, можно утешиться: не все ли равно? Пусть будет «как будто». Конечно, для настоящей сказки слишком много сочинительства. Вот, если бы мне удалось вспомнить конец той, неизвестно как называющейся истории с колдуном-художником, о которой я в самом деле давно думаю, то...

Стежки вышивки ложились ровно, один за другим, и я передумывала, переворачивала все с начала до конца. «Кунигунда Виссенскунд» — забавное и неуклюжее имя, с каким-то таинственным ритмом в нем. Но расшифровать нетрудно: тоже заскок. «Виссенскунд» — вряд ли употребительное немецкое деепричастие: «в знании сведующий.» А что значит: «Кунигунда»? Древние германские имена имели свое значение. Наверно, от слова «конунг» — королевская дочь, значит. За герцогиню моя колдунья тоже могла сойти в другом наряде, из того шкафа, где моя шуба висела рядом с привидениями, и говорила она такие умные вещи, как формулы...

Пришлось порыться в энциклопедии, прежде чем обнаружилась истина — и предостережение не доверять доморощенным филологическим догадкам: «кунни» означает оказывается род, племя, а «гунт» совсем неожиданно — борьба, битва, бой. Выходит, что сведующий в знании борется за свое племя. «Мы — последние в нашей касте»... к госпоже Кунигунде это действительно подходит!

Но вывод из всех аналитических и логических изысканий был все таки печален: как жаль, что не на самом деле! Тогда я поняла бы гораздо больше — и нашла бы конец забытой сказки.

\*

Газовая башня и дом рядом с ней, куда я ходила иногда по пустырю мимо семейных садиков, остались, конечно на своем месте и после того, как я выздоровела, но теперь мне незачем было туда идти.

В больших городах — или просто в жизни часто бывает: закрывается какая то дверь, и конец. Больше нет знакомой, надоевшей или волнующей дороги, на которой знаешь каждую вывеску или куст, выбоину на мостовой, фонарь на углу. Дороги, в которую втаптывались столько раз усталость и радость, большое горе и мелкая досада, маленькое глупое счастье и такая большая, большая тоска. Кусочки жизни зацепились на ходу и повисли на заборе, легли в расщелины плит, шуршат под ногами, как ворох осенних листьев, — и никому невидны и не нужны, кроме моих глаз и моей памяти — как и я.

А память упрямая, цепляется сама за все, и даже унылой, осточертевшей дороги на нелюбимую работу становится вдруг жаль, если знаешь, что больше никогда не придется вернуться — может быть потому, что «никогда» очень колющее слово в нашей короткой жизни.

Но бывает и иначе: проходят дни, годы — и вдруг возвращаешься на старую дорогу — и всегда видишь, что она стала иной. Иногда и внешне не узнать: вместо сарая поднялся громадный дом, дерево с такой трепещущей тенью срублено... Изменился и угол зрения: прежняя обида стерлась, счастье оказалось совсем не таким большим, крохотная потеря стала большим, глубоким горем. Все прежние обрывочки шуршат, выглядывают из-за углов, — но по улице уже не идешь, а едешь в колымаге времени, она раздвигает своими боками стены и заборы, с нее совсем другая перспектива, лучше или хуже, — но нет такой дороги, по которой можно дважды пройти.

Вот с такой виньеткой мыслишек я вышла из трамвая и пошла к пустырю перед газовой башней, вдоль семейных садиков, — года полтора спустя. Почему то подумалось сперва, что их уже застроили, эти милые садики — но нет, они еще были живы.

Зима кончалась, повсюду лежал сбитый, промерзший и протаявший снег, вперемешку со стеклянными лужицами, и ветки не серебрились в инее, а разбухли от тяжелого, по весеннему пахнущего тумана, придавившего и крыши, и паутину чухлого бурьяна.

Но — около кирпично-красного домика была открыта калитка, и около забора стояла — молодая женщина в коричневых лыжных штанах и оранжевом свитере. У нее были пушистые рыжеватые волосы, румяные щеки и веселые темные глаза, поблескивавшие пуговичками, как у белки. Мне тоже стало как то весело, и совсем невозможно удержаться от озорства. Поэтому я подошла ближе и спросила:

— Скажите пожалуйста, здесь живет госпожа Кунигунда Виссенкунд?

— До сих пор жила здесь — кивнула она в сторону дома со стеклянной верандой, посмотрела на меня и рассмеялась: — Интересная старуха, правда? У нас все матери детям говорили: смотри, не будешь слушаться, колдунья тебя в белку обратит! У нее совсем ручная белка жила, и такая умная, прямо не поверите, только не говорила! А сама она беженка, купила этот участок и беседку в нашем обществе, и поселилась, — тогда еще квартир не было, знаете, смотрели сквозь пальцы, а потом так и осталось. Но она себе совсем переделала беседку, настоящий домик получился, сама веранду пристроила, печку из старых изразцов сложила, и хорошо вышла, даже пряники пекла в ней, для своих декораций. Одна-одинешенька, и совсем старуха, но еще крепкая, и от пособия отказалась, говорит, не привыкла руку протягивать, как мы ее ни

уговаривали. Кунигундой ее звали на самом деле, а «Виссенскунд» она себя сама называла, почему, — неизвестно, знала она правда очень много, к ней все советоваться приходили. Но это вроде как псевдоним был, а настоящую ее фамилию только немногие знали, по бумагам, и оказалась, что она какой то графиней была. Недаром у нее такие манеры были, и так она голову держала, что все ей первыми кланяться начали, ничего, что ведра с водой сама таскала, но знаете, образование тоже много значит, и вообще... и действительно, жила на свой заработок. Ведь вот же, старуха, и урод порядочный, а ведь артисткой стала! Постоянно за ней приезжали — из театра, из студий разных, и художникам позировала. У нее большой шкаф был набит всякими костюмами, которые она сама шила, по старинным рисункам. Иногда выйдет сюда к калитке, если поджидает, что за ней автомобиль из студии приедет — неудобно знаете, в таком наряде в трамвае ехать, народ на улице останавливаться будет, — так прямо картинка из сказки! То привидение, то колдунья какаянибудь... дети всегда бежали смотреть. А она с ними или роли повторяла, или из книг — иногда такое скажет, что и взрослые долго думают, пока поймут... Да, госпожа Кунигунда — это старуха первый сорт! А я теперь помогаю ей вещи собрать, у нее племянница нашлась, так она поедет к ней в именье порядки наводить — она то уж наведет! Очень жалко, что ее не будет здесь больше... А вы ей чтонибудь передать хотели?

Мне было очень трудно ответить словами. Я только смотрела на нее, а видела рыжую белку, весело машущую хвостом, развевающийся чепец, и насмешливо поблескивавшие глаза над уродливым длинным носом. Кунигунда то знала, что я только теперь увижу в своих руках, которые дрожат почему то, крохотную горошинку. Нашла все таки! И — не рисуя совсем...

«А есть и такие, которые нарочно рисуют уродцев: кому уменья, кому таланта не хватает, но бывает, что и то, и другое есть, — а вот по злой воле: уверить всех, что все вокруг может быть только отвратительным, безобразным, нелепым до скуки. Чем больше талант — тем сильнее ужас и губительней пустота, в которую они подталкивают созданных ими уродцев. Это уже не самомнение недоучки, а похуже. И зачем тебе волшебные сказки? В жизни их больше — и они лучше: светлей и теплей. Если уж очень не хватает коронки — ну что ж, подрисуй. Выйдет кривоватой — тоже не беда: поплачешь только ты сама, а может быть твоя королева или принц, тоже увидят ее — и создадут себе настоящее королевство? Ради этого и поплакать не жаль»...

Так она говорила? Сведущая в знании, и ведущая бой, несмотря ни на что, за свое — за наше племя? Да, и за меня, встреченную случайно «Эйне», — одну из многих?

— Вы что то сказали? — спросила «белка» уже второй раз.

— Да. Передайте, пожалуйста... Я была здесь в прошлом году, может быть она помнит... Эйне, меня зовут так. Скажите, что я тогда искала — а теперь нашла, потому что поняла, и... и очень благодарна ей, очень...

Белка наверно перепутает, но все равно: колдунья поймет.

Спасибо, госпожа Кунигунда!

1963 г. Мюнхен

## СНЕЖНОЕ КРУЖЕВО

«Старый год свой круг кончает. Так немного дней осталось. И в Сочельник, в синий вечер, зажигаем много свеч... Пусть же все тревоги наши и печали, и усталость в этот вечер станут ношей, незаметною для плеч. Раз в году нам нужно чудо: тает снег в застывших душах... Тают в сердце все осколки остро ломаного льда... Раз Сочельник — надо елку. А под елкой — сказки слушать, — все равно, про то, что было, иль не будет никогда... Все хотят в Сочельник сказку: и ее нельзя стыдиться, и нельзя над ней смеяться:

— Мол, не дети — я и вы...

Был Сочельник. В древнем небе начала звезда светиться, и пошли за этой сказкой очень мудрые волхвы... Ну, а мы — простые люди, — только ждем от жизни чуда, и случается — без чуда — так же бедно умереть... Сказки в жизни есть и будут, и разбросаны повсюду — очень многое зависит от того, как посмотреть... Раз в году придет Сочельник: белый снег и синий вечер. И в высоком синем небе загорается звезда... Мы усядемся под елку и зажжем на елке свечи — и послушаем о сказках, что бывают иногда. И с улыбкой встретим гостя, кто придет на этот праздник — по заснеженным дорогам — подойдет на огонек... Вот уже раскрылись двери, и просунул гном проказник в щелку двери мухоморный, ярко красный колпачок. Целый год живет под стрехой иль под лестницей ютится, в Старом городе, где много закоулков — старый гном. Но в Сочельник в чьи он двери у порога постучится — принесет с собою сказку и улыбку в этот дом... Он усядется под елку очень важно грызть орехи. Непременно золотые! Для него и их не жаль! И в улыбке этой гнома и в его лукавом смехе улыбнется наше сердце и рассеется печаль...

— Расскажи, веселый гномик, мы теперь собрались вместе — ты ж молчишь и только хитро улыбаешься едва... Расскажи под елкой сказку о чудесном королевстве, где плела одна принцесса из снежинок кружева...

— Это было в королевстве — может, близком или дальнем, — очень многое зависит от того, как посмотреть! — и таким совсем хрустальным, что глазам на солнце даже было больно разглядеть. Но зимой над этим замком солнце вовсе не сверкало: только падали снежинки — шел неслышимый, мягкий снег... И под этим серым небом из жемчуженого опала было столько звезд пушистых, что не счесть их и вовек. Но, однако, был приставлен для пушинок серебристых очень старый, очень мудрый, очень строгий Звездочет: всем снежинкам в королевстве — сколько было звезд пушистых, неуклонно, неустанно бесконечный вел он счет. Для того же это было в королевстве заведенье, чтоб не смели потеряться звезды белые никак: королевством этим правил, всем другим на удивленье, сам усердный этот счетчик, звездочет — великий маг.

А принцесса в башне замка из хрусталиков лучистых так была сама прекрасна, что бледнеют все слова... И она и днем и ночью из снежинок серебристых ткала нежные узоры, из снежинок — кружева. По-

тому что королевство было бедно, как ни странно, а принцессам, даже в сказках, и живущим в хрустале, перед тем, как выйти замуж, нужно думать о приданом — так устроено на нашей, неустроенной земле!»

\*

На этом перекрестке всегда приходится ждать, пока пронесется вереница покатых, матовых от мороза и как будто очкастых от громадных колес автомобилей. Турка стоит и слегка поджимает то одну, то другую ногу, как журавль. Не то, что бы холодно, а так, от скуки.

На другом углу небольшой деревянный дом с черепичной крышей. Верхний этаж меньше нижнего и отходит накатом. Теперь черепицы почти не видно, на ней толстый слой снега, и весь дом укутан, как игрушечный — в вату. Внизу кондитерская, там тоже снег, очень блестящий, и толстые коричневые пряники. Наверху окошко с оранжевым абажуром, и приятно думать, что в этом пряничном доме живет кто-то, очень тепло и уютно, и готовится к Рождеству.

Турка оглядывает пакеты — не потеряла ли? нет, все здесь. Пряники, конфеты, свечки, книжки Веселке, грелка и туфли. Ей вдруг приходит в голову, что в сущности она сама представляет собой сейчас настоящую предпраздничную картинку: шубка в снежинках, шапочка набекрень, руки полны покупок. Может быть, даже кто-нибудь позавидует ей. И уж, наверно, никому в голову не придет, что у нее на душе нет никакого Рождества. Как будто не она сама идет домой, а кто-то другой, а она смотрит сбоку и удивляется: пусто и холодно все, и Сочельник кажется таким безнадежным и тусклым.

Дома на всех столах пакеты, беспорядок, и неизвестно, за что сперва братья. Турка живет с братьями. Веселка вернулся со школьной елки и пожирает вместо обеда, конфеты из полученного мешочка. Старший брат лежит в кровати и только вздыхает:

— Угораздило же меня на самые праздники... и ничем не могу тебе помочь, — повернуться больно.

Бедный Ивась! А если бы он знал, что Турка приготовила ему подарок — его долгожданные лыжи. Сколько лет он мечтал о них! Как только выпадет снег, вспоминал со вздохом детство, с завистью смотрел вслед каждому лыжнику с палками на плече. В этом году Турке удалось купить по случаю, через знакомого, чудесные дорогие лыжи. А у Ивася мучительный и затяжной прострел.

\*

То, что на следующее утро еле-еле удалось получить приличную елку, нисколько не удивило Турку. Елка корявая, Рождество тоже... да и чего ей собственно ждать? Самое главное, что ждать нечего.

А, может быть, она просто неблагоприятна? Теперь, слава Богу, и у нее, и у Ивася есть хорошее место. На этот раз в Сочельник она может приготовить все, как когда-то делала мама... и кутью, и настоящий королевский пирог. И окорок есть, а елка, когда повесила на нее все побрякушки, стала красивой, да и вся квартирка пахнет праздником. Словом, все есть, что нужно, что полагается быть, только... Только чего то нет, и от этого все становится обыденным, сереньким и скучным.

К сестре она сама поедет завтра с Веселкой, сестра живет на ферме, полтора часа езды от города по железной дороге. Сегодня вечером придут товарищи Ивася — из театра, бездомные, встретить Сочельник, а единственный человек, которого она действительно могла бы ждать, не придет — ни сегодня, ни завтра, вообще никогда больше... Да, если бы он пришел — тогда все было бы иначе. Но это так невозможно, что глупо даже и мечтать...

Турка яростно трет в миске мак. И как только мама делала маковое молоко! Сколько она ни трет его с сахаром — ничего не получается.

— Ты обдай водой, — советует Ивась, который тоже тер полчаса и ему надоело.

— Обдала... — уныло ворчит Турка из кухни.

— Ну и что же получилось? Молоко?

— Никакое молоко, а просто серая водица. Только что маком пахнет... Постой, я придумала!

Турка вдохновенно хватает бутылку со сливками и выливает в маковую жижу. Вот теперь у нее получилось молоко. Правда, кутья должна быть постная, но... кто там заметит? А со сливками даже гораздо вкуснее.

— И все равно никто твоей кутьи есть не будет, — убежденно замечает Ивась. — Ты лучше наливку как следует приготовь... покрепче.

— Собственно говоря, — ввертывает Веселка, слегка подковыривая только что вынутый пирог, — во всех порядочных домах садятся за стол в Сочельник «со звездой». Я читал об этом. Как только зажигается в небе звезда — сейчас же за стол — и елку...

— Еще чего выдумал! У тебя яблоки повешены уже? А свечи? А золотой дождь? Перестань ковырять пирог, поганый мальчишка!

— Собственно говоря, мы еще сегодня не обедали...

— Никто в Сочельник не обедает. Поститься надо. На хлебе и воде, да... А что касается звезды — то такие обычаи...

— Обычай — это народная мудрость.

— Ты бы помолчал, болящий! Эти обычаи хорошо было выдумывать тогда, когда был полон дом прислуги. А где тут мне и на службу поспеть, и со всем управиться, все в последний день, а еще пожалуйста — до звезды! Веселка, если ты сейчас же не уберешься из кухни, я пушу в тебя ложкой!

Но Веселка услужливо подхватил какую-то миску с остатками винегрета и удрал в комнату Ивася. Оттуда доносится сугубое чмоканье. Турка хочет погнаться за ним, но во время спохватывается: королевский пирог! Вот как раз, когда Веселки нет в кухне, и надо засунуть монету в тесто, чтобы не знал, где...

\*

Все кончено. В комнатах блестят полы, на окнах застыли накрашенные занавески, топорщится парадная скатерть, уютно разложились подушки на диване. Елка убрана и ждет первых огней. Кутья в самой лучшей вазочке водворена на маленький столик со сладостями. Турка щедрой рукой высыпает на блюдо пряники и орехи. Самое глав-

ное, конечно, — это королевский пирог посередине, с аппетитной коричневой корочкой, а кругом — картонные городки, обклеенные золотой бумагой, корона.

— Собственно говоря, я уверен, что буду королем, — мечтательно вздыхает Веселка. — И тогда я завтра куплю лимонаду . . . много-много.

— Лимонад на Рождество! — устало фыркает Турка. — Она только что переделалась и устало присела на диван передохнуть немного. Приятно все таки оглянуться кругом в канун праздника.

— До сих пор ты была похожа на настоящую замарашку — Золушку, а теперь на добрую фею, — критически оглядывает ее Веселка. — Хотя доброй тебя назвать нельзя. Конфет купила много, а в вазочку положила только на один хап.

— Веселка, если ты действительно хапнешь все сразу, да еще доелки, то я, ей Богу, заплачу.

— Ну — ну, не сердись. Я тоже, слава Богу, не маленький. Мне уже четырнадцать лет, и я знаю прекрасно, что можно, чего нельзя . . .

— Да, если бы ты знал . . .

— А теперь надевай свои меха и отправимся в церковь. Туда и обратно на извозчике. С бубенчиками. И я встану на запятки.

— Ты думаешь, что я такая толстая, что на санках больше не будет места?

— Нет, но всем прекрасным дамам полагаются лакеи на запятках.

— Вы очень галантны, сударь . . . В церковь, однако, мы все-таки пойдем . . .

— А твои хвосты?

— Да, платье, пожалуй, слишком длинно. Будет задевать за боты. Веселка, в церковь мы поедем, это верно, но только на автобусе, нельзя же так много тратить денег. Ну, а обратно — уж доставим себе удовольствие . . . на санках. Только без запяток.

— Женщины никогда не понимают, в чем истинное удовольствие, — ворчит Веселка. — Ивась, ты сторожи дом. Чтобы пирогов не утащили.

— Вы помолитесь, а я пока встану кое-как и прямо в пижаме лягу на диван в столовой, — лениво отзывается Ивась. Можешь не беспокоиться, Веселка. Никто твоих пирогов не утащит, кроме тебя самого . . .

— А вдруг?

— А вдруг? — думает Турка. — Счастливый Веселка! У него это еще возможно — неожиданное, пленительное, увлекающее: «вдруг» . . . Нет, она знает, что вдруг ничего не случится . . .

После теплого ладана церкви, радостных свеч, небо с паперти кажется особенно глубоким и синим и, как пух, редко-редко промелькнет уставшая уже кружиться, воздушная снежинка.

— Вот, когда вечером в Сочельник идет снег, это я люблю, — одобряет деловитый Веселка. — Тогда чувствуется настоящий праздник. — Эй, извозчик!

Настроение меркнет и никнет с каждой минутой. Дома никого нет, кроме Ивася, который кряхтит на диване.

— Что-ж это, так и не пришел никто?

— Подождем еще немного . . .

Но уж десять часов вечера, а все никого нет.

— Валентин собирался притти, и Квадратик, и Левушка . . . Валя сказала, что вряд-ли, но не исключается . . . Ну, что-ж значит, не смогли . . . давайте сядем за стол, не голодать же в самом деле.

Веселка очень доволен книжками, вертится, то в одну, то в другую заглянет, сидит на полу.

— Для тебя и подарка нет, Ивась. Я тебе лыжи купила, очень хорошие. Левка обещал принести, а нет ни его, ни лыж . . .

Ивась грустно улыбается и морщится от боли.

— Странный Сочельник, — одиноко и тихо . . . Кажется, будто мы сами — в сугробе, замело нас, занесло, и только елка светится огоньком . . . А за порогом — глубокий снег, занесенная дорожка, и по ней никто не придет . . . Никто не приходит вдруг.

И вдруг . . .



«— Расскажи, веселый гномик! Это очень интересно. Сколько лет пришлось принцессе кружева свои плести? Может быть, плетет поныне — и из девушки прелестной стала ведьмою такою — дай Бог ноги унести!

— Нет, принцессы не стареют — потому что сказки вечны. Не судите раньше срока, не дослушавши конца. Был Сочельник, очень вьюжный, и прекрасный принц, конечно, проезжавший мимо замка, постучался у дворца. Ну, а дальше — все понятно . . . В тот же вечер был назначен во дворце хрустальном пышный и веселый очень бал. Для, того, чтоб этот рыцарь — (был красив он и удачен) на балу с самой принцессой очень много танцевал.

Но . . . здесь нужно отступление: был Сочельник очень вьюжный, и снежинки опускались, поднимались, вверх и вниз, и казалось, что как будто им столпиться очень нужно у окна хрустальной башни, где узорчатый карниз. И пока в хрустальный замок, для Сочельника и бала, дровосеки притащили преогромнейшую ель — то вокруг хрустальной башни все кружила, колдовала и мела хвостом пушистым и игольчатым метель. Собрались на эту башню все: принцесса, стройный рыцарь, и поднялся по ступенькам даже мудрый Звездочет:

— Ах, принцесса, я не знаю, что сегодня тут случится, но одно сказать я должен: потерял снежинкам счет! Я недаром называюсь Звездочетом, магом мудрым: но они летят все к башне, и не счесть веселый рой!

Улыбнулся с снисхождением стройный рыцарь чернокудрый, а принцесса без улыбки покачала головой.

— Я сейчас спрошу сама их!

И окно она открыла . . .

— Что за шутки? Что случилось?

Но сказать смогла едва . . .

Ворвалась метель на башню, завертела, закружила, и — . . . снежинки утащили у принцессы кружева!!!

Бунт снежинок! Кто-б подумал! Надоело им вплетаться и плести узор принцессе, кружевную эту нить . . . Но подумайте: в Сочельник —



без приданого остаться... Что же скажет пылкий рыцарь? Как же замуж выходить? Но, однако, состоялся, тем не менее, в тот вечер у принцессы в замке пышный и веселый даже бал. Потому что принц прекрасный, плащ накинувши на плечи, преклонил одно колено и торжественно сказал:

— Не грусти, моя принцесса. Наша встреча — это чудо. Что же может быть чудесней в самый вечер Рождества? Завтра я отправлюсь дальше, и клянусь, тебе добуду и верну твои снежинки — из снежинок кружева!

Так и было: принц прекрасный в путь отправился свой дальний. Головой качал с сомнением заскучавший Звездочет... И грустит одна принцесса в своей башенке хрустальной, и снежинок больше нету — скрылся белый хоровод.

— Расскажи, веселый гномик... Так снежинки и удрали? Очень странная забава в самый вечер Рождества!

— За петлей — другая вьется... Так и сказка... Ах, порвались, на кусочки разорвались из снежинок кружева! Но не только в королевстве, где стоял хрустальный замок, — и на всей земле был вечер: шел неслышимый, белый снег... Колокольчики звенели — и на елках и у санок, — разливался по дорогами переливчатый их бег...»



— Дома?

— Удивительно, но дома...

— Вставай, Гарька! Чего спишь? У всех людей Сочельник, а ты валяешься. Безобразие!

— Ничего не безобразие. Тебе, Лев, может быть, и в Сочельник море по колено, а мне итти некуда. С вами не зовите — не пойду. Опять будете в кильки окурки совать. Надоело. Идите с миром, а у меня завтра спектакль. По крайней мере, хоть просплю всю ночь.

— Не дадим, Гарька. Одевайся и идем. В семейный дом. Мы там каждый год встречаем...

— Чудаки. Да меня-ж не приглашали.

— И без приглашения можно. У них такой обычай. Кто в Сочельник в дом — почетный гость. Рады будут. Напечено, наварено, елка горит... Живо!

— Ребятишки на полу ползают, а в кресле бабушка чулок вяжет?

— А хотя бы и так. Разнообразия ради. Вот тебе и уютный Сочельник, не в холостой мебелирашке.

— Да с чего вам вообще в голову пришло?

— А так, просто. Мы уже собрались. Пошли. Видишь — лыжи тащим. Подарок. Я помогал покупать. Ну вот идем. Улицы такие праздничные, красивые, тихие. Бубенчики звенят. Кружево какое-то снежное мелькает, глаза порошит... Настоящее рождественское настроение. Дай, думаю зайдем к Гарьке. Если не ушел, то дома.

— Гениально.

— Ну, это ты потом скажешь. Надевай бобры. Ишь, красавец в боярской шапке. Если-б еще лет шестьдесят на плечи накинуть — без грима деда Мороза играть можешь...

Пошли.

Обдало морозной свежестью. Гарька расправил плечи, улыбнулся. Любил неожиданности. Что-то заманчивое — неизвестно куда, неизвестно зачем. А снег действительно каким-то затейливым кружевом падает — хорошо!

\*

— Ну вот, наступил Сочельник. Сидит она одна в комнате, снег за окном...

— Как у нас, правда, Турка?

— Если хочешь слушать сказку, так не мешай. Сидит она одна и вдруг...

И вдруг в дверь постучали.

— Пришли! Пришли! Ура! — завертелся Веселка. — Турка, подбирай хвосты и иди встречать гостей.

— Чего-ж сами не входят, знают, что ждут, и без того опоздали, — ворчит Турка и выходит в переднюю.

— Пожалуйста! Давно жду!

И вот действительно «вдруг»... На пороге совершенно незнакомый человек. Красивый, высокий, в меховой шапке, стоит и улыбается.

— Простите, меня вы, наверное, не ждали. Но они притащили и уверяют, что вы не выгоните. Сегодня Сочельник.

«Они» выворачиваются из-за его спины. С лыжами, в снегу, топчут и говорят все разом.

— Упирался, говорит, незнакомый дом. А мы думаем — веселее будет. А, Турка? Здорово, Веселка! А где Ивась? Ну, надевай лыжи и кати с горы. Прострел, говоришь, прострелил? Турка, а как насчет пирогов? Веселка, признайся: все слопал? Один королевский остался? Ай-ай-ай! Есть мы хотим, как сорок тысяч братьев... что братьев: волков! Хотя, если у женщины такой брат, как Веселка, то, пожалуй, один десяти волкам не уступит. Раздевайтесь, господа, не дожидаясь приглашения. Елка-то елка какая! Очаровательная Турочка — Боже, какое длинное платье! Совсем, как на бал! Итак, вам презент: огромнейшая шишка. Одна еловая — это для Веселки, а шоколадная — для вас. Видите, как мы галантны. Проходите, не стойте, господа. Хозяйка уже скрылась на кухне — хороший знак в этом доме, а хозяин позванивает каким-то хрусталем. С праздником!

Шум, гам, смех. Кажется, не четыре человека пришли, а восемь.

Ели, впрочем, каждый за двоих. Турка только улыбалась. Даже кутьи попробовали — с некоторой опаской: а вдруг разорвет? Наконец, под треск веселкиных хлопущек, разрежали королевский пирог. Монета попала в куске, протянутом случайному гостю. В сказках все случайно...

Он надел картонную корону, к великой зависти Веселки. Впрочем, тот завидовал не короне, а монете.

— Спрячу на счастье... хороший Сочельник.

И Сочельник оказался, действительно, хорошим. В сущности для этого надо очень немного: немножко улыбки и немножко внимания. А сказка будет уже сама плести свое кружево — дальше, дальше, разворачивать узор. Хорошо жить на свете... когда есть сказки. А они — есть.

— Собственно говоря, даже сесть негде, — сказал Веселка. Они покачивались на площадке заиндевшего вагона. — В праздники ездить куда-нибудь — прямое мученье.

— Всесветный путешественник... Подумаешь! Я, вот видишь, стою.

— Такой путешественник называется глобтротер. Ты отстала от века, Турка. А потом ты женщина. Женщины могут танцевать всю ночь напролет, а потом... а потом стоять.

— В каком это ты романе вычитал? Я тебе, кажется, таких книг не давала.

— Не вычитал, а сам додумался. А вот додумается ли Ивась, что мы поставили холодец в кладовку? Не съест, и он обратится в лед. Я его буду рубить топором и отогревать на костре. Как трашеры. Ну, чему ты улыбаешься, скажи, пожалуйста?

— Во всяком случае, не твоим трашерам...

— А больше здесь никого нет. Пойдем в вагон. Там теплее.

— Иди...

Турке не хотелось уходить с площадки. Окно в двери было совсем матовым, запорошенным снегом, и переливалось чудесным кружевным узором. Вагон раскачивало, убегали внизу с сухим повизгиваньем рельсы. И так хорошо было стоять и улыбаться — просто улыбаться вот этому снежному кружеву. Вчера был Сочельник, такой веселый. Вчера пришел настоящий святочный король. Может быть, он придет снова. В сущности это неважно. Может быть, даже лучше, чтобы не приходил. Останется сказка, как искорка, и будет светить... Тепло от нее.



— Дядя Витя! Дядя Витя! Наша Турка вчера была королевой. Корона была у короля, а он дал ей. И он назначил меня пажом, и мы исполняли желанья, и поэтому вы тоже исполните, да? Турка сказала, готовит какой-то сюрприз. Неожиданное предложение. И ни за что не говорит, что такое, я уже выпытывал. Только вы должны согласиться тоже. Согласитесь, да?

— А ты, Турка, сегодня, действительно, королевой выглядишь. Ну-ка, покажись. Вся так и светишься. Святочный король, говоришь?.. Гм... Да, нет же, Веселка, не тормози. Конечно, исполню.

Санки-розвальни, деревенские, с залиvistыми бубенцами, и рыжая кобыла Машка бежит хорошо, рысистая, дух захватывает. Веселка держит кнут, дядя Витя поворачивается к Турке:

— Посмотри, саженый лес. Березы так аллеями и стоят. Я уж несколько дней тому назад ехал, так все смотрел. Хотелось, чтобы ты еще успела увидеть.

От сильного мороза все ветки заиндевели, и березы — сплошная серебристая дымка на бледном, чуть розовом от ранней вечерней зари небе.

— Хорошо, Турка? Глаз не оторвать. Снежное кружево.

— Хорошо...

В полуверсте от дома черный мохнатый Бомка с радостным визгом кидается в сани. Не забыли тебя, Бомка, привезли косточек. Лижет

лицо горячим красным языком, тыкается носом в чемодан, — там много разных интересных и вкусных вещей.

— Кутью привезли тебе, Виктор. В бутылке. Сделала вчера, столько мучилась и старалась, а наши . . .

— Отвернулись с гордым презрением.

— Молчи, Веселка. Не каждому мальчику в Сочельник кутью на стол ставят.

— А я давно кутьи не ел — радуется Виктор. — Все как то забылось. Вот и разговуюсь, хоть и задним числом. А какой у меня окорок, пиво так и пенится! Ольга ждет, не дождется . . .

Дом, правда, слишком низкий, растянутый, и потолок как будто немного черноватый, и окна маловаты, но все это ничего. Важно то, что гостью встречают с радостной улыбкой — и она сама приносит улыбку, рассказы, смех. Обедают долго. Потом зажигают елку. Пиво, действительно, пенистое, холодное, вкусное.

— Ну, а твое желание, Турка? — «неожиданное предложение»? — тянет дядя Виктор, передразнивая Веселку.

— А предложение вот какое: запрежем сейчас Машку, возьмем с собой всякой снеди, пива, конечно, и в лес. С песнями и колокольчиками. А в лесу зажжем елку.

— Елку в лесу! — ахает Веселка. — Турка, ты гений! Нет до чего замечательно! Просто странно, что мне самому в голову не пришло. Едем! Дядя Витя, ты обещал, что исполнишь.

— Да и обещать нечего. С радостью даже. Одевайся, помогай запрягать.

Ночь над полями. Тихо и страшновато немного, если б не звезды. Из хлева тянет навозным теплом. А потом по дорогам с подкидывающими ухабами, под колокольчики — гайда! Даже кобыла Машка бежит весело, с настроением. Мимо один лесок, другой . . . Начинается настоящий, густой, высокий лес. Весь в снегу, и снег кажется таким чистым — нигде такого нетронутого нет.

— Ловко! — вскрикивает Веселка, когда Виктор поворачивает кобылу, вынесшую одним махом прямо с дороги через канаву в лес. Теперь уже надо ехать шагом, выбирать дорогу, низкие от снега ветки наклоняются, цепляются, обдают морозной пылью. Молчит лес. Притаился, ждет. Что нужно этим веселым, поющим людям?

Маленькая полянка. Кругом обступили ее мохнатые, совсем старые ели, опустили ветки в сугробы.

Все встают из саней, разминают ноги, в валенках пробираются к ели. Каждый привез витой подсвечник и прикрепляет свечку. Чиркает спичка. Даже Веселка притих. На поляне зажигаются огоньки. Так тихо, что слышно, как потрескивает фитилек. Загибаются пламенные языки.

— Вот это настоящая сказка — бормочет Веселка, и все как зачарованные смотрят на елку. Ожидали — будет весело, а получилась замороженность какая-то. Даже говорить не хочется. Молча чокаются привезенным пивом, и смотрят, не отрываясь. И лес смотрит — сейчас, в этой тишине, чувствуешь его присутствие, как большого и мудрого зверя.

Свечи догорели почти до половины.

— Оставим их — тихо говорит Турка и берет в руки вожжи.

— Кому? — У Веселки глаза совсем круглые, он готов поверить сейчас всему.

— Зайчатам... Лешему... всем лесным зверям и зверюшкам. И самому лесу.

Виктор кивает головой. Понял. Берет Машку под уздцы и осторожно выводит ее из гущи деревьев. Медленно удаляются сани, и все сидят, обернувшись назад: между деревьями горят оставшиеся огоньки. Елка остается в лесу, и теперь он придвинулся к ней еще ближе, теперь ему самому никто не мешает смотреть, и могут высовываться из-под пушистых веток, из-под кустов любопытные мордочки, и, может быть, сам седой леший ворчливо стряхивает сугроб со своей бороды и тяжело ступает мшистыми валенками по поляне: надо посмотреть — на сказку в лесу!



— Что такое? Посмотрите! Горит!

Тяжело раскатываются на повороте сани. Две лошади — гнедая и мышастая — поводят круглыми деревенскими боками. Лесничий сдвигает на затылок меховую шапку с наушниками, присматривается осторожным и цепким, как у лесного зверя взглядом. Браконьеры? Костер? Что такое? Марта недовольно прищуривается. Светлые, чуть рыжеватые ресницы собираются в сборочки, поднимаются к скулам свежие румяные щеки.

— Ну вот, теперь придется делать крюк, смотреть, что там такое, а у меня и так ноги замерзли...

— Кажется, совсем близко, у самой дороги.

Роберт тоже присматривается, заинтересованный. Как красиво издали — темный лес, белый снег, как много его — и вот там, в просвете — мигающие оранжевые огоньки. И так тихо... Лесничий поворачивает лошадей. Сани бухаются в заснеженную канаву.

— Да постой, папа, я бы вылезла — морщится Марта. — Хотя только завязну в сугробе. И чего тебя тащит в самый лес?

— Не понимаю — бормочет лесник. — Что же это может быть?

Лошади вытаскивают вязнущие сани на поляну. Свечи на елке почти совсем догорели. Тихо, тихо... и никого нет.

— Кто-то зажег в лесу елку — мечтательно произносит Роберт. Привычный взгляд художника сразу схватывает все переливы, вот эту тень под елью, голубой сугроб, белую тишину.

— Пьяные, должно быть — флегматично замечает Марта. — Хорошо, что мы заметили, а то еще пожару бы наделали. Ты бы, папа, узнал, кто это, и всыпал хорошенько.

Лесник вылезает из саней, подходит ближе. Нет, свечи воткнуты в подсвечники, а до самой ветки огню никак не добраться — слишком толст снег.

— Пусть уж догорят — говорит он тихо и снова берет в руки вожжи. — Позабавился кто-то, видно... ну что ж, ничего тут худого нет.



— Ты чего надулся, как мыш на крупу? — спрашивает Марта, разворачивая на голове шерстяной платок и отряхивая снег, прилипший к ботам. — Раздевайся скорее, иди в комнату. Сейчас согреемся, вы-

пьем чего-нибудь, я тебе тушеной капусты с салом дам. А домашних колбас хочешь?

Он идет за ней в теплую комнату лесничего дома. Лампа с фарфоровым абажуром, стол, диван, радио, на стенах несколько его картин. Лесничий живет хорошо, ничего, что в глуши. Правда, еще чувствуется в доме, и не только чувствуется, но и стоит еще в углу старый, обитый железом сундук — символ добротного, крестьянского дома, но вот уж и картины, и радио. И Марта учится в городе. Напориста она, так же, как отец, пробьет себе дорогу в жизни. Важна заложенная сила, а коров ли доить, — или чертежи сдавать — это мелочь эпохи.

А он, может быть, совсем не созвучен эпохе со своими мечтами. «Мы последние в нашей касте и жить нам — недолгий срок»... Кто это сказал? Поэт один. Поэты и художники — очень уж никчemuшные люди.

— На что ты уставился, Роберт? Садись за стол.

— Выпьем по чарочке, надо согреться с дороги — говорит лесничий и вынимает из буфета бутылку.

Лесник не знает, что ему делать с Робертом. Нравится ему парень — это да. Молодой такой, тихий, душа у него мягкая, глаза светлые, ясные. Старательный. В академии доучивается, хорошо идет, многие профессора с большой похвалой отзываются, наверно, в награду золотую медаль получит. Летом у них жил, помогал по хозяйству. Не очень ловко, но ничего, привык. А как свободная минута. — в лес. Бродит, смотрит. Но Марте он не муж. Нет. Не хватает тут чего-то. В разные стороны смотрят, как поженятся, сразу в развал пойдет. Если же Марта верх возьмет, да над ним командовать начнет, — так еще хуже. Либо уйдет Роберт, либо смирится, замолчит, да так сам и закистет. Не ладно, а только не его, их дело. Пусть сами решают...

Роберт смотрит на старика и чувствует его мысли. Не трудно это — когда сам думаешь о том же.

— Чего еще хочешь — говорит Марта, деловито оглядывая стол — ветчины нарезать?

— Нет, спасибо, ничего не хочу...

Марта заглядывает ему через плечо. Роберт положил на стол маленький блокнот и чертит в нем что-то...

— В городе ты только и делаешь, что рисуешь, так и здесь не можешь оторваться. Я понимаю еще какой-нибудь вид красивый. А то просто елка, не понять ничего...

— Елка в лесу — тихо говорит Роберт. Он все еще видит перед собой поляну, переливы огоньков. — Ты не понимаешь...

— И понимать не собираюсь...

— Сказки не видишь.

— Да ты сумасшедший, что ли? Не пьян, кажется. В чем тут сказка и что вообще здесь такое?

— Не пьян, а... заколдован.

— Ей Богу, рехнулся. Ну довольно, брось глупости. Поел, выпил, согрелся. Старик теперь спать пошел, поздно уже, ночь на дворе, пойдём наверх. Я тебе рядом с моей комнатой постелила...

— Не хочу, Марта.

— Не хочешь? — голубые глаза становятся сперва недоумевающими, а потом жесткими и злыми. — Это почему? Из-за каких новых

бредней? Чего ж ты тогда приезжал? Или, может быть, тебя околдовала . . . ах так, понимаю . . . «она» какая-нибудь?

— Да . . . елка.

— Заладил! Тьфу!



Но это не было обычной ссорой влюбленных. Роберт пробыл у лесничего всего два дня, а не все праздники, как собирался, и рано утром на третий день ушел пешком на станцию. Неприятный разговор с Мартой был позади, оставалось еще чувство обиды и горечи. Но под ногами хрустел снег, в лесу пахло морозом, и чудилось, что за мохнатыми лапами елей, осторожно раздвигая их, леший одобрительно кивает головой. Так, сынок, так . . . не бери в жены не по сердцу, не по себе . . . Каждому свое, сынок . . .

— А мне — елка — радостно подумал Роберт и улыбнулся. Да, прав старый леший. Прав, потому что нет ничего лучше этого утра в лесу — разве только вечер — и снежного кружева на березе. Будто уронил его кто-то сверху, и оно зацепилось за ветки и повисло, качается, дробится в переливах. Марта не увидит его, как ни показывай. У нее другие глаза. «Мы последние в нашей касте» . . . ну что ж . . . разве из-за этого надо стараться походить на других? «и жить нам недолгий срок» . . . Пусть другие живут дольше. А мы и за нашу жизнь увидим столько чудес, сколько им и не приснится! «Мы — коробейники счастья, кустики задушевных строк» . . . Да здравствуют поэты!



— Ну-с, Робби, что же вы принесли мне сегодня!

У издателя — он же главный редактор журнала, очки на лбу, и, кажется, никогда не спускаются ниже. Он полный, добродушный, но с деловой хитрецей. К Роберту относится по отечески и вообще был бы большим меценатом, если бы не прижимистость, когда вопрос идет о гонораре. Но умеет делать и широкий жест. Его побаиваются и любят.

— Елка в лесу . . . Неплохо. Очень неплохо, молодой человек. Когда он говорит «молодой человек», это значит, что клюнуло. — Талантливо. И настроение . . . Кажется — лес, а вместе с тем — сказка. Вот это настоящая обложка для праздничного номера.

— Рождественский уже вышел — робко замечает Роберт.

— Жаль, что не принесли раньше. Неосмотрительно, молодой человек. Помните, Робби — праздники могут быть у людей. Журналисты, да и вы, художники, вместе с ними — не люди. Они должны жить авансом. Только не брать авансов, разумеется. Этого ни один издатель не любит. Но Рождество у них должно быть готово заранее, тогда, когда еще и снегом не пахнет. Читателю надо подать во-время. А как вы подадите, если мы станем делать рождественский номер в Сочельник? Ну, на этот раз я вам прощаю. Дадим в новогодний. Только уж на следующее Рождество пожалуйста — заранее.

Издатель явно в хорошем настроении.

— Сейчас мы сдадим на клише в цинкографию, а то не успеть . . .

А рисунок я потом домой снесу... Там у меня уже кой-какая ваша коллекция есть. Станете знаменитостью — вот я и выиграл. А пока...

Он привычной рукой пишет чек в кассу, и Роберт радостно улыбается цифре. Этого он не ожидал. Хорошее начало нового года. Помогли ему снежинки... спасибо им!



— Так и думал, что сидишь у окна и мечтаешь... Вика, посмотри, что я принес. Славная штучка, а? Робби дал к новогоднему номеру. У этого парня настоящая искорка в душе. Дай Бог, чтобы не погасла. Обложка будет ничего, удачной, а, как ты думаешь?

Вика знает, что отец не ждет от нее ответа. В тайнах цинкографских красок она разбирается мало. Да ему это и не нужно. Он просто хочет чем-нибудь обрадовать ее.

— Танцевала сегодня?

— Нет. Не хочется.

— А ты потанцуй. Танцуй и учись. Порхай, как снежинки — чего тебе еще надо?

Вика незаметно вздыхает и поглубже прячется в кресле, рассматривая картинку. Хорошо просто сидеть так, закутавшись в серебристый халатик у огромного окна. Внизу видны парковые деревья, снег идет, мягкий, пушистый, отдельными звездочками. Кружатся, как будто действительно танцуют.

У Вики тонкое, чуть надменное и капризное личико восковой леди — избалованной папиной любимицы. Тонкие темные бровки. Сейчас она хмурит их, припоминает что-то, или силится угадать... Что именно? Ах, да! Вот, елка в лесу... Действительно, очень красиво. Если посмотреть подольше — кажется подступит обволакивающая тишина. А эта снежинка оторвалась от сугробных веток, падает, и сейчас закружится, как будто зазвенит... Снежинка! Да, такая простая и такая красивая звездочка. Вот что ей нужно!

Собственно она забралась с ногами в кресло специально для того, чтобы подумать. Вику пригласили выступить в театральном ревю. Вставной номер. И танцевать придется с новым актером — как его зовут? «Гарька». Да, смешно так. Высокий, красивый, умные глаза. Если совсем честно признаться самой себе, то она называет его потихоньку уже не Гарька, и не Гавриил Александрович, а просто — Гар. Так ей больше нравится. Значит, снежинка... А он? Нельзя же его сделать елью.

Вика потихоньку смеется. Нет, но если надеть балахон, как у старой ветлы, руки — сучьями... Он сильный, он выдержит, если она «зацепится» за ветку. Они уже танцевали вместе.

Номер оказался волшебным. Впрочем, не только номер.

Декорация из чего-то, совсем похожего на голубовато серебристую дымку из туманной парчи. Вика извела декоратора, но добила настоящего «фона». В тумане — старое дерево с одинокими сучьями — как руки, протянутые к небу. И откуда-то сверху — полуслетает, полупадает белая звездочка-снежинка. Пачки из посеребренного тюля, с пушистой легкой юбочки падают искорки, как будто идет снег. Даже



те из зрителей, которые понимали, что это делается при помощи крохотных зеркал и представляет простой оптический обман, с удовольствием обманывались.

Снежинка порхает, кружится по сцене, ласкается к старому дереву и оно оживает, ловит ее своими сучьями, кружится вместе с ней, а когда она, усталая, укладывается на землю — дерево, сломленное горем, падает рядом.

Цветы, аплодисменты, радостные раскланивания. Номер имел громадный успех.

•

— Счастливец ваш Гарька — вздохнул старый, бритый, как актер — с особенной такой синеватой выбритостью рецензент театра.

— Да, сделал карьеру. Дочь самого крупного издателя в городе. Теперь ему можно и театр по-боку.

— Ну, это вряд ли. Она вот, по всей вероятности, бросит танцевать. Очень мило, в особенности, когда папаша может оплачивать туалеты, декорации и чорта в стуле — но больше ничего. А он — актер и будет работать дальше. Есть над чем. Умница. И кроме того . . .

— Что кроме того?

— Приятно посмотреть, знаете ли . . . не в американских фильмах, а в самой нашей что ни на есть настоящей жизни, когда вот случается такое, так как то . . . теплее на сердце. Со стороны пожалуй и очень просто: богатый отец, в дочери души не чает, она мечтательница, избалована, встречает юного Ромео — он ей и «ромеирует» — и на сцене и за кулисами тоже . . . Ну, до романа недолго, конечно, а потом — какими-то путями удалось уже обломать папашу . . . Современные девушки и не на такое способны.

— Так чего ж вам?

— С стороны, нашим простым языком говоря, так действительно и выходит. А мне как-то случилось их вместе недавно увидеть, незаметно так: меня на этот счет не проведешь. Слава Богу, сколько среди вашей актерской братии обретаюсь. Я грим насквозь вижу, даже если он «летний». А у них — любовь без грима. Настоящая. Ну вот — и улыбнулся ласково, тепло, говорю, на сердце стало. Значит, случилась у какого-то человека сказка в жизни . . . А это лучшее, что она может дать.

Старого рецензента никто больше не слушал. Говорившего с ним актера товарищ отозвал тайнственным подмигиванием в сторону, и рецензент стоял один на пустой, голой без декораций, сцене. Он оглянулся, усмехнулся, махнул рукой и убежденно заметил:

— А я все-таки говорю: есть сказка.

Сказку можно увидеть, даже если не знать, что все это случилось потому, что мерзнущая мечтательница рассматривала рождественскую картинку молодого художника, а он был зачарован елкой в лесу, которую зажгла девушка, улыбающаяся отблеску сочельника — случайному гостю. Случайному, потому что если бы над улицами не летало снежное кружево . . . потому что его утащили снежинки!

Так и можно рассказывать без конца.



«— Знаешь, гномик, эта сказка — чем длиннее, тем чудесней.. Всем послушать бы такую в синий вечер Рождества! Только что же было дальше? Сколько ждать пришлось принцессе, пока рыцарь принесет ей из снежинок кружева?

— Может быть, и очень долго... Может быть, и очень мало... Ведь, бывают в свете сказки, для которых нет конца... Но когда пришел Сочельник, то принцесса уже знала — что придет с метелью рыцарь, постучится у крыльца. Но... с пустыми он руками появился, как ни странно... Опечалилась принцесса, вместе с нею — Звездочет. Разве можно замуж выйти, если кружев нет в приданом, а с одним хрустальным замком вряд ли кто-нибудь возьмет...

Но на башню к ней поднялся странный рыцарь, улыбаясь:

— Нет, принцесса — не нашел я, — потерялись кружева. Утащили их снежинки, растрепали, забавляясь, — подарили людям сказки для кануна Рождества. Пусть летят кусочки кружев, мчатся в даль в пушистых хлопьях — не напрасно маг великий вел снежинкам этим счет, не напрасно ты плела их в этой башне днем и ночью, — не напрасно утащил их шаловливый хоровод... В мире две есть важных вещи: это сказка и улыбка. Остальное можно сделать и придумать как-нибудь... А кусочки твоих кружев разлетелись нитью зыбкой, заплели в узор волшебный не один тяжелый путь... И поэтому, принцесса в твоей башенке хрустальной будем вместе вить узоры, звезды снежные считать, и поэтому, принцесса, чтоб не быть тебе печальной, нашу сказку из снежинок будем вместе продолжать!



Может быть, не очень много наплели из снега кружев этот рыцарь и принцесса, и премудрый Звездочет... Только новый бунт снежинок в королевстве был ненужен — потому что, ведь, снежинки прилетают каждый год.

Каждый год плетут узоры филигранной своей вязкой — и в Сочельник, в вечер синий накануне Рождества нежно тают на ресницах глаз, плененных этой, сказкой — и увидевших повсюду из снежинок кружева.»

1938 г. Рига

На Пасху без России не обойтись. Казалось бы, на снежный праздник — Рождество — тоже, но нет: северная и западная готика, медовые немецкие пряники, хорал «Тихой Ночи» и «керолс» Диккенса, сказки Андерсена и резные «ясли» — не меньше, если не больше, чем русские снега делают рождественскую елку проникновенным, чуть грустным раздумьем. Да и Рождество, в таком виде, как теперь, стало праздноваться в России совсем недавно, а Пасха — исстари.

Оттуда, из Руси еще, идет колокольный звон, великопостное смирение бессильно тающего снега, первая робкая радость вербных пушинок, фиалок и подснежников, и могучий прорвавшийся гром ледохода, после которого обычно ложится на нежную траву синяя, мерцающая пасхальная ночь.

И это всегда — радость, окно, распахнутое в солнце, а не нарядная, но грустная елка под теплой крышей. Рождество — это сказки, а Пасха — мечта, весенняя радость, березки и поля, уводящие в древнюю, вечную даль.



Шел пост. В балтийском, когда то русском городе было много православных церквей, и медный заунывный звон тянулся по улицам, вливался в окна мартовскими вечерами, колыхал занавески с вышитыми на них красными барсами и павами. Небольшой деревянный зеленый дом стоял во дворе, под раскидистыми липами, к нему вели тоже деревянные резные ворота, и назывался он поэтому «зеленый скит». Но и не только потому.

В марте стены завешивались картинами, рисованными на материи, как ковры. В рамах, намеченных орнаментом — копии Билибина, Рериха, Васнецова. По полю ехали витязи в серой сетке кольчуг, с острым наконечником шишака. Поблескивали серебряными бляхами щиты, острились копья, лебедем гнули высокую шею картинные кони, разлеталась веселая грива соловых... А за витязями шли поля, перерезанные полосами суглинка, песков, желто-зеленые весенние поля, синий задымленный лес и такое простое и внезапно поющее в своей однотонности, бледное выцветшее небо. От него все цвета казались потемневшими, древними, раздвигались поля, уходили в седую старую Русь. Или шли по сугробной мостовой фигуры в платках и кафтанах, заслоня от ветра четверговую свечу, улыбались боярышни в жемчужных подборах, благостным покоем дышали монастырские стены и ворота распахивались в глубину.

Под картинами полки с ковшами, вырезанными из дерева, блюдами, тарелками, солонками, яйцами, столы с расшитыми скатертями и полотенцами.

Этот верниссаж устраивался в марте, в начале поста, а потом уже рассылались заказы из провинции, по домам, или за границу. На верниссаж приходило много знакомых, приводивших чужих и иностранцев — надо же было сделать рекламу для Тени. «Тенью» звали хозяйку только близкие, по детскому прозвищу: девочкой ей казалось

почему то трудно выговорить собственное имя, — Татьяна —, а гораздо легче скакать на одной ноге, приговаривая: «Тень-тень-перетень, середь города плетень!» Так и осталось.

Тень состояла, конечно, в обществе ревнителей русской старины, для которого делала лучшие работы, и с полным убеждением почти всегда ходила дома в сарафанах.

Так он и увидел ее: она сидела перед почетными гостями на подушке, брошенной на пол посреди комнаты, и держала в руках резное деревянное блюдо с апельсинами. Густо оранжевые, выбитые гвоздиками шары казались глазками с перьев невиданной Жар-птицы на руках девушки в темно синем скитском сарафане. Узкая красная вышивка тесьмой сбегала по рукаву, платок был надет по старинному — в роспуск, глаза медно-зеленого цвета, как плесень, а лицо смугловатое и тоже будто из дерева вырезано, даже рот слишком большой и узкий, будто резчик хотел вырезать улыбку, и не сумел, только завил чуть-чуть кончики губ.

— Гавриил Александрович, — протянула Пантера — не смотрите так пристально на хозяйку, она у нас дурнушка и сейчас застыдится, закроет лицо рукавом, и чарочки вам не поднесет...

Пантера покровительственно провела острыми ноготками по вышитому рукаву. Она всегда снисходительно относилась к женщинам, в которых не видела соперниц, и была искренно привязана к Тени. У Пантеры был богатый дом, в котором бывали все министры, дипломаты и знатные иностранцы. Она постоянно привозила когонибудь для покупок в «скит», и сама выбирала лучшие работы, иногда советуясь с Тенью, вкусу которой доверяла, о фасоне и цвете своих шляп.

Об этом она тоже рассказала Гавриилу, бывшему ее очередным адъютантом, и он невольно подумал что ей следовало бы действительно посоветоваться, прежде чем надеть такую ядовито зеленую ультрамодную шляпу. Может быть, эта модель и стоила бешеных денег, но тициановские волосы казались еще больше сухими и искусственными, как ресторанные пальмы, и чересчур яркий румянец подчеркивал усталую напряженность глаз, несмотря на всю косметику. Здесь же, в скиту, густо синие драпировки с блеклым золотом сказочных птиц, розовые отблески старой меди на ковшах, и спокойно потемневшее дерево настраивали совсем на другой лад.

— А вас действительно зовут Гавриилом? Пантера рассказывала мне, что иначе, совсем по особенному как будто.

— В этом он признался только мне, да и то под большим секретом, и ты пожалуйста никому не говори тоже! Такие имена только в допетровской Руси встречались, да еще у раскольников разве. Я не поверила, пока сама в святцах не прочла... Гамалиил! Пришло же в голову родителям, дали имячко, нечего сказать! Его зовут все Гавриил, или Гаврюша, или Гарри, наконец, и ты пожалуйста не выдумывай...

— А ведь это очень красивое имя — задумчиво сказала Тень, — как у витязя, или... — у нее вдруг широко открылись глаза с таким восхищением, что ему стало даже неловко, но он сразу увидел, что она смотрела не на него, а на кого-то за ним.

— Гамаюн, — произнесла она коротким певучим звуком, — Гамаюн — вот вы кто! Птица вещая... и похожи ведь, правда! Вот им я вас и нарисую...

— А меня тогда Альконостом, с лазоревым хвостом, а то мне надоело тебе все в платках да кокошниках позировать!

Пантера была немного польщена успехом своего поклонника — ее милая дурнушка непременно влюбится, и будет теперь его рисовать повсюду, вот ей и удовольствие!

Пантера была слишком уверена в себе, чтобы не снисходить.

•

Может быть, и не следовало быть такой уверенной, потому что «Гамаюн» вскоре стал приходить к Тени — один.

— Интересно познакомиться с вами поближе, без этой лакировки верниссажа — сказал он, усаживаясь на диван. Напротив, у большого окна во всю стену, стояли пальцы, и чуть позванивали от тугого протертого шелка. Тень сосредоточенно втыкала в работу иголки с разноцветными нитками.

— Верниссаж у меня — праздник, к которому я целый год готовлюсь. Видите, теперь почти все стенки и полки пустые, и дом уже не выставка, а мастерская.

— Так целый год и занимаетесь кустарщиной?

— В России раньше ею поколениями занимались, целыми деревнями, по отраслям.

— А вы — всем сразу и одна?

— Летом езжу в деревни у Печерского монастыря в Эстонии и у нас в Латгалии, там у меня искусные ткачихи и кружевницы сидят, а разные дяди лапотки плетут и режут кое что, вытачивают... Иногда работаю со знакомыми художниками, когда заказов много...

— Так и живете?

— Ну да. И с этого живу, и этим живу.

— Первое — понимаю, что удалось свое дело наладить, хорошо. А второе?

Тень усмехнулась и прикусила зубами нитку.

— Позвольте спросить: а вы сами что делаете?

— Я представитель нескольких крупных фирм, и постоянно в разъездах по всей Европе.

— Живете со сделок, значит. А — чем?

— Странный вопрос. Я недурно зарабатываю, состою в разных обществах, читаю, когда есть время, люблю театр и вообще... какой смысл жизни может быть у нас, эмигрантов? Слава Богу, что не пришлось заниматься каким-нибудь монотонным трудом, я даже в конторе выдержать не могу, не говоря уже о фабрике или тарелки мыть...

— А вот мне кажется, что смысл всегда должен быть, а главное — может быть. Всякому свое. У меня есть способности — таланта настоящего нет — я ведь не художница, а копировальщица больше, но даже и крохотного умения достаточно, чтобы создавать что-нибудь, при желании... а именно это и хочется: создавать. Пусть только ковш, ковер какой-нибудь... но обдумываешь его, вкладываешь свою мысль, любовь к цвету, орнаменту, старине... и получается вещь.

— Нарядная красивость.

— И пусть. Хорошо, если бы ее было побольше в жизни, самой обыкновенной жизни у обыкновенных людей. Потому что строгих

ценителей красоты очень мало, а у большинства тех, кто как вы, презрительно относится к «кустарщине», — либо модный трафарет, шаблон, дешевка, либо просто сарай, нищета убогости духа. Человек даже не замечает обстановки, в которой живет, и не видит, что сам от нее тускнеет, мельчает и линяет.

— Ну-ну... не сердитесь. Подумайте лучше о Пасхе. Вы ее наверно любите, и заранее радуетесь празднику? Я отвык как-то.

— Радуюсь, а иногда боюсь. Вдруг будет такая радость, что не выдержу — и сломясь?

— Сломить неожиданной радостью? Интересно, какими станут тогда у вас глаза...

Он легко вытянул ее из-за палец, и почти положил с собой рядом на широкий диван. Наклонился, смотря в упор на опрокинутые глаза, но не поцеловал. Только улыбка метнулась по губам, и соскользнула с них на ее губы.

— Гамаюн, спойте мне песню.

Она так произносила его имя, что оно звенело на самом деле, и казалось ему таинственным, как темные крылья громадной птицы, распростертой на новом ковре на стене. Птицы-юноши с резким человеческим лицом и его, только ставшими все видящими, все пронцающими глазами. Эта птица пела неслышную удивительную песню, и в комнате раздвигались стены с шумевшим на них бором, бледное шелковое небо сливалось с таким же небом за окном, над крышами, над всей землей, гудевшей колокольным звоном. И повторялась на все лады в песне трепетная боль замирающего сердца, ищущего то, чего нельзя найти, чего может быть и не бывает вовсе, о чем ведомо только вещей птице с хрустальными провалами глаз.



«Яйцо она все таки заслужила», — подумал он, выбирая в магазине перед Пасхой два особенно нарядных: оплетенный серебром флакон духов для Пантеры, и большое шоколадное, с голубым бантом и синими гиацинтами для Тени. Он сделал даже больше: узнав у той же Пантеры, что Тень давно мечтает о дорогой старинной книге с заставками и концовками, купил ее у антиквара и поднес вместе с яйцом — когда одуревший слегка от бесконечных поздравлений и визитов в широко праздновавшем городе свернул наконец на боковую улицу, в «зеленый скит».

К чему бы, собственно? Пантера понимающе усмехалась, но сам он не задумывался. Да просто так... пусть порадует! Не похоже, чтобы ее очень баловали. И в конце концов, выглядит в этом доме все очень красиво, но если работать весь день, то за пальцами, то с кистями, с молотком и ножами, гвоздиками... А восхищение кустарной дурнушки льстило, конечно.

А потом был май, сиреневый и черемушный, и Тень умела рассказывать легкие и нежащие сказки о своих вышитых боярышнях. Право же, она была совсем ненавязчива и очень мила. Впрочем, никаких требований и посягательств он и не допустил бы. Пантера была избалована, но тоже осторожна в своих притязаниях к нему, а у нее бывало много полезных и нужных ему людей. Они прекрасно понимали свой

осторожный нейтралитет — и друг друга — достаточно, чтобы не быть застигнутыми врасплох взрывом какогонибудь чувства. Женщин в его жизни было достаточно, и все хотели или чего-то сентиментального, или женить его на себе. Легкий цинизм казался ему самым подходящим взглядом на жизнь, в которой старым идеалам места не было, а единственное, что можно было ценить — это удобство.

В июне он уехал, полушутя обещая вернуться к следующей Пасхе, и прислал две открытки: Эйфелеву башню из Парижа и новогоднее поздравление из Лондона. Пантера позаботилась, чтобы все разговоры и сплетни, ходившие о нем, стали известны и Тени — в особенности, конечно, о его свадьбе в Лондоне. Об этом он сам известил, но только Пантеру, дружески усмехаясь в письме, что пора осесть где-нибудь, и лучше всего, став не только мужем, но и директором собственной фирмы...

На расспросы Пантеры Тень недоумевала, почему та, собственно, интересуется ее чувствами, и почему, в сущности, они должны быть вообще? На лице не появилось ни одной новой черточки — в молодости большие ссадины на душе незаметны для взгляда. И то сказать: сломанная нога вызывает сочувствие даже у незнакомых людей, но если ломается что-нибудь внутри...



Весна наступила рано. Прогнала ледоход, выдула ветром город, бросила золото на мостовые и пошла дальше, в поля. Весна раздавливает слабых и торжествует вместе с сильными — но сильные радуются, а слабые благословляют ее.

«Все таки, это родина, — подумал Гавриил, услышав великопостный звон на знакомых улицах — а не Европа»... и тут же вспомнил, недовольно сморщившись, что идет последняя, Страстная неделя, и если не успеть до Пасхи, то потом останется слишком мало времени для всех дел, и не стоило бы приезжать, пожалуй...

Пантера еще чуть постарела, но новый адъютант был моложе его, значит все в порядке. А верниссаж в зеленом скиту прошел уже? Жаль, что его не было, он бы заказал для жены...

— Я позвонила Тени и сказала, что ты приехал. Она просила твой адрес, чтобы отослать тебе заказ...

— Мой заказ?

— Был гвоздем на выставке. Разве ты забыл? У нас провинция, мой милый, мы долго помним... Да и вещь дорога слишком.

— Мистификация — пробурчал он, но задумываться было некогда. Еще столько дел. Да, конечно, он с удовольствием отправится на заутреню вместе с Пантерой...

Дел хватило на все дни и вечера, вплоть до субботы, когда после обеда вернулся к себе. Посыльный принес пакет. Небрежно развернул его, бросил на стол. Какая-то книга. Надо принять ванну, побриться, отдохнуть до заутрени. Лег на диван, закурил папиросу. Бумага, в которую была завернута книга, упала на пол, и чуть пошевеливалась от легкого ветра, продувавшего в окно.

Он потянул за уголок и скривил губы. Ну, конечно! Альбом с атласными вышитыми страницами. На первой — коньки терема и в окне

царевна с длинной косой. По бокам — птицы, зоревая и сумеречная, а над ними, в запутавшихся в перья звездах, третья . . .

Однако! Долго ей пришлось продергивать шелка, обтачивая каждую букву! Бедная кустарная дурнушка. Неужели она действительно вообразила себе чтонибудь из их мимолетной встречи?

Книга повисла на полукруглом скате дивана, задержанная ножкой стола. Он потушил папиросу и вытянувшись, закрыл глаза. Даже сквозь сомкнутые веки чувствовал, как дрожало за окном высокое синее небо. Или дрожат эти гулкие, редкие колокольные удары? Га-ма-юн. Га-ма-юн.

— Гамаюн, откройте пожалуйста, книгу — послышалось совсем близко. — Это просто невежливо: бросать, не прочитав! Пожалуйста, не смотрите такими посоловевшими глазами. Вы отлично знаете, что это сон, и с вами говорит царевна, вышитая на первой странице. Как печально быть вышитой на первой странице и не знать, что дальше! Пожалуйста, помогите мне прочесть сказку — у меня шелковые руки, и я не могу перевернуть листа.

Царевна оперлась на наличник окна, поставила ножку на высокую букву и подала ему руку из нескольких стежков. Царевна была плоская и неживая, черные крапинки в глазах смотрели повелительно и капризно, как у игрушки.

«Забавный сон», — подумал он, и послушно перевернул страницу.



«По над звездами льются звонами и летят в поля — голоса. Для тебя, любимый мой, звездами засвечу я чужие глаза. Медью ярою — вязь червленая — распахну, разошью шелка. Былью старую, золоченою, пусть поет и звенит Тоска. Зашуршит страницей атласною, что поведало сердце-вещун: о тебе я думаю ласково, для тебя пою, Гамаюн!

Под коньком хрустального терема тень царевны видна за окном; на верхушке могучего дерева птицы машут над нею крылом. Алы перья у птицы лазоревой, солнцем по небу палевый хвост: не слышать до морей, и за морем ли, как поет на заре Альконост. Как раскинет перья широкие — заблестит, зазвенит вокруг. Станут близкими все далекие, улыбнется забывший друг.

Вечера гаснут зорями альми, звезды тают в хрустальном окне. Сирий машет крылами усталыми — нет печальней его на земле. Серый сумрак кольшет перьями, будто в ладане гаснет сирень: если сердце любви поверило, — это только зыбкая тень. Птица Сирий поет, печальная, о тоске всех грядущих разлук: сердце близкое станет дальнее, не вернется забывший друг . . .

Утром ясным ли, в ночь лиловую — тень царевны видна за окном. Пусть споют ей птицы про новое, что не слышано ни о ком! В горе ль, в радости — правда скрытая? Можно плакать ли, и смеясь? В песне слово то не забыто ли, или просто — нельзя сказать? В чем же слить воедино разное — и печаль, и веселый смех? Или это печаль напрасная, и всегда так было у всех?

Так в короткую ночь весеннюю, когда ночь догоняет день, в расписном узорчатом тереме припадала к окошку тень. И шумя крылами недужными, разметнув свой радужный хвост, голосами пропели дружными птицы Сирий и Альконост:



— Есть, царевна, поля далекие — только дальше их — небеса. Есть царевна, моря глубокие — только глубже видят глаза. Но яснее, чем солнце, красное, и звончее нежнейших струн, есть на свете птица прекрасная, птица вещая — Гамаюн. Все ей ведомо: горе ль, радости ль, слезы горькие, сердца дрожь. Ты пойдешь за ней и рассказывай — может статься, ее найдешь!

В ночь короткую, в синь весеннюю, когда ночь догоняет день, от окна хрустального терема опускалась на землю тень. И вослед за своею царвеною — тень царевны иль просто тень? — за таинственной сказкой древнею, за поля, за тын деревень, за моря, синевшие яхонтом, за зеленый шумящий лес — улетали птицы прекрасные со своих насиженных мест.

Завились пути повиликою — и не счесть всех в мире дорог... Шла царевна по ним с улыбкою — знала, сердце подскажет срок. По лугам весенним и ласковым, по цветам пахучих полей шла царевна за этой сказкою, за мечтою желанной своей. Было сердце легким и пламенным, но томилось оно в пути. Может быть, за горою каменной Гамаюна можно найти? Может быть, глухими пещерами окружен его дальний скит? Никому эта тайна неведома — только имя его звенит... Может быть, зарею он рядится — там, где красного солнца восход? Никому того знать не дадено — только имя его поет!

Приступали к царевне странники, и вели разумную речь:

«Если сердце мечтой обманется, тяжело горе для хрупких плеч!»

Приступали к царевне витязи, медью яркой блеснул их щит:

«Мы наверно о нем бы слышали, если имя его звенит!»

Приступали девушки красные, заплетаясь вели хоровод:

«Если ищешь сокола ясного, его сердце тебе найдет!»

Освещался улыбкой ласковой у царевны для всех ответ:

«Ухожу в Божий мир за сказкою, а еще этой сказки — нет. Для нее, простой и таинственной, я пройду мимо солнц и лун, потому что один единственный и желанный мой — Гамаюн!»



Кругом звенело что-то, оранжевые осколочки сыпались в мутную пыль. Глухо стукнула книга, свалившись на ковер. Он вскочил. Было холодно, оранжевый звон дребезжал у двери. С усилием раскрыл, как разрезал, глаза, и рассмеялся: на пороге стояла Пантера, не отрывая руки от звонка.

— Мне стало скучно: не хочу в собор. Сегодня у меня покаянное настроение. Поедем в монастырь, походим по саду до заутрени...

По пустынным улицам в автомобиле еще не чувствовалось синей ночи. Она охватила сразу перед кирпичными воротами монастырской ограды в городском предместье. Ограда шла вокруг холма, на котором стоял белый собор с перламутровыми куполами. В темноте светились сбоку оранжевыми огоньками окна домашней, «зимней» церкви с чудотворной иконой. Дальше темнели монастырские дома, раскинутые среди дорожек, обсаженных набухшей уже сиренью. Со старой звонницы из под мшистого навеса бухнул гулкий удар и поплыл над сиренями к высокому деревянному крыльцу в резных столбах. На ступенях, сгибаясь под бахромой хоругвей, спешили, проваливаясь в тем-

ноту, фигуры. Огоньки протянулись ниточкой и поплыли кругом храма.

Тихо. Ветер шелестит чуть слышно, тоже молится.

У закрытых решетчатых дверей воздвигается крест... «яко тает воск от лица огня...» свечи оплывают в огарки. В провале свечного ящика много таких огарков — маленьких надежд, горевших робким, трепетным огоньком.

Вспугнулась мгновенная и такая долгая тишина. Священник повернулся от дверей и медленно отчетливо произнес: «Христос Воскресе!»

Подхватил хор, двинулся в церковь, увлекая за собой. Метались огни, траурными крыльями чуть поднимались концы черных монашеских наметок, среди остальных молящихся. У самого клироса мелькнули белые рукава темно синего, как ряса, сарафана. Она сразу подняла глаза, и они не взметнулись удивленно, как будто он так и должен был стоять рядом, не могло быть иначе. Только обняли всего, и передвинули слегка в сторону, не выпуская, уводя за собой.

На южной двери алтаря, срезанной наискось, как ангельское крыло, завивала перья растекавшаяся сиянием птица с пламенным прекрасным лицом, писанная на золоте. Золото пробивалось сквозь перья, отсвечивало, как огонь. Крылья складывались крест-накрест, и казалось — вот взмахнет, а под ними — живое сердце. Лицо же архангела «да ведь птица это!» — было его лицом.



— Ты и не ты — сказала Пантера, садясь в автомобиль в ответ на его мысли. — Тени мы ждать не будем. Она простоит до утра, да и все равно ко мне разговляться не поедет. А я устала. Ты не подошел к ней?

— Ты, конечно, все знала, и привезла меня сюда нарочно.

— Может быть этого и не следовало делать — сказала вдруг Пантера совсем серьезным, старым голосом. — Конечно, я знала об иконе. Тень подружилась с игуменьей и уговорила ее на васнецовского архангела. Вот и сделала из тебя икону. Но не воображай, пожалуйста, это совсем не ты. Привиделось в тебе... И хорошо, что все вышло именно так — иначе и иконы не получилось бы. А она действительно хороша, и это главное...

Пантера понимала, может быть, гораздо больше, чем нужно. И — она знала жизнь.

Он вернулся с розговен к себе только днем, а вечером, проснувшись, нашел упавшую вчера книжку. Развернул, невольно перехлопнув страницы с вышитой царевной — не хотелось услышать настойчивый голосок из сна. Конечно, он возьмет ее с собой, будет показывать при случае: маленький шедевр. А на родине, в белой Балтике, останется чей то зеленый скит, и старый монастырь за оградой, и архангел Гавриил на клиросе в потемневшей церкви, и... и то, что остается всегда, ибо всегда есть у когонибудь весной.



«По над звездами льются звонами, и летят в поля голоса. Под какими еще небосклонами зажигать мне тоскою глаза? И какой еще речью пламенной указать мне на те пути, за каким еще сердцем каменным до заката по ним идти?»

Пусть шуршит страницей атласною, расшивается сказка-быль. Обо мне ты не вспомнишь ласково, да и вспомнишь, любимый, ты-ль? Песней звонкою, сказкой древною сердца тронуть я не могла. На пути далеком с царвною Гамаюна я не нашла.

Развились пути и рассыпались. Сердце к сердцу не кинет мост. Приступали к царвине, кликали птицы Сири и Альконост:

«Для тебя, царвна, летали мы в света Божьего дальний край. Для тебя, царвна, пытали мы у людей и у летных стай. Гамаюна ты, птицу вещую, не найдешь царвна, нигде: было так на небе отмечено — не бывать ему на земле. Может быть только в миг таинственный, в жизни этой последний час, он сверкнет пред тобой, единственный, свет молитвы меркнувших глаз. И тогда, твое сердце стылое захватив звенящим крылом, он увидит, кого любила ты за своим хрустальным окном».

В ночь весеннюю, в синь отравную, когда ночь догоняет день, разметалась по полю травами тень царвны — иль просто тень. Разлилась журчащими струйками, к небу облаком поднялась, в темном лесе застыла сумраком, повиликой в плетне завилась, зашуршала пыльной страницей, зазвенела ладами струн, зазвенела на небе птицею — Гамаюн ты мой, Гамаюн!

У пустого хрустального терема, сторожа пустое окно, на вершине могучего дерева разметали птицы крыло. И поют голосами разными, но поют они про одно, что как солнце на небе ясное, и как светит оно давно, так и будет светить до скончания, и не даст покориться мгле: и любовь так светит страданием, сердца радостью на земле.

А весной от земли поднимается тень царвны с прибрежных кустов, легковейным туманом ласкается, дышит свежестью дальних лугов, брызги слез рассыпаются тучею, опалают росой на поля; ведь весною и манит, и мучает, и поет навстречу земля.

По над звездами льются звонами и летят в поля голоса. Птицы Сирина льются стопами, Альконост зажигает глаза. Медью ярою — вязь червленая — расшивает весна шелка. Былью старою, золоченою запевае в душе тоска, в высь взвивается поднебесную, выше солнца, и звезд, и лун: о тебе ликующей песнею, птица вещая, Гамаюн!»

1937.

## ПИСЬМО ОЛЕ

«Дорогой Оле!

Я понимаю, конечно, что наше кратковременное знакомство не дает мне еще повода и для такого фамильярного обращения, и для пространныго письма, но что поделаешь с глупым человеческим сердцем? Трудно с ним совладать, глубокоуважаемый (и все таки дорогой тоже!) Оле, при виде Ваших янтарно-топазовых глаз, которые, я чувствую это на расстоянии, спокойно смотрят на меня, оценивая серьезно и строго еще одно безхвостое существо в своем доме... чудесном белом доме под старыми деревьями, заглядывающими в окна, с серебряными стенами, в которые как врезаны по одной или две загадочно дерзкие картины, и чуть пахнет темное теплое дерево мебели. Смею Вас заверить также, что мне вообще не свойственна зависть — но как же не позавидовать такой изумительной мягкой, черной без отметины, блестящей шубе, которую Вы носите именно так, как надо носить драгоценнейшие меха: с полным достоинством, и совершенно небрежно, давая, однако, понять окружающим, что подобная роскошь — удел очень немногих. И Вы правы, конечно. Разве могла бы — скажем, я — даже мечтать о такой! И во сне не решусь.

Не смею я также мечтать и о Вашей благосклонности, прекрасно понимая разницу в нашем положении. Вы величественны, Оле, как и подобает верному рыцарю и стражу Белой Принцессы, тишины в серебряных стенах и беседочного садика за кухней. Он не такой уж маленький, но кусты сирени, жасмина и дикого винограда, посаженные еще хозяином, со всех сторон закрыли его от чужих стен и глаз, как беседку. Под ними еще разные цветы, а посередине — зеленая лужайка с качалкой для Принцессы — или для Вас, когда она уходит в громадный прохладный музей с бесчисленными зелеными раскоками китайских керамик. Вы были — простите мою фамильярность! — таким веселым, шаловливым котенком, когда эти кусты были маленькими еще, и хозяин часто улыбался Вам вместе с Белой Принцессой — впрочем, тогда у нее были темнее волосы. Теперь хозяина нет, и она улыбается гораздо реже — и только Вам. Она стала еще тише, но попрежнему высокая и прямая, с легкой походкой, внимательным наклоном головы и такими бережными руками. Я знаю, что только ради нее Вы решили стать таким монументальным — при всей Вашей гибкости — поразительных размеров стражем; Вы сторожите у порога уже задолго до ее появления каждый вечер; Вы моментально угадываете ее настроение, только покосившись слегка; Вы повсюду следуете за ней громадной черной тенью, а если ляжете у ног — то с Вами может сравниться любая пантера; Вы спокойно и с достоинством обсуждаете с нею события дня, новости о друзьях, печали и радости сердца. Проникновенно и немногословно: легким восклицанием, подрагиванием ушей, раскрытым или сузившимся зрачком, чуть поднятой лапой, — еле заметным колебанием кончика хвоста. Впрочем, уважаемый хвост способен выразить бездну чувств целым ассортиментом жестов. Вы конечно благосклонно простили (только потому, разумеется,

что она — Принцесса!) — ее единственный, но чрезвычайно важный недостаток: она из породы безхвостых.

Я тоже, и вдобавок вовсе не принцесса. Но мне хочется загладить свою невольную вину перед Вами, раз уж уродилась такой. Мне тоже хотелось бы снискать Вашу благосклонность. Мое уважение искренно: я знаю, что существа Вашей породы чрезвычайно самостоятельны, суверенно независимы, в противоположность другим, хвостатым же, но (простите, если я говорю о них в Вашем присутствии), — лающим существам, так преданно виляющим своим хвостом, смотря в глаза хозяину безо всякой гордости и достоинства, конечно, так что единственное чувство, которое они могут вызвать у Вас — это гордое презрение. В виде совсем краткого отступления от темы я только позволю себе заметить, что, будучи безхвостой, я занимаю, так сказать, среднее положение между Вами и ими, и мои чувства наполовину даже принадлежат и тому, и другому роду. Но, как уже сказано, к моему письму это не относится, и я не хочу, чтобы Вы начали гневно и нетерпливо подрагивать кончиками ушей при упоминании этих презренных, шумных, лохматых, не умеющих — какой позор! — вычистить собственную шубу существ! Если представить себе вдобавок, что у большинства из них даже имеются довольно приличные хвосты (Вы объективны, Оле!), — то действительно, можно начать сомневаться в мировой справедливости...

Но «Довольно, довольно этих ужасов!» — как восклицал Диккенс, переходя на восемьсот пятьдесят седьмую страницу романа. (Не бойтесь, мне не понадобится недостававших ему еще трехсот, чтобы закончить свое повествование). Для того, чтобы восстановить Ваше душевное равновесие, я предложу Вам совершить небольшой обход дома. Это всегда успокаивает нервы, как чуть уловимый шум из высокого холодильника. Если я не ошибаюсь, — сегодня туда положена куриная печонка и грудинка — Ваш любимый ужин. Подушки на диване вышиты шерстью, и лежат так, чтобы Ваше место оставалось незанятым — я сразу заметила это, когда мне предложили сесть. Можно медленно подняться по лестнице, слегка царапнуть когтями, потянувшись на ковре в коридоре — очень удобный для этого ковер! — и проследовать в совсем серебряную комнату с большим окном фонариком, за которым черные сучья деревьев стряхивают снежинки. У окна низкий широкий подоконник, и сидя на нем, можно наблюдать птиц. Сбоку стоит трюмо, и зеркало кажется от светлых стен особенно блестящим и чересчур пустым. Вы не любите этой пустоты, и умеете заполнить ее. На подзеркальнике стоят плетеные из темных сухих корней тарелки и деревянные резные шкатулки. Вы садитесь на подзеркальник и поднимаете лапой нитки бус — украшения Принцессы. Они из янтаря, чуть потрескивают, моментально согреваясь в Ваших нежных лапах, и Вы осторожно поджимаете когти, чтобы не поцарапать их. Однажды Вы надели одну нитку на шею — до того удивительно подходили к цвету Ваших глаз эти застывшие капли Янтарного берега, на котором родилась Ваша Принцесса! Сколько раз она рассказывала Вам здесь, как шумит ее далекое море, подносила даже к Вашему уху раковину, чтобы Вы послушали... Но увы, Вы не видели моря, Оле, и представляете его себе совсем золотого цвета, с темными каплями красного, как вино, янтаря, от которого, если Вы засидитесь у зеркала, из Ва-

шего меха могут посыпаться тончайшие искры — но теперь довольно, уже сумерки, Вы спрыгиваете с подзеркальника, нитка янтарей тянется за Вами — ах, Оле! — скажет Принцесса, когда вернется домой.

Моя цель однако достигнута. Прогулкой по дому и игрой с янтарями душевное равновесие установлено, и уважаемый хвост лежит совсем ровно вдоль диванной подушки. Наискось дивана стоит очаровательный резной шкафчик — наполовину секретер, с оригинальной резьбой. Среди хранящихся там фотографий есть и Ваши снимки, конечно, но я не знаю, читает ли Вам Принцесса все письма, или только шуршит бумагой. В дни Вашей молодости Вы любили заманчивую мятую бумагу. Теперь детские игры ниже Вашего достоинства, но ведь многие взрослые любят куклы (оправдывая это национальными нарядами) или электрические паровозики. Мое письмо, адресованное лично Вам, я думаю, Вы могли бы и сейчас расцарапать в собственное удовольствие — а Вы безусловно заслужили его!

Хотя бы по своему имени — имени чудесного сказочника, теплого домашнего друга, как домового. В Вашем доме наверно тоже живет один такой — в серебряной шапочке, с круглой бородой и белым пухом на ушах. Вы конечно хорошо знакомы с ним, и если когданибудь расскажете о своих разговорах с ним — я буду Вам очень благодарна.

Пока же я сама расскажу Вам о Вам подобных — малых сих, Вашей породе, бывших моими друзьями в разное время. Я давно уже собиралась написать о них, но некому было, и вот теперь нашла: Вам.

Первый был Принц, замечательный только тем, что его принесли нам совсем крохотным, бело-рыжим котиком, и я сама вскармливала его соской. Впоследствии он перешел на сырое мясо и иногда сливочные конфеты. Матери однако я ему к сожалению заменить не смогла, и не научила его двум элементарным вещам: он не умел ни умываться, ни мурлыкать. Каждую неделю мне приходилось его купать, что он переносил с отвращением, но стоически, заворачивать потом в простыню и одеяло. Однажды, высушившись, он вылез и пролез через упавшую на пол самоварную трубу... и пришлось мыть снова. Мы жили тогда на третьем этаже, и он за два года ни разу не спустился на двор — исключая одного раза, когда прыгнул за ласточкой — и остался жив, хотя потом долго лежал на подушке и не ел. Когда же мы переехали в партер, то он год продолжал сидеть на подоконнике, часто наряженный в балахон Пьерро, с громадным воротником — и созерцал окрестности, но при всех попытках прогулки бросался обратно. Булыжники на дворе оказывались, повидимому, слишком грубыми для его благородных лап. В детстве он привык, зацепившись за край платья, забираться по моей спине на плечо; потом, когда толстые зимние платья сменились летними, а он увеличился в весе в десять раз — то моя спина была всегда разодрана и исцарапана, но зато, раз улегшись на плечо, он умудрялся сохранять равновесие, чтобы я ни делала, и не слезал часами.

Однажды, когда я горько плакала, Принц хотел меня утешить, сел рядом и пытался промурлыкать что-то: он раздувал бока, издавал какие то странные звуки — и у него ничего не выходило. Но сердце у него было любвеобильным — и на четвертый год, уйдя наконец в погреб соседнего дома, он влюбился в одну брюнетку и не вернулся больше.

До и после него были хвостатые другого рода, о которых, как уже было сказано, я не буду упоминать. Потом они исчезли, и только через несколько лет, когда я жила в бараке после войны, мне привезли Чортика. Он был черный без отметины, характера дикого и дьявольски гордого. Моментально забившись под шкаф, не вылезал оттуда целую неделю. Исключительная гордость, независимость и мужество, не говоря уже о пышной красоте, и потом были его неизменными чертами. Сознаюсь — к некоторому моему конфузу — через два года у Чортика появились котята, хотя мы попрежнему называли его в мужском роде. Котята появились либо слишком рано, либо у «него» было воспаление — но выкормить их не удалось, и оставшись один, Чортик заскучал.

Он очень любил охотиться за птицами, и так как я как раз получила из инкубатора коробку с цыплятами, то поставила ее на пол, открыла, и показала ему: вот это наши крылатые, их нельзя трогать. Но он и не думал ловить их, а сразу полез в коробку, улегся, стал их подминать под себя и облизывать. Двое суток Чортик сидел наседкой с цыплятами и мурлыкал, но тщетно: они не понимали друг друга.

Он заинтересовался и полдюжиной маленьких кроликов в загородке. Плетень был невысоким, они сидели смиренно. Он легко перепрыгнул через заборчик, посмотрел, что они жуют, презрительно махнул хвостом, и выпрыгнув обратно, оглянулся. Они продолжали сидеть. Он прыгнул к ним снова, и снова. Скаканье продолжалось целый день. Глупые крольчата сообразили наконец, чему их учат, и на следующий день все тоже попрыгали через заборчик — и больше я их не видела. Кругом были соседи, а время было голодное...

Впоследствии у Чортика были несколько раз котята, и он защищал их так, что держал всех собак в округе и повиновении и страхе. Обычно хозяева, проходя мимо, брали маленьких на руки, а когда на той же тропинке показался большой волк, Чортик, распушившись, громадными прыжками кинулся на него в психологическую атаку — и волк поджал хвост и кинулся назад. Я думаю! Я помню, как орал не своим голосом Гага-Гуг, совсем ручной и живший обычно в полном ладу с Чортиком, когда какой то котенок попался ему под лапу и замаякал, а Чортик немедля вцепился ему в хвост! По всему пустырю полулетом неслось фантастическое чудовище: громадный, снежно белый и дико орущий гусь, и абсолютно черная кошка, распушившаяся, как пантера, в виде второго его хвоста!

К драматическим коллизиям мне вообще пришлось привыкнуть. Самыми замечательными детьми Чортика, оставшимися жить с ним, были Тигрушка и Рагана. Рагана была исключительной красавицей с зелеными, как бериллы, глазами и самой фантастической смесью бежевого, коричневого и черного в своей шубке. Тигрушка — рыже-белая с черными пятнами особой красотой не отличалась, но была ласковой, чрезвычайно домовитой, заботливой хозяйкой и великой охотницей. Даже молодых зайчат с соседнего луга умудрялась притаскивать домой, иногда ползком, так они были уже тяжелы, и притом делилась добычей со всеми. Даже больше: когда вернулся с фронта мой сын, окрестивший ее почему то «Офелией», и заставлявший ее танцовать, она особенно привязалась к нему, спала у него на груди и будила по утрам, целуя в губы. Когда же он заболел гриппом, и несколько

дней не вставал с постели, то проснулся утром однажды от того, что «Офелия» усердно толкала ему в рот только что пойманную мышь — решив, очевидно, что если хозяин не встает, то голоден, и о нем надо позаботиться.

На Рождество я устроила из картонки домик под елку: крыша была размалевана под черепицу, поставлена труба, прорезаны окна, затянутые красной слюдой. Внутри домика горела свечка, а кругом он был обложен ватой. Потом вата была убрана, и в нем поселился Генерал — большущий серо-белый кот, служивший весной и летом неутомимым огородником. Стоило только комунибудь отправиться на огород, как он неизменно выворачивался рядом, и даже пытался качаться на укрепе, вымахавшем чуть ли не в рост человеческий.

После Генерала в домик был засунут большой ежик, подобранный на дороге. Тигрушка и Рагана были тогда еще подростками, высокими, длинноногими и озорными. Они сразу сообразили, что в домике шевелится кто-то и долго ходили кругом, заглядывая то в одно окно, то в другое. Потом, посоветовавшись, отошли в дальний угол, и голова в голову длинным испанским шагом ринулись в дверь домика — откуда и вылетели, через секунду с невероятным воплем. Еж постоял за себя, и они долго еще почесывались.

Котята усердно раздавались конечно, но одно время их было штук восемь, и в городке случился кошачий мор. Тигрушка и Чортик выжили благополучно, а Рагана ослепла. Она открывала глаза, но зрачка не было видно — все терялось в зеленоватой стеклянной мути.

Очень медленно и осторожно она начала учиться ходить по комнате, прыгать на стол, и еще осторожнее — выходить на двор. Свежим мясом кормила ее Тигрушка-Офелия. Все мыши притаскивались сперва сестре, и только когда она поест, Тигрушка принималась за еду сама — а это значило очень много в то время, когда мы сами получали крохотные кусочки мяса по карточкам, и достать что-нибудь для кошек было очень трудно, они сидели большей частью на воде с крупой или картошкой. Но хвостатые показали себя еще более заботливыми!

Перед баракком расстилался небольшой пустырь, а за ним была столярная мастерская, и около нее лежали штабели досок. Любимым местопребыванием хвостатых было сидеть между ними: их не видно, а они могут наблюдать за всем, кроме того прохладно летом и тепло зимой. И вот, когда Рагана пошла колеблющимися шагами из барака — справа и слева от нее шли Чортик и Офелия — показывали направление и провожали больную. Они ее так выучили всему, что потом она спокойно прыгала в форточку, проходила по столу, ничего не задев, и даже забиралась на шкаф. Никто не мог бы сказать, что это слепая кошка.

Последним пока, уже потом, в доме, у меня был Куруша, умевший произносить свое «курру» с самыми разнообразными интонациями, и это был единственный, уважаемый Оле, который мог бы стать рядом с Вами! Он был полузнатного ангорского происхождения, и потому бурая шерсть висела на нем почти до земли, а хвост мог сравниться с любым лисьим, не говоря уже о пышнейшем воротнике!

С детства Куруша стал играть с водяной струей из поливной кишки, и любовь его к воде была просто поразительной. Гулять он отправлялся в любой не то что дождь, а просто ливень, возвращался карикатурой,



и высушившись, уходил снова. Даже когда у нас случилась засуха, и сад поливался два раза в день — Куруша умудрялся отыскать еще не пересохшую канаву или ручей — но домой с прогулки иначе как мокрым, он никогда не являлся.

Увы, его вторая любовь — автомобили знакомых, останавливавшиеся у калитки, под которые он непременно должен был залезть — оказалась для него роковой...

Но это — довольно грустная тема, а мне хотелось бы рассказать Вам еще одну историю, Оле, слышанную мною от одной — уверяю Вас, почтенной хвостатой, хотя Вы по всей вероятности совершенно особого мнения об этой породе.

Я не скрою, что они некрасивы: у них гладкая шерсть и почти голый хвост, что конечно ничего, кроме отвращения, у Вас вызывать не может. Но зато они чрезвычайно умны. Настолько умны, что я раза три заключала с ними джентельменское соглашение, самый настоящий договор, и они безукоризненно выполняли его. Соглашение было простым и ясным: я обязывалась поставлять ежедневно приличный ужин — кости, кусочки мяса или сала, корки хлеба — а они — выгнать из дому мышей и вообще не пускать никого больше. Во всех трех случаях через три дня после заключения договора, мыши пропадали навсегда. (Но я, разумеется, заботилась об ужине и дальше). Каким образом крысы добиваются этого — я не знаю, но знаю, что это так. Правда, во всех случаях я имела дело только с одной, почтенной и одинокой. Не исключается так же, что она была старым холостяком. Семейной жизнью они во всяком случае не интересовались, а если — то не у меня в доме; прибавления семейства не было. Но за порядком следили строго. Кроме полагающегося ужина, одна из них, рыжая крыса Хруп-Хруп приходила еще пить или купаться в ванной, и очень не любила, если ей при этом мешали: на вторгшегося нахала она смотрела с благородным негодованием, не спеша поворачивалась и медленно удалялась, величественно шурша хвостом.

Должна оговориться: как бы ни расходились наши мнения, Оле — но одна мышь, как таковая, не говоря уже о белой — может показаться прелестной и мне, хотя и с другой точки зрения, чем Вам. Мой бело-снежный Рики-Тики, например, прекрасно умывался сам, часто забирался ко мне в кровать погреться, читал корректуру моих рукописей (последнее я не слишком любила, хотя они наверное не заслуживали ничего другого), и очень любил семечки, которые ловко лущил, сидя на задних лапках и держа семечко в руках, как белка. Однажды, он случайно упал со стола вместе с портсигаром, и крышка придавила ему кончик хвоста. Кричали по этому поводу мы — он обиженно молчал. После долгих тщетных попыток я отказалась от мысли перевязать самый кончик — и он удалился в свой домик. Бедный хвостик с повисшей на нем капелькой крови волочился по песку на полу его домика. Но Рики-Тики сел перед мисочкой с водой, пропустил хвост вперед, взял его в передние лапки и долго водил кончиком в воде, пока не смыл все прилипшие песчинки. Потом он зализал его, и все было в порядке.

Серая мышь — тоже очаровательное существо, если вам скучно, и у нее нет детей. Но в большинстве случаев они бывают, увы. А мышь в массе — это «Восстание масс» Ортего и Гассета. Они сразу теряют

всю скромность и приличные манеры, они по хамски шумны, назойливы, наглы, захватывают все, совсем им ненужное, и стремятся — простите за выражение — как можно больше загадить все кругом. Словом, это плебс в чистом виде, а плебса я не выношу так же, как и Вы, Оле.

Поэтому вернемся лучше к рассказу Хруп-Хруп, с внушительным седым хвостом. После того, как я несколько раз приветствовала ее низким реверансом, отдавал дань седине (я была тогда молода еще), она снизошла ко мне, и намекнула, что часто бывает в Зоологическом саду. Хотя большинство зверей жили у нас на свободе, огороженные только широким каменным рвом, — но ни рвы, ни решетки не представляют никакого препятствия для Хруп-Хруп, а звери любят послушать городские новости — и часто благодарны за это, добавила она, солидно облизываясь.

Было бы однако совершенно несправедливо назвать ее сплетницей. Хруп-Хруп рассказала мне эту историю чрезвычайно деликатно, с большим тактом и многозначительными умолчаниями, так что о многом мне приходилось догадываться самой. К сожалению, я не могу повторить ее слово в слово, и придется пересказывать.

Итак, на одной из старых, узеньких улочек нашего города жил старик профессор, известный ученый — зоолог, считавший, что все в мире объяснено и рассказано Бремом. Живых зверей он видал только изредка и издали, во время редких наездов к директору Зоологического сада. В этом нет ничего удивительного, конечно: многие ученые знают, из каких газов состоят звезды, но были бы вероятно чрезвычайно удивлены — и, возможно, разочарованы, если бы вдруг попали туда. Не говоря уже о том, что человек, строящий электронный мозг, вряд ли сумеет починить простой электрический штепсель... Этот же ученый от постоянного чтения совсем плохо видел, и носил поэтому не одну, а две пары очков с очень толстыми стеклами. Жил он в своем домике один, с Бремом на полке и большим черным котом Васькой на диване. Васька относился к хозяину снисходительно: жирных мышей, теплое молоко и мягкий диван он принимал, как должное, а в остальном делал, что хотел, и занимался главным образом собственными делами.

В одно из его постоянных отсутствий из дому случилось, что ученый захотел выйти на улицу, но на пороге оступился, и у него слетели с носу одни очки. Осталась только одна пара — а как известно, очков без очков не найдешь. Впрочем, увлеченный очередной проблемой каких то мелкопозвоночных, он этого и не заметил вовсе.

С этого собственно все и началось. Потому что выйдя на улицу, профессор заметил вдруг громадное, черное и хвостатое животное, гигантскими прыжками мчавшееся прямо по мостовой. Не медля он с ловкостью юноши бросился вслед за ним, и после короткой, но отчаянной борьбы ему удалось овладеть диким зверем. Подозвать такси, втиснуть туда зверя и сесть самому — было делом следующей минуты. Шофер, бросив взгляд на заднее сиденье, дал немедленно газ, даже не спрашивая адреса — настолько это было ясно.

В Зоологическом саду ученого встретил конечно сам директор, обрадованно потирая руки.

— Что новенького, профессор? — любезно осведомился он.

— Я привез вам черного пантера — заявил ученый. — Дикий, кровожадный зверь, чрезвычайно редкий в Европе экземпляр. В Америке между прочим тоже.

Так как установить пол, кроме льва и львицы у остальных той же породы не всегда легко — (и не стоило бы смеяться, что мой Чортик принес мне котят!) — можно было ожидать, что директор только обрадуется категорическому определению. Но несмотря на радость он слегка побледнел, и быстро распорядился позвать сторожей и принести клетку. Только когда зверь был водворен за толстыми прутьями и заперт на замок, директор и все присутствующие облегченно вздохнули.

К тому времени визит старика профессора тоже закончился, и он уже повернулся к выходу, когда директор удержал его за руку.

— А чем прикажете его кормить, господин профессор?

— Как чем? — искренно изумился ученый. — Капустой, конечно!

— Ка-пу-стой? — не менее изумленно переспросил директор, и сразу растерялся. — Какой же?

— Ах, всякой — отмахнулся ученый на ходу, увлеченный уже совсем другой проблемой о щитовидных рачкообразных. — Вареной, жареной, и как ее . . . кислой. По мне — хоть цветной!

Поскольку мы живем в век специализации, то мнение экспертов для нас — закон. А поскольку мы живем в век роботизации, то самостоятельное мышление строго преследуется тем же законом. Поэтому не удивительно, что на следующий день — а это было воскресенье — перед клеткой нового зверя, украшенной соответствующим плакатом, толпился народ. И еще менее удивительно, что, когда сторож принес в клетку миску с дымящейся капустой, то черный пантер вполне оправдал свою свирепость. Его грозный рев был слышен в самых дальних уголках сада, и взволнованный сторож поспешил быстро ретироваться, чего нельзя было сказать о посетителях, пришедших в восторг.

Прошло еще несколько дней, и как то вечером Хруп-Хруп собралась в Зоологический сад с очередным визитом. О новом обитателе ей рассказали сразу же у ворот и, как полагается по правилам вежливости, она отправилась прежде всего к нему.

Черный пантер лежал вытянувшись, угрюмо уткнув морду в лапы. Хруп-Хруп уселась довольно близко у решетки, и помолчав некоторое время, кратко осведомилась:

— Сидишь?

— Угу — буркнул пантер.

Комментариев собственно не требовалось, но вежливость требовала продолжения разговора, и Хруп-Хруп любезно продолжала:

— А чем тебя кормят?

Глаза черного пантера дико сверкнули.

— Капустой! — прорычал он.

— Ка-пу-стой? — искренно удивилась Хруп-Хруп, но, поскольку ей были известны многие странности безхвостых, решила уточнить:

— Какой?

— Всякой — еще мрачнее ответил пантер. — Сырой, вареной, кислой и даже цветной.

На это даже Хруп-Хруп не нашлась, что сказать, и долго сидела молча, сосредоточенно размышляя хвостом. И, по мере того, как его

кончик раскачивался все сильнее и сильнее, ее старое сердце постепенно смягчалось, и наконец она решилась на самое большое, на что может решиться крыса.

— А что ты скажешь, если я — задумчиво произнесла она — подгрызу тебе прутья клетки?

Пантер ничего не ответил, но его глаза так блеснули, что сердце Хруп-Хруп окончательно не выдержало, и она, привыкнув, чтобы слово не расходилось с делом, немедленно принялась за работу. Два-три железных прута не представляют собой неодолимого препятствия, если иметь хорошие зубы, но все таки это порядочный труд, и он был закончен только с восходом солнца. Теперь достаточно было только легкого удара лапой, чтобы они упали. Хруп-Хруп быстро подмела хвостом опилки, и поспешила удалиться. Здравый смысл подсказывал ей, что присутствовать при освобождении пантера ей совершенно необязательно.

Солнце взошло над прекрасным праздничным днем, и в сад хлынула обычная толпа посетителей. Как за все это время, особенно много толпилось их у клетки свирепого черного пантера, в ожидании кормежки дикого зверя. По случаю праздника, сторож принес не одну, а две миски с разной капустой.

Но как только черный пантер увидел капусту, он вскочил, дико заревел и бросился на прутья клетки. Под ударами его могучих лап они с треском упали — и он очутился на свободе.

Что поднялось — с трудом поддается описанию. Дети запищали, женщины попадали в обморок, мужчины бросились — кто куда, а дирекция — к телефонам. Были вызваны полиция, пожарная команда, и взвод пулеметчиков.

Но черный пантер, свободный и смелый, легко перескочил через орущих детей, упавших в обморок женщин, полицейский автомобиль, пожарные шланги и взвод пулеметчиков — и громадными прыжками помчался в город. В городе уже выли сирены и неслись предупреждения жителей по радио и телевидению. Наиболее предприимчивые обыватели собирали чемоданы, чтобы спуститься в погреб. Движение остановилось, и улицы опустели.

И надо же было, чтобы именно в эту минуту какая то обыкновенная мышь, засмотревшись в сторону булочной, прозевала начавшуюся панику, и не успела юркнуть в подворотню. Мчавшийся по улице черный пантер настиг ее, придавил своей лапой, и в следующую секунду она очутилась у него в зубах.

И надо же было, чтобы сейчас же вслед за этим произошло другое знаменательное событие: старик ученый, перепугавшись за сохранность своего Брема, тоже вышел на улицу, прижимая к груди драгоценное роскошное издание. На этот раз на его носу красовались обе пары очков.

— Ах ты, негодяй! — крикнул он, увидя черного пантера. — Сколько времени ты пропадал! Мыши у меня давно по столу бегают, а молоко прокисло.

И, не выпуская из одной руки Брема, профессор схватил другой пантера за шиворот. Застигнутый врасплох, пантер довольно беспомощно болтался в воздухе, а во рту его болталась еще недоеденная мышь. Перед мысленным же взором сразу встали две яркие картины:

уютная, спокойная жизнь в старом домике, теплая печка, мягкий диван, сладкое молоко, жирные мыши и свежая печенка иногда. И другая картина: железная клетка, миски с капустой... но зато: и поклонение, трепет и восторженный шопот толпы...

Выбор длился недолго: одним рывком черный пантер метнулся из рук профессора и пустился на утек. Вечером его обнаружили у самых ворот Зоологического сада. Сторожа подкатили совсем большую клетку с особо толстыми железными прутьями, зажгли факелы и накинули сети. Дежуривший у ворот кинооператор снимал для телевидения охоту за диким зверем. Его водворили наконец в клетку, заперли железным болтом, снова повесили плакат и протянули вокруг еще толстую цепь, чтобы никто не подходил близко. А когда все это было сделано, сторож принес ему целое ведро капусты, и даже с некоторым удовлетворением прислушивался к его дикому реву. Рычать же черный пантер мог теперь в свое полное удовольствие, потому что его тайна была известна только двум: старику профессору и крысе Хруп-Хруп. Но профессор, как и полагается такому ученому, был чересчур рассеян, а крыса Хруп-Хруп — слишком деликатна.



Не было учтено только третьего обстоятельства, а именно, что Хруп-Хруп может рассказать эту историю мне. Но я достаточно долго хранила молчание, уверяю Вас, уважаемый Оле, хотя часто вспоминала о черном пантере — при виде многих — совсем безхвостых.

И только теперь я решилась рассказать ее, и только Вам, сказочнику и философу. Оле, верному стражу Белой Принцессы. Может быть, Вы когданибудь расскажете ей — о мышинной возне, суетности славы — и многом другом, о чем я только пытаюсь намекнуть между строк.

И, еще и потому, что, как я уже честно призналась — мне хотелось бы снискать Ваше расположение. Может быть, мы еще встретимся когданибудь. Я понимаю, конечно, что заменить отсутствие хвоста мне нечем — но если Вы все таки благосклонно протянете мне лапу... я сочту себя польщенной. В надежде же на это остаюсь пока преданной Вам

Ириной Сабуровой».

1968.

## ПРЯНИЧНОЕ СЕРДЦЕ

«Будет снег ложиться сыпью звездной, будут елки таять в горьких смолах, синь чертить в стекле узор морозный, ангелы звенеть в небесных хорах, потому что в праздник этот тихий, снежный и затканный синевой, странные порой мерцают лики в пахнувшей далеким лесом хвое, для того, чтоб в гомоне и пыли сердце выжигающих нам будней, люди бы о чуде не забыли, и о том, что это чудо — будет! Пусть у многих понижают плечи, и глаза их ждать уже устали, но и им засветит этот вечер, и улыбкой растворит печали. Было ль это, есть ли, или будет, пусть звучит молитвенною песней, и пока на свете живы люди, сказки им звучат всего чудесней!»



Я всегда помнил Ию в одном и том же платье: черное, с высоким воротником, с серой клетчатой отделкой и алым атласным платочком в кармашке на груди. Может быть, у нее не было другого: каблуки ее туфель бывали часто стоптаны, а чулки заштопаны — над этим посмеивались втихомолку наши артистки. Но это не могло умалить Ииной гордости: она закидывала назад пушистую пепельную головку, суживала презрительно пламенные черные глаза и отвечала ядовито и резко. Она не была злой — в этом прорывалась страстность.

Ия не была артисткой, хотя в жизни больше всего походила именно на нее, ничуть не играя: самобытность, часто казавшаяся просто оригинальностью, острое чувство красок. Как вместе с этим умещалась в ней поразительная практичность и деловитость — не знаю, эта загадка заинтересовала меня, из-за нее я стал внимательнее присматриваться к Ие.

Она заведывала всем хозяйством театра, реквизитом, и монтировала пьесы. Режиссер долго колебался, прежде чем дать ей эту работу: обыкновенно ее делают мужчины. Но Ия, взяв себе в помощники старого боксера с внушительными мускулами, шутя поднимавшего целую кулису, умела устраивать из трех имеющихся у нас павильонов по крайней мере десять. Режиссер мог спокойно положиться на нее.

Впрочем, на нее полагались все: Ия для каждого должна была что-то сделать, принести, напомнить, устроить — от просроченного паспорта до забытого гримировального карандаша. Она любезно соглашалась на всевозможные услуги, и ничего не говорила, когда премьерша, только что целовавшая ее за принесенную откуда-то кружевную накидку для бенефисного туалета, потом замечала вскользь, что, конечно, пригласила бы ее к себе на ужин, но не может принять всех...

В театре я бывал потому, что писал рецензии: среди артистов, наполовину из любителей, было много старых друзей. С Ией я любил разговаривать: она превосходно владела английским языком, разбиралась в любой литературе и писала потихоньку ломанные, странные стихи, походившие на декадентские изыски, или песенки дизез. Мо-

жет быть это была дань сентиментальности или молодости. Я предложил напечатать их в газете, но она отказалась.

В этом маленьком театрике интересны были не спектакли, а кулисы: не кулисы, а труппа. Режиссер хотел создать эмигрантский Художественный театр и наследство от старой тетки, полученное им, таяло очень быстро. Впрочем, он не огорчился этим: старый моряк, с чарующими манерами, замечательный образец джентельмена, с седой гофрированной головой, походивший на Моцарта, он умел жить, понимать и ценить жизнь. Доктора сказали ему, что он проживет еще очень недолго. Пока же он искренно наслаждался собранной им человеческой кунсткамерой.

В труппе были две красавицы, отчаянно враждовавшие между собой: экзотическая брюнетка и такая же яркая блондинка. Был славный, милый юноша из старообрядческой семьи, красневший и смущавшийся; корнет Добровольческой армии с лихо закрученными усиками, а ля какой-то фильм-артист, уверявший, что не может выходить на сцену без стакана водки, потому что у него иначе нет вдохновения; сухая и костлявая баронесса, замечательно игравшая старух и старых дев; маленькая инженерю с большой независимостью и довольно вульгарными манерами; несколько бесцветных, но предприимчивых и готовых на все молодых людей — и, наконец, премьер — бывший гвардейский ротмистр, «Архангел Гавриил», как его прозвала Ия, появлявшийся всегда неизменно с белым борзым, которого звал коротко и резко: «Гей». Лично мне «Архангел» не нравился: женщины находили его «до смерти интересным» и сходили с ума.

Комический элемент представляли двое: вечно пьяный, красноносый толстяк и маленький розовый немчик, со свиной мордочкой. По профессии он был пирожником, и держал в здании театра, внизу, чистую беленькую булочную, где кормил многих голодных актеров, и с благоговейным ужасом вздыхал, когда комик являлся туда с бутылкой водки в кармане и требовал горячих пирожков на закуску.

Может быть, именно этот немчик больше всех любил и понимал театр. Он не пропускал ни одного представления, следил за каждой выходной ролью с затаенным дыханием, и когда однажды режиссер, мягко улыбнувшись, пригласил его выступить статистом в костюмной пьесе, то это, я думаю, был счастливейший день в его жизни. Он так волновался, что побледнели даже его розовые щечки. Прозвали его «Кюммелькужен», по специальности, и все знали, что он влюблен в Ию — очень скромно, застенчиво и совершенно безнадежно.

Влюбленности в труппе были наперечет: лихие усики корнета очень часто склонялись над рукой знойной брюнетки, Архангел Гавриил снисходительно ухаживал за всеми, но с блондинкой у него был настоящий роман, а Ия... Ия любила четырех — Архангела, режиссера, Кюммелькужена и меня.

Архангела — это понятно: красавец, шармер, с громкой фамилией, недожинным драматическим талантом. Может быть, в этом большую роль играло и самолюбие. Архангел постоянно подчеркивал, что встретить умную женщину — исключение, и советовался с ней относительно ролей.

К Кюммелькужену Ия относилась тепло, так же, как к его теплым булочкам: есть люди, от которых становится уютнее жить.

Режиссером она восхищалась: манерами, головой Моцарта, и чудесными морскими рассказами, с большой долей романтики и легкой беззлой иронией человека, доживающего последние дни.

За что она любила меня — не знаю. Может быть, потому, что я был писатель. Я часто подсмеивался над ней, подстегивал, чтобы посмотреть, что из этого выйдет: мне нравилась в Ие твердая душа и какая-то своя, еще, может быть, даже не осознанная линия. Я знал, что она работает не только в театре: Ия давала уроки, воспитывала младшего брата — ее отец погиб во время революции — плела какие-то удивительные кружева для большого магазина, а свободное время посвящала совершенно разнородным вещам: истории искусств, декоративной живописи, и... биржевым курсам.

Я однажды поймал ее за этим занятием: она сидела в антракте в уборной и, вытащив из-за алого платочка газетную вырезку, сличала пункты каких-то акций.

— Женщина неограниченных возможностей, для чего вам это понадобилось?

Ия серьезно посмотрела на меня, и глаза ее стали совсем стальными.

— Неужели вы думаете, что я всю жизнь проживу вот так — в штопаных чулках, в нашем театре? Я хочу добиться своего — любой ценой. Хочу работать, так, как люблю, иметь хороший, настоящий дом. Обязательно особняк, в саду, с большой террасой, да, и с львами на воротах, с холлом, с резной деревянной лестницей. Чтобы был у меня натертый паркет, и ковры на стенах, и голубовато-серый, дымчатый кабинет с громадным окном во всю стену, а за ним непременно разлапые яркие клены. Смешно? Дворянские мечтанья? Я выросла в такой усадьбе, и хочу иметь еще лучше. И буду. Сейчас я живу в мебелированной комнате, а брат ютится в каком-то закутке рядом. Но это ничего. Я добьюсь. У меня нет особенных талантов. Я не артистка, не писатель, как вы, не художница. Я даже не так красива, как многие другие — о да, не возражайте: вы считаете меня оригинальной, потому что у меня пепельные волосы и черные глаза. Но этого мало. У меня нет настоящего женского шарма, из-за которого мужчины сходят с ума. Я не выйду замуж, а если выйду, то разведусь или сбегу. Я не найду миллионера, и не хочу. Я должна сама добиться своего, иначе перестану уважать себя. Я очень трезво смотрю на жизнь. Вот только... с сердцем не могу сладить, но это пройдет. А голова у меня в порядке. Ну скажите сами, на что я могу рассчитывать? У меня есть способность к декорированию, пожалуй, даже к режиссерству. И я учусь. Я читаю много книг, хожу во все театры, учусь везде, в каждой витрине, в каждой декорации. Я хорошо знаю английский язык — благодаря гувернантке в детстве. Это тоже поможет, если удастся уехать за границу. Здесь у нас маленький город, много не сделаешь. И есть еще: умею комбинировать, умею играть. Может быть, вам это покажется странным: у меня есть знакомый биржевой маклер, старый и мудрый, как Соломон: иногда мы сидим с ним весь вечер, когда у меня свободный спектакль. Я перевожу ему американские газеты, а он посвящает меня в тайны ремесла. Я скопила деньги, правда пока еще очень маленькую сумму, и хочу начать играть. Чем это хуже остального?



— Во всяком случае оригинально.

Ия посмотрела на меня как-то странно и пожала плечами.

— Вот вы все так... оригинально... но ведь я не хочу во что бы то ни стало, быть оригинальной. У меня для этого нет времени. Если у меня выходит все иначе, чем у других, значит я или ненормальная или действительно непохожая. А может быть, у меня все сломано внутри, и я совсем не силой держусь, а только выдержкой? Откуда брать силу? Только из себя, отгораживаясь от других? Мне иногда хочется совсем простых вещей — с братом нельзя еще говорить — ведь он совсем мальчик...

— Простите — сколько вам лет, Ия?

— Двадцать четыре. Немного, но уже достаточно. Я видела много тяжелого, конечно, дело не в том: это, может быть, пошло и на пользу: но у меня есть одна странная особенность: меня никто никогда не любил. Поверьте, я не рисуюсь. Было несколько увлечений... но и люди не те, и чувство. Я, как гордая принцесса в сказке — знаете сказку про пряничного принца? — хочу, чтобы тот человек, которого я люблю, был бы самым красивым, самым гордым, самым сильным. Чтобы он ничего не боялся — чтобы он — был сильнее меня.

— Мраморный мужчина. Ия?

— Да, мраморный. Вы знаете, между прочим, что мой дед был шведом. Может быть, от него у меня эта холодность. Я могу по-настоящему любить только того, кем восхищаюсь, — а таких очень немного. Вы посмотрите: расхлябанность, бескостность и бескорыстие, даже какое-то никчемное — ни себе, ни людям. Я не умею это выразить, но — мраморный — это вы очень хорошо сказали. Впрочем, вам должно быть понятно: мы сходимся во взглядах. Например, у нас в театре. Вот, я восхищаюсь режиссером. Он очарователен, изысканный джентельмен, седой Моцарт. Если бы он был не такой больной и уже отошедший от жизни, я бы влюбилась в него, по уши... Ну, потом вы и...

— Архангел?

— Да, Архангел. Я его люблю. — Ия сказала это совсем просто, но у нее задрожали губы. — И мне кажется, что... Впрочем, вас вряд ли интересует. Не будем. Простите, что так разоткровенничалась. С вами хорошо говорить. Вы сами тоже — мраморный и сильный. Только мне кажется — холодный какой-то. Или это от писательства? Приглядываетесь — и сами в стороне. Может быть, вы и правы. Но — не слишком ли холодно в жизни? Может быть, все-таки лучше — гореть, ошибаться, падать, просто так — стремглав — лететь вниз?

— Вы напрасно так думаете, Ия. Отвечу вам такой же откровенностью: три года тому назад я стрелялся из-за женщины — и выжил. Ну, теперь с вас довольно? Но не советую следовать моему примеру. Мне почему-то кажется, — дайте мне вашу руку и посмотрите в глаза, по-честному — вот так — вы сейчас тоже стремглав летите вниз. Так ведь?

— Да, — понизила голос. Сталь в глазах исчезла, газетная вырезка с биржевыми курсами скользнула за алый платочек на груди, и он показался мне каким-то особенно пылающим. — Да, я готовлю один сюрприз — на нашу елку. Я... от этого многое зависит.

Елка устраивалась всеми актерами, большинство было бездомными и холостыми. Ия предложила закрытый вечер: масса приглашенных гостей, сюрпризов. Я всегда верил в ее организаторские способности, но тут она превзошла самое себя.

Из залы были вынесены стулья, устроены уютные уголки. Ия наплатила палым, драпировкам, ковров, вся реквизиторская уместилась в зале — уголки рококо, бидермайер и даже готические. Большую люстру потушили. Посередине стояла огромная елка в свечах, пестрых игрушках, цветных бусах и пряниках от Кюммелькухена. Ия настаивала на том, чтобы она не была холодной и белой.

Настоящего модного освещения с вделанными в стену лампами не могли устроить из-за недостатка средств, но пошли в ход софиты, прожекторы, самые невообразимые лампы и цветная бумага: зала в светлом полумраке, с сияющей елкой посередине, а по углам пронизана разноцветными огнями.

Реклама, приглашительные билеты в виде очень оригинальной вивьетки. Нашим театром были заинтересованы многие, даже относившиеся презрительно к попыткам возродить МХАТ. Ия обещала стильные выступления, Летучую мышь, — и сдержала слово. Странно было смотреть, как знакомые актеры, выступавшие каждый в совсем необычайной для него роли, вдруг преобразились и стали даже для меня, знавшего всех, интригующими и волнующими.

Я пришел рано, чтобы помочь Ие, но она уже кончила все приготовления, и переделалась. Первый раз видел ее в настоящем вечернем платье — тоже черном и строгом, с длинными рукавами до полу, как крылья. Яркие хризантемы, вышитые золотом, были очень оригинальны — да и как иначе могло быть у Ии? Одна из артисток нашла, что платье больше походит на халат, особенно с этой вышивкой, но я одобрил его, мне хотелось сделать Ие что-нибудь приятное — я знал, что ей нечем, наверно, было отделать платье, и она вышила хризантемы сама.

— Я в ужасе — призналась Ия — Архангел привел с собой Гея.

И действительно, Гей не отходил от ноги Архангела, повиливая пушистым белым хвостом. Пара была действительно замечательная — гордый красавец в смокинге, с военной выправкой, и рядом с ним белоснежный борзой.

— Я никогда не расстаюсь с Геем, — процедил Архангел, — он привык ужинать в ресторане, и вряд ли будет удивлен при виде елки.

— Чтобы только он не съел моего пряничного сердца, — беспокоилась Ия, — вы знаете, Кюммелькухен принес нам на елку массу пряников, и специально для меня — огромное пряничное сердце. Такой милый! Я как-то рассказывала ему, что еще девочкой всегда любила пряничные сердца.

У Ии были под глазами темные круги, и, видимо, она сильно волновалась. Я подошел вместе с ней к отдернутому занавесу. На другом конце «Моцарт», наш конференсье, только что закончил свой номер, рассказ в стиле Станюковича, и должен был огласить следующее выступление.

— Что с вами, Ия?

— Во-первых, я буду выступать сию минуту — мой номер за Моцартом — да, не делайте таких глаз, а садитесь за столик и слушайте. А во-вторых, я... вы ведь все равно знаете... Архангел... ну вот...

Я понял. Мне это было чуть, — чуть неприятно. Что это — вечное мужское самолюбие? Жаль Ии? То и другое? Ну что-ж она знает, что делает. И потому такие счастливые глаза! Как трудно человеку скрыть радость — так и светится бледное лицо в пепельных локонах.

— А теперь, господа, — послышался мягкий голос Моцарта, — выступит очаровательная дизез, которая расскажет нам сказку. Рождество, это такой праздник, когда все чувствуют себя детьми. И не только потому: в каждой сказке кроется глубокий смысл и хорошо будет на сердце у того, кто поймет его в огнях рождественских свеч.

Я провел Ию в залу и сел за столик. Против меня сидел Архангел Гавриил с блондинкой и какими-то важными директорами. У ног его большим лохматым комком лежал Гей. Оглянувшись, я заметил сбоку детские голубые глаза Кюммелькухена, смотревшие на Ию так же наивно и сусально, как и большой раззолоченный пряник в виде сердца, покачивающийся на елочной ветке.

Ия прошла по залу, между столиков, уверенно, чуть улыбаясь кончиком губ. Оркестр заиграл что-то тихое, переливчатое, неопределенно кружащийся мотив, как будто издалека.

\*

«Домишки запутались в улочки, а улочки в переулочки, окружили площадь толпой, прилепились под замковой стеной — смешные, такие, как мухоморы: крыши из черепичных заплат, флюгера на трубах торчат, низенькие окна из слюды, на снегу протоптаны следы — на карнизах снежные подборы.

В бархат выряжались там купцы, на старухах белые чепцы, туфли у всех острые, носатые, пестрые штаны и полосатые — совсем как рисуют на картинке, которую мы видели в детстве... Это было крохотное королевство, и хоть уместалось оно на одной горе, но не было счастливей его на земле — и жили там по-старинке...»

\*

Вот этого таланта от Ии я не ожидал. Это была настоящая дизез — умеющая обратиться к каждому из толпы — каждому сказать что-то свое. Она не пела, а говорила речитативом, рассказывая, напевая, ломким, с затаенным звоном голосом.

\*

«На верху же самой горы стоял, и стоит до сей поры замок с окнами хрустальными, с залами бальными, где кружились пары на паркете...»

Белые из мрамора ступени, от колонн сиреневые тени, не двери в замке, но арки, соловьиные песни в парке — самый красивый дворец на свете! На пажках были с перьями береты, раззолочены подножки у кареты, по бокам — два эфиопа-скорохода, к удивленью любопытного народа — так принцесса выезжала к обедне.

В этом маленьком нагорном королевстве сиротою провела принцесса детство, с каждым днем красивей становилась... Только очень уже принцесса гордилась — не было красавицы надменной!

В городке же, в самом старом из домишек, к удовольствию великому мальчишек, над окном качался пряник золоченый, а в окне лежал такой же испеченный. Пряники пекла одна старуха — и была она седою и горбатой, без зубов, хромою и носатой, дружбу с разной нечистью водила, по ночам у печки волшеббила — так в народе поговаривали глухо...

Так и шло б все дальше без заминки, но однажды шла она с корзинкой, с инбирем с базара возвращалась, и принцессе на глаза попалась.

А принцесса с паперти сходила.

— Выгоните с площади уроды, пугало для доброго народа. Гости во дворец должны съезжаться, гости могут ведьмы испугаться, — гордая принцесса рассердилась.

Кинулись пажи и скороходы оттеснить скорей старуху чтобы, дать дорогу золотой карете — место ли ей рядом с блеском этим? — А старуха палкою грозитя:

— Слишком уж, принцесса, ты спесива! Каждая старуха некрасива. Век тебе обиды не забуду, над тобой еще смеяться буду, гордостью придется поплатиться!

В замке пир сменялся пышным балом: музыка звенела и бокалы, знатных перечесть бы всех гостей — принцев, герцогов и королей не нашлось бы в целой книге места... Самый смелый, самый сильный рыцарь, что во сне — и то не в каждом снится, от принцессы гордой не отходит, и с лица ее он глаз не сводит... Он — жених — она его невеста.

Но вернулась ведьма к себе в дом, прямо целый подняла содом: говорила ночью заклинанья (слышали соседи бормотанье), и читала из громадной книги, и в кадучке тесто замесила, и туда чего-то положила, сыпала, месила и сбивала, до утра у печки простояла — и спекла огромную коврижку.

Вид был у нее немного странен — принц ли это иль медовый пряник? Расписала сахаром колдунья, не парчой покрыла, а глазурью, голову набила сладким перцем... Принц красив — как будто бы с картинки. Вместо глаз — две темные коринки, губы смазала ему вишневым соком, меч картонный прицепила сбоку и миндалинку вложила вместо сердца.

Он сидел, ходил и улыбался — сам собою долго любовался. — Говорит — журчит медовый голос, — в смоляных кудрях завился волос — ну кому тут знать, что он из теста?

Стукнула старуха об пол скалкой, погрозила принцу своей палкой:

— Во дворец отправишься живее! У крыльца карета и лакеи. В замке ждет тебя твоя невеста.

Помогли старухи заклинанья — всех чарует принц — медовый пряник. Фрейлины за ним идут толпою, рыцари склоняются без боя — и поет принцессе он на лютне. За глаза — веселые коринки, за наряды будто бы с картинки — нежные и ласковые речи, и поклоны низкие при встречах — полюбила она пряничную куклу!

Так бывает часто и не в сказках... Может рыцарь не был с нею ласков, может быть, глазурный этот пряник блеском своим голову туманил?...

Ведь принцесса ничего не знала...

Колдовство свершилось воочью: темной и холодной бурной ночью, бросив королевство и придворных, жениха, дворец свой и дозорных, — тайно вместе с ним она бежала... Снег летел, кружился диким роем, ветер гнул в замерзшем лесе хвою, град хлестал, терялся путь в тумане — и намок, размяк медовый пряник. В ужасе несчастная невеста...

А уже погоня настигает: рыцарь грозный меч свой поднимает:

— Ну, теперь без всяких уж чудес покажу тебе, как красть принцесс!

И мечом рассек его, как тесто...

В удивлении все кругом толпятся, видя чудо странное, дивятся: на снегу лежат две половинки, крошки сыплются из них, а ни кровинки, голова набита сладким перцем... Где ж красавец писанный с картинки? Съежились глаза его — коринки, и глазурь местами откололась...

Сердце же, за что она боролась — горькая миндалинка, не сердце!

Правильно колдунья рассчитала — гордую принцессу наказала... Только для чего же так жестоко ранила, и ранила глубоко?

Горько полюбить простую куклу!

В самом старом, низком из домишек, где пекутся вкусные коврижки, и в окне горела тускло свечка, кто-то в этот злой, холодный вечер подойдя, тихонько в двери стукнул. Появилась ведьма на пороге, хмурая нависающие брови.

— Кто покой мой по ночам тревожит? Иль теперь раскаяние гложет? Кто стучится ночью в мои дверцы?

На коленях гордая принцесса добралась до города из леса:

— Все возьми, что только ни захочешь — буду я слугой и днем и ночью. Испеки мне пряничное сердце, чтобы принц мой стал бы настоящим, только в нем и жизнь моя и счастье, только одного его любила, — возврати, колдунья, то, что было!

Так принцесса умоляла глухо...

Может ли ожить медовый пряник? Можно ли прожить одним обманом, даже об обмане этом зная, даже об обмане умоляя? Головой качала лишь старуха...

С той поры обычай ведутся: пряники медовые пекутся, с инбирем, гвоздикой, сладким медом, всем на утешенье в праздник чтобы пахли бы душистым сладким перцем... Может быть, кому-нибудь на свете принесенный пряник сладкий этот станет вдруг живым и настоящим — возликует радостью и счастьем бьющееся пряничное сердце!»

\*

Маленькая, почти детская сказка — но в ней был какой-то особенный смысл. Стало понятным и другим: я видел, как склонялись головы, слышал, как перешептывались артисты. Очень смело со стороны Ии, тем более, что она уже... на это могло быть только два ответа, две улыбки — и одна из них могла светиться всю жизнь, а другая — так же глубоко ранить.

Я пристально смотрел на Архангела. Как он поступит? Как поступил бы я на его месте? Поймет ли пряничный принц, что его хотят видеть настоящим человеком — или нет? В зале все еще продолжали аплодировать. Архангел не шевельнулся. Ия стояла у елки. Она протянула руку, откинулось черное крыло рукава.

— Кто хочет с елки мое пряничное сердце, господа?

Это был вызов. Бедная Ия! Нужно быть очень уверенной в себе, в том, что не дрогнет сердце, чтобы затронуть мужское самолюбие. **Интересный и острый поединок.**

Архангел чуть приподнялся и наклонился вперед. Я видел, как его брови сошлись на переносице, а губы тронула холодная любезная улыбка.

— Поди, Гей, возьми.

Борзой поднялся, потянулся, отодвинул задние ноги, и, скрипнув когтями по паркету, подошел к елке.

— Возьми, Гей, — улыбнулась Ия, — это совсем особенный, настоящий пряник.

Гей осторожно прикоснулся узкой мордой к ее руке, взял сердце, и зажав его в зубах, вернулся под стол, к хозяину, где съел осторожно и манерно, как барышня.

Оркестр заиграл танго.

\*

Час спустя, я нашел Ию за кулисами, за холцевой стеной с расписанными высокими сводами какой-то церкви. Ия сидела на лесенке, закутавшись в рабочий халат, чтобы не запачкать платья. Было полутемно, пыльно и пахло мышами. Они привыкли к шуму и, не обращая внимания на топот ног и звоны оркестра, тихо попискивали где-то. Теперь в лице Ии не было ни стали, ни света. Она сидела, обняв колени руками, тихонько раскачиваясь и смотрела перед собой прямо, безжизненно и пусто. Я молча взял ее руку.

— Мне очень больно, — сказала она, едва шевеля губами. — Вы понимаете? Я не буду стреляться, конечно. Я должна еще добиться своего. Может быть, это плата. Слышите, как грызутся мыши? Это они обглаживают мое пряничное сердце!

Что я мог ответить ей на это? Когда у человека болит сердце, на это можно ответить только большой любовью, или маленькой ложью, а ее у меня не было, хотя я очень ценил Ию...

\*

Через несколько месяцев Моцарт умер, и наша театральная жизнь кончилась. Я уехал в провинцию, корреспондентом, сел писать большой роман. С Ией переписывался изредка. На следующее Рождество снова приехал в город. Попал в ресторан, главным образом потому, что в нем выступала Ия. Она, кажется, окончательно стала дивой, и ее имя писалось уже крупными буквами.

Черное платье, сплошь из блесков. Светлые пепельные волосы казались совсем седыми, и это, при молодом лице, черных бровях и глазах, производило эффект. Сперва Ия выступила с оркестром, пела рефрен щемящего танго, потом на бис, вышла в залу, увидела меня.

Я обещал навестить ее в городе, но это было сюрпризом. Она подошла к моему столику, небрежно опустила руку на спинку свободного стула:

«За счастье глупое мы выпьем чарочку — не первый раз нам — с тобою пить вино... А если холодно — зажжем огарочки — ведь на душе у нас давно, мой друг, темно!»

Ее голос окреп, появились трагические нотки, небрежная уверенность, что-то, проникающее вглубь.

«Одни с тобою мы — с тоскою нашею — по ком мы плакали — была ль любовь, была иль не была — меня не спрашивай — ведь мы то знаем, что ее не будет вновь. Так пьем за счастье мы — налей мне чарочку — ведь счастье глупое — ему не быть — одно осталось нам — одни огарочки, и с ними тоже надо как-то в мире жить!»

«Огарочки, огарки талые...» — подхватил оркестр.

«...не светят, и не тухнут, а горят!»

«А песенки мои усталые, и сердце мое плачет, а глаза молчат. Сегодня, завтра ли — мы все расстанемся — и так спокойнее — не надо встреч... Огарочки одни останутся — пустого сердца и потухших свеч.»

Ия чуть пригубила бокал, который я подал ей, кивнула мне, и прошла дальше. Мне казалось, что она спрашивала о чем-то, ждала от меня — слов, ли, жеста ли...

Я был у нее на следующий день, и она сказала, что уезжает за границу. Я получил несколько писем из Лондона, потом уезжал сам, как-то оборвались нити...

\*

И вот, через — несколько лет? Шесть-восемь, может быть, даже больше, — неожиданное письмо. Оказывается, Ия снова вернулась в наш город. Я приехал незадолго до Рождества, она гораздо раньше. В городе много говорили о ней, об ее успехе, дорогом сером автомобиле, о собственном особняке, который она купила за городом. Мне еще не удалось поговорить с ней как следует, хотя виделся несколько раз. Почти та же, только старше, конечно, старше не только годами. Очень много усталости, прежняя стальная выдержка стала как будто еще напряженнее и суше, около рта появились маленькие морщинки — от грима, или от тридцати с лишним лет. Она очень торопилась, заехав пригласить меня к себе на праздники.

— Я хочу собрать у себя всех своих старых друзей. Жаль только, что нет Моцарта... как бы он радовался со мною! Сегодня съездила к нему на могилу и засыпала ее фиалками... на снегу это было очень красиво.

— Вы с ума сошли, Ия — фиалки зимой!

— Почему? Я бережно храню память о нем — он так любил все красивое. А, что касается денег — то у меня теперь есть средства. Сколько стоил один дом! Я хочу, чтобы вы посмотрели на него. Все, все. Хочу доставить вам несколько дней настоящей, прежней жизни. Смесь старой дворянской усадьбы с английской. У них ведь тоже — удивительный уют. Но вы соберете мне остальных — всех наших артистов, Кюммелькухена — непременно его, и Архангела тоже. Я слышала, что он приезжает на гастроли.

Дом был действительно чудесный. Мы — старые друзья — собрались в Сочельник. Настоящий ужин, как полагается: с кутьей. Под елкой для всех были приготовлены подарки И, среди дорогих картонажей и переливчатых стеклянных фигурок висело большое, раззолоченное пряничное сердце — самый простой медовый пряник.

Кофе пили, усевшись на диванах и креслах, и Ия осталась стоять у окна — стеклянной стены, выходящей в сад. Отсюда она видела и елку, и всех нас. Я подошел к ней ближе, прося спеть, но она покачала головой.

— Нет. Это потом. Сперва я хочу сказать, для чего я собрала вас сюда. Конечно, хотелось встретиться со старыми друзьями. Но и не только это. Видите ли — вы мой старый друг. Когда-то я была с вами откровенной — и теперь — хочу подвести итоги. Может быть, это вам пригодится — ведь вы писатель, вы должны собирать блестящие грани. Ну вот вкратце: Лондон, работа. Выступала, как дизез, и имела большой успех. Потом — пошла на большую игру. Знаете, как говорится: королевский удар. И выиграла. Стала независимой. Какое это удивительное чувство! Я еще не совсем привыкла к нему: В сущности это все, чего я могла желать от внешней жизни. А от внутренней... вот сегодня вечером я говорила с милым, старым Кюммелькухеном. Посмотрите, у него одутловатые щеки, под глазами мешки и глаза как будто слезятся. Он женился, открыл фабрику, потом прогорел, пропил ее вместе с друзьями — бедный Кюммелькухен, он дорого заплатил за любовь к театру!... развелся, теперь служит пекарем, и пьет как сапожник. Пожалуй, что он и тогда был слишком слаб. Остальные — одни добились чего-то, другие нет. Архангел Гавриил попрежнему великолепен. Он слишком ценит собственные удобства, чтобы позволить жизни ранить себя. Если он и пряничный принц, то из молотых камней. У него большое имя на сцене. Вы создали несколько хороших книг, считаетесь одним из литературных светил. Честь вам и слава. Читала, со многим не соглашалась, но восхищалась всегда. Вот вас мне особенно хочется спросить: к чему пришли вы... милый?

— Было много увлечений, Ия... это и неизбежно, и я не мог бы даже писать иначе... большого не было.

— Ни разу, никогда? Может быть, просто не заметили?

— Моя профессия — замечать каждую мелочь.

— И как вы ошибаетесь иногда!... ну вот, например, как вы думаете, чего я ждала от вас? Каждый дал мне что-то, прошел в жизни, оставил след. Ну вот, ради этого — или того, что могло бы быть — я собрала сюда вас, всех таких же как и я, дорого заплативших за то, что называется победой над жизнью, спросить вас — что вы принесли? Может быть, раньше мы, молодые, ошибались все? Но потом мы сознаем ошибки. Потом нам просто иногда хочется даже обмануть себя, солгать, только чтобы во что-то поверить... в совсем небывалое!

Архангел подошел и очень благородным на сцене жестом, низко склонившись, поцеловал руку Ие.

— Ия, по старой памяти, как другу... помните ваше первое выступление на нашей театральной елке? Спойте нам что-нибудь.

— Садитесь за рояль, — кинула Ия почти резко. Она раскрыла



перед ним какие-то ноты. Он присмотрелся, взял первые аккорды, полуобернулся на табурете, продолжая играть. Свечи падали сбоку теплыми бликами на сухощавое, сильно испорченное от грима лицо с усталыми складками и заученной победой улыбки. Ия чуть отодвинулась от меня, вздохнула и улыбнулась умоляющей, трепетной улыбкой, такой странной вдруг в этой стальной женщине.

«Пряничное сердце принеси мне в подарок — радости обманной огонек лови... Пусть зажжется елка и для нас, усталых, ничего не ждущих больше от любви... Пряничное сердце — крохотное счастье в радости улыбок, в ласке теплых слов — пусть хоть это сердце будет настоящим, пусть хоть это сердце не обманет сов!

К любви одна дорога — через сердце,  
Любви не надо много — только сердце,  
Все остальное — дым,  
А счастье только с ним!»

Я почувствовал, как у меня вдруг широко открылись глаза и задрожало что-то в груди. Почему никто из нас не ответил ей — этим подарком? И я... неужели?

«Пряничное сердце — это так немного! В переливах фольги, в светлом дыме свеч — пусть нам этот праздник облегчит дорогу — осветит огнями небывалых встреч! Мы тоску обманем, назовем — любовью... ведь бывает счастье где-то на земле! Пусть же будет сказкой — даже с этой болью — пряничное сердце в звездном хрустале! Счастье только ждется — и проходит мимо... не считай ушедших, пустоты не мерь... Пряничное сердце подари, любимый, улыбнись над сказкой горечью потерь!»

Я больше не мог выдержать и отвернулся к окну. За синим стеклом стояли заснеженные клены, уходя аллеей к воротам. В той аллее, по которой пришла к этому дому Ия, было много, шагов. И встреч. Почему она шла одна по ней, почему я прошел мимо? Я чувствовал, как за моей спиной стройная женщина в сером мягком платье улыбается еще безнадежней и усталее:

«Неужели в жизни потерялось счастье? И никто не вспомнил, не вернул его... разве жизнь вернется? Сказки настоящей, пряничного сердца не принес никто!»

1937 г. Рига.

## КОПИЛКА ВРЕМЕНИ

Их было двое: мальчик и девочка. Оба были простыми, хорошими, обыкновенными детьми. У девочки торчали косички, туго стянутые перекрученными, как шнурочки, ленточками; она любила собирать теплые еще яйца в курятнике и знала не только те корзинки, которые были поставлены для кур, но и их тайные, почему то полюбившиеся им уголки, где среди камешков в ямке лежало только несколько соломинок; а еще девочка любила делать букеты для своей мамы и кукол: сперва она неумело обрывала слишком короткие стебельки, так что ее букеты можно было положить только в тарелку; потом научилась и часто рассматривала подолгу цветы, любуясь ими. При этом она пела песенки чистым и очень верным голоском, а если ей не удавалось запомнить слов, или вообще при какомнибудь огорчении, она плакала долго и навзрыд.

Мальчик был тоже, как многие: он умудрился разорвать даже кожаные штаны, повиснув на суку дерева; бросал камнями в соседних мальчишек, если не хотел, чтобы они играли на лугу, который считал своим; любил читать книжки и устраивать в жизни приключения, в которых был героем и не слишком заботился о том, что птицы часто оставались без гнезда на тех деревьях, куда он мог взобраться, а потоптанные им цветы тоже не росли больше.

Дома, где жили дети, стояли неподалеку один от другого. Луга и поля с разбросанными домиками, тянулись и дальше вдоль ручья, который гордо назывался речкой; с одной стороны его рос камыш и высокие кусты разных трав, так хорошо пахнувших летом, с другой стояли низкие, корявые ветлы с растрепанными ветками, и шла гладкая твердая дорога: — далеко, вверх по ручью, и в другую сторону, где уже начинались улицы города. Там дома жались друг к другу, сад был только около школы, а дальше земля ложилась под камень, и ее не было видно совсем.

Дети ходили в школу, читали книжки, играли и мечтали о том, что они будут делать, когда станут большими. В этом их мечты расходились: девочка хотела стать певицей в большом театре, чтобы ей бросали на сцену много-много темно красных роз; эта мечта была постоянной.

Мальчик то собирался скакать на лошади и стать полководцем, то предводителем разбойников, или знаменитым строителем и моряком; он часто предлагал бросить книжки и пойти посмотреть, «как бушуют волны на реке».

В ручье не было волн вовсе, и уж во всяком случае бушующих; но ведь всегда можно представить себе «как будто бы», неправда ли? А если стоящий рядом уговаривает поверить — то многие, и совсем не дети вовсе, верят этому очень часто.

Вот так и случилось однажды, что в теплый осенний день мальчик предложил девочке «пойти в жизнь». Он только что вычитал это слово в не совсем понятной книжке, и слово понравилось: в нем была притягивающая даль и неожиданная радость приключений.

День был самый подходящий для такой прогулки: осень уже кончилась, и поля ждали снега, тишины и звонкого мороза. Но ни снега, ни холода не было; над ржавой травой и голыми сучьями деревьев лежало, как туман, серенькое, неровное и очень теплое небо. Если бы земля не была влажной, на ней можно было бы долго валяться, а от того, что небо спускалось кое где, задевая за верхушки деревьев, за крылья пролетающих ворон и крыши домов, — потемневший ручей с высохшими палками камыша казался таинственным и новым, и корявые ветлы медленно шевелили тонкими нитками веток и подмигивали интригующе: кто знает, что еще ждет идущих по дороге!

— Пойдем в жизнь! — сказал мальчик. Вот прямо — и совсем далеко! Так далеко, как мы еще никогда не бывали!

Девочка подумала, что дальше, может быть, около ручья найдется куст барбариса с неоципантыми еще ягодами, или вообще те сокровища, которые можно набрать осенью: шишки, красивые кусочки коры, игольчатые шарики чертополоха. Кроме того, ей очень понравились красивые и торжественные слова. И так, взявшись за руки, они пошли.

Мы все ходим всю жизнь по разным дорогам, и по разному: одни не обращают внимания ни на чужие, ни на давно уже знакомые места, другие, — с интересом рассматривают каждую мелочь, и для них всегда находится что нибудь красивое и новое. Обычно все хотят как можно скорее пройти свой путь — и почти никто не думает о том, что в конце каждой дороги начинается другая.

Дети тоже шли по своему: мальчик смотрел в даль, девочка — вокруг себя. Мальчик высчитывал, сколько еще шагов до горизонта или до поворота, и часто предлагал: кто скорее добежит вон до того дерева? А девочка рассматривала старые ветлы и показывала ему, как у одной вырос нос картофелиной, а брови совсем косматые; и какой красивый цвет вот у этого листочка ежевики, совсем не тот, что у остальных; а вот здесь, в терне, птица оставила гнездышко, и теперь его может разметать ветер. И колючие шарики чертополоха, которые было так трудно срывать, она тоже нашла, и поколола себе пальцы, конечно, но зато их можно будет позолотить на рождественскую елку...

Дети зашли действительно так далеко, как никогда еще не бывали. Ручей стал гораздо шире; на нем появились даже маленькие волны, и разлились в небольшое озерко, отодвинувши полукругом дорогу. У озера росли большие, старые деревья, и плакучая ива обнимала колесо потемневшей мельницы, а рядом с ней стоял домик, весь обросший кустами роз, из которых выглядывало крылечко и неровные каменные плиты ведущей к нему дорожки. Но самым интересным была крыша — низкая и широкая, как будто ее бросили сверху, и она в некоторых местах сползла ниже, до самой земли, а в других топорщилась вдруг, и из под нее выглядывало веселое окошечко.

— Похоже на пряничный домик из сказки, — сказала девочка.

— А ты не испугаешься, если из него сейчас выйдет старуха с клюкой? Только не реви, пожалуйста, я тебя защищу! — заявил мальчик, и уже собирался похвастаться, как он это сделает, как вдруг дверь отворилась, и на крылечко действительно вышла старуха. Правда, у нее не было такого длинного носа и торчащего зуба, как в сказ-

как, и глаза тоже были не красные, а голубые, как небо весной. Седые волосы покрывал чепец, поверх красной шерстяной юбки был повязан передник, а шерстяной платок на плечах тоже не был таким дырявым, как у ведьмы.

— Куда же вы пошли так далеко, дети, что даже ко мне пришли? — спросила она.

— Мы пошли в жизнь! — вырвалось невольно у девочки, за что мальчик сильно толкнул ее в бок. Болтушка! Нельзя же говорить чужим все то, о чем они между собою разговаривают!

Но старушка не рассмеялась, а только продолжала покачивать головой, как маятник на старых часах, висевших у них на кухне.

— Далекая это дорога, — сказала она. — Вы наверно устали уже. Ну что же, раз добрались сюда, так отдохните.

Она немного посторожилась, пропуская их по дорожке к дому, и детям, как они ни храбрились, стало немного страшно. Пока все было как в сказке: а что, если и дальше будет так, и она запрет их в клетку, и съест, или просто превратит в белок или в камень?

Девочка первая увидела пушистую рыжую белку, соскочившую со стола, когда они вошли в комнату. Через полосатый половичек пробежал в дальний угол еж, а в углу кто-то захлопал крыльями, и под темной балкой потолка показались вдруг круглые, желтые громадные глазищи и кривой клюв.

— Ах! — воскликнули они оба и остановились.

Но было уже поздно. Старушка закрыла за собой дверь, и теперь было некуда бежать. В углу стояла старая печь с очагом под каминным колпаком; в очаге висел на крючке котелок, в котором варилось что-то. Старушка зачерпнула оттуда ложкой горячее молоко, и налила две кружки им, а третью ложку вылила на блюдечко, в которое сейчас же уткнулся еж. Потом, взяв длинную палку, сняла крендели, висевшие над очагом.

— Теперь она обратит нас в зверей, — знаешь, как в этой сказке, о карлике с длинным носом, где белки готовили обед? — шепнул мальчик.

Крендель был теплый, поджаристый, хрустящий, и девочка, уже поднесшая его ко рту, остановилась, представив себе, что у нее вырастет такой же пушистый хвост, как у белки, сидевшей на краю стола, и тоже просившей кусочек.

— Спасибо, мы не голодны — громко сказал мальчик.

Старушка улыбнулась, и села напротив них, погладив белку.

— Не бойтесь, — сказала она, — я не обращаю вас в зверей, и не запру в клетку. Достаточно, что сами люди делают это, безо всяких ведьм. Можете есть и пить спокойно.

— Бывают добрые феи тоже, — убежденно сказала девочка и храбро принялась за молоко и крендель. Мальчик покосился сперва — не растет ли у нее хвост, но увидев, что ничего не случилось, взял два кренделя сразу. Таких вкусных им еще никогда не приходилось есть!

— Добрые феи делают подарки и исполняют желания, — пробормотал он не совсем уверенно и потянулся за третьим кренделем.

— Подарок я вам тоже могу сделать, — улыбнулась старушка. — А в

нем — исполнение желания, хотя этого придется еще долго ждать. Но у меня много времени, а у вас его тоже хватит.

Девочка давно уже выпила свое молоко, и внимательно смотрела на хозяйку. Поэтому она совершенно ясно увидела, как на столе сами собой появились две коробочки, а желтоглазая сова, тяжело махая крыльями, спустилась с балки под потолком и принесла в клюве серебряные ключики. Старушка дала ей за это кусочек кренделя, и открыла обе шкатулки. Тут уж дети не могли выдержать, вскочили и подошли ближе.

Но внутри ничего не было. Это были просто две деревянные коробочки, гладко отполированные и совершенно пустые. В крышке у них было прорезано отверстие.

— Копилки, — сказал мальчик, и в голосе его слышалось явное разочарование. — И в дырку влезут только самые мелкие монетки...

— Ты тоже думаешь, что эти копилки для денег? — спросила старушка девочку. Но той давно уже казалось, что и седые волосы, и чепец надеты нарочно — так смеялось голубое небо в глазах старушки.

— Нет, — твердо сказала она.

— И добро и зло создают сами люди, запомни это, — неожиданно сказала хозяйка. — Но ты права. То, что нужно класть в эти копилки, гораздо дороже денег...

— Что же это?

— Время. Вот, я запираю их снова на ключ и отдаю его сове. Она бережет. А вы получаете каждый свою копилку. Берегите ее тоже. Вы будете расти, увидите жизнь и узнаете много хорошего. Когда же у вас случится такая хорошая минута, которую вы хотели бы сохранить, чтобы потом пережить снова, — положите ее в копилку. Просто скажите: эту минуту я прячу, как воспоминание...

— А потом? — спросили оба в один голос.

— А потом, когда настанет срок, вы придете ко мне, принесете свои копилки, и сова отдаст ключ. Вы откроете их и вынете ту минуту, которую захотите.

— Только одно желание?

— Только одно. Но и это уже очень много. Поймете, когда вырастете.

— А когда мы снова сможем придти сюда? — спросил мальчик, которому больше всего понравились вкусные крендели.

— И об этом узнаете. Всему свое время.

Дети взяли коробочки, поблагодарили, простились и ушли.

Дорога домой показалась им еще длиннее, и вернулись они только к вечеру, так что о них уже беспокоились, но они просто сказали, что заблудились. Про себя они решили, что не будут рассказывать никому об удивительной старушке.

— Самое интересное у нее это белка и еж, и больше всего крендели, — решил мальчик. — Остальное скучно. Я не верю, что в копилку можно положить счастливую минуту. Как это так? Я бы, например, хотел отдуть еще раз этого косоглазого, который таскал у нас из сада вишни. Однажды я ему здорово дал, хоть он и выше меня! Так как же — обоим нам влезть в эту коробочку, что ли? Она просто рассказывала нам сказки, но крендели у нее превкусные, от-дать справедливость!

Он гордился, что может употреблять такое умное слово, и повертев в руках коробочку, бросил ее в ящик стола.

Девочка поставила свою на подоконник, где стояли ее любимые цветы, и каждый раз, когда поливала их, вытирала с нее пыль. Когда весной на окошке расцвели розы, она часто подносила коробочку к цветку и говорила: «Хочу еще много-много раз видеть, как расцветают розы!» Однажды роза осыпалась, и один лепесток упал прямо в отверстие крышки — и теперь девочка была твердо уверена, что ее желание исполнится.

Конечно, они собирались пойти еще раз к старушке, весной, когда станет теплее, но за зиму забыли об этом.



Время шло. Дети выросли и кончили школу. Мальчика послали в большой город на берегу моря, куда приходило много кораблей, а в складах лежали горы товара, а девочку отправили в консерваторию учиться пению.

Прошло много лет прежде, чем они встретились снова.

Молодая девушка пела теперь в опере. Ей еще никто не бросал ни темно красных, ни других роз на сцену, потому что пока она пела в хоре, вместе с другими, и никто не слышал, какой у нее собственный голос. Но зато она узнала многое, и увидела, как надо много и тяжело работать, чтобы добиться чегонибудь.

Мальчик, с которым она играла раньше, стал теперь молодым человеком и служил в фирме, которая вела торговлю с заморскими странами. Этим летом он получил отпуск и приехал домой, чтобы повидаться с больным отцом. Но он не любил больных, и не знал, что ему с ними делать.

Немудрено, что у него нашлось зато много времени для своей соседки. Сперва он пришел, чтобы посмотреть, что же вышло из девочки с косичками, а молодая певица понравилась ему еще больше. Они вспомнили свои прежние игры и огорчения, и снова стали гулять вместе по тем же полям, как и раньше. Только теперь он не лазил на деревья, а помогал ей рвать цветы для букетов, которые она собирала попрежнему.

Конечно, он рассказывал ей о своих приключениях в чужих странах, о пароходных грузах и большом значении торговли портового города для целой страны. Как рос хлопок, копра или кофе, грузившиеся в пароходные трюмы тюками, как ловили рыбу, приходившую в бочках, и как делались бесчисленные товары в ящиках — интересовало его вообще только вскользь — но сейчас, чтобы сделать свой рассказ интереснее для нее, он припоминал чужие цвета и запахи, обычаи и песни.

Но о магической силе цифр, колонок с нулями, в которые входили все эти тюки, ящики и бочки, вместе с пароходами, людьми, ветром и солнцем, землей и кровью — и о силе денег, катившихся вокруг и сверкавших за стеклянными окошечками банков, — он умел рассказывать тоже так, что это становилось занимательным.

Ее рассказы интересовали его меньше. До сих пор он редко бывал в театре и видел сцену только из зрительного зала: оркестр гремел и

замирал пианиссимо, и на его фоне, как солнечный луч среди листвы, стрелою взвивался человеческий голос. Ученый сосед рядом, снисходительно морщась, скрипел вслух: «Не плохо, совсем прилично даже, но если бы вы слышали, как знаменитый Донати брал в этой арии верхнее ля . . . !»

Он видел огни и блеск сцены и знал, конечно, что за кулисами улыбки и парча выглядят иначе. Но он и не хотел этого знать. Его не интересовало также, каким упорным трудом достигается верхнее или нижнее ля, — и сколько надо передумать, пережить и перемучиться певцу, прежде чем он сможет пропеть совсем простые и всем известные слова, так, чтобы даже у критиков дрогнуло сердце. Но он любил, когда она пела для него. А она пела хорошо, все лучше и лучше, — потому что теперь они любили друг друга, и весь мир стал для них прекраснейшей из всех песней.

— Мне кажется, что теперь я буду совсем иначе петь — сказала она в солнечный день, встретив его на лугу, где собирала ромашки. Он шел навстречу ей: а она стояла, затаив дыхание, прижимая к груди громадный букет сияющих белых цветов с солнечным глазком посредине. Эти ромашки расцвели ведь только для того, чтобы она в каждом цветке видела свою любовь и то громадное счастье, которое держала в руках.

— А я не понимаю, — сказал он, — почему я вижу вдруг, как прекрасны эти простые полевые цветы, и как ты права, придавая такое значение их красоте, и почему я никогда не замечал этого у своей невесты. Она ведь красивее тебя и лучше одета, потому что дочь богатого купца в нашем городе.

— Разве она твоя невеста? Ведь ты говорил, что не любишь эту красавицу? — спросила девушка, и несколько ромашек, задрожав, упали на высокую траву.

— Ну да, — ответил он — но когданибудь мне может быть придется на ней жениться. Дело в том, что ей очень хочется иметь меня своим мужем, а я не знаю, смогу ли отказаться от этого . . . Но бросим говорить об этом, будущее покажет, а сегодня такой прекрасный день, что я шел по дороге и посылал к тебе всех птиц, которые пролетали мимо. Вот как будто брал в руки теплый, легкий комочек пуху — и бросал его на ветер: отнеси привет моей певунье! Они долетали до тебя?

— Знаешь, — задумчиво сказала она, садясь с ним на траву, — и вчера, и сегодня, и завтра, — самые счастливые дни в моей жизни. И я знаю, что такое поющее счастье может быть у меня только с тобой. Один певец в нашем театре говорил, что любит меня, и принес мне темно красные розы. Но я спросила его, сможет ли он стать мне братом тоже, — он сперва рассмеялся, а потом рассердился. А вот ты был мне и раньше братом, и всегда останешься им, правда? Все люди, которые живут в мире, для меня в тебе — а это так много, что иногда мне кажется, что я умру от счастья!

— Конечно, я всегда останусь твоим братом — сказал он. — Что бы то ни было. Только с тобою я понял, как можно слить воедино весь мир!

— И вот эти слова, эту минуту я хочу положить в свою шкатулку! — воскликнула она, и на ее ресницах задрожали радостные слезы. —

Помнишь, как мы однажды детьми получили от старушки волшебные копилки? Где твоя? Я никогда не расстаюсь со своей, она у меня талисман.

Он рассмеялся.

— Как же, помню. Мы заблудились тогда, и приняли ее за ведьму. У нее жила ручная белка, а я боялся, что у меня вырастет хвост, если я съем крендель. Но крендели оказались необыкновенно вкусными. Эта забавная старушка умела действительно печь, ей бы булочную открыть следовало.

— У нее жила еще сова за печкой, а кусты роз тянулись на крышу дома... А помнишь ее глаза? Никогда не видала таких голубых — как небо весной!

— А у тебя, как вода в ручье — сказал он, и поцеловал ее.

— Знаешь что? Пойдем, навестим ее! Может быть, она жива еще? Поблагодарим ее еще раз за коробочки. Это была настоящая сказка, и в конце концов она хотела научить нас, чтобы мы хранили воспоминания, как самое хорошее в жизни, чего никто не может отнять.

— Да, эта привычка сохранилась у меня и до сих пор, — сказал он. — Вот и сейчас, за последние дни, я часто думаю, что когданибудь, гденибудь, за окном будет выть ветер, на улице холодно, дождь, а я буду сидеть в кресле, передо мной на столе бутылка коньяку, и я налью бокал, посмотрю на свет, чокнусь, как будто с тобой, и снова увижу перед собой и твои глаза, и вот этот день, и ромашки на лугу, и скажу: хорошо мне было с тобой, певунья!

Он улыбнулся и смотрел на нее, любясь, а у девушки вдруг сжалось сердце, так больно, что перехватило дыхание и захотелось крикнуть... что? Что этого не должно быть, что ему надо не вспоминать о ней, а всегда быть вместе, всегда...

Но она училась улыбаться на сцене, улыбнулась ему и теперь, взяла его под руку, и они пошли по дороге.

Вода в ручье плыла так же, как и раньше. Только кусты стали выше и раскидистей, а ветлы растолстели еще больше и строили такие же рожи проходящим, несмотря на солнечный день. Но день стал уже клониться к вечеру, и закатное солнце розовыми лепестками устилало дорогу, а ни старой мельницы, ни озера, ни дома под смешной пряничной крышей, где жила старушка, не было.

— Но ведь дорога идет вдоль того же ручья! — воскликнула девушка. — Куда же все это девалось? Неужели мы зашли тогда еще дальше?

— За столько лет могло перемениться многое... ответил он. — Тогда это было для нас озером, сказкой. А теперь мы может быть и не заметили маленькой лужицы. И старушка наверно давно уже умерла, а ее домишко снесли совсем. Ну что ж, прогулка в прошлое не удалась. Пойдем обратно, пока у нас есть такое счастливое настоящее!

Они возвращались очень медленно, по серебряной лунной дороге и эта ночь тоже была прекрасным воспоминанием, которое девушка положила в заветную шкатулочку, вернувшись домой. На следующий день она спросила — слышал ли ктонибудь о старушке. Но никто даже и раньше не знал ее, и все только качали головой. Дети слишком много читали в детстве сказок, вот им и казались они вокруг!



Но сказки бывают не только в детстве, и многое только кажется — и потом.

Молодой человек вернулся в свой город, к работе и — невесте. Да, красивой, богатой и избалованной девушке очень нравились его тонкие брови и веселая молодая улыбка. Отказаться от свадьбы значило бы испортить себе карьеру — конечно, он не мог этого сделать. Но он очень любил свою певунью — и с трудом вырывал теперь ее образ из своего сердца: так, по крайней мере, он говорил ей. Она пела эту зиму в театре того же города; иногда они встречались, — и каждый раз он жаловался ей, как ему тяжело с капризной, избалованной купеческой дочкой, в пустом и холодном доме, где всегда шум и масса гостей. Но он не называл ее больше своей певуньей — да и как бы он мог теперь это сделать?

Она должна была петь каждый вечер в театре. Теперь она пела уже так хорошо, что не могла больше потеряться в хоре. Нет, у нее были свои слова, она стояла впереди, у самой рампы, и видела иногда в ложе сбоку молодую женщину в красивом платье, и рядом с ней своего названного брата.

— Ты ведь останешься моим братом? — спросила она его перед свадьбой.

— Конечно, — ответил он. — Если мне тяжело, я ни с кем не могу говорить так, как с тобой.

— «А если я не могу вынести своего горя?» — хотела спросить она, но остановилась, чтобы не расплакаться — как девочкой, навзрыд, когда он смеялся над нею. Теперь ее слезы только раздосадовали бы его.

Нет, он не стал ей братом. Он даже ни разу не спросил, как она справляется со своей болью. Но он считал несчастным прежде всего самого себя: его жена привыкла веселиться и тратила много денег. Он не сумел научить ее ничему другому, и поэтому был всегда недоволен всем. Люди часто обижают других — и сердятся на них же за это. От ошибок происходит много зла в жизни, но еще больше — от того, что в этих ошибках не хотят признаться.

Над портовым городом мчались зимние бури, с дождем и снегом; молодой человек скучал в своем богатом доме; а певунья смеялась или плакала — на сцене, и пела красивые песни. Возвращаясь к себе домой, она только плакала — и ждала, что когданибудь ее названный брат придет к ней и скажет ей доброе слово. Но ему и в голову не приходило это сделать, и даже когда она уехала весной, он не зашел проститься — был слишком занят.

\*

Так они и не виделись больше, много лет. Сперва она вспоминала его каждый день, потом — только, когда пела. Песни звучали от этого лучше — так говорили ей те, кто их слушал, и она улыбалась, как улыбаются скрипичные мастера, знающие секрет: разбитые и склеенные скрипки звучат нежнее.

Он тоже улыбался — но иначе, криво морщась, когда чтонибудь напоминало ему о ней. Это бывало редко. Несчастье составляло главное занятие в его жизни, и он не мог обращать при этом внимания на других.

Но когда старик отец умер, сыну пришлось приехать в маленький домик над ручьем, чтобы распорядиться наследством.

Его плечи стали уже тяжелыми и круглыми, а вместо сверкавшей раньше молодой улыбки, в волосах блестели теперь серебряные нити, и голос привык быть ворчливым и раздраженным.

Он, конечно, не потрудился бы зайти в соседний дом, узнать о подруге детства — но она сама встретила его на дороге. Теперь она постоянно жила здесь, в стороне от больших городов, и радовалась тишине своего детства. Вот и сейчас она подошла и с улыбкой протянула ему руку.

— Здравствуй, — сказала она, — и ее голос прозвучал ему давно забытой песней. Он даже сам не заметил, как взял ее под руку, и они пошли по дороге вдоль ручья — как раньше, давно-давно...

Она тихо улыбалась, слушая его сбивчивые жалобы. А он стал говорить вдруг, захлебываясь, сразу обо всем: как у него болит сердце по ночам, и в новом доме еще скучнее жить, чем в старом, и что у него нет друзей, и его никто не понимает.

— Никто не может понять! — горько воскликнул он, останавливаясь. — Никому нет дела до другого!

— А ты сам подумал когданибудь о других? И не тогда, когда тебе было это интересно, а просто так, человека ради? — тихо спросила она, не глядя на него: ей было стыдно, что у того, которого она так любила, не найдется на это ответа. Но повернувшись все таки к нему, она вдруг остановилась.

— Посмотри! — сказала она, — посмотри, где мы! Ведь это то озеро, и дом под пряничной крышей, где жила старушка, которая подарила нам копилки для времени... помнишь? Я храню свою до сих пор, но ты, конечно...

— Боже мой, не таскать же за собой всю жизнь всякий детский хлам, — проворчал он. — Но это место мне как будто бы действительно знакомо...

— Странно, что мы не нашли тогда, когда пошли нарочно искать, — задумчиво начала она, но вспомнив, когда это было, внезапно оборвала, и чтобы скрыть свое смущение, быстро пошла по дорожке к старому дому.

Осень еще только чуть подкрашивала листья, и старый дом с широкой пестрой крышей стоял среди громадных кустов цветущих роз, как в букете. А на пороге дома их ждала улыбающаяся старушка: в чепце на седых волосах, в красной шерстяной юбке под чистым передником, и глаза у нее были голубые, как небо весной...

— Что за странность, — пробормотал он, невольно идя за подругой следом.

— Так, так, — сказала старушка, посторонившись, чтобы пропустить их, как старых знакомых. Она закрыла дверь и села напротив них за столом, внимательно разглядывая обоих. — Ну вот вы и пришли — когда надо. Теперь я могу иначе поговорить с вами, больше не будете бояться, что я обращу вас в белок. А может быть, это было бы совсем не так уж плохо?

И она тихо рассмеялась, погладив рыжую белку, вскочившую на край стола.

В домике все было попрежнему, как на картинке в найденной вновь старой сказке: по полосатому половичку протопал еж, в очаге трещал огонь, а наверху, в темных балках пряталась большущая сова. Она бесшумно метнулась вдруг вниз и уронила из клюва маленький ключик, звякнувший о доску стола.

— Вот ключ, — сказала старушка. — Ну, а ваши копилки где? Ты то, певунья, свою бережешь, знаю. А где твоя копилка?

— Позвольте, — сказал он, смущенно откашливаясь. — Я вижу, что у вас хорошая память, что редко в ваши годы, но... вы, конечно, постарались внушить нам, когда мы были детьми, нечто наставительное, и это было очень мило с вашей стороны, но теперь мы давно уже не дети, и...

— Позволь, позволь, — перебила его старушка. — Годы и то, что за них сделано, это ты считай у себя, а моего времени не трогай. Уговор дороже денег — тебе, как купцу, тоже знать полагается. У нас же был уговор такой: я вам делаю подарок, и первую половину его — копилку времени, вы получаете сразу, и должны беречь. А вторую половину — ту счастливую минуту, которую вы туда положите и захотите пережить снова — я подарю вам, когда вы придете. Ну вот, вы и пришли. Знаю, что не искали дороги ко мне, а она сама вас привела — как и в первый раз. Так и должно быть. Но вот спрашиваю: как же ты сберег свои мечты, детство свое? Что у тебя сохранилось с тех пор? Где твоя копилка? Затерялась? Так вот и годы прошли. А ведь было у тебя много, чего не следовало терять: глаза живые и ясные, — многое мог бы увидеть, запомнить, сберечь... умел ты раньше смеяться и радоваться, умел тосковать и любить, умел хотеть и добиваться — только чего добился? Ну, да ладно. Не выучишь тебя теперь. Все таки — раз уж удалось тебе придти во второй раз — прощу потерянную копилку, но при одном условии: вспомни все счастливое время, которое у тебя было в жизни — и выбери минуту. Только не ошибись. Выберешь правильно — подарю тебе ее время снова. Не угадаешь — не посетуй, уйдешь с пустыми руками, как и пришел.

С взрослыми людьми очень трудно говорить о простых и волшебных вещах. Они не верят, конечно, хотя им интересно: они снисходительно улыбаются, но немного смущены, и часто чувствуют себя неловко. Но есть и другие: те верят и видят сразу, легко и просто входят в сказку, как в свой дом, и знают заранее, что это и есть настоящая правда.

Перед старушкой за столом сидели разные люди. Один улыбался, не зная, как ему держаться, хмурил лоб — и невольно рылся в памяти: конечно, хозяйка этого забавного домика говорит глупости — у старых людей всегда странности. Однако, почему не подумать все таки: а что же захотелось бы пережить снова, если бы это было действительно возможно?

Он всерьез задумался, и совсем не замечал, что на него смотрит не только старушка, но и подруга его детства, певунья его молодости — вместе с которой затерялась у него и песня, и счастье. Она даже прижала руки к губам, чтобы с них не сорвалось неосторожное слово. Но не смела его сказать — старушка предостерегающе подняла палец: каждый должен решать сам, что ему делать.

— Ну вот, я кажется, нашел самое счастливое время в своей жизни, — сказал он наконец. — Я тогда служил еще в фирме, и меня послали в дальнее плаванье наладить доставку грузов. В каких только гаванях я ни побывал! А южные острова, и красавицы там, и песни! Во всем у меня была удача: дела все сделал как нельзя лучше, девушки на меня заглядывались — любую бери, в карты сяду играть — обыграю всех, да и не в чем другом никому не уступал, всегда был впереди всех, а главное: ни долгов, ни обязанностей, скуки этой. Делал, что хотел, и был свободен, как ветер! Что ж, если вы и впрямь добрая фея — ха-ха — подарите мне этот год жизни снова, спасибо скажу!

— Ну, а ты что скажешь, певунья? — медленно спросила старушка.

Та, с первых же слов, опустила руки, и смотрела теперь в окно, в котором качались ветки роз. Сейчас она прямо взглянула на старушку и также медленно спросила:

— А память — остается при этом?

— Памяти — покачала та головой — никто зачеркнуть не может.

— Памяти — улыбнулась певунья — и нельзя отдать! Хорошего в жизни у меня было много, больших и маленьких радостей. Есть они и сейчас, и будут еще. А самое счастливое время в моей жизни было тогда, когда я больше всего любила вот этого самого человека, и верила: что бы то ни случится, останется он мне братом. Только если теперь снова пережить это время, то я буду знать, что будет потом, и каким он оказался, знать буду — и верить бы не смогла. Нет, я не напрасно мучилась так долгие эти годы. Я не хочу ничего возвращать — не надо.

Старушка встала, подошла к ней, обняла и поцеловала ее.

— Да, — сказала она — ты не напрасно получила свою копилку. Ты научилась кое чему в жизни. Иди с миром!

И повернувшись к ее спутнику, прибавила:

— Угадать тебе не удалось. Самое счастливое для тебя время оказалось пустым. А раз ты ничего не сберег и не скопил — нечего тебе и возвращать. Прощай.

В старом домике захлопнулась дверь и ее закрыли розовые кусты. А когда, пройдя несколько шагов, он почему то обернулся — то показалось, что кроме кустов, на берегу ничего и нет.

Он был раздосадован, и шел тяжело: у него от ходьбы была одышка. А бывшая его подруга шла впереди, легко и быстро, хотя по щекам ее катились слезы. Но она пела. Тихую, хорошую песню, от которой на дороге становилось светлей.

1956. Мюнхен

Янис Берзиньш двигается осторожно и ловко, как многие крупные люди. У него мягкое, надежное пожатие руки — с таким не пропадешь! — и пристальные зеленоватые глаза под темными бровями. Он до сих пор плохо разбирается в городских улицах, но никогда не забудет самой путаной дороги в лесу, по которой прошел хоть раз, и безошибочно найдет то место под елью, где три года тому назад вырос вот та-аа-аакой боровик!

Он вносит с собой дождь и ветер и улыбается уже на пороге.

— Такие дела — говорит он, в виде особой любезности, на своем собственном русском языке: — мне говорят: она хвостается каминном. Построила камин и хвостается! И знов мечты, и знов любов! Так пели в русском романсе. Надо посмотреть, интересно есть.

(Очевидно, «хвастать» он производит от слова «хвост», и если по смыслу хвастаться значит — вертеть хвостом, то он, пожалуй, и прав...).

— Как идет? — спрашиваю я его на том же «русском наречии».

— Свинско есть. Запаление достал. И зьел только крыльцо у курицы, и з того запаление. Трудно понимать.

— «Запаление» — говорю я, тем не менее, понимающе, — надо лечить... «дзидрайсом».

Берзиньш безнадежно машет рукой. Прекрасной водки с тремя колосками на этикетке, латышского «дзидрайса» здесь, конечно, не достать. Но он соглашается вспрыснуть камин моей рябиновкой. А вечер, как нарочно: не то снег, не то дождь, в окнах воет, по крыше стучит. Но в камине трещит расколотый пень — и пахнет приятной смолой.

— Искать теперь вам буду — заявляет Берзиньш, усаживаясь — такое, как елка, но мягкий. Воняет прекрасно. Как его зовут? Мозжечок? Очень смешно по русски. Для камина надо.

О, великий, прекрасный русский язык в латышской интерпретации!

— Давайте, лучше нальем, Берзинь-кунгс, — старые латыши поговорят, поговорят, да и выпьют.

— Вы не змейтесь. Я в русскую школу ходил, при царе, и грамматику прекрасно умею. Стихи учил...

— «И знов весна, и знов любов»?

— А вы шовинистично разговариваете зовсем по русски. Это балтийский дом есть! Ну, прозит!

— Перед каминном сказки рассказывать надо — перехожу я на латышский язык, чтобы не быть «шовинистичной», и зная, что Берзиньш их так же любит, как все мы. Весна у нас в Балтике колдовская, с белыми ночами, зимы долгие, утром еще звезды на небе, а в три часа дня уже темнеет, и балтийский ветер круглый год налетает с моря, трясет флюгерами на башнях, воет в трубе. Как же тут вечерами — без сказок?

А если соберутся девушки в пестрых домотканых шерстяных юбках, с коронками на голове, и на плече шерстяной платок прикреплен

круглой пряжкой — сакной... Имена еще языческой древности: Мильда, и самое чудесное — Лайма, от слова «лайме» — счастье. А если уж о счастье говорить, так как же без сказки?

— Камин — хорошо... для души, значит, правильно. Вот у меня в доме не было, все собирался, так и не успел. А у соседа нашего, Недра-кунгса, старая усадьба, дом большой, богатый. Когда войдешь — комната громадная, а камин почти всю стену занимает, снизу до самого верха идет, в нем Недра мясо коптил тоже. Всегда у него око-рока висели, гуси, колбасы, а внизу день и ночь тлеет, холодный дым идет, и ни у кого такого шпека не было, как у Недры — знал, что надо в огонь класть, чтобы настоящий вкус был. Что можжевельник непременно надо — это я от него знаю, еще мальчишкой всегда ходил к нему с отцом. Мы и сами коптили, конечно, но если отец хотел чтонибудь получше к празднику, так к нему нес. Он меня и учил. А вы коптите чтонибудь в трубе?

— Гуся хочу к Рождеству повесить — если влезет.

— Надо, надо... пахнуть будет, так это уютно получается, по усадебному. У Недры всегда пахло. Как сейчас вижу: темный закопченный камин, чуть-чуть огонь трещит, а сверху на нем сырые ветки, чтобы больше дыму шло. И дым пахнет... Значит — Рождество скоро, яблоки внизу печь можно. Я ветчину с печеными яблоками люблю очень...

Берзиньш рассказывает неторопливо и обстоятельно. Такой и была его жизнь на хуторе. Крепко были сбиты эти хутора, с домами часто на фундаменте из дикого камня, с черепичными или тесовыми крышами. Он кончил сельскохозяйственную академию, что у нас было не редкость, но сам рубил лес зимой с сыновьями, а весной косил, и много было коров на ста гектарах бедной балтийской, но такой любимой земли. Это не мешало ему приезжать в Ригу — когда на автобусе, когда на лошадах, идти с женой в театр или играть в покер в Офицерском клубе — большой любитель был. А как он радовался, страстный охотник, когда привез однажды кунью шкурку — тогда уже редкость в наших лесах были куницы и лоси. Трое суток выслеживал зверя...

— Ну да — философски заканчивает он нить, — вот так и было, и нет больше. Но как ни есть, все хорошо, главное у человека — это то, что внутри. Вот видите, приехал к вам, на вашу «муйжу», а ночевать оставите если — завтра похозяйничаю у вас на дворе, посмотрю, что и как, наверно либо дров порубить, либо доску гденибудь подбить нужно. Но как же тут в лесах можжевельника нету! Обязательно надо достать.

Он сокрушенно качает головой и взяв кочергу, осторожно поправляет огонь.

— Расскажите про кота, Рунциса-мельника, Берзинь-кунгс! Вы это так хорошо умеете!

— А потом возьмете и напечатаете? Знаю я вас, такую сороку! Все себе тащите!

— Если и напечатая, то сразу скажу, что это не моя сказка, и не ваша, а только пересказ Карла Скальбе, хотя он может быть тоже из народных взял.

— Откуда взял — не знаю, а лучше Скальбе у нас сказочника не было, и думаю, что в Европе, после Андерсена, тоже нет.

Сравнивать не стоит, но от одного имени — «Скальбе» — становится тепло. Хорошо помню его портрет — и кажется, что он на Берзиня немного похож: с острым взглядом, и чуть уловимой усмешкой. «Дипа-дап-дап», дипадап-дап!» — по темному лесу скачет зловещий всадник, и от этого стука копыт сразу надвигается, догоняет страх и жуть. «Дипа-дап-дап» — звенят копыта по плотно убитой лесной дороге — как буря скачет всадник, и некуда укрыться от черных крыл — нет, не укрылись, и немолчный стук дьявольских копыт топчет и сейчас балтийские сосны... «дипа-дап-дап»... А как низко спускалось серое небо в стране, где все жители разводили свиней, и сами были такими же упитанными и розовыми, с зажиревшими сердцами, глухие ко всему, кроме еды! Они были даже очень добрыми и охотно угощали всех полными мисками сала, и не умели ни сердиться, ни возмущаться — и ни загораться чем-нибудь тоже. А поев, облизывали ложку и вешали ее, чтобы не наклоняться понапрасну, просто на небо, куда вбили крючки — благо, оно было так низко над головой, — без ветра, без звезд, без солнца — мягкое, серенькое, низкое небо, очень полезный климат для свиней!

Сколько раз я вспоминала эти ложки, висящие на крючках, вбитых в небо, и сытые улыбки людей, — невозмутимых, лоснящихся, и совершенно равнодушных ко всему. Особенно теперь приходится часто вспоминать, только кто же задумается над сказками?

— «Рунциша дзирнавиня» — говорит Берзинь и для вящей ясности добавляет по русски: «Мурлычья мельничка». Что ж, Сабурова-кундзе, я вам расскажу, как помню, как мне сам Скальбе, когда я был еще мальчишкой, рассказывал, а если напечатаете, так и лучше. Кто уж будет ее переводить по настоящему, по книге, когда и книг то нет, и вам самим, убогим, печататься негде. А так пусть хоть в пересказе послушают люди, какой сказочник на нашем Янтарном берегу был.

— «Рунцис» — это ведь «Мурлыка» будет по русски, вот, а еще говорите, что не знаю языка. Зато, что мурчит. А так мурчать только большой кот может, и наверно черный с белым этот Рунцис был, такой большой, толстый и важный. Да каким же ему быть, если богатый хозяин, «саймниекс», и мельницу с двумя поставами имел в лесу. Один постав для орехов, а другой для миндаля, вот как. День и ночь молола мельница, и сам Рунцис ходил весь в белой муке, так что сразу было видать, что мельник. А дочери его чистенькие были, настоящие барышни, яункундзе. Хи-хи да ха-ха, и хвост завивали колечком. Ну, и конечно, когда настоящими барышнями выросли, появились у них ухажеры, отбою не было, потому что и сами кошечки — красавицы, и отец — богатый мельник! Только женщины, известно... такой народ... повадились в лес бегать. А в лесу дикие коты жили — черные, хвостатые, тощие, и воры-хулиганы — «пашпуйки», и уж дон-жуаны, конечно... Вот и вскружили голову дочкам, и те уперлись на своем: хотим за них замуж выйти, и никаких!

— Рунцис-мельник погоревал сперва, не о таких женихах мечтал, но сердце у кота не камень, что ж делать, если дочери тормозят и целуют и плачут, чтобы на своем поставить! Подумал и так: справлю свадьбу, отдам детям мельницу, станут зятья мельниками, остепенятся, хорошими хозяевами станут. А потом внуки пойдут, вот я и буду на

покое на солнышке греться, перестану мукой обсыпаться, и внуки хвостом моим будут играть...

— Так и сделал Рунцис. Справил свадьбу на весь лес! Пива наварил хмельного, браги, колбас всяких, пирожков со шпеком много было, музыка была, пляс, три дня пировали. А потом, когда отпраздновали, так и сказал: за старшей дочкой дает он ореховый постав, а за младшей — миндальный, и пусть теперь зятья сами работают, добро наживают и отъедаются, а он на покое поживет.

— И все бы хорошо было, да только иначе вышло. Как увидели зятья, тощие коты, что теперь они сами хозяева, так прежде, чем работать начать, старика Рунциса не только из мельницы, из дому выгнали! Вон, говорят, старичина, убирайся, куда глаза глядят, мы теперь хозяева, и чтобы мы тебя больше не видели, а то всю шкуру раздерем, хвост выкусим!

— Вот ведь как бывает, всерьез то! Дочки может и поплакали, да новые мужья их улестили, а может и сами обрадовались, что полными хозяйками станут — всякие ведь дочки бывают. Словом, не успел Рунцис-мельник оглянуться, как вышвырнули его зятья из дому, прямо на дорогу, в пыли выпачкался.

— И стало ему так горько, так больно на сердце... Разве это по правде? Всю жизнь работал, на мельнице молот, не досыпал, не доедал, и вот, под старость, без куска хлеба и дома остался... Вроде, как я сам теперь, Сабурова-кундзе!

— Однако, тогда другие времена были, и не мог Рунцис обиды стерпеть. Пойду, думаю, в город, к самому королю, и пожалуюсь ему. Срезал себе палку в лесу, и пошел хвостом дорогу подметать.

— Ну, шел он конечно, не скоро, но все таки дошел до дворца. Там у него свойственник был — королевский истопник. Принял он Рунциса хорошо, накормил и спать уложил в золу, чтобы теплее было. Рассказал ему Рунцис-мельник, что вот, принес королю жалобу на бесстыдных дочек и тощих зятьев, а как теперь до короля дойти? Нельзя так дела оставить.

— Дворец у короля был деревянный, конечно, из столетних дубовых бревен сложен, резьбой украшен, и деревянные башни по углам, чтобы было где в них ветрам спать. Во всем дворце топились печки, потому что старый король очень любил тепло, и всегда сам сидел перед большим камином. Истопника король очень любил, потому что никто больше не умел собирать таких сучьев, пней и трав особых, корней и шишек, калмуса и богуна, чтобы от них ароматный дым шел. Сидит король перед камином, в огне можжевельник трещит, огонь на королевской короне играет, а в трубе ветер свистит... И вдруг в дыму этом, в потрескивания, в посвисте, слышит король, как кто-то мурчать начинает: рырр-рырр — вроде, как мельница мелет...

— Оглянулся — смотрит: Рунцис-мельник стоит перед ним, одну лапу к сердцу прижимает, а другой вместе с хвостом пол метет, как шляпой с перьями — знал Рунцис, какое обхождение во дворце достойно — обещал истопнику, что в грязь мордой не ударит, если тот его в королевские покои впустит — и уж как начал мурлыкать-мурчать, так и остановиться не может, пока всего не рассказал. И про мельницу с ореховыми поставами, и про дочек неблагодарных, и про



зятьев бесстыдных, тощих — и как только и осталось ему на старости лет, что королю пожаловаться, управы попросить!

Слушает король, улыбается, и пахучие травы в камин подбрасывает, а дым идет от них тонкий, душистый, взвивается струйками и пропадает без следа... Очень уж королю понравилось, как Рунцис-мельник мурлыкает, а тот это действительно умел!

— Много неправды и горя на свете, — сказал наконец король, — но неправдой долго не проживешь, и твои дочери все равно наказаны будут. А тебе я вот что скажу: оставайся у меня, Рунцис! Мышей жирных, говорят, на кухне развелось видимо-невидимо, да и молоко тебе парное давать будут, я прикажу. Ты только приходи ко мне, погреться вместе, и про мельницу свою рассказывай — уж больно мурлычишь хорошо! Вот мы с тобой, старики, и вечера коротать будем... а я тебя научу, какие травы в огонь класть надо, чтобы дух хороший шел!

— Заплакал Рунцис-мельник даже от радости. Королевским котом стать — не шутка! Никогда о таком счастье не мечтал даже... Наверно, до сих пор лежит перед камином и мурчит всласть. Как мельница с поставами, даже еще лучше: рррырр-рырр...

\*

— Ну вот — говорит Берзинь, и подбрасывает в огонь какой то корешок, который в кармане, видно, на припас держал — может быть, у Скальбе в книге и не так какое слово написано — я помню, как он сам рассказывал, да давно это было — но все таки настоящая сказка, а уж можжевельник я вам достану, это навверное!

1963.

## ТИХАЯ НОЧЬ . . .

*В 1818 году, 24 декабря, в церкви австрийской деревушки Оберндорф была впервые исполнена рождественская песнь «Тихая ночь, святая ночь» — слова викария Иозефа Мора на музыку учителя Франца Грубера.*

Может ли человек сдвинуть горы? Верю с горчичное зерно — может быть. Но зачем их сдвигать? Они так и остались, как были: туманные силуэты, как опавшие тучи на горизонте, предгорные холмы, покрытые лесом, разбежались всюду, теснят, наскакивают друг на друга, потом внезапно расходятся — чтобы пропустить дорогу, селенье, речку, — и распасться в полях.

Холмы мягки и податливы, — не то, что речка. Ах, эта Зальцах! И неширока, и неглубока, а куда ни петляет только, куда ни закидывается, вырвавшись с гор, и никогда нельзя знать, что она сделает дальше. Тут легла границей между Зальцбургским епископством и Баварским королевством, там течет тихонечко — не видать среди полей, и вдруг обежала петлей и размыла берег. Да, не шутите с Зальцах! Когда, в конце восьмисотых годов она поднялась весной на семь метров выше ординара, то подмыла все селенье Оберндорф, затопив дома почти до крыши, и сдвинула церковь.

С тех пор церковь и стоит на другом берегу, куда ее перенесли бережно, по кирпичикам, и приладили тот же купол на колокольню: на опрокинутой глубокой тарелке широкая низкая луковица, а над нею невысокой башенкой шпиг. В старой пивной многие говорили, что следовало бы собрать денег и выстроить церковь заново, пышнее и больше, и с позолотой везде, за то что она доставила такую славу местечку. Но новый викарий был против, и настоял, чтобы все осталось попрежнему. Христос, говорил он, тоже родился на соломе. Только подновили алтарь и поставили новый орган.

А на месте, где она стояла раньше, выстроили часовенку: маленькая, круглая, с куполом и крылечком посередине, на самом холме. Вокруг растут благородные мохнатые ели — дар прихожан. Внутри — резной алтарь с Вифлеемской пещерой, и по бокам два узких окна с цветными стеклами. На них картина: вид старой церкви прямо и сбоку, а над картиной портреты: учитель Франц Грубер с гитарой, и викарий Иозеф Мор с гусиным пером, и над головой каждого Вифлеемская звезда с лучами. Так они и смотрят друг на друга, опираясь на елочные ветки с зажженными свечами: викарий смотрит поверх голов, с усмешкой прислушиваясь к чему то, а учитель, грустно склонив голову на бок, вглядывается в то, что видно ему одному.

Служба совершается в часовне только раз в году: в Сочельник. Из многих стран приезжают сюда люди, и стоят не только в крохотной часовенке, а вокруг всего холма, на улицах, и поют. Она звучит на всех языках одинаково, эта песнь, и ее поют на Рождество во всем мире: «Тихая ночь . . . святая ночь» . . .

В лето тысяча восемьсот восемнадцатое селеньице Оберндорф, миль в двадцати от Зальцбурга, на берегу Зальцах, лежало в стороне от всего: до большой дороги был хороший день пути по проселочным. Центром округа был Зальцбург, у подножия епископского замка на высокой горе: оттуда приходили новости, привозили редкую почту и книги; оттуда доставлялись несложные товары в единственную лавочку на весь Оберндорф; туда везли, на больших телегах, громыхавшие дубовые бочки с пивом.

Одним из самых старых домов в Оберндорфе была пивоварня, стоявшая уже лет триста: во двор ее, вымощенный крупными камнями, откуда чрез низкую дверь, можно было попасть в полутемную, с потолка в балках, пивную, постоянно въезжали и уезжали подводы. Во дворе всегда гремели бочки, засовы дверей, копыта лошадей, кувшины и кружки, деревянные башмаки парней и девок, и ключи на широком кожаном поясе хозяина, подпиравшем снизу его увесистый живот в расстегнутом кожаном жилете.

Этот вечный шум, говорил викарий, живший неподалеку в церковном доме, заставляет его ценить тишину бедной церковушки, в которой нет даже приличного органа, не говоря уже о кафедре для проповедей. Но проповедь он может сказать и так, а разве это орган?

— Ваша милость гремит в проповеди не хуже органа, — пробовал отшучиваться учитель, исполнявший обязанности органиста.

Это было почти единственной шуткой, которую он позволял себе с викарием, ибо тот был такой великий насмешник, такой упаси Боже, вольтерьянец, что не даром говорили о нем разное... а он, учитель, часто приходил в ужас и старался замять разговор. Но относительно органа, — о, тут можно было самому вернуть словечко, ибо это было самым больным местом, самой страстной мечтой викария Иозефа Мора: иметь новый орган. Учитель нередко поражался, как может человек, не играющий сам ни на каком инструменте, так любить музыку! Викарий мог часами заставлять его играть на гитаре и духовные, и народные песни, и даже — совсем потихоньку, — менуэты; доставал ноты. Когда Груберу надоедало играть, он неизменно брал несколько тактов революционной французской Марсельской песни: этого было достаточно, чтобы викарий, сперва как то дерзко взметнув голову в круглой бархатной шапочке, пощелкивал пальцами, — и вдруг срывался с места и уходил, не прощаясь.

Церковный дом стоял против старого, широкого дома крестьянина Штирмайера: у него была низко надвинута, как чепчик монахини, черепичная крыша, придавленная камнями от ветра. Учитель подолгу простаивал у окна, смотря на дорогу, и посасывал длинный чубук замысловатой трубки с голубыми кисточками, хотя она часто бывала уже выкурена.

Нет, почтенный викарий был определенно странен. Умный человек, бесспорно. Энциклопедического ума. Ему бы епископом быть, или кардиналом, а не сидеть в Оберндорфе. Но с епископским двором в Зальцбурге у Иозефа Мора тоже не все обстояло благополучно, это известно, хотя никто толком не знал, в чем дело. Викарий был остер на язык и вольнодумец. Может быть, поэтому не пришелся ко двору? А в про-

поведях он действительно гремел, как орган, чтобы грешники одумались.

Его побаивались, уважали, и, как ни странно — любили все: хозяйка и пивовары, дети и звери в особенности. Любили, не понимая, установил учитель, ибо понимать викария мог фактически только он, почти равный ему, и уж во всяком случае критически относившийся к тому, что тот говорил, а то ведь остальные не понимали и половины.

Но и хорошо, что так: учитель иногда только качал головою, когда викарий, вместо обычных громов против грешников, опять заносился в сторону, и совсем как будто не по тексту начинал философствовать. Если бы услышал его епископ — запер бы в первый попавшийся монастырь на покаяние! Даже богиню Разума в Париже, кощунственное это действие во время революции поминал викарий перед алтарем, и хоть поносил ее, но не так, как пристало бы служителю церкви. Будто бы и теперь все поклонялись ей, по насмешнически получалось это у него, и учителю порой казалось, что он издевается над своей паствой.

Нет, ни фигурой, ни лицом, ни голосом не походил он на викария: высокий, худой, белые волосы из под черной шапочки, а брови черные, поднятые кверху упрямыми, заносчивыми, жирными запятыми; крутые брови, и глубокие складки вокруг насмешливого рта. Глаза тоже черные, живые, предерзостные, и манера эта смотреть чуть поверх собеседника, а с первого взгляда лицо как череп будто, зубы скалит сквозь сжатые губы. Ему бы полком командовать!

Говорят ведь, что будто вроде того и было... здесь, в селеньи, только многозначительно пожимают плечами: будто бы викарий и впрямь жил в Париже, даже участие в этой проклятой революции принимал в молодости, духовником знатных особ был, в литературные салоны вхож, и зато, когда случились с ним разные несчастья из-за его заносчивости и бунтарства, то не заточили в монастырь, а посадили в Оберндорфе, где уж действительно некого было ему совращать: в головы здешних пивоваров даже сама богиня Разума, если бы и была такая, ни одной мысли заронить не сможет, нет. Так придавят ее камнем, как крышу.

Но спросить не решался. Да и не задают вопросов в такой век. Слишком смутное, тревожное время. Повсюду брожение, вспьшки тут и там; после такого разгрома, революций, войн, которые были пережиты всеми странами, после гениального корсиканца — сколь взбаламучена вся жизнь, вся душа до дна!

Учитель Франц Грубер тоже не всегда жил в тихом Оберндорфе и учил детей считать яблоки и царапать грифелем на доске. О, нет. В молодости — а ему сейчас за тридцать — он сам был увлечен гениальным корсиканцем, да, и в глубине своей души все еще слышит этот победный клич: «Vive l'empereur!» Да здравствует император! Ему, австрийцу, казалось бы, и не очень пристало... но, он был молодым тогда, и мечтал: нет, не надо, совсем не надо о мечтах. Вон, в доме Штирмайера уже блеснуло окно: кнехтам собирают вечерять.

Темнеет. Лизель уже гремит горшками на кухне рядом. Это очень маленькая кухонька рядом с комнатой, которую они занимают в церковном доме, и в ней так мало медной посуды, о которой мечтает Лизель. Деревенскому школьному учителю приходится жить в обрез, а Лизель все таки справляется с хозяйством, тихо и незаметно. Она вы-

росла пятым ребенком в семье церковного служителя и не знает, что может быть другая жизнь, кроме расчета каждого гроша, но довольна ею. Если бы у них был еще ребенок, то наверно была бы счастлива.

Он тоже доволен, конечно. Тихая, скромная, любящая его Лизель... Пришлось стать обеими ногами на землю и отказаться от безумных мечтаний. Лучше так? Тяжелее — да. Но лучше, в конце концов...

Можно пока не зажигать свечи. Викарий, если придет вечером, как всегда, послушать музыку, принесет ему новую: он их льет сам, и отменно, а у него один огарок остался. Да, трудно жить.

Надо смириться. Только как? Сколько людей шаталось по свету, видели мир... разбрасывали их и революции, и войны, опять восстания, опять война... скольких теперь нельзя спрашивать: кем они были раньше, и почему вот так — в Оберндорфе? На чем они разбились? Ибо разбиваются если не все, то многие, это ясно. Ну, и что же? Безрассудство молодости, житейские бури...

— Заметьте, дорогой Грубер, — говорит викарий, подняв указательный палец с каким то неожиданно острым ногтем, — с безрассудством я совершенно согласен, но житейские бури это тавтология, повторение тож, ибо есть только второе, проистекающее из первого. У господина фон Гете в «Фаусте» об этом сказано совершенно ясно: дерзкий, жалкий ученик, вызывающий темные силы, с которыми не может совладать. Это гениальный образ. Господин фон Гете подлинный гений, титан, какие бывали в древности, и этот образ — неизмеримая высота. Я бы велел живописцам нарисовать его во всех церквах, этого наглого мальчишку, в назидание: имеющие очи, да видят! И ваш гениальный корсиканец был таким же. Чего стоит одна война с северным великаном! И пал. И падут многие. Но безрассудство владеет миром. Vive l'empereur! Вив богиня Разума! И да здравствует многое другое! А потом уже поздно. Опомнитесь, говорю я!

Нет, этот викарий... Нарисовать гетевскую сцену вызывания духов в церкви!

— Впрочем, — добавляет викарий, — в нашем милом Оберндорфе достопочтенные господа пивовары приняли бы это просто за сцену Страшного суда... но разве они так бы ошиблись? Разве то, что вызывается человеком для своей гибели, не есть Страшный суд, хотя бы даже en miniature? А иногда и в больших размерах... если взять войну или революцию. Наполеона называют теперь «Божий бич», как когда то Атиллу. Неправда. Люди сами хлещут себя столькими бичами, что я право не знаю, зачем Господу Богу, у Которого и так много дела, заниматься еще нашим бичеванием. Мы это делаем сами отменным образом, parole d'honneur.

— А сами вы, ваша милость?

— Мечу громы и молнии со ступеней алтаря, хотите вы сказать, и упрекнуть меня в нелогичности? Нет, милый Грубер, это вам не удастся. Вы не умеете мыслить парадоксально — величайшее свойство человеческого ума, ибо только так мы можем охватить нашим разумом творящийся хаос... Да, я мечу громы, пользуясь своими голосовыми связками и саном. Но считаю это, заметьте, попыткой с негодными средствами пробиться в души. Впрочем, бывают разные души. Средства тоже. На одних может подействовать текст Священного Пи-

сания, которого они не понимают — именно поэтому. Для других надо другое. И есть, пожалуй, только одно, что годилось бы для всех...

— Что же? И почему вы не примените этого средства воздействия, ваша милость?

— Именно потому, что у меня этой милости нет, а она зовется: тишина.

— Тишина?!

— Ну да. Любовь, милосердие, свет, благодать — все это однородные вещи. Однородные, потому, что во всех — тишина. Но не вещи, потому что вещественный мир осязаем, и может браться. Тишина только дается. Оттуда.

Он замолчал, смотря по обыкновению, поверх головы собеседника, и прибавил:

— Сыграйте чтонибудь простое...

\*

Так они говорили всегда: внезапно касаясь чего-то, о чем думали оба, — и останавливались. Как будто шли по одной дороге, доходили до перекрестка, и взглядывали друг на друга: что же дальше?

Думали много. С каждой почтой в дом викария приходили книги. Он выписывал сочинения не только духовного характера, а и господина фон Гете, и мятежного идеалиста Шиллера, и многих других философов и поэтов. Грубер сразу приходил тогда к нему, и они просиживали вместе ночами.

Время было. Времени было много в Оберндорфе, оно шло неторопливо и медленно. Грубер иногда даже удивлялся: как он, после такой бурной молодости и всех своих мечтаний... да, вот может следить за тем, как встает солнце, освещает сперва старую яблоню, растущую у кладбища, потом заливает крышу Штирмайера... Или, в туманные утра ползет туман, наваливаясь с гор. Тогда и Зальцах не видно из окна, только слышно, как скрипит деревянный мост под тяжелой телегой: — в Зальцбург повезли пиво... Неторопливо идет день: но неправда, дни не похожи один на другой; мысли тоже разные, а что повторяются некоторые слова, и жесты, и звуки, так что же? Стрелка на циферблате тоже всегда касается одних и тех же цифр, а разве похож один час на другой в человеческой жизни?

Но все таки: зима, весна, лето, осень. И опять? Утренний колокол и вечерний, к Ангелус? Сперва трава зеленеет, потом становится пыльной, желтой, рыжей, забивается серой грязью, затвердевает подо льдом, засыпает под снегом. Что же тогда: конец, начало — и зачем это все? Главное: зачем же было дано сперва так много, чтобы потом — ничего? Хорошо еще, если трава идет на сено, или в букет: а если так просто, отцвела, высохла, затопталась в осеннюю лужу — зря?

— Кто знает, дорогой Грубер, для чего иногда призван человек, — говорит викарий. — Вспомните притчу о талантах, зарываемых в землю, но вспомните и о семенах, бросаемых на разную почву! Может быть даже и Сам Сеятель не уверен, как взойдет Его семя; и в самом деле, разве мы не видим каждый день вокруг нас в саду, в поле, как вдруг на голом пустыре расцветает вдруг прекрасный цветок, или могучее дерево, которое мы не видели раньше? Значит, надо было лежать се-

мени в тишине — опять таки в тишине, заметьте! — пока не пришел срок. Вы ищите этого ответа в философии. Напрасно.

— Но вы сами то, ваша милость?

— Я? Я, дорогой мой Франц Грубер, такой же осколок кораблекрушения, как и вы. Довольно, оставьте. У нас молчаливый уговор не касаться прошлого. Это вежливость минувшего века, и она скоро исчезнет. Люди становятся слишком грубыми, шумными и дерзкими. Они придумали равенство, и считают, что им все позволено. Но для вежливых людей понятно многое и без слов. Посмотрите на себя. У вас лоб мыслителя, ученого, музыканта. У вас глубоко сидящие и глубоко смотрящие глаза, поэтому они всегда так печальны. Несомненно, вы предавались в своей жизни самым романтическим мечтам. Но нос у вас, хотя и достаточно велик, однако *passez moi le mot*, сапогом, что, впрочем, доказывает только, что ваши предки больше держали в руках плуг или лопату, иглу, что угодно, но не шпагу. Мои — прекрасно владели и шпагой, и мечом, но мы не выбираем себе наших предков. Не знаю, кем вы могли бы стать: у вас слишком скупой рот. Такие люди не умеют брать от жизни, и скорее уходят в меланхолию, раз навсегда осудив жизнь и отвернувшись от нее. Но я был рожден повелевать. Командовать полком, как говорят многие, или благословлять толпу с высоких ступеней, или брать Бастилии — духа, заметьте. Во всяком случае, ни деревенский vikar, ни деревенский учитель не к лицу нам обоим. Но — кто знает? Заметьте: Тот, кто знает — молчит...

Учитель Франц Грубер не только недурно играл на гитаре и органе, подчас даже трудные вещи, подпевая им небольшим, приятным голосом, но и собирал старинные народные песни во всей окрестности. В школе у него были заведены постоянные спевки детского хора. Недостатка в псалмах и песнях не было, но он часто подумывал, что недурно было бы самому тоже сочинить что нибудь.

Мысль приходила и уходила, как и множество остальных мыслей. Иногда, прогуливаясь по полям, Грубер останавливался, окидывал взглядом горизонт и тогда в нем снова поднималось странное ощущение: вот, везде, по краям этого горизонта, кипит, клокочет посленаполеоновский мир. Восстанавливаются и рушатся троны, пишутся великие произведения, вспыхивают восстания, делаются новые открытия, гремят споры, и во все это втянуты тысячи и тысячи людей. А они с vikarом — пережившие многое и по разному, но как то связанные вместе, выкинуты вот сюда, в глушь, в мертвую зыбь центра бушующего на море урагана — из которого не выбирался еще ни один корабль.

Тихо здесь. Неповоротливо тянется время, как телега с пивными бочками. Круговорот года, захлестывающие волны образов и мыслей, поднимающиеся со дна души, со страниц книг... нет, не все семена всходят — в деревенской тишине.

Были еще досадные мысли, мелкие уколы каждодневной нищеты: и были мечты тоже.

С наступлением осени он стал больше думать о елке. Этот новый обычай зажигать елку, очень нравился ему. Елка в школе должна стать нарядной, сверкать. В прошлогодних Венских Ведомостях он читал, что на елки клеили звезды и золотили орехи, но в деревенской

лавочке мишурного золота и фольги конечно нельзя достать, за этим надо самому отправиться в Зальцбург.

Он копил для Зальцбурга деньги уже давно, решив подарить викарию к Рождеству бронзовую чернильницу с мечом в память его предков. Но и на фольгу откладывались медные монетки. Двадцать миль расстояние небольшое. Если отправиться на телеге пивовара вместе со знакомым возницей на рассвете, то он успеет сделать все покупки в городе и вернуться домой, хотя бы пешком, к вечеру.

Но, если он уже несколько лет не решался поехать в Зальцбург? Может быть, он даже не узнает города за столько лет, настолько тот переменялся? А каким стал теперь Берхтесгаден — по ту сторону границы? Нет, нет, не надо. Есть вещи, о которых нельзя думать.

\*

Осень в том году была ранней и очень холодной. Сколько раз уже с гор срывались снеговые бури и на несколько часов устилали всю грязь на дорогах снежным покровом. Потом свистел ветер, хлестал дождь, деревья скрипели и гнулись, по крыше будто молотил кто-то, даже свеча вздрагивала и оплывала больше, чем всегда. И каким безнадежно серым, промокшим, продрогшим, унылым и безрадостным было все вокруг: и эта деревенская улица за окном, стены и заборы, лужи и грязь, и самый свет, скупо проникавший в окно!

Но ветер будоражил тоже. Шел же он в молодости наперекор ему!

Так, в мглистое, пробирающее до костей утро, завернувшись в плащ с пелериной и повязав шею грубым теплым шарфом, Грубер отправился все таки в Зальцбург, оповестив накануне детей, что школьных занятий не будет.

Лошади ступали медленно, шумно поводя боками, с трудом вытягивая копыта из хлюпающей жижи. Однако, возница, посмотрев на низко нависшие тучи, заметил в них что-то, ибо многозначительно покрутил головой и уверенно заметил:

— К вечеру все подморозит, а потом снега надо ждать. И надолго теперь он ляжет, снег то. Да и то пора: первый адвент идет...

Ветер гнал низкие тучи и прохватывал насквозь. Дорога тянулась невероятно долго. Грубер решил, что обратно он не поедет ни за что, и так заоченел весь: уж лучше пешком, по холмам он выберет по-прямее дорогу. Он старался совсем не думать о том, как его примет город, и все время подбадривал себя.

Город принял неожиданно весело. Сколько огней! Во всех лавках горят огни: в такой темный осенний день торговцы не скупятся на свечи и светильники, щеголяют ими друг перед другом, и выставили уже повсюду рождественские товары к первому адвенту. Из бакалейного склада тянет корицей и мускатом — в Зальцбурге можно купить всякие вещи! Кое где лежат уже маленькие черные хлебцы — фруктовый хлеб, который пекут к Рождеству, большие крендели и даже человечки из сушеных слив, нанизанных на палочки на потеху детям.

И Зальцах течет здесь чинно, у подножия старого собора, прилепившегося к громадной горе, на которой стоит епископский замок. Но епископ не выйдет в такую погоду, не заметит высокой фигуры в пла-



ще, которая бродит по улицам, приценивается, покупает то и другое. Такого великолепия мишурной фольги он не ожидал даже, елка будет сиять, как алтарь в рождественскую ночь, на сколько вечеров хватит ему занятия — вместе с Лизель клеить и золотить, и как обрадуются дети!

Чернильница тоже нашлась такая, как он хотел. Ее он купил сразу — опасался, что не хватит денег. Потом уже все остальное, а напоследок зашел в пивную, вспомнив, что проголодался; путь еще длинный. Съел поджаренные тут же на вертеле колбаски, выпил кружку пива, и, потуже завернувшись в плащ, вышел на дорогу, чуть кивая на прощанье остановившимся домикам предместья.

Они провожали недолго и остались позади, вместе с чайками на Зальцах. Началась дорога, и возница оказался прав: он и не заметил перемены ветра в кривых улочках. Ветер мгновенно сковал, подсушил грязь, прошелся по ней, как утюгом, гололедицей, и теперь весело гнал мелкие, частые снежинки, пудря насупившиеся ели.

Снег пошел.

Есть ли на свете что либо грациознее медленно кружащегося снега? Это особый, свой менуэт, не господина Гайдна... Как тот, на зеленоватых клавикордах, который он танцевал тогда, в Берхтесгадене.

Запретная мысль сразу охватила огнем — и странно: теперь она не была больше запретной. Нет, теперь было можно, и даже нужно вспомнить все. Вот именно сейчас, в темноте, на запорошенной снегом дороге, и скользить по льдистой колее, как по паркету, и склоняться в поклоне перед ветром. Он распахивает прошлое, этот ветер.



От Зальцбурга до Берхтесгадена столько же часов пути, как от Зальцбурга до Оберндорфа. Ветер так легко переходит границу, что не замечает ее совсем. Те же холмы, предгорья, горы, дороги, лес. Только Берхтесгаден лежит не у самой реки, а над ней, карабкается в гору, и замок посередине города. К нему ведет много улиц, в которых сады подперты каменными стенами, иначе деревья свалились бы на дорогу. Повсюду лестницы, ступени, стены из тяжелых больших камней выступают углами и полукружиями, низкими башнями со срезанными верхушками. Вот, на одной такой круглой угловой башне широкая шляпа, а по самой стене идет роспись светлой и темной охрой, и с голубым тоже: это почта князя Турн-и-Таксиса, которую он устроил, пустив по всей стране, и в Италию и в Австрию, и в далекий Франкфурт и Гамбург тяжелые почтовые дилижансы с четвериком подкованных лошадей и своим почтовым гербом: два перекрещенных рожка. Почтальон трубит в рожок, въезжая в город: за угловой башней в стене широкие ворота, там каменный двор, конюшни, всегда перепрягают лошадей, из дилижанса выходят господа, дамы, и даже простой люд; на почтовом дворе всегда можно узнать разные новости, увидеть много интересного.

Так было и в тот день, в туманное, мягкое зимнее утро. Тучи сползали с гор, и снег еще не шел, а только отдельные хлопья летели, как будто раздумывая, — садиться им на деревья, или нет. Грубер шел в замок, где работал помощником библиотекаря у епископа. Это было

очень хорошее место для молодого человека, но ему, уже потрепанному наполеоновскими войнами, Берхтесгаден казался тогда маленьким скучным городком.

Может быть, потому он так любил заглядывать на двор почты — новые лица, вести со всех концов страны. Иногда какойнибудь важный путешественник с толпой слуг в ливреях, или прекрасная дама в парижском наряде.

Ее нельзя было еще назвать дамой — эту хрупкую тоненькую девушку в гладком дорожном костюме из зеленого бархата с чуть помятым капором, из под которого светилось прозрачной белизной грустное, усталое личико. И она сама помогла вылезти из дилижанса сперва грузному господину, опиравшемуся на трость, потом поблекшей даме в лиловом чепце.

Красавица? Нет, лучше: мечта! Таких ему еще не приходилось видеть. Он долго стоял и смотрел ей вслед, когда она исчезла за воротами ближайшей гостиницы — и потом навел справки: осторожно, чтобы не выдать себя, за кружкой пива можно было узнать многое по скучным отрывкам разговоров — а о самом главном догадаться самому. Да, это французские эмигранты, маркизы де ля Шантенель. Они не признавали выскочки-корсиканца (он охотно простил им это кощунство по отношению к императору — чего не простил бы никому другому). Пожилая маркиза, между прочим, австриячка по происхождению, и в каком то родстве с Зальцбургским епископом. Пока они будут, однако, жить здесь, в Берхтесгадене: видимо, прожились в изгнании, бедные родственники... да-да, революция выкинула много таких белоручек, которые без своих имений должны теперь сами штопать кружевные манжеты. Но, может быть, вывезет дочка? Девочка хороша, и при любом дворе может выскочить за какогонибудь старого богача, который не посмотрит на бесприданницу...

Слушая такие разговоры среди простолюдинов, он сжимал кулаки, чтобы удержаться от резкого слова. Но они смотрели со своей точки зрения, из своей кухни, а он видел хоть мельком другой мир тоже, и его тянуло туда. Но попасть дальше передней замка он мог только благодаря счастью, удаче, — совершенному подвигу, может быть. А разве не говорил великий маленький капрал, что каждый солдат носит в своем ранце фельдмаршальский жезл? Разве не стал один из его маршалов шведским королем?

Слегка пожившись от холода в порядке прохладной библиотеке, в это же и многие другие утра он составил безумно дерзкий план: в лучшем, единственном парадном фраке, с фуляровым платком на шее, который он выменял когда то у мюратовского гусара — откуда у того мог очутиться такой дорогой фуляр, он не спрашивал, — Грубер явился в гостиницу к старому маркизу, оставив внизу в пивной порядке таки потрепанный плащ. Он держался скромно, как ему и полагалось, и намеренно мешал французские слова с немецкими, хотя по французски изъяснялся довольно свободно и не без изысканности стиля, — чтобы выразиться как можно туманнее. Туманным должен был оставаться впрочем только вопрос, кто именно прислал его к маркизу. Он старался прозрачно намекнуть на Зальцбургского епископа, но называл его «высоким покровителем».

Впрочем, ни господин маркиз, ни его супруга, тоже повидимому из вынужденной скромности и ради сохранения собственного достоинства, не расспрашивали подробно о «высоком покровителе», а постарались сделать вид, что давно уже ожидали этого, и все в порядке вещей. Мари-Ивонн (ее звали Мари-Ивонн!) должна продолжать свое образование и в этой бедной глуши, конечно, куда их закинула трагическая судьба, ибо все скоро переменится, на французский трон взойдет законный монарх, и Мари-Ивонн должна будет занять подобающее ей место в свете . . .

Педагогическая деятельность никогда не была еще такой прекрасной. Пусть на лестнице бедной гостиницы пахло капустой и пивом из погреба; пусть в комнате с некрашеным полом бывало холодно и на дешевых свечах постоянно мешал нагар; пусть старая маркиза подробно рассказывала о своих недомоганиях и о том, как она блистала при дворе и на приемах в их замке под Фонтенебло; пусть старик маркиз громил выскочку корсиканца. Ничто, абсолютно ничто не могло нарушить очарования этих незабвенных часов!

Скромный Франц Грубер обнаружил неожиданно разные таланты: он писал мадригалы своей ученице по лучшим образцам, ловко вплетая в них то, что хотел бы сказать сам; читал с нею произведения новейших французских и немецких писателей, и немудрено, что у нее блестели глаза, когда он, становясь в позу, декламировал ей «Разбойников» или «Коварство и любовь», и что на них блестели слезы, когда они, сидя довольно близко друг к другу, упивались страданиями молодого Вертера . . .

Он старался проводить также «энциклопедические уроки», знакомя ее со всем, что знал сам, — и нужно признаться, что она была понятливой ученицей. Он даже нарисовал ей узоры для рукоделий — умолчав, что образец взят им из одного альбома в библиотеке. И он показывал ей новые па лансье и менуэта, и модного нового танца — вальса, который уговорил наконец сыграть маркизу, хотя та и протестовала против слишком современной музыки.

Однако же, для того, чтобы маркиза могла сыграть, нужен был инструмент. Мари-Ивонн каждый раз, вспоминая свой старый клавиесин, вытирала слезы. Но как ни старался Грубер получить лишнюю работу по переписке, чтобы хватило денег еще на один букет цветов, еще на корзиночку деликатесов, которые он неизменно подносил старой маркизе, конечно, — денег не хватало ему даже на то, чем он питался в то время — кусок хлеба и кружку пива, не говоря уже о клавиесине.

Но в библиотеке стояли клавикорды. Очень изящные, из зеленовато-серого дерева, с резьбой и бронзовыми украшениями. Они стояли в пыльном углу, заваленные книгами, для которых требовалось еще целое поколение библиотекарей, чтобы привести их в порядок, и — о чудо! клавикорды еще не испортили мыши. Грубер убедился в этом.

Остальное делалось дерзко, но с замирающим сердцем: он внес их в список книг, отправлявшихся к переплетчику «для починки» — рассчитывая, что казначей не будет читать названий всех фолиантов — и от переплетчика клавикорды были доставлены в гостиницу.

Разумеется, все от того же «высокого покровителя». Маркиза благоклонно улыбалась, Мари-Ивонн хлопала в ладоши, а он мог танцовать

теперь с ней и менуэты, и вальсы. Разве это было таким уж преступлением? Он вернет их на старое место, когда . . . но о том, что будет, если Шантенели переедут в другое место, он старался не думать вообще. Кому доставлял радость этот пыльный ящик в библиотеке, кроме как разве мышам, которые должны были на него наброситься? Должна же существовать мировая справедливость!

Разумеется: горячечные, бредовые оправдания человека, потерявшего голову и забывшего весь мир — вот так, как теперь, когда на обледенелой дороге кружится метель, и одинокий путник, распахнув плащ, склоняется перед ней в поклоне, кружится вместе с ней, и на его губах бродит зачарованная улыбка . . . На что же дана тогда молодость, если не любить, не мечтать и не дерзать!

И-раз, и-два, и раз-два-три, шаг в сторону — поклон и снова раз . . .

Но ветер срывается с горы таким порывом, что учитель Грубер едва не падает на пируэте. Метель, невеста ветра, взметывается во весь свой грозный рост. Это больше не красавица девушка в белом шелку. Она швыряет в лицо комьями обледеневшего, острого снега, воет бурей, грохочет дальними лавинами, обрушивающимися на дерзких смельчаков, осмелившихся подняться слишком высоко . . .

Может быть, все началось с невинного благодарственного письма, написанного старым маркизом своему высокому покровителю? Или? . . . Или маркиза-мать заметила, наконец, что воодушевление и учителя, и ученицы было совсем не таким уж невинным? Что они стали обмениваться записочками, вкладываемыми в книгу — помимо красноречивых взглядов? Что они уже поклялись в вечной любви друг к другу?

Отъезд произошел неожиданно, наспех, ошеломительно, в смертельной тоске. Даже не в почтовом дилижансе Турн-и-Таксиса, а в епископской карете, и в неизвестном направлении. Кажется, в Вену. Или в Зальцбург. Времени для вопросов не было. Ему снисходительно протянули руку на прощанье, поблагодарили за услуги, рассеявшие провинциальную скуку, — милостиво и свысока. Если бы не набежавшая слеза на глаза Мари-Ивонн, не кинутый из под капора взгляд, легкое пожатие руки, передавшей короткую, наспех набросанную записочку с последним «люблю», — то все казалось бы сном.

А затем наступила расплата: вызов к самому монсеньору. Как он узнал? Неважно. Но он узнал все. Конечно, Грубер признался сразу в своей вине, — и ждал сурового приговора. Он уже видел перед собой решетку епископской тюрьмы, хотя клавикорды были водворены на старое место, столько он успел сделать.

Но монсеньор недаром жил в просвещенный век, недаром чувствовал себя на паркете не хуже, чем на ступенях алтаря, и покровительствовал литературе и искусствам.

— Он считает, что он\*) мог позволить себе выполнить мои обязанности покровительства достойным родственникам, не ставя меня о том в известность? — задал он сухой, иронический вопрос. — Он обнаружил немалую изобретательность ума, и, *parole d'honneur*, отменный вкус! Чем же, по его мнению, он может заслужить себе прощение, хотел бы я знать!

---

\*) На языке того времени вышестоящие лица обращались к нижестоящим, называя их в третьем лице.

— Подвигом! — вышалил Грубер, считая, что терять ему больше нечего, и со внезапно вспыхнувшей надеждой, что он действительно может еще совершить такой подвиг, который даст ему не только прощение епископа, но и возможность обратиться к маркизу де Шантенель с просьбой о руке его дочери. В ранце каждого солдата фельдмаршальский жезл!

— Сколько ему лет? — задал вопрос епископ.

— Двадцать два, монсиньор . . .

— В двадцать два ему разрешается мечтать о подвигах, в особенности после таких проделок, — улыбнулся епископ. — Ему разрешается даже совершать их. Завет великого корсиканца, а? На этот раз я сменю гнев на милость, но условно: он может отправиться совершать подвиги, ему дается на это пять лет. Через пять лет, как древний римлянин, он возвращается ко мне или со щитом, чтобы доказать мне, что мы оба не ошиблись, — или без щита, если он потеряет его в битвах. Не все сражения выигрываются — как показывает история . . . Тогда я еще посмотрю, как с ним поступить!

И он смахнул с лица улыбку, милостиво протягивая руку с перстнем.

. . . нет, ни одна рука не протягивается из метели, чтобы поддержать, указать на правильный путь, представить случай отличиться, проявить себя. Нет, десятки рук, сотни рук бьют по голове, толкают в спину, чтобы упал, колют, щиплют, режут, наносят тысячи мелких ударов со всех сторон. Ноги скользят на льду, как и на паркете, плащ не защищает от ветра, заочневшие руки с трудом держат палку, и она еле помогает удержаться на ногах.

Ах, подвиги!

Конечно, не только же на полях сражений . . . наполеоновские войны кончились, все страны разорены, обессилены, обескровлены, везде беспокойство, нужда, борьба . . . Но в конце концов, у него склонность к музыке, у него есть некоторое образование, он знает французский язык, молод, здоров, и не глуп. И обезумел от любви, конечно, а любовь двигает горами.

Но нет, не сдвинулись горы. Вот они лежат вдалеке застывшей громадой, темные, щетинятся лесом, и с них несется холодный, режущий ветер, буря, разметывающая все, издевающаяся надо всеми надеждами.

Пять лет! Пять лет исканий, скитаний, лишений и беспросветного отчаяния. Друзья, оказывающиеся интриганами; неудачные советы; недостаток таланта, неумение найти случай — все, самое разное, но направленное к одному: неудаче. Такая судьба . . .

Он сдался ей через пять лет. Печально усмехаясь, чуть ли не в том же потрепанном плаще, согласно данному обещанию (дело, конечно, не в обещании, а в том, что все равно, в сущности, мечта погасла, жизнь не удалась . . .) явился к епископу. Тот долго всматривался в него, пока узнал. Кивнул головой и молча, собственноручно написал назначение школьным учителем в Оберндорф.

— Пусть он не отчаивается, — сказал епископ. — Оберндорф маленькое местечко, но и там нужны люди. Человек никогда не знает, на что он может пригодиться. Пути Господни неисповедимы.

Почти то же, что говорит викарий. Славный человек, епископ, все таки. Но он был рад уйти из его дворца — слишком напоминало прошлое. Где теперь Мари-Ивонн? Блится в каких нибудь залах, вышла замуж . . .

Лизель досталась ему в наследство, так сказать — молоденькая вдова бывшего учителя. Тихая, спокойная, скромная Лизель. Она ничем не походила на мечту — но чтобы стала делать Мари-Ивонн в задней комнатке дома викария в Оберндорфе?

Горечь и пыль дорог въелись в морщины, согнули плечи, затуманили взгляд. Одно только и осталось: книги, музыка, разговоры с викарием. Что еще может он совершить, чего добиться в жизни, и, самое главное: что стал бы он делать, если бы ему выпало вдруг на долю самое сверкающее счастье? Ничего он не смог бы сделать с ним теперь, — как и не смог пробиться к нему в жизни. Горько это — остаться в стороне, и только из своего угла следить краешком глаза, как на большой дороге проносится мимо — жизнь . . .

Буря стихла. Ветер дул теперь слабыми порывами, спадая. Снег шуршал все тише. Дорога поднималась на высокий холм. Сперва его верхушка почти сливалась с небом, но с каждым шагом становилось все светлее. Не от снега только, засыпавшего ели, а от светлевшего неба. Тучи улеглись теперь на землю не серой своей изнанкой, а блестящей лицевой парчой, и над ними в небе показались звезды, как огоньки в бесчисленных храмах.

Громадная светлая тишина так ощутимо заполнила все, что это она, а не снег похрустывала под ногами. Сразу стало легко и ровно дышать. Еле заметной точечкой, где то очень далеко внизу блестел огонек. Кто то не спал еще, и от свечи за его окном шел не только свет, аплыли волны каких то звуков — таких тихих, что Грубер затаил дыхание, прислушиваясь.

Все бывшее, вставшее снова и пережитое, — в который уже раз? — но редко с такой полнотой, как во время этой ходьбы, — отошло вместе с ветром, улеглось где то глубоко под снегом, и не болело больше. Нет. Тихо, спокойно, немного грустно и светло было на сердце. Может быть, такое чувствуют люди, которые умирают с невыразимо светлой улыбкой. Но он не думал о смерти. Жизнь снова казалась прекрасной — да вот эта тихая, простая, и глубокая жизнь среди полей.

«Тихая ночь!» — неслышно прошептал Грубер и поднял голову. На небе сияла громадная звезда и от нее тожеплыли убаюкивающие, но торжественные, ликующие и простые звуки, как от крохотной свечки где то там, далеко на земле.

«Святая ночь!» — прошептал он и вдруг, упав на колени на дороге, уткнулся лбом в прохладный, дышащий свежестью неведомых миров сугроб, и заплакал радостными, примиренными слезами.

«Благодарю Тебя, Господи, за все. Аллилуйя!»

\*

Шел уже последний адвент, когда мыши съели орган. Конечно, не самые медные трубы. Но меха были прогрызены насквозь, все сплошь, и дыры оказались такой величины, что о починке их нечего было и думать, а все деревянные части органа были подточены тоже, и крошились в руках.

Это было обнаружено викарием и учителем, когда они пришли оба на Ангелус — и в тихое вечернее раздумье молитвы обрушилось на них страшным ударом. За несколько дней до Рождества!

— У господина Роберта Саути, — сказал наконец викарий, вытирая пот со лба и выпрямляясь, — есть баллада о епископе Гаттоне. Его съели мыши в башне. Но я никогда не прогонял голодных от моего стола, а меня погубили мыши тоже. За строптивость. Я роптал на наш маленький, старый органчик, совсем недостойный ни церкви, ни вашей игры. Теперь я готов был бы поститься и молиться трое суток подряд, чтобы он оказался цел. Но его невозможно починить вообще, а в такой короткий срок в частности. В наказание за мои грехи, рождественская месса пройдет без органа. Что скажут прихожане? И будут правы.

Он махнул рукой и вышел из церкви.

В таком унынии Грубер еще никогда не видал викария, но представить себе рождественскую мессу без музыки он тоже не мог. В этот вечер он почти не прикоснулся к ужину. Рука с ложкой застывала на полдороге. Он смотрел перед собой неподвижным, что то вспоминающим взглядом, и не проронил весь вечер ни слова.

Луна медленно осветила угол окна, когда Грубер откинул тяжелый пуховик в мешке из домотканой холстины и спустил с кровати ноги. Осторожно, чтобы не разбудить жены, он поднялся, и засветив свечу, заслони ее от спящей. Спальня служила им одновременно и общей комнатой; на столе перед окном всегда лежала чистая бумага и перо. Но Грубер вытащил из под стопки книг другой листок, на котором им самим были тщательно вычерчены нотные линейки, и согнувшись над столом, не замечая холода, но дрожа от внутреннего озноба, он всем своим существом, всеми чувствами вспоминал, вслушивался, воссоздавал картину той ночи после бури, когда он шел из Зальцбурга. Те звуки, которые неслись со звезды, одинокого огонька в долине; — песнь громадной, светлой, радостной тишины.

И снова, со слезами восторга, он чувствовал, как отходит от него вся жизнь, все ее мелочи, горести и неудачи, и остается один торжественный, ликующий аккорд: аллилуйя!

\*

— Вот, ваша милость, — сказал он на следующее утро, еще не начав занятий в школе, а явившись к викарию в неурочный час, — у меня готов еще один смелый план в моей жизни. Я написал музыку для рождественской песни. Вы напишете к ней текст. Завтра я составлю хор из детей, и мы исполним ее на рождественской мессе. Вместо органа, — хорал.

— Хоралами, милейший Грубер, называться светские песни не могут — наставительно сказал викарий. — Хотя, *parole d'honneur* я никогда не мог понять, почему. Да простят мне все отцы церкви, но я нахожу божественное и в некоторых менуэтах даже. Они не простят мне, ибо никогда не узнают об этом. Уберите ваши линейки и закорючки. Возьмите гитару. Но не думаете ли вы, что гитара недопустима в стенах церкви?

Он сразу замолчал, однако, и забыл даже затянуться из трубки, и дымок ее медленно расслаивался в воздухе серенького зимнего утра, прикивавшего к окнам. Совершенно не похожие ни на что, гулкие

ликующие аккорды, как летящие звезды срывались со старой широкобедрой гитары, и голубая лента, свисавшая с грифа, казалась лучом в темноте.

«Тихая ночь . . . святая ночь . . .» подпевал Грубер.

— Играйте дальше — коротко приказал викарий, когда учитель остановился, и потянулся за пером. «Тихая ночь, святая ночь»? Да, именно так . . .

Они сидели наверно часа два. Викарий подпевал тоже, гудел под сурдинку глухим раскатистым басом, как гора, и нежно стлался к нему мягкий баритональный тенор учителя. Они вставляли отдельные слова, отбрасывали их. Викарий хмурился. Ведь знаком же он со стихосложением, с лучшими образцами! Не говоря уже о хоралах и гимнах, сколько гениальнейших поэтов древности и современности пришлось ему перечитать, и в мыслях у него тоже как будто недостатка не было . . .

Но на бумаге получалось совсем не то. Нет, чтобы быть стихотворцем, недостаточно знать, чувствовать, мыслить. Надо еще и другое — вот тот голос, который или дается, или нет, но никаким знанием нот не достигается . . .

Он зачеркнул все написанное, и взял только самые простые слова. Пусть будут доступны всем.

Тихая ночь . . . святая ночь . . .  
Спит в ночи мир земной.  
Только плотник с своей Женой  
Охраняют Младенца покой, —  
Спи, Младенец святой,  
Спи, Младенец святой . . .

Учитель заторопился, очнувшись вдруг. Дети давно ждут его в школе! Он схватил исписанный, перечеркнутый листок, пробормотав, что перепишет сам, и только входя в облаке свежего морозного воздуха в школьную комнату, вспомнил, что викарий даже ничего и не сказал ему: только как то внимательно взглянул и крепко пожал руку.



Но раздумывать было некогда. До Сочельника оставалось несколько дней. Никогда еще Грубер не ощущал такого значения приготовлений к празднику. Но до сих пор — что же? Все ограничивалось, главным образом, уборкой в доме, от которой ему приходилось спасаться в пивной или к викарию, хотя спастись гденибудь от предпраздничной уборки трудно; кулинарными хлопотами Лизель, которая пекла и варила по каким то страннным рецептам редкие на их кухне вещи, всегда сокрушаясь, что самых нужных, дорогих приправ она, конечно, не может купить; установлением вертепа в церкви; вот, за последние годы, убранством елки румяными яблоками и разными украшениями, которые готовил он сам. Да, еще конечно: для некоторых бедных детей в школе он мастерил, начиная с первого адвента, незамысловатые игрушки в подарок.

В сущности и все остальные выполняли приблизительно то же самое, в зависимости от средств и размеров семьи, как и все другое,



полагающееся на особые дни. На Рождество значит: уборка, печенье, подарки, месса, гости, расходы.

Так ли это?

Впервые пришлось задуматься. Впервые он понял, что есть вещи, которые скрываются под внешними, обыденными, скользящими мелочами, и они входят под кожу, проникают внутрь, исходят и извне, откуда то сверху, и изнутри, из откликающегося сердца, становятся не только частью дня, а образом, дающим ему глубокий смысл.

Может быть, Лизель или пивовар переживают, на свой лад, приблизительно одинаково — и не так, как он. Но кто знает? Он, во всяком случае чувствовал, что вот эти рождественские приготовления для него не просто хлопоты — а он живет ими, и снег за окном, звезды на небе, запахи, краски, блески, — все приобретало глубокий смысл, все казалось — еретическая мысль! — неслышно творимой молитвой.

Он не додумывал мысли до конца, а просто ощущал ее. Раздумывать было некогда. Подобрать хор, заставить детей выучить текст, и спевки, спевки одна за другой. И как они должны стоять в церкви — шутка сказать, сколько народу соберется, все будут смотреть на них. И опять спевка. Не хватает глубины в этом аккорде... не хватает голосов — нет, они должны петь, как ангелы на небеси, а не как Зеппы, Францли и разные Резхен!

... А снег все шел, и шел, и шелестел чуть внятно, что в Оберндорфской церкви мыши съели орган, но готовится что то необычайное. Только что именно, не знал никто, да и некогда было узнавать — Сочельник завтра. Пожалуй, наметет столько сугробов, что не пройти будет!

Сугробов было много. Но уже с утра расчищали тропинки, и снег улегся, завернулся в тучи, ушедшие на ночлег в горы. С гор же постепенно спускалась глубокая, звездная синева, открывшая вдруг заблестевшее небо. Снег тоже стал синим и голубым, с оранжевыми огоньками от фонарей. Фонари двигались отовсюду в Оберндорф — с ближних гор, по холмам, с долины, от отдельных дворов. Шли, топя по снегу подкованными башмаками, повязанные платками, степенно и тихо целыми семьями, с фонариком впереди. Кто ехал в санях, кто шел, да и не темна была ночь, но так уж полагается: с огнем...

Может быть, этот живой огонь в душах тоже? Вопрос задавали себе не они, а Грубер, выходя из школы. Он шел впереди детей и сам нес фонарь, и ему казалось, что он шатается от волнения, и идет на причастие впервые в жизни — сам такой маленький, колеблющийся огонек, как эта свеча за стеклянной дверцей...

В переполненной народом церкви псалмы звучали беднее и проще, чем всегда, и на многих лицах было видно разочарование. Надо же было случиться такому в самый праздник!

Но вдруг потухли свечи, в наступившей тишине послышался невнятный шопот, потом и он стих. Наступило молчание. Прихожане изумились. Такого еще никогда не было. И вот, через минуту напряженного молчания, внезапно осветились ясли в пещере с горящей над ней звездой, на гитаре сбоку у алтаря раздался первый, еле слышный, прерывистый аккорд — и внезапно откликнувшийся хор молодых, проникновенных голосов:

«Тихая ночь, святая ночь!»

Песнь росла, поднималась под своды, рвалась в окна, под небо. Неверенные вначале голоса окрепли, выросли в торжественную, ликующую весть:

«Наш Спаситель пришел!»

\*

— Как уже сказано: пути Господни неисповедимы, — сказал на следующий день викарий за праздничным обедом. — Вы заметили, дорогой Грубер, что я даже не похвалил вас, когда вы пришли ко мне с песней. Конечно, я был увлечен текстом. Но не только это. Теперь, после вчерашней мессы я могу сказать наверняка: может быть, вы и сами не сознаете, что сделали, а так и лучше. Но вы написали песню, которая переживет нас с вами.

— То же сказала мне вчера и Лизель, — усмехнулся Грубер.

— Ваша жена права, как всегда. Вы подслушали ангельский хор. Он раздаётся обычно в тишине, и ничего общего с разумом не имеет. Но зато с сердцем и душой. В наше ужасное, взбаламученное время не все, дорогой Грубер, могут жить такой тихой, незаметной жизнью, как мы здесь с вами в Оберндорфе. Не думаете ли вы, что многие могли бы позавидовать нам? Вы сделали больше, чем подвиг: вы нашли, обрели, и подарили многим людям драгоценный дар: кусочек той тишины, от которой у человека навертываются на глаза слезы и смягчается сердце. Это — милость. И больше, человек, собственно, не может дать — и не должен был бы давать ничего иного. Аминь.

\*

Да, «Тихую ночь» исполняли потом каждый год в Оберндорфской церкви. Орган был вскоре починен мастером Карлом Маурагером из Циллертала, а известно, что тирольцы — песенный народ. Он записал слова и ноты себе на память, и в Тироле песню выучили, кроме всех остальных, и братья Страссер, по своему цеху — перчаточники, ездившие с товаром по ярмаркам, и увеселявшие покупателей тирольскими песнями. В 1831 году они спели «Тихую ночь» Францу Альшеру, органисту Лейпцигской церкви; Альшер так восхитился ею, что попросил братьев повторить ее на рождественской мессе в королевской придворной капелле в Плейсенбурге.

Бесхитростная песня Франца Грубера и Иозефа Мора вызвала в залитой золотом королевской часовне такие же слезы на глазах у придворных, как и у простых людей! На следующий день ее разучивал весь двор, весь город — и к следующему Рождеству она облетела всю страну.

— Кто автор этой песни? — спросила у капельмейстера Берлинской придворной капеллы в 1854 году графиня Мари-Ивонн фон Эшенбах. Графиня была известна, как любительница музыки и покровительница бедных композиторов.

— Мы считали ее тирольской народной песней, ваше сиятельство, но . . . — почтительно поклонился капельмейстер.

— Но мне говорили, что Гайдн? . . .

— Эта песнь была впервые исполнена в Оберндорфской церкви в 1818 году, ваше сиятельство, а Гайдн умер за двенадцать лет до того. Нет, текст песни написан викарием Иозефом Мором, а музыка учи-

телем в том же селении Оберндорф, любителем-органистом Францем Грубером. Я как раз получил от него письмо, в котором он хочет положить конец разгоревшимся спорам об авторстве, в виду необычайного внимания, вызванного этой песнью . . .

— Франц Грубер . . . — задумчиво повторила графиня. — У вас есть это письмо? Я хотела бы его прочесть.

Она милостиво кивнула, опустила лорнет, и удалилась — стройная, все еще красивая, несмотря на седины, придворная дама.

Потом она читала, стараясь представить себе писавшего. Тот ли? Сходились года, имя, даже местность, а вот лица его теперь она не могла себе представить — все заслонил кусочек заметенного снегом прошлого: послереволюционных скитаний, бедности, и легкого романа с бедным учителем. Как он смотрел тогда на нее! Конечно, в молодости прощаются подобные вещи, но . . . Конечно, каждый из них пошел своим путем, и она ни о чем не сожалеет, нет, но . . .

Она долго колебалась, прежде чем написала письмо:

«Мой дорогой и незабываемый друг!

Если Вы — действительно тот, кто обещал мне когда то совершить подвиг — то поздравляю. Я только что услышала Вашу «Тихую ночь» — и вспомнила маленькую елочку в Берхтесгадене в бедной гостинице, снег, ели, горы, — и кусочек незабвенной молодости. Мой дорогой друг, Вы совершили больше, чем подвиг: Вы дали людям редкую радость — и не только на мои глаза вызвали восторженные слезы, — а я думала, что уже разучилась проливать их. Благодарю Вас!

Мари-Ивонн».

Франц Грубер не успел прочесть этого письма. Оно пришло вскоре после его смерти. Он умер в тихой горной деревушке, вблизи Оберндорфа, куда доходили только редкие вести о спорах вокруг «Тихой ночи». Многие серьезные критики считали песню слишком простой, обыденной, банальной для церковного хора и вообще, многие возмущенно удивлялись тому, что в ней находят другие.

А она звенела по всей Германии, Австрии, перекинулась на соседние страны; ее перевели на восемьдесят семь языков всех народов. Сорок лет спустя после смерти и учителя, и викария, о ней узнал весь свет. Сто лет спустя не было страны, где бы ни пели ее на Рождество — и в католических, и в протестантских странах. В церкви, в каждом доме, около каждой елки. Она стала провозглашением праздника: пели взрослые, дети, старики. Пели в родном доме — и вдали от него: на море, в плену, в пустыне, в тюрьме. Пели на грамофонных пластинках, по радио, в рекламной предрождественской сутолке магазинов даже.

Но есть звезды, которых нельзя низвести на землю. «Тихая ночь» стала не только символом Рождества, не только общеизвестным хоралом. У нее есть свое, особенное свойство: кто бы и где бы ни был, — но каждый, при первых ее звуках невольно прислушается, к тому, что лежит у него на самом дне души. Вспомнит, может быть. Поверит, может быть. И услышит звездную тишину такой бесконечно далекой — и близкой ночи.

Ночи, когда человеку была дарована милость.

1958, Мюнхен.

Когда Елен-Иванна задала написать сочинение на тему: «Как я провела свой день», то во всех синих школьных тетрадках, где ровным, а где неуклюжим почерком было выведено: «Я встала, умылась, причесалась . . .» как будто день можно было начать по разному, как будто не каждый должен делать с утра массу привычных движений, не заставляющих задумываться, незаметных и одинаковых для всех.

В это чудесное июньское утро она проснулась от того, что солнце слепило глаза, медленно и ласково нащупывая щеку. На столике около постели стояли красные розы, раскрывшиеся уже настолько, что теперь им надо было осыпаться, но она знала, что даже если тряхнет их, меняя воду, то они простоят все равно весь день — просто, чтобы не портить ей настроения. В раскрытом окне, в совсем свежих от ночной грозы листьях чирикали птицы, и так же радовались утру, как она.

Она долго умывалась холодной водой, расчесывала волосы, и надела свежее, пахнущее лавандой из шкафа белье, белое платье и белые туфельки. Платье было простым, воздушным и легким, как у католических причастниц, как у тургеневских и гончаровских девушек, в романах и на картинах, как оно должно быть у молодых девушек в такое июньское утро, когда хочется раскинуть руки и бежать по розовато-лиловой дорожке, чуть сырой от ночной грозы.

Она поправила пояс, вынула из вазы одну розу и очень осторожно, очень медленно, чтобы не расплескать в груди этого ликующего солнечного тепла, от которого хочется чирикать — отворила дверь и прошла через коридор в следующую комнату.

Почему в это утро она кажется и привычной, и такой, какой она не видела ее раньше? Вот знакомые квадратики паркета, и на них громадный сверкающий прямоугольник света от стеклянных дверей, раскрытых в сад. Сбоку стоит старинное трюмо, и в зеркале колышется столб золотистых пылинок, как вода над песчаным дном озера, если смотреть сквозь набежавшую рябь.

На подзеркальнике большой букет сирени; она уже отцветает, гроздь стали тяжелыми и блеклыми, почти белые выцветшие звездочки осыпаются на красное дерево, и оно от этого кажется коричневым, а там, где его искоса тронуло солнце, вспыхивает вдруг густыми оранжевыми пятнами.

По обеим сторонам трюмо кресла с ампириными ручками, с блеклой обивкой из старинного шелка — бабушка долго подбирала эту обивку. Но она не сядет в них, о нет, как сидела не раз перед портретом бабушки в медальоне напротив, и думала — ах нет, не думать, а просто чувствовать это утро, льющееся с солнцем в распахнутые двери. Пусть только в зеркале отражается внизу кусочек юбки и белая туфелька . . .

Стоит ведь только сделать несколько шагов по белым ступенькам террасы, по розово-лиловой дорожке, как закружится голова от громадных кустов сирени и буйного белого жасмина. Кусты обступили дорожку, тянутся ветками к старому дому, как будто хотят обнять

его, заслонить от кого-то, стучатся в окно, дышат теплом, послегрозовою свежестью. Они все пропитаны ею, нагреты и пьяны от солнца, и солнце ли, мошкара ли звенит в них непрерывным, мелким-мелким, как будто тоже греющим звоном.

А над ними — отсюда не видно, но она знает, — покачиваются старые липы, каштаны и клены. Осенью они будут разные, а сейчас различить их только по листьям — все зеленые, особенной такой, еще не запыленной летом зеленью. За изгибом дорожки, за рядами давно осьшавшихся яблонь и груш в желтовато-коричневых завязях плодов, еще дальше, где трава станет выше, в ней заблудятся дорожки, узкими тропками разбегаясь по лугу, забеленному ромашкой. Там трава по пояс, и в ней алые звездочки гвоздики, пушистое кружево медуницы, еще какие то лиловые шапочки, как пуховки, и колокольчики, колокольчики кругом. И вот внизу, под лугом — речка: она течет медленно, не спеша, поблескивает прохладной рябью на солнце, как чешуйкой. Над ней гоняются синие стрекозы, а у берегов пахнет мокрыми бревнами.

Добежать до нее по лугу — руками, раскинутыми по траве, как гребешком провести, чтобы склонялась высокая трава, цеплялась за платье, за руки, обдавала впитанным солнечным теплом, запахом своим травным, сенокосным, запахом согретой земли, радостного утра — и бух в холодную воду! Вздогнуть от нее, лечь на спину, и закачаться так, медленно и тихо, куда несет вода, смотреть на небо, жмурясь от солнца...

Но нет, она не бросится на террасу, не побежит по дорожкам.

Она просто радуется, что все это перед ней, что, кажется, стоит только протянуть руку, и она притянет к себе исступленно пахнущий жасмин, и с соседней ветки осьшется сирень. Она вбирает только в себя это тепло, свет, запахи — но она не пойдет искать счастья в сирени.

Сирень уже отцветает — а о счастье думалось лучше всего перед бабушкиным портретом в медальоне. Бабушка умерла давно, но она привыкла всегда с ней советоваться — если уж не с ней, так по крайней мере с портретом. Именно перед этим — где бабушка еще молодой девушкой нарисована, в белом платье, с розами в руках. Розы она любила больше всего, в доме были вышиты розами ковры, подушки, розы цвели на картинах и в цветниках, и во всех бабушкиных вещах, в ящиках и шифоньерках лежали сухие и нежные, как бабочкины крылья, засушенные розовые лепестки, ставшие совсем коричневыми, как старый палисандр.

Молодая девушка в медальоне поймет свою внучку больше всех других. Лучше отца и подруг. Отец недаром был директором гимназии и его звали потихоньку «человеком в футляре», по Чехову. Может быть, если бы была жива мама, она не стала бы готовиться в учительницы, потому что отец считал, что «дети должны идти по стопам родителей». Но она начала только в эти июньские дни серьезно думать о будущем, и учиться живописи хотелось больше всего, все называют ее уже художницей, будущей знаменитостью...

«... Милая бабушка, ты ведь знаешь, что теперь другое время, и от твоего большого имения осталось совсем немного земли и старый дом с садом для твоей внучки. И это еще очень хорошо, бабушка,

подумай, что было бы, если бы граница легла по другую сторону реки и твой портрет был бы выброшен или сожжен, а твоя внучка не с розами в руке, а с красным бантом маршировала бы где-нибудь комсомолкой...

«... Я очень рада, что это не так, и что я могу смотреть на твой портрет, и рисовать его тоже, а одну картину у меня даже купили, и я сделала себе на эти деньги шубку, и она доставила мне столько же радости, сколько наверно тебе твоя соболья накидка, в которой ты на другом портрете! Но я не хочу становиться учительницей, бабушка. Они все такие сухие и злые. А дети учатся и выучатся, а потом уйдут. А если у учительниц самих дети, то скучные, а мужья серые, и одеваются они не по моде... я не хочу быть такой, и Сон говорит, что надо «раскрыть перед собой широкие горизонты».

«... Я его зову «Сон», бабушка, а знаешь, почему? Потому что у него глаза лиловые, как сон-трава, брендуши. Помнишь, когда я была маленькой, мы ходили с тобой в лес, совсем ранней весной? После подснежников и пролесков — первые большие лиловые колокольчики, раскрытые, как тюльпаны, с золотым столбиком посередине, а стебли у них толстенькие, в мягкой пушистой шкурке — ласковые такие, как сон...

«... Сперва он рассердился, а когда я объяснила, сказал, что очень забавно. Он вообще находит все в жизни очень забавным, и «наблюдает грани жизни» — его любимое выражение. Он ужасно много читал и учит меня читать серьезные книги тоже, и сам был уже председателем одного общества поэтов... А как он танцует, бабушка! Правда, не твои мазурки и котильоны, но когда поймаешь по радио какое-нибудь восхитительное танго, то кажется, как будто вся душа осыпается, как розы, и каждое танго непременно должно закончиться поцелуем, и большего счастья не может быть...

«... Я рассказываю ему все свои планы, и он говорит, что мне надо непременно серьезно учиться рисовать, и работать над картинами, над собой, над жизнью. Он очень серьезный, бабушка, только чужой немножко, как будто я для него не живая, а стеклянная фигурка, и вот он ее разглядывает, как знаток, и говорит, что его идеал — тургеневская девушка с косами, но теперь таких не бывает.

«... А вот у другого глаза такого цвета, как твой черепаховый лорнет. Он высокий, темноволосый, и меня очень тянет к нему, и я его боюсь, потому что он очень опасный человек, да, тебе не позволили бы сидеть с ним вдвоем в гостиной! Но я твоя внучка, и для меня совсем просто знать, что он бросил одну девушку, и она ходила потом в летнем пальто зимой, потому что у нее не было денег и она была очень несчастна. Но у него такие красивые руки, и когда я слышу его голос, у меня становятся мягкими колени, и я боюсь, что увижу совсем близко эти насмешливые глаза...

«... Вот с Викингом все просто и весело. Он не то американец, не то швед, сын директора лесопильного завода. Мы бегаем с ним вместе на лыжах зимой, и прыгаем через стулья в гостиной. Он меня очень смешит, бабушка. Он говорит, что изучает на мне «ам слав», и что я должна выкрасить волосы в рыжий цвет и стать ужасно порочной!

«... Они все обещали теперь приехать погостить, и я затащу их в самую гущу жасминных кустов, куда продерешься с трудом. Я хочу,

чтобы Сон надыхался ими как следует, стал пьяным от них, перестал смотреть на меня, как на забавную фигурку, с которой можно только философствовать и танцевать! Может быть, если он увидит меня в белом платье, с розами в руке, то поверит, что я такая же тургеневская девушка, только без кос и глупых идеалов, а знаю жизнь и умею работать и учиться по настоящему. Но я такая же, как ты, бабушка, уверяю тебя...

«...Викинг скажет, что это типичный русский дом, и девушка в ампирных креслах взята из фильма, в котором она будет потом соблазнять великого князя в черкеске и плясать в кокошнике русскую перед самоваром.

«...А тот, с золотистыми глазами, протянется в шезлонге, и скажет, что здесь очень мило, и что он очень любил бы тихую провинциальную жизнь, если бы не умер от скуки через три дня, потому что жизнь приучила его к слишком быстрой смене впечатлений...

«...Милая бабушка, вот они приедут сюда все трое, и что мне делать с ними, что мне делать с собой? Что мне делать, когда во мне все звенит и тянется навстречу этому солнцу? Хочется раскрыть руки и идти в весну... А если в двери раздастся стук?!»

\*

В дверь постучали.

Она сказала: «Войдите».

Она не видела того, кто вошел, только слышала сбоку его голос:

— А вы ведь это замечательно придумали, Елен-Иванна! Я всегда говорил, что в вас погибла художница! Как хорошо, что вам поручили нарисовать для нашей санатории картину в целую стену... и напротив такое громадное зеркало повесили. Сразу даже не разберешь, когдаходишь. Эта гостиная помещичьего дома на картине, двери на террасу раскрыты, трюмо с зеркалом, букет на трюмо — и все в зеркале отражается, а вы стоите перед ним и сами, выходит, как будто на картине, в этой гостиной стоите! Белое платье, розы в руке... в художестве я немного смыслю, но в этом белом платье вас за тургеневскую девушку принять можно, ей Богу... Так даже и помечтать можно... А как супруг? Готовится к лекциям? Хоть бы вы ему сказали, чтобы он работал поменьше, он совсем пожелтел... Как детки? Отдыхайте, отдыхайте на лоне природы, на то у нас и каникулы!

Он сказал и прошел дальше, и она осталась одна. Позади нее на стене висела большая картина, а перед ней, на другой стене напротив — большое зеркало. Она стояла перед ним так, что видела только кончик юбки, узкую туфельку и розы в опущенной руке.

Она видела, что рука была узловатой и жесткой, и у пожилой учительницы — как сразу видна профессия по складкам у губ, привыкшим говорить заученные слова! — были гладко причесанные, запыленные сединой волосы, и застывшие, как стекло, глаза.

Розы она сама купила себе, а остальное — может быть вспомнила, может быть выдумала — не все ли равно?

1935. Рига

## ГЛИНЯНЫЕ ШЛЯПЫ

Один мой очень умный знакомый пытается уверить меня, что в «мирное, доброе старое время» ничего хорошего, в сущности, не было. Сама я знаю это время по личному опыту мало, но считаю, что кое что все таки было хорошим, в особенности некоторые законы, простые и мудрые, как гениальность.

Возьмем например... Корею. В каждой газете о ней написано чтонибудь непременно плохое. Сперва была война, потом говорили два года о перемирии, и что хуже было — неизвестно. А теперь ей Китай не дает покоя — или она Китаю, понять тоже трудно.

Зато совершенно понятна история, которую рассказывала Ок Ха Хальмони, одна корейская бабушка, своим внукам:

«Е, мои молодые драконы! Я думаю, это было, когда Ки Я был императором, или во время царствования одного из его сорока потомков. Во всяком случае это было так давно, что тогда мужчины были еще грубее, чем сегодня. В те дни они постоянно дрались между собой, хватая друг друга за свои драгоценные пучки волос на голове. Сосед дрался с соседом, отряд с отрядом, и даже на комаров мужчины замахивались палками. Просто нельзя было по улице пройти, по дороге проехать спокойно!

«Тогда мудрый Ки Я, видя все это, издал закон, согласно которому каждый мужчина должен был надевать, выходя из дому, глиняную шляпу. Она делалась из соломы, обмазанной глиной, и слегка обжигалась в печке. Шляпа должна была быть не меньше двух локтей в поперечнике, на подобие гриба, и спускаться до самых плеч, закрывая уши. Для закрытых ушей тоже были основательные причины, как вы увидите потом.

«Разумеется, такие шляпы разбивались очень легко. Самого незначительного, легкого удара было уже достаточно, чтобы они упали на землю и разбились вдребезги. Но ходить без шляпы, по закону, никто не смел. Кроме того, на глиняные шляпы была назначена очень высокая цена, а за каждую разбитую надо было платить вдвое. Если же владелец не мог заплатить такой большой суммы, то его отправляли в тюрьму и били палками по пяткам. Как же, скажите, можно было драться при таких условиях?

«Закон оказался очень мудрым. Волей-неволей мужчины должны были прекратить драться, потому что боялись разбить свои драгоценные шляпы. Что же касается того, что они закрывали уши, то это тоже послужило на пользу: недовольные не могли сходиться и шептаться вместе, подготавливая заговор против Ки Я. И в стране воцарился мир и порядок.

«Привыкнув к мирной жизни, мужчины совсем отучились драться, и гончарники стали, по их просьбе, делать шляпы все меньше и легче весом. Так они постепенно уменьшались в объеме, пока наконец император не разрешил заменить их теми шляпами, которые вы видите теперь — тонкими колпачками из конского волоса, возвышающимся



над драгоценным пучком волос. Так то, мои молодые драконы, да благословит вас Небо!»



Я знаю, что к похвалам «доброму мирному старому времени» относятся теперь многие враждебно. Но мне очень жаль, что ни мудрый КиЯ, ни один из его сорока потомков не дожил до наших дней, чтобы снова издать закон о глиняных шляпах. Я уверена, что корейцы лучше чувствовали бы себя в них — а может быть, и не одни корейцы?

1951.

## НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК

Есть такая игра для детей: на листке бумаги разбросано несколько точек. Если их соединить линией в нужном порядке — получается рисунок. Как во всем, важно верное направление: от чего — к чему? Детям внушается, кроме этого, аксиома: кратчайшее расстояние между двумя точками представляет прямая линия. Как все простые истины, она понятна — детям. Взрослые слишком часто проводят вместо нее очень много разных больших кривых — и еще удивляются, почему рисунок так плох!

Не нужно быть художником, чтобы наметить точками для детей несложный рисунок. Но могут играть и взрослые. Для них берется большое полотно, рисунок сложен, складывается иногда в течение многих лет, а имя художника всегда пишется с большой буквы. В этом и вся разница. Прямые линии остаются, как и вечные истины, несмотря на все современные геометрии и искусства, а вот что рисунок часто остается так и невидимым никому, это жаль. Стоило бы иногда постараться рассмотреть. Игра интересна.

\*

### ПЕРВАЯ ТОЧКА

Начинать лучше всего с самой первой точки, а ею оказалась маленькая сказка. Она пока еще нигде не случилась, но была придумана одной девушкой, хотевшей стать сказочницей. «А это уже кое что!» — восклицал в таких случаях волшебник — поэт Андерсен, и с ним приходится согласиться, раз сказка дает подростоким душам надежду на Синюю Птицу — счастье, а созревшим уже — тоску по ней. Но, конечно, не всем. Одним это нужно, как хлеб, а другие обходятся и без тоски, и без надежды.

— А вот, Ниночка, посмотри сейчас в окно — видишь какое оно красивое, темно синее на снегу, — и послушай: Сказку о маленьком Сверчке и Большом Человеке. Это очень маленькая и грустная история, а начинается она так: цик-цик-сккккрр . . .

«В одном городе был большой старый дом. Серый, с высокими окнами в арках, с тяжелой, всегда запертой дверью, около которой висел молоток с головой медведя. Висел он совершенно напрасно, потому что дверь все равно никогда не открывалась.

Маленький сверчок шел однажды по улице и дрожал от холода. Сверчки, как известно, больше всего любят тепло, а ему было некуда деваться. Подумав немного, он решил набраться храбрости и пролезть в этот дом, а попав, стал осматриваться.

В доме бесшумно ходили лакеи и стирали пыль. Они говорили очень мало и только шопотом. А пыли было так много, что они вытирали ее целый день. Впрочем, больше им ничего не оставалось делать. Самой прекрасной в доме была угловая комната, где всегда горел камин, и за решеткой нежились теплые угольки с оранжевыми и синими огонь-

ками. В комнате жил только один, Большой Человек, и Сверчок поселился в ней тоже.

Сперва он просто отогревался: сидел на каминной решетке, поводил усиками и благодарно трещал: цик-цик-скрр... Но потом, поскольку сверчки очень любопытны, стал разглядывать все вокруг. Ему очень понравилась обстановка: тяжелые шкафы с книгами, штофные обои, старинное оружие, на котором играли огненные отблески, мягкие, теплые ковры. И огромный письменный стол. Перед ним стояло кресло с высокой спинкой, и в нем сидел Большой Человек. А за столом во всю стену было большое окно, с картиной из цветных стекол: капелла, где рыцарь прощался с дамой. И кругом шла надпись готическими буквами: «Рыцарь ушел и не вернулся». Иногда скупое зимнее солнце заглядывало в окно, загоралось на стеклах, и это было очень красиво.

Обычно сверчок проводил перед камином только пол-дня, а остальное время тратил на исследования. Он зашел в них так далеко, что однажды забрался даже на письменный стол. Его очень интересовал Большой Человек. Но книги, лежавшие на столе, рассердились.

— Что тебе здесь надо, глупыш? — спросили они.

— Я хочу посмотреть на Большого Человека — ответил сверчок и скромно подвинулся ближе.

— Глупости — ответили книги — он смотрит только на нас.

Это было не совсем так, но действительно у Человека были очень странные, как будто совсем пустые глаза. Сверчок не мог долго смотреть на него, ему стало холодно и он побежал к камину.

Усевшись на решетку, он быстро согрелся и принялся раздумывать. Он так отчаянно старался, — но у него ничего не выходило, потому что думать — совсем не сверчковое дело. Поэтому он побежал посоветоваться к знаменитой крысе Хруп-Хруп, тоже жившей в этом доме. Она была стара и почтенна, и у нее был седой хвост. Сверчок, как полагается, расшаркался спереди и сзади, пошевелил усиками, и спросил, почему у Большого Человека такие странные глаза.

— Этого никто не может понять, — ответила крыса, тронутая его манерами. — Дело в том, что у Человека есть душа. Что это такое — никто не знает. Даже сами люди. Но у него она есть, и вот в этой душе у него нет ничего. Или не стало, может быть. А может быть, только пыль старых книг — но разве ее можно принять во внимание? Поэтому у него такие пустые и холодные глаза. Не советую тебе смотреть в них долго — замерзнешь. Да он никогда и не заметит тебя. Да, только мы знаем, что творится в старых домах!

Тут она замолчала, и даже если бы отрезать ей хвост — не произнесла бы больше ни слова. Хруп-Хруп была действительно ученой крысой и знала, что есть много тайн, которых нельзя открывать тем, кто не сможет их вынести.

Сверчок вернулся на свою каминную решетку и решил, что, будь что будет, но сегодня ночью он заглянет в глаза Большому Человеку. Он даже сам не понимал, почему ему этого так хочется — но хотел просто до боли в сердце — и потирал себе грудь лапками, чтобы оно так не болело.

Когда он залез на письменный стол, книги так зашумели пожелтевшими страницами, что он испугался, метнулся в сторону и попал в чернильницу. Правда, он сразу же вылетел оттуда, но порядочно изма-

зался. Однако, ему удалось благополучно взобраться по ручке кресла на спинку, совсем близко от лица Большого Человека. Тот сидел совсем тихо и смотрел в окно. За ним лежал белый, чистый снег, и на нем вырисовывалась картина из разноцветных кусочков стекла: капелла, где рыцарь прощался с дамой. А кругом шла надпись готическими буквами: «Рыцарь ушел и не вернулся.»

И тут Сверчок заметил совсем новое в глазах Человека: грусть. Это его так удивило, что он не удержался и проскрипел свое обычное: цик-цик-сккрр... И Человек обернулся — и увидел, совсем близко увидел маленького смешного сверчка, вымазанного чернилами.

Тогда произошла совсем уже странная вещь: Человек улыбнулся. Да, в самом деле — ласковая улыбка пробежала по его лицу, и подняла опущенные уголки губ. А в глазах мелькнуло воспоминание: одинокие долгие вечера перед камином, и чей то настойчивый, заботливый треск.

Человек протянул руку и, взяв Сверчка на ладонь, поднес его совсем близко к лицу. Боже мой, как тот испугался! Но пальцы прикоснулись к нему так осторожно и ласково, как они раньше — он видел — ласкали старинные расшитые шелка и персидские миниатюры.

Человек смотрел на него и улыбался. И Сверчок не мог больше выдержать, он хотел сказать ему так много, такое важное, такое нужное, а у него вышло только: цик-цик-сккрр...

И тогда Большой Человек нагнулся и поцеловал маленького смешного сверчка. Но это было для него уже слишком много — у него не выдержало маленькое глупое сердце. Оно разорвалось, и он умер. Цик-цик-сккрр...»

Почему сказка была написана? Воспоминанье о человеке с печальными глазами — рыцаре очень бедной и строгой, совсем еще наивной молодости, и уже горькое сознание, что он не только ушел, но что ему надо было надевать блестящие латы, потому что без них он не мог держаться прямо? Или надежда на настоящего, который все таки придет? Как бы то ни было, но она была написана, напечатана, и однажды рассказана сказочницей одной маленькой девочке, дочери ее подруги.

Девочку звали Ниной, а называли часто Маленькой Дамой. Она была худенькой, серьезной, с длинными русыми косичками, большими голубыми глазами, и ревниво и строго следила за тем, чтобы к ней относились, как к настоящей лэди — что, впрочем, все охотно и делали.

К сказочнице она относилась благосклонно. Та не задавала ей дурацких вопросов взрослых, вроде: «Кого ты любишь больше: папу или маму?», а спрашивала совершенно серьезно: «Хочешь, я расскажу тебе одну историю?» — и тогда часто начиналось действительно интересное.

Когда, рассказывая о маленьком Сверчке и Большом Человеке, сказочница поднимала руку и обвела пальцем синий холод вечернего окна — Маленькой Даме на самом деле стали ясно видны на стеклах причудливые буквы надписи с таинственным и грустным смыслом. Может быть, Ниночка видела уже рыцарей на картинках, или слышала, что бывают такие? Может быть, уже мечтала о них? Мечта всегда идет впереди нас.

Вот и все начало. Когда оно было? Давно. Где? Не ищите. Может быть, этот дом и стоит еще, но отодвинут так далеко, что и долететь до него нельзя. Все следы в нем во всяком случае, стерлись.



## ВТОРАЯ ТОЧКА

Как уже сказано, кратчайшее расстояние... и так далее. Поэтому не удивительно, что небольшая прямая линия легко прочертит добрый десяток лет мирной жизни, войны, катастрофы и жестокой оккупации, в пестрой картине нашего века, чтобы лечь на выщербленную снарядами панель улицы, прямо под ноги высокому офицеру, шагающему против ветра.

Конечно, такого нельзя было себе представить раньше. Но стонущий вздох — «ах, если бы знать заранее», каким бы горьким он ни был — только дань нашей неразумной самонадеянности: как будто мы могли бы избежать своей судьбы, и действительно были бы счастливее, зная, что нам предстоит! Неизвестность чаще всего — благодетель. Все равно ничего не поймем, все спутаем — и только будем несчастны уже без передышек.

... когда он проезжал мимо той группы берез у речки, бричку подбросило на знакомом ухабе, дорога пылила, березы чуть слышно, совсем шелково шуршали что-то, и он подумал еще, что надо непременно засыпать ухаб — скоро приедут гости. Это было в июле, дядя с вильгельмовскими усами угощал его ледяным яблочным вином собственного изготовления на прохладной, тенистой веранде, и на Лили было надето белое платье с черной мелкой вышивкой у ворота, волосы она подстригла совсем коротко из-за жары, но кожа всегда казалась прохладной и свежей. «Красивая пара» говорили о них в соседних имениях уже давно, так оно и выходило — дочь соседей, семьи дружны десятилетиями лет, еще когда мальчиком приехал он с Владимиром к дяде из Балтики — что же было делать в разоренном войной имении под Венденом? После аграрной реформы содержать замок было невозможно, тетка не могла справиться после смерти родителей, но связь с Восточной Пруссией не порвалась, хотя и старого дома забыть не мог, сколько раз ездил... Владимир уехал совсем далеко, но и в Канаде чувствует себя балтийцем, звал его к себе после прихода Гитлера, а дядя совсем сдал, его нельзя было бросить теперь, и только ради имения ему позволили стать агрономом, а не надевать сразу мундира... Ну вот, пришлось теперь все равно, столько погибло уже... и следующие на очереди. Он, например...

Который раз уже эта навязчивая мысль, как припев, звучащий в подсознании каждый раз, когда он что-то делает, видит, узнает. «Это в последний раз — больше не увидишь...» «Для чего тебе покупать рубашку? Больше не понадобится...» Даже не навязчиво, а просто — что-то отмечается, ставится на свое место, кладется в ящик — нет, на фронте хоронят без гробов, если вообще хоронят... Когда первый раз возвращался из отпуска, этого шопота не было. Значит, знал, что вернется еще раз. Сейчас — нет. «Смотри, больше не увидишь...»

А много ли осталось, на что смотреть? Большевики разгромили город при бегстве, сожгли чудесную Петри-кирхе, знак Риги еще со вре-

мен Ганзейского союза, от знаменитого Дома Черноголовых остался только один фронтон — шатающаяся стена с мелкими завитушками арок, двери ведут провалом в рухнувший зал. На развалины моросит мелкий осенний дождь, и дальше тоже груды обожженных кирпичей, балок, выбитая мостовая карежится под грузовиками, взвивается под мотоциклами военных курьеров — последний европейский город в тылу, бедная, истерзанная красавица Рига! И дома такие ободренные сразу тоже — может быть и потому, что в них не откроются двери, никто не выйдет, не всплеснет руками: «Ростислав!» Рижские немцы так старательно всегда выговаривали его имя, им не казалось диким это сочетание: барон Ростислав фон Троттен. В Балтике это не было удивительным, она была такой — да, теперь только была.

Мучительно захотелось кусочка какогонибудь тепла. Слабость конечно, или от этого шопота, что ли. Пойти вот сейчас направо, по знакомой улице, позвонить у двери... но старая тетушка уехала и умерла, и в квартире вряд ли пахнет его любимым яблочным пирогом, который всегда пекли к его приезду... Довольно! Что за сантиментальная расслабленность. Надо заняться делами, завтра на фронт, а он обещал Лили посмотреть, не найдется ли серой каракулевой шубки, здесь всегда были хорошие скорняки, и есть адрес...

Адрес — и чем то знакомое имя — за общлагом шинели. Бумажка тоже намочла от сырости, или кажется в сумерках так. Странно знакомое имя. Клаус говорил, что купил у нее, и жена была в восторге, а дама произвела на него впечатление...

Вот дом. В саду за стеной облупившееся крыльцо с выступом около старой липы с намокшими листьями, они даже не падают на полукруглую баллюстраду балкончика наверху, — только обвисли и слиплись. Почему то приятно, что дом — не просто казарменного вида, хотя какая разница? В эту дверь он войдет только раз — и никогда больше.

— Меня прислал Клаус Петтенгофер. Он говорил, что вы можете помочь достать шубу...

Фамилии Клауса она явно не помнила, но неважно. В передней было полутемно. В одни полураскрытые двери слышался смех, за другими тоже голоса.

— Столовая и гостиная заняты, пройдемте просто ко мне.

По немецки говорила совершенно свободно, но балтийский выговор был слишком ясен, он сразу перешел на русский. Вопросительный взгляд в пол-оборота, полувопрос: «О, так вы — наш?» — и сразу, как будто он дома, все понятно — свой.

— Шубу для высокой блондинки, спортивный тип — объяснял, уже улыбаясь.

Шуба нашлась. Но было и другое: скандинавский камин, как очаг, топившийся березой, конечно, кружевная штора окна на лиловом шелку, книги до потолка, рыжие, как кобыла, хризантемы в вазе на полу. Хризантемы в разбитом городе, где закрыты все магазины! Но здесь, пожалуй, не снобирующая роскошь, а неотъемлемая принадлежность, война — не война. На ней тоже надето что то красивое домашнее, до полу. Сама — не скажешь, что красива, глаза только. С такими хочется поговорить.

Он так прямо и посмотрел в них, не отрываясь.

— Вы нарочно живете так . . . в сказке?

— Если ничего другого не остается — из принципа, то есть на зло. Помните девиз корпуса Манфреда? Одно только слово: «Несмотря ни на что». («Trotzdem»). У французов есть тоже похожий: *Sourire, quand même*. Во время советской оккупации я тринадцать месяцев ждала ареста — каждую ночь, от гестаповцев не застрахована и сегодня. Но пока есть минута — переоценка ценностей неизбежна. А у вас есть время? Дела мы покончили, значит можно и поговорить. Оставайтесь ужинать. У меня ванна забита курами, а дом — гостями. Вы на фронт или с фронта? Все равно. Оставайтесь.

Он остался, конечно. Мир был отодвинут — за стены. За столом — совсем, как в усадьбах — много разных людей.

— Вы — художница?

— Нет, не совсем. Писательница. Просто сказочница, может быть, не пугайтесь.

Ее подруга, балерина, рассказывала последние анекдоты, исполняла «танец на вулкане». Много смеялись. И совсем не «пир во время чумы», хотя это напрашивалось само собой, а гораздо проще. Простота, дающая людям, слишком привыкшим к смерти. Тогда остается в жизни очень мало понятий, имеющих настоящую цену, но они есть и дороги — больше всего.

Шопот предчувствия утих. Горели свечи и поленья в камине, пили какой то ликер, и выкурили все его сигареты, которыми запасся накануне, чьи то дети пошли спать, кто-то был послан и вернулся с коньяком, и все время — кружево разговора: никто не обмолвился словом «завтра». Завтрашний день . . . о чем она мечтает, смотря на огонь? Утишающая улыбка в глазах, от нее грустно, щемит сердце и — жить хочется, вот именно — жить, а голос надломленный. Наверно, не один голос. Вот это движение руки, когда она дотрагивается до длинной серьги — жест человека, бросающегося вниз головой — летящего, как искра, разгораясь на лету.

Было очень поздно. На часы не смотрели, балерина даже задремала на диване. Ночью по улицам не разрешается ходить, но у него пропуск, конечно, а гости остаются ночевать.

Он поцеловал руку, провел еще губами по пальцами и заметил вскользь:

— Завтра мне на фронт. Но вы сказали, что я вернусь?

— Конечно. — Голос звучал убедительно, потом опять дрогнул — какие у нее неожиданные переходы! — и обдал теплом: — Вы — один здесь в городе? Пожалуйста, зайдите ко мне завтра . . . перед отъездом. Я знаю, времени очень мало. Но мне так хочется . . . сделать для вас чтонибудь. Пожалуйста, зайдите. В десять? Я буду ждать.



Шаги отдавались звоном в пустых улицах. Шубка грела даже сквозь кожу большого портфеля, куда он ее умял, и в груди было тепло, даже руки не мерзли без перчаток, он их сунул в карман и забыл надеть. Ему казалось, что у него сейчас такие блестящие глаза, как прожекторы — темнота светлеет от них. А может быть, это просто

отблеск других глаз — женщины, говорившей о цветах и красках, ускользнувшей от гибели, живущей в мире, который рушится — и не сдаваясь, утверждающей жизнь — для себя, для других, вот и для его, в этом вечере на пути — туда. Если она пишет так же, как говорит... Все равно. Если бы у него было еще несколько вечеров, хотя бы один... хотя бы день...

•

Вопросов не могло возникнуть — было только одно утро. Дом в саду оказался зеленоватого цвета, а липа, совсем золотая и шуршащая теперь, сухо роняла листья на балкончик. А она стояла уже в дверях, в чем то красновато-лиловом, тяжелом шелке, и так же покачивались длинные серьги и глаза обволакивали теплом.

— У меня несколько минут — отрывисто сказал он, и поцеловал руку — еще и еще раз. Она потянула его за собой, в ту же комнату с камином, и взяла что-то столика. Сперва показалось — книга, чуть не улыбнулся даже — писательница! — но не успел. Смотрела на него теперь строго, грустно и так бесконечно ласково, что сдавило горло. Вчера посмотрела так тоже, когда наклонившись низко над его рукой, определяла характер по линиям, и очень верно! — и вдруг подняла голову и взглянула в упор.

— Вы на фронт, а у вас здесь никого нет... Я хотела — благословить вас.

Маленькая, шитая золотом иконка в руках. Лили не умела благословлять, только крепко сжимала руку. Колено подогнулось, он сжал губы, краешком глаза уловил взмах иконки в крестном осенении, поднялся, строго отдал честь.

И совсем неожиданно для себя рванулся вперед, обнял ее и поцеловал — размахнувшиеся брови, глаза, потонувшие в чем то, губы, задрожавшие вместе с ним.

Когда оторвался — как будто ударило. Или хлопнула дверь так громко? Но уже за крыльцом оглянулся — не мог, нет, не мог иначе.

Она стояла на балконе, и обеими руками смахнула ему с балюстрады ворох осыпавшихся листьев. Так они и летели вслед за ним, цеплялись за его шаги, и весь город, вся родная, любимая Балтика, — может быть, даже вся жизнь слились, сжались вот в эту фигуру полужнакомой женщины на балконе старого особняка, в эти глаза, провожавшие его последней улыбкой — дальше — все дальше — все дальше.

•

### ТРЕТЬЯ ТОЧКА

Ах, как легко и просто-жестко проводить прямые линии! В теории. Перекинуть мостик — и вот ровная прямая черточка соединяет два края — две точки. Но по этому мостику надо быстро идти, и смотреть только прямо перед собой, ни налево, ни направо, ни, Боже сохрани, вниз — туда, куда падало, рушилось все, где захлебывались, сталкивались, карабкались изломанными и судорожными линиями — на самом деле, а не в теории люди.

... Мама, я не могу идти больше, я не могу!

... еще немного, еще немного, милый...



... На углу стучатся в погребе уже третий день засыпанные... их надо взорвать, спасти невозможно...

... из сорока тысяч военнопленных в лагере осенью, к весне осталось шестьсот человек — остальные вымерли...

... танки перерезали путь...

... три недели шла босиком, чтобы добраться сюда, — и узнать о выдаче в Лиенце — а все мои были в Италии...

...

Не фразы, а криптограммы. Не слова, а несколько лет — жизни? Нет, смерти. Иногда она может длиться годами. Формулы, понятные своим, уже шаблоном — нескольким миллионам людей, пережившим часть — или всю — войну, — и ее отыгрыш. Но людей на свете больше, и остальные миллионы не знают — или не хотят знать этих формул. Они возмутительно неприятны своей колючестью, и если нельзя избавиться совсем, то лучше замалчивать — так удобнее и спокойнее. А может быть и нужно так даже — иначе нельзя было бы жить!

Но из линии точки не выкинешь. А линия — черточка, мостик, упирающийся одним концом именно в эту точку, и по нему можно пробежать над короткими фразами — годами, пролетевшими в провал. Вместе со всеми теми, для которых осталось только две черточки — накрест.

◆

Гостя сидела с ногами на железной кровати. Солома, подоткнутая серой простыней, уже слежалась, темное одеяло шершаво колело ноги. Но на столе, сбитом из неструганных досок, стояла желтая жестянка с буйными маками. Рядом с — пишущей машинкой.

— Вот так и живете?

— И радуюсь даже. Барачек — свой, хотя в щели пальцы просунуть можно. Зато за окном — сирень, а огород, можно сказать, едим на корню. Утром я в нем работаю, а потом пишу. Сперва было очень трудно с бумагой — видите, черновик написан на оберточной, чернила расплываются. Но главное — достала машинку. Клавиши в разные стороны, но все таки переписать можно. Теперь только эпилог остался. Даже жаль. Вот поставлю последнюю точку — и надо со всеми моими героями расстаться, а я свыклась с ними, как с близкими людьми. И не от одиночества даже...

— Пока вы там грядки пололи, я прочла несколько страниц. Все знакомое, конечно, и кое кого узнаю как будто, но странно получается: и те, и не те.

— Нельзя же так — фотографией. В исторических событиях важна достоверность, а «описывать все, как было, потому что правда» — только для воспоминаний можно, иначе очень уж наивная претензия на писательство получается. Сколько раз я мучилась, спрашивала себя, и так и не знаю: есть ли у меня настоящий талант, или только вроде, околотитературные способности? Но все таки я написала книгу, а не рассказ очевидца, — кроме истории, конечно. Иногда даже смешно становится: задумаю одно, а вот они, герой или героиня, не хотят, сопротивляются, поступают по своему. Должна быть и правда, и вымысел — только так и получается настоящая жизнь — если вообще удастся...

— А помните, как мы с вами «душу рвали?» Выдумала же я такое выражение, теперь самой смешно. Помню, придете в редакцию, и я уже вижу — глаза блестят. Значит, нашли что-то интересное: прочли, написали, увидели, слышали... значит, есть о чем поговорить! Всегда удивлялась, как вы такие вещи находите и выдумываете, как будто они вам сами подворачиваются, а я вот сижу и как сказку слушаю, на фоне своей серой жизни... Серьезно ведь, думала так иногда, «душу рвала» до слез даже! А теперь вижу: никакой серой жизни у меня не было, просто я ее расцветивать сама не умела, только вашими глазами смотрела иногда. Теперь бы сказку послушать — больше оснований, поверьте. Подытожить быстро: мой Голубок вызволил меня из Праги, куда я беременной во время восстания попала, — я по дороге родила, а он с лейкампией свалился — в свои тридцать два года. Теперь умирает в больнице. Пятый раз кровь переливали, ничего не помогает. Младенец с воспалением легких — в другой. Девочка у чужих людей, потому меня в легочную санаторию упрятали. Не выпускают, но я через щель в заборе вылезла вот, и к вам: помогите! Да нет, не только чтобы детей там... Вот сейчас, сию минуту, помогите! На всю книгу у меня времени сейчас нет, сами понимаете, а вы выберете несколько страниц и прочтите, но чтобы такое... как песня! И дряни, и ужасов я достаточно насмотрелась — дайте во чтонибудь другое поверить! Вот тут у вас не то шубу покупает какой то сероглазый, не то роман завязывается... а дальше ничего не было? Я ведь рядовой читатель. Мне не важно, высокая это литература, или нет, художественная правда там, или простая, а вот если я «над вымыслом слезами обольюсь», так значит хорошо, это то, что мне нужно, чтобы легче жить стало!



Одна половица некрашенного пола поднялась слегка и упирается в стенку из строительного картона. Маленькое окно просто врезано в этот картон и не открывается вовсе, вместо него открыта дверь на большой пустырь самой дальней окраины маленького немецкого городка, возле железной дороги. Раньше здесь был лагерь для военнопленных, его разбомбили, пожарищем никто не интересуется пока. Это послесорокпятые годы в разоренной, разбитой, голодной, сумасшедшей серой стране, даже не называющейся Германией, а просто — зоной. Одной из четырех.

Страницы из другого, теперь уже окончательно рушившегося мира, оторванного с плотью и кровью, еще дымящейся, но сияющей пронзительным светом глыбой обрушиваются на нищенский барак, жалкий огород с самодельным плетнем, жестянку вместо пепельницы на столе.

А мечта осталась. Странные эти люди, мечтатели. Бьют их, раздирают, калечат — а мечта жива. Ни жить, ни надеяться не на что, да и незачем, казалось бы — а она живет и светится, и им и другим, представьте. Может быть, простить их все таки за это — их неудачи, неспособность, и другие, вольные и невольные грехи?



— Ну так что же! Читайте!

— Придется прочесть...

«Дама, сходящая с портрета фамильной галлерей — слышится голос Вальдбурга.\*)"

Джан спускается в переднюю — звонили, а дома никого нет, все ушли к Катъшке. Сегодня воскресенье. В окне белые сугробы, в доме тепло. Джан наряжается с утра в новое парадное домашнее платье, земляничного цвета. Шелк — красоты неописанной, просто влюбилась в него. Платье стоит широченными складками до полу, с рукавов падают крылья, и лицо, как в рамке, от больших серег.

— Вы не находите, барон?

Джан оборачивается на последней ступеньке. Вальдбург впустил уже кого то, сам? Высокий военный снял овчинную шубу и отходит от вешалки.

— Вы ведь знакомы?

В переднюю, из глубины коридора, и сверху, с лестницы, падают тени. Из стеклянных стенок крыльца ложится со двора мягкая белизна дремлющего под дымчатым небом снега. Каждый перекрест теней, угол, приставший к каблуку высокого сапога крохотный свалывшийся кусочек ледышки — все разом, как вспыхнувший снимок, врезывается в вскинутые глаза Джан.

— Вы все таки вернулись? — тихо произносит она, и на протянутой руке дрожат браслеты — звенят, стучаясь незаметно.

Она все еще стоит на ступеньках, их головы на одном уровне — Джан видит обнимающие глаза и тонет в них.

— Джан Николаевна, можно вам подкинуть гостя? Я непременно должен уйти, но вернусь к обеду. Тогда и поговорим о делах, барон. Насколько я знаю этот дом, вас не выпустят, пока не накормят и не напоят чаем. Я позабочусь о подкреплении, ради редкого гостя, и хозяйка не будет протестовать, абгемахт?

Да, протестовать Джан не может. Она поворачивается, чтобы подняться к себе, но Вальдбург уже вышел на крыльцо, и барон одним скачком догоняет ее, схватывает на руки и вносит наверх.

— Почему? — успевает она еще сказать.

— Потому, потому, потому!

Диалог не совсем понятен и краток, но Джан не может и не хочет ни думать, ни говорить. Он целует ее на ходу, не отрываясь, лицо, руки, серьги, и совершенно ясно, что все время, вот эти полтора года, она ждала этих поцелуев, и сейчас захлестнута чем то небывалым еще, но таким счастьем, что перед ним меркнет все остальное.

— Потому что я знал, что так будет, и только так может быть, если я вернусь, — говорит он, уложив ее на тахту и опускаясь возле нее — поэтому я и не писал, борясь с этим. Если напишу — то приеду, не выдержу. Если приеду — то погибну. Потому что я боялся подойти к тебе ближе, зная, что подойти могу только совсем близко — вот так. Потому что я боялся не борьбы за тебя, а того неизбежного страдания, которое связано с разрывом — там, дома. Потому что я хотел проверить и тебя, и себя. Потому что я был ранен и лежал четыре месяца в лазарете. Потому что я тебя люблю . . . понимаешь, Джан!

---

\*) «Корабли Старого Города», Ирина Сабурова, роман.

— Нет, в первый раз в моей жизни ничего не понимаю . . . отвечает она на другой вопрос, а глубине себя.

— И не надо!

И впервые в жизни Джан соглашается, что вот именно это и есть то, что нужно.

За окном крупными хлопьями неслышно понесся снег. Один игольчатый одуванчик, второй прилипший ко стеклу, подождали с минуту от тепла, идущего изнутри — и растаяли. Две половинки одной капли нашли друг друга и слились в одну.



Пять следующих дней были песней. Аккомпанимент слагался из аккордов всего остального, звучащего мира, существующего только для двух людей. И несколько тактов припева, под сурдинку, несколько строчек, неувливаемого, только им обоим понятного ритма и смысла:

«Девушка пела в церковном хоре  
О всех усталых в чужом краю,  
О всех кораблях, ушедших в море,  
О всех, забывших радость свою . . .»

Это стихотворение Блока, то одной, то другой строчкой, не вспоминалось даже, а как взятый ветром аккорд — вдруг, в самые неожиданные минуты, отзванивало часами, шуршало платьем, пахло цветами — просто было вокруг, во всем. Иногда Джан говорила, незаметно для себя одну, две строчки, иногда Ростислав.

Часами, зарывшись в подушки на тахте, они сидели и говорили. Детство всегда золотится воспоминаньем. Но даже борьба с бедностью, безрадостностью, отчаянием и неудачами в жизни Джан сглаживалась сказками и мечтой.

— Все это надо было пройти, чтобы стать такой, как я сейчас — подумала она вслух и сама удивилась, как это правильно.

Ростислав рассказывал о себе. Кусочек старинного замка с гербами и башнями. Совсем еще юношей — кадетом он отбил в девятнадцатом году этот замок от красных и освободил из погреба полузамученную мать. Сестру изнасиловали до смерти матросы. Остался дядя в Восточной Пруссии, около Куришер Гафф, настоял на переезде к нему. Потом студенческие годы — стал агрономом. Мирная жизнь, именье, книги, лошади. Неизбежный роман с дочерью соседа — спортсменка, хорошая хозяйка, средний уровень.

— Несколько раз приезжал в Ригу не по делам, — нет, дел у меня не было, а так, навестить старых друзей, пройтись по улицам. Всегда казалось, что еще что-то надо увидеть здесь, только не знал, что. Жизнь упорядочена, обеспечена, я люблю свой дом, семью . . . жена называла это славянской тоской. Может быть. Теперь я знаю, что искал, потому что нашел. Ты понимаешь, Джан? Я должен ехать через несколько дней — нет, суток, это больше — в Берлин. Использую время, чтобы подать прошение о разводе. Напишу жене, заехать вряд ли удастся, потому что хочу выгадать на обратном пути несколько

часов для тебя. Ты сделаешь то же самое. Через несколько месяцев мы будем свободны и . . .

« . . . Только высоко, у Царских врат,  
Причастный тайнам, плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад —

— звякнули браслеты на упавшей руке.

— Опять! Джан, нам надо избавиться от этих стихов, я начинаю их бояться. Как заговор какой то! Так что же ты скажешь на самом деле? Впрочем, ответ может быть только один.

— На самом деле Ростислав, ничего подобного, конечно. Пока война, все остается постарому. Почти.

— Джан, разве ты не понимаешь?

— Именно потому, что понимаю. Ты начнешь тяжелое дело о разводе: крах семьи, имение без надзора . . . а меня в это время убьют. Разве можно ручаться? Что еще будет? А ты сам на фронте . . . и один из нас останется один, и мало этого — все сломано и искалечено, и не только его жизнь. Зачем? Не хочу загадывать. Бросим все разговоры о будущем, не хочу терять на него и одной минуты, да и есть ли оно у нас? Сейчас я впервые в жизни счастлива, и так счастлива, что остается только одно желание: вот так и умереть . . .

И Ростислав прижимает ее к себе так, что останавливается дыхание, и два встречных взгляда, глаза в глаза, как одна нить, выключают время. Но время идет, хотя в сутках очень много минут!



Сон сокращен, Джан спит не больше двух-трех часов, но просыпаясь, находит каждое утро в ногах цветы. И какие цветы!

— Я знаю, что можно волшебить — убежденно заявляет она. — Но откуда можно сволшебить в Риге зимой сорок четвертого года цветы — это я отказываюсь понимать. Ты бы мог поставить у моих ног двадцать роялей . . .

— Картина! Просыпаешься и шествуешь по клавишам!

— И на эту какофонию сбегаются все в доме! Но видишь ли, рояли, шпек, брильянты — это вещи, которые можно достать, если не за деньги, то за другое. Но найти цветы невозможно. Открой мне тайну!

— Нет! — смеется Ростислав, и глаза темнеют, пляшут, смеются, обнимают. Боже мой, чего только не могут сказать глаза человека!

— Эта тайна умрет вместе со мной!

Может быть, старый садовник, срезающий каждый вечер цветы в собственной комнате, знает об этом больше. Он работал когда то в оранжерее замка — и разве может отказать «молодому барону» сказавшему, что ему нужны цветы для самого большого счастья в его жизни?

Да, всего пять дней.

На третий день, после обеда, Ростислав провожает Джан в мастерскую. Только что шел снег, и по дороге они решили сделать круг, чтобы пройтись. На углу Мельничной и Вальдемарской, около бывшего магазина Абея, стояли санки, обитые сукном, с волчьей полостью. Пара круглых гнедых коней, и солдат на облучке.

— Вот на таких я приезжала бы теперь в город из своего белого дома — вздохнула Джан. — С колокольчиками бы теперь, и по дороге!

Она залюбовалась этой картинкой, и даже вздрогнула от неожиданности, когда Ростислав, только что стоящий рядом, вдруг вышел из дверей магазина.

— Садись, Джан. — Он отстегнул полость, и усаживая ее, взял из рук изумленного солдата вожжи.

— Вы свободны! Сани я доставлю господину полковнику сам!

Солдат, соскочивший с облучка, еще таращил глаза то на лихого майора, то на своего начальника, появившегося в дверях и махнувшего рукой.

— Счастливого пути, дорогой барон!

Лошади уже повернули и неслись, заливаясь бубенчиками, по мягкому снеговому настилу Мельничной, дальше из города, по мосту, тихим улицам Задвинья, по лесным дорогам, в белый снег, в мечту...

Бубенчики звякнули у калитки вечером, под прозрачным синим небом в крохотных огоньках звезд.

— Посмотри, какая большая звезда идет за нами — сказала Джан, откидываясь совсем назад. — Никогда не видала такой!

— Это наше счастье — решительно определил Ростислав.

— Нет, ты скажи, разве она всегда видна? Почему я ее не замечала раньше?

Но Ростислав бегом потянул ее к крыльцу. Пусть огонь самолета, шедшего так высоко, что не слышно было гула, останется звездой!

Да, на небе вспыхивали невиданные звезды, на углах улиц ожидали сани, у тахты стоял накрытый столик для чая, и даже в полуприглушенном радио тающей льдинкой звенела Песня Сольвейг.

«Девушка пела в церковном хоре . . . »

Все, что мог дать мир, существовало только для этих пяти дней.

\*

Поездка на санках . . . Мелочь, конечно, и ряд совпадений. Пошли именно на тот угол, где случайно стояли санки. «Честь имею представиться, полковник. Майор барон фон Венден. Сможете ли вы отказать мне в ваших санках для поездки в счастье?»

Нет, тот не смог. Ухарская выходка, гусарский номер. Но достаточно ей было высказать желание, чтобы оно исполнилось. Обезумевшим от любви людям все сходит с рук, и удается невозможное. И дорога летела под полозья, лунное серебро звенело, и Джан казалось, что так можно сделать с жизнью все, что хочешь. А вот поездка вместе в Берлин и не выходит . . .

— И гораздо лучше — утешал ее Ростислав. — Посуди сама: я буду гнать туда и обратно, выплусь в поезде, а в Берлине пробуду, может быть, только одни сутки. Я высчитал. Зато приеду через неделю, самое большее, сюда, и пробуду с тобой еще три дня. Три дня целых! Таких длинных дней можно подождать одну коротенькую неделю! Феликс прав — может быть мне потом удастся устроиться в какомнибудь штабе. Я ведь все время на передовой был. Помнишь, как мы

впервые встретились, мое предчувствие? Оправдалось, но не совсем — ранило только. Пронесло мимо — твоим благословлением. Ты, только ты! После прощания с тобой, страха больше не было... я не говорил тебе еще: иногда вдруг встанет предо мной эта иконка, а из-за нее твое лицо, и осветит... не перед глазами, а внутри! И тогда знаю: ничего не случится, вернусь к тебе. Вот и вернулся. Да, я устроюсь, поговорю с Феликсом, и тогда ты приедешь ко мне...

Чемоданчик уложен. За ним заедет в четыре часа утра машина — еще скорее до границы, чем поездом.

— Что тебе привезти из Берлина? — спросил он в половине четвертого, затягивая ремень шубы.

— Счастье.

— Счастье я оставляю здесь — как же серьезно ответил он, и положив ей руки на плечи, обнял и поцеловал в глаза.

Дверь подъезда тихо стукнула в сонном доме. Джан не раскрыла глаз — хотелось подольше сохранить след его губ. Ощупью добралась до тахты, улеглась. Заснула, мягко убаюканная обессиленностью счастья.

Мягкая усталость не проходила несколько дней — и утром ее будили цветы. «Привет из Берлина»... так ведь и не открыл тайны! Но Джан не допытывалась. Джан отстраняла все навязывающиеся вопросы. Так молниеносно — если не считать, что в каком то уголке души ждала этой молнии полтора года. И, кроме того — ей тридцать шесть лет. Было ли за эти годы тридцать шесть безоговорочно счастливых минут? Радость, удовлетворение, гордость, восхищение даже — были. Но счастье... горенье этих пяти дней? Страсть? Да, конечно, и она должна быть. Но только теперь — стала понятной. И чего было больше: поцелуев, поющего тела, сливающегося с другим так, что грани больше нет, они растворились, исчезли? Или разговоров, когда начатую одним фразой мог закончить другой?

Джан до краев полна своим счастьем и горит, как свеча.

На четвертый день вечером идет холодный мокрый снег. Джан зябко ежится по дороге домой, и привычный уют и тепло комнаты особенно приятны. Да и как не любить эту комнату, когда теперь все вещи полны совсем новым светом? Иногда тени складываются вот так же, как в ту минуту, когда он сидел здесь...

Тяжелая усталость, как будто перед простудой. Глупости, нельзя болеть, когда он должен приехать через три дня. Джан глотает аспирин, пьет горячий чай с малинным вареньем и ложится спать в девять часов. Надо выспаться хорошенько, вот и все.

В одиннадцать часов вечера она просыпается. Всколыхнувшийся внезапно толчок так силен, что она даже вскакивает с тахты, прежде чем приходит в себя. Сознание улавливает толчок извне и изнутри, и ослепительную вспышку чего-то знакомого — иконки в углу? Выстрела? Доли секунды.

Джан оглядывается. Ноги тяжело врылись в ковер, как будто она не может сдвинуться с места. Впечатление удара. Откуда?

В комнате полутемно. В окна бьется ветер, свистит и воет в трубе. Лампа вспыхивает, как всегда, ровным светом. В доме тихо, слышно только чуть, как внизу, в комнате Феликса, играет радио. Ничего, просто нервы, или простудилась и видела кошмар, и сразу забыла, что.

И вообще, доктор давно уже говорил, что у нее не в порядке сердце. Ну конечно, а она наелась за ужином котлет и легла сразу...

Джан очень хочется свалить вину на котлеты, сердце, грипп — что угодно, кроме серебряного звона своих любимых громадных часов, уронивших с последним ударом в полууловленный сознанием миг какие то слова — и ей кажется, что она знает их.

О, Джан знает! Это припев, неразлучный припев пяти дней:

«... О том, что никто не придет назад...»



Уже седьмой день после отъезда Ростислава проходит в ожидании звонка. Но восьмой день Джан выключает все дела, чтобы быть свободной.

Но дни пусты.

— Задержался? — вопросительно смотрит она на Вальдбурга. Тот пожимает плечами.

— Барон поехал для серьезных переговоров. Может быть, ему придется съездить в провинцию.

Девятый, десятый день. Двенадцатый.

Джан мечется. Джан просыпается от того, что слышит звонок. Если он задержался, то почему не написал? Сколько дней идет теперь письмо? А если налет, и почта сгорела со всеми письмами?

— А если он все таки решил поехать к жене и вообще... передумал? — соображает вслух Маруся, не доверяющая мужской верности.

Но Джан только смеется. Все, что угодно, но чтобы Ростислав... нет, такие мысли не могут даже в голову ей придти!

Три недели.

Теперь беспокоится уже Вальдбург. На умоляющий взгляд Джан, когда она встречается с ним, он молча качает головой, но наводит справки. Барон чересчур задержался. Правда у него было только одно письмо, остальное устно, но и одного письма достаточно для гестаповцев.

Четвертая неделя... месяц.

Как странно сдвигаются фокусы человеческих надежд! Джан беспокоилась, что Ростислава куда нибудь послали, хотя он был в отпуску. Что пропали письма. Обыденная мысль о возвращении к жене, или другой роман исключались ею совершенно, и она знала, что права. Но и самая простая, естественная теперь мысль не приходила в голову. Такая уверенность может быть только у любви.

На четвертый день после отъезда из Риги, в одиннадцать часов вечера, после отбоя налета, барон Ростислав фон Венден был убит разорвавшейся у выхода из бункера затяжной бомбой».



Глыба прошлого — нерушимого, как алмаз! — обрушилась и истончилась вдруг, как туман. Лицо молодеет, хорошеет от улыбки.

— Ну вот вам и песня...

— Дорогая, и это ведь действительно — было? Не художественная правда, а настоящая? Я так и думала, что с вами должно было слу-



чтаться такое... Ростислав фон Венден! Да и имени нарочно не придумаешь. Был, значит?

— Был.

— У камина вашего сама сидела не раз. Значит, и вечер этот, и на следующий день — было? И по руке гадали?

— Нет, не совсем — испугалась. Человек говорит, что завтра уезжает на фронт, а на руке у него линия жизни обрывается после третьего десятка лет...

(Хотела сказать: «как у вашего мужа» — и запнулась).

— Не скажешь же такого. А он еще сидит и рассказывает, что вот купил себе рубашку, и думает: зачем? Смотрит на все — будто последний раз видит...

— Предчувствия обманывают тоже иногда. Вот же вернулся... и как еще! Не будете же вы меня уверять, что это только — написано!

В углу, в коричневатом картоне стены проступает лицо Джан, и рядом с ней другая фигура, такая, как хотелось бы самой. Слезами ли облиться над этим вымыслом — или улыбнуться при расставании?

— Нет — не было дальше. Помните, была у меня такая маленькая сказка, об окне, на котором шла надпись: «Рыцарь ушел и не вернулся»? Вот, если бы вернулся... если бы хоть несколько дней провели вместе, — ну тогда, наверное было бы так, или вроде... Может быть, даже ждала его — если оставалось время помечтать. Но ведь катастрофа уже шла, потом бегство, опять бегство... Только когда уже села писать, и книга подходила к концу, вспомнила его снова, и подумала: а ведь жаль все таки мою Джан, — пусть хоть к ней вернется рыцарь! Звали его Ростиславом, это верно. Только фамилию изменила — неудобно все таки, могут найтись родственники, это ведь наш, балтийский род.

Гостья отложила исписанные на корявой машинке листы и вздохнула.

— Жаль! Я бы, вас ради, предпочла, чтобы это, как вы говорите, фотографией было. Пусть и не художественно — за то было бы с чего снимок делать!

Во вздохе чувствовалось недоверие и некоторая зависть — к бывшему или небывшему — очень уж стираются грани, кто там разберет! А ни разбирать, ни верить не хотелось. Она и не верила вовсе.



#### ЧЕТВЕРТАЯ ТОЧКА

То, что вы видите мимоходом, из окна вагона, автомобиля, просто на улице, гденибудь — оставляйте, пожалуйста, именно таким, как увидели. Это очень простой рецепт — для радости. Пусть будет прелестный городок с мягкими огоньками под крышами, или сказочная избушка в лесу, блестящая вилла или яркая витрина, брошенный взгляд или горячие глаза — все равно, что. Оставьте таким же.

«Картинка»? Пусть. «Праздничная открытка»? Хотя бы. Не бойтесь — настоящий снег не наклеен, все таки, а от того, что в пакете с елочной бумагой лежат теплые чулки только — он стал не менее праздничным. Может быть, вы «не признаете праздников»? Ну и не признавайте, если не умеете справиться со своими комплексами, но

для чего же портить жизнь другим — ограничьтесь собственной только! А главное — не стремитесь непременно прокручивать все до дырки, заглядывать с изнанки. Почему же вы тогда смеетесь над ребенком, собакой или котом, которые, увидев картину или себя в зеркале, посмотрят непременно с другой стороны — что же там такое? Почему к ним у вас снисходительная улыбка взрослого, знающего, что есть вещи двух измерений, кроме третьего, и для каждой — своя и их нельзя смешивать? А если вы сами видите «картинку», то непременно стараетесь перевернуть ее, заглянуть с обратной стороны, или во внутрь, и еще хвастаетесь этим, ставите себе в заслугу, что вот мол, не можете ограничиваться общепринятым мещанством (теперь ведь в моде «интеллектуальный снобизм» — словечко то какое вывернули, прости Господи!) — и разрушаете без остатка — разбиваете стекло, портите бумагу — только для того, чтобы уничтожить улыбку — драгоценную иллюзию, дающуюся, как подарок...

А в результате что же остается в разбитом корыте вашего пресловутого нигилизма? Вам же только пусто и холодно от этого.

Оставьте картинки, оставьте хоть чуточку сказки в нашей жизни. оберегайте их и не ищите изнанки во что бы то ни стало! Конечно, она есть и очень часто неприглядна. Но доискиваться истины надо в чемнибудь серьезном, а вот почему улыбнулся человек, дом или город, цветок или прохожий — не разбирайтесь слишком. Есть разные люди, труппы и тюрьмы, а слезы и через золото льются тоже — так что ж? Есть время и над этим подумать — но если вот сейчас, в эту минуту блеснула улыбка — она для вас самое важное, самое нужное — берегите ее!

\*

— Разрешите познакомиться вас с моей женой, барон. Вы, можно сказать, земляки. Она тоже балтийка.

— Серьезно, миссис Макферсон?

Жена молодого дипломата очаровательная лэди, но в глазах теплая, вдумчивая чуткость — это уже не по общепринятому образцу.

— Боюсь, что мало смогу вам рассказать... мои родители уехали накануне Второй мировой войны, когда я была совсем еще девочкой...

— Все таки за вами преимущество: я бежал после революции.

— На этих коктейль парти никогда не удастся поговорить, как следует — но если бы вы зашли к нам — мы живем с моими родителями — у них найдется, о чем сказать! Устроим настоящий балтийский вечер, хорошо?

— Буду очень рад...

Он записал телефон и адрес. Не только из вежливости. Не упускал случая встретиться со «своими», хотя эта Макферсон, конечно, русская — только сейчас спохватился, что они оба перешли на русский язык — и даже не заметили этого.

•

... «Кавалер старой школы», мама! — рассказывала Нина дома. — Высокий, совсем седой, а глаза голубые, как у артиста. И манеры! Всегда поражаюсь твоим балтийским баронам, этой их неподражаемой

суверенности, что ли. Теорию о «херренменшах» должны были бы по настоящему они создать! Впрочем, для них это не теория... Ведь вот половину своей жизни в Канаде он должен был прожить либо дровосеком сперва, либо не знаю кем, пока выбился, и уж во всяком случае без родовых замков и слуг — а он до сих пор как ни повернется — владетельный князь какой то. И думает он не штампами, не шаблоном, а самостоятельно, и дровосеком он сумел остаться независимым, и чувствует, что унижаться не станет, несмотря ни на что, просто потому, что это ему не вместно, не полагается, видишь ли! А со всем тем — сразу свой, будто я старого дядюшку встретила — знаешь, в наших кругах от таких внезапных симпатий я уже отвыкла, все известно, о чем будут говорить и что умалчивать, на что отвечать... Но вам он конечно гораздо интереснее будет...

\*

Да, в эту игру для детей могут играть и взрослые. Вот еще одна точка — которая? Через сколько лет протянулась следующая — да, прямая черточка. Жизнь проходит, и совсем уходят одни, приходят другие — и вдруг кто-то, давнишний или незнакомый совсем — останавливается — на точке же, конечно — и уже протянулась черточка, связала чьи-то жизни — прошлое — с сегодняшним — завтрашним днем — рисунок не всегда уловим, часто сложен, иногда многие не видят его вовсе. А жаль. Игра интересна.

— У Кунцендорфа всегда покупала чай, и всех кофейниц можно было там встретить, конечно... помните, какие у него были китайские вазы?

А помните? Помните?

Нине стало немножко скучно: сыпались имена, названия, половины не знала совсем, остальные припоминались слабо. Ну да, когда сходятся старики, да еще из одного города, полка или университета, то всегда то же самое: вопросы и воспоминания, и непонятно, над чем улыбаются. Может быть именно тогда и чувствуешь особенно ясно, что это — другое, отходящее поколение, жившее совсем другой жизнью, которая теперь стала только историей...

Посмотрела на часы: еще не поздно, надо бы заехать к Сузи — и увезти барона заодно, у него здесь нет своего автомобиля... Встала тем неуловимым движением, когда хозяйка показывает, что пора уже расходиться, и барон моментально поднялся.

— Так рад, что удалось поговорить, вспомнить старое...

— Сколько времени вы еще пробудете здесь? К нам скоро приезжает в гости Марина Сорова — помните ее книгу о Балтике? Мы ее знали, когда она еще с косами ходила...

(«Можно ли сказать, что у человека вдруг замолчали глаза? — подумала про себя Нина, посмотрев на него. — Что он сейчас видит вместо всех нас?»)

— Но только прочел — медленно сказал он, — но даже специально навестил ее, когда ездил в Германию. Раньше мы не были знакомы. Как жаль... Но завтра я должен ехать.

Пребывание в дипломатическом корпусе учит не только читать между строк, но и слышать недосказанное. Нина насторожилась сразу.

— Ну вот, наконец то нашелся человек, о котором и я могу вам рассказать чтонибудь! Сорова часто приходила к нам, и я слушала ее сказки. Одну особенно помню и сейчас — о Большом человеке и маленьком Сверчке. Сверчок приходил к нему, чирикал или скрипел, а Человек сидел и смотрел в окно, где была изображена картина из цветных стекол, как рыцарь прощался с дамой, а кругом шла надпись готическими буквами — «рыцарь ушел и не вернулся.» Видите, как я хорошо запомнила! Тогда меня эти слова чем то поразили так, что я буквально видела высокое кресло, фигуру в нем, такие красивые цветные стекла, и перья на шлеме рыцаря непременно голубого цвета почему то, а платье дамы — лилового... Вот она приедет, и я попрошу ее рассказать снова — кусочек детства...

Хотела прибавить еще что-то, незначущее, и оборвала. Голубые глаза из под седеющих бровей смотрели на нее так, что если он сейчас только кивнул бы головой — села бы на скамеечку около него — и попросила: «расскажите сказку»...

— Я должна тоже ехать сейчас и охотно подвезу вас, такая плохая погода — подвернулись приготовленные слова, стряхивая непозволительное, в конце концов, настроение.



И было совсем не удивительно, что через несколько минут в автомобиле он обернулся к ней и сказал почти то же самое:

— Я уже достаточно стар, чтобы назвать такую молодую даму как вы, просто Ниночкой... правда? Мне кажется, что вам надо рассказать одну историю... продолжение, так сказать, или... я еще никому не говорил о ней. Уделите мне несколько минут. Это кафе будет сейчас наверно полупустым...

Столик был действительно отгорожен от других — пустых в полусвете. В голубых глазах, заметила Нина, отражается всегда больше, чем в темных — или кажется так? Она слегка подперла подбородок пальцами, — смотря внимательно, в упор — неожиданное предложение позволяло эту вольность.

(«У нее душевные, хорошие глаза — думал Троттен — как чудесно, что такие бывают...»)

— Вы уже наверно угадали — о ней. Мне посоветовали прочесть ее книгу знакомые. Я начал — и как будто вернулся домой. Атмосфера, улицы, пейзаж. Много узнавал, — припоминал из старого, многого не знал, интересного и ужасного — все эти события, до войны, во время, впрочем, вы сами читали... Но меня просто ошеломило, ударило, когда я прочел одно имя — «Ростислав фон Венден». Имя брата. Наша мать русская, отсюда и имена. После революции я уехал в Канаду искать счастья, а Ростислава взял, как будущего наследника, дядя из Восточной Пруссии. Она изменила фамилию, конечно, но другого Ростислава в таком сочетании не могло быть, совершенно ясно... Во время войны всякая связь между нами оборвалась, и в начале пятидесятых я тоже еще ничего не знал о нем. И вдруг — вижу его, читаю о нем. В Германию я вообще собирался, но эта книга ускорила отъезд. Я должен был увидеть Сорову, говорить о ней, — ведь она должна была знать больше написанного. Посчастливилось узнать не только ее адрес, но и учреж-

дене, где она работала, потому что являться на дом с такими вопросами не хотелось бы... Я очень, внимательно, несколько раз перечел все, и думаю, что смог отделить вымысел от истины. Не говорю уже о чисто исторических событиях, но история с Ростиславом — так можно написать только, если пережить — вы не находите? Но если бы у меня даже и были сомнения — они сразу исчезли. Я ей позвонил и сказал только: «Здесь Троттен», и она тоже только переспросила: «Троттен»?! Но если бы вы слышали, как это было сказано! Самое сокровенное прорвалось в человеке, хлынуло, сломало голос, и не верит, и верит сразу, и... и все совершенно ясно, конечно... другому.

— Что же вы ответили ей? — В голосе Нины легкий укор.

— Конечно, я должен был сказать правду, и торопился, прежде чем она выдаст себя окончательно, больше мне никаких доказательств не нужно было. Никогда не забуду этого выражения голоса, и так больно стало, что вот, вдруг ослепительно раскрылось небо, и... но я не поэт, не могу объяснить...

— Что же вы ответили?

— Ах Боже мой, что же мне оставалось делать? Я сказал: «Только не тот»... и прямо увидел в трубку, как у нее изменилось лицо, и глаза потухли сразу, и молчал, и прошло наверно минуты две, пока она овладела собой, и так устало, деревянно спросила: «Да, и...? Вы — родственник — Ростислава фон Троттена?» Все было кончено, небо потухло. Но я не отпускал ее, попросил встретиться в ресторане напротив, сейчас как раз будет обеденный перерыв, я приехал из Канады специально, чтобы встретиться с ней. Не могла же она отнестись ко мне, как к совсем чужому человеку. Я пошел к подъезду и стал ждать...

— Но вы же никогда не видели ее! Как вы могли узнать?

— Знаете, даже не подумал об этом, так был уверен, что не ошибусь. Может быть потому, что читая о Ростиславе, видел не только его, но и ее — его глазами? Вот вы, как женщина, сразу обратили внимание на такую важную подробность, а у меня была просто непоколебимая уверенность, и никаких вопросов.

— Не разочаровались?

— Почти нет. Может быть, ожидал, что она будет красивее. Но ее красило это прошлое, только что ставшее перед ней с моим телефонным звонком. Лицо человека, пережившего только что чудо — и сброшенного вниз. Конечно, она была дамой, и уже овладела собой, и с голосом справилась, только с глазами не могла все таки. С первых же слов стало понятно — она думала, что я могу сказать ей чтонибудь о Ростиславе. А я ее о нем спрашивал.

— И что же?

— О, она великолепно улыбнулась и сказала, что действительно, брат зашел к ней по рекомендации одного знакомого, ему нужна была шуба для жены, а она продавала тогда шубы. Потом они разговорились, провели очень мило вечер, и на следующий день она благословила его перед отъездом на фронт. Очень трогательная и хорошая встреча, о которой можно рассказывать кому угодно, от самого ревнивого мужа до самой добродетельной тетушки. «А больше я его не видела — он ушел и не вернулся», — это в заключение, и опять эта великолепная, снисходительная и вместе с тем трогательно грустная улыбка — такая

умная женщина, как она, не могла же подумать, что я ничего не понимаю, да еще после того, как я сказал ей по телефону, что я — не тот, и вот уже окончательно: «Все остальное, конечно, фантазия автора». Я конечно сказал, что понимаю, в конце концов, какое право я имею задавать вопросы в упор женщине, бывшей последней любовью моего брата? Достаточно того, что она выдала себя с головой с самого начала. Но ей было совершенно ясно также, почему я не настаиваю на дальнейшей откровенности... Мы долго еще говорили. Почему она не уехала до сих пор и почему бы ей не приехать в Канаду, например? Я с удовольствием помог бы ей со всякими поручительствами... ради Ростислава, я его очень любил, — и ради ее глаз тоже, откровенно говоря. Будь я на его месте... поступил бы наверно так же. Если она понимает в мехах и знает языки, можно прекрасно устроиться у нас... Она сказала, что у нее слишком большое «недвижимое имущество» — два инвалида на руках, и вряд ли хватит сил для новой жизни... Судя по всему, что я знаю о ней уже потом — она ошибалась, но у меня было слишком мало времени тогда — знаете, как бывает... Я не похож на брата, но видел, как она смотрела на меня, искала сходства... Все таки казалось потом, когда я уже уехал, что надо было остаться подольше. Когда она прощалась, с такими нотками в голосе — не умею объяснить, но вроде как с мечтой, что ли. или с воспоминаньем. Вот у вас сейчас такое же выражение глаз — девочки, слушающей сказку... Раньше она рассказывала вам, а теперь я — продолжение. Но только вам. Ей не надо этого знать. Обещаете?

Нина подумала о чем то, улыбнулась и обещала, конечно. Они очень тепло простились друг с другом.

\*

## ПЯТАЯ ТОЧКА

— Можно вас оторвать на минутку от всех маминых и папиных «помнишь?» Я тоже могу напомнить кое что! У нас был недавно в гостях Владимир фон Троттен, говорил, что знает вас, и я рассказала ему вашу сказку о рыцаре, который ушел и не вернулся...

— Боже мой, Ниночка... неужели помните ее до сих пор?

— Не только помню, но решила даже сделать вам, в память ее, подарок. Должен же был вернуться рыцарь! Так вот...

Нина протянула футляр. На синем бархате была приколата оригинальная брошь: серебряный рыцарь.

— Рыцарь ушел и не вернулся...

— А у вас голос действительно ломается вдруг. Это и барон заметил.

— Вы не можете себе представить, Ниночка, что для меня значит ваш подарок...

— Может быть и знаю! Вы писали где то, что самое важное в жизни — это сделать единственно нужное в нужный момент...

Так как же: желаемое, становящееся сущим? Грани стираются, одно входит в другое, и...? А если провести еще одну прямую линию — за грань, что тогда?

1962 Мюнхен

По эту сторону реки — старый город, и ясно видно, как кривые закоулки, пробив крепостную стену, влились в тенистые бульвары и широкие новые улицы. Но река еще шире, и по ту сторону строили разве рыбацьи хижины, когда тут стоял уже замок. Дома же там появились наверно только вместе с паромами, маленькими речными парходиками, со сквозным коридором первого железнодорожного моста.

Так и строилось предместье, кто как хотел: крохотные пристани у набережной на сваях, причалы в заливчиках, особняки в садах, городские усадебные дома с колоннами и парками — и рядом, позднее, унылые коробки этажей между унылых сосен — обрывка прежнего леса; пестрый газетный киоск в покосившейся избушке — и рядом белая вилла с террасой. И люди разные: одни живут, потому что дешевле, хоть и без удобств; другие потому, что тише и лучше воздух; третьи потому, что жили всегда.

Этих немного, меньше всех. К ним и теперь не заглянешь в окна — слишком просторные подъезды за воротами, да и деревья закрывают со всех сторон.

«Детский сад» из жиденьких кустиков не внушает особого уважения. Дорожки и трава между ними слишком светлы, — какая же тень от таких листочков — да и пересчитать их все можно по пальцам: цветочный куст до половины дерева поднимается, и весь сад, как картинка в белой рамке на стене детской: когда-нибудь, может быть, что-нибудь да выйдет, а пока только снисходительная усмешка: надо же с чего-нибудь начать, если пришлось начинать самим.

Настоящие деревья тоже когда-то сажались — но прадедами и бабушками. Теперь в два обхвата одни, а то и больше, и с громадными раскидистыми сучьями другие, — старые, испытанные друзья, к ним почтение, уважение, любовь. Они расскажут, как жили в доме, который закрывают от ветра, так что и дым из трубы должен пробиться сквозь листья. Может быть, на чердаке дома накопилось порядочно рухляди, сломанных витых этажерок, и то, что еще осталось внизу, тоже надо убрать, только не выкидывая все разом: новую мебель надо ставить осторожно, она бездушна, делалась на фабрике, машинами, а не руками, и пронзительно пахнет дешевым наглым лаком, а вот секретер в углу — да, около фикуса, ну что поделаешь, если он сорок лет стоит на этом месте — вот секретер из блеклого дерева пахнет лепестками роз, засушенных в нем еще бабушкой.

Только вещи? Да, вещи, конечно, но приобретшие душу и смысл, как и дом, в котором жили деды, — не квартира: в нем живут и думают, чувствуют по иному.

Может быть потому, что у меня такого дома больше не было, а была комната с обшарпанной мебелью и окном на помойку; мимо ворот еще на рассвете гремят грузовики целой колонной на Центральный рынок. Осенью такая комната особенно уныла, но все-таки хорошо промокнуть, мечтая, что вот, когда придешь, то на столе кремовая ваза с синими

языками, и в ней белые флоксы и листья дикого винограда — единственное настоящее, что есть в комнате.

А какой-нибудь дом я выбираю себе всегда, — иногда даже делаю крюк, чтобы пройти мимо: если еще не закрыли ставни, в окне будет мягкий свет. И один из самых любимых этот: очень широкий, низенький, совсем простой. Выкрашен потемневшей охрой, две пузатых колонки крыльца под большим полукруглым окном мезонинчика. Вся комната в нем, вероятно, в этом окне помещается, и оно в мелкой решетке стекол, кажется полуслепым, но таким уютным.

Перед домом ряд старых лип, а дальше сирень, много кустов, сад громадный, шумит в глубине. Вечером взволнованно наклоняются ветки, бьются тревожно — вдруг сломаются, загремят по крыше? Нет, ветер их треплет, но бережет, — это нас раскидывает он, как попало, а они не так легко дадут себя сломать. И стеклянная соломка дождя летит, хрустит на ветру, желтый свет разливается за окнами вздрагивающим пятном.

Если бы дождь перестал, то может быть, кто-нибудь растворил бы двери на террасу, вышел в сад посмотреть на звезды. Кто там живет? Вдруг посмотрит и пригласит войти? Может быть и такое? Может же человек, живущий в старом доме, увидеть, как мне холодно, и я промокла, и не хочется бежать в пустую комнату, где только в вазе виноградные листья...

Конечно, постояв, я шла дальше. Если бы во всех домах, у которых я останавливалась в жизни — мокрой, часто голодной, с вечными фантазиями и непоколебимой верой — если бы меня пускали в них...! Никуда не пускали.

Но я была упряма — впрочем, и теперь тоже. Около этого дома я часто проходила, хотя были и короче дороги. Особенно осенью. Иногда, в темные осенние вечера с нежным запахом флоксов и сухими, тревожащими полыханьями зарниц за силуэтными тенями — казалось, что теперь будут открыты двери на крыльцо, из комнаты на террасу, в сад, и первые упавшие листья замечает через порог, они вспархивают на стол, кружатся в остывающей тишине.

Не любопытство, конечно, а другое. Не сами люди даже, не вещи: они будут разными, но всегда чуть похожими, потому что таким домам всегда присущ свой особый воздух — вот его мне не хватало всегда, без него трудно дышать.

\*

Желания исполняются иногда, хотя и иначе, чем думалось. Был снова вечер с зарницами на темном небе, и флоксы — единственные цветы осенью, пахли нежным и щемящим запахом одиночества. Листьев облетело уже много, они слегка шуршали под ногами, когда я проходила мимо, около низенького забора из темных и шершавых палок. В промежутках между ними выбивались ветки кустов, а в доме светило окно, и свет падал боком на стоящие поодаль клены.

Когда на небе зарницы, то осенью падают звезды, прочерчивают неслышимый огненный знак. Я остановилась, чтобы успеть загадать желание — и заметила ее. Она вышла из дома к кленам, лица не было видно, только светлое пятно в темноте, силуэт фигуры — не выше меня, контур протянутой руки и голос, как шелест. Именно он пора-



жил меня больше всего, потому что ничего особенного не было в том, что она оторвалась от кленов, шагнула к заборчику, оперлась о перекладину. Я уже знала, что она не скажет что-нибудь вроде «добрый вечер, какая прекрасная погода», а другое. И все-таки этот шелестящий, шуршащий голос и неожиданные слова, не ко мне даже, а просто так, в темноту...

«Когда я была девочкой, то жила в серебряном саду. Сад был так высоко на горе, что облака проплывали внизу, и от того он казался серебряным. Там были все цветы и деревья, какие только есть на земле — только кленов не было. Посреди сада стояла белая башня, и на нее поднималась моя бабушка, смотрела на звезды. Она была очень умной, и седая, как время, с печальными глазами. Она умела читать по звездам, а вы ведь знаете, что у каждого человека есть своя звезда, и на ней написана вся его судьба.

Конечно, это знали все, к нам приходило много людей, и все задавали вопросы. На гору вела только узенькая тропинка, и подниматься было тяжело. Они очень уставали, когда подходили к воротам сада, молодые и старые, и все хотели узнать, — что их ждет дальше.

Иногда бабушка выходила к ним, улыбалась и качала головой. И молчала. А они стояли, ждали, и не получив ответа, часто уходили в слезах. Я не понимала, почему, но мне хотелось помочь им, и я наконец придумала, как это сделать: скоро должен был исполниться день моего рожденья, и бабушка обещала сделать мне такой подарок, какой я только захочу...

Она остановилась, сорвала листок, повертела его в пальцах.

«Бабушка очень любила меня, — прошептала она, — вы наверно знаете, что такое любовь. Или узнаете — потом. Любовь часто бывает слепой, и только иногда — видящей. Слепые люди могут, конечно, сделать другим больно. Но, знаете, если человек видит слишком много, то он начинает тоже смотреть другими глазами на все, а если он слишком много смотрит на звезды... впрочем, она, конечно, была права. Мы не виноваты, что такие неразумные перед этими звездами — вы не находите?

Я тогда не знала еще, что такое любовь, да от меня и не требовалось ответа.

«Ну вот, я и сказала бабушке, что хочу дерево, какого еще нет, и чтобы у него были не листья, а звезды, со всем, что на них написано. Пусть каждый сорвет свой листок и узнает, что с ним будет.

‘И ты думаешь, что люди станут счастливы? — спросила бабушка. Конечно, я была уверена в этом. Но она покачала головой, как всегда вздохнула и сказала: — Я обещала подарить тебе, что ты хочешь, и слово сдержу, конечно. Но иногда человек не в силах снести того, что ему дают — может быть, потому ему и дают так мало. Ты захотела так много звезд, что может быть, потеряешь и свою. А ошибки нельзя совершать безнаказанно — за них надо расплачиваться, и притом самой...’

Может быть, если бы она сказала мне это теперь — я поняла бы ее. Но тогда я видела уже перед собой сверкающее дерево и радовалась заранее за всех, кто придет. И они узнали об этом, потому, что когда наступил день моего рождения и у самой башни вырос клен — вы же видите, что у него листья, как звезды, хотя и не совсем, но об этом

потом... так вот, с самого утра люди шли и шли, стучались в ворота, входили в сад, бросались к дереву. Каждый искал свою звезду, срывал с дерева листок, смотрел. И... они закрывали лицо, падали на землю и плакали, плакали... все!

Женщина плакала потому, что ее сын ушел в море, и она увидела, что он никогда не вернется... и юноша, мечтавший о славе... и девушка, искавшая счастья... и даже один король, в настоящей короне. Но в звездах было написано, что королевство будет завоевано врагом и король станет нищим, и море потопит корабли, а деньги пропадут, и любимый человек разлюбит... Может быть, там было написано и про другое, может быть, их ждало совсем другое счастье. Могло ведь так случиться, что король увидел много радости совсем не во дворце, а сын бедной матери, если бы остался жить, попал бы в тюрьму, и любимый человек никогда не любил по настоящему, — и вообще все то, что люди считали своим счастьем, совсем не было им на самом деле, но ведь они думали так, и видели только это, заветное свое желание, а потому сразу бросали листок и начинали плакать...

Мне так хотелось обрадовать их, бедных! А вместо этого становилось все тяжелее и тяжелее. И вот под вечер подошла одна девушка и узнала, что она будет любить человека, которого нет на свете, а ее будут любить другие, только похожие на него, — и она зарыдала сильнее всех. Тогда я и сама упала на землю и плакала так горько, как никогда еще в жизни.

Так кончился день моего рождения, и я стала взрослой, сказала бабушка, потому что узнала о человеческом горе. Бабушка надорвала все оставшиеся листья, чтобы больше никто не смог ничего прочесть. С тех пор у кленов такие листья и остались — видите? Оборванные звезды.

Может быть, бабушка рассердилась на меня? Не думаю, она меня очень любила. Но мне пришлось уйти из серебряного сада. С тех пор каждую осень, когда с кленов падают листья, я должна искать свою звезду. Может быть, все-таки какой-нибудь листок не будет оборван, и я прочту в нем, что могу вернуться...»

Она подняла голову и посмотрела на небо. Падучие звезды искристой дугой неслись прямо на дерево, под которым мы стояли.

«Вот, видите, видите! Это бабушка бросает мне горсточку звезд со своей башни. Может быть, и моя упала совсем рядом...»

Она уже шла, торопясь, от одного клена к другому, подхватывая летящие листья. Поднялся ветер, сад зашумел холодом. Косой свет из окна дома падал на дорожку, на серые стволы кленов и скользившую между ними тень. Потом свет потух, остался только ветер.

Вот и все, что было тогда, а об остальном я уже думала потом, по дороге в город. Мне тоже стало холодно, и я пошла, не оглядываясь, и долгое время спустя не ходила мимо этого дома. Может быть так и лучше: нельзя заглядывать во все до самого конца — как в звезды.

Можно, конечно, сказать, что в этом доме жила тихо помешанная. Это проще всего. А вернее всего — что она действительно любила человека, которого не бывает. Тогда вечерами, можно говорить со све-

той, с тенью, я-то ведь тенью для нее была — с ветром. Это я тоже поняла потом.

Теперь я хожу по совсем другим дорогам, и они не поворачивают назад. Но клены остались такими же везде. Осталось и многое другое, и у меня, и у вас.

Вот почему, осенью, когда пахнут флоксы, посмотрите на клены: может быть, среди стволов мелькнет тень. Не спугните: пусть шелестит. Прислушайтесь и взгляните на небо: может быть, с него кинули звезду. Но не загадывайте желания — оно все равно не сбудется, ибо мы редко хотим то, что нам нужно.

Если же вам попадется вдруг среди падающих листьев неразорванная звезда . . .

. . . что ж тут сказать?

Все равно, ведь, прочтете.

И упадете на землю.

1956. Мюнхен

## БЕЛЫЕ ВЕРБЛЮДЫ

Это, конечно, не событие в мире искусства, но очень отрадное явление в программе баварского радио: вот уже два месяца, как каждую неделю выступает рассказчица турецких сказок.

Эльза София фон Кампхевенер, пожилая женщина, провела большую часть своей жизни в Турции и говорит по-турецки так же, как и на своем родном языке.

Вначале она предупреждала всякий раз, что настоящие турецкие, да и вообще восточные сказки, не читаются, нигде не печатаются, а передаются от одного сказочника другому, только по памяти. Конечно, собственные арабски вносят нередко и сами сказочники, потому и рассказываются они иногда по разному. Может быть, многие из них восходят к глубокой древности. Может быть — они — плод поэтического творчества безымянных поэтов. Во всяком случае, каждый сказочник очень гордится полученным им наследством, которое нередко составляет его единственное богатство, и охраняет его, как цветок, который потеряет от передачи на бумаге свой аромат.

Сказки разные: есть чисто восточные, в джинами, волшебными превращениями и переодеваниями, лирические, с глубокой мудростью и философией, веселые, с оттенком просто анекдота. Хороши они — каждая в своем роде — все, но некоторые — особенно. «Сказание о белых верблюдах», например, так своеобразно, что я не могу удержаться от искушения, чтобы не пересказать его по-русски, к сожалению, на бумаге.

Автор этой сказки, как и других, безымянен, а указав на источники, я надеюсь, что меня не обвинят в плагиате, тем более, что пересказываю не по записи — а просто, как запомнилось.



В самом конце базара, в северных воротах, жил бедный корзинщик. Назовем его Ахметом — Ахметов всегда много, и они часто бедные. В северных воротах, как известно, живут только самые бедняки, а если я говорю — в воротах, то это так и надо понимать: в толстой стене пробиты маленькие лавченки, там и живут те, кому Аллах не дал много счастья. Корзинщику Ахмету Аллах дал еще вдобавок и жену, которая была хуже шайтана! Мало того, что она была некрасива: но она говорила целый день, без умолку и сказать даже, что она говорила, было бы несправедливо: она просто поедом ела бедного Ахмета за его бедность и не давала ему сказать ни слова. Так он и привык жить: плести свои корзинки и слушать ее ругань. Возражать ей он никогда не возражал, понятно, ибо что можно возразить злой и глупой женщине?

Иногда только вечером, когда он кончал работу, и ему становилось невтерпеж, он отправлялся на другой конец города. Там, за южными воротами стоял старый, полуразвалившийся дом, в котором, как говорили, жил злой джин. Что значит для Ахмета злой джин после такого

шайтана, который был у него в доме! Джин по крайней мере молчал. А Ахмет подходил к дому и начинал его ругать. Он так его ругал, как бы ругал свою жену, если бы ей стоило возражать — или если бы она дала ему когданибудь сказать хоть слово. Но джина это очевидно, не трогало, и выругавшись всласть, Ахмет уходил домой.

Когда же он еще не успевал кончить своей работы, а становилось невтерпеж, то Ахмет принимался думать о белых верблюдах. Ну да, почему же бедному человеку не думать о белых верблюдах, чем белые верблюды хуже других, скажите, пожалуйста! Белые верблюды Ахмета были совсем не хуже, а гораздо лучше других, потому что ни к кому не приходил караван из белых верблюдов, а он мечтал о том, что к нему придет когданибудь целый караван. Почему бы ему в конце концов и не придти? Много прекрасных, молодых белых верблюдов, и каждый в другого цвета упряжке — красной, синей, зеленой, а некоторые — в белой. И несут они самый драгоценный груз — драгоценные камни, скажем, или жемчуг...

Когда он поднимал голову от своих корзин, он прямо видел их перед собой — вот, как они входят на базар, и идут к нему. Если часто думать о чем-нибудь, то видишь это совсем ясно, а он думал о них всегда.

Но однажды вечером, когда он снова отправился ругать джина, тому надоело его слушать, и он появился. Безобразный и страшный, как все злые джины, вылез он из развалин, и закричал страшным голосом:

— Что такое делается здесь каждый вечер? Меня все боятся и знают, что я живу в этом доме, а ты осмеливаешься приходить ко мне и еще ругать меня всячески!

— Аман, аман, джанум эффенди, — забормотал бедный Ахмет — я не знал, что ты дома! Но я не могу ругаться дома, и если бы ты знал, какая у меня жена, то ты понял бы, как всякий мужчина, что это такое, и почему я прихожу сюда.

— Как раз подходящая жена для меня! — развеселился джин. — Уступи ее мне, а я уж не останусь у тебя в долгу!

— Если ты думаешь, что справишься с нею... покачал головой Ахмет, но прежде чем Ахмет мог опомниться, джин схватил его в тучу, поднял высоко, помчал со страшной быстротой и, когда Ахмет открыл наконец глаза, то увидел, что сидит на камне перед воротами совсем незнакомого большого города... Что ему было делать? Прежде всего, он очень обрадовался. И тому, что избавился теперь от своей жены — пусть джин забирает ее себе, если хочет, хотя нехорошо желать зла, даже джину! И тому, что теперь он очутился в новом городе — а кто может сказать, что здесь случится?

Он пошел по направлению к воротам, около которых была большая кофейня, войдя, сел, и спросил себе кофе.

Ахмет был одет очень бедно, как и полагается корзинщику, но хозяин подошел к нему, и стал, конечно, расспрашивать, как полагается по правилам вежливости.

— Салам, господин! Ты, я вижу, только недавно прибыл в наш город?

— Только недавно, — ответил Ахмет.

— По своим делам, господин?

— По своим делам.

— Может быть, ты ожидаешь кого-нибудь?

— Может быть и ожидаю.

— Может быть, каравана, господин? Ко мне приходят многие, которые ждут своих караванов.

— Может быть и каравана, — сказал Ахмет, и это было чистой правдой, ибо он всегда ждал своего каравана.

— Когда он придет, господин?

— Вот этого я не знаю. Может быть, скоро, может быть, нет.

— Да пошлет ему Аллах хорошую дорогу! А большой у тебя караван, эффенди?

— Когда как. Иногда больше, иногда меньше белых верблюдов.

— Белых верблюдов, эффенди?! — изумился хозяин.

— Ну да, — равнодушно ответил Ахмет. — У меня только белые верблюды.

— А с каким же они грузом, эффенди?

— У некоторых — драгоценные камни, но больше всего — жемчуг.

— Жемчуг?! На белых верблюдах?!

— Ну да. Иногда его даже так много, что какая-нибудь нитка свесится вниз и задевает верблюда за копыто, — спокойно сказал Ахмет.

— А упряжка у них разноцветная, по цвету камней, и если они несут жемчуг, — то белая.

Хозяин раскрыл рот и так и бросился за кофе и всем, что желал этот, с виду совсем скромный посетитель. И, конечно, он не мог удержаться, чтобы не рассказать о поразительной новости другим гостям, и поэтому вскоре к Ахмету, скромно сидевшему в углу, подошел толстый, старый, богатый купец и, поздоровавшись, сел, оглаживая бороду.

— Я слышал, эффенди, что ты ожидаешь свой караван? — осторожно начал он разговор.

— Ожидаю, — ответил Ахмет.

— И говорят, что у тебя белые верблюды с жемчужными копытами? — продолжал спрашивать купец.

Это совсем не соответствовало истине, и Ахмет не мог стерпеть, конечно.

— Неправда, — спокойно сказал он. — Жемчужных копыт у них нет. Разве ты видел когда-нибудь, чтобы у верблюдов, хотя бы и белых, были жемчужные копыта? Правда, они нагружены жемчугом, и иногда случается, что какая-нибудь нитка свесится из тюка и задевает их копыта, — это да, но чтобы сами копыта . . .

Он усмехнулся, а купец, поговорив еще для приличия, сорвался с места и сразу же приказал слугам отнести себя к великому визирю, с которым вел дружбу. Не прошло много времени, как перед кофейней остановились роскошные носилки, окруженные слугами, и великий визирь, который был еще толще купца, вышел из них, тяжело отдуваясь, и направился к Ахмету.

— Эффенди, — сказал он, — я слышал, что ты ожидаешь здесь караван из жемчужных верблюдов. Правда ли это?!

Ахмет встал и низко поклонился ему, как и полагается.

— Злые языки замутили истину, — сказал он. — О, великий визирь! Жемчужных верблюдов не бывает, и было бы глупо их ждать. Мой караван просто из белых верблюдов, груженных жемчугом. Иногда случается, правда, что какая-нибудь нитка свесится из тюка и верблюд

запутается в ней копытом, но чтобы он сам был из жемчуга... этого даже выдумать нельзя...

— Когда же придет твой караван?

— Вот этого я не знаю.

— А сколько верблюдов?

— Тоже не могу сказать. Много. Иногда тридцать, иногда и пятьдесят. Я их не всегда считаю...

Визирь хотел открыть рот, но быстро сообразил, в чем дело.

— Мой дом пусть будет твоим домом, пока ты ждешь свой караван, эффенди! — сказал он.

И так вышло, что бедный корзинщик отправился прямо из кофейни к великому визирю, и слуги подали ему омовение и богатое платье, а на следующий день визирь сказал ему, что его зовет во дворец сам падишах — да благословит его Аллах!

Весть о несметном богаче, ожидающем караван из белых верблюдов, груженных жемчугом, быстро разнеслась по всему городу, и когда Ахмет вышел, чтобы садиться на носилки, вокруг уже толпились любопытные. Ахмет никогда не бывал во дворце, даже в своих мечтах, и поэтому никак не мог вообразить себе ничего подобного. А так как он ничего подобного никогда не воображал, то попав к падишаху, он держался просто, ибо думал, что именно так все должно и быть.

Падишах вынул из складок своей одежды мешочек, а из него — громадную розовую грушевидную жемчужину, которую осторожно взял двумя пальцами, ибо это была громадная драгоценность.

— Я слышал, что ты великий знаток жемчуга — сказал он, протягивая ее Ахмету. — Что ты скажешь о ней?

Ахмет взял жемчужину и посмотрел на нее. Он никогда в жизни не видел жемчуга и поэтому решительно ничего не мог сказать, что он и сделал.

— Ничего не могу сказать, — произнес он, возвращая ее обратно.

— Ничего?! Об этой жемчужине?!

Великий визирь подумал, что он во время перехватил Ахмета. После такого равнодушия к лучшей жемчужине падишаха да благословит его Аллах! — еще неизвестно, что бы тот сделал. Во всяком случае, пригласил бы Ахмета в свой дворец, это ясно. Но теперь Ахмет отправился обратно к визирю — ждать свой караван.

И через три дня произошло все в точности так, как уже несчетное число раз видел в своих мечтах Ахмет: прибежали слуги, на улицах толпился народ, издавая изумленные возгласы, — а от ворот города, медленно и важно, шли к нему мерной поступью тридцать три белых верблюда, в белой упряжке, груженные ковровыми тюками с жемчугом, и одна нитка, свесившись вниз, задевала за копыта первого верблюда...

Да, — так что же собственно осталось рассказывать? Почти ничего. Больше ведь Ахмет ни о чем не мечтал. Теперь он мог купить себе самые роскошные одежды, коней, дворец и рабынь. Может быть, он стал богаче даже самого падишаха.

Он стал очень грустным, скучающим богачем, бедный Ахмет, бедняк с пустым теперь сердцем. У него не было больше его мечты.

1954. Мюнхен

## ЛОСКУТНИЦА

Так звали ее все, и она вполне заслуживала это имя. Во-первых, она была очень бедна, и ее юбка, и даже платок были постоянно в заплатках, а во-вторых, она занималась тем, что собирала всевозможные лоскутки и делала из них разные вещи на продажу. Бедные люди покупали у нее одеяла и подушки, сшитые квадратиками или звездочками, коврики с картинками и куклы для детей.

Богатые не покупали у нее ничего, конечно, но зато давали ей старые платья, и были рады, что избавились от тряпок, а вместе с тем помогли скромной девушке заработать себе на жизнь. Она была всегда так искренно благодарна, что ей не отказывали даже самые скупые хозяйки в городе, даже жена самого богатого купца, у которой был такой большой дом — и такой красивый сын.

Этот сын видел однажды, как мать бросила ей его старую зеленую куртку, и девушка с трудом упрятала ее в свой мешок, который был и без того уже полон. Но она легко подняла его на плечи, поклонилась еще раз, и пошла, улыбаясь так радостно, что он даже заинтересовался.

— Почему ты радуешься старым тряпкам, Лоскутница? — спросил он, нагнав ее на улице.

— Ах, — сказала она — в них так много интересного! Ведь это целое богатство. Вот, например, твоя зеленая куртка: мне давно уже нужен был кусочек зеленого мха для коврика, который я делаю. На нем елка, и мухомор, в котором живет гномик: только мха кругом мне еще не хватало, а теперь вот есть и этот кусочек. Останется еще и на камыш для того коврика, где летят дикие утки. Видишь ли, когда люди посмотрят на них, то они и сами представят себе что-нибудь красивое — и это поможет им работать или заснуть.

— Но ведь проще шить из готовой, нерезанной материи — воскликнул он.

— Материя стоит много денег, а я бедна. Но я и так очень довольна. Я часто думаю, когда иду в город со своим мешком: что мне дадут сегодня? Приятно именно ждать. А потом тороплюсь домой, чтобы рассмотреть все как следует, и долго думаю, на что может пригодиться: на кусочек неба, например, или платье для прекрасной дамы... Настоящие портные не могут так придумывать, как я: они должны шить то, что потребует заказчик, и притом только платья. А я могу сделать все: и лес, и зверей, и птиц — все красивое!

Сын купца никогда не слышал таких слов, и ему было непонятно, как может глупая девушка радоваться старым тряпкам. Но она радовалась, а у них в доме постоянно жаловались на что-нибудь: отец кричал, что его разоряют налоги, и товары стоят слишком дорого: мать ворчала на слуг, которых считала ворами и лентяями; даже его сестра постоянно жаловалась на то, что ей нечего надеть, хотя у нее был целый шкаф красивых платьев; во всяком случае, он никак не мог себе представить, чтобы кто-нибудь у них дома, да и вообще среди его знакомых во всем городе, мог бы радоваться такой совершенно ничтожной и ничего не стоящей вещи, как лоскуток материи.



Поэтому он, незаметно для самого себя, шел с ней рядом всю дорогу, — а для этого надо было пройти через весь город и выйти на самую дальнюю окраину — к лесу. Кусты придорожного шиповника окружали и дом; около самого окна росло вишенное дерево, а на ступеньках крыльца сидела большущая кошка.

Он долго просидел у нее, слушая рассказы о цветах и листьях, феях и гномах, королях и рыцарях. Забавно, все таки: она улыбалась при этом так радостно, как будто ее тряпичные изделия предназначались для настоящего дворца.

Он стал заходить к ней, и однажды принес даже кусок голубой ленты. Ее глаза вспыхнули и стали точь в точь такого же голубого цвета: может быть потому, что она успела полюбить его за это время, и думала, что он любит ее тоже. Он, однако, не говорил ей об этом, и понятно, почему: сын самого богатого купца в городе, и она, тряпичница-лоскутница!

Она часто задумывалась теперь над своей работой: разноцветные лоскутки казались жалкими и тусклыми, и воткнув иголку куда попало, она бросала работу: нет, эти жалкие сказочные картинки только для нищих!

Однажды осенью ей стало так грустно, что даже захотелось заплакать. Она закрыла лицо руками, но вдруг подняла голову и прислушалась; с дороги донеслись звуки труб: король выехал на прогулку!

Лоскутница вскочила, накинула на плечи самый лучший платок, и выбежала из дому. Королевский замок стоял на горе, высоко над городом, и совсем на другой стороне: король очень редко проезжал здесь, а это было чудесное зрелище! Она спрячется за кустом шиповника, скороходы не заметят ее, и она увидит рыцарей, прекрасных дам, и короля, который сверкает, как солнце!



«Серебряные трубы звучат за поворотом; от топота и звона несется пыль столбом! Вот мчатся скороходы, дорогу расчищая, чтоб ктонибудь случайно не сшибся с королем!

Тра-ра-ра-бум — дорогу! Тра-ра-ра-бум — дорогу! Дорогу королю!

Ученые магистры в квадратных шапках черных несут подмышкой книги законов и наук; и важные министры во всех вперяют взоры, чтобы все, что только нужно, все исполнялось вдруг.

Тра-ра-ра-бум! Тра-ра-ра-бум! Дорогу, дорогу королю!

Идут пажы в беретах, с мечтательной улыбкой, и шлейфы дам прекрасных плывут за ними вслед... И рыцари толпою в доспехах, перьях, шлемах; они готовы к бою, их верность, как обет!

Тра-ра-ра-бум! Тра-ра-ра-бум! Дорогу, дорогу королю!

И сам король, как солнце, в короне из алмазов, и все на нем сияет, как звездные лучи: и кудри, и улыбка, (а в двадцать лет — и сердце...) и мантия, конечно, из золотой парчи...

Тра-ра-ра-бум! Дорогу — дорогу королю!

Взвиваются фанфары, гремят победно трубы, и золото, алмазы сверкают там и тут; а вслед идет за всеми, одетый в черный бархат с пером павлиньим, старый, прихрамывая, шут.

Тра-ра-ра-бум! Тра-ра — тра-ра — дорогу королю!

Ах, король был так же красив, как и сын богатого купца! Лоскутница никогда еще не видела его так близко. Она даже вышла на дорогу из-за куста, у которого стояла, и конь под королем испугался и шархнул в сторону. Золотая мантия скользнула по веткам шиповника, зацепилась за острые шипы — и, когда всадник дал шпоры коню, на кусте остался оторвавшийся кусочек золотой парчи.

Но король не заметил этого, конечно. Только шут, славившийся своими острыми глазами, посмотрел на лоскуток, потом на девушку, улыбнулся и кивнул головой.

Блестящее шествие скрылось за поворотом дороги, и пыль улеглась снова. На громадном кусте шиповника, покрытом порозовевшими осенью листьями и огненными каплями ягод, сверкал и переливался невиданный еще лоскуток.

Когда она сняла его, ее руки были в крови от шипов. Но она улыбалась так счастливо, как никогда в жизни. Кусочек королевской мантии! Никогда, даже в самых дерзких своих мечтах она не могла и подумать, что сможет получить такую драгоценность! Ей даже близко не удавалось подойти ко дворцу, — слуги гнали от ворот всех, и было бы на самом деле неприлично, если бы тряпичницы ходили со своим мешком под королевскими окнами!

Дома она, затаив дыхание, наклонилась над ним. Какой удивительный узор! Как блестят золотые нити!

Она не могла дождаться сына купца, чтобы показать ему. Но он не пришел ни в этот вечер, ни в другой. Только зимой он встретил ее на улице.

— Знаешь, — сказал он, неловко смотря в сторону, — отец запретил мне встречаться с тобой пока. Он говорит, что ты для меня неподходящее знакомство.

— Что ж, — попыталась она улыбнуться, хотя ей было и очень больно, — может быть потом он все таки увидит, что я не научу тебя ничему плохому!

— Мой отец сказал, что я только тогда смогу придти к тебе, если тебе поклонится сам король! — ответил он и отвернулся совсем.

Она пошла дальше, опустив голову, и с каждым шагом эти слова, как иголки, врезались ей в сердце. «Когда ей поклонится сам король!»! Какое это страшное слово: ни-ког-да . . .

Над городом, дворцом и бедным домиком шли годы. В страну приходили зима и лето, весна и осень, расцветали цветы и облетали листья, это всегда было красиво, мудро и хорошо. И всегда были дети и взрослые, которым хотелось тепла и сказки.

Лоскутница каждый год шила одеяла, коврики и куклы, и бедняк охотно покупал их, а богатые продолжали давать ей тряпки. Тех сказок, которые она рассказывала за работой сама себе, не слышал никто, но ей говорили иногда разные вещи. Случалось, что и о короле тоже: войско его погибло в чужой стране, злой сосед отнял у него, по кусочкам, половину королевства. Король заложил свою корону у сына бога-

того купца, который стал еще богаче, чем был его отец, и распустил всех слуг, а министры ушли сами, потому что ему было нечем платить. Одинок, говорили люди, жил теперь в опустевшем дворце старый король, вместе с шутком — единственным человеком, не покинувшим его.

Лоскутница очень огорчалась, слушая эти рассказы, и каждый раз, возвращаясь домой, брала в руки стеклянный ларчик. Там лежал лоскуточек королевской мантии, которую он носил, когда был молод и счастлив. Сколько радости было в этом блеске!

Однажды вечером, ветер свистел, как серебряные трубы, и все кругом было в серебре: деревья, кусты шиповника, и звезды на небе. Лоскутница стояла на пороге, кутаясь в платок: она стала мерзнуть теперь зимой, бедная старушка.



«Пустынная дорога... Но вот за поворотом шаги скрипят по снегу, два спутника идут: один идет высокий, в плаще как будто рваном, и вслед за ним устало хромает старый шут.

Тра-ра-тра-ра... тра-ра-ра-ра. Дорогу королю!

Но нету скороходов, нет больше дам прекрасных, ни рыцарей, ни стражи, исчезли трубачи... Лишь ветер на дороге, алмазы звезд — на небе, и снег сверкает синий, как будто из парчи...

Тра-ра... ах нет, не слышно: «Дорогу королю!»



— Может быть, мы зайдем погреться в этот дом? — спросил шут. Король уже привык к холоду. Но ему стало жаль верного слугу.

В домике было тепло и уютно, на столе горела высокая свеча, а рядом с ней стоял стеклянный ларчик, и блестел золотом. Бедная Лоскутница упала на колени, не сводя глаз с гостя. Она сразу узнала его. Да, несмотря на то, что он был теперь и стар, и сед, и его плащ нуждался в починке.

— Только самые бедные из моих подданных — сказал он, садясь, — напоминают мне еще, что я — король. Мне начинает иногда казаться, что я им и не был никогда. Чего стоит король, потерявший свое королевство?

— О, нет, — покачал головой шут.

— О, нет! — воскликнула с жаром Лоскутница. Как могла она осмелиться говорить в присутствии короля? Раньше ей и мысли такой не могло придти в голову! Но теперь она вдруг рассказала ему все: о кусте шиповника, за который зацепилась мантия в такой далекий-далекий осенний день; и как сын богатого купца не мог любить ее до тех пор, пока ей не поклонится король; и как она хранила кусочек золотой парчи, и смотрела на него, и блески скрашивали ее работу — для нее и других.

Она говорила долго и горячо, и шут чуть усмехался, качая в такт головой, а король внимательно слушал.

— Разве тебе не было завидно, что ты сама не можешь надеть такого золотого платья? — спросил он.

— Ах нет. Золото должны носить только короли.

— Разве ты не была несчастной из-за того, что я не поклонился тебе?

— Если бы сын купца любил меня по настоящему, он не стал бы ждать, а поклонился мне сам.

— Но неужели ты была довольна своей жизнью, и тебе не хотелось иметь больше?

— Да, но я думала, что твоя мантия тоже делалась по кусочкам. А у шиповника иногда бывают листья совсем не хуже парчи. Разве не все равно, сколько имеет человек: много или мало? Важно ведь только, чтобы он радовался — даже самому малому.

Король встал, церемонно поклонился ей, и сказал:

— Спасибо, Лоскутница. Ты подарила сегодня мне очень много. Может быть, целое королевство. Благодарю тебя!



«Но нет таких алмазов, как звезды в синем небе, и нет парчи чудесней, чем снежная земля! И выстроились строем деревья у дороги, воздевши к небу сучья во славу короля!

Тра-ра! Тра-ра! Дорогу! Дорогу королю!

За все, что нам дается, что мы даем — другому, за лоскуточки счастья, за радость и за боль — да будем благодарны своей судьбе и Богу — благословенно Небо, да здравствует король!

Тра-ра! Тра-ра! Дорогу! Дорогу, честь и славу! Дорогу королю!»

1954. Мюнхен

## КАРНАВАЛЬНАЯ СКАЗКА

Никогда бы не стала рассказывать, так все это бессвязно, если бы не гвоздики. Их приносят с официальным визитом или в знак благодарности людям. Мне принес чужой человек. Откуда ему знать, что я их не люблю. Пышные, нарочитые цветы, равнодушная красивость, и часто такие холодные, бумажные тона. Но все-таки цветы, подарок, из любезности. Впрочем юбочки, как у балерин, начали желтеть. Увядающие цветы всегда трогательны, особенно если долго смотреть на них и за окном метель, а в ногах тахты темная книжная полка, и на ее фоне нежно розовые гвоздики в почти хрустальной вазе. Свет падает на них сбоку, от звенящего огонька радиоаппарата, в котором под сурдинку последние взметы уже отходящего фашинга. Это называется «Кераус», буквально: «выметание», последний день карнавала в Мюнхене, а он продолжается несколько недель, захватывает все в городе.

Я болею уже долго, мне не до карнавала, но он сам лезет в дом — иллюстрированные журналы, радио, и вот, вместе с этими гвоздиками. Они тоже были осыпаны конфетти. Он сказал:

— Чтобы у вас тоже был карнавал.

Собрал в щепотку конфетти и бросил рядом с вазой. У меня даже сердце толчком кинулось к горлу, я приподнялась и посмотрела — сколько их, этих разноцветных кружочков: семнадцать.

Мне нужно определенное число, только я не знаю, какое, и никто не знает. Глупо, конечно, думать, что из миллиона бросков может повториться как раз именно то.

И конечно не то, потому что ничего не случилось, и когда он ушел, я сама взяла конфетти, перебрасывала их, рассыпала. Потом старалась не думать, но остались гвоздики. Цветы всегда успокаивают, а вот эти не дают покоя. Или это потому, что вечера такие длинные, когда лежишь больная, и полутемно, и радио звенит. Если припомнить все по порядку . . .

Сперва о фашинге. Мюнхен знаменит им: устраиваются выборы «шалых величеств» — принца и принцессы, пажей и гвардии, процессии, потом балы, со знаменитостями, туалетами, костюмами, отчетами в газетах. Но и в каждой пивной, кафе, в каждой витрине магазина воздушные шары, бахрома, маски, серпантин. Вечером маски повсюду. Про радио и говорить нечего — зазывает, трещит, звенит под стук пивных кружек.

На фашинг съезжаются даже издалека, а каждый мюнхенец просто обязан побывать. И когда надоела пестрота, голова болит, тогда последнее — «Кераус». Это вторник первой недели католического поста, и удержу нет. Во всех учреждениях бросают работы, маски шатаются по улицам, среди бела дня, в центре города около ратуши останавливают движение — такая толпа. Кто сам закружился в ней, кто просто смотрит. Это уж не бал, а сплошь красные носы, дурацкие шляпы на затылках, народное гулянье, и конфетти, как метель.

Не старый, а древний обычай, в городе со старинными башенными воротами, кривыми своевольными улочками с забавными названиями,

с крепко вросшей и в сегодняшний день стариной. Если посмотреть, потолкаться, побродить, поглядеть . . .

Может быть и не надо. Тогда не будут навязываться числа, озорная бессмыслица, и что-то еще, над чем не задумываться лучше . . .



Я их давно знаю, обоих, потому и могу рассказать. У них был роман, и они работали вместе. В тот день «Керауса» тоже, до позднего вечера, так что ничего и не видали.

Когда вышли на улицу, все уже кончилось. Было часов одиннадцать вечера, когда они добрались до Штахуса. Это — центральная площадь в Мюнхене, которой никто не может миновать. Даже целое собрание площадей с фонтанами. Со всех сторон огни, рекламы, и снег от них разноцветный, а в Мюнхене не так уж много и часто бывает снега, потому он особенно нарядный. На площади проходят почти все трамваи, режут заледеневшие рельсы с острым визгом, но всегда — не тот номер, которого ждешь. Вечером ждать приходится долго, даже поежишься, в особенности, если человек устал и давно не ел. А на снегу, на мостовой — серпантин, конфетти, и совсем немножко, для настроения только — вихрит, несет эту пеструю ерунду начинающаяся поземка — метель собирается гулять по улицам, с белой метлой.

Вот она стояла под фонарем, и думала, как хотелось в этом году побывать на фашинге. По настоящему: если бы ему, скажем, форму александровского гусара, а ей кринолин и букли. Или . . . но фашинг кончился, метель выметает улицы. И вдруг — из давно забытого — фильм, виденный девочкой, когда на экране еще паясничали дураки и томные дамы с подведенными глазами заламывали руки, и показывались ландшафты с мелькавшими трещинами под рояльные вальсы в темноте неудобного узкого зала. Фильм был о чернокнижнике, пане Тадеуше Твардовском — имя запомнилось даже. Колдун хотел жениться на красавице панночке, и увез ее в метель на тройке — сам в высокой шапке, глаза горят. А другой, с мефистофельским носом, в плаще, вышел в поле и стал мести снег. Высоко взметал его руками, снег кружился, становился все гуще, и вот в нем уже часовня, что-то мерцает в ней, — тройка останавливается, пан Тадеуш подает руку панночке, и они идут венчаться — а когда выходят и тройка снова несется вскачь — кружатся снежинки, осыпается часовня, как дым, дьявольское наваждение.

Может быть, это был даже очень хороший фильм для того времени. Почему теперь, через столько лет . . . ?

И вдруг вскрикнула, схватила его невольно за руку. Карета!

Ну да, можно было и раньше увидеть, если не думать о другом. На одном из островков, где остановки трамваев, очерчен валиком овал и горит красный фонарик перед кружкой для сбора денег. А посредине — в овале — мчится пара лошадей, везет карету в выгибах кружевных завитушек, в каких здесь раньше ездили короли, и внутри кареты двое: она и он, конечно, в кружевах, париках сидят рядом. И все, понятно, из снега.

Это — тоже мюнхенское. Если хорошая зима, то на площади выходят бедные скульпторы и возятся два-три дня. Сперва строится кар-

кас из проволоки и дерева, потом идет лепка из снега, облитого водой. То сидят за столом с кружками пива веселые монахи, то почтовый дилижанс, как на этикетке лаванды, или карета.

И не как-нибудь, а все по настоящему: взметаются гривы у лошадей и искры из под копыт, и двое в карете — застывшая мечта. Это только снег, но огни со всех сторон, свет играет, тени падают, движутся, и улыбаются глаза и губы. У маркизной пары глаза пустые и холодные, они изо льда, зато у нее мечта вспыхивает сразу, она стоит и не может отвести глаз. Он тоже подошел, заинтересовался.

— Вот немцы . . . чего не выдумают.

— Обязательно надо им денег в кружку положить! Подумай, ведь на морозе . . . как руки мерзли, а в рукавицах таких кружев не вылепишь . . .

У нее самой замерзли руки, пальцы плохо гнулись, но она нащупала все монетки в кармане, не так-то много их было: вот на трамвай, вот завтра на обед — и половину — неизвестному скульптору, под фонарик в копилку.

— Рассчитывают — кружку поставили. Каждый может посмотреть, — а класть не обязан. У нас и копилки бы не осталось — сразу стащили бы, а тут — психологический расчет.

Он тоже положил деньги — заодно, но и карета, и скульптор, и копилка, куда люди клали без принуждения — это был чужой и чуждый мир, до которого ему не было дела. В его мире таким пустякам не было места — следовательно, они и не существовали.

Она отошла к остановке снова, но все еще любуясь.

— Знаешь, я собирала раньше праздничные номера английских журналов. Такие иллюстрации . . .! И вот одну запомнила: ночь, синее небо, снег. Стоит старинный дом, усадьба. Только темный силуэт, крыша обвалилась, видны стрехи, выглядывают совы. А поверх картины, — как будто другая, тонкими белыми штрихами: подъезжает к дому карета, и из нее выходят — вот такие же, в кринолинах и камзолах, и навстречу им хозяева — старики, молодая пара, дети, слуги, и все — призраки. Как будто одно с другим рядом, не задевая. Вот слышишь их радостные восклицания — и сова тут же шуршит крылом . . .

— Совы не шуршат — они летают бесшумно. А вот трамвай, тот визжит, и наконец-то — наш номер!

Она быстро нагнулась, подхватила со снегу горсточку конфетти, и сунула в карман, виновато улыбаясь: все-таки фашинг — хоть как-то увидела.

В замерзших окнах трамвая мелькали улицы. Ехать надо до конца. Ехали молча. Она все еще улыбалась — карете. Он не любил сентиментальничать, особенно под конец пути. Им потом идти в разные стороны — ему близко, ей далеко, однажды она даже попросила его проводить кусочек — к чему это? Дороги их так и так расходятся, и кроме того он устал и вообще не любитель прогулок.

Они только вдвоем и остались в пустом вагоне под конец. Кондуктор подремывал в углу. Ну вот, метель начинается не на шутку, ему еще порядочный кусок топтать, лучше скорее попрощаться, пока ей не пришло в голову попросить . . .

Разошлись. Теперь уже окраина. Пустыри, поля. Но город еще не кончился. Надо пройти мимо последних домов с длинными заборами за ними в поле — короткая цепочка последних фонарей. Потом справа и слева снег, темнота, ночь. Если сбиться с дороги, можно заблудиться в тумане. Через полчаса ходьбы снова мелькнут огоньки — если там, в поселке, в крохотном кусочке города, выброшенном под лес, не спит еще кто-нибудь. Пройти еще часа два — наткнешься на каменную стену королевского парка, с застывшим, нежилым дворцом. Но это далеко, и ей надо не во дворец, а в низенький дом около леса. По дороге редко кто ходит, особенно ночью, но она привыкла. В туман страшновато только, а сейчас метель кидается снегом, кружит, свистит. Сразу — из-за последнего фонаря — налетела и покрыла с головой.

Она остановилась на секунду от остро кольнувшей мысли. Это всегда так, на этом повороте, когда она знает уже совсем наверно, что ее никто не окликнет, не возьмет под руку, и надо идти одной, в ночь, в темноту, в холод. И, как всегда, улыбнулась — когда кричит сердце, его не слышно. И вот, улыбнувшись, вынула руку из кармана, горсточку конфетти — и пустила в метель. Пусть и они летят на ветер. Все на ветер . . .

Но число ведь важно, число! Сколько их было — голубых, зеленых, розовых кружочков? Число везде: оно делает из лекарства яд, из атома цинка — золото, и человеку — его судьбу. Везде, везде число. Надо только знать — не ошибиться.

И вот, когда это число взметнулось в метель, запуталось в снеге, понеслось, закружилось — рванули снежные кони на далекой городской площади, и карета понеслась вскачь. Неслышно, над улицами. Через дома, ей ведь все равно — призрак.

Она не знала еще, шла. Ветер загибал, закручивал пальто, ноги тоже кружились, не провалиться бы в канаву, и вдруг подняла голову — и обомлела. Рядом по полю, высоко вздымая снежную пыль, бесшумно мчались белые лошади, неслась, не отставая от нее ни на шаг и не перегоняя, а рядом, совсем вплотную — снежная карета. И двое сидевших в ней улыбались застывшей улыбкой, смотрели прямо перед собой равнодушными ледяными глазами.

Она остановилась. Лошади тоже. Она шагнула — они понеслись. Она побежала — они мчались рядом с нею. Она остановилась и потерла глаза: кружилась метель, подплясывая, рассыпаясь пылью, несла холодом в лицо. Настоящая метель в снежном поле, где лес темнел вдалеке такой тонкой полоской, что ее совсем не было видно ночью, а карета, лошади, и сидевшие в ней — тоже были настоящей, вставшей рядом нежитью.

Почему?

Может быть — им было по дороге? В дальний парк, в королевский замок, навестить застывших в картинной галерее хозяев, которые выйдут им навстречу, как там, в английском журнале? Но почему тогда лошади останавливаются вместе с ней, мчатся, не перегоняя? Может быть эти маркизы приглашают ее молча — сесть рядом с ними?

Я знаю . . . что все это очень бессвязно, и если бы не конфетти, и не гвоздики, и число, которое я ищу, особенно, когда болит голова, так и не стоило бы вообще рассказывать . . . Ну как объяснить, что может же человек выйти из промерзшего, пыльного трамвая, отлакирован-



ного спинами людей, — и встретить вдруг снежную карету в скучном, пустом поле? Одни могут встретить, им и объяснять нечего. Другие — нет. Вот тот человек, который был с нею на площади — не встретит. Нечего и объяснять, напрасный труд. Я и не стараюсь поэтому, просто говорю, что было, потому что пришлось случайно узнать.

Вот она шла по этому полю, там дороги на добрых полчаса, карета ехала рядом, и лошади, взметнув неподвижную гриву, запрокидываясь в скачке, не отставали ни на шаг — они были в другом времени, понятно. И она уже понимала, что это — приглашение, что стоит только остановиться, шагнуть с дороги — дверца распахнется, и внутри, за выгнутым окном найдется и ей место, рядом с теми, снежными. Может быть, тогда она тоже начнет так же улыбаться, как она, застывшей улыбкой, смотреть вперед ледяными глазами, и ничего больше не будет чувствовать, не понимать сердцем, как сейчас, как раньше — на остановке, на площади, и как завтра тоже будет понятно и больно.

В сказке у Андерсена Снежная королева заморозила сердце кусочком льда. Только Герде удалось сложить слова, узнать число букв, растопить сердце. У нее нет ни Герды, ни Кая, никто не пойдет ее искать, и если, скажем, завтра утром — или через несколько дней, сторож королевского парка найдет ее где-нибудь на снегу, он только удивится и рассердится. Придется возиться с полицией, потом заметка петитом в газете. Никому не будет понятно, конечно, но кто же станет доискиваться правды...

А если — иначе? Если этот шаг просто — в никуда? В метель, в круженье, в незнаемое — вот в то, что идет рядом?

И почему? Награда, счастливый случай, или — искушение, ледяной соблазн? Они молчат и улыбаются, и смотрят прямо перед собой. Холодно и безразлично, вежливо улыбаются белыми губами. Здесь нет разноцветных огней, конфетти подмела метель, только синее, совсем темное небо смотрит в прорезанные окна кареты, и они совсем белые внутри с синими, холодными тенями. Такой холод... ноги еле двигаются уже, даже трудно сказать, идет она или не идет, — кажется, идет. А что, если рискнуть все-таки, сесть и помчаться, будь что будет — в крайнем случае — воззвать в молитве, если совсем станет страшно. Спаси, Господи!

В крайнем случае, значит, и если хватит еще сил. А до того — поддаться им, ледяным?

Кроме того, может быть вовсе и не страшно. Чудесная сказка, в конце концов, это просто колдовской маскарад кружит и мельтешится в глазах. Хоть бы слово они сказали! Так вот нет, сама выбирай. Хотелось сказки — и вот, пожалуйста! Мчится рядом. Стоит только протянуть руку и...

Она протянула руку и наткнулась на угол дома, ледяную стену с налипшим снегом. Окна были пустыми и темными. Ей казалось, что она не поднимается по ступенькам к двери, а выдирается из тянущих книзу рук. На пороге оглянулась все-таки. Карета стояла неподвижно, только тени легли иначе, и те, ледяные, как будто смеялись, холодно и колюче, как трескающийся снег.

Вы наверное думаете, что она потом долго болела воспалением легких, скажем, и «металась в бреду, призывая его имя», и умоляя не пускать ее садиться в карету, и так далее во вкусе прошлого столетия.

Ничего подобного, конечно, Встала на следующее утро, как встре-панная, не то что бреда — насморка не было. Солнце сверкало, глазам было больно смотреть на снег, близкий лес казался таким уютным и дрова трещали в печке. Только когда вышла на крыльцо, чтобы отправиться снова в город на работу — остановилась: перед крыльцом кончался след широко расставленной колеи узких, нетеперешных колес.

И ровный вмятый след подков. Они не менялись, эти следы: будто лошади не шли, а падали сверху, через ровные промежутки, как точно расчисленная лента. И так от ее дома до дороги, и вдоль дороги по полю, по самой канаве, занесенной снегом, до того, последнего фонаря где настигла ее карета. А кругом метель намела сугробы, и никаких следов не было видно, кроме этих.

Она шла вдоль следов и смотрела на них — так, как смотрят люди у которых останавливается сердце. Может быть ей было снова страшно, но о таких вещах никому нельзя рассказать, и она молчала. Может быть, потому у нее стала совсем другая улыбка — теперь.

Рассказала она об этом только мне, и случайно. Я часто внимательно смотрю на людей. Мы сидели за столиком в ресторане во время фашинга, кругом танцевали, бросали серпантин, а она взяла в горсточку конфетти, и бросила щепотку на столик, наклонилась, рассматривая в них что-то. Так я узнала о числе. Конечно, может быть миллион комбинаций или больше? Больше и чего-то другого, чего мы уж и совсем не знаем. Я не думаю, чтобы все могло в точности повториться, особенно, когда этого хочешь. Но я тоже ищу число. Его у меня никогда не было, а ведь это значит, что — может быть.

А тогда? ... Не знаю, не решила еще. Самое трудное в жизни — решать уравнения с неизвестными числами. Числа бывают всякие — и вообще разве мы можем знать, что еще может случиться?

1953. Мюнхен

## КРЕНДЕЛЬ, ИСКАВШИЙ СЧАСТЬЕ

Это не город, а городок в Баварских Альпах, и все в нем живет не по настоящему, а на показ. Как книжка с картинками: красивыми, гладкими, блестящими и яркими. Или, может быть — сказка. Горы — кругом. Косые и ломаные бугры в снежных шапках. Вниз сползают синеватые туманы и цепляются за верхушки елей. Иногда горы поют. Тонкий, высокий звук взвивается в котловине серебряной пылью и никнет, долго рассыпаясь на мельчайшее серебро, как снег. Жители городка говорят, что это звенит пила на дальней лесопилке, но это неправда: горы поют так, пронизывающе, тонко, ни на что не похоже.

Посередине городка стоит старая церковь с розовой колокольней. Говорят, что ее велел выкрасить так один мудрый король. Если посмотреть на нее днем, то совершенно не понятно, почему королю пришел в голову именно этот нелепый цвет. Но если увидеть вечером, особенно спускаясь с горы, освещенную снизу уличными фонарями на площади — высокую, нежно розовую, трепетную, как свеча в теплой ладони — то тогда надо снять перед королем шляпу.

Старый мастер так и стоит перед церковью без шляпы, ветер треплет ему волосы, а он согнулся слегка и внимательно оглаживает скрипку, прислушиваясь, как она звенит еще невидимыми струнами. Струн на ней нет, потому что скрипка, как и мастер, отлиты из хорошей темной бронзы, а звенят другие скрипки: за углом в старинной мастерской их вырезают, клеят, обтачивают, и вместе с запахом и тайнами лака вкладывают в них душу вот уже добрых две сотни лет.

Дома с черепичными крышами, как полагается, — только здесь они кажутся пряничными. Стены расписаны фигурами голубых и розовых святых, в стенах резные ниши со статуями, или просто крупный переплет решетки — деревянный став, в который заложены выбеленные кирпичи стен. Старые дома собрались у церковной площади, высунулись на нее неожиданными углами, а те, что поновее — разбежались дальше, усмежаются палисадниками и нарядными стеклами окон. Не окна только, а витрины тоже: много резных фигурок всяких, святых и зверей, четкие линии резца в упругом дереве. Много рукоделья и нежная, а иногда и забавная выдумка затейных искусных рук, может быть и сердца. И все это в замшевой белизне эдельвейсов, красных баварских сердечках и синих колокольчиках энцианов. Цветов, конечно, много на свете — но только такого густого синего, такого самого синего цвета, что синее его ничего не может быть — нет нигде больше.

Весною цветы спускаются с альпийских лугов, и воздух здесь такой яркий, что и они подстать ему. Летом пестрота в прозрачном солнце кажется очень уж игрушечной, черезчур лакированной. Тупые морды коров с подвязанным колокольчиком медленно плывут по улицам, вереницей с широкими боками; автомобили — а здесь много приезжих! — сердито гудят, но должны уступить им дорогу, влезая на тротуары.

Одно из двух: или коровы, или автомобили определено не к месту, и кажутся поэтому не настоящими, как и куча навоза около игрушечного домика: не веришь в их нужность.

Есть еще ранняя весна, с чуть тающим снегом — ей веришь. И серые лужи на площади тогда совсем настоящие тоже, и теплый южный ветер, перевалив через горы, хлопает крыльями вокруг зажженной смуглой розовостью колокольной свечи, и снег на горных тропинках оседает и темнеет в следах у косогора с растрепанными, обиженными березками, и бегут вниз, в обочинах дорог, бегут, звенят под бревнами настеленных мостиков, вниз, в самый городок весенние ручьи.

Очень уж прозрачна в них горная вода — пить бы только! Она и звенит собственно потому, что иначе ее и не видно было бы совсем — вот до чего чиста! Если в такой теплый вечер подойти к фонарю наверху улицы, у мостика — там, на плоских каменных плитах в ручейке шлепают по воде маленькие гномики в деревянных башмаках — вверх и вниз, вверх и вниз. Цокают деревянными подошвами а такт воде, снуют взад и вперед, как мыши, смеются и радуются, что шлепают, озорники.

Вот такими и увидела их однажды королева. Проходя мимо, улыбнулась и указала на них рыцарю, шедшему рядом. Сперва тот хотел улыбнуться — над ней, а потом увидел сам — и тогда у него блеснули глаза. Королевам полагается многое, больше, чем другим видеть, во всяком случае.

Есть сказки с картинками: в них королевы ездят в золоченых каретах и носят шелковые платья со шлейфами. Есть еще совсем настоящие хмурые дворцы, кареты и шлейфы, и о них пишут иногда в газетах. А есть и еще другие королевы: им пришлось уйти из дворцов, но они еще не попали на картинки. Вот с этими то и случаются настоящие сказки.

Поэтому неудивительно, что королева спускалась с гор в городок темным весенним вечером пешком, а не в золоченой карете. У рыцаря тоже не было меча. Он нес большую картонку, а в ней было очень много красивых коробочек, завернутых в тонкую бумагу. Когда королева потеряла свой дворец, она поселилась в маленьком домике в горах, и стала клеить коробочки на продажу в городке. Они бывали и круглыми, и овальными, иногда даже с зеркальцем, или со стеклянными стенками, в золотой бумаге — у королевы были действительно искусные, золотые руки, и все, к чему прикасались ее пальцы, становилось красивым!

Но ручьи звенят в городке только ранней весной. А зимою он становится действительно настоящим, тем, чем должен быть: рождественской картинкой.

Все, что полагается: темное небо над белыми горами, и снежное кружево леса, и визг лыж на твердом снегу, и сугробы. Сугробы в огоньках под пряничными крышами. Сугробы на крышах в бахrome сосулк, сугробы на сразу затихших улицах, и на всех углах. Конечно, если взять бесчисленное множество самых крохотных, изумительных белых звездочек, слепить их вместе, и выложить этим все закоулки, карнизы, подоконники, решетки, все камни даже — то и не только игрушечный городок, а любой железобетон покажется красивым — но ведь это надо сделать кому то!

И вот широкое низкое окно булочной с козырьком крыши — потолстевшей от снега. Снег чуть присыпал стекло белой пылью, и она поблескивает от света, радужно и весело. Внизу, у окна он притоптан

следами башмаков и санок, столько перед окном толпится народу, большого и маленького, и у всех блестят глаза и носы, как будто их тоже не только снаружи, но и внутри посыпали самым лучшим снегом. Но и неудивительно — у такого то вкусного окна! сквозь стекло сочится этот теплый сдобный запах, и струя корицы или гвоздики вдруг так защекочет ноздри, что захочется чихнуть.

Наверху висят крендели на палке — огромные, чуть ли не с половину колеса! Они обсыпаны сахаром, подрумянены с боков, толкают друг дружку, и все время улыбаются, широко и зазывно. Нежные торты в кремах томно вздыхают и нюхают цветные розы из марципана и сахара, лежащие на них вычурными коронками. Деда — Морозы в цветных сапогах и шапках расставлены повсюду и перемигиваются с шоколадными трубочистами, задевающими всех своими лесенками. Один озорной трубочист приподнял даже цилиндр и расшаркался перед розовой марципанной свинкой, и она была так польщена этим, что хрюкнула, и на радостях проглотила вдруг четырехлистник клевера, приносящего счастье, который держала во рту, глупая свинья!

Вот с этого собственно и началось.

Свинка, увидев, что она наделала, горестно завизжала и принялась метаться по всему окну. Она налетела всеми четырьмя копытцами на разложенные по сортам конфеты и смешала все в одну кучу. Она перерыла носом, жалобно хрюкая, все пряники: с миндалинками, и в облатках, просто звездочки и сердца с коричневой кожицей глазури, и залезла даже в горку сдобных булочек так, что из под них виднелся только ее хвост закорючкой.

Но клеверного листочка не могло быть нигде, потому что он был проглочен, и наконец, она плюхнулась прямо на торт, утирая глаза передними копытцами.

Все это случилось, понятно, вечером, когда двери булочной были уже закрыты, и белые, пахнущие печеньем продавщицы не подхватывали из окна серебряными лопаточками пирожные и сладости. Но все торты, пряники, печенье на окне, прилавках и полках волновались и кричали ужасно. Потерять счастье! Бедная, глупая свинка! Кто же ее теперь возьмет?

Больше всех волновались крендели. Они так размахивали боками, так толкали друг дружку, чтобы лучше увидеть, что почти повалились со своей полки. Один и на самом деле свалился, и теперь лежал на полу, смешно разевая рот с непривычки летать. Но он быстро оправился, поднялся, опираясь спиной о стенку прилавка, и глубоко задумался.

Вообще кренделям не полагается думать. Их дело улыбаться и сверкать сахарной корочкой. Но это был особенный крендель — не все же летают тоже, в конце концов!

— Эй, вы там, тише! — крикнул он, как мог громче. — Свинка, перестань хрюкать! Подумаешь, важность какая — счастье потеряла! Потеряла, значит найти можно! Вот я пойду и отыщу тебе клевер с четырьмя лепестками — только уж больше не дам его слопать!

Конечно, это героическое решение обсуждалось всей булочной до утра. Герои придают жизни нарядность и должны вызывать восхищение. Деда-Морозы усиленно топали сапогами и предлагали Кренделю свои саночки; томные торты готовы были пожертвовать сахар-

ной розой. Но Крендель отличался не только благородством, но и практичностью. Саночки были слишком малы для него, а увесистая роза — тяжела. Вместо этого он взял у трубочиста его щетку, отломил от нее палку, и как только утром открыли дверь, выскользнул боком на улицу.

\*

Не только летать, но и ходить с непривычки тяжело, особенно кренделю. По улицам он шел боком под стенками, и только на перекрестке не выдержал и покатился, удирая из под чьих-то колес — испугался, бедный.

Улица повернула направо, потом налево, а потом легла прямой дорогой, поднимаясь в горы. Гор Крендель не мог рассмотреть, как следует, уж очень они были высокие. Но вначале он шел довольно бодро, опираясь на палку. В горах на лугах растут цветы, травы, клевер, и счастливых четырехлистников должно было быть очень много — иначе откуда-ж бралось столько счастья для всех людей, покупавших марципановые свинки?

Крендель, как видите, знал очень много, и умел рассуждать вполне логично, а если не все, что он знал, было совсем правильно, то разве с вами или со мной не бывает иногда того же самого? И так же, как мне и как вам, ему пришлось горько страдать за свои ошибки.

Дорога все время поднималась в гору и оказалась очень тяжелой. Снег стал глубоким и рыхлым. Крендель вязнул в нем, и безнадежно промокал все больше и больше, пока наконец, совершенно намокший и обессиленный, не свалился на краю дороги и горько заплакал бы, наверно, если бы героям полагалось плакать.

Вот таким и нашла его королева. Она отнесла этим утром свои коробочки в город и теперь возвращалась домой, в горы.

— Ах — сказала она, бережно поднимая его — а ты тут как очутился?

Тут Крендель не выдержал больше: всхлипнул, прижался к ней и рассказал все: как глупая марципановая свинка потеряла счастье, и теперь останется несчастной, как и люди, которым она не сможет его принести, и как он решил пойти за клевером в горы, и вот...

Королева хотела было уже улыбнуться над этим глупым рассказом, как наверное улыбнулись бы вы или я, но она вспомнила вдруг о рыцаре, который однажды помог ей нести коробочки, а потом отправился далеко, и вовсе не для того, чтобы разыскать ей счастье, а потому и не вернулся, конечно.

— Зимой очень трудно найти клевер, милый, — ласково сказала она, — самый простой даже, а счастье и давно. Но, если ты согласишься подождать со мной до весны...?

На этом, в сущности, вся история и кончается. Очень может быть, что Крендель и сегодня еще лежит в коробочке из стекла, на четырехлистнике из зеленой фольги, как его положила королева, и чрезвычайно доволен своей жизнью, считая, что одного героического намерения достаточно для самого лучшего кренделя. Во всяком случае, он совершенно забыл о глупой свинке, потерявшей счастье. Ну, и что-ж из того? Может быть, вы или я теряли тоже, или на нашу долю не оказалось четырехлистного клевера, — и не нашлось даже доброй королевы, видевшей немного больше, чем другие?

1953.

## КОРОЧКА ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ...

Широкие буквы кругло укладывались на блестящей, шелковистой бумаге детской книжки. Черные и серые тона картинок сразу, конечно, дополнялись воображением. Нет, не напрасно так тщательно вышисывались мелочи: чайник, шипевший паром над нависшим, косматым от копоти очагом; капельки дождя на оконных стеклах; грустные глаза мальчика в тяжелых башмаках и вязаной фуфайке, прикорнувшего в углу.

Мантии с горностаевыми хвостиками сказочных королей расцветивают потом историю; история — расцветивает жизнь. Иллюстрации к сказкам должны быть красивы: грубая примитивность, раскоряченные линии (пусть мол, фантазия ребенка насыщает их сама — очень удобный для небрежных людей шаблон замызганной, но любимой куклы) — это уравнение со многими неизвестными. А если фантазии не хватит дальше этих грубых заковык, и прекрасные образы так и останутся нераскрытыми? Стоит ли уже заранее воспитывать безвкусицу? Стоит ли отнимать то красивое, что (как тоже показывает история, но уже собственной жизни), — иногда только и бывает, что в детстве, и остается от него на всю жизнь?

Нет, конечно, не стоит. И эта скандинавская сказка про Старика-Дождевика была иллюстрирована очень красиво. Можно было войти в книгу, ходить из страницы в страницу. Впрочем, судя по картинкам, в этом бедном домике, где то на краю леса, была только одна комната: нарочно крохотный огонек в очаге (очевидно, не хватало хвороста), и над ним пузатый, узконосый выгнутый чайник, который все таки булькал, подталкивая крышку клубочками пара, и пел, наверно — но это уже, кажется, другая история...

Конечно, если вынуть сейчас из памяти эту книжку — слов не припомнить. Сколько было потом прочитано всяких книг! А бедность кажется нам теперь относительной. Ну хорошо, маленький домик, но он прочен, уютен. И хворосту можно было бы принести из лесу побольше, не обязательно же дрова покупать — мы тоже потом таскали, когда нужно было. Бедный мальчик одет добротно, в тяжелую, теплую шерсть, и кожаные башмаки на толстых чулках. Хорошо, его бедная мама вяжет рукавицы, и пошла продавать их в город. Очевидно, недалеко, если пошла пешком. «Ты посиди, мой милый, пока я вернусь и на вырученные деньги куплю что-нибудь поесть». Может быть, вам или мне приходится ездить или ходить на работу гораздо дальше? Или у нас нет ни работы, ни бедного, но собственного домика, и не только отца, но и любящей матери тоже, так что никто не скажет нам: «Милый, посиди тихонько, пока я вернусь». Может быть, и самим нам некому это сказать? Просто — нет никого, ничего, давно уже перестали ожидать когонибудь, и никто не заметит, пришли ли, ушли ли мы из дому... пусто в жизни у нищих людей. Да, мы то знаем настоящую бедность, нам нечего о ней рассказывать...

Однако, почему то все таки запомнился немудрящий рассказ? Столько лет прошло, а вот все таки: раскрылась книжка. Чем то задела,

значит? Но какаянибудь бабочка с помятым крылом тоже трогала. Наверно, а вот не уложилась же в копилку памяти, упорхнула из глаз, усталых теперь, конечно, еще бы: столько видели, что и сами давно помялись, запылились, да и жесткими стали у некоторых. Но вот скользят же по строчкам, которых нет, по словам, которые только издалека слышатся: те ли самые слова — неважно. Важно только то, что в них.

«Жила-была бедная женщина, у которой умер муж, и она осталась одна с маленьким сыном. Жили они в домике около леса, и она вязала из шерсти рукавицы и носила их в город на продажу. Однажды, когда у них в доме ничего не было, мать отправилась утром в город и сказала сыну: «Посиди тихонько, мой милый, пока я схожу и продам свою работу. Тогда у меня будут деньги, я куплю хлеба и сыру, и мы сварим горячее кофе. Мальчик остался ждать: убрал, подмел комнату, повесил в очаге чайник с водой, и уселся у окна смотреть на дорогу. С самого утра на дворе лил дождь, и мальчик сидел так тихо, что слышал, как стучали дождевые капли: кап-кап».

Кап-кап. Кап-кап. Это уже у меня за окном, а не в сказке. Дождь может везде идти, вот он и идет. «Дождит» — говорят на других языках, — очень правильное определение, по моему, но и единственное. Все остальное не подходит. И я не мальчик, и мама никогда больше не вернется, да и не она одна... Собственно говоря, совершенно непонятно даже, с чего бы это примерять сказку к жизни. Еще бы какуюнибудь Синюю Птицу, скажем, поскольку ее все равно за хвост не ухватить, а так — что-то серенькое и северное, как дождь... кап-кап. Может быть, просто уют этих капель. Стучат, чтобы напомнить о чем то. Вот и раскрываются вдруг странички, и мысль, хоть и лениво, но послушно скользит по ним дальше:

«Дождевые капли стучали так громко, что мальчик невольно выглянул в окно: не стучится ли ктонибудь у дверей? И в самом деле: у порога он увидел серенького маленького старичка в шляпе с высокой тульей и такими широкими полями, как будто тот стоял под зонтиком. Со шляпы ручьями лилась вода. «Не можешь ли ты впустить меня к себе обогреться и обсушиться?» — спросил старичок.

Мораль, разумеется, ясна. Мальчик голодный — уже вечер, неправда ли? — но сидит под крышей, в сухой теплой комнате. Призыв к сочувствию. Неимущий дает беднейшему, делится последним, азбука этики...

Избитая пропись? Однако же, без снисходительной улыбки над детской сантиментальностью, а положа руку на сердце: если вот сейчас, в этом настоящем «кап-кап» послышится вдруг «стук-стук», — то что же, не открыть двери, не впустить в непогоду когонибудь только потому, что он — прописная мораль? Да и не потому, что «воскресшее прошлое» вдруг, как в романах, а просто: чужого. Может быть, это будет тоже старик, и у него смешная шляпа, а из под нее глаза: серые, как дождь, и такие же внимательные...

Да, вот струйка фонтана красива, взвивается, играет, но брызги летят, куда попало; река, озеро, море — это груды тяжело колышущейся, перекатывающейся воды. А дождь сучит нитками капли, одну за другой, и роняет, и как начнут падать, так повсюду, все больше и больше пятнышек, пока вся земля не промокнет. Только когда уже



все сделано, пропитано до отказа, тогда собираются в лужи... Дождь знает, что он нужен, и повсюду проникнет. Так и старик, наверное-знает многое, все видит, что и к чему... у других, у меня, у вас — а что, если бы в самом деле, вдруг — ну, может же быть это сказочное «вдруг», — и впрямь за порогом очутился бы Старик-Дождевик? Пришел, заглянул, и стучит: кап-кап.

«Мальчику стало жаль бедного старика, и он открыл ему дверь. Старик вошел и направился к очагу. В его калошах хлюпала вода, и от каждого шага на полу оставались большие, блестящие лужи. Мальчик подумал, что мать, наверно, рассердится, когда увидит, как запачкан их чистый пол, но ему не хотелось обижать гостя, и он ничего не сказал».

Вот это уже сердечный такт, вежливость сердца, а не «куда прешь, чего наследил?» Или поджатые губы, недовольство: пришел чужой, нарушил установленный порядок. Или еще хуже: не замечать ничего вовсе, потому что наплевать: ковер ли, лужа ли, все «до лампочки». (Выражение, замечательное не только по абсолютной бессмысленности, но и по меткости вместе с тем: о человеке, которому все окружающее «до лампочки» — сказано уже почти все, и — и его не стоит впускать к себе, пожалуй, хотя бы и в дождь, поверьте. Наследит не только на полу. С души эти лужи стираются куда труднее).

Конечно, Старик-Дождевик знал, что от его шагов остаются следы — но, может быть, он именно этого и хотел, потому что знал больше, и поэтому только улыбнулся над растерянностью мальчика. Или тот сумел уже не подать вида, как сделали бы вы или я? (Предположим, конечно: мы всегда о себе хорошего мнения.) Услугу надо оказывать незаметно, как будто ее на самом деле оказываешь самому себе: да это почти так и выходит всегда. Одного впустишь — а к другому поступишься сам, — вот и выравнен какой то счет, который ведется не нами, а теми, кто знает больше... Даже атеисты кончают тем, что верят комунибудь — неистребимая человеческая потребность — верить, хотя бы иллюзии. Только если вы верите в диамат, или Сартру — то без меня, пожалуйста. Я верю Старика-Дождевику. У него только смешная докторская шляпа, но он никому не причинил вреда, не создавал школ, его никто не комментировал в тысячах томов, и не опровергал. Да и трудно бы опровергнуть сущее: дождь напояет землю. Вот еще хорошее старое слово; которое трудно заменить простым: «дает пить». По капле, по каплям, но досыта, напояет все и вся, и знает, почему это нужно, знает больше. Да, хорошее слово «дождь», и сколько есть таких о старой, единственно нужной и важной сути вещей!

Жаль тех, кто отгораживается от дождя зонтиками из пластмассы, яркой дешевкой на городских улицах, и недоволен до возмущения: опять пошел дождь! (Хотя бы десять дней подряд до того светило солнце). Но и солнце такому человеку нужно — для чего, собственно, если есть автомобиль? Ради удобства, изнеженности: в лужах пачкаются чулки, а промокнул ноги — надо таблетки и шприцы от простуды. Самомнение горожанина, считающего себя центром земли, удущенной искусственным камнем; — гнилушки, светящейся только в темноте, да и душа тоже выдавливается из тубочки стерилизованного эрзаца.

«Когда старичок обогрелся и обсушился немного, он сказал: ‚А теперь хорошо бы выпить глоток горячего кофе.‘ Но мальчик только грустно покачал головой и ответил: ‚Мне очень жаль, но у нас совсем не осталось кофе в доме. Придется подождать, пока придет мама, она обещала принести‘. ‚А ты все таки посмотри в шкафу — возразил старик — может быть в кофейной мельнице найдется хоть несколько зерен‘».

Да, если уж возьмешься примерять сказку к жизни... нет, милый Старик-Дождевик, у меня для тебя ничего не найдется. Ведь если посмотреть — а что же осталось? — то и видишь: ровнешенько ничего, ни одного зернышка нет. Пусто. И никто ничего не принесет, потому что — кому же заботиться? И зачем? У каждого своя жизнь. Нет, я не жду ни от кого ни обещаний, ни подарков, а дать — откуда же, если нет, роздано уже все, что было, нельзя же до бесконечности, да и к чему? Для себя — обойдусь и так, для других... ну, может быть для тебя, если бы ты и впрямь пришел, хотя — разве тебе действительно чтонибудь надо? Может быть ты просто хотел занять голодного мальчика поисками несуществующих кофейных зерен, чтобы ему было легче ждать. Мне то ждать нечего, так что...

«Мальчик прекрасно знал, что в доме не осталось ни зернышка кофе, но ему казалось невежливым не исполнить просьбы гостя, и он подошел к шкафу, открыл его, и взял мельничку. Но, что же это такое? Она была доверху полна крупными, блестящими, свежее поджаренными зернами кофе, и едва он прикоснулся к ручке, как та быстро завертелась, будто сама молола. Только зерна, казалось, не убывали, и их оставалось столько же, хотя намолото уже было достаточно. «Как же я не заметил этого утром», — подумал мальчик, и поспешил заварить целый кофейник для гостя, себя и матери, когда та придет домой, иззябшая и усталая».

Очень мило, конечно, но — не для меня. Не для нас это, Старик-Дождевик! Ну хорошо, подсыпал ты мальчику кофе в мельничку, тот и обрадовался. Но ведь во время то подсыпано было! Утром последнее вышили, или просто горячей воды напились, а вот к вечеру, смотришь — кофе есть снова. Можно обрадоваться. Ну, а если как голубое шелковое платье? Не знаешь этой истории? Вот я тебе тоже сказочку расскажу: жила-была молодая, хорошенькая девушка, и ей очень хотелось пойти на бал, чтобы встретиться со своим принцем, а сама она была Золушкой, конечно, и того голубого шелкового платья, которое ей так понравилось, никак не могла себе купить. Все собиралась: и год, и два, может быть, много лет. Так и не встретила со своим принцем, не потанцевала с ним. А когда ей потом снова попалось на глаза такое же голубое шелковое платье, и теперь уж ничего не стоило истратить на него деньги — думаешь, она купила его? Нет, ни молодости, ни принцев больше не было. Всему свое время. Когда мечтать, а когда — и не о чем...

Или вот еще: была у человека большая семья, и все мечтали о собственной зелени в большой усадьбе. Создали наконец, свили гнездо, а когда стали на пороге, чтобы начать новую жизнь, рухнуло все: война. Осталась у него из всей семьи одна сестра. Сам он женился, а она замуж вышла, появились дети, и он начал строить снова. Усадьбы, говорит, не осилю, но дом с большим садом... лет пятнадцать строил,

ночами работал, и только-только посадил свой первый горох, — веселый, зелененький такой — первую клумбу разбил под окном — война снова. А теперь совсем один. Сколотил себе напоследок будку на задворках чужого крестьянского двора, и перед ней один розовый куст растет. Все таки, говорит, есть у меня то, что мне нужно: небо, поля, тишь, зелень. А усадьба... да если бы мне подарил ее кто — то для чего? После всего, что было... и для кого? Видишь, как выходит, и ты тут ничего не поможешь, Старик-Дождевик.

«Но Старик-Дождевик отхлебнул из чашки горячего кофе и остановился. «Что же мы будем пить впустую? — сказал он. — Непременно чтонибудь надо. Посмотри ка еще в шкафу — может быть, найдется хотя бы кусочек хлеба.» — «Ах нет, — печально возразил мальчик, и ему стало совсем неловко. «Извините, пожалуйста, но в доме у нас ничего нет. Мама оставила мне утром совсем маленький кусок хлеба, и я его давно уже съел» «А ты все таки посмотри, может быть, хоть одна корочка осталась. Какаянибудь корочка всегда найдется, —» настаивал старик, и мальчик неохотно поднялся и пошел к шкафу».

Вот что, Старик-Дождевик. Теперь, пожалуй, и довольно. Нельзя же все время требовать: дай, дай! Пойми, наконец, что у меня ничего нет. У меня, у нас все отнято, Старик! Посмотри сам, если не веришь — нет, ничего нет, ни дома, ни близких, ни счастья, ни сил. Может быть и жизни то и не было совсем, одно мученье, — а ты говоришь — дай, дай! Неоткуда нам взять, не из чего вытягивать еще что-нибудь, и так из нас жилы тянули! Это ты можешь сучить нитки из капель, их не счесть, и они чистые, небом данные, а на нас небо бомбами падало, наши лужи — кровавые, а слезы в грязь втапывались! Нас ломали, калечили, уродовали, предавали и еще измывались! Из-за подлости, глупости, мерзости, нам теперь неба не видно, выхода нет, надежды никакой, а ты говоришь — дай! Да хоть наизнанку выверни — что же дать то — нету, не-ее-ту, пойми же!

«Но как только мальчик открыл шкаф, так остановился в изумлении. На полке лежал теплый еще, пахнувший коровой хлеба. Не веря глазам, он отрезал от него несколько кусков, подал старику, и сам стал есть тоже, не переставая удивляться: как же так? Ведь утром еще он осмотрел все углы, не завалилась ли гденибудь хоть корочка, и вот...»

И вот она нашлась. Выходит, значит, что корочка найдется все таки — если поискать. Всегда найдется чтонибудь, говоришь. Ну, прости уж за крик то. Наболело очень, устали мы, измучились. Но... найдется, говоришь? Корочка хотя бы?

«Вот, видишь, и нашлась — не корочка даже, а целый хлеб — сказал старик. — Но я сильно проголодался. Пойди в кладовую, посмотри хорошенько, не будет ли там кусочка сала, или ветчины, что ли». «Ну, уж этого в нашем доме давно не бывало! —» убежденно заявил мальчик, но сразу вскочил все таки, потому что теперь ему самому было любопытно посмотреть в кладовой, которая, как он хорошо знал, была совершенно пуста, если не считать разохшейся бочки. И что же: запах свежее прокопченной ветчины он почувствовал, еще не успев открыть двери. С крюка на потолке свешивался жирный тяжелый окорок, а на полке лежала целая колбаса».

Нашлось! У того, кто дал себе труд поискать: может быть хоть что-

нибудь, хоть какая заваливающая корочка найдется, все таки, что-бы... Чтобы угостить гостя? Чтобы дать — тебе, Старик Дождевик? Конечно, не тебе. Ты сам даешь. И так еще даешь, что, сколько ни молола мельничка, а кофейных зерен в ней не ubyло. Не убывают, значит, и эти корочки. Только посмотреть надо, поискать — и вот найдется все таки. И для других, и для себя, и — лучше ведь станет...

Но вот ведь еще что мучает: серость. Правда, ты тоже серенький, но мягкий и ласковый, как сон, как теплый весенний дождичек, а если пусть и осенний, то под такой дождь можно помечтать о Рождестве, о чемнибудь грустном даже, но все таки помечтать. А для нашей серости, о которой говорю, слов много: безразличие, усталость, безнадежность, безвыходность... много всяких «без», и одно хуже другого. Если бы вот такая серая пелена обволакивала твоего мальчика, то он и не встал бы, может быть, чтобы поискать, а только рукой махнул. Это нехорошо, конечно, и ты прав: надо сделать усилие, а то так и от многого отмахнуться можно — от хорошего. Может быть, потому ты и стучишь: кап-кап, стук-стук — чтобы открыли, и хоть нехотя, но пошли поискать...

Стоит только поискать, говоришь ты, и корочка всегда найдется. Видишь, как меня задело! Надо подумать хотя бы, что завтра будет солнце. Мне не расти, правда, больше, но рост бывает разный, и потом: есть еще трава, деревья. Обычно на них не обращаешь внимания, а они растут и радуются — и дождю, и солнцу. Может быть, и меня научить могут? Конечно, это еще не счастье, но счастье бывает разным. Большая радость правда, редко находится, но ведь если и маленькая — это тоже хорошо? Только если уставиться в одну точку с «тоскою во взоре» — то пожалуй, не вымотришь ничего. А если оглянуться вокруг — посмотришь — в шкафу, в кладовой, в какомнибудь уголке души, своей или чужой — себе или другому, но чтонибудь — корочку то — и найдешь.

«Удивлению мальчика не было границ, но он не решался спросить гостя, откуда все это, а тот, отдохнув и поев, простился с ним и ушел. Долго еще смотрел мальчик ему вслед, как тот топал по лужам, а когда пришла мать, кинулся к ней рассказывать о странном госте. «Так ведь это был Старик-Дождевик!» воскликнула мать, всплеснув руками. «Да, мама, он совсем промок, и с него так лила вода, что он наследил повсюду на полу!» «А ты посмотри только, что это за лужи!» И действительно: везде, где ступила нога старика, на полу блестели новенькие серебряные монеты, и их оказалось так много, что с той поры они зажили хорошо, и у них всегда был полный дом».

Ты бы почаще напоминал о себе, Старик-Дождевик. Что? Кап-кап? Стук-стук? Да, конечно, ты прав. Ты то напоминаешь. Нет-нет и пойдет дождь, и ты сядешь гденибудь сучить свои капельные нити, разбрызгивать блестящие лужи, стучаться во все окна, ко всем нам: кап-кап. Дайте, пожалуйста, чтонибудь. Хоть чтонибудь. Ведь у вас есть... Ничего нет, говорите? А вы посмотрите: корочка, может быть, все таки найдется. Вам же поможет. И всегда найдется. Всегда...

1967. Мюнхен

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР

— Итак, это будет платановая история — довольно неожиданно произнес он. — Для начала — мое настоящее имя Джон Смит, но зовут меня Эль Смит, потому что я предназначаюсь для старого, доброго, горячего эля. (При одном упоминании он прищелкнул языком). — Я не уверен, будет ли «платановая» правильно. Как добросовестно ни учи ваш русский язык, всегда сделаешь ошибку. Но меня утешил один из моих хозяев, почтенный профессор, член Санкт-Петербургской Академии Наук и доктор гонорис кауза Оксфордского университета. Он сказал, что за всю его жизнь ему не удалось найти ни одного русского, который бы действительно безошибочно знал свой язык. Очевидно, это славянская особенность. Я не профессор, а всего ночной сторож, но говорю на своем родном языке, смею вам доложить, сэр, не хуже мистера Диккенса, которого знавал совсем еще юным джентельменом.

То, что он обмолвился, назвав меня «сэр», мне очень польстило. В знакомстве с Диккенсом я не сомневалась. Мистер Эль Смит стоял в темноватом углу старомодного резного буфета, и сразу произвел на меня большое впечатление. Он был ростом с литровую бутылку (хорошая пинта эля!) из темно коричневой, облитой глазурью огнеупорной глины. Из под плаща ночного сторожа, облакавшего его основательную солидную фигуру, виднелся небольшой фонарь и уголок жилета с пуговками; у него были полные круглые плечи и широкое, с яблочными щеками и коротким круглым носом лицо, сильно смахивавшее на мистера Пиквика. (Может быть, его знакомство с Диккенсом, всегда подсматривавшим все, оказалось на пользу и романисту?)

Один из углов лихо нахлобученной на голову треуголки загибался вперед, кувшинным носом. В треуголку было так же удобно наливать эль, как и выливать его — в кружку, или в горло, в крайнем случае, если пьющий никак не заслуживает названия джентельмена. При свете фонарика было ясно видно, как добродушно усмехались широко растянутые губы, и подмигивали маленькие проницательные глазки под нахмуренными бровями. Впрочем, мне могло только показаться, что они нахмурены, потому что я чувствовала себя неловко, только что налив в мистера Смита не эля, а простой воды, и всунув в треуголку ветку платана с громадными, как тарелки, листьями. Этот блеклый уже по осеннему цвет вместе с темной глиной давал такую спокойную гамму красок на столе, под стать всей обстановке темноватой, с высоким прохладным потолком комнаты французской квартиры в Эльзасе: удобная современная тахта, но высокий шкаф и буфет с резьбой, ножки стола на львиных лапах, и клавесин у окна с кружевной решеткой, за которым, под громадным платаном вопила, грохотала, свистела и гудела базарная площадь с ларьками, лихими мотоциклистами и не менее лихими шоферами. Я северянка, и никогда не видела раньше платанов, только читала, что такие есть. Но кому из современных писателей придет в голову описывать дерево? Назвали мимоходом, и то хорошо. Я же влюбилась с первого взгляда — старший брат моих лю-

бимых кленов. Такие же листья надорванными звездами, изумительный ствол с наплывами бежевого и коричневого до кремового — бархат, парча, атлас... я погибла.

— Добрый старый Пук всегда учил, что очень важно сделать в нужный момент единственно нужное — продолжал мистер Смит. — Вы, конечно, читали Киплинга, мэм. К сожалению, люди редко делают то, что нужно, даже в разные моменты. Не скрою, что из всех жидких тел я меньше всего люблю воду в небольших количествах, которой моют, или... гм... наливают в живот. Вода внушает почтение и даже, вполне допускаю, любовь — только в таких количествах, как море. Матросы всегда были моими друзьями. Они пахли, правда, соленой водой, но зато умели ценить горячий эль, которым я угощал их на берегу. Но если бы эль не был забываем, я давно забыл бы уже о нем, так давно не ощущал его вкуса... а вот ветка платана, которой вы украсили мою треуголку, это другое дело, поскольку о нем есть история, и я могу ее рассказать. Говорить же мне давно не приходилось...

— Я здесь влюбилась в платаны — сорвалось у меня с языка и я сразу смутилась. Начинать с англичанином разговор не о погоде — против всех правил приличия. — Видите ли, клены я всегда считала своими братьями, так сказать, наравне со мной, а вот встреча с таким великолепным старшим братом кленов, впервые в жизни...

— Платан великолепен — снисходительно согласился мистер Смит. — На мой вкус он пожалуй несколько слишком континентален, я предпочитаю все таки более сдержанный бук или дуб, и рододендрон для лэди, но впечатление он производит безусловно. А медом из Скандинавии? Северяне мастера делать грог и горячий пунш, им это необходимо, чтобы валить с ног белых медведей, когда те забираются на замерзший корабль — я знаю, мне рассказывал шкипер Ольсен из Бергена. Согласитесь однако, что разбавлять виски горячей водой, когда вокруг сколько угодно гор изо льда — это доказывает лишний раз отсутствие того опыта, который имеется только у колониальных империй, привыкших использовать естественные богатства данной страны... О да, мне удалось научиться многому, в том числе и политике, разумеется! Не забудьте, что самая старая и прочная демократия в современном мире — великобританское королевство! У нас ее ввели уже семьсот лет тому назад и конечно, сперва рубили головы, отправлялись в изгнание, ну и без парочки-другой братоубийственных войн не обошлось тоже, не считая драк в парламенте, но с каждой сотней лет манеры улучшаются. Лет через триста на вашем континенте люди тоже, может быть, научатся обращаться со свободой, как с ножом и вилкой, но пока что мне пришлось только видеть, как они орудуют топором и палицей, вроде как у нас во времена Вильгельма-Завоевателя, только без рыцарей... хотя вы почему то усердно говорите о всяких крестовых походах, за и против всяких идей. Тоже континентальная особенность. Любое прошлое столетие моментально выбрасывается на свалку, со всем хорошим и плохим, что в нем было, а когда видите, что сегодня не хватает очень важного, то из этой свалки выхватывается первое попавшееся, безо всякой связи с предыдущим и последующим. Нет, мы консервативны. Мы уважаем мнение другого — поэтому он может говорить и ставить вверх дном все, что ему угодно. Мы даже

аплодируем ему, если он сделает хороший нокаут — взять хотя бы ирландского дрозда-пересмешника, Шоу, потому что спорт у нас — шестое чувство. Но аплодисменты нас ни к чему не обязывают. Для дела надо подумать. Лучшее из прошлого входит в традиции, и они незыблемы, потому что на них строится жизнь. Что ж, до сих пор мы неплохо справлялись с нею. Топоры же мы выставляем только в Тоу-ере для обозрения туристов. Они им понятнее, чем короны Их Величеств. Но прошу прощения, медем. Я позволил себе увлечься. Слишком много приходилось только слушать других, потому что, как я уже указал, люди часто не умеют сделать единственно нужное в нужный момент — и тогда вещам приходится молчать... За последние пятьдесят лет это чувство особенно утрачено. В прежнее время, когда мне приходилось столько путешествовать в поставцах разных джентельменов в дилижансах и каретах, умели больше прислушиваться... Да, я очень быстро попал из гончарной мастерской к настоящему джентельмену. Он часто разъезжал по делам своих клиентов, а кружка в меру подогретого эля в туманный холодный вечер делает сносной оставку в любой гостинице. Недаром меня сделали ночным сторожем — я забочусь о сне! Ровно пинта — не больше и не меньше, потому что кружки в гостиницах бывают разные, ими легко обмерить. Кроме того, девонширские мастерские славятся своей огнеупорной глиной. В таком кувшине, как я, можно даже скипятить воду для чая, и глазурь не потрескается. Это настоящее мастерство, любовная выделка и секреты производства, которые передаются от отца к сыну. Да, самые простые вещи, доведенные до совершенства упорной работой, становятся настоящими драгоценностями рядом с новинками, выдуманскими для того, чтобы их почаще выбрасывать и заменять новыми. Вы, медем, конечно не решитесь поставить меня рядом с какимнибудь с позволения сказать сосудом из этой дурно пахнущей пластмассы! Как женщина, осмелюсь заметить, вы разумеется предпочитаете почаще менять свои наряды на ярмарке тщеславия, но я вижу у вас на руке кольцо с настоящим камнем, а не со стекляшкой, которой раньше проезжие торговцы обманывали бедных девушек, а теперь их носят все, и обманываются сами...

— Вы очень начитаны, мистер Смит, для вашей профессии... — решила и я вставить чтонибудь. — Киплинг, Диккенс, Теккерей, Шоу... и притом не односторонни.

— Разговоры у камина, за доброй кружкой, медем! Когда не было телефонов, то в разговоры вкладывался смысл. Кроме того, привычка к размышлению. Раньше этим занимались и люди, и вещи. Теперь, пожалуй, только мы. Вы складываете ваши познания в большой мешок, который часто волочится вслед за вами и бьет пребольно по ногам. Иногда вы сами даже не знаете, что в нем — слишком редко приходилось пользоваться по настоящему, а уж о том, чтобы обдумать, переварить виденное и слышанное — можно и не говорить. Вот и не говорится вообще! И кроме того, потеряна связь с окружающей обстановкой. Раньше вещи входили в вашу жизнь, становились частью ее и, конечно, приобретали разные свойства, а потому и могли передавать их дальше. Вещи делались руками, головой и не без соприкосновения с душой. А поэтому кресло могло запомнить, например, мысли вашего деда и передать их вам. Заметьте, что жизнь,

частью которой были вещи, способствовала идеализму — остроумный джентельмен назвал бы это парадоксом, но истина часто парадоксальна. Теперь люди имеют гораздо больше вещей, и им с одной стороны придается гораздо большее значение, но ценность их исчисляется только в деньгах, и они не создаются, а делаются машинами. С другой стороны — никто вещей не ценит, их постоянно выбрасывают, меняют, они не входят в жизнь, а только загромождают, отягощают ее... и это, увы, второй парадокс. Между прочим, не в обиду будь вам сказано, мужчины больше прислушиваются к вещам и деревьям тоже. Я не говорю о любовных записочках и высушенном цветке — этим женщины дорожат больше. Но даже молодому мужу всегда больно, когда жена выбросит на чердак старое кресло, или прикажет срубить дерево, дающее слишком много тени. И в кресле и под деревом сидел его дед. Может быть, это происходит потому, что женщина строит свое гнездо по своему, а мужчина не столько обращает внимания на окружающее, но предпочитает не менять его, он более консервативен. Впрочем, теперь наблюдаются некоторые сдвиги. Вы заметили, конечно, что в последнем поколении мужчины начинают приобретать женские недостатки, а женщины — мужские достоинства? Но я опять уклонился в сторону... А мне следовало бы начать с благодарности за то, что вы сняли меня с буфета и украсили платановой веткой, дав этим возможность проявить себя. Пусть и не по назначению: не эль, а вода, которую я не люблю — кто же разбавляет эль водой? Только самые презренные трактирщики. Но лучше быть украшением — чем стоять без дела и пустым. Вы понимаете мою мысль? Есть женщины, которые проводят свою жизнь, ухаживая за имеющимися у них вещами. Стирают с них пыль, перетряхивают — и никогда ими не пользуются фактически, кроме больших праздников. Они гордятся безукоризненным порядком — но избави меня Бог стать такой бесполезной и безрадостной вещью! Не говоря уже о мещанстве — ведь это выхолащивание души, медем! Разве мы заслужили это? Но вы подумали о том, подходит ли зелень листьев к цвету моего плаща — вы считались со мной, и у нас сразу возник душевный контакт. Поэтому и разрешите поболтать о жизни, — и мире вещей. Мы тесно связаны, части целого. Четвертое измерение оставим пока в покое. Оно больше свойственно зеркалам, драгоценным камням, башням. Я просто честный ночной сторож, и мне не пристало парить в облаках. Лучше крепко стоять на этой милой старой земле! Между прочим — не следовало бы касаться личного — но не думаете ли вы, что настоящая любовь к вещам, в особенности к старым, возникает отчасти из-за неуверенности, шаткости вашей жизни? Конечно, мне всего каких-нибудь двести лет, и я могу разбиться — в теории, медем, потому что смерть для нас вовсе не так обязательна, хотя и не исключается. Но вас успокаивает мысль, что вот этот кувшин или стол живут уже двести, триста лет, и будут жить и дальше, после того, как вы... вам этого немножко даже жаль, признайтесь, немного грустно и больно. Да, дерево будет так же расти и цвести, если его не срубят, другие люди сядут за стол, и раскроют книгу, которую вы читали — не подозревая ничего из того, что вы пережили вместе с этими вещами... вот видите, а стол то будет знать! В этом наше преимущество. Мы, как бы сказать — маленький осколок бессмертия, если не совсем, то заслуживающий почтения суррогат.



Триста лет для человека — уже недостижимая вечность. Поэтому дубовая доска, вырезанная в четырнадцатом и восхищающая вас своей резьбой в двадцатом веке дает вам возможность прильнуть к ней и почувствовать себя под ее защитой... ведь у вашей жизни считанные дни, и они так быстро ускользают, все рушится, проваливается в ничто. В этом же веке, когда страх стал писаться с большой буквы, жизнь зашаталась, как никогда — и вам хочется ухватиться за соломинку, за компас, всегда показывающий в одну точку, неизменно... Неправда ли, ведь это утешительная поддержка, потому вы так и тянетесь к ней, по детски хватаетесь за руку старшего, чтобы не бояться в темноте? И лучше зажечь хоть одну свечу, чем мучиться страхом в темноте — так говорила одна моя знакомая китайская ваза, а китайцы с их мудростью изобрели фарфор, не забудьте!

Я была потрясена.

— Два почтенных джентельмена — продолжал мистер Смит — которым я имел честь и удовольствие служить в своей жизни, были законниками. Мне не удалось получить настоящего образования, но я твердо запомнил мудрое правило, положенное в основу всего Римского права, и выражающееся в вопросе, который следует ставить во главу угла всякой беседы: «Куи боно?» Кому это на пользу? В данном случае можно вспомнить и Сенеку, горестно восклицавшего, что человек тратит столько времени на пустую болтовню, а к концу жизни оказывается, что для самого главного то у него не хватило времени, и он остался полуготовым, необожженной глиной, так сказать. Польза же может быть всякой, и я надеюсь, что мне удастся сказать вам что-нибудь хорошее. Заметьте осторожную формулировку старого законника: я не сказал «что-нибудь новое», потому что для последних сведений в науке и политике, где это новое всегда возможно — я недостаточно компетентен. Но хорошее, медем, — это положительный фактор, из которого я исхожу при разговоре. Отрицательные явления и стороны жизни известны уже достаточно, и мне, и вам. Я не закрываю на них глаза — но оставляю между строк. Классический «андерстетмент», неподчеркивание, свойственное англичанам вообще, или по русски лучше сказать: «подразумевающееся умалчивание»? Очень длинно и не совсем точно. Но это — наша островная особенность, и не только в разговоре. Мистер Диккенс, например, описал немало злодеев, трущоб, отвратительных крючкотворцев, психически больных уродов — словом, разве можно сказать, что он закрывал глаза на жизнь? Но вы и сейчас согреетесь за его книгой, как за доброй кружкой эля, и вам станет легче справляться с жизнью. Всем английским писателям свойственно диккенсовское жизнеутверждение. В континентальной литературе его почти нет. Для философского расщепливания волоска ваши писатели часто пользуются топором — способ столь же тяжеловесный, сколь и маловразумительный, ибо заодно раскалывается нередко и голова тоже. Впрочем, во время этой варварской революции в России делалось то же самое безо всякой философии и литературы. Стоя на одной полке, я совершил оригинальное путешествие из Санкт-Петербурга в Петроград, а потом в Ленинград, и этих первичных символов — топоров — навидался достаточно...

— Почему вас это удивляет, медем? Вещи и драгоценные камни постоянно меняли, уже в силу своей долговечности, своих владельцев,

иногда беспрерывно находились в эмиграции, так сказать, даже предназначались для нее. Разница между нами и эмигрирующими людьми в том, что мы редко теряем свое назначение, а люди — сплошь и рядом. Случается, конечно, что драгоценная китайская ваза попадает в руки невежды, не подозревающего ее ценности — но все таки, согласитесь, он может есть из нее кашу, но не сделает же половик! А мне часто приходилось наблюдать, что даже при внутренней эмиграции, то есть ухода из своей страны не на чужбину, а только в щель этой страны, доктора гонорис кауза становились дворниками — и это было еще счастьем, как с моим хозяином например. Но эмиграция — болезнь века. Теперь, попав на Запад, я вижу, что вся Европа, Африка и даже Азия охвачены ею. В дни моей молодости мы видели только французских аристократов, бежавших от гильотины. Если после Первой мировой войны история с русскими роялистами была повторением пройденного, то последняя война вызвала просто повальное бегство во всем мире. Потому ли, что туземцы захватывали фермы и плантации, и подданным Его Величества приходилось возвращаться в метрополию, которую они часто видели впервые в жизни и чувствовали себя стоящими в стороне, притом разорившись до-тла — потому ли, что в какой-нибудь континентальной стране учреждалась та или иная диктатура, ее сменяла другая, и людям приходилось спасаться от обеих — ах, медем, поверьте, что если бы вы жили уже вторую сотню лет, то выучились бы отличать существенное от маловажного! «Почему» — например, это лишний вопрос. Причин может быть много, но все сводится к одной сути. Пожалуйста, обращайтесь внимание только на суть! Раньше эмиграция была печальным исключением, драмой для людей известной категории, и остальные относились к ним, в лучшем случае, снисходительно. Сейчас людей можно разделить на тех, которые уже, и тех, которые еще не эмигрировали, и им еще предстоит, по теории всех вероятностей, бежать в какую-либо чужую страну, заниматься большей частью чуждым им делом, и знать, что за их спиной рушился не только их дом, но и вся эпоха.

— Не потому ли, медем, на вас так действует обстановка этой квартиры? В ней застыл еще конец прошлого века. Кое-кто потрясает уже устои, но они так еще незыблемы, что даже мысли о серьезной перемене не возникает у рядовых людей — вот тех, кому принадлежал этот стол, шкаф, клавишины, кто жил под лепным потолком с решеткой на окне, ограждавшей его не только от шума базарной площади, но и от всего остального мира. И как легко было отгородиться! Мир был надежен, все стояло на своих местах. Теперь вы вошли сюда, как на островок покоя, — в завитки югендштиля, с которых стирала пыль женщина в длинном до полу платье с таким же передником с крыльями на плечах. Я не знаток искусств, но мне кажется, что этот, довольно скучноватый и чересчур перегруженный брик-а-браком югендштилль ничего, кроме уверенности в непоколебимости жизни не давал, но все таки это довольно фундаментальное «кромее», исходя из которого можно дерзнуть дальнейшее... и если я не ошибаюсь, то вы с таким удовольствием рассматривали пожелтевшие рукодельные журналы в шкафу, что может быть сошьете себе тоже крылатый передник, вышитый английской гладью... не смущайтесь, медем! Вышивка доставит вам много тихих задумчивых минут, о которых вы не пожа-

леете, а сколько людей держится за завязки женского передника! И если трудно идти по жизни, то надо же держаться за чтонибудь...

(Он поймал меня врасплох на том, что я подумала на самом деле, и я постаралась переменить тему).

— Но каким же образом вы познакомились с русской революцией, сэр?

(Нет, я не забыла, что его зовут мистер Смит. Но он тоже, называет меня не только «мэм», но и «медем», и из уважения к его возрасту, хотя бы... При слове «революция» широкая тень треуголки легла на его глаза, и он как то посерел и съежился. Вот таким, запыленным в углу какогонибудь пахнущего застарелой пустотой буфета он и простоял эти годы).

— Совершенно верно, медем — ответил он на мысль так же просто, как если бы я произнесла ее вслух. — Так и простоял. Вы очень любезны, но меня зовут все таки Эль Смит, просто мистер, пожалуйста. Я привык всегда соблюдать границы, и слишком хорошо знаком теперь с «бесклассовым» обществом, чтобы ценить, вот именно, сословные традиции. Знать каждому свое место необходимо для порядка, а в качестве сторожа я стою за порядок. Гордиться той добротной глиной, из которой я сделан, я могу только по человеческой слабости, так сказать, потому что не сам же я себя делал, так чего бы гордиться, казалось? Но безо всякой порухи своему достоинству низко поклонюсь китайской чашке из благородного фарфора. Равенство, как известно — чисто человеческое измышление, я бы сказал — пролетарское. В мире его не существует, слава Богу, а навязывать себе то, чего нет — напрасный и вредный труд.

— Каким образом я уцелел? Ну что ж, маркизам, с которых лепили севрские статуэтки, тоже рубили головы, а статуэтки стоят и сейчас в витринах... история не повторяется сама по себе, но есть много идиотов, которые пытаются ее повторить. Мой хозяин подарил меня одному русскому профессору, приехавшему на заседание ученых в Лондоне. Петербург мне очень понравился: близость моря, знакомые туманы, и этот поразительный светлый туман весной, особенная приподнятость мечты, возбуждающее очарование... я понял тогда, почему люди Севера такие мечтатели. В квартире профессора было на мой взгляд слишком шумно: любой вопрос обсуждался с возмущением и страстностью, не приличествующим джентельменам. Русское неуважение к традициям, вернее, полное отсутствие уважения к чему либо, прежде всего, к самому себе, — оно заменяется раздутым и ложным самолюбием или самомнением, и полное неумение обращаться со свободой, даже с той, что есть, не говоря о большей — все это возмущало меня до самого дна! И это в академических кругах! Чего же можно ожидать от революции, кроме топора? Им и поработали достаточно... Почтенный мейсенский фарфор обменивался на муку, а меня, представьте себе, эти невежды сочли простым глиняным горшком, притом со слишком узким горлышком для молока! Еще одно доказательство того, как глупость одних может пригодиться другим — мы, англичане, всегда умели ее использовать... Мой хозяин, как я уже сказал, стал дворником в своем доме, а вся семья поселилась в прежней столовой. Буфет был слишком велик, чтобы его перетащить куданибудь, в нем сломали часть полок, повесили платя, положили белье — фарфор и

хрусталь давно уже ушли на муку — и все постепенно серело, рвалось, пропитывалось запахом нищих людей. Если бы от каждого горя, от каждой трагедии на моей глазури появлялись такие же трещины, как морщины на лице моих хозяев — я стал бы сплошной мозаикой!

— Нет, о революции я вам рассказывать не буду. Те, кто ее делал — теперь искажают прошлое, как могут — но им верят. Тем же, на жизни которых она делалась — раньше не верили, а теперь их совсем списали со счетов, как отживших людей. Так оно конечно и есть — черепки, а победителей не судят, это закон. В концлагерь мой хозяин не попал только потому, что до него умер с голоду, а дочке удалось потом даже кончить университет, стать химичкой. Ей удалось даже получить вторую комнату, снова появился белый хлеб и новая посуда. Грубая, конечно, но — новая жизнь. И вот представьте, что дочка поставила меня на стол с цветами — старого друга ее отца. Потом, когда бежала, то тоже взяла с собой — не могла расстаться с воспоминанием о прошлом, которого не знала вовсе. — Жизнь — странный сплав, медом!

— Но что бы я ни переживал — мечта осталась. Полвека мечтаю: снова бы попасть в свою старую, добрую, милую Англию... или хотя бы — постепенно начинаешь примиряться, и желания становятся скромнее — хоть в какой-нибудь сельский дом скромного джентельмена здесь на континенте, но стоять у него на камине и согревать ему — ваше пиво! Не улыбайтесь, жизнь невозможна без мечты, и люди слишком часто забывают об этом, а когда спохватятся, то поздно, — вот как в этой платановой истории, которую я собственно и собирался вам рассказать, но знаете, так обрадовался, что вообще могу поговорить с человеком, который умеет слушать и видеть, что пустился в разные рассуждения... но у нас еще долгие вечера, медом!

Он говорил без умолку, не переставая снисходительно улыбаться. По губам, по широкому лицу скользили тени от листьев платана в лихо заломленной треуголке. Жаль все таки, что я налила в него воду. Голос поднимался с самого дна без должного резонанса, и звучал приятно, но глуховато. Впрочем, эта утешающая блеклость подходила к общей обстановке, и я конечно, была готова слушать его хоть все вечера подряд. Мои любезные хозяева раньше обыкновенного пошли спать, чтобы показать мне завтра Вогезы, а я, случайная гостыя в эльзасском городке, вместо того, чтобы погрузиться в желтеющие французские журналы, решила увезти их с собой, и принялась за новую книгу известного писателя.

На двухсотой странице романа вопрос: «в чем же дело?» стал уже навязчивым, потому что ни сюжета, ни мысли нельзя было обнаружить никак, и было ясно только одно: у автора блестящий стиль, порядочная ученость и полное презрение ко всему миру, в особенности же к своим героям. К концу четырехсотой страницы вероятно будет то же самое: прекрасно написанная, злая, и ничего ни уму, ни сердцу не говорящая книга, за которую получена премия. «Куи боно»? — старого законника мистера Смита...! Правда, он тоже наболтал порядочно — но он снисходительно ласков к неразумию окружающего, а это — редкое качество у людей. Нет, я предпочитаю мистера Эля Смита...

## ВТОРОЙ ВЕЧЕР

На следующее утро мы уехали в Вогезы. Широкой белой «Симкой» правила хозяйка — типичная русская красавица, — даром, что бабушка; в этом не уступала американкам. За руль она села недавно, и лихие повороты не всегда к нужную сторону были не редкость, но я философски отношусь к жизни.

Пробег по Эльзас-Лотарингии: дорога усажена платанами. Им лет пятьдесят, или больше — но не сравнить по толщине с тем громадным, на базарной площади за окном французского дома. Тому не одна сотня лет, его вчетвером обнять трудно, и изумительная когда то кора давно уже слилась в сплошную коричневую тень — не то, что эти обвитые парчей колонны по бокам дороги.

Земля рыже-красного цвета, поля кукурузы и голубых виноградных лоз. Богатая земля, а деревушки серые, потрепанные, с давно не крашенными домами, покосившимися сарайчиками. Нигде нет ни палисадников, ни цветов на окошках. Не то, что шварцвальдовские, через которые мы недавно проезжали, — такие нарядные, что даже аккуратно сложенные навозные кучи кажутся украшением. Все прибрано, покрашено, за каждым углом внимательный уход, колодцы обложены камнями, и всюду, за каждым деревянным или каменным заборчиком — вьющиеся розы, подсолнухи, астры, далии, мальвы, — и на всех окнах ящики с горящей на солнце геранью.

А вот здесь даже в городке только несколько клумб на сквере, и то кажется по обязанности посажены, для чужих. Для своих растет на берегах речушки за крепостной стеной какой то изумительный сорняк — выше человеческого роста, с нежнейшими сиренево-розоватыми цветами. Он заполняет весь широкий ров, поднимается чуть ли не к перилам моста, наверно еще римской кладки, и лепестки, как бабочки, порхают над темной медленной водой, из которой торчат старые жестяные банки, погнутые ведра — и это в самом городе!

А за низкой городской стеной — теперь от нее только остатки — толстая тюремная башня обрывается прямо в речку — за стеной почти сразу взвивается каменная поэма собора с крышей из цветных глазурных кирпичей. Узоры расшиты крестиком, а кружевные готические башенки тоже каждая со своим рисунком, сквозным, легчайшим. Как будто арки поднялись дымом в высь и застыли над крышей, вот-вот растворятся завитки в сияющем солнцем небе... Это главный святой в стране под знаком двойного Лотарингского креста, пришедший когда то из Рима в глухие леса проповедывать, и заснувший под тремя елями, устав с дороги. Видение во сне указало ему место для постройки собора, и он так и остался сторожить его каменной статуей у входа. На площади в честь его каждый год сжигаются три вогезских ели, а из бочек цедится молодое вино.

Но собор вырезан кружевом не только снаружи. Внутри около алтаря поднимаются ступеньками ряды резных кресел для соборного духовенства и городских патрициев, и на их локотниках, спинках, ножках, неизвестный скульптор вырезал фигурки всех смертных и бессмертных грехов для раздумий над спасением души.

Они живые, эти фигурки. Святые отцы, разрешившие вырезать уродцев, были полнокровными людьми. Их не шокировали вываливаю-

щееся из под ремня брюхо и жующий, чавкающий рот на одутловатом лице Обжоры, стянутые ниточкой нащептывающие губы Сплетника, крючковатый нос, бегающие глаза, загребистые руки Скупца, важная напыщенность ученого Невежды с совиными очками на голодном лице — все эти ухмылки, издевки, гримасы выглядывающих отовсюду, стремительных, неожиданных, хохочущих, хихикающих, пляшущих уродцев из густо коричневого, отполированного столетиями дерева.

Целая галерея их — копии, первоначальные эскизы или просто не попавшие в собор за недостатком места — в маленьком музейчике церковного дома. Их можно взять в руки и изумляться: как просты линии, изгибы — но как же эти живые совершенно уродцы не разбежались до сих пор отсюда, не топчут по улицам среди бела дня тоже! В том, что по ночам — не сомневаюсь. Если остаться на ночь в этом городке — увидишь, как они заглядывают во все окна, проскальзывают во все двери. Вот бы мистер Эль Смит обрадовался им, не стал бы скучать!

Виноградники — кукуруза — платаны... Поля поднимаются на холмы. Вдали тяжелые неровные купола темно-зеленых туч — Вогезы. С асфальта поворот на темно-желтый песок, серпантин тропинок. Ели спускаются вниз в заросшие овраги. На хороших полкилометра срыв — а если из-за любого поворота покажется встречная машина — да тут с тачкой не разъехаться, и задним ходом по такому штопору не съедешь, а машина стоит на дыбах и без того, и... и поделом, конечно. Если не коза, не лезь на гору. Тем более, что горы, как горы. Особого восторга не вызывают. Лес, и у елей и сосен совсем обыкновенные шишки, не какиенибудь особенные. Грибов не видно, кое где только малина.

Снег на Вогезах здесь может быть и лежит, но только зимой, это не Гросс-Глокнер, «Великий звонарь», скажем, в Австрийских Альпах, где в июле из под чуть тающего снега на вершине показываются в расщелинах красноватого гранита плоские мхи с лиловатыми цветочками. Наверху только снег и гранит, облака далеко внизу, через них поднимаешься, как сквозь туман, полная оторванность от мира, и дорога вообще открыта только несколько месяцев в году...

Тишина, солнце, ели, скрипит под ногой хвоя, когда я пошла на привале за малиной. Снизу поднимается тяжелая туча, воздух густеет от жары, комариного звона — спуститься лучше до ливня.

— На одних тормозах съеду! — уверенно заявляет незадумывающаяся над пустяками красавица-бабушка. Она между прочим, доктор химии — дочка того петербургского профессора, который привез когда то из Лондона глиняный кувшин для пива. История, рассказанная мистером Элем Смитом, подтверждается вполне, хотя и в ином освещении, и не удивительно: красавица из другой глины, хотя и не меньшей закалки.

— Мне для Лидочки молока не хватало, когда она родилась, купить нельзя было, да и потом каждый кусок считала, — а если бы кто сказал тогда, что она напишет мне в этом году из Парижа, позовет в свой дом посмотреть на внуков, и я так просто куплю машину, сяду и поеду... Даже и представить себе не пришло бы в голову... Но вот, сейчас съедем, покажу вам бывшую крепость. На неприступном месте стоит, недаром «оплотом» называется. Там теперь из старой конюшни

ресторан устроили, и все забито керамикой. Вы обратили внимание, какая она здесь? Голубовато серая глина с темно синим рисунком. Скажите, почему мы так любим всякие горшки, вазы, кувшины? У меня весь буфет полон, и не могу удержаться, еще покупаю. Вот вечером покажу вам — еще из дома привезла, гарднеровский фарфор, и глиняный кувшинчик, он всегда у отца стоял, забавный такой, как ночной сторож сделан. Как он уцелел во всех передрыгах — не понимаю просто.

— А вы бы спросили у него. Он многое рассказать может!

— Ах, если бы вещи могли говорить! — мечтательно вздохнула она и — бумс! — мы почти врезались во встречную машину — вжжиг! — взвизгнули тормоза. Молодой человек за рулем что-то крикнул, наверно нелестное, махнул рукой, но мы стукнулись лбами обо что попало, и удираем во весь газ, свернув куда — то наудачу на перекрестке. — Уф! — вздыхает она облегченно — я, кажется, правильно свернула... хотя как ни поезжай, все дороги к крепости. На нее дорога стоймя ведет — успокоительно говорит она, делая вид, как и я, что в сущности ничего не случилось.

— Богатые возможности — бормочу я, как актер в старомодных пьесах — вбок, для пояснения публике того, что она должна ожидать, и предпочитаю сама занять разговором. — Знаете, гончарное дело — одно из самых древних ремесел человека... Сперва надо было построить жилье, хотя бы пещеру, потом готовить пищу, сосуды для воды, для варки. Гончар и пекарь родились от огня, это первичный основной элемент, жизненно важное. Но для пекаря огонь — подсобный элемент только, главное зерно, мука, а вот гончар вымешивает тоже муку-глину, тоже ставит ее в печь, но огонь совершенно преобразует ее... Зерно можно есть и сырым, а вот этот кусок глины с края дороги и ваш пивной кувшин — совершенно разные вещи. И еще: как бы красиво ни выглядел хлеб или торт, но он для еды только, необходим, но обыденен. А вот недавно подняли со дна моря амфоры с вином — две тысячи лет им, и попрежнему — украшение любой террасы, и вино в них держать можно. В гончарном мастерстве человек смог впервые проявить свое творчество, огонь, преобразующий материю, зажег в нем стремление к красоте, то есть к искусству, к запечатлению мыслей, видений...

— Но ведь в пещерах были и рисунки на стенах, а резьба по камню и дереву?

— Это чистое искусство, в нем только два элемента: дух и материя, из которой создается произведение. В керамике ж есть и третий, притом первичный, не забывайте этой таинственной силы: огонь, возникающий из материи, чтобы уничтожить одну — и преобразить другую. В керамике линия, краски, формы...

Опираясь на широкий хвост, «Симка» бодро вскарабкалась, действительно почти стоймя, в гору, из которой поднимались крепостные стены. Отличить их от домов было трудно. Проехать по узеньким, метра в два шириной улицам, скользившими бульжниками и плитами то вверх, то вниз — невозможно. И ходить то не так легко. Чудовищные стены, разрисованные ржавчиной столетий и восхищением туристов: для них ресторан в бывшей конюшне. В ясли вделаны лампы, а под навесом стоит могучий, изрытый морщинами, как тролль, ду-

бовый пресс для вина над громадным чаном, в который спокойно влезут две лошади.

Для туристов же выставлены в крохотных витринках прелестные куклы с чепцами и бархатными бантами — три размера, три цены, стандарт. Куклы и в подвальчике, куда сразу проваливаешься по высоким и узким ступенькам витого входа. Грубоватые горшки и миски на полках, и вдруг неожиданно — абстрактные картины, причем с настоящей поэтической дерзостью красивых декоративных пятен.

Туристы штурмуют неприступную крепость. На всех очки, но смотрят они только в объективы аппаратов: щелк, щелк. Встань, пожалуйста, на фоне этой стены...

Одеды одинаково, по принципу: чем больше рябит в глазах, тем лучше. Покрой должен непременно выражать презрение к туземцам: плевать на вас! Чем расхлыстаннее, тем лучше. Своего рода психологическая атака.

К этим бы стенам прислониться темной ночью, в замерших улицах — может быть тогда и услышишь, что шепчут горы. Вздыхают, наверно. Плотины, туннели и маленькие блестящие цилиндрики со взрывчаткой уже поколебали их вечность.

А потом — вниз, с горы, прямо в догнавшую нас тучу, хлынувшую таким взвихренным ливнем на дорогу в платанах, что они стгибаются почти вдвое, великаны эти, если их вообще видно в бушующем на асфальте озере, в котором тонут все машины подряд, и мы в конце концов тоже...

А когда дождь переходит в ровный, мягкий перестук, уютный и успокаивающий, чуть колышущий кружевную занавеску высокого окна, — уже давно наступил вечер, и листья громадного платана, раскинувшегося на всю площадь, мягко благодарят за прохладу...

\*

— Как видите, медом, предлогом к нашей беседе послужила ветка, и связанная с ней платановая история, а о чем мы уже не говорили с вами, только не о ней. Но всему свое время, и не в ней суть. Суть в том, что мы — статичны по своей природе, а вы — хектичны. Прошу прощения, если я беру это слово с английского, вернее, с латыни. Статике противопоставляется обычно динамика, но согласитесь, что вашу лихорадочную гонку, метание, взволнованность, разбросанность, нервность — ни энергией, ни целесообразным движением, то есть просто динамикой назвать никак нельзя. А вещь остается в себе — это сущность статичности. Людям не мешало бы позаимствовать ее у нас хотя бы изредка. Есть соответствующие названия и в религиозной философии: созерцание, обращение внутрь себя, даже просто старомодное выражение: раздумье. Но мы, порожденные иногда вашей модой, меньше всего о ней заботимся. Во-первых, она постоянно возвращается, во-вторых нам именно гораздо ценнее это раздумье. Тогда оно и идет такой широкой рекой, захватывая с собой попутно всякие итоги, вопросы, иногда тоску... и пожалуй оказывается ценным не только для нас? Ведь вот беседуете вы со мной, старым кувшином, и не без некоторого удовольствия, смею думать? Охотно верю, что многие из ваших обычных собеседников значительно превосходят меня по уму



и образованию, но может быть им не в такой степени свойственно то, что вас, гм... так привлекает во мне? Моя статичность вещи в себе?

— Я бы выразила это несколько иначе, — ответила я по английски и надеюсь, с английской же улыбкой. По русски мне просто хотелось бы расцеловать этого почтенного толстяка, но кто знает? Может быть он смутится таким континентальным взрывом чувств, и замолчит, или вдруг треснет и разлетится в мелкие дребезги? При всяком сдвиге в иррациональность надо соблюдать осторожность. Впрочем, и в трех измерениях она тоже не мешает.

— Между прочим, рад сделать вам комплимент, медем. Вам не свойственно делать из мужи слона. Для континентального жителя это редкое качество. У одних экспансивность, непомерные преувеличения, так же как и жестикуляция, выходящая за все рамки приличия. У других — театральная пафос, у третьих — чванливость и напыщенность с тупоумием — и все это раздувание собственной личности и чувств. Я искренно веселился однажды, когда вот на этом диване сидела компания молодых людей обоего пола, но в одних и тех же брюках. Они насмеялись над кисейными барышнями в старомодных журналах, которые вы только что перелистывали. Над тем, как те падали в обморок при малейшем случае и изливались в своих чувствах над альбомом со стихами или засушенной розой. Я не берусь защищать романтическую чувствительность прошлого столетия, но ведь суть в поглощенности чувством, в его преувеличенном выражении. А эта компания юных невежд была сама поглощена двумя чувствами — эгоизмом и вожделением, и стремилась их всячески выставить напоказ, словом и делом. В чем же разница? Сантиментальность может быть наивной, но она редко причиняет вред другим, и ей не свойственно разбивать окна и стулья и лупить полицейских бутылками по голове. В любое время и любому человеку преувеличение собственных переживаний вредит всегда, а распущенность в выражении их — тем более. Но призывы к скромности в оценке себя и окружающего мира бесполезны, повидимому, раз не действуют даже аптечные счета за излишества взбудораженных нервов — и судебные приговоры...

— Ах, медем, какой прекрасный и благодарный материал — глина! Представьте себе, что вы были бы сделаны из благородного фарфора, и вам угрожала бы только одна, и заметьте притом, совсем не неизбежная опасность — разбиться! Но даже в этом случае никто не требовал бы, чтобы вы собрали свои осколки и держались бы дальше прямо, без спасительного клея. Конечно, каждый должен мириться со своей участью, но мне все таки жаль вас, медем...

Я постаралась представить себя фарфоровой, и мне стало немного сухо на душе.

— Но это только одна из причин, почему мне вас жаль — продолжал Эль Смит, растроганно мигая — можно ли сказать на вашем языке: «жалостливая радость»? Или: «радующаяся грусть»? Вот именно так жаль. А почему? Потому что человек с обостренным слухом больше устаёт от шума, неправда ли? Но зато он слышит и паузу, не только как продолжение недоговоренного, но и всю динамику, какую можно в нее вложить. Слушая разговоры у камина в дни моей молодости, я тоже старался учиться искусству отделять паузы словами... Итак, возвращаясь к теме, мне хотелось бы рассказать вам...

— Платановую историю? — спросила я с некоторым недоверием.

— Платановая история — это пожалуй, аккомпанимент, вроде мелодии на этом очаровательном подобии клавесина у окна... Истории и сказки прекрасно сливаются вместе, не мешая друг другу, как наоборот вода, например, может — страшно даже подумать! — безнадежно испортить лучший эль у недобросовестного трактирщика. Нет, сказки — это те дрожжи, на которых вырастают не только истории, но и многое другое в жизни. Сублимация человеческой тоски, так сказать... Видите, медом, как между нами начинает возникать настоящая дружба? Я превращаюсь на ваших глазах в такого уютного собеседника, с которым можно и поговорить о разном, и помолчать тоже. Это наше английское понятие. «благожелательное молчание», скажем, двух людей у камина, за кружкой доброго старого эля, или моего собрата — шотландского виски. Трубка или сигара — дым, настраивающий на мысли. Струйка дыма — вы заметили, конечно, потому что курите сами — способствует раздумью. Так вот, в такой обстановке можно замечательно провести вечер, сказавши два-три слова за два часа, если вы нашли подходящего собеседника. Глубокую мудрость умалчивания постигли, кроме англичан, только еще китайцы, и наверно потому, что у них было достаточно времени для этого за много тысяч лет их культуры. Они умеют ценить паузу, длинное тире, и все остальное между строк, в подтексте. Но вы напрасно пытаетесь скрыть улыбку. Старик Смит журчит без перерыва, как открытый кран у бочки с элем, а говорит, туда же, о благотворном молчании! Уверяю вас, что это не парадокс. В том, что я — чрезвычайно удобный для вас собеседник, вы признаетесь, надеюсь? Ну вот, а кто поручится, что говорю именно я, а не ваши собственные мысли просто отдаются эхом в моей огнеупорной глине? Язык вещей, это очень деликатная речь, и простая вежливость требует, чтобы вы не задавали лишних вопросов, грубо доискиваясь до сути, — что именно, и почему. Правду, конечно, лучше знать. Но если вы станете тыкать ею в глаза вашему собеседнику, то рискуете вызвать обиду и потерять к нему уважение, а это уважение иметь необходимо. Больше того: разрушите очарование, отдохновение этого молчаливого часа с журчащей речью, сумеречного раздумья, которое бывает иногда на рассвете, или вечерами, или на одиноких прогулках. Или когда просто опустятся руки с работой, и вы посмотрите на кусочек неба в окне, или цветок на столе, и погрузитесь в тончайшие различия между двумя оттенками какогонибудь цвета, — а каждый цвет может быть восхитительным, и каждый листок — это маленькое чудо. Все это — редкие минуты в вашей жизни, когда вы по настоящему приходите в себя, становитесь самим собой и вместе с миром, и мыслите по настоящему, а не только решаете сложную задачу взаимоотношений между людьми, приготовления пуддинга или формул электрической машины. Думает только ваш мозг, медом, а душа мыслит — если вы даете ей волю!

Не берусь утверждать, но мне ясно показалось, что его рука, придерживавшая фонарь в складках плаща, слегка дрогнула, и указательный палец торжественно поднялся.

— И — добавил он скромно, но значительно помолчав, — поскольку у некоторых из нас, вещей, есть душа, то нам остается, смею заметить, только одно: мыслить...

Конечно, он был прав. И как прав! Так же как мы, когда доказываем себе, например, наперекор всякой логике, что счастливы... Он действительно становится моим прибежищем и другом, этот тепло-коричневый, шоколадно-каштановый, огнеупорный кувшин! Настоящий друг — редкая удача в жизни, их всегда бывает немного. Дружба — драгоценный цветок, за которым нужен бережный уход, как и за любовью, впрочем тоже. А в любви важны взаимные уступки. Вот мы и делаем их друг другу. Он примиряется с тем, что я — не седовласый английский джентельмен. Я иностранка, я «континентальна», и это непростительный минус, конечно, пусть и смягченный немного моим северным, морским, а не легкомысленным южным происхождением... Прощает, слегка подчеркивая свое превосходство, и не только возраста, разумеется. А я, дорогой мой Эль Смит, просто поддаюсь вашему очарованию. И очевидно, больше не с кем разговаривать, если так нужен отдых разговора с глиняным кувшином. «Был человек, а остался... горшок» —, сказал бы... сказал бы... ах, все равно, вы не знаете, кто сказал бы это, да и нет его в моей жизни больше. Не нужно драматизировать только. Если нет — так пусть будет старый платан, или мистер Эль Смит. И это уже очень хорошо, как теплая печка, огонек свечи в темноте, веселый Оле старого сказочника Андерсена...

— «Невеселый итог» — хотели вы добавить, кажется, дорогая лэди? Простите, если я перебиваю ваши мысли, но нужно внести поправку в параграф. Никогда не смешивайте итогов с целями! Целями вы задаетесь в начале вашей жизни, и их можно грубо разделить на две категории: одни простые, и зависят только от вас: скажем, никогда не жить без цветов, или не унижаться, или еще чтонибудь. Вторая категория — это то, чего вы хотели бы достичь. Сложнее, потому что кроме вас в них входит много других обстоятельств, множество разных «если»... Если удастся, если хватит таланта, если такова ваша судьба. Простые цели ограничены и должны быть выполнены, даже если вы сделаны из самого дешевенького глинозема! А вот большие — чем громаднее, тем лучше. Не стесняйтесь фантазией: лучше достигнуть хоть половины их, чем не иметь вовсе. Ну, а потом жизнь идет не по вашему желанию, а по своему, и когда она начинает уже проходить, или прошла, подводятся итоги. С бухгалтерией их сравнивать нельзя, потому что сколько вы израсходовали лет, сил, нервов — цена и расходы значения не имеют. Только итог. Можете ли вы сказать, что заслужили свое место на полке — сделали все, что могли? Если нет — виноваты сами, и разбейтесь, лучшего не заслуживаете. Если да — прекрасно, прожили не зря. Главное, заметьте — постарались ли? Но сможете ли сказать, что достигли всего, чего хотели? Наверно, нет. Редко кто может, и то с разными «но». И некого в этом винить, ибо кто же виноват в судьбе? Значит, надо смириться, и быть довольным тем простым и тихим, что еще остается. И будьте довольны, хотя бы тем, что у вас еще так свежа душа, что вы можете быть тихой и простой! Можно еще углубиться в философию и сказать: резигнация. Слово непереводимо, а понятие сложно: отречение, в силу необходимости, и в нем, кроме усталости, еще и разочарование, боль, обида, грусть — все, что в следующей ступени — остерегайтесь ее! — становится озлобленностью и ожесточенностью к жизни и к другим. Оставайтесь при смирении, тем «малым сим», которым вы по существу явля-

етесь! И еще я посоветовал бы научиться у нас очень ценному качеству — терпимости. Вы думаете, что мы должны уживаться с самыми разными вещами только в силу нашей неподвижности, отсутствия выбора? Неправда. По врожденному благородству многие вещи страдают, поверьте, не меньше людей от неприятного чужого соседства. Представьте себе, я видел прекрасное трюмо из амбирного красного дерева, на подзеркальнике — серебряная ваза для визитных карточек, — а рядом деревянная миска, расписанная ярмарочным лаком... Или вышитая ядовитой зеленой шерстью подушка на палевой шелковой обивке дивана — настоящий Людовик Пятнадцатый... Эти вещи просто кричали, ежеминутно укалываясь о подобных соседях, они были изранены болью от варварского смешения стилей, грубого хамского невежества! Если вы услышите эти беззвучные крики — не оставайтесь долго в таких комнатах, не живите в доме, где к классическим колоннам приделали готическую башню, не дружите с человеком, способным надеть красный галстук к зеленому жилету! Это беззвучный крик, но если он не режет ваше ухо, потому что вы не летучая мышь, то все равно царапает ваши нервы, вы раздражаетесь, вы беспокойны от дисгармонии, она должна возмутить вас. Но мы знаем о жизненной нужности, права на жизнь множества вещей совсем другого вида, материала, одухотворенности, в рамках общего сосуществования, и мы искренно уважаем их даже, а не только терпим, и это диктуется именно уважением к вещи, терпимостью. Я могу стоять на столе из любого дерева и быть с ним в хороших отношениях, безразлично, чиппендель ли это или просто сосновые доски — важно, чтобы они были отполированы, хотя бы песком. Могу облокотиться о стену, выкрашенную простой известкой — если она не оклеена ярмарочными обоями. Разумеется, я говорю о вещах, а не о дешевке, которая одинакова в своей безвкусице, и понятно, бездушна. Дешевку можно смешивать как угодно, ей все равно, и она одинаково портит воздух, как и полагается плембсу. Но почему этой терпимости хотя бы, не говоря уже об уважении к инакомыслящим не встречается у людей, или так редко, что терпимый человек считается чуть ли не выдающейся личностью? Хорошо, скажем вы умны и презираете невежество. Понимаю, меня самого передергивает до самого дна от американского слэнга, например, или лондонского кокнея. Но если человек просто сделан из другого материала, и по своему умен, по своему верит и говорит на чужом языке, то почему слово «чужой» равносильно у вас с «ненавистный»? «Почему ваши дети улюлюкают вслед человеку в тюрбане, скажем, почему родители навязывают детям свои взгляды — именно свои личные, а не объективные истины, и те, в свою очередь, не терпят взглядов родителей? Почему настоящее, духовное воспитание остается попрежнему на пещерном уровне вот уже которую тысячу лет? Мне по сути непонятен, например, материал этого стола: он из дерева, которое росло, в нем сохранились слои, их надо было полировать, обтачивать, пропитывать лаком. Я — из прекрасной глины, проходил тройную закалку, — и у нас различное мировоззрение, ибо разная суть и назначение. Но я стараюсь понять это дерево, потому что оно не менее благородно, чем я сам. И поверьте, что если вот эта ваза из драгоценного горного хрусталя, которой мы все восхищаемся, вздумала бы переделывать нас по своему и считать, что только горный хрусталь имеет цену, то мы все,

все вещи в этой комнате уговорили бы полку сбросить ее вниз, и это наверно удалось бы. Наш мир прост, видите ли: у нас всегда торжествует добродетель, а терпимость и уважение — неотделимы от нас.

— Следующий раз — говорю я с неожиданной горячностью — мы выпьем с вами за торжество добродетели, мистер Смит, — это совершенно необычный тост! Я знаю, что чувства для вас слишком . . . континентальная область, что ли, но мне хочется сказать, чтобы вы знали: я вас очень полюбила, мистер Смит, просто и исчерпывающе. На дружбу я могу надеяться только, ее надо заслужить, она не дается даром, это требовательное чувство, это пчела, собирающая мед, а любовь мотылек, она порхает, не спрашивая.

— Конечно — скромно сказал мистер Смит, — будучи вещью, и обладая только душой, а не сердцем, я может быть не слишком компетентен в чувствах. Но вы очень хорошо отделили любовь от дружбы, и кстати я, со своей стороны (он сделал намек на старомодный поклон, поскольку позволяла его толщина) — льщу себя надеждой на вашу дружбу. Но прошу прощения за некоторую поправку. Вы забыли упомянуть об одном очень важном аспекте, свойственном и тому, и другому чувству, а именно о привязанности, как самой основе их. Я не слишком компетентен, как филолог, но в то время как само слово «дружба» звучит сильно, а в «любви» слышится что-то соловьиное, то в слове «привязанность» выражена сама сущность смысла. Человеку присуще стремление к гармонии, это заложено в нем природой, ибо поскольку он — составная часть мира, при всем своем разнообразии построенного на гармонии, соотношении чисел, то он стремится гармонизировать себя с ним, хотя бы и бессознательно связать себя, привязаться к чему или кому либо. Заметьте, мэм, что это отнюдь не стадность, в которой ищут оправдания утверждению, что человек — общественное животное. Стадность — примитив, основанный на самых низменных инстинктах, это толпа, чернь, и в основе ее не гармония, а страх, являющийся уже сам по себе диссонансом. Заметьте, что хотя никому не удалось еще точно определить, в чем заключается счастье, ибо оно бесконечно различно, всему его разнообразию присущи некоторые общие черты: чувство глубокого внутреннего подъема и слияния, вот именно чувство привязанности и растворения индивидуума со всем остальным миром. При этом безразлично, происходит ли это счастье от первой влюбленности, получения Нобелевской премии, совершения подвига или принесения себя в жертву. Но хотя высокие примеры дружбы прославляются, как героические подвиги, хотя о любви написаны миллионы книг и песен, скромное чувство привязанности совершенно незаслуженно отодвинуто на задний план, как что то мелкое и только слегка щебечущее, вроде обципанной канарейки в мещанской комнатке. А вместе с тем не каждому человеку удастся найти за всю свою жизнь одного друга, или быть им кому либо. Не каждый человек даже испытывает настоящую любовь, и мало у кого она остается на всю жизнь. А вот мелкие привязанности, эти брызги — не хочу сказать «осколки», они враждебны моей натуре — лучше искорки, нотки божественной гармонии, капельки, в которых играет радуга — это может быть у каждого, и порождается именно стремлением связать себя, сливаться хотя бы на миг с кем или чем либо, чувствовать свою общность, и вместе с тем поддержку, взаимное укрепление друг друга.

Это чувство нужно, потому что как бы жизнеспособен и жизнелюбив человек ни был, преходящесть всего заложена в его подсознании, и инстинкт самосохранения заставляет хвататься за любую точку опоры. Отсюда и привязанность к вещам, и заметьте, в особенности в том случае, когда она лишена чувства собственности, а заменяется благодарностью за существование вещи, дающей опору в преходящем мире своей красотой, то есть гармоничностью. Красота не обязательна, но привычность — есть такое слово? — давнишнее знакомство, поддержка спокойствием, защищенность одним присутствием чего-то, разделенность жизни. На таком чувстве держится очень многое — дом, любовь к родине — понятие настолько же абстрактное, насколько и вещественное, и именно это чувство и наделяет нас тем, что называется душой вещей: создается взаимосвязь, взаимоотдача, замыкается круг. Поскольку же это — душевное чувство, то оно свойственно и нашему миру. Вы представляете себе, как бы осиротели эти дома на площади, если бы — Боже упаси! — срубили бы вдруг этот древний платан? Или наоборот — как был бы он ранен до самой сердцевины, если бы снесли эти дома! Одиночество, мэм — это зубчатое колесо: оно непрерывно цепляется за что либо. Конечно есть разница между одиноким, выжившим из ума стариком, надоедающим своему соседу, за которого он цепляется судорожно, руководимый потухающим уже инстинктом умирающего животного; и тем одиночеством, часто мыслящего человека, который, поднявшись на следующую ступень, освободившись, намеренно или по воле судьбы, от многого, что часто составляет содержание жизни у многих, и оставшись одиноким — в промежутке или на совсем — опять таки вводит в свой замкнувшийся круг, захватывает зубчаткой своего одиночества то и другое. Может быть, мысли, которые раньше не пришли бы ему в голову. Может быть, другие чувства, которым раньше мешала занятость, а теперь есть время для размышлений и ощущений. Может быть, наряду со всем этим, вот именно мелкие привязанности к привычному, успокаивающему, охраняющему, создающему общение, и если это вещи, с которыми не всегда можно говорить, но всегда зато можно обмениваться мыслями, — стоит только дать себе труд проникнуть в суть, а одиночество дает эту проникновенность — то оно захватывает окружающее не только поверхностно зубцами, но и вглубь.

### ТРЕТИЙ ВЕЧЕР

... «Дорогой друг, меня только что обидели, снисходительно и рационально, и я понимаю, что человек наверное прав, но мне обидно, больно, я краснею душой, а в следующую минуту возмущаюсь. Мне кажется все таки, хотя я в этом не люблю признаваться самой себе — что я заслуживаю лучшего, более вдумчивого отношения, большего внимания. Как же реагировать на снисходительное и пренебрежительное, но все таки ущемляющее предложение этого чужого, умного, преуспевающего и в сущности благосклонного человека, который делает мне одолжение, подчеркивая при том, что исключение для меня лично, по дружбе, так сказать... Сказать ему, что я в этом не нуждаюсь? Глупо. Он прекрасно знает, что не я ему нужна, а наоборот.

Сказать, что я заслуживаю большего уважения, представляю собой единицу, с которой он должен считаться? Тоже глупо и заносчиво, потому что если бы я была действительно этой единицей, он со мной давно считался бы. Сказать ему, что я уверена, что когданибудь он убедится в моей правоте, и ему будет стыдно и жаль, но поздно? Но ведь каждый, самый завалящий «работник искусства», хоть с какогонибудь боку, считает сам себя ценным. Но пусть даже и так: вот такие то мои мысли представляют собой известную ценность. А сколько людей высказывали их ничем не хуже, и сколько — гораздо полнее и глубже? Разве это какаянибудь мудрость, достойная всеобщего внимания, а не всего только еще лишней — и действительно лишней! — раз что то такое сказанное... Мимолетный пустоцвет, как цветущий бурьян — лишнее. И лебеда, и бурьян могут прелестно цвести, между прочим, и если взять в руки, рассмотреть поближе, то этим филиграном, тончайшими нюансами какогонибудь блеклого цвета не только можно, но нужно восхититься даже. Но кто будет всерьез восхищаться татарником или лебедой, когда кругом сколько угодно настоящих роз? И если комунибудь розы встречаются редко, а все больше бурьян по обочинам дороги — так ведь это бедные люди, они бредут в пыли, и их умиление сорным филиграном мало кого трогает.

«И вот видите, как всегда, когда хочу выразить свою мысль или чувство, соскальзываю, просто не могу сказать иначе, чем образом — сейчас этот бурьян. Совсем не ново, в сущности одно и то же, что я всегда повторяю, просто потому, что так вот этим и живу, или чтобы убедить — других и себя прежде всего.

«Английский философ Чарльз Деф сказал, что все равно, во что человек верит, в истину или иллюзию — важно, чтобы он верил. Можно ли сознательно верить? Я всегда создавала себе иллюзии, и верила в них, потому что мне хотелось, чтобы было так, и если по настоящему не может быть — то пусть будет иллюзия, маленькое утешение, радость — и это помогало жить. А мне было трудно жить, Вы знаете. Но получается странная двойственность: я не уверена до конца, права я или нет, обманываю себя только или...? Если бы Вы могли ответить мне на это так, чтобы я действительно убедилась!

«Вот например: недавняя поездка. Несколько больших и малых городов. Несколько старых знакомых, и очень много совершенно незнакомых людей. Трогательные встречи и с теми и с другими, действительно задевающие сердце. Вот кто-то незнакомый узнает о моем приезде, по телефону за тысячу километров находит меня в чужом городе, организует экспромтом еще одну встречу, собирает совсем чужих — и таких близких сразу людей. Это уже не любезность и гостеприимство, а настоящее сердечное тепло, которого не так уж много на свете. Это значит, что у многих людей — и разных, от таксиста, возившего четыре часа по городу, чтобы показать, как здесь по иному пахнет море, и не взявшего денег даже за бензин — до профессора истории и пастора, показывавшего церкви — у всех их было что-то задето мной, и притом хорошее, вызвавшее благодарность — но ведь за то, что я им, значит, дала! Эта поездка была неожиданным праздником, и конечно я вертелась и нежилась, и старалась блеснуть со всех сторон. Да, говорю совершенно откровенно, потому что Вы — такой мой друг, которому могу сказать. И то, в чем самой себе признаюсь не сли-

шком часто, опять таки потому, что хочу верить — в иллюзию ли, в правду ли...

Да, признаюсь, мне конечно льстило, было даже немножко стыдно от похвал, была всем благодарна до слез, — а вместе с тем отмечала уже по ледяному, краешком глаза, с любезной, понимающей и ничего не требующей улыбкой — что те, на кого мне полагается смотреть снизу вверх (и я и смотрю так часто) — все без исключения не протянули мне даже пальца. В лучшем случае — снисходительный кивок если уж нельзя было из вежливости иначе. Я для них просто не существую, такое «сбоку-около-кое» существо, которое нельзя же, помилуйте, принимать всерьез. Не то, чтобы нашли слишком легкой — просто не дали себе труда взвесить.

«Случайность? О нет. Десятки лет подряд случайностей не бывает. Но эти две линии как наметились сразу, так и оставались неизменными. А при всей самокритике все таки должна сказать, что после первых незрелых шагов я сделала несколько и вперед с годами, создала что-то действительно свое.

«Нет, я не озлоблена, и не так глупа, чтобы считать что меня решили все преследовать и замалчивать из-за каких то коварных соображений. Сперва я надеялась, ждала, старалась, и было больно от пренебрежения. Впрочем, больно и до сих пор. Только раньше, если я могла возмущаться, стараться пробить эту стену, доказать кому то и прежде всего самой себе, что мне удалось все таки подняться еще на одну ступень, то теперь —

— Я спокойно складываю оружие. Теперь уже все равно. Голову больше не закружит — ни любовь, ни слава, ни вино. Я знаю, что было нужно. Но, раз этого не дано — значит, будет темно. — Жизнь меж двумя поколениями — какая была — прошла. Революции и Империи принять я никак не могла. Одна убивает, другая умерла. — А синица моря не зажгла. Мне ж хотелось быть не синицей — а большою, Синею птицей. — Итог подвести бесстрастно — радости, горести счастье — можно, хотя и напрасно, если так просто ясно: в мире этом прекрасном — не каждому место есть. —

— то теперь я не надеюсь и не жду больше. «Резигнация» — о которой говорил вчера мой новый очаровательный друг, мистер Эль Смит, с которым я случайно встретилась, и разговариваю каждый вечер. И каждый раз, когда чтонибудь врежется ножом — неуклюжая похвала, от которой стыдно, или явное молчание — то остается только недоуменный вопрос: что же делать? Продолжать верить в иллюзии, создавать себе их из филигранного бурьяна? Для тех, кто бредет мимо него в пыли, и устают, и если все таки улыбнутся над каким то сорняком, то пусть хоть сорняк напомним, что и на такой дороге можно найти красивое. Может быть именно в этом оправдание все таки? Несмотря на сознание, что и другая сторона тоже совершенно права: какими бы звездами ни расцветивался бурьян, все равно это сорняк, а не классическая роза!

«Пишу Вам потому, что — снова стало больно от обидного снисхождения — и «кому повем печаль мою»? Конечно, я буду благодарна снисходящему, как всегда... на что же другое я могу рассчитывать? Не на что...»



— А на вашего друга рассчитывать можете? — с легкой усмешкой спрашивает мистер Смит, как будто выдул вопрос надутыми щеками, так что у меня выскакивает ручка из пальцев, а даже золотой Паркер, падая на бумагу, делает кляксу.

Милый мистер Смит! Я совсем забыла, что он попрежнему стоит посреди стола, в своем коричневом уюте, и из лихо заломленной треуголки великолепным пышным султаном торчит ветка платана с широкими листьями. Я просто присела к столу, чтобы написать ответ на деловое предложение, а вместо него начала совсем другое письмо.

— Нет у меня такого друга, мистер Смит, с которым я могла бы поговорить. Это письмо — просто так, есть письма, которые никому не посылаются...

— Почему же? Их посылают на ветер, или бросают в ящик без адреса. Или пишут на листьях... платана, например. На таком громадном — посмотрите, уместится целая исповедь, или тысячу раз «люблю». Мне хотелось бы намекнуть, что нам тоже свойственны некоторые чувства. Привязанность, например, к некоторым вещам и людям. Поверьте, я до сих пор чувствую в себе некую трещинку, когда вспоминаю о своем первом хозяине, distinguished джентельмене и эсквайре, разбиравшемся во всех сортах пива и эля, как никто больше. Полагаю, что это ноющее чувство ущемленности сопутствует любви во многих ее стадиях, особенно в последующих, хотя разумеется, не могу считать себя знатоком вопроса. Впрочем, кто может? Но пытаться надо, говорю я всегда. И вот, поскольку вы сорвали ветку с платана, самого громадного здесь, то может быть вас заинтересует история одних писем на его листьях, тоже послывшихся на ветер. Кто знает, может быть ваше письмо тоже будет переписано и отправлено сегодня ночью, и никогда нельзя знать, что из этого выйдет...

Он совершенно явно хочет отвлечь меня от горьких мыслей, и делает это с таким тактом, что судорога боли сразу ослабевает. Милый мистер Смит! «Письма на листьях клена» я сама писала когда то, в первую и конечно несчастную влюбленность, посылая их на ветер. Как это было — тогда?

«Почему в глазах коня — топазы, — И так гулок стук его копыт? — Почему такую странной фразой — Обведен его кленовый щит? Или этой неизбежной жаждой — И его спойл осенний клен? Почему «Сражаться должен каждый, — Но за то, чем не владеет он?» Рыцарь, слышишь? Но не слышно стога. — Гибнет осень. Ты не поднял глаз. — Я пишу тебе на листьях клена — В осень, в ветер, — и в последний раз...»

— В моей истории — обстоятельно начинает мистер Смит, — замешано несколько людей, и вот уже с самого начала я наталкиваюсь на затруднение: как мне их назвать, чтобы вы не перепутали персонажей? Для вас, может быть, очень интересно было бы, встретив когонибудь, сразу знать их жизнь, но я достаточно старомоден, чтобы считать невозможным для джентельмена называть имена. Между прочим, вы заметили, как среди современных мужчин широко распространена та отрицательная женственность, которая выражается в безудержном обсуждении всех знакомых? Мне приходилось слышать от, казалось

бы вполне порядочных мужчин самые интимные предположения и определения лексиконом вдребезги пьяного матроса о женщинах, которых они не знали даже толком, как их зовут! Однако, назвать число их возлюбленных они не задумывались ничуть. Прошу прощения, сэр! И я не обмолвился. Поскольку письма на листьях платана — чужая история, то я буду считать, что рассказываю ее не вам, медем, а пожилому джентельмену, слишком хорошо знающему жизнь, чтобы приходить в негодование от грубости низших классов, которую перенимают теперь многие, считая ее почему то либо признаком мужского превосходства, либо доказательством своих вполне современных взглядов. А поскольку все персонажи давно уехали отсюда, то можете посмотреть вот на то верхнее окно слева от платана, в доме с некоторым налетом барокко. Теперь проведите от него мысленно, как в геометрии, диагональ через все дерево, к балкончику первого этажа у серого дома справа... На нем стоял раньше мухоморный зонтик, и диагональ была проведена потом настоящая, при помощи обыкновенного шнурка и катушки. Но сперва письма бросались просто на ветер... Посмотрели? Вам понравились, наверно, завитушки крыши над верхним окном, и зеленый шелковый бант веток под ним, как шелестящая живая рама, неправда ли? Оно было всегда открыто в ветки над площадью, и зажигалось по вечерам фонарем...

— Между прочим, мэм — обращали ли вы внимание на окна у различных людей? Достоуважаемый мистер Диккенс, представляя читателю персонаж, часто описывал окно в его комнате. И не зря. Я раздумывал над этим не раз, насмотревшись почти за две сотни лет на немало окон, пока не пришел к выводу: человек определяет окном свое отношение к миру. Возьмите крохотные, большей частью под крышей с ящиком герани, цветочным горшком с любовно поливаемой розой или просто с веселым горошком: жизнь маленьких людей и чудачков. Или слепые, выщербленные, заклеенные окна скряг и других нищих духом. А в узких каменных рамах раненого мечтой средневековья — цветные стекла, и за ними алхимики искали философский камень, рыцари заковывались в латы, королей можно было узнать сразу по их коронам, и вода... гм... редко употреблялась для чего либо, разве чтобы утопить в ней когонибудь? Или эти большие и уже широкие окна в мелком переплете, под крышами в чепчиках и куполах, у белоколонных дворцов и поместий, с кружевом занавесок, чинно подобранных в менуэтном реверансе, или вальсе патрициев! У фабричных квартир теперь квадратные окна, и все равно, желтая штора или красная — они похожи, как две пинты эля. Когда я попадаю в новую квартиру, я прежде всего смотрю на окно. Вот наше, например, во французском доме: оно высокое и как то подчеркнуто прямое, как поджатые губы. На нем красивая чугунная решетка, но она всегда заперта, и ее хотелось бы разбить, если бы не колыхалось это кружево занавески... я всегда боюсь, что она зацепится за острые копыя решетки и оборвется, как мечта. Но у хозяйки есть вкус: она поставила рядом с ним чудесный старый клавесин, и получился уголок, который художники называют «интерьером». Так важно, что сделает человек со своим окном! Представьте себе, что на этом окне висела бы чинно оттянутая грузилами книзу, чтобы не колыхалась, унылая сетка! А ведь многие люди боятся свежего ветра, и того, что скажут соседи.

Я совсем иначе смотрю на человека, который заставил подоконник горшочками с кактусами, чем на того, который ограничился большой вазой на полу, чтобы она протягивала ветки к солнцу. Конечно, вы скажете, что многим приходится жить, не выбирая, как в тюрьме, где за стеклами может быть только серая стена, но поверьте, если человек умеет видеть кусочек неба — а ведь ради того и делаются окна — то он скрасит любое окошко, как и жизнь вообще, при всякой бедности. Только не души. Я уже имел удовольствие указать вам, что многие вещи имеют душу. Смею вас уверить, что некоторые человеческие индивидуумы с успехом заменяют ее чем то иным, чему трудно подобрать определение, хотя впечатление от этого не улучшается...

Он журчит, отвлекшись по обыкновению в сторону, как все старички. Несмотря на свой молодцеватый вид, мистер Эль Смит все таки несет на своих круглых плечах солидный, завидный быть может возраст — вторая сотня подходит к концу — а журчит, как ручеек, так что на мгновение я краснею от стыда за еретическую мысль, — а может быть, это просто нелюбимая им вода выливается из...

— Медем! — строго говорит он, пытаюсь нахмурить брови. — В моей глине не может быть трещин! Я могу разбиться, не спорю, теоретически такая возможность существует, но трещина!!!

Он прав, и я опускаю голову, терзаясь стыдом: как могла подумать такое! Наши пресловутые души могут быть с трещинами, с дырками наверно тоже — бывают же дырявые головы! — но он, огнеупорный кувшин из лучшей глины Великобритании — нет, это невысказано.

— Одно из наиболее уважаемых мною континентальных свойств, — говорит он, смягчаясь — это, разумеется, признание вами нашего неоспоримого превосходства. Коль скоро это соотношение установлено, то все остальное находит надлежащее место. Поверьте, что я способен оценить ваше почтение, медем. Поэтому вернемся к окну в платане. Кстати, подвиньте меня немного, пожалуйста, чтобы я мог лучше... спасибо, вот так. Видите, сейчас вечер, но огонек пробивается сквозь листву, и светит через всю площадь. Раньше там стояла лампа под оранжевым абажуром. Она была вырезана из дерева с большой любовью и немалым искусством, и изображала цаплю, держащую лампу в клюве. Цапля походила немного на сестру этого резчика, хотя это вряд ли служит комплиментом для женщины, уже не первой молодости и вдовы к тому же. Правда, у нее были красивые глаза и заботливый характер... разрешите называть ее просто Цаплей? Имена вообще человеческое изобретение. Мы, вещи, привыкли называть себя по существу. Голубая чашка династии Минг, например, всегда будет таковой, и было бы странно называть ее «Лиу-Лин» или «Дэзи». У вас нет такого имени: Цапля?

— Нет, но я уже представляю ее себе, а это главное...

— Лучше всего дать простор воображению. Этот город славится, своими текстильными фабриками, и Цапля, попав сюда, быстро устроилась на работу, стала мастерицей. Она недурно зарабатывала, вела дома хозяйство и я часто видел ее читающей по вечерам. У нее был очень осторожный, с редкими встречами роман с одним адвокатом, у которого жена была в сумасшедшем доме; она трогательно ухаживала за своим братом, и безусловно понимала толк в фарфоре.

Не знаю, сказать ли ему, что кроме японского «цацума» (оливково-

оранжево-сепийные тона с золотом — две чашки с чайником на синем бархате футляра стоили дяде небольшое состояние) — я теперь почему то полюбила фаянс — может быть потому, что состояния у меня нет, а даже в дешевой керамике больше ручной работы, чем в дешевом фарфоре, и фаянс уютный...

— Но такие ереси лучше не произносить вслух, мэм! Впрочем, за цацума я прошу вам многое. Вот то, что вырезывал брат Цапли из дерева можно сравнить как фаянс с фарфором, если считать настоящей резьбу по слоновой кости. Не тончайшее искусство, но хорошая линия, оригинальные находки, для широкого рынка, но со вкусом. Он делал подставки для книг, лампы, солонки, пепельницы, шкатулки и всевозможные незатейливые фигурки. Резчик был инвалидом. До войны он был у себя дома лесничим, но это осталось слишком далеко позади, чтобы дойти — даже если бы он смог ходить. Почему Цапля привезла его из военного лазарета сюда — неизвестно, а квартиру эту я думаю она взяла из-за окна, открывающегося в самую гущу платана — чтобы у него всегда было в окне дерево, листья и птицы.

— Не спрашивайте, как — но мне известно о нем немного больше даже, чем самой Цапле, не говоря уже о других. Я знаю, что Резчик, хладнокровно шутивший с докторами и сестрами после ранения не то чтобы боролся один-на-один со смертью, а спокойно снимал перед нею шляпу, приглашая поскорее покончить с ним, раз это неизбежно. Но может быть именно потому, что она не привыкла к вежливым приглашениям, он остался жить. Он заплакал только один единственный раз, когда вышел из лазарета и обхватил руками первое попавшееся дерево — простительная слабость. А после этого стал жить, как подобает джентельмену — то есть справляясь с жизнью так, что казалось, что он делает только то, что ему заблагорассудится. О том, чтобы ему кто-нибудь выражал сожаление, не могло быть и речи. Цапля вела дом, в котором был настоящий хозяин, заботившийся обо всем не меньше, чем она сама. Он ходил, держась чрезвычайно прямо, несмотря на костыль, от второго отучился быстро, научился готовить, и к приходу Цапли всегда был накрыт стол. Это не мешало ему зарабатывать вполне прилично резьбой своих фигурок. Впоследствии, решили они, они купят маленький автомобиль, и будут ездить в лес, чтобы собирать сучья и корни для фантастических фигур. Сперва надо было привести мансарду в порядок, изумивший всех соседей-французов, и вызывавший у них не уважение, конечно, а снисходительную усмешку. Помилуйте, чем же питаются эти нищие-иностранцы, если вывешивают ящики с цветами изо всех окон, и даже — представьте себе эту роскошь! — устроили из удобного чулана настоящую ванну с уборной. Здесь люди жили по шестьдесят лет в домах вокруг площади, здесь хорошие дома, и в некоторых устроили даже недавно уборные с водой, но на лестнице, понятно, по одной на каждый этаж, а в кухне порядочным людям вполне достаточно одной раковины с краном: можно мыть посуду и пользоваться ею, как умывальником тоже, если уж недостаточно обыкновенного таза!

— Но если окно отражает эмоциональное отношение человека к миру, то еда, я сказал бы, характеризует его философию. Поскольку по своему назначению я сам отношусь к столу джентельмена, то естественно мне пришлось размышлять об этом, побывав в разных странах. В быт-

ность в Санкт-Петербурге например, познакомился с русской кухней и был поражен, как и во многом другом, ее разнообразием, восприимчивостью к различным иностранным влияниям — от Франции до Азии, изобретательностью в простоте, и сложностью в деликатесах. Наряду с этим ее обилие позволяет заключить конечно, что она способствует чрезмерному насыщению — что, с одной стороны дает исключительную силу, хотя бы для того, чтобы выдержать суровый климат и жизнь, а с другой — приводит к стремлению поглотить больше, чем позволяет способность и время усвоить, переварить, и таким образом в результате — самомнение недоучки. Я не раз путешествовал также по Германии. Немецкие блюда тяжелы, и даже при некоторой замысловатости довольно бедного качества, хотя и не лишены вида; колбаса будет нарезана тончайшими ломтиками, главное назначение которых — эффект. Мясо куском полагается есть только по праздникам. Кулинарией занимается высший класс поваров — женщины, как правило, не столько готовят, как экономят время и деньги. Мужчины считают кухню ниже своего достоинства, хотя все едят постоянно, много и невкусно, и кружка эля, или вернее пива, у них в большом почете. Не берусь утверждать, влияет ли философия на еду, или наоборот, но сравните, исходя из вышесказанного, полную заимствованность философии у русских — заимствованность, а не преемственность, как Эллады и Рима в Европе, и это наряду со славянским стремлением к философствованию, часто превращающемся в национальную болезнь словоизвержения, то есть отсутствие способности усваивать, набивая себе на этот раз уже голову неперевавшими и сбивающими с толку понятиями! При такой пагубной привычке немудрено, что настоящих философов у них нет, за исключением мистиков. Мистика же, как известно поражает иногда глубиной, но это мышление не разума, а души. В то же время немцы, и думают в тяжелых сапогах, но закладывают весьма основательный фундамент рациональной и абстрактной философии, несмотря на односторонность.

— А теперь взгляните, медем, в базарный день на эту площадь! Посмотрите, как простой рабочий, в замасленной кепке или берете, в грубых штанах и замотанном на шее шарфе вместо воротничка, ощупывает и взглядом и пальцами каждую курицу, каждый кочан капусты. Спросите его — какой сорт шампиньонов нужно взять для соуса, как обжаривать мясо, и что следует положить в суп! Его жена может готовить на той же плите, как и ее бабушка, и в той же кастрюле, но большая часть заработка будет истрачена на еду со всеми тонкостями. Французы расчетливы и любят копить — но только абсолютные скряги не будут смаковать еды. Они не знают, что такое чай, молоко употребляют только в младенческом возрасте, но зато не обойдутся без чашки кофе и литра вина в день. И что же? Их легкий налет сентиментальности подобен букету этого вина, а в остальном — легкомысленное, но и насквозь рациональное мышление, иронически отточенное, безо всякой государственности, но с вольтеровской дерзостью, революционным треском и фейерверком — и блеском, заменяющим настоящую глубину.

— Ну, а что касается английской кухни, медем, то я полагаю, что всем достаточно известно, что она построена главным образом на здоровом смысле и добротности, так резко отличающей ее от всего конти-

ментального. Ей присуща, я бы сказал, неуязвимая целостность. Заметьте, что наш порридж — овсяная похлебка, яичница с ветчиной или жареные почки — традиционный завтрак — подаются к столу любого англичанина, будь он лордом или горняком, с той только разницей, что почки будут реже у фермера, чем у министра. Недавно при мне читали в газете, что в Восточной Европе устраивали мотоциклетные гонки, и международным командам, в том числе и британской, дали на завтрак лучшие деликатесы этого бедного народа: копченый угорь и ветчину. Там это могут есть только высокопоставленные лица. Но вы представляете себе: холодная ветчина! Разумеется, англичане съели это первый раз из вежливости, но когда им подали на следующий день то же самое, возмутились и потребовали честную овсяную похлебку! Конечно, в богатых домах подается и черепаший суп, каждый может быть экстравагантным, особенно, если у него повар-француз, но в основном всегда будет баранья котлета с зеленым горошком или пуддинг. Кроме китайцев, изобретших чай, известно также, что никто не умеет его пить, как англичане, а херес и виски совершенно необходимы при нашей погоде и темпераменте. К сожалению должен сказать, ибо стою за объективность, что мой родной напиток — эль — требует уюта и медлительности диккенсовских времен, и при ускоренном темпе современной жизни безусловно проигрывает. Но именно эта незамысловатая добротность нашей кухни входит в ту неуязвимую целостность, то философское отношение к жизни, о котором я уже говорил. Кантом мы гордиться не можем, но зато в воспитании человека — а разве это не главная задача философии? — мы непревзойденные мастера. Раньше у вас на континенте было меньше материала для сравнений, но посмотрите теперь, когда современные средства сообщения, осведомления и системы управлений, если перманентные революции можно назвать государственным строем, с одной стороны не дают возможности ни одной стране жить в полной изоляции, а с другой нарушают монолитность населения либо наличием чужестранцев, либо уходом иногда значительной части его во временную или постоянную эмиграцию! Разумеется, и раньше многие путешествовали, оставаясь за границей долгое время, или не возвращаясь вовсе. Однако, если окинуть взглядом все владения Великобритании, то пожалуй может оказаться, что почти половина населения нашего острова десятки лет проводила в заокеанских владениях, то есть чужих странах. И что же? Где бы то ни было, англичанин всегда остается англичанином — он сам, его дети и внуки. О том, чтобы не выпить пятичасового чаю, не может быть и речи, и эта чашка чая обязательна и для матроса, и для Их Величеств. Привычка, скажете вы? О, нет. А у скольких людей, которых вы знаете, сохранились через двадцать лет их прежние привычки, если они попали в совершенно чуждую обстановку? У нас это — традиция, кусочек Англии, которую каждый неизменно представляет. Омниа миа ме компортум! Не рискуя показаться дерзким, я бы пожелал иметь это качество всем остальным тоже. Может быть именно этой неизменной целостности мы и обязаны тем, что на континенте принято, скрепя сердце, считать британским превосходством. Что ж, — из уважения к континентальным, не смею спорить.

Он позволил себе сдержанно улыбнуться английской улыбкой, которую я постаралась имитировать не без некоторого ехидства:

— Но с кухней Резчика и Цапли вы не знакомы, сэр?

— Поскольку они были северными европейцами, полагаю дедуктивным путем, что она не была лишена здравого смысла, и не составляла главного в жизни, ибо им свойственна похвальная привычка выбирать себе то, что можно усвоить — прежде, чем перейти к дальнейшему. Не скрою, что я всегда симпатизирую сдержанности, и при этом позволителен налет некоторого сочувствия даже. Я не колеблюсь назвать Резчика своим другом, за которым я следил издали, хотя он и не подозревал о моем существовании — но это уже наша участь, вещей в человеческой жизни. А моему другу, наряду с устройством новой жизни, а больше всего — работой над собой, надо было залечивать двойные раны. Вы правильно подумали о треснувших душах, и у него была не трещина даже, а целая просека в душе. Лишиться родины, дома, своего положения, профессии, потерять близких — это, я представляю, равносильно тому, как если бы из меня выбили бы дно и сбили шляпу . . .

— Поэтому я ничуть не удивился, когда увидел одним осенним утром, что он нагнулся из окна и снял с широкого выступа под ним сорванный ветром лист. Осень только начиналась, листья не падали сами, они были еще мягкими, только чуть светлея местами, и Резчик улыбался чему то, рассматривая его, а потом обмакнул кисточку в протраву, которой покрывал очередную фигурку, и написав что то на листе, протянул его ветру. В такие солнечные дни ветер медленен и ленив, он идет неспеша, широким потоком, — лист, даже не закружившись, медленно поплыл вниз, размахивая краем, как парусом, скользя в открывающиеся пролеты сучьев среди остальной листвы, все ниже, ниже . . . Резчик следил за ним сверху, пока тот не потерялся для него окончательно в ветках платана, но я то видел, как лист упал почти у самого ствола, вот на эту деревянную скамейку, которая и сейчас стоит там.

— Но вы не видели, что было написано?

— Зачем? Понятно и без того. Что можно написать, бросая письмо ветру? Одно слово или два, иероглиф на чужом языке, условный знак, символ, понятный только одному себе, привет недостижимому — или призыв к еще незнакомому сердцу — разве это не одно и то же? Сущность одна, медем, и это то же чувство, которое заставляет вас поднимать глаза, прислушиваясь к вою ветра в трубе, или к стае перелетных птиц в небе, следить, как вьется снег, или огонь от свечи. Очевидно, это потребность души, а не просто тоска. Мне не легко провести грань, отделяющую ее от мечты или может быть даже любви. Я несколько смущаюсь, признаться, но иногда услышишь вдруг вечером будто рожок почтальона, подкатывающего с дилижансом по проселочной дороге к гостинице Трех ручьев, скажем, а на потолок лягут темные балки, пропахшие дымом, — ветер в трубе, огонь в камине, и прехорошенькая, нужно сказать, Джуди с ямочками на локотках так ловко наливает меня до краев пенящимся элем . . . ах, медем! В такие минуты хочется поднять мой фонарь повыше, чтобы ярче осветить милую картину, и если бы удалось подхватить какойнибудь листок, так даже на омеле, как он ни узок и крив, я бы ужитрился написать заветное слово моему диккенсовскому прошлому! И — кто знает? Может быть ветер — он хороший почтальон, поверьте! — донес бы не только его,

но и мне — отклик? Жизнь состоит из любых невозможных поворотов. Да, это говорит вам глиняный кувшин, который по своей сути обречен на неподвижное существование. Но оставаясь тем же кувшином, я перехожу на разные полки...

— Что же тут удивительного, если мой друг Резчик не раз заклинал ветер в минуту весьма простительной слабости. Но платан так огромен, что пока ветер пробивался сквозь его листву вниз, то его сжимали уже дома, и он слишком уставал, чтобы разносить листья подале. Впрочем, нам всегда кажется, что прекрасное может быть только далеко, в то время как рядом мы его не замечаем — одна из тех старых истин, которые лучше почаще вспоминать каждому... Письма Резчика падали один за другим на скамейку, на мостовую, — не долетев. Я следил за ними, и мне было грустно. Годы часто иссушивают людей до пустоты, но я... гм, может быть потому, что по своей природе не предназначен для сухости, или долгое пребывание на континенте заставляет обращать большее внимание на чувства других... но я искренно желал ему ответа.

— И так, наблюдая однажды, как ронялось очередное письмо, я увидел, что ветер подхватил его, метнул в сторону, — пронес еще дальше, и оно упало по другую сторону дерева, вот на этот балкон, тогда с мухоморным зонтиком, и соскользнуло еще ниже, прямо на руки женщине, которая в эту минуту вышла на балкон. Что ж, не было ничего удивительного, что она взяла его — может быть, чтобы бросить дальше, за перила, как лишний сор, или просто так, задумчиво повертеть в пальцах — падающие листья наводят на размышление многих, это свойство осени... и вдруг остановилась, поднесла листок ближе к глазам и поняла написанные слова. Я видел, как она оглянулась, отыскивая — не сидит ли ктонибудь на дереве? Перебрала все окна на площади, нагнулась через перила — хотя кто бы мог подбросить его снизу? Только совсем вихревой ветер, а утро было тихим. Но люди редко мыслят логически, особенно врасплох. Она старалась думать, даже наморщила лоб, и судя по тому, как улыбнулась вдруг и покраснелась даже — угадала все таки. Может быть, она и раньше заметила Резчика, его знали все соседи — завистливая неприязнь ко всему необычному часто называется интересом.

— Вам нетрудно будет представить себе эту миленькую женщину, и не ошибетесь. Я назову ее Пастушкой только потому, что нельзя же называть имя женщины. Не скрою, что питаю к ней известную нежность по реминисценции: на одном камине в доме джентельмена средней руки, в котором мне тоже пришлось побывать, стояла фарфоровая фигурка... О нет, отнюдь не шедевр, в лучшем случае приличная имитация сакса: слегка приукрашенный деревенский наряд с подоткнутой юбкой, русые волосы из под простого платочка, и очень голубые глаза. Совершенно понятно, что гогочущие гуси, разевавшие перед нею клюв, никогда не обратятся в прекрасных лебедей, и предназначены только на жаркое, так же, как она — только чтобы пасти их и жарить, потому что, согласитесь, что стала бы она делать с настоящим принцем и лебедями в замковом озере? Она бы не справилась с такой роскошью, и в лучшем случае удрала бы босиком. Нет, далеко не все пастушки оказываются переодетыми принцессами, и я не питал никакой иллюзии на ее счет, прекрасно понимая, из какой глины она сде-



лана. Но жизнь одними принцессами не ограничивается, а она была такой прилежной, скромной, непритязательной, покорной, и так старалась уверить себя, что все идет прекрасно и хорошо, что у нее нет никакого таланта, и поэтому надо прекратить играть на рояле. Свободное время есть только по вечерам, когда они приходят с работы, а мужу надо отдохнуть в той же комнате, где рояль. Нужно сказать, что она прекрасно играла, но он не терпел музыки. Он считал, что ему необходим дорогой автомобиль для престижа, и она могла носить поэтому десять лет подряд то же пальто. Куда ей выходить, кроме как на работу? А эта работа, плюс хозяйство, конечно, были нужны для того же автомобиля... Она считала, что муж слишком много перенес, чтобы отказывать ему в чемнибудь, и поэтому ему нельзя прекословить. Да, она мечтала раньше о разном, краешком души, но если годами слышать, что она некрасива, не умеет вести себя в обществе, никуда не годится, и даже не умеет возбудить к себе... гм... мужской интерес — прощу прощения, медом! — то на что же иное, как на снисходительное тиранство можно рассчитывать? А эта проповедь составляла главную тему их разговоров. Как видите, я затрудняюсь сказать, из какого материала был сделан этот персонаж в моей истории... может быть, вы понимаете современных гневных молодых людей, как они себя называют, хотя их молодость часто относительное понятие?

Мистер Смит так комично надул свои красновато-коричневые щеки, задавая этот вопрос, как будто слова застряли у него не в горле, а он подавился ими уже во рту — и я тихонько рассмеялась.

— О да, мистер Смит, сэр! Их нетрудно понять, хотя каждому молодому поколению свойственно кутаться в чайльд-гарольдовский плащ непонимания их необычайно сложных и главное необыкновенных чувств! Но если уяснить себе причины — то становятся понятными и следствия. А если знать еще и индивидуальные особенности — наследственность и наследие, обстановку и склонности, — то анализ не так уж труден, хотя это совершенно не значит, что...

Мистер Смит недовольно пожевал губами:

— Что именно?

— Понять — не значит разделять мировоззрение, не так ли? Нетрудно например понять психологию политической партии в одном из новых государств, члены которой пять лет тому назад вели предвыборную борьбу радикальным способом: ловили политических противников и отрубали им ноги. Почему именно ноги, мне не совсем понятно, но не стоит уверять, что я предпочитаю убеждение другим способом...

— О! — только и произнес мистер Смит, и это было конечно максимальным выражением его шокированности и чувства британской государственности. Он даже постарался поджать губы, что было вероятно трудно, и помолчал немного.

— Прошу прощения за несколько... драматический пример, сэр — поспешила я вставить в паузу.

— Нам свойственна большая дальновидность, мэм — поучительно произнес он. — Предоставляя нашей бывшей колонии независимость, мы рассчитываем, что через какихнибудь две-три сотни лет, а при современном темпе возможно и несколько раньше, она станет вполне приемлемым партнером, а кроме того, мы не теряем рынка за это

время, и . . . . . и в конце концов обрубить ноги, а не головы, и оставлять таким образом свободу слова, это уже достаточный прогресс, вы не находите? Разумеется, анализ не означает принятия данной концепции, но признаюсь, возвращаясь к моей истории, что я не всегда могу уяснить себе причины и следствия у этих почему то разгневанных молодых людей. Возможно, что я провел несколько последних лет в чересчур большом уединении. Но вы живете богатой и разнообразной жизнью, и безусловно сталкивались с этим типом хомо сапиенс . . .

— Очень польщена, сэр, но позвольте спросить, из чего вы это заключаете?

Конечно, я знаю, что обожженная глина теряет свою податливость, но ей Богу же, толстые губы мистера Смита совершенно растянулись до ушей в самодовольной и лукавой усмешке!

— А вот именно потому, что у вас находится время для наших вечерних разговоров. У большинства людей, которых мне приходилось наблюдать вот уже вторую сотню лет, либо всегда находится время для многого, и тогда их жизнь богата самыми разнообразными переживаниями, впечатлениями и мыслями, — а иногда и результатами, — или у них никогда ни на что не хватает времени, — и они жалуются на убогость и скуку. Осмелюсь поэтому попросить вас поделиться со мною вашим опытом, для обоюдного уяснения персонажа. Я возьму на себя подсказать вам только его личные данные.

— В общих чертах, мистер Смит, можно написать целую книгу, потому что ведь добрая половина современной жизни создается этим молодым и полумолодым поколением. От моды до театра, от битников и хиппи до музыки, армии и автомобиля. Интересно, что причины, толкнувшие разгневанных молодых людей на их путь в разных странах различны, и если могут служить оправданием в разгромленной или искалеченной коммунизмом стране, то уж никак в преуспевающей — но приводят в результате к одному и тому же. К какому именно типу принадлежал ваш персонаж? Если «относительной молодости», то значит, за тридцать? Значит, война захлестнула его еще подростком, а в послевоенные годы пришлось еще хуже, если не считать смерти: для многих это означало потерю всего, разбитое корыто родителей, а для себя не осталось и щепок. Если к тому же ранения и болезни — плен и немилость победителей . . .

— Он был в плену у варваров — твердо заметил мистер Смит, — но недолго.

— И этого достаточно. Несколько месяцев в лагере уже ломают, а если годы — то и психика, и здоровье надорваны почти неисправимо. Но болезни в наше время в порядке вещей. Медицина делает громадные успехи, а здоровых людей становится все меньше. Каждый болен чемнибудь, и это объединяет до известной степени людей. Но надломленная психика отчуждает от мира. Человек не может забыть, что одни его унижали, пытали, издевались и калечили, изощряясь в садизме и хамстве, а другие — либо теряли свое человеческое достоинство, превращаясь в аморфных слизняков, унижались перед мучителями, идя на любое предательство, либо, и притом лучшие из них, погибали ужасной смертью . . . Только очень стойкий духом человек не потеряет веры, не задаст себе вопроса, как же может Бог допустить

такое, потому что он понимает, что людям предоставлено самим избирать свой путь, и если они создают себе ад, то кроме себя, винить некого. Но понимают суть вещей немногие. Остальные довольствуются смутными представлениями, не осмысливают мира, и когда он рушится, то все моральные понятия уничтожены. Потом же, когда человек снова попадает в нормальную жизнь, он не может забыть своей ожесточенности. Вот этот бравый полицейский крошил бы ему — там — зубы сапогом, вот этот корректный чиновник извивался бы из-за куска хлеба, вот этот милый паренек сталкивал бы его для развлечения в выгребную яму, а женщины...? Женщины существуют, чтобы их насиловали. И так все, и никто из этих так называемых порядочных людей не лучше тех, кто был там.

— О-о... — произнес укоризненно мистер Смит, и я остановилась.

— Прошу прощения, сэр, но моя резкость — неизбежное следствие горечи, а она, согласитесь, еще наиболее приемлемое отношение к варварам! Что сказали бы вы, если бы они — мне больно выговорить это, сэр — наполнили бы вас зловонной жидкостью и разбивали бы о стенку фарфор любой династии?

— Я бы умер — просто сказал мистер Смит, и помолчав добавил: — Но это не поколебало бы моей преданности Их Величествам, если вы это имеете в виду.

— Не сомневаюсь, сэр! Но не каждому дано иметь в душе Соединенное Королевство! И многие люди продолжают жить с отмершим кусочком сердца, как при инфаркте, и таких людей сейчас очень много. Но мы затронули эту тему только в связи с вашим Гневным Персонажем, мужем Пастушки. Кстати, когда он на ней женился: до плена или потом?

— Во время войны, мне кажется, когда они бежали откуда то, куда то, в общем потоке...

— Бегство, взвихренная жизнь, страх перед каждым следующим часом заставляет людей судорожно хвататься, чтобы как то удержать этот час, еще попавший им в руки. Большинство браков во время войны вызывается стремлением успеть иметь хоть что нибудь для себя, пока не поздно, отгородиться. Иногда это бывают самые яркие вспышки в жизни, в особенности, если кончаются трагически, и больше не остается времени для будней и разочарований. «Удар молнии», на котором сам достопочтенный мистер Диккенс строил немало историй в свое время, в эту войну заставлял в три-четыре дня поверить, что вся жизнь и счастье сосредоточились только вот в данном человеке — потому что действительно больше ничего не было. А когда наступает продолжение, то часто оказывается, что игра совершенно не стоила свеч — особенно, если происходила, за отсутствием тока, при свечах — еще раз прошу прощения за цинизм, сэр! Но половина людей не исправляет своих ошибок — по апатии или порядочности, это уже другой вопрос. По всей вероятности Гневный Персонаж женился случайно, а Пастушка наверно сильно увлеклась им, хотя он тогда уже отпугивал ее немного своей резкостью и цинизмом. Очень молодые люди, попадая на войну, сразу заражаются им, как дурной болезнью. Разумеется, ей было жаль его до боли, и она молилась о его возвращении, ждала писем, надеялась, когда писем не стало...

— И я позволю себе заметить, что его прежняя... гм... резкость была основательно забыта мягким женским сердцем — все еще укоризненно заметил мистер Смит. Мне надо больше следить за своим тоном, чтобы не оскорблять слух почтенного джентельмена.

— Однако пребывание в плену вряд ли смягчило ее, если он перешел после этого в стан «гневных»? Кто остался у него из близких людей, кроме Пастушки? Я не поклонница серой магии психоанализа фунта конфет, не полученных в детстве — но кто был ему близок в юности?

— Мать разошлась с отцом, оказавшимся горьким пьяницей, и держала маленький магазинчик. Отличительными ее чертами, насколько мне известно, были скупость и жесткость.

— Значит, ласки ему выпадало мало, а упреки за отца, косвенно или прямо, выслушивать приходилось. «Таким же мерзавцем вырастешь» — обычная в таких случаях формула озлобленной женщины, и верный способ вырастить комплексы. Если такому человеку попадает нежная, но слишком покорная жена, они разыгрываются еще больше.

— Отец Пастушки был учителем музыки.

— Прямая противоположность его матери, значит. Наверно восхищался Бетховеном или Бахом, сочинял сам скромненькие вальсы, возлагал надежды на учеников, у которых не хватало либо денег, либо терпения заниматься дольше нескольких месяцев, мечтал, что когданибудь ему удастся воспитать настоящий талант, но жизнь забивала, надежды гасли, и он извинялся перед нею, стараясь держаться с краю, чтобы никому не мешать. Дочка была его единственной радостью, жила с ним душа в душу, любила, жалела, и вместе тосковала о небе в алмазах... и сразу же спасовала после этого перед Гневным Персонажем. А его надо было и приласкать, и одернуть как следует, когда он давал волю своим комплексам, вместо того, чтобы ухаживать за ними. Детей у них не было?

— Две дочери. Старшая родилась в первый же год брака, и он наверно был еще слишком молод для роли отца, а кроме того война, лишения, трудности...

— Был недоволен лишней обузой, и наверно обвинял жену?

— Вторая дочь родилась, когда он попал в плен, и в это время старшая погибла во время бомбежки. Вы правы: он опять таки обвинял во всем жену, даже больше: отказался признать вторую дочь своей, хотя не имел никаких оснований, с годами стало даже совершенно явно их физическое сходство. Пастушка отдала ее в интернат, устранившись от скандалов, и работала часто и по ночам, чтобы посылать ей достаточно денег. Девочка училась хорошо, но стала чужой обоим. Она сама нашла себе профессию, стала самостоятельной, и изредка писала или навещала мать, а к отцу относилась враждебно.

— Хотя теперь он пытался требовать от дочери не только уважения, но и любви, и снова обвинял Пастушку — на этот раз за то, что она не сумела внушить любви к нему. Это называется мужской логикой, мистер Смит! Я ее знаю.

— Позвольте, медем!

— Довольно своеобразная, согласитесь сами! Ну что ж, теперь персонаж понятнее. Его ожесточили в детстве, озлобили во время войны,

а то светлое начало, которое есть в каждом человеке, оказалось очевидно слишком слабым, чтобы противостоять и осмыслить. Здоровье было подорвано, а наверстывать загубленные в душерабукке годы, приобретать профессию, когда прошло время — очень трудно. Физически и морально он чувствовал себя обойденным, и ожесточался еще больше. Очень возможно, что он не столько даже подозревал жену в измене, сколько считал рождение второго ребенка незаслуженным ударом, раз уж судьба избавила его от первого, и вот, в такое трудное время жена тратит деньги еще и на интернат, косвенно колет ему глаза. Он и старался колоть ее в свою очередь, словом, на ней вымещались все неудачи, с которыми он не мог справиться, а те, с которыми он справлялся, служили в ее глазах только доказательством его правоты. Так ведь?

— Не думаю, чтобы вы могли лучше оценить обстановку, если бы жили в их доме, мэм! Но мне сначала показалось, что вы собираетесь заступиться за него.

— Восточная поговорка гласит, что глупец обвиняет во всех своих несчастиях только других, умный — только себя, а мудрец — никого. С первым я совершенно согласна: только невежественный и близорукий человек, не разбирающийся ни в чем, может считать, что все повинны в его судьбе, кроме него. Мудрецов очень мало, но так ли уж прав умный, если винит во всем только себя? Иногда подобное самообвинение может привести к ненужному самоунижению, к забитости человека, считающего уже заранее, что он виноват во всем. Ведь вот ваша Пастушка, мистер Смит, — простите, если я перехожу на личные чувства — нравится вам наверно потому, что вы не раз утирали слезу над Крошкой Доррит? Пастушка тоже наверно трогательно ухаживала за своим отцом, поверяла ему радости и горести. Обычно дочери, склонные к идеализации своих отцов, переносят ее и на мужа. Сразу разочаровавшись, ей пришлось бороться с этой болью за жизнь дальше: война в наше время ложится непосильной тяжестью на женщину. Сколько раз она дрожала под налетами, сколько тяжестей, которые она таскала, ломали ей спину! А первые годы после войны — очереди за куском хлеба, теснота, холод, тяжелая работа. Муж после плена разучился улыбаться, и она мучилась и его страданиями, и своими. Но вот и этот отыгрыш отзвучал постепенно: наверно, нашли лучшую работу, переменили город или квартиру. Окна раздвинулись, вместо тряпочек появились красивые занавески, — балкон с мухоморным зонтиком, говорите? Но дело не только в модных креслах. Смерть маленькой девочки отошла в прошлое, вторая дочь стала на ноги, может быть позднее научится понимать мать. Теперь можно залечивать надломанное, и спину, и душу. В жизни установилась колея — есть время, цветы в вазах, книги на полке — может быть, теперь будет и для нее музыка, и — и та гармония, тот напев, которого не хватало так раньше в жизни... но ничего этого не было.

— По чему вы судите, медем?

— По тому, как Пастушка улыбнулась письму на листе платана. Я знаю эту улыбку. Она почти незаметна на губах, зато в глазах вспыхивают сразу все осколочки мечты. Хотя и говорят, что осколки приносят счастье — но только не эти.

Мистер Смит поежился.

— Осколки — ужасная вещь, медем! У них острые края, они причиняют только боль и оставляют пустоту. Какая нелепость считать их приносящими счастье! Можно, конечно, склеить, но что из этого получится? Говорят, что разбитые скрипки звучат еще нежнее. Возможно, я не знаток древесных слоев. Но смею вас уверить, что самая лучшая глина лишается всех своих качеств и перестает звучать.

Мне снова пришлось покраснеть. Какая бестактность говорить кувшину об осколках!

— Но я прощаю вам это замечание за ваш анализ. Мне понадобилось больше времени, чтобы придти приблизительно к таким же заключениям, и хотелось бы знать, каким образом вы, не видя персонажей, и без моего опыта, поскольку я настолько старше вас, могли...

— Очень просто, сэр. Вы размышляли над поступками этих людей, потому что заинтересовались ими. А я руковожусь другим чувством. Мне их просто жаль.

— Всех?

— Всех, сэр. У каждого могла бы сложиться иначе жизнь, если бы... и мне жаль, что этого «если» не было. Если бы у Резчика не были сломаны ноги, если бы он, а не Гневный Персонаж встретился с Пастушкой еще при жизни ее отца, если у Гневноного был такой отец, как у нее, или такой брат, как Резчик, если бы — все могло быть иначе, и поэтому их жаль — всех.

— Над этим, медем, мне придется основательно поразмыслить — сказал мистер Смит, и слегка качнул головой. Широкий лист на ветке качнулся тоже, и закрыл не только его голову в треуголке, но даже фонарик, высывавшийся сбоку из под плаща. А это конечно означало, что и мне пора на покой — до следующего вечера.

## ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕЧЕР

Мне показалось, что мистер Смит был немного бледнее обычного. Очевидно, он основательно размышлял всю ночь, как и полагалось ему по должности. А я весь день вспоминала сон, который забыла сразу, как это часто бывает. Осталось только ощущение чего то очень важного, с большим значением, коснувшегося нежно и сильно тем ожиданием, от которого загораются глаза, и в груди становится легко. Но сна не вспомнишь, а все, чего я могу еще ждать — это вечерний разговор с мистером Смитом. Может быть, потому у меня было весь день такое смягченное настроение, и я смотрела, как первые осенние листья, в совсем еще мягкой медовой желтизне, медленно и бережно разносятся ветром — по назначению. И платан, и клены посылают свои письма кому то...

— Разумеется, я должен согласиться с вами, медем — начал было мистер Смит, осторожно поглядывая на мои приготовления. Листья на ветке, торчавшей из его треуголки, обвисли и начали сворачиваться, их чудесный зеленый цвет посерел, будто от пыли, и мне следовало бы конечно принести ему свежую ветку, но я придумала другое, и недаром носилась в поисках пол-дня по городу. Найти оказалось совсем не легко. Меня встречали удивленные и не слишком дружелюбные взгляды. Помилуйте, лучших французских вин и коньяков здесь

сколько угодно, но мне, видите ли, понадобился именно португальский херес, да еще Амонтилладо к тому же! Если бы не старый швейцар отеля, указавший мне, что в соседнем городке есть старинный винный склад, откупивший когда то целый монастырский погреб, и где мою просьбу оценили по достоинству, то...

Мистер Смит молча позволил вылить из себя воду, тщательно промыть и высушить свой живот, но когда я торжественно поставила его на стол, разложив салфеткой кругом широченные платановые листья, и стала откупоривать бутылку хереса — он сразу оживился, и его глазки под толстыми бровями так и засверкали.

— Дорогой сэр, медем! — воскликнул он. — Неужели действительно...? Настоящий, благородный напиток — признаюсь, я даже несколько смущен этой честью, ибо, как вам известно, я предназначаюсь только для эля... Сколь тонко вы угадали, однако: налить в меня виски было бы коробящей бесстыльностью, и кроме того, пить его, наливая из кувшина — куда же? — только в стакан, разумеется — никак не приличествует лэди... но шерри — о — какой букет, какие воспоминания о доброй старой Англии! Мне приходилось, правда, стоять рядом с графином не раз, но за последние семьдесят лет, пожалуй, я забыл даже, какого он цвета! Я тронут, милэди, тронут до самого дна, ваше здоровье, да благословит вас Бог!

Как он повеселел, как тонко улыбался, подмигивая и причмокивая, и изо всей силы размахивая фонарем! Если бы вместо того, чтобы ныть от скуки и жаловаться на всех, люди почаще бы старались доставить хоть какуюнибудь радость или удовольствие окружающим, — хоть капельку внимания — как легче и радостнее жилось бы им самим тоже. Простая, но увы, так часто забываемая истина.

— Так вот — начал он снова — не находите ли вы, что жизнь иногда ужасно мешает людям жить, и пока они научатся отсеивать ненужное, и удовлетворятся самым простым и глубоким, то проходит столько времени, что уже и жизни этой не остается больше? Конечно, мне несколько трудно проникнуться вашей психологией, медем. Вещь сама по себе не меняется, она в известной степени уже совершенна, то есть закончена при своем возникновении. Если хотите, вечно стара или молода — это зависит от взгляда. Во всяком случае — вещь — это синтез прошлого, настоящего и будущего в своей внешней неизменности. Заметьте, однако, что это относится только ко внешности. Легкие трещинки в глазури, отбитый нос у кувшина или царапины и червоточины дерева, могут, так сказать, покрыть паутиной, морщинами времени. Но своей молодостью я считаю не глянцевиные бока — прошу прощения за некоторую скользкость сравнения в присутствии лэди — сохраненные, впрочем, мною и до сих пор, если стирать с них пыль — а вот именно молодость духа, души, возникшей первоначально в только что законченной вещи. Разница между нашим миром и вашим заключается в том, что собранный нами опыт, наши раздумья и воспоминания создают вокруг нас, правда, известную ауру, ореол, доступный только внутреннему взору человека, его интуиции, но редко отражаются на нашей наружности. Правда, шелка бледнеют, дерево темнеет, и без царапинок тоже иногда не обойтись, но в общем мы от этого теряем очень мало, в противоположность вам. Скорее мы выигрываем от времени, и нами больше дорожат через сотню лет — чего увы, нельзя

сказать о наших хозяевах... И все таки на самом моем дне как будто змеится какая то — о, только воображаемая! — трещинка... поэтому я расскажу вам кусочек этой сентиментальной историйки дальше. Разумеется, я тогда хватил через край, когда сказал вам, что Пастушка подняла листок, чтобы, может быть, просто смахнуть его, как мусор. Нет, она уже не раз поднимала на дороге даже, и на своем балконе падающие листья, разглаживала их вот с той улыбкой, из которой вы вывели столько заключений, и может быть теперь не ошибусь и я, если скажу, что ей тоже приходила в голову мысль — самой написать на листке слова, бросаемые ветру... Но она всегда торопилась, чтобы не опоздать на работу и кроме того боялась. Каждый, кто увидел бы это, считал бы ее дурочкой, а муж просто рассердился бы, если узнал. Ей всегда почему то казалось, что он узнает все ее мысли — хотя, что бы он мог выпытать у ветра? — и вот только теперь, когда она держала в руках листок, на котором были написаны действительно слова, — она вздрогнула — и впервые, быть может, не от страха. Я не знаю, успели ли они уже до того обменяться взглядами — расстояние было все таки порядочное — но сейчас она видела, что Резчик смотрел на нее из окна, может быть даже кивнул головой. Листок мог быть испи-сан только им, и предназначался только ей — в этом она не сомне-валась больше. Она спрятала его — сперва под передник, потом в книгу — в сборник стихов, зная, что муж никогда не читает поэзии, и несколько раз вынимала и смотрела: лист высыхал, и вместе с ним бледнели написанные слова, так что самый подозрительный взгляд вряд ли мог бы их различить потом. Но она выучила и видела их наи-зусть. Немножко подсмеиваясь над собой, как школьница, она теперь каждое утро срывала или подбирала опавший лист и писала на нем «ответ» — понятный, конечно только тому, кто сам умеет писать пись-ма на осенних листьях. К сожалению, хотя в английском языке, отли-чающемся своей парадоксальностью, и существует, как вы знаете, вы-ражение «упал вверх», но оно означает только внезапное повышение на иерархической лестнице, и для листка, хотя бы и платана, друж-ного с ветром, совершенно невозможно попасть с балкона первого эта-жа на подоконник в третьем, да еще через площадь. Пастушка просто роняла его с балкона — каждое утро, перед тем, как уйти на работу, — и каждый вечер, когда зажигались огни в уже темнеющем вечере, и ее силуэт на балконе был ясно виден. Этой невинной игре не требо-валось бы конечно оправдания — если бы у Пастушки не было мужа, которому о ней нечего было знать.

— Я не берусь сказать что Резчик случайно выглянул из окна, когда она бросала очередной лист, принимая во внимание, что он видел ее первую улыбку. У людей, привыкших к полям и лесу, очень зоркие глаза. Вторично брошенный листок уже никак не мог показаться слу-чайностью, и он быстро нашел способ, как получить ответ. Сознаюсь, мне бы не пришло это так скоро в голову, но я не привык к почте вообще, в особенности любовного характера, и поэтому даже смигнул от удивления. Представьте себе, что он высунулся из окна, как мог, размахнулся, и бросил что-то, похожее больше всего на стрелу, кля-нусь святым Георгом! Может быть даже, он сделал лук — или мне показалось. Пастушка стояла на балконе, и даже качнулась а сторону, испугавшись, но протянула руку — и схватила деревянную катушку,



да, на очень крепкой нитке. Другой конец нитки Резчик прикрепил у себя на окне, и привязав к нитке платановый лист, стал перетягивать нитку. Лист, покачиваясь, как от ветра, поплыл наискосок над площадью, нырнул под одну ветку дерева, вышел под другой, обогнул ствол — и поднесся прямо в руки Пастушке. Теперь она окончательно поняла, в чем дело, прикрепила катушку у самого пола балкона, и сняла с нитки листок. Почтовое сообщение было установлено. Что вы скажете на это, медем?

— Оригинальная почта — но не хуже любой другой. А теперь я могу рассказать вам, что случилось дальше, хотя я этого не видела. Пастушка наверно сперва рассмеялась, прочла написанные на листке слова, задумалась, улыбнулась, сорвала сама листок, сбегала за карандашом, не нашла, наверно, взяла губной карандаш, написала что-то, и прикрепил к нитке. Катушка завертелась, нитка пошла обратно, и если бы ей не надо было идти на работу, то они переписывались бы так все утро. Но через один-два дня нескольких слов — даже на листе платана не напишешь много — стало не хватать, и письма они стали писать на бумаге, а два сложенных вместе платановых листа заклеивались конвертом...

— Не знаю, медем — приписать ли это вашей бесспорной проницательности — или тому, что вы — женщина.

— Угадать нетрудно — думаю, что каждый поступил бы так же. Но восхитительная картина: путешествующий лист. И нитка незаметна в листве. А что касается содержания — и прелюдии, и романы разыгрываются по разному... воспользуемся дедуктивным методом вашего знаменитого соотечественника, Шерлока Холмса! Вначале Резчик мог написать, что он редко выходит, но часто сидит у окна и видит ее на балконе, — почему бы им не поговорить на расстоянии? На что она могла бы резонно ответить — а почему бы нет? и сделать ему комплимент за выдумку. Потом он постарался произвести на нее впечатление. Это делает каждый, а у Резчика его костыли должны были вызывать комплекс. Вам наверно не раз приходилось замечать, что многие мужчины с физическими недостатками становятся настоящими дон-жуанами именно вследствие их, чего никак нельзя сказать о женщинах. От увечий они или ожесточаются, или увядают.

— Почему такая разница?

— Потому что мужчине свойственно утверждать себя, всегда доказывая, что он может добиться — все равно, чего, несмотря на препятствия, а именно вследствие их. Мужские качества — сила, духовная и физическая, ум и уменье. А женщина слишком привыкла к тому, что главное — красивая наружность, все же остальное — так, прилагающееся по возможности. Поэтому малейший внешний недостаток преодолевается очень немногими настолько, чтобы его не замечали окружающие. Поэтому и почти в порядке вещей, если мужчина в пятьдесят лет женится на двадцатилетней, — а что вы скажете в обратном случае?

— Шокинг! Но, мэм, мы слишком отвлеклись в сторону. К сентиментальной истории почтового платана и Пастушки я еще вернусь, если разрешите, а пока мне хотелось бы поделиться с вами своими размышлениями на затронутые прошлый раз темы. Я прилежно размышлял всю ночь и признаюсь, прибег даже к помощи... как бы

выразить это понятнее на человеческом языке? Скажем, к помощи того мира, в котором отчасти живем мы, вещи, ибо, как вы уже убедились, мы нередко читаем мысли человека, видим его чувства. Вы заметили, конечно, что кусочки человеческой души и мыслей отпечатываются, обволакивают, входят в нас. Поэтому мы иногда приносим удачу или несчастье — в зависимости от бывших владельцев, от флюидов той обстановки, в которой находились. Не можете же вы отрицать атмосферы вещей! Бывало же у вас в жизни, что вы входили в комнату в чужом доме, где вам сразу становилось холодно, скучно или даже жутко, или наоборот — уютно и тепло, и заметьте — только от тех вещей, от обстановки, в которой вы очутились, помимо людей, без них.

— Давайте, скажем прямо, мистер Смит: четвертое измерение.

— Вот именно. В конце концов, даже наши непритязательные разговоры — хотя говорю главным образом я, а что значат разглагольствования старого ночного сторожа, хотя бы ему уже и было двести лет? — но и эти разговоры происходят в другом измерении, поскольку выходят за рамки обычно происходящего, и могли начаться только потому, что вы, припомните — сделали в нужный момент действительно нужное. Что именно — ветка платана, всунутая в кувшин, или какой либо другой жест или слово — значения не имеет, если по существу оказывается заклинанием, прорывом или распахом двери в околостоящий мир... Но при всей вашей интуиции, мэм, вас все таки можно сравнить в нем с Алисой в стране чудес, что ли, и я не боюсь вас обидеть, если скажу, что в этом мире я могу вести вас за руку, показывая то или другое. Не все, конечно, есть и такое, о чем лучше умолчать. Но я говорил уже вам, что мы мыслим душой, и знаем многое, что — прошу прощения — недоступно людям, несмотря на их ум. Так вот, чтобы подойти к сути, перечислите мне пожалуйста вкратце, и без комментариев, те отрицательные явления в современной жизни, которые свойственны почти всем странам, во первых, а во вторых являются проблемами именно данной эпохи. Например: разгневанные, разочарованные и ожесточенные молодые люди существовали и раньше во все времена, ибо эти свойства присущи человеческому характеру вообще. Сейчас однако характерно то, что раньше их были десятки или сотни, а теперь сотни тысяч, может быть больше даже.

— Мне кажется мистер Смит, что для нашей эпохи типична прежде всего, если разобраться — зависть, жадность и ненасытность, стремление во что бы то ни стало к чемунибудь новому, наряду с отбрасыванием всего старого, не разбирая, что отбрасывается. Это поиски Бога без души, и счастья — без тоски и мечты. Это опустошенность, смятенность, нетерпение, и полубессознательный страх перед всем: боязнь не успеть, упустить время и возможность, боязнь новой войны, боязнь перед мнением чужих — сверстников, соседей или начальства, страх перед препятствиями, боязнь собственного усилия даже. Физическое развитие наступает теперь гораздо раньше, умственное стало ниже, если не считать техники, а духовное не поспевает ни за тем, ни за другим, получается поспешная, но упорная незрелость. Семья распадается, а вместе с тем избалованность и доступность всего вызывает чересчур сильное падение нравов. Это уже не неизбежное след-

ствие войны, а явление «конца века», может быть, всей нашей культурной эпохи вообще. Отсюда — эгоизм и эгоцентризм, с самых ранних лет утрата чувства долга, авторитета и обязанности; пустота и опустошенность, которую стремятся заполнить еще более циничными высказываниями в искусстве, еще новыми наркотиками ради новых ощущений, еще большим оглушением примитивными ритмами и примитивизмом вообще. Учащаются не только преступления, но, что еще более чудовищно, отсутствие мотивов. Они совершаются «просто так», и не укладываются даже в медицинское объяснение, хотя нервные и психические болезни распространились настолько, что нормальных людей, без комплексов, долго искать. У большинства — отсутствие идеалов, наряду с ничем не оправданной верой в прогресс при помощи одной техники, и подмена ею действительной культуры. Вместо обыкновенной, извечной морали — поиски самых невозможных причин в подсознании, упоение серой магией психоанализа, духовный эксгибиционизм, и самолюбование духовным она... прошу прощения, сэр! Этот перечень не полон, и все вперемешку, но мне кажется, что все остальные отрицательные качества людей нашего времени, начиная от атеизма и жестокости, и кончая неумением быть благодарными или духовной апатией и невежеством — происходят именно от этих причин, массового характера, а национальные особенности большой роли не играют.

— Позвольте, мэм, поправить вас. Явления, конечно, могут служить причиной, но меня интересуют причины, вызвавшие подобные явления.

— Но, мистер Смит, сэр! Этих первопричин много. Начиная с того, что в течение полустолетия во всех европейских странах, например, по крайней мере однажды, а в некоторых и дважды, рушился до основания весь прежний мир — вы сами, насколько я понимаю, пережили две великих и наверно парочку мелких войн, великую и наверно же не мало других революций... При всем их многообразии можно найти некий общий знаменатель тоже: войны ведутся всегда широкими массами, и во время их погибает слишком много людей, только успевших подать надежды, но не осуществить их, а кроме того людей, неприспособленных к примитивности по своей утонченности, дающей культуре. Что же касается революций, то они выражаются либо бунтом тех же масс против устарелой элиты данного культурного слоя — не будем говорить о присущих ему недостатках, действительных, или мнимых, — важно то, что, поскольку он складывался путем отбора элиты, он был вершущей той пирамиды, которая увенчивается культурой; либо восстанием преступных узурпаторов и тиранов. Так или иначе, организовано или стихийно, но происходит восстание масс. И во всех случаях остаются в конечном результате, те же самые массы. Великая война наносит великие раны, и они заживают с трудом, иногда гноятся очень долгое время. Но революция против культурной элиты кончается гибелью элиты и утратой культуры, как таковой, а для создания ее заново, даже при наличии стремления к этому, что тоже происходит не всегда, и далеко не сразу, требуется работа многих поколений; революция же против узурпаторов, следующая за явным крахом их идей неизбежно заставляет следующее поколение задать своим отцам вопрос: как они могли допустить это? И, с жестокостью и нетерпимостью, присущей молодежи,

она не признает объяснений, часто очень жалких и несостоятельных, признаться, а обвиняя во всем отцов, отметаает вместе с ними и все их возможные заслуги тоже. Получается пустота, которую...

— Здесь вы пропустили предлог, мэм. Да, простой предлог «в». Как старый законник, хотя и вольнослушатель, я придаю иногда большое значение букве. Разрешите поправить: «Получается пустота, в которую»... в которую входит, вернее, должно хлынуть нечто совсем страшное, и это как раз то объяснение, которое я нашел. Но сперва вопрос: представляете ли вы себе, что значат все человеческие жертвы, то есть все те миллионы людей, которые погибли насильственной, часто ужасной смертью, внезапно, в момент отчаянного физического и духовного сопротивления? Людям свойственно умирать, но обычно при катастрофах, то есть внезапно наступающей смертью гибнут немногие. Подавляющее большинство имеет время подготовиться хотя бы во время долгой болезни, пусть бессознательно даже, пусть хоть только тем путем, что с ослаблением организма ослабевают чувства, как нити, связывающие его с окружающим миром. Часто слабеет и сознание, исчезает страх даже у неверующих людей, а верующие, предающий дух свой в руки Всевышнего, проникаются особым чувством. Я видел немало смертей на своем веку. Но сейчас говорю о других. О смерти в газовых камерах, в боях, в застенках, в концлагерях, под налетами в городах. Внезапная, или вымученная смерть, выхватывающая здорового, полного сил, надежд, чувств человека, и наполняющая его невероятным ужасом, ненавистью к убийцам, и безумной жаждой жизни до последнего момента. Все переживаемые при этом мучения, душевные и физические, только усиливают эти чувства, и нити, связывающие человека с окружающим миром не ослабевают и истончаются постепенно, а свиваются в клубок страшной силы. Да, смерть произошла. Остается труп, разлагающийся гденибудь, или горсточка золы, или даже — как в Хиросиме — страшно сказать — только тень бывшего человека на камне стены, очертание его тела, которое испарилось, будучи на столько то процентов из воды... Но клубок его чувств в момент умирания остается. Это не физическое тело, уничтожающееся простым путем распада. Это, медом, то четвертое или пятое, по вашему, измерение, в которое живые люди могут проникнуть только изредка, благодаря исключительно высокому духовному порыву или озарению, так сказать, светлым путем. Но измерение это, другой мир, состоит не только из света.

— И таким образом возникают ларвы, хотите сказать?

Мистер Смит чуть заметно пожал плечами, но мне показалось, что его фонарик, любовно прикрываемый наполовину плащом, слегка вздрогнул, грозя потухнуть.

— Называйте как хотите. Я не ученый. В области физики это могут быть электрические разряды, в механике — клубки нерастроченной энергии, религия считает их нечистыми духами, мистики — астральными телами, или еще какнибудь — как хотите. Важна суть. Важно то, что когда замолчали пушки и открылись застенки, то над развалинами осталась гнетущая туча — атомные осадки душ. Если бы ктонибудь из ваших художников мог видеть это — он нарисовал бы призраки, переплетающиеся с живыми людьми, отравляющие, раздваивающие их, толкающие на преступления, стремящиеся через них

удовлетворить свою жажду жизни, мести, разрядить свой ужас. И в Библии, и в Евангелии сказано, что бесы входят в людей. Что происходит в восемнадцатилетнем мальчике, приятной наружности, хорошего поведения, из добропорядочной семьи, который входит вдруг в косметический салон, как было написано недавно в газете, и убивает восемь человек — совершенно незнакомых ему женщин, в том числе и ребенка? Или залезает на вышку в студенческом лагере и в течение нескольких часов стреляет, целясь убить наповал, в несколько десятков людей? Бессмысленные и беспричинные убийства, которые нельзя объяснить даже садизмом, объясняются внезапным умопомешательством. А оно чем? И почему таких случаев за последние двести лет не насчитать и десятка, а за последние двадцать, тысячи? И миллионы случаев всяких извращений? Все ваши законники встают перед такими явлениями в тупик. А все то, что вы сами перечислили, и далеко не полно — разве вы не видите в этом чужого, враждебного влияния, которому тем труднее противостоять, чем оно менее сознается? И, повторяю; если вы можете воочию убедиться в том, что в этом мире ничто не проходит бесследно, — то как можете вы предположить, что подобные стуски самых страшных человеческих чувств могли улечься вместе с дымом над развалинами прошлого? Можно было бы конечно затронуть еще вопрос о перевоплощении ваших душ — было бы ужасно, если бы оно происходило таким темпом в это время — но закончим эту тему, медем. Человеческую душу мне понять труднее, и я отвлекся в сторону, по обыкновению. Спросите ученых. Почитайте книги. Поразмыслите сами. Может быть — постарайтесь увидеть. Не знаю, что вам может помочь — но все таки это лучше, чем сидеть в темноте. Я, знаете, ли, по своей должности ночного сторожа, охраняющего сон и покой, всегда привык иметь с собой хоть маленький фонарик, освещающий путь.

И, нарочно, конечно, он слегка высвободил руку из под глиняного плаща, помахав фонарем, который разгорелся теперь еще ярче.

## ВЕЧЕР ПЯТЫЙ

— Мне нужно поговорить с вами, мистер Смит, — сказала я, в таком изнеможении присаживаясь к столу, что даже губами было трудно шевелить. Очень уж разболелись ноги, руки, и больше всего хотелось лечь и закрыть глаза. В такие минуты говорится и думается о самом плохом и тяжелом — устало и безразлично. — И не только потому, что некому сказать такое... У вас другой аналитический подход — и больше времени, чем в нашей короткой человеческой жизни. А у меня сейчас не то чтоб переоценка ценностей, а очередной приступ отчаяния. Наверное справлюсь, конечно, но многие не справляются, поэтому боюсь все таки... Не люблю жаловаться, и при всех обстоятельствах нахожу какие то радости, это помогает жить не только мне самой, но и других поддерживать часто. В сущности, я должна быть довольна своей жизнью — наполовину она такая, какой я ее хотела всегда иметь: у меня есть своя профессия, которую я люблю, уютный дом, сад, тишина и цветы, листья и деревья, мои сочетания красок — а с тем, чего нет — я, кажется, примирилась уже. Но я не-

довольна самой собой. Тем, что не достигла, чего хотела, не хватило силы просто. От того, что другие показывают это хотя бы тем, что не замечают — разъедающая горечь. Сама ведь вижу, как мало вышло. стараюсь, но ничего не выходит — и опускаются руки, — соскальзываю на линию наименьшего сопротивления, утешаюсь пустяками. А разве это не вегетативное существование, которое неуместно, если я себя человеком считаю, но что делать, если усталость давит и приводит к еще большей усталости? Мне кажется, что вы найдете спокойный, разумный, ясный ответ. В такую минуту если просто опереться на когонибудь, чуть прикоснуться — и тогда может удастся оттолкнуться от этого поникания, подняться снова...

Мистер Смит покачал головой. Неодобрительно, конечно: совершенно континентальная сбивчивость.

— Не помню, кто сказал замечательно горькую фразу, мэм, о «зиме, за которой не следует больше весны». Вдумайтесь в нее, пожалуйста, и вы поймете не только ее смысл, но и то, чем вы больны сейчас: переживанием контраста с тем, что у многих часто бывает голодной и тоскующей юностью. Не знаю, какой она была у вас, но у самой нищей юности есть беспокойная, мятущаяся надежда на следующую весну. У вас ее теперь нет. Зато есть — почти уже! — умиротворение. Я знаю, что вам трудно отделить себя от остального мира. Вы — садовница, и знаете, что значит, если за вашим окном, в саду лежит снег. Глубокий или легкий, но под ним слой опавших листьев, которые вы сметали осенью на клумбу, укладывали одеялом. Под ним в слегка тепловатой и зимою даже земле лежат плотные коричневые луковицы тюльпанов и лиловатые гиацинтов, и верхушка каждой уже вытягивается бледно зеленым торчком. Это первый лист, он растет незаметно, исподволь, набухает, вытягивается — и когда придет время, стает снег, согреется солнцем слой листьев — растолкает их стрелкой, разорвет одеяло — и вытянется на свет. В этих толстых и острых зубчиках, высывающихся из под земли — крокусы, подснежники, тюльпаны, нарцисы, гиацинты — обещание весны. Какими они вырастут и расцветут — кто знает? Может быть, некоторые и не расцветут вовсе. Но обещание дано, а вместе с ним надежда, зарождающаяся уже зимой, знающей, что за ней следует весна. Это не наш вещный мир, потому что мы неизменны. Но и не совсем ваш. Люди не обновляются каждый год с непеременимостью весны, их цикл замедлен на десятки лет и совершенно однократен — по крайней мере, на этой земле. Почему же вы, хотя бы и бессознательно, так стремитесь быть во что бы то ни стало луковицей, пусть и самого красивейшего тюльпана? Тюльпаны, как уже было сказано однажды, — не пахнут, потому что ничего не помнят. А память терять нельзя.

Он снова неодобрительно пожевал губами и, как обычно, стал уводить в сторону.

— Говоря о циклах, которые не установленные людьми законы, а следовательно и не могут быть изменены людьми, позвольте задать вам один вопрос. Ведь логически рассуждая судьба творения зависит от его творца, в великом или малом. Человеческая культура — создание отдельных людей и их обществ. Многие ваши мыслители доказывали на уроках истории цикличность развития отдельных стран, поднимавшихся из племенного состояния до мировых империй и схо-

дивших затем снова на состояние феллахов, скажем, живущих под пирамидами. Но культура часто передается преемникам, хотя бы и в измененном виде. Меня интересует другое. Самый понятный для меня пример: вазу из драгоценного китайского фарфора можно, увы, разбить. Заметьте, однако, что для этого нужны неосторожные или варварские руки, или катастрофическая случайность — упавший камень, распахнутое ветром окно. Существование вазы прекратилось — но самые мельчайшие ее осколки — все же драгоценный фарфор, позолота, богатство красок. Суть остается. Выходит, что в результате работы, исканий и вдохновения нескольких, пусть целого десятка поколений, созданная ими культурная ценность пребывает вещью в себе, если позволят внешние обстоятельства, на все времена. Человеческая культура также создается разнообразным и упорным трудом во всяком случае нескольких поколений. Но оставаясь в привычных мне категориях, должен к сожалению заметить, что человеческая глина, проходя через надлежащие ступени утончения, обжига и обработки, только на довольно краткое время становится драгоценным фарфором, а затем очень часто начинает крошиться, терять свою крепость, звон, и не требует даже никакого удара молотком для своего распада, а просто разваливается на жалкие обломки, нередко даже с неприятным запахом. Конечно, есть исключения. Малая часть людей выдерживает это испытание культурой, как золото — кислотой, но на остальные металлы кислота действует разъедающе. Однако же это вынужденное сравнение чудовищно по существу, вы не находите, мэм? Культуру, строящуюся на проникновении красотой и гармонией во всех формах, начиная от вежливости и кончая произведениями искусства и мысли, нельзя же уподоблять кислоте! Полет мысли, творчества, углубленное, утонченное восприятие мира, подобно скорее всего огню, закаляющему глину, и смею вас заверить, что вот я сам, сделанный правда из лучшей английской, но все же простой гончарной глины, стал, в результате этого мастерства многих поколений, огнеупорен весьма! А вот в доме моего петербургского профессора я слышал очень характерный рассказ об одной знакомой семье — и знал ее по виду тоже. Предок, если можно так выразиться, ибо это был всего только дед, пришел в свое время в столицу в этих полудеревянных русских башмаках, которые носили бедные фермеры, и ему удалось открыть мастерскую или начать торговать — не помню, что именно. Его сын во всяком случае продолжил его дело и наверно уже кончил колледж — иначе не оставил бы сыну и дочери громадной образцовой фабрики, славившейся на всю страну. Внук был самым талантливым учеником моего профессора и умудрился сам стать профессором в двадцать пять лет; дочь тоже кончила университет, хотя я никак не мог понять, для чего это нужно было лэди, выписывавшей все свои туалеты из Парижа и носившей баснословные драгоценности. Помимо того, что они не знали, на что бы еще истратить деньги, оба были молодыми, образованными, культурными людьми. И оба оказались сломленной тростинкой во время революции, как и тысячи других, слабыми и бессильными во всех поступках, часто попросту глупых. Если подумать, что не настоящие предки, а всего только дед должен был несомненно, тяжелым молотом пробивать себе дорогу в жизни, чтобы отвоевать такое громадное место, то внуки не смогли даже пошевелинуть пальцем, чтобы

защитить не свои миллионы, я говорю не о деньгах, конечно, а то драгоценное наследие культуры, которое они сумели ведь приобрести, свое лицо! И это разумеется один из бесчисленных примеров. Что же это такое? Если человеку дана способность создавать что либо, то неужели же только для того, чтобы быть сломленным под тяжестью своего творения? Теперь говорят, что человек не справляется с собственной техникой. Совершенно понятно. Можно легко научиться владеть рулем или нажимать кнопку, но как совладать с сотней или тысячей лошадей, если они взбесятся? А им свойственно беситься от человеческого же неразумия. Говорится также, что вера двигает горами, что любовь сильнее смерти, и даже если предоставить одним поэтам такие романтические мечтания, то все таки я, как старый законник, должен со всем рационализмом признать, что человек действительно обладает большой духовной силой. Будучи вещью, могу судить о ней только по внешним проявлениям, но не о сути, поскольку здесь граница между вещным и вашим, одухотворенным миром. Может быть потому я и не понимаю этого противоречия? Почему низменное железо, так сказать, перековывается в высоко звенящую сталь — и потом она ржавеет? Ведь если бы оно не могло выдержатьковки, то никогда бы не зазвенело так! А есть звенящие, поющие люди. Почему же их дети или внуки вырождаются в изящных кретинов или опускаются на четвереньки? Почему человек, с большой буквы, как вы говорите, создатель и преемник культуры не может сохранить ни ее, ни себя вместе с ней и теряет лицо? Цикличность? Но если создание человеческого гения, направленное к возвышению его духа, приводит его в конце концов к упадку, то я отказываюсь понимать. И боюсь, что вы не сможете объяснить этого тоже, мэм!

— Но вы сами, мистер Смит, объясняли мне, что наличие такого массового ослепленного безумия в теперешнем мире может происходить от тех «сгустков», как вы выразились, энергии не только темных сил, но и их жертв, насильственно, мучительно и слишком рано вырванных из жизни, и теперь обволакивающих, так сказать, живых людей? Почему же не предположить обратного — а именно, что, оставаясь при вашем сравнении — низменное железо, перековываясь в звенящую сталь, уходит звоном в другие измерения, не нашей планеты и жизни, а здесь остается шлак от перековки? Не буду однако углублять этой мысли, потому что и вы сами несколько эклектически, если позволите так выразиться, несколько поверхностно, вскользь, касаетесь таких вещей, которые...

— Которые, вы хотите сказать, мэм, представляют для всего человечества и во все времена знаменитые «проклятые» вопросы, и на них тщетно пытаюсь найти ответ, написаны тысячи томов самыми умными людьми? Вы постарались облечь свой упрек в самую безобидную форму, и напрасно: я никогда не претендовал на что либо, прекрасно сознавая свое положение ночного сторожа, как молчаливого слушателя почтенных и весьма ученых джентельменов. О, это не унижение паче гордости. Разумеется, я накопил некоторый опыт, находясь почти всегда в самом лучшем обществе в течение уже второй сотни лет. Но я никогда не забывал своего простого, хотя и честного происхождения, ни такого же простого и скромного назначения в жизни, обуславливающегося моим содержанием: добротным теплым элем, обе-



спечивающем хороший здоровый сон, внешней оболочкой ночного сторожа, следящего за этим покоем с фонарем и колотушкой для отбивания часов и хулиганов! Но вот ваше замечание, мэм, — именно характерное человеческое замечание, свидетельствующее о таком невероятном самомнении людей, что они даже перестали его замечать, как не замечают слепые, что вступили на путь, ведущий к обрыву. Да, я позволю себе утверждать, что это воистину гибельный путь, хотя я по своей природе не склонен к громким словам и высокопарным понятиям. Замечу еще только в скобках, что это относится к моей якобы поверхностности. Что касается вашего аргумента об эмиграции душ, дошедших уже до звенящей ступени на нашей земле и переселяющихся в иные области — это, разумеется, вполне уравнивает сказанное мною об обратном, и я постараюсь размыслить об этом. Но неужели вы можете считать всерьез, что, повторяю, при всем моем уважении к тем ученым джентельменам, которых я имел честь и удовольствие знать, и к тем, о коих мне только доводилось от них слышать, к тем мудрецам, которые существовали и существуют вообще когда и где либо — что они могли глубже, чем только поверхностно, вскользь, касаться тех же самых вопросов и тем? Если ученому человеку требуется прочесть в своей жизни, может быть, десятки тысяч книг, чтобы прибавить к ним хоть несколько действительно своих мыслей, а не только комментариев и толкований — если даже беспорные гении, единицы за тысячелетия, вносящие полное преобразование в существовавшую область науки или искусства признаются под конец, что и их гения не хватает, чтобы объяснить и понять открывающийся перед ними, но не ими созданный мир, ибо человек не может создать ничего основного, ничего из не-мирового порядка, и неизбежно встает перед тайной — то неужели вы не думаете, что и таким гениям свойственно, пусть, допускаю относительно, но все же только поверхностно, вскользь, касаться этих тем? И какая разница в пропорциональном отношении, спрашиваю я вас — между поверхностным затрагиванием вопроса ночным сторожем, руководящимся более всего собственным здравым смыслом, крупинкой, отпущенной на его долю — и ученым, обладающим глубокими познаниями, не позволяющими ему однако, проникнуть глубже — если отбросить аналитическую паутину ученых слов? Потому что сознайтесь — как часто то, что называется «критическим подходом», «глубоко взрезающим скальпелем анализа» — в особенности психологического, разложением на составные части, доискииванием до первопричин, — по настоящему является только нагромождением хитро сплетенной сети высокопарных понятий и хитроумных определений, в то время как первопричины давно известны всем и каждому, во-вторых — просты и могут быть безо всякого ущерба названы простыми и понятными словами, а в третьих — их касаются как мудрецы и гении, так и самые критические аналитики вот именно только вскользь, ибо вся жизнь ваша есть только скольжение в реальном и нереальном мире — слегка касаясь, слегка задевая, быть может, при удаче слегка отпечатляясь в нем — и все это, поверьте мне, поверхностно во всяком случае...

— То же относится и к другому. У меня, конечно, большое преимущество перед вами: долгая жизнь. И начиная с того момента, когда я был поставлен впервые на полку гончарным мастером почти двести

лет тому назад — до сегодняшнего дня, — для меня это время вчера и сегодня — одна протяженность, одна жизнь, при всем разнообразии. Разумеется, ваши историки могут изучить любую эпоху, но кто может так ясно видеть сегодня всю обстановку, дух, то что называется «флэр» всего только сто лет назад? А именно благодаря этому преимуществу, мне тем более непонятно: почему одни люди нередко говорят с тоской о добром старом времени, а другие перечисляют только тогдашние несправедливости и злодеяния — и так мало стараются действительно сохранить действительно хорошее из старого, не разрушая и не портя его новым? Справедливость требует заметить, что несмотря на все британские особенности, во главе которых стоит консервативность традиций, многое из веселой доброй старой Англии сегодня сохраняется только иллюстрированными журналами или для туристов, или бездумным обычаем, потерявшим значение и смысл. Конечно, я не экономист, но мне кажется, что если можно было перестать сжигать на кострах ведьм, без всякого ущерба и для невинных женщин, и тех же ведьм, например, то почему нельзя было отказаться от детского труда, шестнадцатичасового рабочего дня, почему нельзя было ввести медицинскую помощь, лучшие жилищные условия, бесплатные отпуска и все прочие социальные блага без того, чтобы превращать рабочего в винтик машины, без того, чтобы уничтожать настоящее ремесло и мастерство? Почему нельзя сохранить дилижансы наряду с вонючими автобусами? Почему старые добрые гостиницы сохраняются как курьезы только, а люди мчатся в небоскребы отелей? Я выхватываю первый попавшийся пример, но если вы дадите себе труд вдуматься глубже — ах, я знаю, конечно, что это страшный труд для современного человека, но попробуйте разнообразия ради хотя бы, — и вы увидите, что этих «почему»? можно задать неисчислимо много. И поверьте, что существует совершенно прямая связь, одна линия между тем, что в меня наливали раньше добрый эль из крана добротной дубовой бочки, а теперь, страшно подумать даже — могут вылить его из странной вонючей коробки экспортной упаковки — и тем, что раньше меня поставила бы на стол почтенному джентельмену служанка, работавшая за гроши всю неделю, знавшая свет только по ближайшему местечку, но зато хорошо, признаться, и ожидавшая семь лет своего жениха безо всякого ущерба для себя — а сейчас она поедет в отпуск в Италию, в которой ничего не смыслит, кроме аханья, носит шелковые платья в будни и — прошу прощения, мэм! — не подождет и семи дней со свадьбой, или как это теперь называется по сексуальному психоанализу? Почему, другими словами, все усовершенствования техники, все ваши человеческие бесспорные достижения вы обращает себе во вред, разрушаете основы своего человеческого бытия и если спохватывается, то увы, слишком поздно? Закон роста и гибели, развития и упадка? Закат цивилизации, как был закат римской и древнейших? А ведь есть и книги, и предупреждения, и примеры... Чего же стоит ваше знание, в таком случае?

Он заботливо поправил складку плаща, падавшую на фонарик. Не знаю, чем заправлялся огонь в этом фонарике. Наверно, маслом. И также наверно ему бы дали теперь в руки электрическую лампочку — только плащ, сшитый на фабрике, не был бы таким уютным и теплым...

— Дело в скромности — тихо и деловито закончил мистер Смит. — Во вдумчивой, целесообразной скромности людей, которой им как раз и не хватает. В этом и весь ответ на все «почему», если вы вдумаетесь поглубже, медом. Не сомневаюсь, что вы правильно поймете меня: не ложная скромность, как ее следует назвать, хотя она нередко и искренняя приниженность, ограничение самого себя так называемых бедных маленьких людей, всегда именно потому таких жалкеньких и несчастненьких, что нередко и противно становится. Не скрою, что наш вещный мир имеет многие преимущества перед вашим, но насколько же богаты вы, люди! И богаты именно этими возможностями. Не у всех есть талант, большой рост или счет в банке, не все умны, красивы и талантливы, у многих жизнь — целая цепь несчастий, в которых они невиноваты даже — ибо человек, насколько я мог заметить, кузнец не только своего счастья, но и несчастья тоже, во всяком случае наполовину. Но у каждого есть способность к чему то, и в этом мы схожи: у нас, у каждой вещи есть тоже свое назначенье. Однако, в самый простой стакан можно при случае поставить розу, хотя это некрасиво, вместо того, чтобы напиться из него, но сам он ничего не может сделать — и вот это именно ваше, человеческое преимущество. У вас есть ум, который может придумать, сочинить что либо, установить ту способность, которую вы по нерадивости или небрежности не заметили в себе, не говоря уже о руках. Правда свои, настоящие мысли встречаются не в каждой голове. Что ж, это недостаток, но еще не окончательное несчастье, не выброшенность из мира умных людей — раз есть книги, которые те, умные люди, написали для других. Книги не могут помочь только в очень редких случаях, а в таких уж наверняка поможет мастерство руками, ремесло какоенибудь. Между прочим, вы не находите, что английское обозначение ремесла «крафт» тождественно немецкому «крафт» — сила, поскольку действительно дает силу человеку, не обладающему другими достоинствами? Конечно, я несколько субъективен, поскольку именно благодаря человеческому мастерству мы, вещи, и становимся восприимчивыми, обладаем душой. Первые зачатки ее вкладывает в нас мастер. Но жалкие и несчастные маленькие люди такие главным образом потому, что заранее и безнадежно ограничивают себя во всем своей якобы судьбой. Эта слабость однако не мешает им прожить иногда очень долгую жизнь, иногда даже за счет других — есть такая категория убегающих от жизни, цепляющихся за свое несчастье, делающих его единственным и нередко выгодным занятием. Но я говорю только о совсем искренно, по недомыслию своему пришибленных скромниках, у которых скромность — ложное по существу, ибо совершенно неправильное и недостойное чувство. Настоящая скромность, происходит не из-за отсутствия собственного достоинства, а с полным сознанием его. С одной стороны — тех границ, которые поставлены каждому человеку, вообще, и данному в частности — с другой. Был бы благодарен вам за литературный пример, подкрепляющий мою мысль.

— Один поэт сказал в стихотворении, озаглавленном им: «Мастера:»  
«Что создадим мы впредь — на это власть Господня;  
Но что мы создали — то с нами по-сегодня.» (Гумилев)

— Прекрасно, медом. Как всякая формула — кратко и ясно. Мастер знает, что его возможности ограничены: мерой отпущенного ему

таланта, сил, времени, и не ему проводить эти границы, а смиренно, сиречь скромно, склонить голову перед Тем, Кто их проводит и неизмеримо выше его понимания; но вместе с тем он может Ему же показать дело своих рук, и сказать: вот, это я создал в этом мире и не зарыл своего таланта в землю, а пытался умножить, насколько Ты позволил это! Не рабская психология униженности перед судьбой и страх выделиться чемнибудь среди серой скотинки, а подлинная скромность человека, сознающего свою ценность и свои возможности, благодарного за то и другое. Ибо несмотря на свои личные и многие разочарования в людях, я все таки не перестану утверждать, что каждый из них имеет свою ценность, если справится с жизнью и с тем, что ему дано. В дни моей молодости среди моих соотечественников было принято постоянно ссылаться на Библию. Подозреваю однако, что только немногие понимали библейские изречения так буквально, как они написаны. Не все же такие глупцы, чтобы думать, например, что все волосы на голове человека сосчитаны Богом. Судить о качествах Высшего существа, превосходящего неизмеримо человека — ему, созданию, судить о своем Творце — это высшая степень самомнения и самовозвеличения, полное отсутствие какой бы то ни было скромности. Но нетрудно понять, что считаются не отдельные волоски, а каждый, так сказать малейший человек состоит на каком то учете, ибо в каждом есть искра высшего, которая не должна исчезнуть по воле творившего, но увы, так часто нарочно гасится ее обладателем.

— Вот кстати, что я попросил бы объяснить мне, мэм. Почему вы, люди, умеющие создавать нас из различных материалов, за что я глубоко уважаю ваш человеческий род, и притом создавать с глубоким, прекрасным знанием дела — почему те же люди по какому то странному тайному соглашению, часто молчаливому — пытаются с невероятным упорством создавать совершенно ложные вещи из ничего? Постараюсь объяснить эту мысль примером. Вот перед вами стол, сделанный мастером из хорошего дерева, и на нем стою я, кувшин для эля; на столе лежит книга, на стене висит картина. Все эти вещи сделаны с большим умением и заботой, даже любовью и искусством. Назначение каждой из них понятно, но в крайнем случае может быть несколько видоизменено: как вы сами видите, вы сделали из меня вазу для ветки платана, книгой вы можете воспользоваться как пресс-папье, а картина может послужить ширмой на окне. Повторяю: многие вещи можно использовать разнообразно и не по их назначению, но при этом всякому будет ясно, что их настоящая суть заключается в другом. А вот нередко, слушая разговоры почтенных джентельменов, я видел следующее: предположим, ктонибудь взглянет на картину, висящую боком, и изображенная на ней колокольня готова упасть — и вдруг его так поразит косая башня, что он не только уверится сам, но начнет уверять и других, что художник увидел совсем с другой точки зрения, и потому гениален. Да, он будет говорить об этом всем, позовет фотографов делать снимки, репортеров, чтобы написали в газетах, пригласит критиков, и будет им навязывать повешенную криво картину до тех пор, пока они из осторожности, чтобы не показаться непонимающими, или по этому непонятному молчаливому сговору, начнут уверять всех остальных в гениальности художника, разыщут его, если жив, поставят памятник, если он умер, и потребуются добрых пять-

десять лет, а то и больше, чтобы наконец все поняли, что кривая колокольня — не новый вид искусства, а просто ошибка. Но бывает и хуже. Я следил за вами, когда вы читали эту книгу. Она полна яду, у нее дурной запах. Я видел, как вы морщились и отталкивались от нее. Но вы зрелый человек, у вас сложившиеся уже взгляды, и здравый смысл. А ведь найдется немало людей, которые исключительно из желания не отставать от других, уверяют, что мерзости, описанные в какой-нибудь книге, патологические искажения, болезненные явления — это величайшая глубина человеческой души, подсознания и пола, вскрытая великим талантом. Другими словами, яд, полезный для психиатра, как знание, всячески втирается в еще неокрепший ум с явным стремлением сбить его с толку. Одно ложное представление вызывает массу других. Из кривой колокольни вырастают дырявые загогулины, из патологического случая может вырасти целая промышленность, занимающаяся, прошу прощения за выражение, совращением малолетних, и длинный ряд преступлений всякого рода... С одной стороны вы обнаруживаете и умение, и понимание, с другой — в вашем мире бродят целые толпы голых королей!

Последние слова я слышала уже во сне, вперемешку с тем, что вырастала громадным тюльпаном невиданного цвета, мучительно стараясь вспомнить, не зная, что. Но тюльпаны не пахнут, потому что ничего не помнят — сказал мистер Смит, который, повидимому, и уложил меня, отчаявшись получить ответ на все бесчисленные «почему»? своего монолога. А ведь мне хотелось с самого начала самой поговорить с ним, не только слушать! И ни слова о платановой истории при этом...

## ШЕСТОЙ ВЕЧЕР

— Что же дальше с платановой историей, мистер Смит? Через два дня в уже уезжаю. Хотелось бы знать конец, хоть и все ваши остальные рассуждения слушаю с редким удовольствием. Вы заставляете думать спокойнее — мыслить, как говорите. Душевная ванна. Может быть потому, что неразделенная мысль гнетет, а разделенная радуется?

— Мы привыкаем к людям, мэм, и мне, не скрою, будет очень жаль расстаться с вами, тем более, что побаловали: хороший собеседник — редкий друг. Должен все таки улыбнуться над вашим чисто человеческим стремлением — узнать, что было — или будет — дальше. Мне кажется, что это качество — от присущей вам самим незаконченности, — или назовем это развитием? — в противоположность нашей статичности вещи в себе. Мы закончены с самого начала, и поэтому хоть и наблюдаем перемены в человеческой жизни, но сами не меняемся с ними, как люди, а видим их в отдельных сценах или картинах, как эмаль, разделенная перегородками в клуазонне. Цапля, Резчик, Пастушка, Гневный Персонаж — для меня вроде статуэток, только на фоне облицовки не камина, а платана, ставшего почтальоном, и это в ваш век совсем другой воздушной почты! Но романтизм, который так часто называется сентиментальностью, слава Богу, присущ людям всегда, как бы они ни старались его заглушить. И самым романтич-

ным было бы конечно прервать эту историю на полуслове, — а вы дополнили бы ее, когда вздумается, вариантами своего воображения. Так же, как наверно для всех фигур было бы лучше, если бы Пастушка не согласилась встретиться однажды с Резчиком. Не здесь, а в соседнем городке, где их никто не знал, в очень приличной кондитерской с мягкими коврами, невидимой музыкой и густым шоколадом в толстых чашках. Поскольку в одном из последних писем Пастушки три строчки подряд были заполнены только одним словом «люблю», то за этой встречей должна была последовать вторая, и потом еще следующие. На платан они теперь только взглядывали мимоходом, как на старого друга. С него облетели уже все листья, и было бы странно посылать зимой, в метель, белые конверты через всю площадь, неправда ли? Существуют же письма до востребования и на обыкновенной почте. Теперь главным почтальоном была Цапля, ходившая на почту. Ее роман, между прочим, принял совсем неожиданный оборот. Я вам упоминал в самом начале об осторожных встречах с одним довольно известным юристом в этом городке, у которого была душевно больная жена... У Цапли, не отличавшейся красотой, был характер, если вы понимаете, что я хочу сказать — личность. Есть такая успокаивающая, непритязательная, немного грустная музыка — наверное, она этим и нравилась. Их роман был совсем в стороне и мне известны только главные данные. Так вот, больная жена умерла той же осенью, и адвокат сразу сделал Цапле предложение. Свадьба была отложена разумеется, до срока траура, когда он собирался вообще закончить дела и уйти на покой. Он был значительно старше Цапли и блистал красивой сединой и прекрасными манерами. Пока же он перевел на ее имя свою небольшую заброшенную усадьбу в горах, и они занялись перестройкой крохотного шале из добротного старого гумна, ненужного уже больше... Резчик, конечно, должен был переехать туда с ними, для него собиралось уже разное дерево, корни и сучья, в будущей мастерской вырубил пол-стены для громадного окна. Заказов на его фигурки было теперь так много, что он совсем недурно зарабатывал и никак не мог считать себя в тягость. Цапля часто уезжала в усадьбу на конец недели — она выучилась управлять автомобилем и купила себе скромную машину.

— В ту субботу она тоже отправилась в усадьбу после работы, а адвокат должен был приехать к вечеру. Она приготовила ужин, накрыла на стол, зажгла лампу, огонь в камине, свечи... В комнате, которую они называли не гостиной, а «каминной», было очень тепло и уютно, особенно в метель, поднявшуюся к вечеру. Но горные дороги неуютны в метель, даже для привычного человека. Она узнала только на следующее утро, что он налетел на повороте на дерево — между прочим, это тоже был платан — и разбился на смерть.

— Эта катастрофа, идущая за гробом в трауре Цапля, спокойно и тихо занявшая первое место на похоронах, его завещание — он оставил ей все, помимо усадьбы, которая была уже переписана на ее имя — ей, иностранке! — все это было маленькой сенсацией для городка, конечно. Но придраться кумушки могли только к тому, что проглядели роман адвоката с Цаплей, хотя и утверждали разумеется сейчас, что замечали кое что подозрительное. Детей у него не было, родственников тоже. Цапле выразили соболезнование товарки по работе, а

поскольку она была уже старшей мастерицей на фабрике, и теперь заявила о своем уходе, то даже директор пожал ей руку, и осведомился, собирается ли она продавать усадьбу, или останется уже совсем полноправной жительницей городка.

— Но Цапля продала только городскую квартиру адвоката и с большим сожалением рассталась с их старой на платановой площади. Мне тоже было жаль: в окне напротив потух оранжевый абажур. Конечно, там появился другой, но не тот, и платан весной напрасно шумел новыми листьями — писем по нему больше не посылалось. Я долго еще видел оборвавшуюся нитку в листве, но не могу поручиться, что это было именно так.

— Резчик всего два раза видел адвоката — уже после того, как тот сделал предложение Цапле, и ему было конечно жаль сестру. Но он так радовался переезду в усадьбу — в лес наконец, а всякий лес для него, бывшего лесничего, родной! Теперь он с Цаплей твердо стоит на ногах «на трех» — подшучивал он, — и у него есть что предложить Пастушке. Она может еще до развода переселиться в усадьбу — в конце концов, он не один живет, а с сестрой, а у Цапли такой уживчивый, музыкальный характер... Наряду с бесконечными «люблю» в письмах Пастушки, где они составляли главное содержание — может быть потому, что у нее не хватало фантазии придумать чтонибудь другое — она сама говорила не раз о разводе с мужем, и вот наконец они условились: через две недели после окончательного переезда Резчика и Цапли на ферму, в июне, она приезжает к ним.

— Заметьте, мэм, что я просто регистрирую факты, слегка анализируя, быть может, но без личных комментариев. Как вы уже могли убедиться, Резчик, Пастушка, Цапля — для меня нечто вроде дрезденских фарфоровых фигурок на камине или на фоне платана в окне — как хотите. Конечно, я питаю к ним некоторую привязанность — несколько более, чем к Гневному персонажу, признаться, и предпочел бы вместо него какогонибудь рыцаря, или арлекина... Нет, я не собираюсь морализировать, тем более, что с точки зрения нашего мира, вещи должны прежде всего подходить и гармонизировать друг с другом — независимо от того материала, то есть содержания, из чего они сделаны. В вашем мире почему то на первое место выдвигается мораль, вроде того, например, что люди могут сделать большую ошибку, вступив в брак, но убедившись наконец, что они не подходят друг к другу — с помощью третьих лиц, или без них — тем не менее должны жить и мучиться вместе... И это отнюдь не только в прошлом веке, но и сегодня! Не скрою, что гармоничный брак кажется мне наиболее идеальной формой жизни, но несколько не проповедую непременный развод, так же, как и то, что недавно было принято почему то называть «свободной любовью», а теперь просто «секс», и о чем в присутствии лэди вообще не берусь судить... Должен сказать однако, что остальное поведение моих фигурок на камине непонятно, хотя каждый из них поступал в конце концов сообразно своему характеру. О Цапле я не говорю. Думаю, что ее роман с адвокатом может быть оправдан с любой точки зрения: его жена была невменяемой. Что касается ее брата, то Цапля слегка восхитилась платановой почтой, но согласитесь, что даже я, сторонний наблюдатель, был тронут этими лепестками романтики. В дальнейшем, передавая письма, она быть

может и потворствовала продолжению их романа, но Резчик мог бы брать их с почты и сам, а кроме того, встречался с Пастушкой без помощи Цапли, и это было их личное дело. Пастушку она видела однажды мельком, когда та пришла к ним. Зная о романе, Цапля, привыкшая все делить с братом, заверила и его, и ее, что они смогут прекрасно жить вместе, и никто не сомневался в этом. Но теперь возьмем Пастушку: неизвестно, что вызвало настоящую большую сцену между ней и Гневным персонажем: ее ли признание, его ли подозрение — но сцена состоялась в тот самый двухнедельный срок, когда Пастушка обещала приехать к Резчику с Цаплей в усадьбу. Допускаю даже (мистер Смит тонко улыбнулся при этом) — поскольку я знаю Пастушек — что Гневному персонажу было не трудно убедить ее любым способом — взрывом возмущения, оскорблениями, угрозами, слезами — или вероятнее всего, всем вместе — что во всем виноваты она, Резчик и Цапля, а ни о чем другом не может быть речи. Ах, мэм, все пастушки мягкосердечны, слегка наивны, легко увлекаются, и так же легко поддаются любым гневным персонажам, из жалости к ним. Впрочем, может быть именно для них так и нужно? Конечно, при такой податливости Пастушке трудно было не столько принять решение, сколько заявить об этом; она не приехала в усадьбу ни в июне, ни в августе; все письма Резчика оставались лежать на почте, все попытки добиться какойнибудь связи с Пастушкой — тщетными. Наконец, она прислала ему письмо, в котором раскаивалась, что могла так дурно думать о муже, о разводе и прочем, и требовала, чтобы он прекратил ей писать. Гневный персонаж также написал письмо, но не Резчику, как следовало бы ожидать, а ни в чем неповинной Цапле, обвинив ее довольно забавно: все то, в чем сама Пастушка обвиняла Гневного персонажа, становилось теперь клеветой, которую якобы возводила на него Цапля...

— Гневный персонаж настоял даже на переезде в другой город — и там живет теперь, примирившись с Пастушкой, довольно устало и скучно, но наверно и до сих пор. Так вот видите, мэм: иногда, говорю я, конец какойнибудь истории не соответствует началу, и лучше прервать ее на полуслове: на фоне камина или платана появились фигурки, покрасовались, мы их рассмотрели со всех сторон, заплелась история, развернулся спектакль, а потом пробило полночь, как в сказках, волшебный фонарь потух, и фигурки замерли в прежних позах. Оставим их с их позолотой попрежнему на камине. Фарфор не меняется со временем, как вы, люди.

Последние слова мистер Смит произнес таким замедленным голосом, что я удивилась, и посмотрела на него внимательнее. Но он был, как всегда, и губы попрежнему растягивались в приятнейшей улыбке, только та ветка платана, которую я воткнула в него с самого начала, теперь уже не запылилась просто, а сникла, прекрасные листья свернулись и совсем увяли. А ведь чтобы заставить заговорить мистера Смита, и надо было сделать именно это — в какойто единственно нужный момент поставить в него ветку, и непременно платана! Но ветка увяла. Они не стоят долго в воде — все же, хватило на шесть вечеров. Только? Но зато — каких вечеров!

«Если вы достаточно, по настоящему скромны, то удовлетворитесь и этим, мэм, и не требуйте большего» — послышалось мне — нет, не



слова, а отголосок журчанья мистера Смита — «все имеет свой срок и меру».

Срок и меру! Понимать — это одно, а вот когда приходится все время только удовлетворяться наименьшим и примиряться, то совсем обидно даже — от кончившейся сказки, отнятой игрушки, вынужденного примиренья, сводящегося к утрате еще одной мечты...

Но я очень нежно погладила глянцевитые бока мистера Смита, отправляясь спать. Спасибо, мой милый, чудесный ворчун. Завтра еще последний вечер здесь в Эльзасе, и может быть...

## СЕДЬМОЙ ВЕЧЕР

...Только то, что «может быть» — бывает редко. На следующий вечер, простившись с хозяевами, я захватила с собой последний бокал вина на ночь, чтобы угостить мистера Смита. Правда, это не был херес, но ведь он сам говорит, что надо удовлетворяться тем, что есть. Я торжественно произнесла приличествующий случаю «спич», но ответа не последовало. Мистер Смит поблескивал боками, прищуривал глазки под толстыми бровями, улыбался — и молчал.

Утром — широкий жест лихой мотористки и молодой красавицы-бабушки: распахнутые стеклянные дверцы шкафа. (Убирая за собой в комнате, я заранее поставила на полагавшееся ему место мистер Смита, вылив из него воду и убрав ненужную больше платановую ветку).

— Я знаю, что вы так же любите керамику, как и я — сказала она. — Что нравится — возьмите на память.

Сколько там было прелестных ваз и кувшинов! Особенно один, низенький, пузатый, с выпуклыми складками, — замечательно синего, поющего цвета.

— Если вам не жаль вот этого...

Нельзя же закричать: «Дайте мне моего мистера Смита! Он говорил со мной!» Каким то чудом сохранился из дома, из кабинета отца еще... таких вещей не просят и их не отдают. Может быть, он и с ней говорит, — ведь со мной, посторонним человеком, нашлось о чем на шесть вечеров?

★

Поезд шел быстро, по кусочку Лотарингии, срезал краешком Швейцарию, мелькнуло озеро под палящим солнцем, с толстыми женщинами в брюках на берегу — неужели они не видят своего безобразия? — и как всегда, жаль расставаться с такими милыми людьми, но уже радуешься дому, и кончаешь криминальный роман, взятый на дорогу.

В западной литературе достаточно ярких и крупных талантов, но наиболее «современные» безжалостно, отрицательно и с отвращением относятся к жизни, своим героям и читателям. Диалоги часто состоят из ничего не значущих междометий, смысл которых так же бесполезно угадывать, как и смысл поступков почти не действующих лиц, а все вместе взятое должно каким то загадочным образом олицетворять страх перед всем, чем угодно — и больше всего перед здравым смыслом.

Критиками обычно принято снобировать так называемые «широкие читательские круги», как непонимающие этого «высокого штиля» а ля модерн. Но ведь они тоже имеют право на существование, они то и есть основание общей пирамиды, и не следовало ли бы поинтересоваться, почему им хочется — другого? Одной «безвкусицей» не отмахнешься же: тот же рядовой читатель безошибочно понимает действительно художественные, большие, волнующие произведения... А помимо их наиболее популярны в наши дни — криминальные романы. Непревзойденные мастера в них — англичане, создавшие школу: глубокий психологический анализ, литературный язык, разнообразие типов, чувство природы и обстановки, остроумный диалог. Само по себе уголовное содержание обычно на втором месте; книга дает кусочек определенной жизни, а не перечень действий вырезанных из картона бульварных фигур, как в немецких романах такого же рода. Французские, за исключением Сименона — сплошной бульвар и секс. Американские — в большинстве «бум!» — «Киллеры» — профессиональные убийцы — стреляют на каждой странице. Австралийские — английская школа, и по книгам самого знаменитого, Апфилда, можно познакомиться с современной Австралией географически, этнографически и исторически.

Правда, я англоманка, но как не умилиться! Например, инспектор Скотленд-Ярда отправляется на уик-энд, как гость, в дом подозрительного офицера в отставке, чтобы выяснить обстановку. По его мнению это дом средней руки — всего каких нибудь десять спален... Конечно, прочитав такое, я опускаю книгу и занимаюсь подсчетом: плюс хотя бы одна гостиная, холл, столовая, буфетная, кабинет, библиотека — это уже шестнадцать комнат. Даже если считать, что уборщица и садовник не живут в доме, то кухарка, батлер и хоть одна горничная должны быть непременно. Итого — двадцать комнат минимально. «Всего»... как приятно сознавать, что есть еще в мире страна, где дом в двадцать комнат для одной семьи считается скромным, средней руки домом!

Или: детектив появляется случайно в доме в тот момент, когда в библиотеке находят убитого лорда, и около него — его племянника и наследника. На первый взгляд все улики, и с момента убийства прошло, может быть, четверть часа. «Я должен арестовать вас, мистер Невиль — говорит детектив, но тут же спохватывается: — к моему глубокому сожалению, милорд...»

А если один мелкий уголовник говорит другому: «Да будь я проклят!» — то тот останавливает его и возмущается: «Такие слова в присутствии женщины...!» (Хотя бы эта «лэди» была бы кухаркой, бардамой или просто проституткой).

Но психологический анализ не удивителен: почти все наиболее известные авторы — люди с высшим образованием, нередко до того, как стали писать, или наряду с этим занимающиеся академической профессией, часто известные ученые даже. Пишут же они в таком случае «для отдыха». И если произвести опрос среди самых разнообразных читателей, то одно скажут все: отдыхают, читая.

На первый взгляд парадокс. Вряд ли кому придет в голову сказать, что описание убийства или найденного трупа производит на него успокаивающее впечатление. Дело значит отнюдь не в удовлетворении со-

знательной или бессознательной кровожадности, жестокости или патологических извращений. Но английские авторы ограничиваются обычно кратким упоминанием об убийстве в самом начале, по большей части лица мало интересного или не слишком симпатичного, без взрыва чувств окружающих, а все остальное действие развивается в психологическом анализе близких лиц и обстановки. Возникающие проблемы отвлекают читателя от его собственных — и в этом его отдых. А кроме того — в конечном торжестве справедливости, в утверждении элементарных законов (или идеалов) жизни и вместе с тем — ее самой. Стремление к справедливости и к мечте присуще почти всем, в особенности здоровым рядовым людям, не провозглашающим каких либо непременно новых, а главное — опрокидывающих все остальное истин, независимо от их качества. Вот почему эти книги читает и ученый, и рабочий, деды и внуки. Чтобы ни говорили рациональные критики, но современный человек тоже не может обойтись без сказок — и слава Богу!

\*

«Я платок твой самым легким ядом —

Ядом примиренья надушу»... сказал Кленовский, и один критик возразил, что это «не христианская мысль». Правильно, конечно. В самом слове уже «смиренье», мирное, не возмущающееся, а уповающее на милость, принятие мира. Но в скольких стихах Кленовского сквозит проникновенная, глубокая, несомненно христианская вера! Почему же хоть «самый легкий», но все таки «яд» даже у такого человека?

Если разделить жизнь на три главных этапа, то сперва человек стремится — потом добивается (или нет), и наконец примиряется с границей того, что ему положено, так или иначе. Если смиряется сам — его счастье. Если его заставляют — то он в отчаянии. Но «легчайший яд», незаметно, как все яды, вкрадывается иногда в самое благонамеренное смиренье — тенденцией к размягчению, успокоению, линии наименьшего сопротивления, может быть — ко всему тому, чем парадоксально опасна может быть с таким трудом дающаяся резигнация человека, сознавшего свои границы и примирившегося с ними. «Выше головы не прыгнешь» — говорит он — и значит, и пытаться не стоит прыгнуть вообще выше? «Плетью обуха не перешибешь» — так может быть проще и лучше, а главное легче — бросить и плеть, и топор? «Куда ни кинь, везде клин» — так стоит ли кидаться, — классическая резигнация в народной мудрости пословиц, и «нет ничего нового под солнцем» — от чего совсем не легче! Не легче ли от «легчайшего яда» — и может быть не такой уж грех?

«В этот мой благословенный вечер — Собрались ко мне мои друзья: Все, кого я очеловечил, — Вызвав в жизнь из небытия»...

Ничего, что сейчас почти каждая мысль начинается с цитаты любимого поэта, про себя или вслух — я люблю гумилевскую медь ритма — это часто бывает с одинокими людьми. Будь сейчас здесь мистер Смит — поговорила бы с ним, конечно. А так — только обрывки мыслей.

Вечно мы сталкиваемся с этим «бы» — упорным сослагательным наклонением в жизни: чем больше не можешь его терпеть, тем больше оно упирается, навязывается, колет!

Будь я, например, скульптором, вылепила бы из глины... нет, глина не годится: однотонна и замазанный вид. Лучше керамика, конечно, раскрашенные статуэтки: Пастушка с подоткнутой юбкой, в голубых и золотистых тонах, Резчик в коричневых, Цапля — полуптица, полуженщина, с долбящим клювом и хохолком, за «музыкальный» характер. И Гневный персонаж — в ярких тонах, располневший санкюлот. Поставить бы их рядом на камине, на фоне громадного платанового листа... никто не угадает связующую их ниточку.

... В каких то Вогезских горах вьется сейчас мокрая дорога, и Цапля возвращается может быть из города с покупками, всматривается острым птичьим взглядом в туман на повороте, и Резчик поднимает голову от заваленного деревом стола и тоже смотрит в туман. А еще где то Пастушка — незабудочные глаза быстро выцветают — грохочет кастрюлькой, готовя обед для мужа? Он позвонит, буркнет что-то, сядет, развернувши газету; оба привычно недовольны хорошей в сущности жизнью... и никто из них не знает, что они стояли бы у меня на камине, под платановым листом, таким прелестным украшением...

Вот туман уже — не сослагательное наклонение. — Туман не стоит даже за окном, а кольшется, как занавес, свивается шлейфами, стелется покрывалом, накатывает волнами через кусты, деревья, ветки и поля. Полей не видно сейчас, но я знаю, что они лежат между забором сада и ближним лесом, вдоль дороги, на которой так таинственно вырастает вдруг из тумана старая береза. Туман всегда таинственный, и волнует вечным восхитительных «вдруг» — тем, что, кажется, может случиться — радостной неожиданностью.

Сейчас туман подошел совсем близко к окну, кажется, вот зальет стекла и растечется каплями — или они с кустов падают такими длинными нитями? Что-то знакомое в них, шелестящий ритм: «Тот, который если-б разогнулся»... В рассказе Сергея Горного под этим заглавием был колодец унылого парижского двора в гнусном дешевеньком отельчике для бедных эмигрантов, и безнадежный старик никак не мог заставить себя встать с продырявленного логова. «Тот, который если-б разогнулся» — был странно высоким, чуть ли не вдвое согнутым человеком. Его никто никогда не видел во весь рост, потому и окрестили так гимназисты. Он проходил ровно в половине девятого мимо дома в детстве, мимо окон столовой с шипящим самоваром и свежими булками, по улице, на которую только-только оставалось время выскочить, застегивая на ходу ремень от ранца, в том бесконечно далеком от промозглого Парижа гимназическом русском детстве, когда казалось, что если бы тот, который — разогнулся бы, — то случилось бы что-то удивительное. И только в этом, теперешнем, эмигрантском Париже стало ужасающе ясно, что эти полчаса, несколько минут ожидания согнутого человека, вместе с утренним слишком горячим чаем, поглядыванием в окно, запихивая в рот булку — вот эти утра вихрастого мальчишки и были самыми хорошими, самыми светлыми минутами в жизни.

Очень давно прочла этот рассказ, и запомнился среди других, таких вышуклых, с такой любовью к жизни написанных вещей Горного. Он был тронут, когда пришла к нему в Берлине во время войны — поклониться, сказать читательское спасибо. Сам почти забыл пустяковый рассказ, пришлось напоминать. Зато рассказал, что недавно вер-

нулся с фронта знакомый немецкий офицер, побывавший в Днепрпетровске, в его, Горного, доме, и там снял со стены небольшую акварель: вот это блюдо с нежно зелеными огурцами — картинка, пахнувшая летом. Столько лет продолжала она висеть в доме с совсем другой жизнью — пока кто-то, совсем чужой, не узнал ее по рассказам, и вот, вернул хозяину — из прошлого.

... А когда дом, где жил Горный в Берлине, разбомбили, рухнула вся стена с картинами, погибло окончательно и блюдо с огурцами... Что-ж, полчаса ожидания, что согнутый вдвое человек пройдет по улице, и пора, значит, бежать в гимназию — и были самыми лучшими...?

Нет, не думаю, все-таки. Хорошими — да, конечно. Лучшими же...? Есть время брать, и время давать. Это не совсем Екклесиаст, в котором сказано, — почти, но все таки иначе, что «время сберегать и время бросать». Да, есть время для того, чтобы искать, брать, сберегать; но наступает время не только терять и оставлять, но когда надо и «давать» от найденного, накопленного в жизни — другим. Не «бросать», как мусор или подачку, ненужное больше, — а делиться, чтобы помочь, обрадовать, научить, быть может чемунибудь хорошему, если удастся. Главное — передать от себя другим, и если «бросать», то только в смысле евангельской уже притчи о семени, которое бросается на всякую землю; может засохнуть, упав на каменистой, или взойти на плодотворной. То, что называется житейской мудростью — синтезом, достигаемым зрелостью, дает и понимание того, что главное при бросании этих семян не нетерпеливое ожидание, что каждое семя непременно вырастет сию же минуту, а спокойная надежда, что какое-нибудь — когда-нибудь — и взойдет, может быть.

Нет — не мудрость Екклесиаста, не безнадежное отчаяние человека, достигшего всего в этом мире, — и видящего только, что все суета сует и всяческая суета — не пришедшего ни к чему другому, кроме пустоты. При всей мудрости своей забыл царь Соломон о любви. Не к возлюбленной Суламифь, как бы пламенна, нежна и красива она ни была, а о любви просто. К людям, к миру. Простая, скромная любовь, может быть только мелочами, как каплями, наполняющая сосуд, но ею наполняется и не обесцвечивается, а дает удовлетворение жизнь. Да, цветок, расцветший сегодня, должен завянуть, и будет недолго цвести. Но можно вырастить его, полюбоваться — и дать другому, чтобы и тому доставить ту же радость? Немного это? Конечно. Можем ли мы помочь всем, действительно страдающим людям? Немногим только, и то редко. Но можно все таки надеяться, что удастся кому-то облегчить жизнь, кого-то обрадовать, кого-то примирить с нею.

Скромность — забытое слово, которого так не хватает. Потери и страдания больше всего ожесточают, а ведь они учат прежде всего и скромности, и вместе с тем уверенности в своих, пусть небольших силах — хотя бы возможности снести это. И тому, что есть «время брать, и время давать». Учат не пустоте — а любви.

\*

Снег пошел. Белые крошки торопятся упасть поскорее, ветер развеивает их, но они летят, летят. Небо сразу потонуло в снежном тумане,

а ведь только что было голубино-сизым, обычная умиротворяющая рапсодия в сером: тусклая сепия деревьев, лиловатость кустов, охра замерзшего песка и разъезженного снега на дороге, сероватый налет на кирпичках и черепице, оливковая зелень елок, — и все в акварельно-голубоватом снегу. Зима рисует, как на фарфоре — тончайшая нюансировка еле намеченных оттенков серенького мягкого утра.

«И вот деревья — графикою строгой — Подняли сучья на краю дорог — Чтоб легкий снег посеребрил дорогу — И Рождество шагнуло на порог» . . .

Снег понесся снова, закружил, запорошил даль, закутал в туман — ожидание чего-то, волнующего «вдруг», чудесного. А чудеса — даже по самой сухой и трезвой статистике происходят безусловно каждый день. Сколько таких дней выпадет на вашу или мою долю в жизни — это другой вопрос, но ведь может же и с нами случиться чудо тоже? Все-таки, — поверьте — всегда ждешь чего-то, и надо ждать, именно этого восхитительного «вдруг» . . .

Вот и выкатывает из тумана вдруг симпатичнейшее страшилище — желтый посылочный грузовик. Почта всегдашняя радость: вести отовсюду. С ласковыми словами, трудными проблемами, интересными мыслями, отчаянием и истерикой иногда — всякие. Нужно много времени на ответы: поговорить с каждым, поблагодарить, посоветовать, утешить, если удастся. Писем я не храню, но марки срезаю и прячу, по старой привычке: когда то дружила с филателистом, и он научил меня не столько разбираться в марках (этого и не пробовала, целая наука), сколько знать, что эти маленькие цветные кусочки могут доставить кому то радость и занятие, а иногда даже и быть ценностью. Тогда, принявшись с воодушевлением за сбор их, пообещала, что не успокоюсь, пока не найду ему марки святого Маврикия — тот пятый или шестой экземпляр, которого еще не обнаружили до сих пор! Много лет собирала ему у всех знакомых, везде . . . Маврикия я правда не нашла, но на одном чердаке зимой, роясь окоченевшими пальцами в грудке старых бумаг — нашла два конверта с очень редкими марками в надпечатках времен гражданской войны. Целое событие было, и как мы отпраздновали его, и я гордилась ужасно!

А потом он умер, и больше некому было приносить марки с такой радостью — но комунибудь они пригодятся всегда . . .

Желтое страшилище привозит посылки: осенью и весной заказы из садоводств, а к праздникам, особенно перед Рождеством, — трогательные знаки внимания, кусочек сердца.

Может быть, лучше оставить посылку — положить, не раскрывая сейчас, под елку в Сочельник? Но нет, слишком долгий вечер сегодня, и камин только что затоплен. Подбросила к тяжелым поленьям горсть собранных в лесу шишек — они тоже так интригующе трещат, торопятся рассказать.

Не нужно быть детективом, чтобы сразу установить, что если под бумагой плотный слой стружек, а все тюльпанные луковицы давно получены и посажены, разумеется — то в посылке должно быть что то бьющееся. И, поскольку отправительница — моя молодая бабушка из вогезского городка, то она наверно прислала мне еще одну красивую вазу — интересно, какого цвета . . . Чтобы выдержать характер, я вынула из стружек довольно тяжелый пакет, завернутый в бумагу,

поставила его на стол, и сперва сунула руку на дно — должна же быть записка тоже. Она и была в картонной папке, под засушенным громадным платановым листом, и всего несколько строк:

«Дорогая, я знаю, что Вы будете смотреть за ним даже лучше, чем я. Я никогда не вынимала его из буфета, а Вы так трогательно украшали его, что я думаю, на Вашем камине ему будет самое подходящее место...»

Нет, этого я не ожидала. Бумага валялась уже на полу, а он стоял и тонко улыбался, скашивая глаз на огонь в камине и расправляя бока — мистер Эль Смит, чрезвычайно довольный сюрпризом!

— Ну что ж, давайте поговорим о безнадежном тоже — бодро начал он, не откладывая, а прямо в точку, как всегда. — Думаете часто, неправда ли? Слабые духом и разумом говорят — с основанием или без — слишком часто и много — долгое и скучное нытье для остальных. Другие, безо всяких оснований, кроме моды, щеголяют безнадежностью из снобизма, или желания отличиться — есть тщеславие и в неполноценности, медем! Третьи — как сильные духом, так и совсем, вконец отчаявшиеся люди — молчат. Думают же часто все, кроме тех, кому эти мысли еще не приходили в голову. Счастливым не приходят никогда, но сколько вас, счастливых людей?

— Определим прежде всего подход — линию наименьшего и наибольшего сопротивления, вернее зигзаг, ибо кто уж всегда идет по одной, раз навсегда выбранной линии? Даже у очень сильных людей бывают моменты слабости, а сколько их, этих сильных людей? Можно сказать и наоборот: даже у очень слабых бывают приступы силы — пусть редко, но бывают, зато сколько этих слабых то! А кроме того парадокс: безнадежность сама по себе уже обуславливает волю к сопротивлению, требующему, как никак, но хоть самой отчаянной, вопреки всему, надежды на чудо хотя бы. У верующих людей она есть, и они совершенно правы, конечно, — но признайтесь честно, что действительно верующих среди вас не так то уж много...

— Вы не решились меня перебить, и я весьма признателен вам за это, мэм. Разумеется, такие всеобъемлющие темы — не для короткого разговора. Но во-первых, у нас еще есть время, а во-вторых — только великие пророки, поэты и злодеи обращались с посланиями и проповедями ко всему миру. Нам надлежит быть скромнее: кусочек темы, кусочек жизни, — и хватит, хорошо и с этим справиться. После же чисто рационального определения зигзагов можно перейти наконец и к иррациональному, что мне, признаться, гораздо легче: к сказке. Утверждать, что сказка — это развлечение, ограничиваемое детством, могут только конечно такие нищие духом люди, для которых вообще никакие рассуждения ни к чему, а данное — в частности. Сказка — это сублимация жизни, воплощение тоски и мечты, и она, перешагнув раскрашенные картинки детских книжек шагает рядом с вами, всю жизнь, всегда и дальше: в множестве книг и экранов, в улыбках и взглядах, колокольным шпцем и аркой, цветком на дороге, огнем свечи — и всюду, во всем и всегда — озарением жизни. А от того, что вы называете ее по-разному, сущность не меняется, неправда ли? Разберем и сущность, насколько мечту, иррациональную по существу, можно определить рационально. Я буду краток, медем: сказка увлекает, ранит контрастом с окружающим — или с собственными дости-

жениями, и (что есть линия наибольшего сопротивления) — дает этим силы достигнуть их, или же подрывает их, чтобы окончательно сникнуть в линии наименьшего сопротивления, и обе — маятник человеческих стремлений. Достижения же, как и счастье большое или малое, смотря по мечте — тоже бывают разные. Но — и в этом ее иррациональность тоже — сказка всегда утешение, отдых, улыбка и умиротворенность. Вот почему у безнадежности бывают сказки. И может быть безнадежности они нужнее всего. Вам не остается ничего другого, как согласиться, медем.

— Прибавлю еще только: у вас сейчас мелькнула еретическая мысль, что если я протяну вам руку для приветствия, то упаду, и разобьюсь в мелкие дребезги. Какая чушь, если вы простите невольную непочтительность, медем! Ведь даже если, допускаю в теории, это и могло бы случиться — то только в обыденном плане жизни — а в другом, настоящем — я все равно буду с вами, не так ли? Можете не признаваться, потому что это все равно так.

Признаюсь, — он прав. Я предпочитаю многому другому — мистера Эля Смита — и желаю и вам того же!



## **КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:**

- «Тень синего марта», рассказы, 1938, Рига (распр.)
- «Дама трэф», рассказы, 1946, Мюнхен, (распр.)
- «Королевство алых башен», рождественские рассказы, Мюнхен, 1947, (распр.)
- «Бессмертный лебедь» (Анна Павлова), Нью-Йорк, 1956
- «Разговор молча», стихи, Мюнхен, 1956
- «Копилка времени», рассказы, Мюнхен 1958 (распр.)
- «После . . .», фантастический роман, Мюнхен, 1960 (распр.)
- «Корабли Старого Города», роман, Мюнхен, 1963 (распр.)
- «Горшочек нежности», рождественская сказка-открытка, с русским и английским текстом, 1964, Мюнхен
- «Счастливое зеркало», рассказы, в коленк. переплете, Мюнхен, 1967, цена 5 дол.
- «О нас», Мюнхен, 1972, цена 5 дол.

### **В переводе на немецкий язык:**

- «Die Stadt der verlorenen Schiffe» Из-зо Карл Пфедфер, 1951, («Корабли Старого Города», Гейдельберг, распр.)
- Тот же роман вторым изданием в из-ве Харро ф. Хиршхейдт, Ганновер 1974, цена ДМ 35.—

### **В переводе на испанский язык тот же роман:**

- «La ciudad de los barkos perdidos» Luis de Caralt, Barcelona 1961.